



ИЗДАНИЕ
РУССКОЕ

ВСЕВОЛОД
СОЛОВЬЕВ

— — — — —
ВОЛХВЫ
ВЕЛИКИИ
РОЗЕНКРЕЙЦЕР



Волхвы. Диалогия // Современник, Москва, 1994
ISBN: 5-270-01837-3
FB2: , 25.09.2018, version 1.0
UUID: 656C6E66-DBEC-43E3-98E0-152898B86517
PDF: fb2pdf-j.20180924, 29.02.2024

Всеволод Сергеевич Соловьев

Волхвы. Диалогия (Государяи Руси Великой)

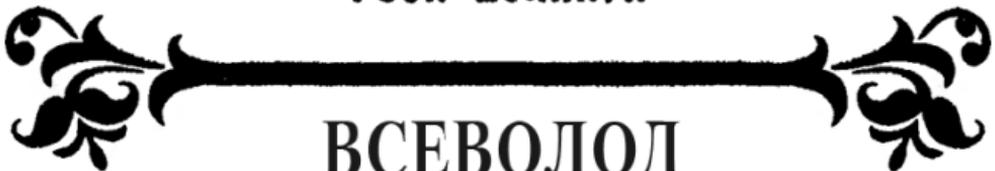
Россия блистательной эпохи Екатерины II. Граф Калиостро, тайные ордена масонов и розенкрейцеров внедряют опасные мистические учения в умы высшего русского общества, что грозит утерей истинной веры и духовной гибелью. Потому что волхвы — это люди, владеющие тайными знаниями, достигнутыми без Божьей помощи, а значит их знания могут завести человечество в преисподнюю.

Содержание

#1	0006
Волхвы	0006
#1	0006
Часть первая	0007
Часть вторая	0182
Часть третья	0401
Часть четвёртая	0568
Великий розенкрейцер	0758
Часть первая	0758
Часть вторая	0909
Часть третья	1104
Эпилог	1225

Волхвы. Диалогия

ГОСУДАРИ
РУСИ ВЕЛИКОЙ

A decorative horizontal line with ornate, symmetrical flourishes at both ends, resembling stylized leaves or scrolls.

ВСЕВОЛОД
СОЛОВЬЕВ

A small decorative flourish consisting of a central diamond shape with three dots above it and two arrowheads pointing outwards.

ВОЛХВЫ.
ВЕЛИКИЙ
РОЗЕНКРЕЙЦЕР

Романы



ВОЛХВЫ

*Иисусу же родшуся в Вифлееме Иудей-
стем
во дни Ирода царя, се, волсви от во-
сток приидоша
во Иерусалим... и падше поклонишася
Ему:
и отверзше сокровища своя, принесоша
Ему дары,
злато и ливан и смирну.
Евангелие от Матфея (2:1, 11)*

*И аще имам пророчество, и вем тайны
вся
и весь разум, и аще имам всю веру,
яко и горы преставляти,
любве же не имам, ничтоже есмь.*

*Первое послание к Коринфянам
апостола Павла (13:2)*

Часть первая

I

Императрица улыбнулась, и в ясных глазах её мелькнул насмешливый огонёк.

— Конечно, — сказала она, — для человека, покинувшего Петербург два десятка лет тому назад, здесь многое должно казаться новым и совсем неузнаваемым, но вряд ли происшедшие перемены могут поразить того, кто покинул этот город семи- или восьмилетним ребёнком... Это слишком ранний возраст для наблюдений, да и воспоминания вряд ли способны сохраниться в достаточной мере полными.

— Я не был тогда ребёнком, ваше величество. Мне сорок лет, а тогда, стало быть, было двадцать.

Императрица сделала невольное движение назад, с большим изумлением вглядываясь в своего собеседника.

Перед ней был крепкий и стройный человек среднего роста. Ни одна морщинка ещё не тронула его молодого и красивого, несколько бледного лица, поражавшего своим твёрдым и спокойным выражением. Сразу, не вглядываясь в этого человека, его можно было принять за юношу, однако теперь, пристально смотря на него, императрица заметила, что в его интересном лице уже нет и следа неопределённости, мягкости и женственности — спутников раннего возраста.

«Но сорок лет!.. Разве это возможно?.. Смеётся он, что ли, надо мною?» — невольно подумала она.

Наконец она сообразила и вспомнила всё, что ей было известно об этом человеке. Вспомнила, что, разрешив Ивану Ивановичу Бецкому представить его ей сегодня, во время праздника, она и думала увидеть человека зрелого возраста. Но, взглянув на него в первую минуту, когда он спокойно и почтительно склонился перед нею, она забыла о его годах. Она сразу подметила в нём нечто особенное, в чём ещё, конечно, не могла дать себе отчёта, но что ей понравилось. Через мину-

ту, после первых фраз, она уже перешла с ним в тот благосклонный, несколько шуточный тон, какой часто принимала с молодыми людьми и девушками, когда бывала в хорошем расположении духа. А сегодня весь день она именно была в таком расположении.

— Возможно ли это? — наконец проговорила она. — Где нашли вы секрет стирать следы безжалостного времени? Какие волхвы передали вам это искусство, столь драгоценное и для всех нас, смертных, недостижимое?

Говоря это, она всё продолжала вглядываться в его спокойное и бледное лицо, на котором мелькнула теперь улыбка, почему-то показавшаяся ей загадочной.

— Да, я знаю, я очень моложав, — сказал он, — но не знаю, ваше величество, большое ли это благополучие... иной раз даже не совсем лестно казаться моложе своего возраста.

Что было в этих словах — упрёк? Во всяком случае, лицо императрицы внезапно стало серьёзным. Её шуточный благосклонный тон исчез, и она уже как бы совсем новым голосом спросила:

— И все эти двадцать лет вы провели за

границей, князь?

— Нет, ваше величество, я два раза приезжал в Россию, только не был в Петербурге.

— Двадцать лет — это много, много времени, и от двадцати до сорока — лучшая пора жизни! Если вы так изумительно сохранились, вы должны были провести эти годы безмятежно и счастливо?!

Лицо его оставалось спокойным, и он ничего не ответил. Императрица продолжала:

— Да, я знаю, помню, Иван Иванович говорил мне, что вы учёный, что вы много работали, чуть ли не во всех университетах Европы — и в Германии, и в Англии, и во Франции... Я очень вам завидую, князь. Но что мне особенно приятно, это то, что вы, проведя почти всю жизнь в чужих краях, вдали от родины, не забыли русского языка и выражаетесь на нём так, как бы никогда отсюда не выезжали.

— Ваше величество, я в детстве говорил и думал по-русски, я никогда не забывал, что я русский, и берёг в себе это. А что я правильно изъясняюсь — что же в том удивительного? Когда-то наш язык был чуждым для вашего

величества, а вы его знаете не хуже моего, а, быть может, и гораздо лучше.

Екатерина едва заметно кивнула головою и наградила своего собеседника прекрасной улыбкой.

— Я русская, — проговорила она.

В это время в их разговор ворвались раздавшиеся неподалёку звуки музыки, шум и движение придворной толпы. Императрица, всегда жадно и с интересом вглядывавшаяся в новых людей и увлекавшаяся в первую минуту своими наблюдениями и впечатлениями, вспомнила, где она, и решила, что пора прекратить эту беседу. Но всё же ей как бы жаль было сразу отпустить нового знакомого. Она сделала шага два вперёд, остановилась и обратилась к нему:

— Теперь вы остаётесь здесь, не правда ли? Вы приехали не для того, чтобы снова возвратиться в Европу?

— У меня ещё нет никаких определённых планов, ваше величество.

— Передайте вашему батюшке, что я сожалею о его недуге, что я довольна была познакомиться с вами. Да, я всегда любила вашего

отца, я думала одно время, что он может быть одним из моих деятельных помощников... По правде сказать, я сердилась на него за то, что он всегда упрямо отстранялся от серьёзной роли, какую мог бы играть при его дарованиях. Но я уже давно не сержусь... Быть может, он и прав... Как бы ни было, старого я не забываю: в трудное время он оказал мне немало услуг — и я ему благодарна... До свидания, и прошу помнить, что сын князя Захарьева-Овинова может всегда рассчитывать на моё расположение.

Она протянула ему руку с той величественной грацией, которая, казалось, ей одной была присуща.

— Ваше величество, из глубины сердца благодарю вас и за отца, и за себя! — сказал князь, прикасаясь губами к руке императрицы.

Нарядная толпа их разделила.

II

Разговор этот происходил в стенах бывшего Воскресенского Новодевичьего, так называемого Смольного, монастыря, уже несколь-

ко лет превращённого в «воспитательное общество для благородных девиц».

Это воспитательное общество было устроено императрицей по образцу известного Сен-Сирского института близ Парижа. Много нежных забот положила Екатерина на этот созданный ею с помощью Ивана Ивановича Бецкого рассадник женского образования. Она заботилась о воспитывавшихся в нём девочках как о собственных детях.

В начале семидесятых годов она переписывалась о своём Смольном с Вольтером, передавала ему об успехах воспитанниц, спрашивала его советов относительно того, какие пьесы играть девочкам. Великий льстец отвечал ей таким тоном, будто он и сам был глубоко заинтересован Смольным, давал советы и пропитывал свои письма тончайшей лестью.

Так проходили годы. Царица не забывала Смольного. Вот и теперь в институтских стенах по случаю рождения великого князя Константина Павловича было назначено празднество.

Праздник этот был не институтский, а

придворный — только с участием воспитанниц. Приглашён был весь двор и «обоего пола особы первых пяти классов».

Стояла чудная майская погода. Густой монастырский сад, разбитый по плану знаменитого Растрелли, недавно оделся яркой зеленью и запестрел цветами.

Теперь весь этот сад преобразился; в его аллеях была устроена блестящая иллюминация, на каждом шагу возвышались причудливые киоски и павильоны. В глубине главной аллеи возвышался «древний храм», созданный во мгновение ока, но тем не менее производивший величественное впечатление.

Однако в саду пока ещё не было заметно особого движения. Светлый майский вечер наступал медленно. Иллюминацию только что начали зажигать, и огоньки едва заметно мигали среди розового света, лившегося с неба.

Все приглашённые находились в большом институтском зале и прилегавших к нему комнатах. Весь этот огромный зал был снизу доверху обставлен оранжерейными тропическими растениями и изукрашен венками и

гирляндами из живых цветов. То там, то здесь выделялись искусно сделанные из таких же цветов вензеля императрицы и целые слова и фразы. Эти фразы должны были выражать чувства благодарности и любви воспитанниц к их августейшей благодетельнице, а также те правила добродетели, какими они намерены руководствоваться в жизни.

В глубине зала возвышалась так называемая Парнасская гора, с её вершины на многочисленных зрителей глядели хорошенькие личики муз, изображаемых девятью воспитанницами, одетыми в костюмы древнегреческого покроя и имевшими каждая в руках свои классические атрибуты.

Нужно было отдать справедливость распорядителям праздника и главному его руководителю, «воспитателю детскому, человеку немецкому», как его называли тогдашние зубоскалы, — Ивану Ивановичу Бецкому: все девять муз были одна другой красивее и милее, а мягкие складки древнегреческих одеяний и нежные цвета тканей ещё более выделяли их юную красоту и свежесть, грацию и чистоту их девственных форм. Да и вообще в этом рас-

саднике женского образования в то время, благодаря какой-то счастливой случайности, красота и привлекательность вполне торжествовали над дурнотой. Это можно было заметить, обратив внимание на два больших амфитеатра, устроенных по обеим сторонам стеклянной двери, ведущей из зала в сад. На этих амфитеатрах среди цветов и зелени разместились все воспитанницы Смольного, не принимавшие участия в программе праздника. Здесь были девочки, начиная с семи- и восьмилетнего возраста и кончая семнадцатью и восемнадцатью годами.

Многочисленные любители красоты и юности, находившиеся теперь в зале, могли вдоволь налюбоваться бесконечным разнообразием детских и женских лиц, из которых почти каждое останавливало на себе внимание если и не особенной красотой, то, во всяком случае, миловидностью и привлекательностью. Дурнушек решительно не было, или, вернее, они встречались только как исключения. Да и вдобавок эти редкие исключения были так искусно рассажены, что наблюдатели их совсем не могли заметить.

Девушки и девочки, хотя и одетые в свои форменные однообразные платьица, тем не менее, очевидно, употребили немало искусства на свой наряд и причёску, и каждая из них готова была выдержать самую строгую критику. А строгих критиков-знатоков оказывалось много. Уже с самого начала праздника оба амфитеатра стали ежеминутно всё более и более окружаться блестящими кавалерами в раззолоченных кафтанах. Правда, почти все эти кавалеры не отличались молодостью, но зато их грудь была украшена знаками высших отличий, их осанка говорила об их государственном значении. Их важные лица, перед строгим выражением которых трепетало ежедневно великое множество подчинённых и просителей, теперь освещались добродушной и нежной улыбкой.

И всего больше нежности и ласки было разлито на некрасивом, мясистом, до времени обрюзгшем лице баловня счастья Безбородки, который будто так и прирос к месту у амфитеатра. Его щурившиеся, блестящие и влажные, как у блаженно дремлющего кота, глазки то и дело загорались, перебегая от од-

ного хорошенького личика к другому. Наконец он не выдержал, покачнулся, сделал несколько шагов на своих толстых ногах к самому амфитеатру и начал нащёптывать что-то, очевидно, очень милое избранной им белокурой головке.

Его примеру последовали и другие. Девушки улыбались, кокетливо и мило вскидывали глазами, прелестно краснели и отвечали на обращаемые к ним комплименты сановников — кто односложно и робко, а кто и с милой детской смелостью.

Среди наполнявшей зал громадной толпы гостей то здесь, то там мелькали четыре весталки. Да, «весталки» — так были названы четыре девушки, только что кончившие выпускные экзамены, но ещё не покинувшие институтских стен. Они были одеты все в белом, в белые туники из тонкой шерстяной ткани, с белыми розами, вплетёнными в их длинные и густые распущенные волосы. Они носили название весталок, и им ещё предстояло принять участие в дальнейших нумерах программы празднества. Первоначальная же их роль заключалась в том, что они у входа в

зал встречали и приветствовали гостей.

Все эти четыре весталки по красоте и изяществу были лучшими перлами Смольного института, и старик Бецкий невольно потирал себе руки от удовольствия, наблюдая за ними, видя, какое впечатление они на всех производят, с какой грацией, скромным достоинством и любезностью они исполняют роль хозяек этого душистого, наполненного зеленью, цветами и красотой зала.

Императрица уже успела сказать ему, что она очень довольна его выбором и что никогда ещё с самого основания института из его стен не вступали в свет такие красавицы, как эти четыре весталки.

Он видел, как видели это и все здесь собравшиеся, что вообще императрица довольна всем и находится в самом лучшем настроении духа. Теперь он, остановясь несколько в сторонке, не без изумления наблюдал, как долго и оживлённо императрица говорила с представленным им ей сыном его старого друга, князя Захарьева-Овинова. Разговора он не мог слышать, но видел внимательное, оживлённое лицо государыни. А он дав-

ным-давно в мельчайших тонкостях изучил это лицо. Он видел благосклонную, искреннюю улыбку, которой Екатерина на прощанье одарила своего собеседника. Эта улыбка была многозначительна — так Екатерина улыбалась только тогда, когда отпускала людей с тем, чтобы с ними снова встретиться.

Когда государыня прошла дальше, по направлению к Парнасской горе, и когда за нею, осторожно протискиваясь вперёд и всеми силами стараясь опередить друг друга, устремились придворные, Бецкий величественной походкой и, вызвав на своём тонком, породистом лице добрую улыбку, которая, как многим казалось, имела большое сходство с улыбкой императрицы, подошёл к князю и почти незаметным движением, но крепко стиснул ему руку.

— Любезный друг, поздравляю от сердца, — проговорил он.

Но князь взглянул на него так рассеянно и неопределённо, как будто его не узнал, как будто не слышал слов его.

Бецкий хотел было изумиться и сказать что-то, но в это же мгновение к нему спешно

подошёл молодой придворный кавалер и торопливо передал ему, что государыня его спрашивает. Он оставил князя и несколько ускоренным, но неизменно величественным шагом направился к Парнасской горе.

Между тем внимание императрицы, оказанное ею человеку, почти никому здесь неизвестному, всех заинтересовало. Многие взгляды были устремлены теперь на князя. О нём спрашивали друг у друга. Из числа особенно заинтересовавшихся им был князь Щенятев, молодой человек, известный всему Петербургу, бросавшийся всем в глаза своим чрезмерным франтовством и комичной наружностью. Разряженный в пух и прах, весь сверкающий бриллиантами, князь Щенятев теперь метался от одного к другому. Его брови поднялись и представляли из себя два вопросительных знака, глаза горели ненасытным любопытством, маленький, подобный пуговке, носик покраснел. Захлёбываясь и шепелявя, князь обращался к каждому:

— Бога ради, кто это? Кто? С кем это государыня так долго говорила?

Но никто ему не мог удовлетворительно

ответить, а ему никак невозможно было успокоиться. Он не был в состоянии, по существу своего характера, чем-нибудь теперь развлечься, о чём-нибудь подумать, пока не решит вопроса: кто это? — пока в свою очередь не получит возможности удовлетворить любопытства других.

Но вот он заметил невдалеке от себя человека, почти так же, как и сам он, блестяще одетого, но уже не молодого, с добродушным и приятным лицом. Это был не менее его самого известный всему Петербургу того времени богач, граф Александр Сергеевич Сомонов, тот самый Сомонов, про которого Екатерина, знакомя его с одним из иностранных посланников, сказала: «Вот человек, делающий всё возможное, чтобы разориться, но разориться никак не могущий».

Князь Щенятев сообразил, что граф, наверное, удовлетворит его любопытство, подлетел к нему и, почтительно кланяясь, начал свою фразу:

— Граф, позвольте спросить вас, вы, наверное, знаете, кто этот молодой человек, с которым государыня так долго говорила?

Граф взглянул, добродушно улыбнулся и медленно выговорил:

— Какой молодой человек?

— А вон тот, вон, видите, в тёмно-фиолетовом кафтане! Разве ваше сиятельство не изволили заметить, его Иван Иванович представил государыне... Вон тот, в фиолетовом кафтане...

— Это вовсе не молодой человек, — так же протяжно и невозмутимо сказал граф Сомонов.

Брови князя Щенятева поднялись ещё выше, глаза готовы были выскочить, вся его длинная фигура на тонких, как жерди, ногах изобразила недоумение.

— Как? — мог только произнести он, не понимая, что такое говорит ему граф.

— А так, что это вовсе не молодой человек, потому что он лет на пятнадцать вас старше.

— Не может быть!

— Если я говорю, значит — знаю. Действительно, он моложав необыкновенно...

— Да кто он? Кто? Ведь вы его знаете, граф?

— Конечно, знаю.

Щенятев весь так и впился в графа, прямо

в его рот, будто желая схватить слова, пока они ещё не вылетят.

— Конечно, знаю, — повторил Сомонов. — Неделю тому назад это был господин Заховинов, а сегодня — это князь Захарьев-Овинов.

Щенятев хлопнул себя по лбу.

— И как я не догадался!

— Почему же вы должны были догадаться?

Но Щенятев был уже далеко и передавал направо и налево разные подробности о господине Заховинове, превратившемся в князя Захарьева-Овинова. Подробности эти были им тут же изобретаемы; но этот процесс творчества происходил бессознательно, ибо князь Щенятев был всегда уверен в том, что он только что выдумал, и искренно считал эту выдумку правдой.

III

Тот, кто обратил на себя внимание этого, по большей части только имеющего весёлый вид, но в сущности скучающего общества, жадного до всякой новинки, неспешно отошёл в сторону. Он остановился почти у самой стены зала, скрытой широколиственными

тропическими растениями, венками и гирляндами цветов.

Толпа двигалась перед ним взад и вперёд. Одно за другим мелькали разнообразные, незнакомые ему лица, и его светлые глаза следили за ними, встречая и провожая их спокойным, даже как-то чересчур спокойным взглядом. На бледном и неподвижном, будто застывшем лице его нельзя было прочесть ни скуки, ни веселья, ни горя, ни радости, ни доброты, ни злобы. Это лицо в рамке окружавшей его зелени и цветов казалось почти неживым, почти мраморным изваянием. Даже самый блеск его глаз временами становился каким-то неестественным, нечеловеческим, жутким. Внимательно глядя теперь на это лицо, нельзя уже было найти в нём молодости: несмотря на отсутствие морщин, несмотря на всю чистоту его очертаний, это было лицо не молодое и не старое — странное, поразительное лицо, будто вышедшее из неведомого мира, где нет ни времени, ни пространства, где действуют иные, неземные и нечеловеческие законы.

Если бы императрица теперь взглянула на

него, она изумилась бы, может быть, даже ещё больше, но изумилась бы иначе. Она своим пронизательным и тонким взглядом сумела бы подметить в нём всю его необычайность, ускользавшую от рассеянного взора толпы, и ей, твёрдой и смелой, полной сознания своей силы, разума и знаний, наверное, стало бы неловко, и она смутилась бы, остановясь в недоумении перед новым, неясным и непонятным вопросом.

Но ведь это был не призрак, не дух, не выходец из могилы. Это был живой человек, явившийся хоть и издалека, вышедший хоть из тьмы и неизвестности, в которых он до сих пор скрывался, но теперь уже получивший известность. Прошлое его не было прошлым неведомого авантюриста и искателя приключений. В этом прошлом была тень, но тень эта теперь рассеялась... Ещё немного времени — и человек этот уже не станет возбуждать никаких вопросов...

Да, это был живой человек, как и все, и в нём теперь мелькали живые человеческие мысли. Живые... человеческие... но всё же, наверное, ни у кого из находившихся в этом пре-

красном зале не было таких мыслей!

«Зачем я здесь? — думал он. — Зачем надо это? Что неожиданное, что неизбежное ждёт меня в этих стенах, среди этой толпы, не нужной мне и которой я не нужен, так как между нами нет ничего общего. Я здесь, так как неизбежно должно совершиться нечто знаменательное в моём существовании... Я знаю это, но что же меня ждёт? Как обойти мне грозящую опасность? Опять борьба во тьме, с невидимыми врагами!.. Но ведь немало было этой борьбы — и тьма рассеялась, и я вышел победителем. До сих пор я погружался в роковую тьму, весь закованный в моё заветное, с таким трудом добытое мною оружие — и я знал свою силу, я верил в неё. Тьма не страшила меня, неведомые враги казались мне ничтожными. Я боролся с радостью, почти с восторгом — и потом мне всегда хотелось труднейшего, бесконечно труднейшего!.. Мне становилось почти обидно, что борьба так ничтожна, что победа так легко даётся...»

«Я креп с каждой битвой, и я знаю теперь, как много прибавилось во мне сил... Откуда же это непостижимое, странное смущение,

почти робость?»

«А, так вот он где, новый враг мой! Смущение, моя робость и есть враг; я его вижу, наконец, чувствую, осязаю — и я должен побороть его!»

Во всём существе его произошло нечто неуловимое, чего нельзя передать словами. Это было могучее усилие воли, напряжение всех духовных сил. И через несколько мгновений он уже был победителем. Глаза его вспыхнули новым огнём, мертвенное лицо оживилось. Ни смущения, ни робости. Он глубоко вздохнул всей грудью. Будто давящая тяжесть спала с его плеч, будто он вышел на чистый воздух из душной темницы, порвав мучительные оковы.

Теперь, глядя на него, нельзя было испугаться его загадочного вида, нельзя было принять его за каменное изваяние. Жизнь нахлынула на него, и в этой жизни было для него много счастья, так как счастье для него заключалось в сознании своей силы.

«Только это? Опять только это! — мелькало в его мыслях, — но какой же урок я извлеку из этой пёстрой толпы, что в ней?»

Он пристально, пристально начал вглядываться в мелькавшие перед ним лица, ища в них чего-нибудь для себя нового и интересного.

Но лица мелькали одно за другим и скрывались. Перед ним проходили мужчины и женщины, безобразные и красивые, молодые и старые, но ничего нового, ничего интересного не замечал он в них. Он чувствовал и понимал, что, не будучи знаком с ними, никогда до сих пор не видав их в действительности, он всё же хорошо и давно их знает, давно уже выяснил себе весь смысл их жизни, давно перестал интересоваться этим смыслом.

Он вспомнил свой разговор с императрицей.

«Да, она интереснее всех, бесконечно интереснее! — подумал он. — Да, я должен был встретиться с ней, и мне надо на ней остановиться. Создавая её, природа не пожалела своих сил, богато и щедро наделила её и светом, и мраком! И света так много, что мрак в нём теряется, сразу его и не заметишь... И если бы она знала... Или за этим я здесь, чтобы она знала? Но нет, ничто не указывает мне на то,

что я здесь для неё. Я для себя, для себя одного, и встреча наша не для неё, а для меня. Но что же она может дать мне? И то, что она может мне дать, зачем оно мне нужно?»

Он не успел заметить, как в этом мысленном вопросе опять промелькнуло что-то смущающее и почти тоскливое. Он не успел заметить, потому что всё внимание внезапно устремилось в одну точку.

Он увидел невдалеке от себя одну из четырёх весталок. До сей минуты он ещё не замечал её, она в первый раз попалась ему на глаза. Весталка остановилась в нескольких шагах от него.

Это была девушка, одарённая большой красотой, или, вернее, прелестный ребёнок, едва-едва превратившийся в девушку, но уже обладавший всеми чарами женской силы и власти. Это была самая красивая из четырёх красавиц весталок.

Она будто нарочно была создана, чтобы носить эту древнюю белую тунуку. Её грациозная, но в то же время крепкая фигура, её выразительное юное лицо неизбежно должны были остановить внимание художника,

томящегося в поисках идеала. И художник именно изобразил бы её весталкой, хранящей чистый огонь целомудрия. В ней выражалось, хоть, быть может, и бессознательно, полное торжество духа над материей; но над материей не бессильной, а могучей, прекрасной, обладающей всеми своими чарами...

Весталка сделала ещё несколько шагов вперёд, как бы направляясь к тому, кто так пристально глядел на неё теперь блестящими глазами.

Ещё миг — и взгляды их встретились. Она остановилась и замерла на месте. Но не опустились её ясные, голубые глаза, опущённые тёмными ресницами, не вспыхнула краска стыдливого девического румянца на её нежных, почти ещё детских щеках. Она глядела прямо в эти блестящие, горевшие перед нею глаза, глядела с бессознательным изумлением, страхом, надеждою, радостью. Самые противоречивые чувства выражались в лице её и сливались в одно, которому трудно было придумать и определение. Она была поражена, будто заколдована. Эти блестящие глаза внезапно овладели ею, всем её существом, всеми

её помыслами и ощущениями. Казалось, что бы ни случилось теперь вокруг неё, она всё же не вышла бы из своего оцепенения. Грянул бы над нею удар грома — и она его не услышала бы. Земля разверзлась бы под нею — а она осталась бы на месте, не дрогнув, прикованная этим поглотившим её взглядом.

И так могло оставаться долго, долго, всегда. Ей и теперь казалось, что над нею проходит целая вечность.

Но это была только минута.

Он опустил глаза — и она получила свободу. Она невольно схватилась за сердце, которое вдруг учащённо, жутко, как-то непонятно забилося.

Она тряхнула своей прелестной головой, будто отгоняя от себя туман. Потом голова её склонилась, прядь густых, по колени длинных, светлых волос, перевитых белыми розами, скользнула с плеч на горячо дышащую грудь. Тонкие ресницы опустились, румянец залил щёки — и весталка, ничего и никого не видя, поражённая и смущённая, скрылась в толпе.

«Так не совсем ещё разрушен твой храм, о таинственная богиня! — пронеслось в его мыслях, — у тебя есть ещё жрицы!.. И среди жалкой комедии, детской забавы ты нашла охранительницу своего огня... Дитя светлое, дитя, как ты, прекрасное! Какая прозрачная, как кристалл, душа светится в этом взгляде... Да, тебя не коснулось ещё смрадное дыхание жизни. А ведь вот коснулось же оно подруг твоих: они более или менее, а уже приняли в себя частицу яда. Каждый такой праздник почти для всех них был вреден, много вреда принесёт им и сегодняшний день, а ты, ты оставалась и остаёшься чуждой всем этим соблазнам. Надолго ли? Что ждёт тебя?»

«Я ещё встречусь с тобою!» — закончил он свои мысли, быть может, неожиданно для самого себя, но твёрдо, уверенно и спокойно.

Зал пустел. Многочисленные гости вслед за императрицей прошли уже в сад, где в прозрачном полусумраке наступившего тёплого вечера блистала иллюминация. Опустели и два амфитеатра.

Вслед за всеми и он сошёл в сад и медленно подвигался вперёд по аллее, где с обеих сторон возвышались плетни из свежей зелени, связанные с большими померанцевыми деревьями. Направо и налево то и дело выступали открытые павильоны со сценами, на которых воспитанницы в самых разнообразных костюмах изображали живые картины.

Но он глядел на всё это рассеянно, не сообщая смысла того, что он видел. Перед его глазами мелькали только формы и тотчас же пропадали, не оставляя в памяти никакого впечатления.

Вот он уже в конце аллеи, перед «храмом добродетели». Тут шло балетное представление, и он расслышал, что кто-то вблизи его назвал это представление «La Rosiere de Salency». Неведомо где помещавшийся оркестр наполнял воздух нежной мелодией. С зелёной горы, скрывавшей вход в «храм добродетели», сходили одна за другою грациозные пастушки, неся свои дары той, кто всех добродетельнее, кто избрана и признана всеми Rosier'ою. Но её, виновницы торжества, ещё нет... она скрывается где-то. Молодень-

кие пастушки танцуют и очень милыми, но всё же довольно странными движениями прославляют добродетели своей подруги.

Зелёная гора, закрывавшая вход в храм, разверзается. Храм открыт, и в середине его виден жертвенник со священным огнём, а вокруг него помещается его девственная стража — семьдесят весталок.

А вот, наконец, и она! Её ведут беспечные подруги, до того довольные весельем, что ещё не успели догадаться ей завидовать.

И это опять она, та, которую он видел в одежде весталки и на ком остановился мыслью. Теперь она скинула с себя свою одежду жрицы, она превратилась в пастушку, но ненадолго. Вокруг неё подруги сплетаются в весёлом танце, а потом венчают её цветами, буквально засыпают её ими. Под этой благоухающей ношей она поднимается по ступеням храма и склоняется к жертвеннику. Её окружают жрицы, каждая со своим светильником; а она, вся в цветах, в разметавшемся золоте светлых кудрей, недвижима, не смеет поднять головы, не смеет взглянуть на горящее над нею жертвенное пламя; она, очевид-

но, в своём смирении не знает сама — достойна ли она подняться, достойна ли взглянуть на него.

Но жрицы её поднимают, подводят к жертвеннику, вручают ей светильник. Тогда глаза её поднимаются, и в них блещет светлая радость. Она твёрдой рукой возжигает свой светильник от пламени жертвенника — и в тот же миг одежда пастушки с неё спадает, и она является перед зрителями весталкой. Она стоит теперь высоко и, держа светильник, в белоснежной одежде, глядит сияющим взором на своих прежних подруг-пастушек и новых подруг-весталок, которые у ног её, перемешавшись между собою, начинают новый танец. Но вот откуда-то появляются гирлянды зелени и цветов, и прелестные танцовщицы все обвиты, переплетены этими гирляндами. Они образуют собою живой гигантский сад. Этот живой сад плавно и грациозно движется под звуки незримого оркестра.

Она все глядит, недвижимая на своей высоте, с приподнятым светильником, который не мелькает, не трепещет в твёрдой руке её, а горит ровным пламенем. Она глядит, озарён-

ная жертвенным светом, чудно прекрасная в своей девственной красоте. Спокойствие и тихая радость в её взгляде. По праву признали её достойной венца добродетели, сознательно приняла она обету священного жертвенника. Не ждут её испытания и беды, не грозит ей падение, не дрогнет светильник в руке её, не померкнет его пламя...

Но вот её взгляд отходит от танцующих подруг, от этого живого, трепещущего и волнующегося у ног её сада, он устремляется дальше, за пределы сцены, туда, где тесной толпой собрались зрители. Вдруг преображается все лицо её. С её щёк слетает румянец, глаза широко раскрыты, она неподвижна, она замерла, будто жизнь отлетает от неё, ещё миг — и рука её выпускает светильник, пламя его ярко вспыхивает и потухает... Она шатается... готова упасть... Подруги в изумлении, в ужасе прервали свой танец, кидаются к ней, поддерживают её... На всех лицах смущение, испуг...

Смущение и между зрителями — эта сцена не входит в программу балета.

— Любезный Роджерсон, пойдите посмотрите, что случилось с прелестной вестал-

кой, — верно, бедное дитя чересчур устало, ей дурно... помогите ей скорее! — прозвучал под ветвями померанцев и олеандров громкий голос Екатерины.

Сухощавая фигура лейб-медика отделилась от группы, центром которой была государыня, и быстро стала подниматься по боковым ступенькам, ведущим на сцену.

В то же время из густой толпы зрителей вышел человек в тёмно-фиолетовом бархатном кафтане. Он быстро удалялся от «храма добродетели» и свернул на боковую аллею, где почти никого не было, но где так же ярко горели огни иллюминации.

Ведь он должен был знать это, он должен был знать, что не этому наивному ребёнку бороться с его взглядом! Зачем же он смутил её? Зачем ворвался в душу, ничем от него не защищённую, не ждавшую никакой опасности, — разве он враг ей? Он не желал ей зла, он не хотел смущать её, он просто бессознательно залюбовался ею, её девственной красотой и светом её чистой души, так ясно для него горевшим в глазах её. Он глядел на неё бессознательно...

Но в этом-то и была вина его, и он понимал эту вину, он был недоволен собою. Бессознательно! Значит, он ослабел, значит, он допустил себя влиянию всей этой толпы, не оберег себя от этого вредного влияния. Скорей же отсюда!..

И он спешил вперёд. Он решил немедленно же покинуть этот праздник и успокоиться наедине с собою, отогнать от себя всё, что его смутило...

— Это вы? Вы здесь?! — раздался рядом с ним тихий и нежный женский голос.

Он остановился, и бледное лицо его ещё более побледнело.

В двух шагах от него была женщина... Яркие огни иллюминации озаряли её стройную, высокую фигуру, её роскошный наряд, её обольстительное молодое лицо с мягкими и чёрными, как уголь, глазами.

— Или вы меня не узнаете, господин Захинов? — опять сказала она, и милая весёлая улыбка озарила её лицо, делая его ещё обольстительнее. — Но ведь я вот узнала вас!

Она протянула ему руку.

Он коснулся этой руки и как бы очнулся от

сна. Лицо его приняло обычное спокойное выражение. На её улыбку он ответил ей слабой улыбкой.

— Как же мне не узнать вас, графиня, — проговорил он, — но вы застали меня врасплох... Я очень рассеян... Когда же вы вернулись в Петербург?

— Я вернулась недавно, но дело не в том, сударь, а в том, как это вы здесь? Полгода тому назад, когда мы простились с вами в Риме, вы говорили мне, что едете куда-то, я уж не помню куда, только не в Россию, и надолго... И вот через полгода вы здесь, на придворном празднике... вы, учёный, нелюдим, философ!..

— Всё это так, графиня, и вы можете изумляться, но вспомните моё последнее слово, каким я проводил вас... Впрочем, конечно, вы его забыли...

— Нет, постойте, помню, вы сказали, что мы встретимся, и встретимся очень скоро.

— Вот я и сдержал своё слово.

— Да, — задумчиво произнесла она и почти тревожно взглянула на него, будто ища его взгляда. Но он не глядел ей в глаза.

— И вы смеялись и уверяли меня, что уж

на «этот раз» моё предсказание не может сбыться, что если мы и встретимся, то никак не можем встретиться скоро.

— Да, я смеялась, но теперь, вы видите, не смеюсь... и даже очень рада, что ваше предсказание исполнилось. Знаете, вдруг сейчас, на меня так и пахнуло Италией, Римом... Право, я очень рада вас видеть, господин Заховинов!.. А теперь скажите мне, надолго ли вы здесь?.. Что вы здесь делаете?

— Князь, наконец-то я нашёл вас! Никак вы собираетесь уезжать? В таком случае я очень рад, что мы встретились... Я хотел просить вас...

Но тут граф Сомонов, говоривший это, заметил графиню и стал перед нею раскланиваться.

— Сударыня, извините, Бога ради, мою непростительную рассеянность.

Она, вопреки своему обыкновению, несмотря на всю свою находчивость, ничего даже и не ответила графу — так она была поражена.

«Князь!»

Она не могла ошибиться, она слышала яс-

но... что же это за мистификация? Что это значит? Заховинов — князь! Да ведь таких князей нет... Но Сомонов, очевидно, его хорошо знает. Кто же он?

Она, однако, не выдала охватившего её изумления, на лице её мелькнуло горделивое, почти надменное выражение. Она кивнула головою Сомонову и князю и быстро скрылась по направлению к большой аллее.

— Прелестная женщина... и такая умница, не правда ли? — сказал Сомонов.

— Да! — холодно ответил князь. — Вы, кажется, сказали, граф, что вы меня искали... чем могу служить? — прибавил он.

— Да, вот что, я хотел просить вас пожаловать ко мне завтра к обеденному столу. Я непременно должен вас кое с кем познакомиться. Прошу вас мне не отказать в этом, ведь у нас найдётся немало общего, судя по тем письмам, какие я получал через вас из-за границы... Завтра мои двери закрыты для всех, за исключением некоторых друзей, жаждущих знакомства с вами, чающих узнать от вас много нового.

— Благодарю вас, граф, я у вас буду.

Они пожали друг другу руки и расстались.

V

В далёкие времена татарского владычества и опустошительных набегов хищников на мирные русские грады и веси жил и действовал лихой татарский наездник Калат, или Калатар. До сих пор ещё кое-где в казанских пределах сохранились сказания и легенды об этом витязе и его буйных и зверских подвигах.

Это был, по легендам и сказаниям, даже почти и не человек, а какое-то чудовище, нечто вроде Змея Горыныча. Он чуть ли не приходился сродни самому дьяволу, вида был страшного, силищи необычайной, и единая отрада его жизни заключалась в питье крови христианской. Как смрадный ураган, налетал он на православные селения, города и пригороды, и где промчится — там остаются за ним обезглавленные и порубленные тела человеческие. Никого не пощадит Калат, перебьёт всех, за исключением красивых девок и молодых, а этих несчастных прикрутит одну к другой крепким веревьем и угонит вместе со вся-

кою добычею в своё становище поганое. Обьестся он плоти человеческой, обопьётся слезами горючими женскими, пресытит всячески плоть свою окаянную, да и подавит своих жертв, когда они уже ему не годны станут.

И опять несётся, как ураган, опять губит православные головы, опять тащит за собою молодиц и девок да награбленные пожитки.

Послушать про те ужасы — так волосы дыбом на голове станут, и понятным, и ясным покажется, что тот Калат, или Калатар, был не простой человек, а порождение дьявольское, дьявольского рода и племени.

И помер, по сказанию, он не как человек, а разорвало его в одно мгновение, да так разорвало, как бомбу, — и ничего от него не осталось.

Но семя его поганое не пропало и не иссякло. Народил он тьму-тьмущую детей, и все эти калатарчата пошли в своего чудовищного родителя, только силы в них той уже не было. А начала убывать сила — и зверству их трудно стало проявляться.

Прошёл век, другой, третий — и явился один из калатарчат к царю московскому, бил

ему челом всем своим домом и имением, молил принять его под высокую царскую руку и обещался-клялся служить верою и правдою. Царь дал своё согласие, но потребовал от татарина, чтобы он крестился. И принял татарин со всем домом своим православную веру, и стал прозываться князем Калатаровым.

Как сам татарин, так и три его сына, и все десять внучат сдержали слово своё — служили царям московским верою и правдою. Служили они большие ратные службы и костьюми полегли в разные времена и в разных боях за царя, за Русь святую да за веру православную.

И цари за верную службу награждали их землями и угодьями, богатыми вотчинами.

Прошло ещё немало времени — и от всего Калатарова рода остался один князь Николай Николаевич Калатаров, и ничего калатаровского уже в нём не было. Обучен он был изрядно, благодаря тому, что приходился крестником закадычному другу императрицы Елисаветы Петровны, Мавре Шепелевой, и через неё попал к Шуваловым. Служил он в гвардии и был по своему времени большим щёголем и дамским угодником. Излишнее щеголь-

ство и неустанная погоня за женщинами, несмотря на его хорошие в молодости способности, а также знание немецкого и французского языков помешали ему сделать карьеру на службе, — не о том он думал. Лет тридцати с чем-то он совсем даже вышел в отставку и жил себе припеваючи в своём богатом доме на Фонтанке.

Женился он в молодых годах на хорошенькой немочке, графине Бах, дочери приезжего немца, вышедшего в люди при Петре Великом и даже за добросовестность и осторожность награждённого графским титулом.

Родитель княгини Калатаровой, несмотря на своё графство и высокие занимаемые им должности, во всю жизнь оставался немецким солдатом. Её мать, или, вернее, «мутерхен», до конца дней своих не покидала привычек и склада жизни немецкой мещанки, пуще всего на свете любила кухню, сама все мыла и чистила в доме, а зачастую и белье стирала ради отдыха и удовольствия. Но, несмотря на это, мутерхен», сама оставаясь тем, чем была по рождению, свою единственную дочку, Каролину, признавала настоящей

барышней и графиней и всеми мерами заботилась о том, чтобы она была во всех отношениях «eine echle Gräfin». Она не обучала её тому, что сама знала и любила, а обучала тому, чего не любила и не знала, но что было необходимо для настоящей графини. Каролина прекрасно играла на клавикордах и на арфе, очень мило пела немецкие романсы и русские песенки, изучила не только немецкую, но и французскую литературу, даже хорошо говорила по-русски.

Все старания «мутерхен» увенчались успехом. Графиня Каролина Бах вышла замуж за последнего потомка татарского чудовища Калата и превратилась в русскую богатую и знатную барыню. «Мутерхен» сделала ещё большее: она вложила в душу своей Каролины нечто такое, чего обыкновенно не встречалось в больших русских барынях того времени. Каролина вышла очень серьёзной, рассудительной и тактичной женщиной.

Она было полюбила от всей души своего красивого и блестящего мужа, но скоро убедилась, что представляла его себе во время сватовства и в первое время супружества совсем

не таким, каким он был на самом деле. Все мечты её разлетелись. Она увидела, что о своём личном счастье ей нечего и думать. Князь увлёкся её хорошеньким личиком — и только. Это личико скоро приелось, и он вернулся к холостым удовольствиям, в которых заключалась вся суть его жизни.

Княгиня Каролина поняла, что переделать его натуру она не в силах, что нельзя требовать от человека того, чего он не может дать и, собравшись с духом, поставила крест на всех своих юных, сентиментальных и нежных мечтаниях, приняла жизнь такую, какова она есть. Она предоставила мужу полную свободу, никогда его не ревновала, всегда делала вид, что ничего не слышит и не знает, на все смотрела сквозь пальцы, никогда ему не навязывалась, никогда к нему не приставала.

Она прекрасно вела дом, поддерживала связи и знакомства, завоёвывала себе общее уважение и этим уважением к себе прикрывала проруху, наносимую родовому имени князей Калатаровых легкомысленным поведением князя. И она сделала то, что её муж,

несмотря на всё своё легкомыслие и огромное самолюбие, любил и ценил её, насколько мог, и признавал её для себя единственным авторитетом.

Но главною целью жизни графини Каролины был её ребёнок. Он один только и был у неё — её красавица дочка Елена. В эту девочку она положила все свои силы, всё то, что в ней оттолкнул от себя муж, она отдала дочери. Она любила этого ребёнка страстно, нежно, сентиментально. И в то же время она, как и её покойная мать, но только ещё с большим умением, заботилась об образовании дочери. Княжна Елена обучалась самым разнообразным предметам у лучших учителей, каких только можно было тогда достать в Петербурге. И в то время, когда на воспитание и образование молодых девушек в высшем русском обществе ещё очень мало обращалось внимания, княжна Елена была самым блестящим исключением. Да и способностями её не обидела природа, все ей давалось легко, все она усваивала как бы шутя. Если мать была хорошей музыкантшей — дочь её превосходила. Если мать была знакома с иностранными ли-

тературами и интересовалась ими — дочь изучала их несравненно глубже и серьезнее. С каждым годом её изумительная память обогащалась самыми разнообразными сведениями. Не только немецкий и французский, но даже и английский языки были для неё как бы родными — с такой лёгкостью и с таким совершенством она на них изъяснялась. Она прекрасно рисовала, у неё был сильный и приятный голос.

Красота девочки с каждым годом увеличивалась. Мать наслаждалась ею, восхищалась и до того обожала её, что не видела в ней никаких недостатков.

Княжне Елене минуло шестнадцать лет, а о её красоте, талантах и необыкновенном образовании уже начали говорить в обществе и в придворных сферах. Её появления ждали с нетерпением.

Но тут случилось несчастье: княгиня Каролина простудилась, схватила горячку и через несколько дней умерла. Князь, уже состарившийся до срока, износившийся и как-то поглупевший, совсем растерялся, не знал как быть, что делать. Его дом сразу, в одно мгно-

вание, превратился, подобно княгине, в покойника: вместе с собою хозяйка унесла душу своего дома, и он стал быстро предаваться тлению.

Княжна Елена, готовившаяся к своему вступлению в свет, жаждавшая блеска, успехов, торжеств всякого рода, в первые минуты почти обезумела, сама серьёзно разболелась. Но она оправилась скоро. Ей был семнадцатый год. Она кое-как выдержала первые месяцы, пробовала стать хозяйкой на место матери, но это ей скоро надоело. В доме начали появляться многочисленные гости и между ними много и таких, каких покойная княгиня ни за что бы к себе не пустила. За княжной все ухаживали, нащёптывали ей всякие комплименты. Она сразу попала в атмосферу поклонения и лести. Голова её кружилась, в глазах рябило, но в то же время ей становилось весело, она забывала свою утрату, она начинала жить день за днём.

Наконец настало давно жданное ею время — она в настоящем свете. Одна из её родственниц, придворная дама, стала её выводить. Княжна Елена представлена императри-

це, обласкана ею. Княжна Елена загорелась яркой звездой на всех балах и собраниях. За нею толпа поклонников, толпа претендентов. Но она ещё не думает о замужестве. Ей только семнадцать лет. Перед выездом на один из придворных балов вывозившая её родственница таинственно объявила ей, что граф Зонненфельд из прусского посольства просил у князя её руки. За этого жениха хлопочут очень многие и, по-видимому, этим делом заинтересовали даже императрицу.

Елена засмеялась громко, порывисто, со всем по-детски — одна уже мысль о подобном браке показалась ей нелепой и смешною. А между тем на балу она много танцевала с графом и к концу вечера, вдруг, в одну минуту, решила выйти за него замуж.

Граф Зонненфельд был молодой немец, длинный и белый, с молочного цвета глазами и большим носом с горбинкой. Его движения в одно и то же время отличались и важностью, и угловатостью. Он казался старше своих лет и поражал удивительной серьёзностью и молчаливостью, под которыми скрывалось неизвестно что — чересчур осторож-

ный ум или апатичная ограниченность. Вообще в нём не было ровно ничего, что могло бы привлечь сердце пылкой, богато одарённой семнадцатилетней девочки. А между тем она решилась за него выйти. Почему? — она и сама не знала. Это был мгновенный каприз, и только.

Он немец — её мать была немка. Но ведь сама она русская княжна, да и мать её родилась в России и никогда не бывала за границей. Говорят, Петербург теперь несравненно лучше Берлина, а жизнь здесь веселее и роскошнее, особенно при дворе. А граф Зонненфельд увезёт её в Берлин или куда-нибудь в иную страну, куда его назначат. Это хорошо, она знает Петербург, а не знает за границу, и ей хочется туда ехать.

Одним словом, она решила, что будет графиней Зонненфельд, — так ей вдруг понравилось. Отец был доволен — партия оказалась хорошей: у молодого дипломата прекрасное состояние и очень влиятельная родня, он в близком родстве со многими из владетельных домов в Германии, он на хорошем счету у короля прусского.

Свадьбу отпраздновали после совершения всех формальностей с большой пышностью. Молодая чета представилась императрице, а затем граф Зонненфельд был вызван в Берлин. Графиня сделала прощальные визиты и скрылась с петербургского небосклона, проблистав на нём мгновение яркой звездой.

VI

Новобрачные на пути из Петербурга в Берлин. Их мчит добрый шестерик, запряжённый в дормез гигантских размеров, представляющий собою чудо немецкого мастерства и немецкой практичности. Дормез этот безобразен на вид и топорен, но зато при первом же взгляде на него можно поручиться, что он вынесет какой угодно путь и какие угодно непогоды. В нём легко и с большим удобством может поместиться шесть человек. В нём не только графиня, но даже и граф, несмотря на свои жердеобразные ноги, могут спать вытянувшись во весь рост.

Днём дормез этот представляет из себя нечто вроде маленького будуара, а ночью превращается в спальню с ворохом перин и

подушек. Под привычными и аккуратными руками графского камердинера Адольфа он мгновенно делается в столовую. В нём появляется стол, сервированный на два куверта. Из его таинственных помещений, ящичков и сумок выходят на свет всякие дорожные запасы и припасы.

Жирный Адольф, главным отличительным свойством которого являются налитые кровью глаза и сизый нос, с видимым наслаждением и с сознанием собственного достоинства прислуживает графу и графине. Затем, окончив все свои обязанности и снова превратив дормез из столовой в будуар, он проделывает уморительную эквилибристику, взбираясь своими тучными ногами в толстых шерстяных чулках на высочайшие и широчайшие козлы дормеза. Это восхождение и для более ловкого и худощавого человека крайне затруднительно, для Адольфа же оно с первого взгляда представляется совсем невозможным. Но он каждый раз побеждает все трудности, и графиня, если ей угодно отдернуть тафтяную занавеску переднего окна, может любоваться на его широчайшую спину,

которая в течение целых часов не шелохнётся и остаётся будто приросшею к козлам. Если графиня отдернет занавесочку с небольшого круглого окошечка, помещающегося в глубине дормеза, она может видеть свою камеристку, восседающую среди подушек, ящиков и баулов, в будке, приделанной к дормезу.

За экипажем господ поспешают ещё четыре рыдвана, совсем уже почти бесформенных, похожих на что угодно и в то же время ни на что, но таких же прочных, как и графский дормез. В этих рыдванах помещаются всякие пожитки и остальная прислуга: две прачки, горничная, повар с поварёнком и со всеми принадлежностями походной кухни и, наконец, егерь графа с любимой его собакой Неро.

В первое время весь этот поезд, вся обстановка путешествия занимают графиню и ей очень нравятся: ведь она никогда не выезжала из Петербурга и его окрестностей. Но уже на второй день путешествия и Адольф с его медвежьей ловкостью и сизым носом, и великолепный Неро, на остановках поднимающий восторженный лай, врывающийся в дормез, и изо всех сил старающийся лизнуть гра-

финю в лицо, и все хозяйственные и практические немецкие сюрпризы дормеза — все сумки, баульчики и прочие — всё это мало-помалу начинает надоедать юной путешественнице. В ней появляется не то что усталость, но нечто, похожее на скуку. А скуки она до сих пор никогда не знала.

С каждым новым днём пути она притом же начинает чувствовать себя неловко, не по себе, и хотя она ещё и не задаётся вопросом, откуда эта неловкость и скука, но если бы хорошенько и серьёзно себя об этом спросила, то должна была бы ответить себе, что и то и другое происходит от её спутника и собеседника.

Да, ей неловко и не по себе с графом, с мужем, которого она сама себе выбрала, с человеком, связанным с нею на всю жизнь. Ни о чём ещё она себя не спрашивает, ничего не решает, но уже чувствует свою непоправимую ошибку. Этот человек, её муж, ей совсем чужой, да и не только чужой, но он ей вовсе не нравится, он ей скучен, неприятен, его присутствие действует на неё подавляющим образом. Она не та, какая была всегда, она

будто играет роль, навязанную ей, неприятную, играет с вынужденным внешним спокойствием и с внутренним нетерпением скорее кончить и снова стать собою.

Граф ничего этого не замечает. Он не играет ровно никакой роли, напротив того, он сразу сбросил с себя всякую принуждённость, он до последней степени доволен и по-своему весел. Эта весёлость выражается в том, что он время от времени потирает свои красные, тонкие, с крючковатыми пальцами руки, как-то побрякивает и то и дело повторяет: «Ja wohl!»

Со своей юной подругой он предупредителен до последней степени. Он ежеминутно предлагает ей то то, то другое, берёт её маленькую белую ручку, повёртывает ладонью вверх и нежно и долго целует в самую середину ладони сухими и холодными губами. Он подолгу глядит на полудетское прелестное лицо графини, на её глубокие чёрные глаза, на её горячие, полные здоровой юной кровью губы, на тонкий румянец её нежных подернутых, будто персик, золотистым пушком щёк, на капризный локон, выбивающийся из-под

дорожного головного убора. Он глядит, а с какими мыслями и чувствами — этого не разберёшь в его бледных, будто выцветших, будто оловянных глазах.

Он шепчет: «Mein Schatz, mein Herzchen!»

И опять побрякивает, и опять самодовольное «ja wohl» и опять потирание красных рук с крючковатыми пальцами.

Ничего ещё не соображает и ни о чём не думает графиня, но уже эти красные руки, эти крючковатые пальцы, бесцветные глаза и длинный тонкий нос с горбинкой, «mein Schatz» и «mein Herzchen», а пуще всего ощущение его сухих, холодных губ на её ладони и почему-то, ещё того пуще, это самодовольное «ja wohl» ей противны и становятся все противнее, раздражают её всё больше и больше.

А между тем она инстинктивно не только от него, но от самой себя скрывает свои ощущения и впечатления и играет свою роль, то есть всё терпеливо выносит, заставляет себя время от времени ему улыбаться, изредка и очень осторожно, по его требованию прикасаться своими губами к его сухощавой, бритой перед нею Адольфом щеке. Но ей при-

ходится делать большие над собою усилия, чтобы спокойно выносить его ласки...

Графиня Елена ищет развлечения в том, что может видеть из окна, в постоянно меняющихся картинах и сценах чужой, незнакомой ей жизни. Но час, другой, третий — и эта пестрота начинает утомлять её, теряет весь свой интерес.

— J'ai sommeil! — шепчет Елена и откидывается на подушки в глубине дормеза.

— Schlaf, schlaf, mein Herzchen! — говорит граф, поправляя ей подушки.

Она закрывает глаза. Он глядит на неё несколько мгновений, наклоняется над нею с очевидным желанием поцеловать её, но почему-то воздерживается, отодвигается к своему окну и сидит, весь вытянувшись, как-то выставив вперёд свой горбатый нос и едва слышно напевая какую-то немецкую песню.

Вот графский поезд переехал границу. На немецкой земле граф как бы несколько оживился, в первую минуту даже нечто похожее на огонёк мелькнуло в его молочных глазах. Он с особым усердием стал потирать себе руки и, наконец, не выдержал и, высунувшись в

окошко, крикнул Адольфу:

— Nun, Adolph, das ist schon unser Land?

— Ja wohl, Excellenz, Gott sei gelobt! — радостным басом отвечал ему с козел Адольф.

Это естественное и хорошее проявление патриотического чувства господина и слуги не только не было оценено бедной Еленой, но даже тяжело на неё подействовало. У неё защемило сердце, почти так же защемило, как в тот день, когда она хоронила мать свою. Она вдруг после этих радостных немецких фраз почувствовала, что её родина осталась позади, что она на чужбине и одна, совсем одна, что она пленница. Ей вдруг мучительно захотелось услышать звуки русского языка, хотя она и прежде-то не особенно часто на нём говорила и предпочитала ему французскую речь, уже почти всюду слышавшуюся тогда в окружавшем её высшем русском обществе. Немецкий язык, язык её матери и бабушки, всегда ею любимый, бывший языком её интимных бесед с матерью, показался ей теперь совсем чужим, неприятным, неблагозвучным, почти противным в устах графа и Адольфа. И не с кем ей было перемолвиться

русским словом; даже её камеристка, сидевшая в задней будке дормеза, была немка. Граф не знал ни одного русского звука и почему-то, как уже заметила Елена, даже относился к этим звукам презрительно. В первые дни пути, слыша какое-нибудь русское слово, он обращался к Елене, насмешливо поводил носом и, кривя рот в усмешке, спрашивал:

— Nun, nun, was bedeutet das? — и при этом, безбожно коверкая, повторял поразившие его слова.

— Aber, Gott, was für eine barbarische Sprache! — всегда заканчивал он.

Тогда Елена спокойно переводила ему слова, и ей и в голову не приходило обижаться на его насмешку над русским языком. Теперь же она в первый раз в жизни почувствовала себя русской.

Эта немецкая земля, земля её мужа и Адольфа, земля её бабушки, показалась ей не только чужою, но и почти ненавистной. Ей невыносимо всем существом захотелось назад, в Петербург, в родной дом, к прежней жизни. Она уже не в силах была играть свою роль. Она неудержимо, громко, почти истери-

чески зарыдала.

Граф изумлённо и как бы несколько тревожно взглянул на неё. Но тревога его тотчас же и прошла, осталось одно изумление. Он спросил её, что с нею, отчего она плачет. Она ничего не ответила и продолжала рыдать.

Он спросил ещё раз спокойным голосом, но очень настойчиво.

— Ах, да оставьте, оставьте меня, пожалуйста! — сквозь рыдания прошептала она, отстраняясь от него с ужасом и брезгливостью. Он медленно и аккуратно вынул из баула флакончик с ароматическим уксусом, положил ей его на колени, а затем отвернулся и сидел молча, вытянув длинные ноги и глядя в окошко.

Наконец рыдания её стихли. Тогда граф обернулся в её сторону и проговорил:

— Успокоилась, mein Herzchen? Ну и хорошо... так плакать и рыдать неизвестно из-за чего не годится для такой умной и образованной особы, как ты... Надеюсь, впредь таких странностей не будет...

Она не взглянула на него, ничего ему не сказала. Она всеми силами постаралась пода-

вить в себе все свои ощущения и продолжать играть прежнюю роль. В ней поднялось новое чувство, ещё не определённое, но сильное. Она сказала себе: «Я никогда не стану перед ним плакать...»

До Берлина оставалось два дня пути, и граф нашёл, что настало время посвятить Елену во всё, с чем она должна познакомиться в качестве графини фон Зонненфельд-Зонненталь. Он несколько часов, очевидно, приготавливался, потому что был крайне молчалив, углублён в себя. Затем он, наконец, приступил к объяснению. Он сделался ещё деревянное, его голова с горбатым носом горделиво поднялась, и он начал мерным голосом и таким тоном, будто совершал какое-то священнодействие, будто вверял Елене глубокую, важную тайну.

Предварительно он объяснил ей, что она теперь уже не княжна Калатарова (Елена едва сдержала своё негодование, когда он безбожно и, очевидно, главным образом из презрения к «варварскому русскому языку» исковеркал её родовое и особенно милое ей теперь имя) и что она должна навсегда отречь-

ся от прежних традиций, что она вступает в знаменитый дом графов Зонненфельдов, баронов Зонненталей и должна быть достойной носительницей этого славного имени. Он поспешил добавить, что такую, конечно, она и будет, ибо если бы он на это не надеялся, то не избрал бы её себе в супруги.

Елена вспыхнула и едва удержалась, чтобы с прежней своей детской бойкостью не сказать ему, что для неё вовсе нет особой чести быть графиней Зонненфельд, баронессой Зонненталь, что она княжна Калатарова, и не он ей сделал честь, избрав её, а она ему — согласившись носить его имя.

Но она воздержалась и молча его слушала.

Между тем граф становился всё торжественнее, и его нос поднимался всё горделивее. Он объяснял жене всю историю своего древнего рода, перечислял в мельчайших подробностях все славные деяния своих предков, войны, в которых они участвовали, отличия, которые они получали. Описывал он с точностью учебника географии все поместья и замки, когда-то находившиеся во владении его рода. Он передавал ей историю всех знат-

ных немецких фамилий, с которыми в течение пяти или шести столетий роднились Зонненфельды-Зоннентали...

Дормез останавливался, дверцы отворялись, Адольф, ещё более покрасневший от родного воздуха, появлялся с завтраком, с обедом, с ужином. К дверцам почтительно подходил егерь, с громким лаем врывался Неро. Показывалось здоровое, улыбающееся, немецкое лицо камеристки, почтительно спрашивавшей Елену, не угодно ли графине что-нибудь приказать ей...

Граф останавливался на некоторое время, переговаривался ласково-повелительным тоном с Адольфом и егерем, ел и пил. Но едва захлопывалась дверца и дормез трогался в путь, снова начинался нескончаемый рассказ о Зонненфельдах-Зонненталиях.

Елене казалось, что она присутствует на уроке истории и географии. Но так как этот урок продолжался более суток, то, несмотря на всю понятливость и способность ученицы, он стал невыносимым. У неё просто голова туманилась от всех этих неинтересных подробностей чуждой для неё и непонятной

жизни. Все эти графы, бароны и фюрсты появлялись перед нею как надоедливые марионетки, прыгали, кривлялись, жили в своих замках, мирились и ссорились между собою, вступали в браки, рожали детей, умирали — и исчезали бесследно, тотчас же забывались ею...

Между тем учитель был неумолим: замечая, что она начинает его рассеянно слушать, он останавливался и задавал ей вопросы, заставляя её доказать ему, что она все понимает и помнит. Если она отвечала невпопад, он терпеливо начинал повторять и говорил ей, что ей необходимо в точности знать всю историю своего рода, что иначе он не может даже представить её своей многочисленной родне. А он желает, чтобы все её полюбили и убедились, что его выбор удачен...

Наконец, уже подъезжая к самому Берлину, граф окончил урок и сидел несколько утомлённый, но довольный, с сознанием человека, благополучно исполнившего важную обязанность.

Оживилась и Елена. Урок был окончен; все графы и графини, бароны и баронессы сразу

вылетели из её головы. Это долгое, томительное путешествие кончалось. Графиня стала сама собою, то есть живым, беспечным ребёнком. Она вдруг позабыла всё, что налегло на неё за эти дни как давящая тяжесть, как туман, как мрак.

Она думала о том, что вот она приедет в Берлин и для неё начнётся новая жизнь. Она знала, что попадёт прямо ко двору, в ней заговорило тщеславие, жажда блеска и поклонения. Она твёрдо верила, что очарует там всех, начиная с короля и кончая многочисленной новой роднёю, что она будет занимать первое место везде и всюду. Ведь она знает, что она красавица, ведь все говорили ей, что она поёт, как ангел, и даже вот граф сравнил как-то игру её на клавикордах с игрою святой Цецилии. Она умна, она очень образованна, много знает. Ведь это все правда, и все будут восхищаться ею, её ожидает веселье. Она, как дитя, уже начинала предвкушать это веселье. Она поверила в него — ведь ей так необходимо было в него поверить.

Поздним дождливым вечером подъехали новобрачные к дому графов Зонненфельдов, и с первых же шагов Елену ждало разочарование. Она ожидала, судя по рассказам мужа, встретить чуть ли не царственное величие и роскошь. А между тем перед нею в ненастной мгле какое-то тёмное, унылое и небольшое здание.

Отворяется тяжёлая железная дверь, с фонарём и с большою связкою ключей в руках на пороге появляется маленькая, бедно и смешно одетая, старушка-экономка. Оказывается, что родители графа в своём родовом поместье. Дом пуст. Старушка искоса и недоумённо глядит на молодую хозяйку, делает самые уморительные книксены перед нею и графом, что-то бормочет, целует у Елены руку. Наконец она уже более явственно объявляет, что, судя по полученному письму, она ждала молодых хозяев не ранее как через неделю и что поэтому, пусть уж её извинят, в доме не совсем готово. А, впрочем, она сейчас же распорядится ужином и приготовит «эксцеленцам» их спальню.

Старушка хлопает в ладоши, пронзитель-

но призывно кричит. Наверху старой каменной лестницы показываются две заспанные немецкие физиономии. Двери хлопают. Какой-то беззубый, ветхий старик в истасканной ливрее приносит восковую свечу в тяжёлом шандале. При бледном мерцании этой свечи да фонаря старушки Елена, опираясь на руку мужа, взбирается по ступеням лестницы.

Они проходят несколько небольших комнат, затхлых и холодных, и останавливаются в столовой.

— Ja wohl! — довольным тоном объявляет граф. — Wir sind zu Hause!

Он дома! А она? Где она?

Она почти падает на жёсткое, как камень, и, как камень, холодное, старое кожаное кресло и тоскливо оглядывается.

Довольно обширная, но невесёлая комната с узенькими окнами, с каменным полом. Выкрашенные в унылый цвет стены, старинная мебель, неуклюжая, запылённая, тяжёлый огромный резной буфет. В глубине комнаты — большой камин, у которого теперь возится беззубый старикашка, раздувая огонь

старыми мехами. Граф шагает из угла в угол на своих длинных ногах. Старушка, позвякивая ключами, семенит за ним и что-то ему докладывает, чего Елена не слушает. Граф все повторяет: «Ja wohl!» и в свою очередь что-то приказывает старушке.

Вот она скрылась за дверью. Граф подходит к жене и берёт её за руку.

— O, wie bin ich zufrieden, kuss mich, mein Schatz!.. Да поцелуй меня, твоего мужа, в этом старом дедовском доме.

Законное желание, да и слова хорошие. Но Елена вздрогнула всем телом, целуясь с графом. Ей просто становилось жутко в этом холодном, неприветном доме. На неё находил почти панический страх.

— Как холодно! — тоскливо прошептала она.

Граф поспешно вышел, вернулся с тёплой шалью и закутал ею жену. Но она все дрожала.

— Я велел развести большой огонь в спальне — согреешься... Дом пустой, нетопленный, нас не ждали, — объяснил он.

Старые часы в углу столовой пробили пол-

ночь, и каждый их звук тоскливо и больно отдавался в сердце Елены.

Наконец подали ужин. Граф ел с аппетитом и при этом изрядно выпил из принесённой сияющим и лоснящимся Адольфом старой бутылки.

Елена не могла ничего есть. Однако муж почти силой заставил её выпить вина и объявил ей, что это не вино, а настоящий нектар, старое рейнское, какого и в королевском погребе уже немного осталось.

Чудесная душистая влага пробежала теплом по членам графини Елены и несколько согрела её и оживила.

Окончив ужин, граф взял жену под руку и своей торжественной, деревянной походкой повёл её в спальню. Тут Елена застала старушку с ключами и свою камеристку, убиравших комнату.

Камеристка мгновенно скрылась, но старушка не спешила уходить. Она стояла со свечой в руках, тихонько побрякивая своими громадными ключами. Её сморщенное, комичное, какое-то лягушачье лицо сияло видимым удовольствием. Маленькие, слезящиеся

глаза её любопытно перебегали с графа на графиню и обратно.

Между тем граф вытянулся во весь рост, горделиво поднял голову и застыл в этой торжественной позе. Свеча, дрожавшая в руке старушки, осветила снизу его лицо, изменяя его черты и делая их крайне некрасивыми и в то же время смешными. Вот рука графа поднялась, не сгибаясь протянулась вперёд, и длинные красные пальцы указывали Елене на что-то.

Она взглянула по этому указанию и увидела огромную старинную кровать под пыльным тяжёлым балдахинном. Она сразу и не поняла, что это такое. Её взгляд уловил только горделивое, самодовольное и торжественное выражение в лице мужа и смешную некрасивость этого лица.

Вдруг старушка начала усиленно приседать и желать молодым господам доброй ночи. Теперь не только лицом, но и приседаниями, и звуками, вылетающими из её беззубого рта, она сделалась совсем похожей на лягушку.

Она пятилась к двери и все приседала, и

все квакала. Наконец она скрылась и заперла за собою дверь. Елена не нашла даже в себе силы заняться как следует своим туалетом, в первый раз в жизни чувствуя себя совсем разбитой, ослабевшей. Она мельком оглядела комнату, такую же унылую и выцветшую, как и все в этом доме, такую же холодную, несмотря на огонь, ярко пылавший в камине. Она подошла к кровати и, быстро раздевшись, зарылась почти с головою в мягкие перины. Она лежала, закрыв глаза, просто боясь о чём-нибудь думать. Заснуть бы скорее!

Вот и граф разделся и тоже, как и она, зарылся в перины.

— Вы спите, графиня?

Она ничего не ответила.

— Это родовая наша кровать, она служила уже четырём поколениям нашего рода! — объявил граф, зарылся ещё глубже в перину и мгновенно захрапел.

Елена открыла глаза и смотрела, как от пламени камина унылая комната озаряется неровным, вспыхивающим светом и потом меркнет, как от всех предметов ходят длинные, мерцающие тени. Минуты проходят за

минутами, а она все не может заснуть. Вот теперь по всей комнате ей слышится какой-то странный шорох... и вдруг она вспоминает слова графа: «Четыре поколения спали на этой кровати!» И ей начинают мерещиться эти чужие, давно умершие немецкие графы и графини.

Ей чудится, что эти страшные мертвецы подходят к ней и глядят на неё с изумлением и вот-вот сейчас они сдернут с неё свои перины и сгонят её с их родового места. У неё уже зубы начинают стучать от страха. Она всеми силами отгоняет от себя эти призраки. Наконец их нет, они исчезли бесследно, даже странный шорох в комнате прекратился. Но теперь ей противна, ужасна и страшна эта самая кровать чужих умерших людей. Нет, она ни за что не будет спать на этой кровати и жить в этом страшном мрачном доме!

Наконец она заснула и проснулась только тогда, когда муж разбудил её, объявив, что очень поздно, что давно её ждёт завтрак.

При свете дня дом графов Зонненфельд уже не показался Елене страшным, но зато она, обойдя его, разглядела ещё яснее всю его

невзрачность. Она не оценила своеобразной художественной печати старины, лежавшей на этом старом доме, который был так непохож на то, к чему она привыкла с детства, чего она ожидала.

Но ведь всё это можно обновить, переустроить, сделать так, как она хочет; ведь достаточно средств на это у самого графа, да и, наконец, у неё — она не бесприданница. Она постаралась поскорее перейти к мечтам о веселье, которое её ожидает. Она весь день с помощью своей камеристки Луизы разбиралась в привезённых из Петербурга вещах и нарядах и спросила мужа, скоро ли он представит её королю и всем родным.

Он отвечал, что скоро, и через несколько дней исполнил своё обещание.

Но каждый новый выезд разочаровывал Елену. Она везде встречала все чужое и неприятное ей. Её всюду встречали ласково и оказывали ей все знаки внимания. Но нигде не находила она того, о чём мечтала: ни блеска, ни роскоши — везде чрезмерная простота и смешные, как ей казалось, странности.

Почти то же впечатление ожидало её и во

дворце. После блеска и великолепия Екатерининского дворца, двор короля Фридриха казался очень жалким и бедным. Да и сам король как-то не походил на короля. Он встретил графа Зонненфельда весьма ласково и фамильярно. Он обласкал и Елену, даже взял её за подбородок и сказал какую-то двусмысленность, на которую граф почтительно усмехнулся и которую Елена не поняла. Король задал молодой графине несколько быстрых вопросов о Петербурге, об императрице, о цесаревиче Павле Петровиче, а затем выразил ей, что он очень одобряет выбор Зонненфельда и надеется, что новая немецкая графиня скоро станет ручною и сделается одним из лучших украшений его двора.

— Но графиня очень молода, — прибавил он, — и должна быть внимательной ученицей своих почтенных родственниц.

Он назвал фамилии этих родственниц. Елена ответила, что она уже имела удовольствие с ними познакомиться. Больше ей не пришлось сказать ничего. Король простился с нею улыбкой, похожей на гримасу, и исчез.

Прошло пять лет. Графиня Елена Зонненфельд фон Зонненталь из прелестной девушки превратилась в красавицу женщину, которой нельзя было не залюбоваться. Природа наделила её большим здоровьем, и это здоровье было в состоянии выдержать упорную борьбу с невзгодами жизни. Благодаря этому здоровью она и развилась роскошно и пышно. Статные и крепкие формы её прекрасного тела указывали на богатую силу молодости. Здоровый и нежный румянец покрывал её щёки, только глубокие чёрные глаза её часто появлявшимся в них задумчивым, грустным выражением говорили о том, что под счастливой и здоровой внешностью, под этой блестящей поверхностью скрывается в глубине вовсе не счастливое и не довольное сердце.

Граф Зонненфельд за эти годы изменился гораздо меньше. Он только стал ещё суше, его тонкий нос с горбинкой выступал ещё больше и даже как будто немного скривился на сторону. Бесцветные глаза его по-прежнему не выдавали ни мысли, ни чувства. Он по-прежнему был загадочен и молчалив. Его до-

вольное, торжествующее «ja wohl!» раздавалось значительно реже и значительно реже потирал он свои красные руки.

Решась жениться на княжне Калатаровой, граф поступил рассудительно и умно. Он, как ему казалось, всесторонне обдумал этот поступок. Граф был настоящий прусский патриот, всецело преданный своему королю. Дела Пруссии были его делами, королевские планы и цели — его планами и целями. Предназначенный действовать на дипломатическом поприще и посланный в Петербург, он думал только о том, как бы способствовать тесному и прочному сближению Пруссии с Россией и извлечь из этого сближения как можно больше выгод для своего отечества. Он решил, что, женись на русской девушке высшего круга с большими связями в петербургском обществе и при дворе, он легко может достигнуть именно того, чего не мог достичь своими собственными силами. Он будет в состоянии оказать своей родине большие услуги. Княжна Калатарова была именно будто создана для того, чтобы стать его женою. Единственно, что минутно смутило его, — это то обстоя-

тельство, что она иностранка и не принадлежит к его вероисповеданию. Но он тут же сообразил, что ведь в ней много немецкой крови. К тому же она почти ещё ребёнок — он временно удалит её из России и перевоспитает. Он превратит её в настоящую немку и лютеранку. А когда это перевоспитание будет окончено, когда она всецело будет принадлежать ему, его родине и семье, проникнется его интересами, тогда он вернётся с нею снова в Петербург и с её помощью будет служить своему королю большие службы. Она явится для него незаменимой помощницей, из неё выйдет исключительная женщина, одна из тех женщин, которые держат в своих руках тонкие нити политических интересов и играют большую роль в судьбах государств. Она так молода, она ещё ребёнок, а между тем о её удивительной образованности, о её талантах уже все говорят. Довоспитать её, доразвить и как следует направить — это дело мужа.

Так рассуждал немецкий дипломат, и эти рассуждения казались ему непогрешимыми. Их одобрял сам король, от которого у графа не было тайн.

Но то, что было так ясно и просто, что казалось таким лёгким, вышло неисполнимым. Юная графиня решительно не оправдала возлагавшихся на неё надежд и ожиданий. В программе графа, ловко и последовательно составленной, не хватало одного параграфа, который должен был бы гласить, что всё это так непременно и будет, если... если графиня будет любить своего мужа. Граф считал этот параграф излишним. Как же она может не любить его — разве он не достоин любви? Он, честный и хороший человек! В его прошлом с тех самых пор, как он себя помнит, не было ровно ничего, за что бы ему приходилось краснеть. Он честно и гордо носит своё старое знаменитое имя. Он никогда, даже в первой юности, не позволял себе никаких особенных увлечений. Никто никогда не видал его предающимся грязным страстям. Он не расточал своего имущества на карты и женщин, а напротив, всеми мерами заботился об этом имуществе и экономией увеличивал свои доходы. Так делали его предки, прадед, дед и отец. Оттого-то Зонненфельд фон Зонненталь — одна из самых богатых фамилий в Пруссии.

Правда, у него есть пристрастие к вину, к старому рейнскому вину, но опять-таки никто не может сказать, что видел его пьяным. Это было бы недостойно графа Зонненфельда. Весь род их отличался трезвостью. Никто никогда не видел тоже и гнева графа. Он строг, но справедлив с прислугой и подчинёнными, и за это его должны уважать — и уважают. Он терпелив и рассудителен, ни при каких обстоятельствах не позволяет себе выйти из аристократического спокойствия и унижить так или иначе своё достоинство. Он безупречный муж, предан и верен жене своей. Он никогда не позволит себе взглянуть на другую женщину. Все Зонненфельд фон Зоннентали были верными и примерными мужьями, а имея такую красавицу жену, это и нетрудно. К тому же граф и в юности не много думал о женщинах. Он неспособен на страстную любовь, на слепое увлечение, он даже не совсем точно знает, что такое влюблённость. Да и к чему всё это? Ведь он не поэт, а дипломат. Излишняя страстность и увлечение только бы испортили его жизнь, его деятельность. Притом же пламя, которое чересчур вспыхивает,

быстро и стораает, а он теплится маленьким огоньком, но этого огонька хватит надолго.

Самое первое время своей женитьбы он восхищался красавицей Еленой, потому что имел глаза.

Красота Елены даже минутами возбуждала его холодное воображение, но он скоро себя успокоил, скоро охладился, и графиня перестала быть для него соблазнительной женщиной, превратилась в красивую законную жену, которая должна быть ему близким существом и по обязанности, и по собственному желанию. Он дорожил ею, потому что она его жена, и ещё больше дорожил, благодаря тем целям, какие соединял со своей женитьбой.

Увидя, что с женой нелегко ладить, что у неё есть много капризов и вообще таких свойств, каких он почему-то не ожидал и каких, наверное, не было бы в его жене, если бы он женился на своей соотечественнице, он смутился, даже вознегодовал внутри себя. Но затем решил, что она ещё ребёнок, избалованный ребёнок, что хотя она и очень образованна, но ведь воспитана «там»... Он мысленно презрительно подчёркивал это слово. Тем

более, значит, нужно удалить её на первое время от всего прежнего и серьёзно и осмыслительно заняться её подготовкой. Ему казалось, да так оно и было, что он сделал все от него зависевшее для достижения своей цели. Он пошёл на все уступки и всячески баловал жену; её детские капризы переносились им терпеливо, её странные требования исполнялись...

Два года прожили они при дворе Фридриха, и жизнь их была вовсе не такой, к какой привык граф. Молодая графиня все перевернула по-своему. Старый дом Зонненфельдов быстро преобразился — в него нахлынула чрезмерная роскошь. Да и внутренний домашний склад жизни оказался совсем не немецким, не патриархальным.

У графини были свои собственные комнаты, она даже наотрез отказалась от общей спальни, от страшной и противной для неё старинной кровати дедов и бабок графа. Она свила себе в старых, залежавшихся стенах Зонненфельдовского дома своё собственное гнёздышко, где если и не было столько тепла и света, сколько ей хотелось, но где всё же

она устроилась более или менее по своему вкусу.

Все изумлялись. Немецкие дамы даже приходили в негодование, а граф оставался неизменно спокойным, потирал руки и говорил: «Ja wohl!»

В эти два года придворной немецкой жизни Елена сделала всё, чтобы жить спокойно и весело, но не достигла ни того, ни другого. В эти два года то, что во время пути из Петербурга в Пруссию она только бессознательно чувствовала, теперь было во всех мельчайших подробностях ясно осознано ею. Она не только не любила своего мужа, но он был ей даже антипатичен, и эта его антипатичность временами действовала на неё болезненно и мучительно. Только его податливость и свобода, ей предоставляемая, только холодность его темперамента дали ей возможность кое-как выносить его. Не будь всего этого — она дошла бы до отчаяния.

Но он всё же ей был до такой степени тяжёл и неприятен, что она капризно и мучительно возненавидела даже всё, что он любил, что было ему близко и дорого. Она уже

не могла рассуждать и чувствовать спокойно и беспристрастно. Немецкая жизнь, свойства и особенности немецких людей, с которыми у неё всё же было много общей крови, при других обстоятельствах, при любимом муже, вероятно, пришлись бы ей по нраву, и то, на что надеялся граф, наверное бы, случилось: она превратилась бы в немецкую графиню. Теперь же это стало невозможным. Она капризно ненавидела все немецкое, ненавидела всех этих графов и графинь, баронов и баронесс, с которыми ей приходилось ежедневно встречаться, она возненавидела даже самого короля, несмотря на то, что он был неизменно почти отечески ласков с нею и время от времени навещал дом их. Он ещё не отказался, точно так же как и граф, найти в ней удобное и полезное орудие для достижения некоторых важных политических планов в близком будущем.

Эти королевские надежды создали ей исключительное положение при дворе. Они же не допустили сразу выразиться всей той неприязни, негодованию и зависти, которые к ней сразу почувствовали её новые немец-

кие родственницы и, вообще, почти все придворные дамы. А неприязнь эта, хоть и глухая и затаённая, но была велика. Елена отлично понимала это и отвечала на неё искренним презрением.

Она достигла своего, она блистала, первенствовала, была окружена всеобщим вниманием, а также поклонением, хотя почтительным и почти безмолвным, блестящей придворной молодёжи. И она старалась жить всем этим. У неё выдавались весёлые минуты, маленькие торжества. Но это нездоровое веселье её только портило — она приучилась издеваться над людьми, злить чопорных немецких дам и девиц. А в конце концов всё же оставались тоска и скука, оставался нелюбимый, невыносимый муж.

Графиня много читала, продолжала своё художественное и литературное образование. Иногда по целым дням не отходила она от палитры и кистей или от музыкального инструмента. Это было ей в некоторую помощь, но ненадолго. Она всё сильнее и сильнее скучала, у неё появились мало-помалу настоящие капризы, действительное раздражение. Дол-

готерпеливый граф был теперь решительно недоволен ею. Её перевоспитание, её обращение в немецкую патриотку не удавалось, затягивалось...

Вот и король как-то в беседе с глазу на глаз хлопнул его по плечу и сказал:

— Nun, mein Keri, es geht nicht gut? Кажется, мы с тобою ошиблись?

Он только это и сказал, но граф отлично понял, в чём дело. Он вернулся к себе мрачным и целых два дня не видался с женою.

Но тут случилось следующее.

Король никому, кроме графа, не высказывал своей мысли. Граф со своей стороны, конечно, никому не поверял о своём разговоре с королём. Между тем у стен оказались уши, или, вернее, у придворных немецких людей оказалось необыкновенное чутьё. Не прошло и месяца, как графиня заметила в придворных дамах большую перемену в обращении с нею. Не прошло и двух месяцев, как ей со всех сторон была объявлена открытая война, как услужливые люди то и дело передавали ей о том, что говорят о ней дурного там-то и там-то.

Наконец и сам граф счёл нужным объяснить с женою. Невозмутимый и спокойный, как всегда, с почти неподвижными глазами и застывшим выражением в лице, он, подбирая самые вежливые выражения, объявил жене, что он недоволен ею и очень был бы рад, если бы она изменила своё поведение.

Графиня, не зная за собою ничего дурного, зная за собою только то, что она чересчур терпелива, что она слишком томится и страдает, что она лишена света и воздуха, возмутилась и потребовала от мужа с горящими почти ненавистью глазами, чтобы он не смел оскорблять её.

Он немного изумился, пожал плечами, а затем таким же спокойным тоном, как и начал, произнёс:

— Я ровно ничем не оскорбил вас, графиня, да я и не могу вас оскорбить, ибо я ваш муж, я забочусь только о вас, и повторяю, поведение ваше мне не нравится. Хотите знать, что именно мне не нравится, скажу: вы слишком легкомысленны, вы забываете ваше достоинство, забываете, что вы моя жена и что ваше имя и положение вас ко многому обязыв-

вают. Вы недостаточно уважаете тех людей, которых обязаны уважать. Вы слишком фамильярны с людьми, которых обязаны уважать. Наконец, мне очень тяжело говорить это, и я никогда не думал, что мне придётся это говорить, — вы слишком свободны с мужчинами... вас всегда окружает толпа молодёжи...

Он хотел было прибавить ещё что-то, но замолчал, поражённый выражением её лица, густой краской, прилившей к щекам её, и страстностью, с какой она поднялась и остановилась перед ним.

— Что?! — прошептала она, и негодование и злоба звучали в этом шёпоте.

Но вдруг она сделала усилие над собою, спокойно вернулась на своё место и презрительно усмехнулась.

— Нет, на вас решительно не стоит сердиться! — с таким неподражаемым презрением произнесла она, что даже ему стало неловко. — Я не уважаю людей, которых должна уважать? Но почему я их должна уважать? Я этого не знаю! Я фамильярна с ними, но я не понимаю даже, что вы подразумеваете под этой фамильярностью... или...

Она на мгновение остановилась, но затем спокойно продолжала:

— Я неприлично веду себя с мужчинами! Граф, подумайте, что вы говорите... подумайте хорошенько! Ах, Боже мой! — рассмеялась она. — Недостаёт того, чтобы вы начали ревновать меня... к кому?!

Граф беспокойно шевельнулся в своём кресле и гордо поднял голову.

— Я... ревновать? — произнёс он своими сухими губами. — Я вам не говорил этого и никогда не скажу. Граф Зонненфельд не может ревновать свою жену, и жена графа Зонненфельда никогда не может так низко пасть, чтобы подать повод к ревности.

Она хотела было зло улыбнуться, но не могла. В словах графа прозвучало что-то новое, какая-то незнакомая ей сила. Даже сама его почти невыносимая для неё фигура, его лицо с горбатым, покосившимся на сторону носом и бесцветными глазами — всё это вдруг преобразилось. Она никогда его таким не видала. И во всяком случае он показался ей так всё же интереснее.

Однако прошло мгновение — и он снова

превратился в прежнего графа.

Он встал и тихо сказал ей:

— Нет, ты не так поняла меня. Я пришёл вовсе не для того, чтобы ссориться с тобою. Подумай, мой друг, хорошенько о том, что я говорил и, может быть, ты сама увидишь и почувствуешь, что я прав.

— Я вижу и чувствую одно! — воскликнула графиня. — Я вижу и чувствую, что умираю от тоски и скуки!

И она залилась слезами, что с нею не было с самого переезда через русскую границу.

IX

Граф не мог понять причины тоски и скуки жены. Чего ей недостаёт? У неё, кажется, есть всё, чего только может пожелать женщина! Правда, ему мелькнула было мысль, что она тоскует по Петербургу, но он сейчас же и отогнал эту мысль.

В таком положении и настроении, в каком Елена теперь находилась, нечего было и думать везти её в Россию. Она не только не принесёт ему никакой пользы, но может даже причинить и большой вред. Он всё ещё не хо-

тел отказываться от своих надежд и планов и, особенно после слов короля, ему непременно нужно было доказать, что «они» не ошиблись. Ведь если он так ошибся — значит, он несостоятелен, а с этой мыслью он ни за что не хотел примириться.

«Она, верно, нездорова», — наконец решил он. Она свежа, полна, но всё же он подмечал в ней порою некоторые странности, как бы утомление. Да и самое её отдаление от него, её холодность, всё, на что он до сих пор не обращал внимания, он теперь приписывал болезни.

Наконец, ведь есть ещё одно очень важное обстоятельство: у них до сих пор нет детей, а между тем для него необходим новый продолжатель рода Зонненфельдов фон Зонненталь. И это обстоятельство он также приписывал её болезни, себе он не приписывал ничего. Он собрал лучших докторов. Но доктора в один голос решили, что у графини нет никакой болезни, хотя и существует, очевидно, некоторое расстройство. Ей нужна перемена, нужна спокойная жизнь вдали от придворного шума, деревенский воздух и спокойствие долж-

ны произвести на неё самое лучшее действие.

Граф даже удивился — как это сам не догадался об этом. Он объявил жене, чтобы она собиралась в дорогу, что они едут в замок Зонненфельд к его родителям. Елена выказала при этом известии некоторое удовольствие. Ей так надоел этот двор. Она сама почувствовала, что ей необходима перемена, всё равно какая.

«Да, под влиянием моей доброй матери я, наконец, достигну всего!» — подумал граф и, как в лучшие дни, самодовольно потёр свои красные руки и громко воскликнул «ja wohl!»

Он взял отпуск. Они в Зонненфельде. На этот раз старинный замок среди густого, векового парка понравился Елене. В первый год своего замужества она ездила сюда на две недели для того, чтобы представиться родителям графа, но то было зимой. Теперь же замок производил совсем иное впечатление. Весна была в полном разгаре.

Старушка графиня встретила невестку очень мило. Сын уже сообщил ей, что он ждёт от неё материнской помощи, что он намерен ей поручить жену и надеется, что своим доб-

рым влиянием она сделает из молодой женщины достойную графиню Зонненфельд. Он не жаловался на жену и не вооружал против неё мать. Он вообще никогда и ни на что не жаловался и никому ничего не поверял из своей внутренней жизни.

Старая графиня с большим удовольствием готова была приняться за предложенное ей сыном дело. Она находила, что с этого ему следовало бы начать. Два года упущено! Елена ещё так молода — ей всего только двадцатый год... Конечно, очень дурно, что она иностранка, но всё же ведь в ней немецкая кровь — это обстоятельство примирило графиню с невесткой. Елена почувствовала в старушке доброту и ласку и сердечно отозвалась на них. Она утомилась от своего душевного одиночества и отсутствия в окружающих её людях искреннего к ней участия и ласки. Что касается старого графа, то он был почти уже не человеком. Он плохо видел, совсем оглох и, видимо, впадал в детство. Да и лет ему было много — около восьмидесяти. Когда-то он играл видную роль при дворе. Он очень поздно женился, он вырастил и устроил един-

ственного своего сына, а затем почувствовал приступы старости и болезни и ушёл от всяких дел, ушёл на покой в свой родовой замок.

Первое время в деревне Елена отдыхала от городской жизни и, видимо, становилась спокойнее. Она почти не отходила от старой графини, когда была дома. Но она много гуляла по тенистому парку, часто делала большие поездки по довольно живописным окрестностям то в экипаже, то верхом. Она пристрастилась к верховой езде. Наконец, у неё был с собой запас книг, её краски и полотно, её музыкальные инструменты. В деревенской тишине она мало-помалу успокаивалась от злых раздражающих чувств, волновавших её при дворе, от маленьких интриг и сплетен, от недружелюбия и зависти. Она даже заинтересовалась хозяйством своей свекрови, перезнакомилась со всеми животными и птицами, наполнявшими замок.

Но долго эта тихая, однообразная жизнь не могла удовлетворять её. Прежде всего надоели животные и птицы. Лучшие виды окрестностей примелькались, поездки стали казаться утомительными. Всякий красивый уголок

парка был уже воспроизведён на полотне её быстрой и смелой, хотя несколько небрежной кистью. Книги перечитались. Ночи стали темнее; густая листва парка начала желтеть и осыпаться...

Между тем отпуск мужа кончился; граф должен был вернуться ко двору. Он предложил ей остаться ещё некоторое время с матерью.

Хотя осень в деревне, в этом тихом уединении замка, с каждым днём терявшего свою привлекательность, и не улыбалась ей, но там ведь, во всяком случае, было ещё хуже. А главное — он уезжает; она не будет его видеть, не будет чувствовать его присутствия; ведь это их первая разлука! Она с радостью согласилась.

Граф перед отъездом имел краткое объяснение с матерью: он просил сделать его женою такой, какою она должна быть. Старушка кивнула головой и проговорила: «Будь спокоен». Граф уехал полный надежд, а графиня-мать тотчас же приступила к исполнению своей задачи. Ненастные осенние дни, невозможность для Елены выходить и выезжать —

всё это само собою тесно сближало старушку с молодой женщиной. Теперь они по целым дням были неразлучны. Старая графиня взялась за дело осмотрительно, но всё же Елена очень скоро заметила, что попала в ученицы, что ей дают уроки с утра до вечера, что ею недовольны, хотят её переделать, хотят сделать из неё именно такую немецкую даму, на каких она уже довольно насмотрелась и над какими в душе уже даже слишком много насмеялась.

Вследствие таких открытий мало-помалу исчезло её искреннее и доброе отношение к свекрови. Она стала подмечать в ней такие смешные стороны, такие непонятные ей черты, каких до сих пор не замечала. В первое время назидательные беседы старой графини казались ей только забавными, но скоро они сделались для неё только утомительно-скучными.

Елена начала употреблять всевозможные хитрости, чтобы избежать свою однообразную собеседницу. Но старушка её всегда перехитряла и умудрялась всегда быть тут, при ней. Она увлеклась исполнением своих мате-

ринских обязанностей, потеряла всякую сообразительность, всякий такт и, как старый дятел, монотонно и неумолимо долбила да долбила...

Елена выказала большое терпение и большую сдержанность — качества, наследованные ею от матери и бабушки. Но чем больше она терпела, чем больше сдерживалась, тем сильнее её давила тоска, и ей становилось ещё хуже, чем там, при дворе. Она почти задыхалась. Даже её крепкое здоровье стало по временам изменять ей. Она побледнела и похудела.

Между тем граф писал ей, что по поручению короля отправляется в Швецию и вернётся не ранее как через четыре или пять месяцев. И писал он это накануне своего отъезда...

После этого письма прошло месяца два. Елена уже окончательно возненавидела свекровь, возненавидела всем существом своим. Да и не одна свекровь стала ей ненавистной, ей теперь представлялся отвратительным весь этот старый замок с его давящим однообразием, с его почтительной и преданной при-

слугой, с его животными и птицами. Она чувствовала, что если останется здесь долее, то уже не выдержит, что не сегодня, так завтра всё это кончится резким и грубым разрывом со старухой. Притом же она чувствовала себя действительно больною.

Она объявила старой графине, что больна и должна немедленно поехать в Берлин.

Старушка перепугалась и предлагала выписать каких угодно докторов. Поездку же Елены в Берлин она считала невозможной, так как не могла сопровождать её, не могла оставить мужа.

Но Елена настояла на своём и к великому неудовольствию свекрови уехала в Берлин... Доктора должны были сознаться, что ошиблись: деревня не поправила здоровья молодой графини, а даже, видимо, ухудшила. Три месяца Елена провела почти в полном уединении, никого не посещая и редко кого принимая.

Наконец граф вернулся из Швеции, очень недовольный, хотя, видимо, и спокойный. По обыкновению он сосредоточенно выслушал заключение королевского лейб-медика, состо-

явшее в следующем:

«Здесь климат вреден для графини, лечь ей нечего, ей нужно как можно больше впечатлений. Если она не поправилась в деревенском уединении, то должна поправиться на юге».

Граф думал три дня. Ведь, однако, она же на его, ведь, однако, он непременно должен иметь сына и наследника. К тому же он всё ещё, уже почти с болезненным упрямством, не хотел признаться в своей ошибке и упасть в собственных глазах.

Он взял дипломатическое поручение в Вену, а затем в Италию, и уехал с женою.

Х

Предсказание лейб-медика на этот раз оправдалось. Здоровая природа Елены, её молодость одержали победу над нервной слабостью, над тяжёлыми следами долгой тоски, раздражения и недовольства жизнью. Прекрасный климат, разнообразие новых впечатлений заставили молодую графиню восторжествовать. Она инстинктивно любила жизнь, хотела жить и жадно ловила все живые впечат-

ления, усиленно наслаждалась ими, страстно ими проникалась. Ей нужно было теперь только одно: чтобы муж оставлял её в покое, не отравлял её своей близостью, своим присутствием, своим холодным вниманием. Она почти достигла этого. Граф был всецело поглощён поручениями короля, сложными и серьёзными. В нём сильнее чем когда-либо говорила дипломатическая струнка, патриотизм и, наконец, самолюбие. Если даже и совершена ошибка, то ведь тем более он должен доказать королю, что может служить его целям с пользой, что вполне достоин доверия своего монарха.

Ему некогда было заниматься женою, и к тому же он был чересчур недоволен ею, чувствовал себя оскорблённым. Он признавал её неблагодарной.

«Das ist eine verdorbene Natur! — говорил он себе. — Это пустоцвет! Она многому училась, она и теперь много читает, она все умеет, но образование не принесло ей никакой пользы, она пуста. Ведь вот, она уже не ребёнок — ей исполнилось двадцать лет. Болезнь дай-то Бог, чтобы это была только болезнь, —

от болезни она скоро избавится, она снова расцветёт».

«Буду ждать, буду терпеливо ждать...» — кончал он свои мысли и поспешно отгонял их от себя, так как они невольно его раздражали. Он старался забыть и жену, и всю тревогу, которую она в нём поднимала. Эта тревога так не согласовалась с его характером, так портила ему жизнь, мешала ему всецело отдаваться тому, что он считал своим призванием. Упрямым усилием воли отогнав от себя наплывавший туман, забыв жену, он предавался своему делу. Он изучал тяжело и медленно, с большим трудом, но всё же основательно и добросовестно все тонкости политики европейских держав, все интриги дворов. Король был доволен его деятельностью, а ведь только это ему и было нужно.

Между тем Елена блистала в венском обществе.

Она вошла в моду, и хотя, конечно, не могла не возбуждать во многих к себе зависти и недружелюбия, но всё же это было не то, что при дворе Фридриха. Здесь она была гостья — сегодня она здесь, а завтра умчится далеко.

Венские дамы находили, что против её, хотя и чересчур ярких и обидных для них, но всё-таки временных успехов нечего принимать крутые меры.

В течение года своей деревенской жизни Елена как-то особенно развилась и созрела. Она была уже несколько иною, чем при дворе Фридриха, она уже иначе относилась ко всему, что её окружало. Она спокойно и беспристрастно вглядывалась в людей, в их отношения, характеры и нравы. Она начинала узнавать действительную жизнь, и ей бросались в глаза такие явления, каких она совсем даже не замечала в первое время своей брачной жизни. Теперь перед нею уже вставали вопросы о нравственной и общественной морали, о судьбе женщины в семье и обществе, о её действительных обязанностях и правах. Перед нею, наконец, встал роковой вопрос о правах сердца, о любви. В первый раз она сознательно отнеслась к своему сердцу и поняла, как пусто в этом сердце, как мало в нём тепла и счастья. Поняла она также не воображением, не холодными доводами рассудка, а всею кровью, всем существом своим, что ей

недостаёт этого тепла и света, недостаёт солнца. Она узнала, что не только может, но должна любить, что это её право, её назначение. Любовь — это солнце жизни. За что же она лишена его? Неразрешимая загадка встала перед нею. Да, она имеет право на любовь, но не имеет права любить. А если бы и имела это право, то кого и как ей любить?

До сих пор она только смеялась над всеми своими светскими поклонниками, иногда они её забавляли. Теперь она начинала в них вглядываться и их оценивать. Сразу вычеркнув тех, кто при первой же перекличке оказался недостойным её внимания и не мог ровно ничем заинтересовать её, она всё же очутилась лицом к лицу с довольно многочисленной толпой более или менее интересных, стоящих внимания людей. Каждый из этих людей (она не могла этого не чувствовать) глядел на неё особенными глазами. Каждый из них приходил в особенное состояние от малейшего знака внимания с её стороны и малейшей её улыбки. Она была слишком хороша и блистательна, чтобы могла быть иначе, слишком умна, чтобы на этот счёт ошибаться.

Она внимательно разглядела своих поклонников, и первый вывод, ею сделанный, был в их пользу. Все они от первого до последнего, оказывались несравненно интереснее, несравненно ей симпатичнее её мужа. С каждым из них она, наверное, была бы несчастлива, но достаточно спокойна.

Однако этот первый вывод, сделанный ею, не мог её заставить хоть сколько-нибудь серьёзно увлечься кем-либо. Для неё уже давно стало ясно и очевидно, что не только в Вене, не только в Италии, в Риме, где она уже прожила полгода, но даже и в патриархальном обществе берлинского двора женщины, за весьма малыми исключениями, очень легкомысленны, очень испорчены и легко смотрят на нравственность. Даже с виду необыкновенно чопорные, холодные и неприступные молодые дамы под сурдинкой позволяют себе все что угодно. Она знала много интимных историй, знала много самых грубых нарушений супружеской верности и видела, что все общественное мнение сводится единственно к требованию прятать концы в воду, не бросаться в глаза, не переходить известной,

очень тонкой, едва заметной черты, за которой начнётся скандал.

Перейти за эту черту, которую и разглядеть-то можно разве при особенно изощрённом зрении, — и не только действительный проступок, настоящее нарушение нравственности, но и всякая неловкость, всякая поправимая ошибка превращается в громадную вину и вызывают общественную кару. Оставаться в пределах этой черты — и даже преступление извиняется, можно делать что угодно безнаказанно, не вредя себе во мнении строгого общества, оставаясь на своём месте, со всеми своими правами и преимуществами. Ровно ничего не значит, что все шито белыми нитками и составляет *le secret polichinel*. Общество посмеивается, пожимает плечами, тихо-молком злословит, а всё же допускает, извиняет, смотрит сквозь пальцы. Тут взаимное молчаливое согласие в интересах друг друга, взаимные уступки.

Графиня Елена долго и серьёзно вдумывалась в это, вспоминала всё, что видела и слышала, и перед нею проходили минутные капризы, увлечения, ошибки, грубая безнрав-

ственность, обман и ложь. Но она не знала ни одного примера истинной, беззаветной и всепоглощающей страстной любви, того чувства, которому, как она думала и верила, многое и многое может проститься.

Она хорошо знала, что на её месте, в её обстоятельствах, большинство известных ей молодых женщин, не задумываясь, выбрали бы из среды своих поклонников более подходящего, увлеклись бы им, потом перешли бы к другому, к третьему — и оправдывали бы себя, и оправдали бы. Но она никак не была в состоянии поступать таким образом. Граф мог быть ею очень недоволен, мог считать её испорченной натурой, а между тем в ней было истинное и редкое качество: она сохранила в себе ту нравственную чистоту, то гордое чувство собственного достоинства, которое составляет высшую силу и прелесть женщины.

Она могла глубоко страдать от своей испорченной жизни, но не могла совершить того, что заставило бы её перестать уважать себя. Она чувствовала, что в таком случае была бы ещё несчастнее, что лишилась бы уже последнего своего достоинства. Она находилась

именно в таком положении, когда женщину легко увлечь, когда всего удобнее завладеть ею, когда у неё всего меньше средств для защиты. А между тем, несмотря на всё это, завладеть ею было очень трудно. Для того чтобы она забыла свою чистоту, своё чувство собственного достоинства и гордость, чтобы она на падение взглянула как на счастье, надо было заставить её полюбить всеми силами души, заставить преклониться перед человеком, признать его достойным всех жертв. Если бы она встретила такого человека, то и принесла бы ему все жертвы. Но такого человека она до сих пор не встречала, такого не было в окружавшей и силившейся её соблазнить толпе. Она была слишком тонка и художественно развита, слишком умна и слишком хорошо владела собою, чтобы ошибиться. К тому же ведь она знала, что такая ошибка будет для неё роковою, будет равняться смерти...

XI

Граф и графиня проводили осень в Риме. Кажется, никогда ещё ясное небо Ита-

лии не было так прекрасно, как в том году. Все художественные инстинкты пробудились в Елене. Всю свою неудовлетворённую страсть, всю теплоту своей души она отдавала царственной, окружавшей её природе и бессмертным памятникам искусства, когда-то созревшего среди этой природы. Рим представлял молодой, талантливой женщине много эстетических наслаждений. Она часто скрывалась от общества и проводила целые часы в музеях и древних развалинах умершего великого города.

Когда спадал дневной зной, нередко её экипаж останавливался у Колизея и она скрывалась в этих развалинах, и долго там оставалась одна, среди мёртвой тишины тысячелетних воспоминаний. Это были часы приятного забвения, отрывочных, причудливых мыслей и ощущений, часы истинного поэтического уединения.

В один из таких таинственных вечеров среди бледного мерцания, тепло и мягко лившегося с неба, графиня столкнулась с незнакомым ей человеком. Она и до того изредка встречалась в Колизее с разными путеше-

ственниками и путешественницами, но до сих пор ни разу между нею и этими встречаемыми не было произнесено ни одного слова. А этот незнакомый человек прямо подошёл к ней, заговорил с нею, и она ему отвечала.

Он был молод, не отличался выдающейся красотой, но его бледное и тонкое лицо, его светлые и блестящие глаза невольно произвели на Елену сильное и какое-то особенное впечатление. Потом, после этой первой встречи, она не помнила ничего, не могла себе представить ни его фигуры, ни его одежды. Но перед нею так и стояли неотступно его удивительные глаза.

Он заговорил с нею по-итальянски, предупредил её, что, обходя Колизей, он заметил несколько человек очень подозрительного вида, что на днях уже здесь был случай ограбления запоздавшего путешественника. Он советовал ей прекратить прогулку и вызвался вывести её из Колизея.

Она не испугалась, как-то даже не сообразила, что можно испугаться, и позволила ему проводить себя. Она приняла его за итальянца. Но вот в разговоре он сказал ей, что он

иностронец, что он русский. Она оживилась. Ей довольно редко приходилось встречаться с соотечественниками: граф очень искусно всеми мерами отдалял от неё подобные встречи; те же русские, с которыми она всё же встречалась, оказывались неинтересными.

Он назвал ей себя, но фамилия Заховинова ничего не сказала ей. Она не знала, никогда даже не слыхала ни о ком, кто бы носил такую фамилию. Он объяснил ей, что это немудрено, так как имя его ничем не знаменито, да и сам он постоянно живёт за границей, переезжая из страны в страну, из города в город. На её вопрос: «Чем он занимается?» — он очень просто сказал, что у него нет никаких определённых занятий.

Между тем разговор, помимо воли графини, завязывался. Она поинтересовалась узнать, где именно, в каких странах он путешествовал, и узнала, что он по целым годам жил в Германии, Англии, Франции. Он объездил всю Европу, был в Испании, в Греции, в Турции. Был он также и в Египте, да и мало ли где...

Он довёл её до экипажа, почтительно рас-

кланялся перед нею и исчез. Её застоявшиеся лошади рванули с места, и она успела только в знак благодарности кивнуть ему своей прелестной головкою. Она думала, что этот человек, которого она мысленно назвала «странным», появился перед нею на мгновение, что эта первая и последняя с ним встреча. Но с этого дня их встречи были довольно часты. Заховинов попадался ей то здесь, то там. Он интересовывал её всё больше и больше.

Наконец она пригласила его бывать у неё, и он воспользовался этим приглашением. Между ними установились совсем особенные отношения, каких у неё не было до сих пор ещё ни с кем.

Заховинов нисколько не ухаживал за нею. При посторонних он держал себя со скромным достоинством, даже старался как бы стусеваться, не обращал на себя внимания. Но вместе с этим он, видимо, чувствовал себя непринуждённо. И странное дело, никто не знал его, его общественное положение было неопределённо, а между тем он ни в ком из окружавших графиню не возбудил ни любопытства, ни изумления. Его присутствие у

Зонненфельдов было молчаливо принято и признано как свершившийся факт. Скоро Заховинов сделался членом самого интимного кружка графини, появлялся в её доме почти ежедневно, но на это никто, даже сам граф, не обращал ни малейшего внимания. Впоследствии это обстоятельство стало казаться Елене очень странным, оно было почти неестественным; но тогда, в Риме, она об этом совсем не думала, да и вообще она не задумывалась над своим новым знакомством и смыслом этого знакомства. Она просто пользовалась всем, что давал ей Заховинов.

Оставаясь с ним наедине (а и это случилось очень часто), она нетерпеливо и жадно вслушивалась в его рассказы, во всё, что он говорил ей.

Она не видела в его присутствии, как идёт время, будто читала самую интересную книгу. И в каждой новой главе этой книги она находила именно то, что могло заинтересовать её в данную минуту. Она свободнее и глубже думала с Заховиновым. Он будил в ней всё новые мысли; иной раз он заставлял её останавливаться над такими вопросами, о самом

существовании которых она прежде даже и не подозревала. Мало-помалу он начинал выводить её из материального мира, среди которого она жила. Он уводил её в иной, таинственный, мистический мир, полный великих грёз, светлых и смелых гипотез. Он говорил ей о тайнах мироздания, о чудесах природы, о могучих силах бессмертного духа. С каждым разом он поднимал её всё выше и выше, и она испытывала блаженное замирание всего своего существа на этой ослепительной, таинственной высоте, с которой то, что она до сих пор считала единственной «действительной» жизнью, казалось таким ничтожным, почти призрачным.

Он уходил — и долго она оставалась как в чаду, под обаянием слов его, и тяжело ей было возвращаться к действительности.

Он уходил, и она ждала новой встречи, но ждала без тоски — её вечная, всюду преследовавшая её тоска теперь затихла...

Как-то Заховинов пришёл к ней и объявил, что уезжает. Она даже как бы равнодушно отнеслась к этому известию, не придавала ему значения, просто не поняла его.

Она простилась с ним любезно и без всяких признаков душевного волнения.

Он сказал ей, что они скоро встретятся.

Она засмеялась и стала доказывать ему, что это невозможно, что он едет в одну сторону, а она в другую.

Но когда он ушёл, её тоска возвратилась.

Едва он исчез из её кружка, в этом кружке произошло нечто странное. О Заховинове заговорили, и заговорили недружелюбно... Его вдруг признали недостойным занимать то место, которое он занимал в этом избранном, высокопоставленном обществе. Кто он? Никому неизвестный, тёмный человек, без имени, без положения. Как он сюда втёрся? Каким образом на него глядели, как на равного?

Да и сама графиня задала себе вопрос: кто же он в самом деле? Но ей пришлось оставить вопрос этот без ответа.

Её тоска возрастала с каждым днём. И вдруг на неё налетела буря. Она сразу сделала то, о чём до сих пор и не думала.

Она пришла и объявила мужу, что не может больше жить с ним.

Граф остановил на ней свои бледные, ши-

роко раскрытые глаза. Он заставил её повторить. Он не верил ушам своим.

— Да что же это значит? Отчего? — растерянно спросил он.

XII

Сухое, жёлтое лицо графа побагровело. Бесцветные глаза его налились кровью, на лбу выступила жила, острый его подбородок как-то странно запрыгал. Он сидел не шевелясь и только почти беззвучно повторял:

— Что это значит?.. Я, верно, не так вас понимаю... объяснитесь, графиня!..

Она стояла перед ним во всей своей ослепительной красоте с побледневшим и застывшим лицом. Глубокие глаза её грустно, но в то же время решительно сияли из-под длинных чёрных ресниц.

— Я думаю, что говорю ясно и просто! — наконец произнесла она. — Один Бог знает, сколько я терпела, сколько я вынесла! Но я человек, а не камень... у меня сил больше нет... освободите меня, я не могу жить с вами.

Граф изо всех сил стиснул ручку кресла и спокойным голосом сказал:

— Что я вам сделал, в чём провинился перед вами? Я не знаю за собою вины. Но, быть может, между нами недоразумение... в таком случае надо его выяснить...

— Да поймите же, наконец, что я не люблю вас! — вырвалось у Елены.

Граф вздрогнул, ручка кресла хрустнула под его рукою. Но через мгновение он был опять спокоен, только на лбу его ещё сильнее выступила толстая жила.

— Вы не любите меня... вашего мужа?! Так скажите же мне опять-таки: за что, чем я заслужил это?

Она молчала.

— Разве я совершил какой-нибудь поступок, недостойный честного человека, недостойный моего имени? Или, может быть, я нарушил свой обет, может быть, я изменил вам? Что же вы молчите? Говорите... отвечайте!

— Мне нечего говорить, я уже сказала.

Даже огонь вспыхнул в его глазах. Порывистым движением он было приподнялся с кресла и опять упал в него.

— Так, значит... что же? — Вся краска

схлынула с его лица, и оно сделалось мертвенно бледным. — Значит, это вы недостойны имени, которое я вам доверил, которое я подарил вам перед людьми и Богом. Значит, вы допустили в себе какую-нибудь преступную страсть... и меня опозорили...

Он так и впился в неё. Он был страшен.

Теперь в свою очередь вспыхнула Елена.

— Нет, — сказала она, не опуская перед ним глаз, — я ничем не опозорила вашего имени. Я никакой преступной страсти в себе не допустила. Я не изменила вам, и вы должны мне верить.

Он глядел на неё, весь превратился в зрение. Он жадно и мучительно читал в её глазах. Наконец он ей поверил, не поверить ей было бы для него таким невыносимым ударом.

— Так что же? — растерянно воскликнул он.

— Граф, увольте меня от этого тяжёлого для вас и для меня объяснения, позвольте мне уйти... я вам все сказала... моё решение неизменно. Сделаем же всё это спокойно, мирно, без огласки... Граф, поймите, я ничего

не имею против вас, я знаю, вы честный и хороший человек... Благодарю вас за ваше внимание, я знаю... вы всегда мне его оказывали, благодарю за ваши заботы обо мне... Но освободите меня...

— Нет, не уходите! — властно сказал он. Он ничего не понимал. Он смутно начинал бороться за её рассудок. Что такое она говорит? Ведь это безумие, ведь это ни с чем не соотносимо.

— Не уходите и одумайтесь! Какое противоречие в ваших словах! Вы уверяете меня, что верны мне, — и я вам верю. Вы признаете, что я всегда был для вас внимательным мужем, заботился о вас, что я достоин уважения... и вы объявляете мне, что не можете жить со мною, требуете разлуки!.. Елена, жена моя, одумайся, садись, дай мне руку, успокойся...

Он взял её руку своей холодной, как лёд, рукою.

Но это его прикосновение, последние слова его, в которых она расслышала даже что-то похожее на ласку, подняли в ней целый ад. В одно мгновение перед нею встали все эти

пять лет мучительной жизни с этим чужим, теперь уже совершенно отвратительным для неё человеком. Она вырвала свою руку и, задыхаясь от негодования, произнесла:

— Да поймите же, наконец, что я никогда ни на одну минуту вас не любила!

— Что?! — воскликнул он, подымаясь с кресла. — Что?!.. Никогда не любила?!..

Она думала, что он убьёт её, — так он вдруг стал страшен. Но он только гордо поднял голову и окинул её презрительным взглядом.

— Никогда не любила! Но если это правда, как же вы смели выходить за меня замуж и меня обманывать? Разве я силой женился на вас, силой вас взял? Разве я унижался перед вами, вымаливал ваше согласие? Я сделал вам предложение — и вы его приняли тотчас же, с видимою радостью... Или я лгу? Не так оно было?

Она не смутилась под его презрительным взглядом.

— Это было так, но вы забываете одно: я была ребёнком... — Вам было семнадцать лет. Девушка в эти годы не ребёнок. Если бы вы были тогда ребёнком, вас бы за меня не выда-

ли замуж. Выходят и раньше этого. Вы были взрослая, созревшая девушка; кругом говорили о вашем уме, о вашем большом образовании... Если бы вы были ребёнком, я бы и не остановил на вас моего выбора, я бы на вас и не женился... Ну теперь, во всяком случае, вы не ребёнок. Отвечайте же мне, что вы сделали с моей жизнью? Теперь вы не ребёнок и должны понимать всё. За что я должен выносить этот позор, какого никогда ещё не случилось в моём роду?

— Позора для вас я не вижу тут. Это большая ошибка с вашей и с моей стороны — и только. Я не виню вас ни в чём, не вините же и вы меня. Я верю и понимаю, что вам теперь тяжело, но ведь и мне было тяжело целых пять лет... и согласитесь, что я слишком долго берегла вас. Верьте, я боролась до последнего... я не могу больше, не требуйте же невозможного, освободите меня, освободитесь сами... Мы не созданы друг для друга. Может быть, ещё не всё потеряно, вы ещё будете счастливы. Ведь вы меня тоже не любили, а если и любили, то теперь уж любить не можете...

Граф её не удерживал. Он остался недвижимый на своём месте, подавленный неожиданностью случившегося. В первый раз в жизни он совсем растерялся. Он понял, что всё кончено, разрыв совершился. У него нет больше жены. Да если бы теперь она и вернулась, он уже не может принять её после всего, что она сказала. Она нанесла ему сразу все оскорбления, какие только можно нанести человеку.

Нет, это ложь, что он не любил её, нет, он любил её, даже чересчур много. Он был слишком слаб с нею. Если бы он не любил её, то поступал бы иначе, не прощал бы ей её капризов, причуд, не выносил бы всего, что ему пришлось вынести и выслушать. Он не простил бы ей её пренебрежение к матери, не заботился бы о её здоровье, не устраивал бы ради неё так, а не иначе жизнь свою. И вот благодарность!

Граф искренно забывал, что он любил её, во всяком случае, не для неё, а для себя, что он любил её главным образом ради тех целей, достижение которых он наметил себе с её помощью, на которых стоял упрямо. Но как бы

то ни было, она права: он любил её, но теперь любить не может. Он никогда не забудет и не простит ей всех этих оскорблений, не простит как муж, а пуще всего как граф Зонненфельд фон Зонненталь.

Да, конечно, не пропадать же ему из-за этого позора! Да, это позор, но он должен выйти из него с честью. Не пропадать же ему из-за того, что он сделал непростительную глупость, доверив своё имя и свою жизнь чужеземке дикого татарского происхождения, неспособной понять и оценить всё, что для него свято и дорого, надсмеявшейся над всем, перед чем он преклоняется.

Граф запёрся у себя, никуда не выезжал до следующего дня и никого не принимал. Затем он вышел из своих комнат спокойный, с величественным, гордым видом и принялся за свою обычную деятельность. Он не хотел видеть графиню и переслал ей своё решение на письме.

Он писал ей, что согласен разойтись с нею, но не иначе, как разведясь формально. Он берётся устроить лютеранский развод, для которого не может встретить препятствий. Но она

православная, она обвенчана с ним не только в лютеранской, но и в православной церкви. Он советует ей немедленно ехать в Петербург и там решить это дело. С его стороны не будет никаких затруднений.

Графиня прочла это письмо, перечла его несколько раз и долго сидела неподвижно. А слёзы одна за другою так и катились из глаз её. Но это были её первые счастливые слёзы.

Конечно, она не стала мешкать с отъездом.

Через месяц она была уже в Петербурге, уже представилась императрице и получила надежду на скорое окончание своего дела. Остановка была только за неизбежными формальностями, и эти формальности затягивались вследствие медленности сообщений между Петербургом и Веной, где теперь находился граф.

Графиня Елена снова вошла хозяйкой в петербургский дом своего отца. Она застала этот дом в печальном запустении и беспорядке, но он всё же был ей мил и дорог. Ей казалось, что она проснулась после долгой болезни, после мучительного бреда. Ей казалось, что она снова вернулась к счастливым дням своего

детства и отрочества.

Она застала отца не по летам одряхлевшим, осунувшимся. Она почти не узнала этого красивого франта, победителя женских сердец, превратившегося в добродушного и тупого старика, который с видимым затруднением вникал даже в самые простые вещи.

Отец охал и ахал, слушая признания дочери. Но он решил, что всё к лучшему. Он рад был её видеть, так как чувствовал себя совсем одиноким и покинутым. А теперь, с её приездом, он уже не будет больше одинок. Теперь у него есть добрая сиделка.

XIII

Давно прошло то время, когда обстановка жизни самого богатейшего русского вельможи и сановника представлялась заезжему иностранцу тёмной и бедной, когда богатый и тароватый русский человек ютился в низеньких, крохотных покойчиках и довольствовался самыми незатейливыми вещами, зная, что даже и государь великий в своих царских палатах живёт немногим лучше его. Давно прошло то время, когда чудесною,

невиданною и неслыханною представлялась царская обстановка двора Алексея Михайловича, где появилось при сближении с Европою много чуждого, заморского.

Уже со времени Петра Великого европейские понятия о роскоши и стремление к этой роскоши стали проникать в русское общество. Великий царь любил для себя простоту и сам довольствовался малым, но и он находил необходимым не ударить в грязь лицом перед иностранцами.

Многие же из русских вельмож и государственных людей того времени жили очень широко и своею пышностью поражали даже иностранных резидентов.

В царствование Анны Ивановны роскошь двора и домов именитых русских людей была необыкновенна. Многие полагают, что временщик Бирон даже нарочно всеми мерами развивал эту роскошь и требовал от влиятельных русских лиц безумных расходов именно с целью разорить все богатые и известные русские фамилии.

При императрице Елизавете эти безумные траты на обстановку и на жизнь как бы

несколько сократились. Но это происходило не потому, что появилось в высшем обществе сознание ненужности таких трат, а просто все чересчур истратились, запутались в своих делах и поневоле должны были на некоторое время кое-где и кое в чём сокращать расход.

Но до каких бы размеров ни доходила роскошь высшего русского общества в первой половине восемнадцатого века, всё же в этой дорогостоящей жизни было много противоречий: рядом с чрезмерным блеском напоказ даже и не для особенно внимательного взора выступала неприветливость и неприглядность прежних грубых нравов и привычек. Часто бывало золото снаружи, а грязь внутри.

Только с воцарением императрицы Екатерины Второй высшее русское общество стало уметь жить не только богато, но и со всеми удобствами, выработанными жизнью в Западной Европе. Блеск двора Екатерины мог спорить только с французским двором и далеко оставлял за собою все прочие европейские государства. Как жила государыня, так старались жить и её приближённые, а равно и все богатые люди, считавшие себя принадлежа-

цами к высшему кругу.

Русская старина со всеми её тёмными и светлыми сторонами, со всем, что в ней было не только достойно порицания и требовавшего изменения, но также и со всем, что в ней было хорошего и своеобразного, что следовало сохранить в полной неприкосновенности, подверглась окончательному изгнанию и забвению. Французский язык стал модным и любимым языком общества, и вместе с этим языком вторглись и все заполонили французские моды. Русские люди высшего круга иной раз по виду представлялись всесовершенными французами, к счастью, только по виду, говору, привычкам и обстановке. В последние пятнадцать лет были обновлены, переделаны и перестроены до неузнаваемости не только царские дворцы, но и чертоги всех вельмож. Всё это сияло новым блеском. Европа то и дело отсылала в Петербург за дорогую, иной раз безумно дорогую цену лучшие произведения своей промышленности. Но этого мало — она высылала в Петербург и лучшие произведения своего искусства, своего гения.

Богатейшие русские дома начинали на-

полняться как старинными, так и современными картинами знаменитых иностранных мастеров, творениями знаменитых ваятелей. В русских домах появились дорогие коллекции, музеи, библиотеки.

По недавно ещё глухим, плохо застроенным и ещё плоше мощёным петербургским улицам возвышались теперь величественные здания, заключающие в себе настоящие сокровища всякого рода...

Богатство, роскошь, причуды утончённого вкуса!.. Но вот здесь, в этих чертогах, уже не богатство, не роскошь — здесь что-то почти невероятное, сказочное, далеко оставляющее за собою все ожидания, слухи и толки. В этом громадном жилище, в этом длинном ряде обширных зал и галерей веет каким-то особенным воздухом. Попав сюда, сразу переносишься в совсем сказочный мир, здесь забывается действительность, наплывает будто туман. Это не Петербург, это нечто заколдованное, существующее вне пространства и времени. Это дворец Черномора, это осуществление самой страстной, самой дерзновенной мечты тоскующего по земной красоте

воображения.

Всё, что может дать золото, которому нет и счета, всё, что может создать искусство человека, — все здесь собрано. Но собрано не в последовательности, не в порядке, не по выработанному плану. Напротив, здесь всякое отсутствие плана, здесь величайший, почти хаотический беспорядок. Но именно в этом хаотическом беспорядке и есть какая-то особенная, художественная и тонкая гармония. Неожиданные и смелые смешения самых разнообразных предметов, необыкновенное сочетание капризных форм — всё это и кладёт отпечаток сказочности на чудное жилище, всё это и поражает взгляд, очаровывает и смущает...

Кто же владетель этих богатств? Кто создатель этих волшебных чертогов? Кто сумел сочетать здесь блеск Запада с горячей фантастической роскошью Востока? Чья причудливая мечта нашла себе здесь осуществление, создала наяву горячую ночную грёзу? Кто здесь хозяин? — Потёмкин...

Мысль бытописателя, утомлённая всяческой злобою дня, любит порою уноситься в

прошлое и вызывать из глубины его бывшие полузабытые образы. В тихие часы уединения забывается настоящее со всем, что ему «довлеет», и пробуждённая память предлагает запас света, полученный ею из сокровищницы истории. И этот свет, проникая сквозь туман и мрак протёкших лет и веков, мало-помалу озаряет полные движения, полные жизни картины. Нужды нет, что картины те были, что люди, в них действующие, жили! В нашей власти снова оживить и воскресить их, ибо ничто из того, что было — не пропадает, не исчезает в природе.

Да, перед нами живые люди, действительные события, и только наблюдая их на вековом расстоянии, можно видеть их спокойнее и яснее, понимать их глубже и судить лучше, беспристрастнее.

Не тень и не призрак — Потёмкин. Он жив и ясно виден среди пёстрой, переливающей всеми цветами, блестящей жизни, его окружающей. От него отошло и рассеялось всё, что его затуманивало, всё, что было ему навязано плохо его понимавшими, чуждыми беспристрастия современниками. Он освобожд-

дён теперь от всего, ему не принадлежащего, и является таким, каким создала его природа. И влечёт он к себе невольно, этот чародей, этот могучий русский человек, один из славейших и достойнейших сынов России, великан — выразитель лучших качеств человеческого духа и интереснейших слабостей человеческой плоти.

Над его гордой и печальной головою ярко горит звезда, горит прекрасным, но переменчивым светом. То звезда его судьбы, звезда истинных избранников, любимцев природы. В ясных и чистых лучах её — победа, в кровавых — падение...

Чуял ли он её над собою, эту чудно прекрасную, заманчиво страшную звезду судьбы, когда выростал и креп для жизни в бедной смоленской усадьбе отца своего? Нет, он, конечно, был таким же ребёнком, как и многие другие дети, — бойким, понятливым, живым, но иногда и мечтательным ребёнком. Вряд ли думал он о своей звезде-судьбе и тогда, как отец привёз его, по шестнадцатому году, в Москву, определил в дворянскую гимназию, учреждённую при только что откры-

том тогда Московском университете, и в то же время зачислил рейтаром в лейб-гвардии Конный полк. Юноша был здоров и крепок, в молодом, сильном теле развивался сильный дух. Живость, любознательность, блестящие способности и удивительная память делали ученье лёгким и приятным. Золотая медаль за успехи через год, через два — поездка с директором университета в Петербург, представление в числе лучших учеников и студентов куратору университета Ивану Ивановичу Шувалову. Потёмкина с товарищами везут во дворец. Императрица Елизавета встречает их ласкою и приветом. «Для лучшего ободрения и поощрения учащегося юношества» их награждают чинами, хотя и оставляют в университете до окончания курса. Потёмкин пожалован в капралы. Он опять в Москве, на ученической скамье...

И вот тут, быть может, впервые юноша почувял звезду-судьбу свою, она озарила его всеми своими прекрасными, соблазнительными, переменчивыми лучами. Он сразу преобразился. Он понял или, вернее, почувствовал, что чудная звезда снова влечёт его туда, отку-

да он только что вернулся, туда — на чертоги роскоши, власти и славы, к самым ступеням трона. Он уже видел блеск и величие и не мог уже больше жить без них. «Всё это должно быть моим!» — страстно хотел он всем своим существом. «Всё это будет твоим!» — в нём и над ним шептал ему таинственный голос.

Он совсем перестал учиться, из первых стал последним. Зачем это ученье? Разве он не знает, что ему стоит только захотеть и без всяких трудов и усилий он будет знать всё, что угодно, станет учёнее первейших учёных? Но теперь ему не надобно университетской науки. Теперь он томится иною жаждой. Дух его страждет, и алчет, и жаждет, в нём кипит могучая борьба созревающих, рвущихся к деятельности живых сил. Что облегчит его, что успокоит, что его насытит? Не в забавах, не в разгуле, не в пьяном чаду ищет он утоления своей жажды, забвения тревог и мук своих — он ищет этого в вере, ходит по монастырям, беседует с монахами, читает священные книги, молится. Жаркая молитва, религиозные и философские размышления, духовный и мистический мир со всеми своими могучи-

ми и святыми образами, со всеми своими высокими вдохновениями спасают юношу от уныния и отчаяния, поднимают его в те области, где легко и свободно дышится его духу.

Но звезда-судьба жарче, яснее горит над ним, и настойчивее, соблазнительнее звучит таинственный голос: «Всё это будет твоим!» И он не в силах больше противиться влекущему зову. «Туда! В Петербург!» У него нет денег на дорогу — отец беден и высылает ему из деревни очень мало. Он идёт к московскому архиепископу Амвросию, говорит: «Я должен ехать в Петербург, там ждёт меня моя судьба!» Архиепископ не возражает, очевидно, не сомневается в словах юноши, находится под его обаянием, проникается мыслями его и чувствами и даёт ему на дорогу пятьсот рублей.

Потёмкин в Петербурге, принят в действительную службу в полк, произведён в вахмистры. У него нет ни денег, ни связей, ни знакомства. Но звезда горит над ним. Он сходится с молодыми людьми из лучших фамилий. Он становится горячим приверженцем великой княгини Екатерины Алексеевны.

Знаменательный день 28 июня 1762 года. Потёмкин в Петергофе, в числе окружающих государыню. Она принимает присягу от гвардии, подъезжает на коне, по-мужски, в мундире, к Конному полку. Она обнажает шпагу и вдруг видит, что на ней нет темляка. Это её смущает. Тогда молодой Потёмкин, который не спускает своих восхищенных глаз с государыни, во мгновение подъезжает и, ловким движением сорвав свой темляк, подаёт его Екатерине.

Темляк принят с ласковой улыбкой. Молодой вахмистр хочет отъехать, но его конь, несмотря на все усилия и боль от вонзаемых шпор, останавливается, как вкопанный, рядом с конём императрицы. Звезда-судьба горит ярко и пламенно и сливается с подобной же лучезарной звездой. Две знаменательные судьбы отныне сошлись, и с этого дня начинается почти волшебное исполнение всего, о чём неясно и смутно грезилось бедному московскому студенту...

С тех пор прошло семнадцать лет, и, кажется, ничего уж не осталось от прежнего Потёмкина. Теперь это первый человек в Рос-

сии, всесильный, могущественнейший вельможа, перед которым всё склоняется, трепещет. Один его знак — и решается судьба людей, изменяются почти уже совершившиеся события, «творится история». Почести, титулы, знаки отличия, богатство без счета и меры — всё, чего только может желать честолюбие и славолубие человека, всё это пришло к нему, пришло само собою, без усилий, почти без борьбы, достигнуто средствами, не смущающими его совесть.

Великая царица великой России приобрела в нём человека, себе равного, Россия приобрела в нём великого и славного работника. Он был прав, когда думал и знал в юные свои годы, что ему стоит захотеть — и он будет всё знать, стоит захотеть — и он всё сделает. Теперь он знал и делал всё, что надобно было его родине, её славе, крепости и могуществу.

Пройдут века, а значение славных подвигов и дел чародея Потёмкина не исчезнет, не забудется, ибо он делал именно то, что нужно для России.

Если проследить шаг за шагом его знаменательную, плодотворную и всестороннюю

деятельность, то естественно представится, что этот удивительный человек должен был работать не покладая рук, с утра и до позднего вечера, должен был всецело отдавать себя государственной работе. А между тем этого не было — он действовал по вдохновению, мгновенно, магически. На что другому потребовались бы месяцы, то он свершал в минуты и часы. Его озаряла счастливая мысль, и тотчас же, как по волшебному мановению, перед ним развёртывалась во всех мельчайших подробностях самая сложная и яркая картина. Он видел перед собою все обстоятельства, все комбинации, все неизбежные последствия дела, бывшего ещё за минуту перед тем чуждым ему и неизвестным делом. Он видел, а потому и не мог ошибаться.

А когда он видел и знал, что такая-то мысль, такое-то дело полезны и нужны для России, он хотел их немедленного осуществления. Он бессознательно владел тайною такого хотения, перед которым падают и исчезают все препятствия. Его воля была законом, но вовсе не потому, что он был временщиком, любимцем царицы. Его фавор кончался,

сердечное отношение к нему Екатерины изменялось, она бывала им недовольна, серьёзно на него сердилась, даже негодовала, хотела высвободиться из-под его влияния, не желала больше его слушать. Но он являлся со своей мыслью и волей — и могучая властительница Екатерина, твёрдо приготовившаяся с ним бороться, невольно уступала его мысли и воле.

При такой магической работе, при таких исключительных средствах у чародея оставалось много свободного времени, и пока не призывал его высший голос, требовавший его работы для России, он предавался лени, праздности, погоне за удовольствиями и томился.

Бывали дни, недели, когда он представлялся окружавшим лицетворением всех человеческих странностей, причуд и капризов, доходивших иногда до таких крайностей, что люди, не понимавшие его сложной, исключительной природы, имели все основания или опасаться за его рассудок, или считать его мелочным гордецом, опьяневшим от власти и могущества.

Сын смоленского помещика, почти нищий студент купался теперь в золоте, и никакая роскошь не могла удовлетворить его. У него то и дело являлись самые необыкновенные желания, и гонцы мчались за сотни и тысячи вёрст добывать для него какую-нибудь редкую вещицу, какое-нибудь странное кушанье и возвращались с требуемым им предметом тогда, когда он уж забывал о своём капризе и желал чего-нибудь иного.

Задавались дни, когда он вдруг исчезал для всех, никого не впускал к себе и бродил немый, полураздетый, с мрачным лицом по своим сказочно роскошным чертогам. Всё становилось тихо вокруг него, будто вымирало, и среди этой тишины раздавались только его тяжёлые шаги и глубокие вздохи...

XIV

Среди художественного беспорядка обширной комнаты, назначение которой определить было невозможно — такое в ней царствовало смешение самых разнородных предметов, на низеньком и широком восточном диване, окружённый мягкими, причудливо

расшитыми подушками, лежал Потёмкин.

Время близилось к полудню, но «светлейший князь» не думал о времени, забыл о нём. Неумытый, непричёсанный, в мягком шёлковом халате, в туфлях на босу ногу, он повёртывался то на один бок, то на другой, ища удобнейшего положения. Наконец он нашёл самое удобное, самое ленивое положение. Тогда он раскрыл книгу церковной печати, лежавшую рядом с ним, и устроил её на подушках так, чтобы без помощи рук она сама держалась на должном от глаз его расстоянии, чтобы её удобно было читать, не изменяя найденного ленивого положения. Устроив всё таким образом, он внезапно и всецело углубился в книгу.

Потёмкину исполнилось сорок лет, и года положили на него свой отпечаток. На открытом, своеобразно красивом лице его с длинным и тонким горбатым носом теперь установилось совсем особое выражение. В этом выражении, сразу поражавшем всякого и на всякого производившем сильное, неизгладимое впечатление, соединялись, по-видимому, самые разнородные, несоединимые свойства:

проницательность и рассеянность, гордость и простодушие, надменность и доброта. Но над всем этим преобладал ум, глубокий, ясный, блестящий, соединённый с могучей, всёпокоряющей силой.

Когда Потёмкин являлся среди толпы сановников и царедворцев в шёлку, бархате и золоте, усыпанный бриллиантами и звёздами, от него веяло почти царственным величием; взглянув на него, нельзя было ни на минуту усомниться в его исключительности и в его могуществе. Никто, как он, не умел одним взглядом уничтожить и стереть самого высокомерного о себе человека. Никто, как он, не умел одним взглядом оттолкнуть от себя или привлечь к себе. Каждый день, каждое его появление среди людей и соприкосновение его с ними доставляли ему новых врагов и новых поклонников. Но враги его пока были бессильны, а в поклонниках он не нуждался.

Тут, на этом диване, неумытый и раздетый, Потёмкин, конечно, был иным. Его большая и сильная, но слишком рано отучневшая фигура, не скрашенная блестящей одеждой,

заспанное лицо с резче выступавшими на лбу, около глаз и у рта морщинами, не могли не лишать его значительной доли обаяния и величия. Но всё же художник и теперь остановился бы с восторгом над его косматой, львиной головою и следил бы за игрой чувств и мыслей на его чертах, в его взгляде, углублённом в чтение.

Всё, что он почерпал из книги, очевидно, глубоко его интересовавшей, выразалось в лице его. Он читал сильное по духу и мысли творение одного из отцов церкви. Он начал с простого внимания к чужим мыслям, перешёл в сомнение, в недоверчивость, затем началась борьба духа с материей, материя готова была осилить и возмутиться; но внезапно дух восторжествовал: жажда правды, света, любви... молитвенные слёзы... скорбь о грехах и слабостях плоти... и потом вдруг откуда-то опять сомнение...

Потёмкин оставил книгу, запрокинул голову и закрыл глаза.

Когда он открыл их, то заметил в глубине комнаты человеческую фигуру. Тишина стояла полная, фигура не двигалась, и он сразу

узнал в ней своего секретаря. Он долго глядел на него всё ещё под обаянием далёкого от действительности, наполнявшего его мира чувств и мыслей. Наконец он произнёс сердитым голосом:

— Это ты, Фомич? Чего тебе?.. Что лезешь?

Секретарь, человек неопределённых лет, с неглупым костлявым лицом, вылощенный, олицетворявший собою скромность, умеренное подобострастие, но в то же время, очевидно, не очень легко терявшийся, тихо произнёс:

— Ваша светлость приказать изволили доложить о князе Захарьеве-Овинове... Они тут-с...

— Кто такой? — раздражённо переспросил Потёмкин.

— Князь Захарьев-Овинов... По приказу вашей светлости вчерашний день я приглашение писал... за собственноручным вашим подписом. Назначено явиться на сегодня и в сей час... А мне от вашей светлости наказано доложить немедленно.

Проговорив это, секретарь ждал, оставаясь неподвижным.

Прошла минута, затем другая.

— Да! вспомнил!.. зови! — наконец совсем сердито крикнул Потёмкин.

— Куда прикажете?

— Сюда... Что ж мне, одеваться, что ли?

Секретарь исчез.

«Вот ещё... очень нужно! — думал Потёмкин. — Отдохнуть, подумать не дадут... Царица просила не откладывая разглядеть этого нового князя из чужих краёв... Разглядеть без пристрастия, расспросить и доложить... Интересен очень показался... Эх, да мне-то это куда не интересно!..»

Мысль его о вчерашнем свидании с императрицей оборвалась, и он вдруг жадно схватился за книгу. Слово, другое, третье — фраза. Так и брызнуло от этой фразы таинственным светом. «Не здесь, а там! Здесь — тление, там — жизнь, правда, любовь...» Кругом всё так же тихо; но вот Потёмкин чувствует, что кто-то вошёл, что кто-то остановился в нескольких шагах от него.

Он с неудовольствием закрыл книгу, полуобернулся на диване и мельком взглянул на вошедшего.

— Князь Захарьев-Овинов? — произнёс он зевая.

— Да, я Захарьев-Овинов... я получил письмо ваше, князь, и в назначенный мне вами час, как видите, являюсь.

Слова эти были произнесены спокойным, ровным, как будто металлическим голосом, в котором не звучало никакого выражения, никакого чувства.

— Здравствуйте! — опять зевнул Потёмкин.

— Здравствуйте, князь! — прозвучал тот же невыразимо спокойный голос.

Потёмкин совсем повернулся, несколько приподнялся с подушек, спустил одну ногу с дивана, туфля с другой ноги упала на ковёр.

Теперь он с удивлением глядел на вошедшего. Он не удивлялся в нём обыкновенной молоджавости, о которой ему говорила императрица, его поразило нечто другое, поразило особенное спокойствие этого человека, и в этом спокойствии он сразу почувствовал гордую, самоуверенную силу.

Он никогда не видал таких людей, а теперь вот уже немало лет все склонялись пе-

ред ним и если не трепетали, то, во всяком случае, обдумывали каждый шаг свой, каждое движение, слово. Он привык, что каждая фраза, обращаемая к нему, непременно начиналась с «вашей светлости».

Так никто не входил к нему, не здоровался с ним, так никто не говорил ему. Он видел ясно и безошибочно, что этот человек не только не смущён, но чувствует себя как дома и что эта непринуждённость его совсем естественна.

Потёмкин заинтересовался не на шутку. И вдруг, сам того не замечая, он грузно поднялся с дивана, сунул свою босую ногу в валявшуюся на ковре туфлю, запахнул халат, подошёл к гостю и протянул ему руку. Его будто обожгло прикосновение нежной, почти женской, но сильной руки гостя.

— Прошу вас, садитесь! — сказал он, указывая на кресло.

Князь сел с лёгкой, едва заметной улыбкой, настолько лёгкой и едва заметной, что Потёмкин не мог решить, была ли она в действительности или ему только показалось.

Затем они несколько мгновений молчали

и пристально глядели друг на друга. Это была какая-то немая, страшная борьба без всякой враждебности. Наконец светлый, могучий взгляд гостя победил хозяина. Потёмкин опустил веки. На его щеках вспыхнула краска.

Но он сам себе не отдавал никакого отчёта в своих ощущениях.

XV

Захарьев-Овинов первый прервал молчание.

— Князь, — сказал он, — я приехал в Петербург, вызванный письмом моего отца. Отец мой болен, и хотя болезнь его не угрожает жизни, но параличом он прикован к постели. Он потерял почти одновременно жену и дочь три года тому назад, и это несчастье было причиной его болезни. У него оставался сын, единственный после него представитель старого имени князей Захарьевых-Овиновых. Теперь ровно полгода как жестокая горячка в несколько дней унесла этого тридцатилетнего человека, полного сил и здоровья. Вы его знали, князь, он служил под вашим начальством и пользовался, как мне кажется, вашим

вниманием.

— Да, я знал довольно близко вашего брата, он был способный и хороший человек, и я думал, что ему предстоит хорошая дорога, — произнёс Потёмкин, поднимая на собеседника свой уже успокоенный, полный всегдашней силы взгляд.

— Но суждено было другое, — продолжал Захарьев-Овинов, — отец едва перенёс это новое горе, но всё же перенёс его. Он остался совсем одиноким. Тогда он вспомнил обо мне, своём старшем, но непризнанном, незаконном сыне... Впрочем, он никогда не забывал обо мне, только мы не видались около пятнадцати лет... Он обратился к государыне с прошением о передаче мне всех прав и родового имени и титула. Государыня исполнила это желание. Я ничего не знал и был очень далеко. Письмо отца, извещавшее меня обо всём происшедшем, совсем изменило и значительно расстроило мои планы. Но я не мог отказать отцу в его настоятельной просьбе приехать... Я здесь и поэтому — ибо в природе нет ничего, что не вытекало бы одно из другого как следствие и причина — я нахожусь те-

перь в сфере неизбежных причин и следствий, образующихся уже помимо моей воли...

— Что вам угодно этим сказать? — довольно небрежно проговорил Потёмкин.

— Только то, что я уже сказал: единственным моим свободным действием — из нежелания оскорбить отца, из желания хоть несколько примирить его с судьбою и успокоить был мой приезд в Петербург. Всё последующее, пока не произойдёт чего-либо нового и серьёзного, пока я нахожусь в сфере влияния моего свободного действия, то есть приезда сюда, уже не моё дело, а дело обстоятельств, вытекающих одно из другого...

— Вы, государь мой, философ! — улыбнулся Потёмкин.

— А вы сами разве не философ?

— Да, и моя философия должна сказать мне, что всё ваше обстоятельное, философски повествовательное слово вы вели к тому, чтобы объяснить мне нижеследующее: приятно-стью видеть вас я обязан не вашему желанию, а только силе обстоятельств?

— Совершенно так.

«Светлейший» не хотел сердиться, но он решительно не привык к таким разговорам, и ему невольно становилось не совсем по себе.

— Я вас не держу, коли так! — неопределённым тоном проговорил он.

— Нет, князь, — и блестящий, смущающий взгляд Захарьева-Овинова остановился на Потёмкине, — нет, если я подчиняюсь обстоятельствам, подчинитесь и вы. Вы должны по обещанию, данному вами государыне, разглядеть меня хорошенько, расспросить и передать ей свои заключения. Исполняйте же это, а я буду помогать вам.

Потёмкин сделал быстрое движение и отбросил от себя подушку. В нём поднималась нервная возбуждённость, он начинал интересоваться, хотя и не мог ещё определить чем именно. Этот новый русский князь, этот бывший господин Заховинов, так не похожий на других людей, повторил сейчас слова государыни, которых не мог ни слышать, ни знать. Странная случайность!

Захарьев-Овинов между тем продолжал:

— Скажу вам прямо, ибо с вами я хочу говорить прямо: я подчинялся неизбежности

ехать к вам с некоторым неудовольствием. Но теперь я чувствую себя хорошо и доволен, что я у вас и с вами. Несмотря на то что я жил очень далеко и своей собственной жизнью, я в эти последние годы не мог не встретиться с вашим именем — оно слишком громко. Я не раз останавливался на вас мыслью, но долго останавливаться мне было некогда, и потому я плохо знал вас. Вижу теперь, что и вообще вас очень плохо знают...

«Странно! странно! — думал Потёмкин. — Что он такое говорит, как может он так говорить, и зачем я его слушаю? Это какой-то дерзкий маньяк... какой-то глупец с претензиями...» Однако он его слушал с всё возрастающим интересом и невольно любовался его лицом, прекрасным в своём ледяном спокойствии, его светлыми глазами, из которых изливались непонятные лучи. Его влекло к этому дерзкому маньяку, и в то же время он чувствовал в себе что-то как бы даже страшное.

Князь Захарьев-Овинов продолжал:

— Да, вас очень плохо знают... Но это так и нужно... таких людей, как вы, всегда плохо знают...

— Вы говорите, как будто вы-то меня вдруг, мгновенно узнали! — перебил Потёмкин и засмеялся. Но это был не самый искренний смех.

— Я теперь вас знаю, Григорий Александрович, — очень твёрдо и очень спокойно сказал Захарьев-Овинов.

«Григорий Александрович!» Кто же теперь осмеливается так называть его? Но Потёмкин этого даже и не заметил.

— Как же вы меня понимаете, государь мой?

— Я понимаю вас как очень несчастного человека.

Потёмкин ничего не сказал. Он весь превратился во внимание.

— Вы очень несчастный человек, — продолжал Захарьев-Овинов, — и сами хорошо знаете это. У вас есть всё, что вы считали за счастье, а счастья всё же нет и никогда не было. Ибо можно ли назвать счастьем краткие мгновения удовлетворённого самолюбия и гордости, преходящие в чувственные удовольствия? Всё это может быть счастьем для многих, но не для таких, как вы. Ведь вы знае-

те, что за такими краткими мгновениями всегда наступают часы и дни пущей тягости и томления... Достигнуто, выпито до дна — и ничего кроме горечи, ничего кроме сознания, что достигать не стоило! Так ли это, князь? Верно ли я понимаю?

— Верно, — мрачно произнёс Потёмкин.

— А если верно — значит, я не дерзкий ма-
ньяк, не глупец с претензиями, как вы меня
сейчас назвали!

— Помилуйте, князь, когда же я... так на-
зывал вас?

Лицо «светлейшего» побледнело.

— Всё равно — подумали.

Потёмкин порывисто встал с дивана и тяжёлыми шагами стал ходить по комнате. Брови его сдвинулись, на лбу выступила глубокая морщина. А в голову среди наплывавшего тумана так и стучало: «Что же это? Я сплю?.. Я брежу?..»

Странный гость говорил:

— Почему же вы несчастны? У вас есть всё, что имеет цену в глазах людей: того, что у вас есть, достаточно с избытком на целую толпу людей, жадных до земного блеска, почестей и

славы. Чего же вам надо? Чего вы ищете? Я жду ответа.

И Потёмкин ответил:

— Я не знаю, чего ищу, не знаю, чего мне надо; но мне надо чего-то — и я что-то ищу всю жизнь...

— Какое жалкое бессилие при такой силе! — воскликнул Захарьев-Овинов. — Как же вы, человек глубокого разума, не знаете, чего вам надо? Разгадка проста. Если ничто земное не даёт удовлетворения, не может напоить и насытить, если голод и жажда остаются те же, значит, надо искать пищи и питья не на земле, а где-нибудь в ином месте...

— На земле у человека есть обязанности, есть долг... назначение! — сказал Потёмкин.

— Правда, но я не хочу сказать, что вы должны покинуть землю, я только говорю, что и на земле не все — земля. И вы хорошо понимаете это, доказательством тому — эта читанная вами книга... Но не в книгах дело! Если вы хотите чего — умеете взять! Вы часто думаете, что вам всё доступно. Вам доступно многое, но вы захватили слишком много излишнего и ненужного, и эта ноша вас давит...

Сбросите ли вы её когда-нибудь? Погибнете ли под её тяжестью?..

Потёмкин тяжело дышал. В лице его изображалось смущение, тревога.

— Остановитесь! — глухим голосом произнёс он, хватая руку Захарьева-Овинова и крепко сжимая её своей сильной рукою. — Довольно!.. Это тяжело!.. Но кто же вы, читающий в душе человека, видящий его мысли? Откуда вы пришли, где научились всему этому?.. Кто вы?

— Я человек, которому ничего не надо... Так и скажите обо мне государыне...

XVI

Проходили минуты, прошёл час, уже кончался другой, а Потёмкин не замечал времени, увлечённый беседой со своим странным гостем.

Теперь он уже перестал смущаться необычностью этой беседы, перестал бороться с неожиданным влиянием на него человека, осмелившегося не только прийти к нему как к равному, но даже глядеть на него, «светлейшего, всемогущего Потёмкина», как-то сверху

вниз с какой-то дерзновенной, смущающей и непонятной высоты.

Привычка властвовать, повелевать, видеть как должное и естественное общее преклонение и подобострастие забылась. Потёмкин уже не думал о том, что он — Потёмкин. Он был теперь только человеком, глубоко неудовлетворённым в своей высшей жажде, томившей его всю жизнь, и жадно впитывал в себя странные, таинственные речи, казавшиеся ему именно той живящей влагой, какую он до сих пор напрасно искал. «Тот, кому ничего не надо», после первых минут борьбы сразу победил его, кому так много было надо и в ком так нуждались. «Маньяк» заморозил его и овладел всем его существом так же всецело, как овладел, даже помимо своей воли, юной и чистой душой «весталки» праздника в Смольном, как овладел томящейся по жизни и счастью душой красавицы графини Зонненфельд.

Потёмкин, наконец, забыл, где он, с кем. Он будто беседовал со своею собственной душою, от которой у него не было и не могло быть никаких тайн. Он переживал снова всю

свою внутреннюю жизнь и, останавливаясь на некоторых, особенно памятных ему, мгновениях этой жизни, вопрошал, требовал разъяснений. И всякий раз он получал эти разъяснения и оставался ими совершенно удовлетворённым. Он не имел теперь никакого сомнения в том, что тот, кого он вопрошает, знает всё, что ему нечего рассказывать, сообщать какие-либо подробности. Тот, кто говорил с ним, действительно знал всю его внутреннюю жизнь как свою собственную, только знал её глубже, совершеннее, чем он сам.

Когда наконец чары рассеялись и Потёмкин вернулся к материальной действительности, увидел себя среди знакомой обстановки, в халате и туфлях на босу ногу, а перед собою князя Захарьева-Овинова, ему показалось, что он только что проснулся. Что такое было всё это? Может быть, действительно, сон? Да и разве это не могло быть сном? Он уж почти хотел спросить об этом своего гостя, хотел перед ним извиниться, что заснул... Он взглянул на часы. Однако этот сон продолжался более двух часов! И гость всё здесь, он не изумлён нисколько; его интересное блед-

ное лицо с ясными, жутко блестящими глазами всё так же спокойно...

Нет, то был не сон! Но что же? И вдруг Потёмкин почувствовал, что не следует, нельзя останавливаться на этом вопросе. Да он и не имел силы на нём остановиться. Его поглотило другое ощущение, другое сознание: он, так многих презиравший, холодный, равнодушный, одинокий, и самого-то себя любивший как будто только по привычке из необходимости, полюбил этого странного человека всем своим мгновенно отогретым сердцем. Он будто возродился, будто вернулся ко дням своей мечтательной юности.

С него вместе с этой вспыхнувшей любовью спала вся тягость лет, почестей, славы, гордости, величия. В его любви была и нежность, и робость, почти поклонение. Произошла сцена, действительности которой вряд ли поверил бы посторонний свидетель. Но такого свидетеля не было и не могло быть — в апартаменты «светлейшего» никто не смел являться без зова.

Потёмкин раскрыл свои могучие объятия и с преображённым, прекрасным лицом при-

влёк к себе на грудь князя Захарьева-Овинова.

— Брат! — шептали его губы. — Тебе ничего не надо, но мне надо, чтобы ты был братом, чтобы ты спас меня от тоски, отчаяния и зла.

Захарьев-Овинов спокойно ответил:

— Да ты брат мне; но вряд ли я спасу тебя...

— Разве ты видишь мою неминуемую гибель?

И голос Потёмкина невольно дрогнул, и сердце его почти перестало биться в ожидании ответа.

Ответ был:

— Мы всегда стоим над бездной... один неверный шаг — и бездна может поглотить нас... и чем выше мы поднялись, тем гибель наша ужаснее. Я не могу спасти тебя, ибо не я повелеваю судьбою... Я могу только предостеречь тебя и предостерегаю: опасность близка, она стучится у раззолоченных дверей твоих. Тебе предстоит роковая встреча. Ты ещё раз обольстишь себя чарами женской красоты, забудешь, что такое эти чары и чего они стоят, что скрыто за ними... Но в самую опасную минуту я буду с тобою... Это я тебе обещаю...

Только захочешь ли тогда моей помощи?

— Князь, такая опасность, сдаётся мне, для меня не очень опасна? — сказал Потёмкин, и улыбка скользнула по его лицу.

— Ошибаешься и напрасно столь надеешься на свои силы: цепи, сплетённые из цветов, труднее разорвать, чем железные цепи.

— В таком случае, я буду ждать тебя, по твоему слову, в самую опасную минуту... А государыне так и скажу, что ты «человек, которому ничего не надо». Или нет, не скажу ей этого: она таких не встречает и не знает, а потому почувствует в тебе большую необходимость. Ты же должен оставаться вполне свободным. Так ведь?

— Если мне ничего не надо, то, значит, я равнодушен и к рабству, и к свободе. Делай, как знаешь, я полагаюсь на твой разум...

Они обнялись ещё раз, и князь Захарьев-Овинов вышел.

XVII

Перед подъездом «светлейшего» дожидалась карета, дверцы которой были украшены гербом с княжеской короной. Заха-

рьев-Овинов молча сел в эту карету. Кучер на мгновение замешкался, ожидая приказа, но так как приказа не последовало, он решил, что, значит, надо ехать домой. Воронье кони тронули быстро, ровною рысью, и минут через пятнадцать карета остановилась перед домом внушительного и барского вида. Старый почтенный камердинер, очевидно, дожидавшийся у входных дверей, стал было сходить с каменных ступеней, чтобы отворить каретную дверцу, но Захарьев-Овинов уже предупредил его и быстро поднялся по ступеням. Камердинер едва успел распахнуть перед ним тяжёлые дубовые двери и в то же время доложить:

— Их сиятельство изволили дважды вас спрашивать и приказали доложить вашей милости, что они ждут вас.

— Хорошо! — сказал Захарьев-Овинов, передавая свой плащ и шляпу камердинеру и направляясь к широкой парадной лестнице, ведущей во второй этаж, где находились парадные комнаты и где также помещался хозяин.

В доме царила глубокая тишина, да и вооб-

ще этот красивый, богато обставленный дом производил впечатление покинутого, опустевшего жилища. Здесь прошла смерть, унесла одну за другою три жизни, и это, как и всегда, чувствовалось, если только было кому отдавать себе отчёт в своих тонких, но тем не менее не мнимых, а действительных ощущениях.

Захарьев-Овинов прошёл обширную залу, где с белых лоснящихся стен глядели старинные, по большей части искажённые неумелой кистью, лики родовых портретов, прошёл ещё несколько комнат, откуда так и веяло на него следами недавно прерванной и чуждой ему жизни, и постучался у запертой двери.

— Кто там? — расслышал он изнутри.

— Это я, батюшка.

— Войди.

Он вошёл, и его взгляд остановился на старике, погруженном в огромное, обложеное подушками кресло. У старика было изнеможенное, жёлтое, как старый воск, лицо, с почти потухшими глазами, с чертами, уже, очевидно сильно изменёнными жизнью и страданиями, но всё же не лишёнными большой

привлекательности. Почти вся правая сторона тела старика была парализована. Нога совсем не действовала, рука с трудом поднималась. Несмотря на то что в комнате было жарко, почти душно, старик кутался в меховой халат.

— Здравствуй, сын, — произнёс он слабым голосом, кладя на стол книгу, читанную им перед тем.

Сын подошёл, наклонился и приложил свои губы к холодной, старческой руке отца.

— Я полагал, что ты уже давно вернулся, — заговорил старик, — и посылал за тобою. Ведь ты сказал мне, что съездишь только к Потёмкину. Где же ты был всё время?

— Я и был только у Потёмкина и теперь прямо от него...

— И то правда я чаю, у него народу видимо-невидимо не доберёшься до его новозданной светлости...

— Сегодня у него ни души...

— Так ты, что же, — всё время с ним беседовал? — как-то недоверчиво спросил старый князь.

— Да, всё время.

Отец поднял на сына свои потухающие глаза и долго глядел на него с неопределённым выражением. Несколько минут продолжалось молчание. Наконец старик прервал его

— Если тебе тяжело со мною, уйди, оставь меня, — сказал он, и голос его задрожал, и в этом голосе послышался вздох.

Сын придвинул себе кресло и сел рядом с отцом. Его спокойное и холодное лицо осталось неизменным, хотя он понял и взгляд отца, и вздох его.

— Батюшка, — произнёс он, — мне несколько не тяжело с вами, тяжело не мне, а вам, и я очень бы желал снять с вас эту тягость.

— Такними же её с меня! — и глубокое страдание изобразилось на старом лице князя. — С тех пор как ты со мною, мы ещё ни разу не оставались долго наедине... не было времени. Знаю я это... но сегодня я приказал никого не принимать... я хотел бы говорить с тобою и объяснить тебе многое... Да, сними с меня тягость... дай мне почувствовать, что меж нами нет никаких средостений... что ты

прощаешь мне своё прошлое.

— Батюшка, мне нечего прощать вам... я благодарен вам за все...

— Нет, не то это, не то! — внезапно оживляясь, забывая свою слабость, свои страдания, воскликнул старый князь, — это слова, я слышу их, но не чувствую...

Сын пристально, своим, как сталь, блестящим и холодным взглядом глядел на отца.

Старик продолжал всё с тем же возбуждением:

— Конечно, ты можешь, не зная многого, обвинять меня... Я никогда и ни о чём не говорил с тобою... мы не видались пятнадцать лет, да и последнее свидание наше было кратко. Ты мало знаешь меня, и я мало тебя знаю.

«Кто же виновен в этом?» — пронеслось в мыслях сына и замерло. Он слушал:

— Что было, того не вернуть и не изменить. Оправдываться перед тобой я не могу и не стану. Но я скажу тебе, как всё было. Давно, далеко это! Я был молод и жил одними лишь удовольствиями. Проказам моим и счёт терялся... Был близок ко двору. Покойница государыня Елизавета Петровна ко мне благо-

волила, и был я в её близком кругу ещё в трудное её время, при Анне Иоанновне... Повздорил я как-то с Алёшей, ну, знаешь, Разумовским... он, певчий, хохлёнок, зазнался больно предо мною. Я и отчестил его как подобало... Он бы и ничего, да нашлись другие... доложили. И получил я такое повеление: «Коль не желаю впредь лишиться милостей, отъехать мне в мою новгородскую вотчину Заселье, сидеть там смирно в одиночку, ни с кем не сноситься, одуматься, остынуть и ждать милостивого разрешения вернуться...» Вот я и отъехал, и сидел смирно, ни с кем не сносясь. Как ехал, думал помру с тоски да скуки. А не прошло и десяти дней — началась моя радость. В доме у нас, в Заселье, ещё при матушке вырастала Алёнушка, дочка покойного отца Никиты, нашего сельского священника. Помнил я её малым ребёнком, а как приехал тогда, вижу: девица красоты несказанной. И как взглянул я на неё, так с той самой минуты ничего другого кругом и не видел. Она и она, везде и во всём она! Полюбили мы — я её, а она меня — без оглядки, не разлучались ни на час один. И так шли недели, месяц, другой,

третий, прошло полгода...

Старый князь остановился весь преображённый. Он даже выпрямился в своём кресле, даже в тусклых глазах его загорелся огонь жизни. Лицо сына оставалось спокойным, только оно как бы слегка потемнело, как бы постарело даже.

Отец продолжал:

— Через полгода пришло ко мне писание за подписью: «Елисавет». Приказано прибыть. Я отписал, что болею... Через месяц новый приказ. Я опять пишу: «Болен-де зело, а как поправлюсь — буду». Ещё через месяц третий приказ, строжайший. Нельзя было не ехать. А разлучаться нам с Алёнушкой тяжело. Везти её хотел с собою, да надумал, что обождать надо... не таково было тогда её здорье. Тосковал я без неё в Петербурге и дни считал... Вот уже недолго!.. А тут гонец из Заселья: Алёнушка родила мне сына, а сама при смерти... Света я не взвидел. Добрая матушка наша Елисавета Петровна как узнала о моём горе, да его увидела, так сама меня послала в Заселье, а тебе крестной матерью быть вызвалась... Не застал я в живых мою Алёнушку...

Голос старого князя оборвался. Далёкое прошлое встало как живое. Глаза померкли, и из них по жёлтым высохшим щекам катились одна за другою слёзы.

Сын взял руку отца и держал её в своей, и тепло разливалось по старому больному телу. Это пожатие сыновней руки возбуждало жизнь, смягчало тоску.

— Вот и спадает тяжесть! Ведь так, батюшка?

— Спадает, друг мой! — прошептали бледные губы.

Сын продолжал:

— Да будет же навсегда кончена между нами беседа о прошлом. Всё, что вы можете сказать мне, я знаю... Вы любили мать мою... ей не суждено было жить — не ваша в том вина. Вам суждено было жить. Вы утешились, женились, воспитывали детей... Перенесли тяжкие испытания. Теперь исполнили свой долг относительно меня...

— Исполнил ли? Исполнял ли его как следует? — заговорил, снова одушевляясь, князь. — Не смею, не могу таиться пред тобою: до этих тяжёлых утрат, до этой моей бо-

лезни я очень мало о тебе думал. Судьба лишила тебя матери, но у тебя мог быть отец, а у тебя никого не было. Только теперь я понял это. Ты вырос на чужих руках, ты жил вдали от меня... на чужбине... я забывал даже иной раз посылать тебе деньги... быть может, ты и нуждался...

Сын улыбнулся и покачал головою.

— Я никогда не нуждался. Мне не в чем винить вас, батюшка. Знайте, что если бы я с рождения был князем Захарьевым-Овиновым и жил с вами, в этом доме, окружённый нежными заботами моих кровных, моя судьба была бы не в пример хуже. Знайте, что я доволен своею судьбою, и то, что для другого было бы зло и горе, для меня обращалось в благо...

— Твоя речь темна для меня и непонятна! — печально произнёс старик. — Да и сам ты мне непонятен. Я знаю, что ты имеешь большую книжную мудрость, большие познания, но я слишком мало знаю о твоей жизни... А хотелось бы знать, хотелось бы знать, отчего ты такой?

— Какой?

— Не такой, как все... не такой...

Но старый князь не мог уже окончить своей мысли. Сын встал и медленно поднял руку. Глаза отца закрылись в то же мгновение, он откинул голову на подушки и заснул крепким, спокойным сном.

XVIII

Ещё несколько минут Захарьев-Овинов держал свою руку над головой отца, и черты старого князя принимали всё более и более спокойное, какое-то даже блаженное выражение. Вот слабая улыбка мелькнула на старческих губах, вот жёлтые, иссохшие щёки покрылись лёгким румянцем. Старик сделал во сне движение и положил руку себе на сердце. Он прошептал что-то, но что — того нельзя было расслышать.

А в это время перед мысленным взором сына ясно и отчётливо рисовались картины... Ясные летние дни... вековые клёны и липы... воды широкой, быстрой реки... таинственная душистая глубина тёмного соснового бора... бледные вечера, полные неизъяснимой тишины, завораживающей душу... Свет и сиянье юной, доверчивой красоты... молодая лю-

бовь — земная, горячая, безумная и могучая, как вся эта природа...

«Переживай былое своё опьянение — оно всё же было самым сладким из всех твоих опьянений, переживай его снова и отдыхай от страданий бедной, износившейся плоти... вот тебе дар мой! — и он для тебя во сто крат драгоценнее, чем для меня всё то, что ты теперь дашь мне!»

Так подумал Захарьев-Овинов и, ещё раз устремив свой холодный, властный взгляд на спящего отца, вышел из комнаты. Он снова прошёл пустыми парадными покоем и спустился с лестницы в нижний этаж, в занимаемое им помещение. По приезде из-за границы в отцовский дом он сам себе выбрал эти три комнаты, небольшие и довольно тёмные, выходившие окнами в маленький, но густо заросший садик. Эти комнаты чуть ли не с самого основания дома никогда не были жилыми и всегда предназначались для приезжающих. Захарьев-Овинов выбрал их именно оттого, что они не были жилыми. Да и то он их три дня проветривал, держа окна настежь и приказав хорошенько топить печи, несмотря

на тёплую весеннюю погоду. Затем он сам по несколько раз в день окуривал каждую комнату каким-то очень ароматическим курением и опрыскивал все стены и всю мебель какой-то душистой зелёного цвета жидкостью. Теперь, несмотря на открытые окна, в комнатах стоял пропитавший всё несколько одуряющий и странный запах, очевидно, приятный и привычный хозяину. Захарьев-Овинов, придя к себе, снял в спальне своё нарядное одеяние и надел чёрный бархатный кафтан, бывший его любимой домашней одеждой. Затем он вышел в первую комнату, более обширную, чем две другие, и служившую ему для занятий, которым он с первого дня своего приезда посвящал немало времени. Здесь стоял большой дубовый стол; на столе несколько книг, шкатулка чудесной мозаичной работы, чернильница и пенал с гусиными перьями.

Захарьев-Овинов присел к столу, отпер шкатулку, вынул из неё объёмистую тетрадь и принялся писать.

Но не пришлось ему исписать и полстраницы, как в дверь раздался стук. Он поднял голову, прислушался, досадливое чувство

мелькнуло на его лице, но оно тотчас же и пропало. Он взял свою рукопись и спрятал снова в шкатулку. За дверью вместе с повторным стуком раздался голос:

— Князь, ваш слуга не виноват, я не допустил его докладывать... Коли заняты — скажите прямо, а коли можете — впустите меня к себе без церемонии... Узнаете мой голос?

— Узнаю, милости просим, граф! — ответил Захарьев-Овинов, подходя к двери и отпирая её.

Пред ним в золоте и регалиях, сиявший до вольством, стоял граф Александр Сергеевич Сомонов. Они поздоровались. Граф поспешно вошёл, будто боясь, что хозяин не впустит к себе, а попросит в парадные комнаты, тогда как он именно, даже не думая о своей назойливости, вовсе не бывшей в его характере, постарался проникнуть сюда. Быстрым любопытным взглядом в одно мгновение граф оглядел всю комнату. Но этот первый осмотр не мог удовлетворить его. Он не увидел ровно ничего необыкновенного и особенного, чего, по-видимому, ожидал.

Комната «нового князя» была самой обык-

новенной комнатой с тяжёлой кожаной мебелью, большим книжным шкафом и несколькими картинами по стенам. Вся эта обстановка, очевидно, была здесь и прежде, до приезда нового хозяина, и ровно ни о чём не говорила.

Захарьев-Овинов предложил своему гостю кресло.

— Зачем же вы меня обманули, князь? — начал граф Сомонов. — Обещались приехать ко мне третьего дня обедать, да и не пожаловали.

— Я сам очень жалел о том, — отвечал Захарьев-Овинов, — но в письме моём я изложил причины невозможности быть у вас: неотложные дела, связанные с моим новым положением, а также здоровье отца... Он с утра чувствовал себя очень дурно и просил меня не выезжать; весь день меня задерживали.

— Да, конечно, — протянул Сомонов, — я всё это понимаю и не претендую, только жаль, я так ждал вас... да и не я один.

Захарьев-Овинов улыбнулся.

— Вы чересчур любезны! Моё присутствие,

пожалуй, бы только испортило настроение и ваше, и ваших гостей. Потерял я, а не вы.

— Однако, князь, — перебил его Сомонов, — дело вовсе не в комплиментах. Мне и моим друзьям вы крайне нужны — и сами знаете почему.

Захарьев-Овинов ещё раз улыбнулся.

— В этом-то и дело, граф, что я не знаю, или, вернее, я знаю, что вы возлагаете на меня такие ожидания, каких я удовлетворить не могу.

Сомонов даже вспыхнул.

— К чему мистификации! — воскликнул он. — Ведь я не один год имел о вас известия. Да и вы же привезли мне из-за границы письма, тоже доказывающие, что я на ваш счёт не заблуждался. Я знаю, что вы занимаетесь великой и единой наукой природы, которая составляет высший интерес моей жизни, и я имею все основания предполагать, что в вас мы можем и должны найти человека для нас крайне нужного, по всем данным, опытного руководителя.

Захарьев-Овинов пожал плечами.

— Уверяю вас, граф, вы заблуждаетесь... Ве-

ликая наука природы! Мне незачем скрывать, что я вообще не чужд любознательности... Скитаясь по свету, я учился всему, чему мог, я искал встреч с учёными людьми, водил с ними знакомства, беседовал, поучался от них, немало с ними спорил. В числе моих знакомых и даже друзей есть франкмасоны. Я знаю, что вы всем этим интересуетесь, всякими мистическими вопросами. Слышал, а теперь убеждаюсь, что вы занимаетесь каббалистикой и вообще древними, давно отвергнутыми науками. Я всегда буду рад случаю беседовать с вами обо всём этом, так как вопросы эти и меня в достаточной мере интересуют... Но вот и всё. Я не могу принять на себя той роли, какую вам угодно придавать мне, не могу потому, что это не моя роль.

Сомонов пытливо глядел на него, но ровно ничего не мог прочесть в его холодном, неопределённо улыбающемся лице.

— Однако, — запинаясь, произнёс он, — как же это? Положим, в доставленных мне письмах нет указаний... но по прежним письмам...

— Что же, граф, говорили обо мне эти

прежние письма ваших заграничных корреспондентов?

Сомонов начинал волноваться. Он почувствовал себя в каком-то неловком, странном положении, «Зачем он меня дурачит, — думал он, — что нужно, чтобы заставить его быть откровенным?»

— В прежних письмах, — воскликнул он, — нас извещали о скором вашем приезде и обещали нам многое от вашего приезда. Я и небольшой кружок моих друзей, преданных общим интересам и занятиям, ждали вас, как манны небесной...

— Не меня вы ждали и не обо мне вас извещали, — совсем просто сказал Захарьев-Овинов.

— Как! — Сомонов не знал, что думать, он окончательно растерялся.

— В скором времени, действительно, должен сюда приехать тот, кого вы ждёте и о ком вам писали. Согласитесь же, что мне не пристало быть самозванцем и что вы, граф, ставите меня в неловкое положение.

Сомонов едва верил ушам своим.

— Кто же это должен приехать? — прошеп-

тал он, почти бессмысленно глядя на Захарьева-Овинова.

— Кто? Великий чародей, каким его считают многие в Европе... человек, имеющий много названий, но более всего известный под именем графа Калиостро.

При звуке этого имени Сомонов вскочил с кресла, и вместо неприятного смущения, в каком он до сих пор находился, на лице его изобразилась радость, чрезмерная, восторженная.

— Возможно ли это?.. К нам едет сам божественный Калиостро! — вскрикнул он, — *le divin Gagliostro!.. Dieu, quel bonheur!*

Захарьев-Овинов глядел на него серьезно и спокойно, но, очевидно, не замечал его, не слышал — мысли внезапно ушли очень далеко.

— Князь, вы его знаете? Вы с ним близко знакомы?.. Князь, да что же вы?

Захарьев-Овинов очнулся.

— Да... вы про Калиостро... нет, я не знаком с ним, никогда не встречался...

— Не может того быть!.. Я не в силах понять, зачем вам надобно от меня скрываться?

— Уверяю вас, что я с ним не знаком, ни разу не пришлось встретиться... по слухам же я, конечно, его хорошо знаю.

— И он сюда едет? Это верно?..

— Не едет ещё, но скоро приедет, если вы его позовёте... От вас зависит... только уверены ли вы, что его приезд вам нужен и принесёт какую-нибудь пользу?

Сомонов ничего не ответил, а только посмотрел на князя с сожалением.

— В таком случае пишите ему, приглашайте его, и я вам ручаюсь, что он не замедлит воспользоваться вашим приглашением... Но...

Захарьев-Овинов остановился, не докончив фразы, он видел, что всякое «но» теперь бесполезно.

— Я сегодня же, сейчас же буду писать ему... пошлю моё письмо с курьером, — взволнованно и уже сам с собою повторял Сомонов и стал поспешно прощаться.

Захарьев-Овинов проводил его, вернулся, запер дверь на ключ и снова вынул свою тетрадь из мозаичной шкатулки.

«Бабочки!.. мошки!.. — думал он, — так и

летят на свечу... и опалят свои слабые крылья... и погибнут... да и свеча сгорит и исчезнет бесследно, хоть и возжена была от вечного, животворного огня мира... Вам открыть великие тайны природы!.. Для вас нарушить священный обет молчания!.. Нет, не к вам я пришёл, и мне некуда вести вас... Перед вами я останусь в одежде, данной мне теперь, быть может, именно затем, чтобы вернее скрыть себя от очей ваших...»

Часть вторая

I

Огромное богатство, крепкое здоровье, привлекательная внешность, любовь к добру и красоте — всем этим благосклонная судьба в избытке наделила графа Александра Сергеевича Сомонова. С первых дней его жизни перед ним была расчищена широкая дорога всяких благополучия и наслаждений, всего, о чём бесплодно мечтают не только пасынки судьбы и природы, но иной раз и законные, истинные дети той же судьбы, той же природы.

Все сложилось так, что графу легко было не только самому жить привольно, весело и счастливо, но и разливать вокруг себя довольство и веселье. Врождённые склонности к этому его и побуждали. Придя в зрелый возраст и став обладателем огромного наследственного состояния, первые основы которого были положены не Бог знает в какой древности трудом его предка, вышедшего из русского крестьянства, граф озаботился прежде всего своим весельем и весельем своих ближних.

Ему пришло в голову выстроить на одной из окраин Петербурга роскошную дачу, окружённую огромным садом, где могли бы гулять и отдыхать не только его знакомые, но и вообще все жители Петербурга.

Граф любил искусства и был достаточно глубоким знатоком их. Он не только покупал в Европе художественные произведения, но и мечтал о русском искусстве. Присматривая русских талантливый людей и найдя человека, казавшегося ему талантливым, он всегда покровительствовал такому человеку. Так он воспитал и вывел в люди, между прочим, молодого способного архитектора, по фамилии

Воронихин. Этому-то архитектору он и поручил постройку своей дачи. Работа закипела, и на удивление всем быстро воздвигался огромный дом превосходной внушительной архитектуры.

Затем граф скупил смежные земли, покрытые густым леском, спускавшимся к самой речке, и менее чем в год мечта его осуществилась — запущенный лесок превратился в прекрасный, разбитый по плану того же Воронихина, сад.

В саду этом среди беседок, киосков и всяких живописных уголков, посвящённых отдохновению и мирной беседе, возвышались драгоценные скульптурные произведения, вывезенные из-за границы. Свободно пускаемая в графский сад публика могла дивоваться и любоваться на сфинксов, центавров, на огромные и грациозные мраморные вазы, наполненные душистыми цветами.

Посреди обширного пруда, окаймлённого ярко-зелёным бархатистым газоном, возвышалась гигантская фигура Нептуна с трезубцем.

По сторонам графской террасы сверкали

своей мраморной белизной чудной работы статуи, изображавшие Геркулеса и Флору Фарнезских.

В зимнее время графский сад бывал обыкновенно наглухо заперт. Но едва весна вступала в свои права, он отпирался и становился всем доступным. Летом граф жил вместе с двором в Царском Селе, но накануне праздников и воскресных дней он неизменно приезжал на свою дачу, и тогда здесь наступало с утра и до вечера великое пирование. Музыка всюду оглашала древесные своды. Петербургские жители стремились в графский сад и зачастую проводили со своими семействами весь день. Никакого ресторана тут не было, а между тем каждый мог получить и кушанье, и всякие крепкие напитки за самую дешёвую цену. Огромная графская дворня устроила себе из продовольствия посетителей весьма выгодное занятие. И кушанья, и напитки получались даром. То есть на счёт графа, и таким образом всякая, хотя бы и самая дешёвая плата, взимаемая с гулявших, была чистой прибылью для графской прислуги.

Насытись, напившись и наслушавшись му-

зыка, каждый мог идти к самой террасе дачи и присутствовать в качестве свободного зрителя на графском пиршестве.

Граф Александр Сергеевич и его многочисленные гости нисколько не смущались, превращаясь, так сказать, в актёров и становясь средоточием бесчисленных взглядов толпы. Эти взгляды ничуть не мешали им пировать и веселиться. С террасы несмолкаемо доносился смех, шумный разговор, оживлённые споры.

А весьма часто случалось и так, что по знаку добродушного хозяина вдруг раздавались звуки весёлой плясовой музыки. Граф посылал всем посетителям сада приглашение потанцевать на расчищенной площадке перед террасой.

Это приглашение тотчас же принималось, устраивались танцы и, наконец, кончалось тем, что сам именитый хозяин присоединялся к танцующим, предлагал руку первой приглянувшейся ему даме или девице и начинал с нею танец.

Популярность графа Александра Сергеевича была велика. В Петербурге его почти все

знали в лицо. Он приветливо отвечал на обращаемые к нему почтительные поклоны, ласково улыбался всем красивым женщинам, ласкал детей. Но в то же время никогда не терял он своего достоинства. Доброта, ласковость и простота его обращения, запанибратство с людьми самых различных классов общества нисколько не мешали каждому и каждой видеть и чувствовать в нём настоящего вельможу и уважать его. В то же время его простота и эти праздники, в которых он принимал участие, многим давали возможность обращаться к нему лично со всевозможными просьбами о помощи. Граф принимал все просьбы, и широкая его благотворительность иной раз граничила просто с расточительностью. Он помогал без всякого разбору, сыпал деньгами направо и налево.

Это, во всяком случае, давало ему возможность видеть довольные, радостные лица и знать, что он причиной этих радостей и довольства. Он находил, что не может быть жаль никаких денег, заплаченных за такие впечатления, и с добродушной улыбкой выслушивал замечания императрицы, упрекав-

шей его, что в конце концов даже и его громадного состояния не хватит на такие меценатовские причуды.

— Хватит, ваше величество, смею уверить вас, что хватит! — твёрдо повторял он и был прав: его состояния, добытого когда-то в недрах земли мозолистыми мужицкими руками, хватило не только на его век, но и на широкую жизнь его потомства...

Казалось бы, чего ещё было искать графу Александру Сергеевичу, как было не довольствоваться ему такой привольной, широкой жизнью? Но оказывалось, что всего этого ему было мало. Все давалось слишком легко, стоило чего-нибудь захотеть, и оно являлось как в сказке, «по щучьему велению». И вот повлекло его неудержимо к такому, чего нельзя было купить ни за какие деньги, чего не могли дать ни имя, ни положение, ни связи. Ему недолго пришлось задумываться над тем, что это такое, чего ему так хотелось. Он много читал и был сыном своего времени. А в его время было немало умов, настроенных мистически, томившихся и скучавших среди видимой действительности. Эти умы, увлекаемые

жаждой чудесного и не умевшие найти удовлетворения своей жажды в слишком для них высокой и великой чистоте и простоте христианского учения, вернулись к древним и средневековым мечтаниям, разыскивали остатки древних тайных наук и силились сдёрнуть покрывало с таинственного лика Изиды.

Занятия каббалистикой, магией, астрологией были в ходу. Встречались по всей Европе учёные и серьёзные люди, без всяких видимых признаков помешательства, глубоко верившие в возможность найти «жизненный эликсир», посредством которого можно продлить человеческую жизнь чуть ли не до бесконечности, и «философский камень», с помощью которого можно превращать грубые металлы в чистое золото. Эти люди посвящали всё своё время и все свои средства на «великое дело», то есть на алхимическую процедуру, в результате которой получались, однако, вовсе не «философский камень» и не «жизненный эликсир», а нечто другое, очень интересное, но всё же не удовлетворявшее искателей.

Рядом с людьми искренними и серьёзно увлечёнными являлось немало шарлатанов и грубых обманщиков, эксплуатировавших доверчивых любителей таинственного и обиравших их самым глупым образом.

Одновременно с «тайными» науками начали входить в моду и животный магнетизм, или «месмеризм», названный так по имени его провозвестника, немца Месмера, заставившего говорить о себе всю Европу...

Граф Александр Сергеевич Сомонов увлекался и «тайными» науками, и месмеризмом, и всякою таинственностью. Он и кружок его друзей делали всевозможные «опыты», разыскивали лиц, способных впасть в «таинственный сон». Про них, и главным образом про графа, то и дело в петербургском обществе рассказывали всякие истории, дававшие обильную пищу насмешкам. Императрица нередко забавлялась над тем, что граф «магнетизирует» дам и девиц и «варит из камней золото». Она даже задумала писать комедию, героем которой явился бы расточительный алхимик.

Граф ничем не смущался, всё больше и

больше увлекался своими таинственными занятиями и только ждал руководителя, великого адепта, который бы ввёл его и его друзей в храм Изи́ды и открыл бы для них лик богини природы.

II

Прошло около месяца с тех пор, как граф Сомонов приезжал к Захарьеву-Овинову и как тот сначала смутил его, а потом порадовал известием о скором приезде Калиостро.

Во всё это время в жизни Захарьева-Овинова, по-видимому, не произошло ничего выдающегося. Он, очевидно, делал всё, чтобы не обращать на себя внимания, не заставлял говорить о себе. Многие из старых друзей и родственников его отца, до сих пор едва знавших о его существовании и нисколько им не интересовавшихся, теперь очень желали знакомства и сближения. Старый князь, безнадежно больной, того и жди, умрёт. Этот новый сын — единственный наследник его большого состояния, единственный узаконенный теперь носитель его старого имени. После милостивого внимания, оказанного ему государы-

ней, не о чем более задумываться. Сразу и молчаливо, как бы по данному знаку, всеми было решено забыть прошлое, признать нового князя своим родным. Особенно женщины, и главнейшим образом молодые женщины, сильно заинтересовались молодым князем. Ему стоило только отдаться течению, и он сразу стал бы самым модным человеком в Петербурге. Но он вовсе не хотел этого и в первое время легко мог скрываться, не обращая внимания на это, не возбуждая толков. Тяжкая болезнь отца, с одной стороны, летнее затишье — с другой, позволяли ему не бывать в обществе.

Потёмкин не звал его больше к себе, а государыне доложил о нём в таком духе, что это человек действительно интересный и учёный, что его, конечно, можно с большою пользою приурочить к какому-нибудь делу, но до осени, ввиду семейных обстоятельств, недавнего приезда и всяких домашних дел, надо оставить его в покое.

Императрица не возражала.

Таким образом, Захарьеву-Овинову была предоставлена полная свобода, и он пользо-

вался ею в том смысле, что все дни проводил в своих трёх комнатах или в маленьком садике за чтением и письмом. Впрочем, часа три, четыре в день он бывал с отцом. Старик дал ему все нужные объяснения, сдал ему все дела, счета и расчёты, передал ему все фамильные документы. Иногда между ними завязывался разговор, иногда сын своим металлическим голосом рассказывал отцу очень интересные вещи о своих путешествиях по разным странам. Старик слушал внимательно, с видимым интересом, задавал вопросы. Но едва эти вопросы касались личной, внутренней жизни сына, обстоятельств его личного прошлого, неизменно происходила одна и та же сцена: по едва заметному мановению сыновней руки, по первому властному сыновнему взгляду старый князь засыпал на несколько часов и пробуждался подкреплённый и оживлённый, но совершенно забыв разговор, предшествовавший его внезапному сну, забыв на некоторое время своё горячее желание проникнуть в прошлое сына...

Был конец июня. Захарьев-Овинов получил от графа Сомонова приглашение на его

дачу. В приглашении этом значилось, что тот, кого так ждали, приехал и временно остановился у графа. Граф заканчивал свою записку так: «Льщу себя надеждой, что уже никакие обстоятельства не помешают вам быть у меня и насладиться беседой нашего знаменитого, столь долгожданного гостя».

Захарьев-Овинов, прочтя эту записку, покачал головою, но решил, что поедет. Он даже на мгновение вышел из своего холодного спокойствия и почувствовал, что завтрашний день его несколько интересует. В назначенный час его экипаж остановился у ограды сомоновского сада. Погода стояла довольно свежая и ненадёжная. С утра поднявшийся ветер наносил тучи, и вообще в воздухе чувствовалось приближавшееся ненастье; поэтому, несмотря на праздничный день, графский сад не представлял обычного оживления. Гуляющие встречались, но их было немного.

Да и сам дом не имел своего постоянного открытого, так сказать, сквозного вида. С первого взгляда можно было заметить, что в этом доме совершалось нечто исключительное и важное. Даже графская прислуга каза-

лась довольно торжественной и важно настроенной. Многочисленные экипажи на обширном дворе указали Захарьеву-Овинову, что он будет присутствовать на очень многлюдном пиршестве и собрании.

Так оно и оказалось. В приёмных комнатах он застал толпу гостей — мужчин и дам. Многие из них его уже знали, и появление его было замечено.

Он обменялся любезными приветствиями со знакомыми и спешил вперёд, к ожидавшей его встрече — не с хозяином, не с «божественным Калиостро», ради которого собралась эта жадная до новых впечатлений толпа, он теперь забыл и хозяина, и Калиостро. Он ощущал, отчётливо и ясно, присутствие кого-то, кто был соединён с ним тайными и крепкими узами, быть может, гораздо более тайными и крепкими, чем это ему самому казалось.

«Она здесь! — подумал он. — Значит, пришло время нам встретиться снова... значит, именно теперь я ей нужен... Да, конечно, именно теперь, именно сегодня...»

Графиня Зонненфельд, стройная и прекрасная, шла к нему навстречу. Но она ещё не

заметила его, взгляд её глубоких глаз не то задумчив, не то рассеян.

— Графиня, — проговорил он, и в его голосе прозвучали, казалось, несвойственные ему мягкость и даже ласка.

Она остановилась. Глаза её вспыхнули. Что блеснуло в её взгляде — испуг или радость?

— Господин Зах... князь! — с лёгкой улыбкой сказала она, протягивая ему руку. — Я думала, что вы уже уехали, что вас нет здесь...

— Вы этого не думали, графиня...

— Во всяком случае, я хотела так думать... Отчего я вас нигде не встречала?.. Отчего вы не навестили меня, вашу старую знакомую? Разве вы не знали, что я буду рада вас у себя видеть?

— Нет, я знал, что вы будете рады меня видеть, — спокойно отвечал он, — но до сих пор я вам не был нужен... И у меня, и у вас были свои дела... Вы должны были окончить развод, и это вас поглощало, вы только об этом и думали. Я не хотел мешать вам, а быть вам хоть сколько-нибудь полезным в таком деле не мог...

— Да, вы правы... правы, как и всегда, — задумчиво сказала графиня, — но теперь мои дела кончены... я...

— Вы свободны, — перебил её Захарьев-Овинов, — вы можете успокоиться... хладнокровно взглянуть на прошлое и подумать о будущем... Или, быть может, вы не хотите о нём думать?

— Я ещё не имела времени решить этот вопрос... Этот месяц прошёл так быстро, в хлопотах... я его не видела!

Он взглянул на её чудно прекрасное, полное какой-то особенной благородной прелести лицо, взглянул в её глаза, из глубины которых ему виднелся заманчиво разнообразный, полный неразгаданных ещё тайн мир её томящейся души, и выражение участия, сострадания, жалости мелькнуло и исчезло на его холодных чертах.

— Да, время идёт быстро, — сказал он, — быть может, даже слишком быстро для вас — и надо им пользоваться. Вы теперь как в тумане, вы сами себя не осознаете... не осознаете, что значит, какой смысл имеет эта полученная вами свобода...

— В таком случае придите ко мне и объясните. Ведь там, в Риме вы многое мне объясняли и объяснили... с тех пор у меня немало явилось вопросов и, я думаю, только вы их можете решить. Придите ко мне и взгляните, как я теперь живу... Я живу лучше, чем в Риме, спокойнее, тише...

Она остановилась и посмотрела на него с таким выражением, какого было трудно ожидать от этой светской красавицы, привыкшей встречать всеобщий восторг и поклонение. Это было то самое выражение, с каким испугавшиеся и заблудившиеся дети глядят на человека, явившегося для того, чтобы успокоить их и привести домой... Дети глядят прямо в глаза, всецело покоряясь, всецело доверяясь — и протягивают руки без слов, говоря: «Бери... веди...» И тот, кто берёт и ведёт, принимает на себя всю ответственность за беззаветно покорившуюся ему, передавшую ему себя детскую душу.

Так и бывшая графиня Зонненфельд протянула руку Захарьеву-Овинову, и её глаза ему сказали: «Бери... веди!»

Он без смущения принял её руку и прого-

ворил:

— Я скоро теперь приду к вам.

Она отошла, и в дверях соседней комнаты он увидел заметившего его и направившегося к нему хозяина.

III

Граф Сомонов был в возбуждённом состоянии. В нём замечались и озабоченность, и радость, и восторженная торжественность — все вместе.

Он крепко сжал руку Захарьеву-Овинову и шепнул ему:

— Как хорошо, что вы приехали вовремя, мне необходимо нечто сообщить вам... Прошу вас, следуйте за мною, пока меня не задержали.

Он провёл князя в комнату, где никого не было, запер за собою дверь и взволнованным голосом начал:

— Скажите мне, Бога ради, князь, вы кому-нибудь, кроме меня, сообщали о скором приезде в Петербург графа Калиостро... и вообще с кем-нибудь говорили о нём?

— Кроме вас ни с кем не говорил и никому

не сообщал. И вообще мало с кем всё это время виделся.

— Слава Богу, — перебил его граф Сомонов, — впрочем, я так и думал, вы лучше чем кто-либо знаете, что в делах подобного рода следует быть осторожным. О существовании графа Калиостро, кроме меня, моего друга Елагина и ещё двух человек, здесь никто не знает. Я сегодня буду представлять моим гостям иностранца графа Феникса с его супругой... Понимаете, он — граф Феникс, а не Калиостро. Так надо... это его желание. Под этим именем он путешествует.

— Я это знаю. Он и в Курляндии, где был недавно, так назывался, — сказал Захарьев-Овинов.

— Ну да, ну да, и мы должны оберегать его от всяких случайностей и всяких неприятностей, свято хранить его тайну.

— Такая тайна, граф, небольшой важности. Если Калиостро желает называться Фениксом, имея на то какие-нибудь причины или даже вовсе их не имея, — это его дело. Что же касается до неприятностей, могущих с ним быть, мне кажется, нам нечего заботиться

оберегать его и охранять — человек, столь могущественный, как Калиостро, или Феникс, сам может охранять не только от неприятностей, но и от всякой опасности.

Сомонов пристально взглянул на князя.

— Да, конечно, — проговорил он, — только, извините меня, но в вашем тоне, к моему изумлению, я замечаю нечто, как бы почти враждебное знаменитому человеку, к нам приехавшему. Скажите мне, что я ошибаюсь!

Захарьев-Овинов улыбнулся.

— Конечно, ошибаетесь, граф, — сказал он, — никакой враждебности во мне нет и быть не может. Я заинтересован графом Фениксом не менее вашего, и был очень доволен, получив ваше приглашение. Но скажите, что вы сами думаете об этом человеке? Вы, конечно, уже успели разглядеть его?!

Граф Александр Сергеевич внезапно оживился, лицо его приняло почти даже вдохновенное выражение.

— О, какой это человек! — воскликнул он, — да что об этом толковать — сами судить будете... Он приехал уже с неделю, но просил дать ему возможность отдохнуть и оглядеть-

ся. И он приехал не один ведь, а с женою, графиней Лоренцой... Боже мой, какая женщина! Какая в ней необычайная прелесть! Она воистину достойная супруга своего божественного мужа!

— Что же вы знаете о его планах? Долго ли он здесь останется?..

— По счастью, долго. Сегодня он разрешил собрать всех, кого я более или менее считаю способными интересоваться не одной грубой материей. Он обещал показать нам нечто такое, чего мы ещё не видали. Но, конечно, понимаете, это только первое начало... Не станет же он всем открываться! Он просил созвать как можно больше гостей, мужчин и дам. Из всех собравшихся он сам изберёт тех, кто достоин видеть большее. Из этих избранных потом окажутся достойнейшие. Таким образом, естественно, само собою, образуется действительная цепь. Я вам говорю всё это, так как знаю, что вы окажетесь одним из звеньев этой цепи...

— Отчего же вы так полагаете, граф? — сдерживая улыбку, спросил Захарьев-Овинов.

— Оттого, что я уже говорил ему о вас, за-

интересовал его вами и он сказал мне, что будет очень рад с вами познакомиться и что надеется найти в вас друга и человека преданного, полезного делу. Однако, не пора ли...

Граф Сомонов поспешно вынул из кармана своего камзола часы и решил:

— Пора! Остановитесь, князь, в зелёной гостиной и дождитесь меня, я хочу, чтобы вы один из первых познакомились с графом Фениксом и очаровательной графиней.

— С большим удовольствием исполню ваше желание! — с поклоном ответил Захарьев-Овинов.

Они вошли в зелёную гостиную, и Сомонов поспешно скрылся.

В гостиной из соседних комнат то и дело появлялись, но почему-то тотчас же и скрывались, мужчины и дамы. Никто из них, казалось, не замечал Захарьева-Овинова, присевшего к окну и задумчиво глядевшего прямо перед собою в глубь сада.

Мысли «нового» князя улетели далеко. Ему представлялась мрачная комната старинного замка в южной Германии. Он видел ветхие, покрытые пылью веков фолианты с начер-

танними на них странными знаками, таинственными иероглифами, цифрами, формулами и символами. Два старца объясняли ему эти знаки, открывали ему смысл цифр и символов.

Как звон торжественного благовеста над ним звучали слова: «*Omnia cum pendere, numero et mensura!*» Таинственные знаки превращались в светлые мысли, в живые силы и открывали ему, поражённому, исполненному блаженным трепетом, дивные, вечно неизменные тайны природы. Часы, дни, недели проходили в стенах старого замка, и он не замечал жизни и не нуждался ни в каких впечатлениях внешнего мира. Беседы ветхих, почти безжизненных, но сильных разумом и знанием старцев составляли все его существование, насыщали его и укрепляли. И когда он покинул старый замок, то почувствовал себя новым человеком, и весь мир представлялся ему новым, не имеющим ничего общего с тем миром, какой ему был знаком прежде.

«И ты был там же! — подумал князь, возвращаясь к настоящей минуте. — Был в той

же великой школе! Погибший брат! Покажись, дай мне взглянуть на твоё падение!»

Как бы в ответ на эту мысль его одна из дверей зелёной гостиной растворилась и пропустила хозяина в сопровождении того, кого Захарьев-Овинов назвал «погибшим братом».

Это был человек лет тридцати, хорошего среднего роста и крепкого сложения, склонный к полноте, но быстрый и ловкий в движениях. Черты его лица, хоть и не отличавшиеся правильностью, были, однако, очень привлекательны. Широкий умный лоб, огненные глаза, в которых светилась проницательность, быстрота мыслей и большая сила, — всё это не могло не обращать на него общего внимания, не могло не выделять его сразу из толпы.

Человек этот так и сиял золотом и драгоценными камнями, но в то же время вовсе не казался чересчур нарядным. Блеск и богатство шли к нему, как-то сливаясь с ним, составляли с ним нечто общее, нераздельное. Его даже трудно было себе представить в скромной одежде, без золота и бриллиантов.

Рядом с ним, опираясь на руку Сомонова,

грациозной и лёгкой походкой, будто едва касаясь пола скрытыми под драгоценными кружевами платья, но, наверное, прелестными ножками, появилась молодая женщина лет двадцати четырёх. Её нельзя было назвать красавицей, но нельзя было также не залюбоваться ею с первой же минуты. Она казалась воплощением той очаровательной женственности, которая неизмеримо прелестнее строгой и правильной красоты. Художник, поклоняющийся классическому идеалу, быть может, и нашёл бы в ней некоторые недостатки, нашёл бы, например, что она могла бы быть немного повыше ростом, что у неё чуть-чуть велик рот, несколько мал нос и ещё что-нибудь в этом роде, — но этот же самый строгий художник, наверное, влюбился бы в неё без памяти, если бы она того захотела. Её большие чёрные глаза были из тех глаз, которые в какую-нибудь минуту времени могут передать самое противоположное ощущение, могут и оживить, и умертвить человека. Никакая кисть, никакие краски не могли бы передать матовой белизны и нежности её прелестного лица, оттенённой густыми, тем-

но-каштановыми волосами. Наряд её был роскошен, бриллианты, сверкавшие на ней, великолепны. Но в противоположность своему мужу, без этого богатого наряда, без этих бриллиантов, она, наверное, была бы ещё лучше.

Граф Александр Сергеевич остановил свой торжествующий взгляд на Захарьеве-Овинове.

— Граф, графиня! — воскликнул он. — Вот человек, о котором мы только что говорили. Он первый вас здесь встречает, и я имею все основания думать, что это хорошая встреча!

Графиня Феникс кивнула своей прелестной головкой, быстро и смело взглянула на Захарьева-Овинова и улыбнулась ему. Он почтительно ей поклонился, но едва её заметил — он глядел на графа Феникса. Тот подошёл к нему с протянутой рукой и заговорил по-французски, бойко и правильно, но с довольно заметным итальянским акцентом.

— Князь, я знаю, вы почти такой же иностранец здесь, как и я, знаю, что вы учёный человек, одним словом, всё, что я знаю о вас, а знаю я, быть может, гораздо больше, чем вы

полагаете, заставляет меня считать за особенное удовольствие возможность познакомиться с вами, и я надеюсь, что наше знакомство не будет мимолётным.

Всё это было произнесено самым любезным, но в то же время несколько как бы покровительственным тоном.

Захарьев-Овинов опустил глаза; лицо его внезапно застыло, заледенело в самом неопределённом выражении.

— Граф, — ответил он, — если вы обо мне знаете более, чем я предполагаю, то я вас, вероятно, знаю меньше, чем вы думаете. Но и я, во всяком случае, надеюсь, что наше знакомство не мимолётное.

«Что он хочет этим сказать?» — подумал граф Феникс, сжимая его руку.

Захарьев-Овинов ответил крепким пожатием, поднял глаза, и их взгляды встретились. Несколько мгновений они пристально глядели друг на друга, и «божественному» Калиостро становилось как-то не по себе. Он ожидал встретить совсем другое, а главное — не понимал, что он такое встретил, не понимал он, умевший сразу разгадывать людей,

сразу давать себе о них верное заключение.

«Что это за человек, что в нём особенно-го? — мысленно повторял он. — Мы с ним никогда не встречались, насколько я знаю; но, наверное, он предубеждён против меня, или, быть может, он близок с кем-нибудь из врагов моих, или... просто мне завидует!.. Я разгляжу всё это и покорю тебя, русский князь, как покорял многих, тебе подобных... Никогда ещё не чувствовал я в себе такой силы, как теперь...»

«Ты рассчитываешь разглядеть и покорить меня, ты считаешь себя теперь особенно сильным... Ты сильнее, чем я думал, но всё же я не дам тебе возможности даже и бороться со мною...»

Граф Феникс вздрогнул. Он не слышал этих слов, мысленно произнесённых Захарьевым-Овиновым, но он их почувствовал, неопределённо, неясно, однако, всё же настолько, чтобы смутиться тем, что он принял за свою собственную, внезапно мелькнувшую мысль.

Он пристально взглянул на своего нового знакомого, глядевшего на него просто и пря-

мо, и успокоился. Он не понял и не почувствовал, что русский князь усилием воли лишил в эту минуту свой взгляд всей его обычной силы.

Сомонов ничего не замечал и не видел, всецело поглощённый своей очаровательной дамой, задававшей ему певучим голоском на довольно странном французском языке самые разнообразные вопросы.

В зелёную гостиную вошло несколько дам и кавалеров. В дверях показалась графиня Зонненфельд, а за нею длинная, комичная фигура князя Щенятева. Он быстро-быстро, захлёбываясь и шепелявя, нашёптывал ей что-то.

Хозяин решил, что пора начать церемонию представления петербургского общества графу Фениксу и его супруге.

IV

Пиршество было в полном разгаре. Граф Александр Сергеевич был действительно создан для роли амфитриона. Никто как он не умел быть именно хозяином такого дома, где каждый и каждая чувствовали себя свободно

и приятно, где часы проходили незаметно в лёгкой и оживлённой беседе, где любители кулинарного искусства и поклонники Бахуса, чудесное изображение которого красовалось на плафоне огромной графской столовой, могли предаваться самым разнообразным удовольствиям. Удовольствия эти предвкушались уже при первом взгляде на художественное меню, разложенное на всех кувертах и никогда не обманывавшее даже самых капризных гастрономов.

Таким образом, приглашения графа Александра Сергеевича очень ценились, и все спешили ими пользоваться, несмотря даже на значительные для них неудобства, сопряжённые с поездкой на его дачу. В этот же раз графское приглашение было особенно заманчиво. Он сумел заинтересовать общество приездом графа Феникса, сумел пустить молву о таинственном иностранце, от которого все ожидали чего-нибудь особенного и необыкновенного, Конечно, в числе лиц, приглашённых графом Семеновым, было немало и насмешников, утверждавших, что приезжий феникс вовсе не «феникс», а просто шарлатан и

фокусник; только ведь и шарлатана интересно послушать, и фокусы приятно посмотреть в роскошной обстановке, среди изысканного пиршества.

Сам граф Феникс очень хорошо понимал всю затруднительность своего положения среди этого чуждого ему общества. Он ещё недавно считал Россию совсем варварскою странюю, считал русских совсем дикарями. Но он уже успел убедиться в своей ошибке. Приём, сделанный ему графом Семеновым и кружком его близких друзей, занимавшихся «тайными» науками, не обманул его и не затуманил. Он знал, что общество северной русской столицы состоит далеко не из одних Семеновых, Елагиных и им подобных, что вообще северяне гораздо хладнокровнее, склоннее к скептицизму, рассудительнее и вдумчивее, чем его горячие соотечественники — итальянцы, увлекающиеся, легкомысленные французы и мечтательные, склонные к мистицизму немцы.

А между тем он верил в свои силы, и трудность задачи только возбуждала его энергию. У него были широкие цели, и он решился во

что бы то ни стало восторжествовать над русской холодностью. Он знал, что будет встречен как шарлатан и фокусник, но через несколько часов о нём должны изменить мнение. Борьба началась.

К концу обеда граф Феникс победил почти все собравшееся общество, сделался действительным центром, поглощавшим всеобщее внимание. Если он играл роль, то играл её безукоризненно. Прежде всего растаяли и бесследно испарились всякие сомнения в аристократичности и истинности его происхождения. Самые недоверчивые люди отказались от предположения, что он вовсе не иностранный граф, а какой-нибудь пройдоха-авантюрист. Он был олицетворением самого изящного, прекрасно воспитанного светского человека. Сначала он держал себя сдержанно и с великолепным достоинством, взвешивал каждое своё слово. Он заставил всех желать, чтобы он разговорился, и когда почувствовал это общее желание, стал говорить занимательно, весело, остроумно о самых разнообразных предметах.

Казалось, каждое его слово, сопровождав-

шею блеском его глаз и самой милой улыбкой, показывавшей его ослепительно белые зубы, обладало особой притягательной силой. Сотни и тысячи его слов образовали тонкую, незримую, но крепкую паутину, эта паутина захватила всех и каждого, и он свободно мог потянуть за собою своих бессознательных, зачарованных им пленников.

Он так и сделал. Убедясь, что против него уже не действуют никакие враждебные влияния, что он хозяин положения, он перевёл разговор на мистическую почву и смело стал действовать в этой знакомой ему и привычной области. Даже люди, совсем чуждые всего, что не относится к злобе дня и к видимой, осязаемой действительности, заинтересовались его рассказами о том, какую власть может получить человек как высшее создание Божие над природой, до какой степени он может подчинить себе законы этой природы и распоряжаться ими по своему усмотрению.

— Никто не виноват, — говорил граф Феникс мелодичным, ласкающим слух голосом, — никто не виноват, если люди не хотят пользоваться богатством, им предоставлен-

ным по милости Божией, если они не хотят развивать свои силы и предпочитают мрак свету.

— Как не хотят? — перебила его графиня Елена Зонненфельд, всё время жадно его слушавшая. — Наверное, есть очень много людей, которые именно хотели бы, хотели бы всем своим существом; но для того, чтобы желание не было бесплодным, прежде всего необходимо иметь уверенность в том, что оно вообще может быть вполне исполнимо, что действительно существует в природе то, чего желают, чего хотят желать...

Граф Феникс так и впился в прелестную женщину своим огненным взглядом. Он уже давно её заметил, да не только заметил, но и «наметил». Он сразу почувствовал, что эта красавица по своей организации принадлежит именно к таким существам, посредством которых может проявиться его сила. Эта красавица была ему нужна, и теперь он убеждался, что тайные, ему одному ведомые усилия, употребляемые им во всё время обеда для того, чтобы привлечь её к себе, не пропали даром.

— А вы, графиня, разве не имеете такой уверенности? — спросил он.

— Не решусь сказать, что имею... я не знаю... но, во всяком случае, я очень бы хотела иметь уверенность в том, что мы не слепые и глухие существа, по рукам и по ногам связанные временем и пространством.

Граф Феникс, не отрываясь, глядел ей в глаза, и она чувствовала невольную, внутреннюю дрожь от этого взгляда. Этот человек ей не нравился, но против воли она испытывала на себе его влияние. Она вообще вот уже несколько минут находилась в очень странном, тяжёлом состоянии, как человек, начинающий сильно расхварываться.

— Вы говорите, что мы слепы, что мы связаны временем и пространством, — сказал граф Феникс, — а хотите, я докажу вам, что вы ошибаетесь, хотите, я докажу вам и всем, здесь собравшимся, что вы можете видеть, не стесняясь пространством, можете, оставаясь здесь, среди нас, видеть то, что происходит далеко, где угодно, в каком хотите месте земного шара.

Все затаили дыхание и замерли, будто ока-

менели. Огромная, великолепная столовая графа Сомонова изобразила вдруг собою пиршественный зал заколдованного замка, куда ещё не проник царевич, поцелуй которого должен пробудить от волшебного сна прекрасную царевну и все её сонное царство.

— Конечно... хочу... — как бы в полузабытьи прошептала Елена.

— Так я вам докажу это...

Граф Феникс обвёл присутствующих спокойным и в то же время властным взглядом. Он бросил вызов и принимал на себя всю ответственность.

Столовая оживилась. Обед был окончен. Общество спешило перейти в гостиную, где должен был произойти опыт. Какой опыт? Что это такое будет? — все находились в крайне возбуждённом состоянии. Граф Феникс подошёл к Елене и предложил ей руку. Она машинально повиновалась, именно повиновалась — она едва держалась на ногах, в голове её был туман, мысли её путались. Она искала глазами кого-то, искала чьей-то помощи...

Но тот, кого она почти бессознательно ис-

кала, был от неё далеко.

Захарьев-Овинов пропускал мимо себя всех, не трогаясь с места. Его бледное лицо оставалось холодным и безучастным.

V

Огромные окна гостиной были скрыты за спущенными тяжёлыми занавесями. Обширная комната с высоким лепным потолком вся сияла светом от зажжённой люстры и многочисленных канделябров.

Взгляды всех сосредоточились на графе Фениксе и Елене. Таинственный иностранец подвёл свою даму к креслу посреди комнаты, попросил её сесть и затем обратился к хозяйину, оказавшемуся возле него:

— Прошу вас приказать подать сюда низенький столик и графин с водою — больше ничего не надо.

Это требование тотчас же было исполнено.

Все с изумлением, а некоторые и с замиранием сердца ждали, что же будет дальше, какую роль может играть графин с водою? Елена сидела неподвижно, с застывшим взглядом широко раскрытых, почти остановив-

шихся глаз; руки её были бессильно опущены, только грудь быстро и порывисто дышала.

— Прошу вас смотреть пристально в этот графин на воду! — громко сказал граф Феникс. — Задумайте что-нибудь такое, что вы желали бы увидеть, или, вернее, подумайте о ком-нибудь, кого вы желали бы видеть. Остановитесь на этой мысли, забудьте всё остальное и смотрите на воду.

Сказав это, он обошёл кресло, на котором она сидела, поднял руки и слегка коснулся ими плеч её. Она сделала порывистое движение, отстраняясь, негодуя на это его дерзкое прикосновение. Но он уже был перед нею и пристально, не мигая впился в неё своими чёрными, как уголь, и в то же время блестящими глазами.

Она почувствовала устремлённый на неё его взгляд. Она ни за что не хотела поднять глаза и встретиться с этим взглядом, неприятным для неё, просто мучительным, бросавшим её то в жар, то в холод. А между тем против воли она всё же подняла глаза и на него взглянула — взглянула и почувствовала, что

она во власти этого человека.

Но ведь она не хочет этого! Какое безумие! Что это с нею? Откуда в ней такая слабость, такое отсутствие воли и что это за глупый опыт — смотреть на воду, что она может увидеть в этой воде? Шарлатан, фокусник, обманщик! Он дурачит всех. И она поддалась... и она поставила себя в такое смешное и глупое положение! Все глядят на неё, все будут смеяться над нею, все... Нет, нет, она сейчас встанет и уйдёт.

Но она не встала, не ушла. Она как зачарованная, бессильная и безвольная глядела в глаза стоявшего перед нею и владевшего теперь ею человека.

— Глядите на воду! — произнёс он повелительным голосом.

Она послушно исполнила его приказание, стала пристально, не отрываясь, глядеть в графин с водою.

— Думайте о ком-нибудь! — ещё повелительнее, ещё властнее потребовал он.

И в это же самое мгновение она стала думать о графе Зонненфельде.

Все общество мало-помалу сдвинулось к

середине комнаты, окружило Елену и глядело на неё.

Наступила полная тишина, никто не шевелился.

Елена забыла все и всех, не помнила, где она, не замечала теперь, что на неё обращено более полсотни взглядов, только думала о Зонненфельде и глядела в графин с водою.

Так прошло три, четыре минуты. Вдруг Елена вздрогнула всем телом. Лицо её покрылось мертвенной бледностью. Станным, будто чужим голосом она крикнула:

— Вижу!

Она действительно видела. Теперь перед нею была не прозрачная вода, а ясно и отчётливо, как действительность, на которую глядит в уменьшительное стекло, вдруг обрисовалась комната, и она узнала эту комнату. То был кабинет её бывшего мужа в Вене. Вот он сам, только уменьшенный до размеров марионетки. Он сидит за бюро и пишет, время от времени почёсывая своей красной рукою кончик длинного, горбатого, покосившегося на сторону носа. Вот он обернулся и взглянул... и ей кажется, что этот крошечный граф Зоннен-

фельд её видит и глядит на неё своими бледными глазами. Он встал и прошёлся по комнате...

И вдруг всё исчезло. Она уже не думала о нём. Она внезапно вся наполнилась мыслью о другом человеке. Человек этот близко от неё, в той же гостиной графа Сомонова, где и она. Но она ведь не помнит, где она, и совсем забыла, что он здесь, так близко. Она только думает о нём... Снова гладкая, неподвижная поверхность воды начинает тускнеть, а потом вдруг загорается каким-то розовым светом, и из этого розового света выделяется что-то... Яснее и яснее... комната, только это не кабинет в Вене... Это комната, ей неизвестная. Она никогда не знала и не знает такой комнаты. Комната небольшая и просто убранная: большой стол, на столе чернильница, свечи под абажуром, большая открытая мозаичная шкатулка, наполненная бумагами. Дальше — широкий диван, несколько тяжёлых кресел, покрытых тёмной кожаной обивкой... Он, тот, о ком она думает, сидит перед столом и будто ждёт кого-то. Да, она чувствует, понимает, что он ждёт. И вот дверь тихо

отворяется... перед нею женщина. Она вглядывается в эту женщину. Она как будто где-то, мельком видела это прелестное юное лицо, эти ясные глаза, эти чудные белокурые волосы... Она наверное видела где-то эту женщину или, вернее, эту юную девушку... Но где? когда? Она того не может вспомнить. Она только невольно поражена её красотой, особенно чистой, особенно ясной красотой.

Она с остановившимся сердцем ждёт, что будет дальше... да, что будет дальше? Как она здесь, эта юная красавица? откуда она?.. кто она? зачем? для чего он так ждёт её?..

Вот он её увидел... он встал ей навстречу... он идёт к ней... они в объятиях друг друга!..

Елена слабо вскрикнула и отшатнулась от графина, в изнеможении склонила голову на спинку кресла. Она закрыла глаза, но тотчас же повелительный голос графа Феникса заставил её очнуться.

— Что же, графиня, убедились ли вы в том, что можно видеть, не стесняясь ни пространством, ни временем?

Но она ничего ему не ответила. Она не могла прийти в себя. Сердце её ныло мучительно-

ной, тяжкой тоскою, и она чувствовала, как в этом тоскующем сердце поднимается ещё неведомое ей и непонятное, невыносимо мучительное, острое и жгучее ощущение.

— Графиня, успокойтесь! — между тем говорил граф Феникс. — У меня не было в расчёте пугать вас и смущать. Я только хотел доказать вам истину моих слов...

— Быть может, вы и доказали это графине, но согласитесь, что нам пока ещё ничего не доказано...

Граф Феникс обернулся и взглянул на говорившего это. Перед ним стоял князь Щенятев, и его комичное лицо с маленьким носиком и быстро мигающими глазами выражало смесь любезности и ехидства.

— А между тем мы чересчур все заинтересованы, — продолжал князь Щенятев, — будьте так любезны, граф, произведите какой-нибудь опыт, который бы убедил всех нас, пока ещё не верующих, но очень желающих уверовать... Отдаю себя вам во власть, делайте со мною, что хотите, распоряжайтесь мною как угодно... Я готов принять все страдания ради общего блага.

Граф Феникс улыбнулся.

— Ваше замечание основательно, — сказал он, — но ведь вы не дали мне докончить... Во всяком случае, вас я беспокоить не стану...

Он не досказал своей фразы, и в то же самое мгновение князь Щенятев, сам не зная как и почему, вдруг отскочил в сторону и замолчал.

— Смотрите опять в воду! — приказал граф Феникс, обращаясь к Елене.

Без всяких рассуждений, без всяких мыслей, подавляемая своим тоскливым и мучительным ощущением, она исполнила его приказание.

— Смотрите и говорите громко всё, что вы видите.

Снова все замерли в комнате. Прошла минута, другая.

— Теперь вы видите! — своим громким, повелительным голосом объявил он. — Что вы видите?

— Дорога... — глухо произнесла она.

— Смотрите пристальнее... смотрите!

— Экипаж... карета шестериком мчится...

— Кто в карете, кто? Смотрите!

Она, видимо, вглядывалась, старалась разглядеть, кто в карете.

— Есть в ней кто-нибудь?

— Да... вижу... кто-то...

— Мужчина или женщина?

— Мужчина... один...

— Знаете вы его или нет?

— Погодите... вот теперь вижу... да, я его знаю... это князь Потёмкин...

Между присутствовавшими произошло движение.

— Куда же он едет? — продолжал спрашивать граф Феникс. — Разглядите дорогу.

— Он едет... едет сюда... он близко... очень близко...

— Смотрите...

— Карета поворачивает... карета въезжает... вот князь выходит... вышел...

В это время двери гостиной растворились, и громкий голос доложил:

— Его светлость князь Григорий Александрович Потёмкин.

Некоторые дамы вскрикнули, все собравшиеся засуетились. Граф Сомонов поспешил к дверям. Елена была почти без чувств, в пол-

ном изнеможении. Граф Феникс глядел на всех торжествующим взглядом.

В дверях показалась величественная, могучая фигура Потёмкина.

— Граф, — говорил он, обращаясь к хозяину, — не думал быть у тебя сегодня... Часа три как приехал из Царского, думал отдохнуть, да скучно стало, вспомнил, что у тебя сегодня представление какое-то... фокусы, что ли... ну и поехал. Что же такое у тебя происходит?

Эти громкие слова все слышали. Никому, конечно, не могло прийти в голову, что тут заговор и что светлейший в заговоре. Впечатление было полное.

VI

Елена пришла в себя. Она уже не была больше во власти графа Феникса. Он освободил её, даже почти забыл. Теперь все его внимание, все его мысли были обращены на Потёмкина. Он видел его в первый раз и внимательно в него вглядывался, старался сразу разоб-
раться его, понять, понять так, чтобы не было ошибки.

Он и приехал в Петербург главным обра-

зом для Потёмкина. Потёмкин играл первую роль в его широких планах.

В то время как Сомонов рассказывал светлейшему в чём дело, граф Феникс был весь настороже, готовясь выступить на сцену и произвести на могущественного русского вельможу должное впечатление. Эта минута подошла; теперь ему нужна Елена. Она подготовлена в достаточной мере. Она поможет ему достигнуть сегодня всего, чего можно достигнуть на первый раз.

— Но где же она?

Он ищет её глазами. Её нет. Она скрылась. Но она не может быть ещё далеко. Она не имела ещё времени выйти из дома, уехать. Он сейчас вернёт её, вернёт, не трогаясь с места. Сильная магнетическая связь установлена между ним и ею.

Он мысленно, известным ему способом, призывает её, тянет её к себе незримыми нитями, которыми он её опутал.

Но её нет. Он смотрит в ту дверь, откуда она невольно и послушно должна появиться. А её все нет! И ему внезапно становится как-то неловко, тяжело...

Он чувствует, что даром тратит нервную силу, чувствует, что происходит нечто странное, неожиданное, непонятное. Он парализован, обессилен. Но если бы он был внимательнее, если бы менее рассчитывал на свою силу, не думал исключительно о себе, Потёмкине и Елене, он заметил бы, что за ним уже давно следит взгляд светлых, блестящих глаз, что сила этого взгляда сразу оборвала все нити, какими он связал с собою Елену.

Да, она свободна, но ей и тоскливо, и неловко. Голова её тяжела. Она не может больше оставаться в этой гостиной. Она понимает, что сейчас все должны будут снова обратиться к ней, что ей придётся выдерживать допрос Потёмкина. Она спешит воспользоваться предоставленной ей, быть может, на одно только мгновение свободой. Минута, другая — и она уже на крыльце... её карета подана... она приказывает как можно скорее ехать домой.

Она дома, то есть у отца, в своих прежних девических комнатах. Какое счастье, что она вырвалась, что успела вырваться, что не чувствует здесь над собой власти этого непонят-

ного, ужасного человека. Кто он? Но зачем ей о нём думать, надо скорее забыть о нём, надо устроить так, чтобы никто с ним больше не встречался. Она даже вздрогнула всем телом, представив себе его властный, поработящий взгляд, его дерзкое прикосновение к её обнажённым, покрытым только лёгким газом плечам. Она почти ненавидела этого человека, но к её ненависти и отвращению примешивался страх, какой-то панический страх, от которого трепет проходил по всем членам.

А тот, другой, тоже таинственный человек?.. Её сердце вдруг заняло тоской и болью. Но в это время к ней вошёл её отец. Старый князь Калатаров — теперь никто иначе и не называл его, как старым князем, — носил на себе все признаки преждевременной дряхлости. Спина его сгорбилась, голова будто не совсем твёрдо держалась на плечах и то и дело покачивалась то на одну, то на другую сторону. Он часто среди разговора вдруг замолкал и задумывался, или, вернее, просто совсем переставал думать: нижняя губа его отвисла, глаза начали бессмысленно глядеть в одну точку, по большей части прямо на лицо себе-

седника. Он ничего не слышал и не понимал. Через несколько мгновений он приходил в себя и всячески старался скрыть своё забытье и рассеянность. Он, очевидно, сознавал это в себе и этим мучился.

Вообще он в последний год начинал избегать людей и, всю жизнь не умевший и часу провести в одиночестве, теперь по целым дням не выходил из дому, никого не принимая, кроме лиц самых близких. Ещё не так давно считавшийся первым щёголем в Петербурге, теперь князь кутался в халат и с утра до вечера шлёпал по комнатам туфлями.

Иногда в нём замечалось волнение, тревога, и никто никак не мог от него добиться их причины. А между тем причина была, хотя и очень странная: старого князя преследовали тени, ложившиеся от предметов. Повернёт он кресло, сядет в него — и вдруг его поразит: отчего это тень от кресла и от него самого такая длинная и ложится именно в такую-то сторону? Вскочит он с кресла и начнёт его всячески поворачивать. А тут заметит тень от стола или от иного предмета и совсем растеряется. Мучают его тени по несколько часов, во-

зится он с ними, всю мебель переставит. Наконец выбьется из сил и заснёт, а через день-другой опять начинают преследовать его тени — просто чертовщина! Он так и считал это за дьявольское наваждение и принимался за молитву. Но и во время молитвы иной раз бросалась ему в глаза тень от лампадки перед иконой и повергала его в полное уныние...

Князь, войдя к дочери, поцеловал её и сел против неё, запахивая полы своего халата.

— Что же это ты так рано, Ленушка? — спросил он. — Я чаю, у графа Александра Сергеевича народу много, веселье немалое... у него всегда весело да и разъезжаются поздненько... Чего ж это ты?

— Нездоровится что-то нынче, батюшка, — ответила Елена.

— Полно, Ленушка, какое там нездоровье! Да и не годится это тебе вовсе... Ты веселись хорошенько, да жениха себе присматривай... Долго-то так, сама знаешь, быть тебе не пристало.

— Почему же?

— Как почему?.. Все говорят в один голос, что тебе беспременно замуж выходить те-

перь, чем скорее, тем лучше... Одной тебе быть никак нельзя, никак нельзя — это верно... Только мужа себе выбирай здешнего, Ленушка, не оставляй меня, не уезжай...

— Не уеду, — машинально прошептала Елена.

— То-то... а ежели нездоровится, так ты ляг, да и усни покрепче — сном все и пройдёт... ну Христос с тобой, моя красавица...

У князя с внезапно наступившей старостью явилась и стариковская манера говорить и выражаться. Он стал будто совсем не тем человеком, каким был всю жизнь. И эта перемена в нём была до такой степени поразительна, что Елена, несмотря на всю свою рассеянность, с изумлением на него глядела и его слушала.

Он кряхтя поднялся с кресла, подошёл к ней, набожно перекрестил её, поцеловал в лоб, ещё раз повторил: «Ляг, да и усни хорошенько» — и, шлёпая туфлями, вышел.

Елена не последовала его совету — не легла и не уснула. Она долго, долго, не замечая времени, сидела, прислонив голову к мягкой спинке своего любимого кресла, расшитого

искусной рукой её покойной матери. Глубокие, прекрасные глаза её глядели уныло и печально, все лицо побледнело и выражало страдание.

Она невольно думала о словах отца; слова эти навели её на мысли, уже не новые, но никогда ещё до сих пор не являвшиеся ей так ясно, просто и определённо.

Ведь вот она, наконец, добилась того, к чему так рвалась, чего так ждала. Она разведена с мужем; он ей чужой; она свободна. Ещё недавно ей казалось, что именно в этом и заключается всё, что огромное счастье состоит для неё в избавлении от ненавистного ей, невыносимого человека.

Но теперь, когда граф Зонненфельд стал ей чужим, он уже не казался ей ненавистным и ужасным, теперь она не питала к нему никакого дурного чувства. В её сердце не было ни злобы, ни упрёков. Она сразу получила возможность судить прошлое безо всякого пристрастия. Была совершена и с той, и с другой стороны большая ошибка. За ошибку пришлось поплатиться, пришлось страдать... Но ведь и он пострадал, хоть и по-своему, а всё

же пострадал. И ей даже стало жаль его... Она подумала тоже, что от неё зависело сократить страдание. Зачем она раньше не освободила и себя, и его? Но, нет, значит, так было надо, значит, именно так и должно было все стать-ся...

Она свободна! Что же дальше? Она ясно видела теперь, что эта свобода не могла быть целью, что эта свобода не что иное, как только первое средство... к чему? К счастью. А счастья нет! Никогда ещё не сознавала она так мучительно ясно, что счастья нет, не было и что без него нельзя ей жить.

Прошёл час, прошёл другой, а она всё сидела неподвижно, глядя в пространство широко раскрытыми глазами, из которых одна за другою скатывались тихие слёзы, и всё думала о том, что счастья нет.

Но вот мало-помалу что-то странное начало твориться с нею. На неё находило забытьё, тихое и сладкое. Будто какое-то жизненно тёплое дуновение носилось над нею, и всю её охватывало и уносило куда-то. Глаза её заискрились, последняя краска сбежала со щёк её. Неподвижная, прекрасная, застывшая,

она, очевидно, заснула, но это был странный сон, почти сон смерти...

* * *

В это время Захарьев-Овинов сидел перед своим рабочим столом, среди обстановки той комнаты, которую Елена так ясно видела в графине с водою. Две восковых свечи горели на столе под абажуром, и их слабый свет почти пропадал и терялся: прямо в окно глядела полная, яркая луна, наполняя всю комнату серебром и голубыми тенями.

Отблеск луны падал на лицо Захарьева-Овинова и превращал его в чудное мраморное изваяние. «Новый князь» думал о том, чему только что был свидетелем. Он думал об опыте, произведённом Калиостро над Еленой, и мысленно обращался к «погибшему брату», будто говорил с ним:

«Теперь я знаю все твои силы и все твои средства, знаю, какое громадное, несметное богатство ты мог заключить в себе... Но ты собрал только часть его и безумно, самоубийственно его расточаешь. Ты погиб для вечно-

сти, и на тебя ляжет тягость такой ответственности, какой никогда не снести и не выдержать человеку! Тебя окружил, тобой овладел мрак и влечёт тебя к вечной гибели... Ты был зрячим, но ослеп и не видишь чёрную пропасть под своими ногами; ты думаешь, что стоишь на твёрдой почве и не чувствуешь, с какой отчаянной быстротой стремишься вниз, в самую глубину бездны... Мне не спасти тебя, и я за тебя не отвечаю, но я не дам тебе губить тех, кто может подняться к свету и не ослепнуть от его сияния...»

«Да, ты, так же, как и я, сразу увидел и понял, какие чудные задатки таятся в этой прекрасной женщине! Ты поспешил наложить на неё свою руку. Но для чего? Для того, чтобы безжалостно погубить её, для того, чтоб воспользоваться ею, её свежими скрытыми силами для своих жалких, земных целей... И ты не почувствовал, безумный слепец, что на ней уже лежит печать... До тебя я запечатлел её и поведу к спасению!...

«Елена! — прошептал Захарьев-Овинов. — Пришло время... Я хочу лучше узнать тебя... хочу тебя видеть и говорить с тобою...»

Он поднялся с кресла, сделал несколько шагов и остановился. Глаза его сверкнули.

«Елена! Я хочу тебя видеть! Приди!» — в глубокой ночной тишине прозвучал его голос.

Мгновения неслись, и вот перед ним в полосе лунного света появилось как бы лёгкое, белое облако. Оно быстро сгущалось... ещё миг — и Елена стояла перед ним, вся охваченная и пронизанная лучом луны, вся сияющая ослепительной, неземной красотой. Да, это было её лицо, живое лицо, озарённое чарующей, ласкающей улыбкой. Её глубокие глаза с восторгом на него глядели. Это было её живое лицо, а между тем сквозь очертания её полной достоинства и грации фигуры, сквозь складки её белой одежды то яснее, то туманнее просвечивали находившиеся за нею предметы. Это было непонятное существо, оживлённая, одухотворённая грёза...

Захарьев-Овинов оперся о стол, спокойно и торжественно глядел на неё, невольно любуясь ею.

— Елена, друг мой, видишь ли ты меня, слышишь ли? — произнёс он.

— Вижу... слышу... — зазвучал в тишине слабый, но внятный голос.

— Быть может, ты недовольна, что я усыпил тебя и призвал тебя?

— Я... недовольна? О Боже мой, я так счастлива!

По лицу её разлилась блаженная улыбка.

— Тот, кто заставил тебя видеть в воде, смутил он твою душу? Ты его боишься?

— Да, он смутил мою душу... да, я боюсь его.

— Не бойся, он не властен над тобою... я уничтожил его силу...

— Ты! Да, это ты! Милый, о если б знал ты, как я люблю тебя!

Неслышно, как лёгкое дуновение, она двинулась к нему, простирая свои бледные, почти прозрачные руки и глядя на него с обожанием, с восторгом, с беззаветной любовью.

Но он отступил от неё. За мгновение перед тем спокойное лицо его исказилось как бы страданием.

— Ты меня... любишь? Ты «так» меня любишь! Несчастливая! — в ужасе прошептал он. — Уйди!

Её руки опустились. На глазах её блеснули слёзы. Глубокий, тяжкий вздох пронёсся и замер. Она хотела сказать что-то и не могла.

Она таяла, испарялась, очертания её лица, её фигуры сливались с лунным светом, и слились с ним, и бесследно исчезли.

Захарьев-Овинов с отчаянием сжал свою горящую голову руками.

«Она меня любит! Любит меня страстной, земной, погибельной любовью!.. А я? А я? Разве я не люблю её? Люблю как презренный, жалкий раб плоти, люблю всем сердцем, всей душою, люблю каждой каплей моей крови!.. Так вот что это значит, вот зачем я здесь!.. Так вот оно, моё последнее испытание!..»

VII

Но что же произошло в гостиной Сомонова после исчезновения Елены?

Граф Феникс оставался несколько мгновений поражённый. Убедившись в необыкновенной чувствительности Елены, в самых счастливых для него и необходимых ему свойствах как телесной, так и духовной её организации, он рассчитывал произвести в этот

вечер целый ряд самых интересных опытов. Эта исключительно созданная молодая женщина, так быстро и искусно им подготовленная и настроенная, была в его руках послушным орудием, которым опытный мастер мог распоряжаться по своей воле. Его деятельная мысль, его горячее воображение создали ему, так сказать, целую программу представления, и он должен был непременно очаровать этим представлением всех, а прежде всего очаровать Потёмкина.

И вот этой послушной, гибкой в его руках, как воск, замороженной им пленницы нет. Её отсутствие спутывает все расчёты, изменяет программу.

Однако не это обстоятельство смущало его и поражало. Ведь ещё несколько часов назад он не знал Елены, не думал о ней. Она явилась для него счастливой неожиданностью и только. Программа с её участием была создана внезапно, по вдохновению. Значит, была другая программа. Придётся вернуться к этой прежней программе. Ему будет несколько труднее. Может быть, впечатление окажется менее сильным — вот и всё. А потом он так

или иначе наверстает потерянное...

Но она исчезла! Какая-то неведомая сила разрушила его силу. Он знал, что нужно нечто совсем исключительное. чтобы эта связь порвалась вопреки его воле. Одно только это обстоятельство и поражало его, смущало, лишало на время свойственного ему самообладания и спокойствия.

Однако он быстро овладел собою и с полным достоинством и сознанием своей силы встретил обратившийся к нему взгляд Потёмкина.

— Так вот твой фокусник? Ну, покажи мне его, посмотрим, что за птица, — говорил Потёмкин Сомонову, — дай поглядеть, проведёт ли он меня... а хотелось бы, чтоб провёл — смерть скучно!..

Потёмкин скучал весь этот день, с самого утра. Он уже и так встал левой ногой. Все его сердило, все казалось ему пошлым, глупым, надоедливым, совсем бессмысленным. Только во время долгой утренней беседы с императрицей он несколько оживился.

Он представлял ей широкие, создавшиеся в его мыслях и воображении, по мере того как

он их излагал, планы относительно устройства Новороссии.

Он ушёл внезапно прозревшим, озарённым оком в глубь будущих времён и горячо, красноречиво пророчествовал русской царице о громадном значении для России нового, создаваемого им края.

Он увлёк за собой и царицу. Как и всегда, спокойная, рассудительная, боявшаяся увлечений, она поддалась обаянию этого дышащего огнём человека и прониклась верой в его пророчества.

Она одобрила все его решения, планы, и уверенной, твёрдой рукой начертала на поднесённых им бумагах: «Екатерина».

Он был оживлён и доволен, но едва вышел из её кабинета, как его жар, вдохновение, оживление мгновенно исчезли. Он снова почувствовал себя охваченным атмосферой лжи, фальши, интриг и лести. Омерзение и скука овладели его душой. Давно надоевшая, давно знакомая, противная картина! И главное — давно знакомая! Ничего в ней нового, неожиданного, оригинального! Ведь он наизусть знает всех этих людей, насквозь их ви-

дит и презирает их глубоко, до отвращения... Придворные женщины! — но ведь он их тоже слишком хорошо знает, и все они, несмотря на красоту свою и молодость, ему приелись, как однообразное, ежедневно подаваемое блюдо. Бывало, и ещё не так давно, красота и молодость останавливали на себе его внимание, заставляли забывать обо всём ином, пленяли сами собою, волновали кровь, сулили минуты забвения и восторга. Теперь уже никто и ничего не сулит ему. Он смотрит на этих обдуманно, искусно наряженных, кокетливых красавиц, из которых каждая готова расточать перед ним свои улыбки, из которых ни одна не решится играть перед ним роль неприступной крепости, — он смотрит и видит в них только недостатки, и его пытливый, привычный взгляд сразу подмечает в них именно то, что они всеми мерами стараются скрыть... Потёмкин рассеян. Он смотрит исподлобья, как нахмурившаяся туча, он невежлив, даже груб. Ему душно, дышать нечем...

Он уехал. А скука преследует, а тоска сосёт. Хоть бы найти что-нибудь, что-нибудь совсем

глупое, дикое, даже безобразное, но только новое, незнакомое, неожиданное — лишь бы развлечься!

Он здесь, и ему как будто обещают что-то. Сомонов в волнении, восторженно передаёт ему об удивительном опыте: под влиянием иностранца бывшая графиня Зонненфельд объявила здесь, сейчас, всем, о его приезде... Да, конечно, она не могла знать, что он придет. Но ведь это одна только случайность, да и, наконец, что тут интересного? Что тут для него интересного? Ну, угадала и все тут... К тому же это было без него: он ничего не видел и не слышал...

Разряженный в пух и прах, осыпанный дорогими камнями человек перед ним раскланивается. Сомонов представляет ему заезжего фокусника.

«Граф Феникс — черт знает что такое!..»

Потёмкин взглянул, увидел красивое, энергичное лицо, живые и пронцательные чёрные глаза, смело на него глядевшие. Он небрежно кивнул головою на почтительный поклон иностранца, презрительно усмехнулся и подумал:

«Однако, должно быть, шельма!»

Граф Феникс нисколько не смутился, хотя смысл усмешки Потёмкина и даже сущность его мысли были ему ясны. Своим мелодическим голосом, в красивых фразах он выразил русскому вельможе, что гордится честью быть ему представленным и что сделает все для того, чтобы не на словах, а на деле доказать ему своё глубокое уважение.

Потёмкин не находил нужным церемониться и на любезность отвечать любезностью. Какое ему было дело до «этой шельмы» и до мнения, какое о нём составит себе «эта шельма». Ему было скучно. Если ему покажут что-нибудь интересное — отлично! А если нет, он и уедет скучать где-нибудь в ином месте...

Он почти так и выразил это прямо, потребовав, чтобы ему показали что-нибудь интересное. Тогда граф Феникс приступил к осуществлению своей первоначальной программы.

— Ваша светлость, — сказал он Потёмкину, — вы напрасно принимаете меня за фокусника или что-нибудь в этом роде, вы

очень скоро убедитесь в своей ошибке, за которую я во всяком случае не претендую. Вы желаете увидеть нечто выходящее из ряду привычных, ежедневных явлений. Если захотите, я вам покажу очень много такого, но во всём необходима постепенность, последовательность: не я начну показывать, а моя жена.

— Ваша жена... графиня Феникс... где же она? — произнёс Потёмкин с такой улыбкой, которая могла бы уничтожить всякого.

Но графа Феникса она нисколько не уничтожила. Изящным и полным достоинства жестом он указал Потёмкину на Лоренцу, сидевшую неподалёку и спокойно глядевшую на говоривших.

Потёмкин взглянул и увидел прелестную женщину. Он сразу, во мгновение ока, сделал ей надлежащую оценку. Она была совсем в его вкусе. Он именно любил подобную неправильную, капризную красоту. Он быстро подошёл к Лоренце... ещё минута — и он уже сидел рядом с нею. Выражение скуки и горделивого презрения сбежало с лица его...

Она щебетала ему что-то на своём стран-

ном, смешном и милом французском языке, а он внимательно слушал. Он любезно, покровительственно, ласково улыбался ей. Хорошенькая волшебница заколдовывала его с каждой минутой всё больше и больше.

— Что же, ваша светлость, угодно вам, чтобы моя жена показала что-нибудь интересное и достойное вашего внимания? — спросил граф Феникс.

— Она уже мне показала самое интересное и прелестное — показала себя, — проговорил Потёмкин, не отрываясь от Лоренцы.

Граф Феникс поклонился, благодаря за комплименты. И теперь уже на его губах мелькнула насмешливая и презрительная улыбка.

— Вы очень любезны, князь, — засмеялась Лоренца, в то время как бархатные глаза её загадочно и странно глядели на «светлейшего», — но если мой муж что-нибудь обещает, то он выполняет обещанное, а когда ему нужна моя помощь, я ему помогаю... Друг мой, — обратилась она к мужу, — если тебе угодно, ты можешь приступить к опыту.

Слово «опыт» мигом облетело гостиную.

Как перед тем Елена, так теперь Лоренца сделалась средоточением всех взглядов.

Произошло нечто внезапное. Граф Феникс наклонился к жене, положил ей руки на плечи. Затем Потёмкин и все, стоявшие близко, расслышали, как он тихо, но повелительно приказал ей: «Спи!» Он прижал ей глаза указательными пальцами, потом открыл их снова и отступил.

Лоренца будто умерла. Глаза её были открыты, но взгляд их сделался очень странным. Муж подошёл к ней снова, приподнял её с кресла. Она оставалась неподвижной, как статуя, окаменевшей. Она произвела такое особенное и жуткое впечатление и в то же время была как-то так жалка, что многим стало тяжело и неприятно.

Граф Феникс почувствовал общее впечатление, быстро посадил жену в кресло и закрыл ей глаза. Он обратился к Потёмкину, Сомонову и всем окружавшим:

— Прошу вас, — сказал он, — на мгновение оставить её и следовать за мною.

Все прошли в соседнюю комнату, за исключением двух дам, как бы прикованных к

месту от изумления и не сводивших глаз с Лоренцы, да Захарьева-Овинова, неподвижно сидевшего в самом дальнем и менее освещённом углу гостиной. Он с самого появления Потёмкина оставался в стороне, и никто не обращал на него внимания.

Между тем граф Феникс запер за собою дверь и сказал:

— Мы оставили её спящей, но это особенный сон, во время которого у человека являются такие способности, каких он во время бодрствования не имеет. Вы убедитесь, что жена моя, хотя, по-видимому, и спит, но всё видит с закрытыми глазами, что она может читать даже мысли человека.

— Будто бы? — воскликнул Потёмкин.

— Так как вы первый громко выразили сомнение в словах моих, ваша светлость, то вас я и попрошу убедиться. Будьте так добры, придумайте что-нибудь, решите, что должна сделать моя жена, и она угадает ваши мысли, исполнит всё, что ей будет мысленно приказано вами. Что вам угодно приказать ей?

— Это уж моё дело! — усмехнулся Потёмкин.

— Да, но в таком случае никто, кроме вас, не примет участия в опыте, и вообще, как мне кажется, опыт будет менее убедителен. Преду-
преждаю вас, что я не пойду за вами, я оста-
нусь здесь, и пусть кто-нибудь сторожит ме-
ня.

Потёмкин сдался.

— Хорошо! — сказал он. — Решим так: гра-
финя Феникс прежде всего должна нам что-
нибудь пропеть, у неё, наверное, прелестный
голос...

— Вы будете судить об этом, она вам спо-
ёт...

— Я вовсе не желаю утруждать её, а пото-
му пусть она, окончив пение, выйдет из го-
стиной на балкон, сорвёт какой-нибудь цве-
ток и даст его мне... Видите... всё это очень
нетрудно. Только вы, господин чародей, оста-
вайтесь здесь.

— Не только останусь здесь, но разрешаю
связать меня и сторожить хоть целому пол-
ку — я не шевельнусь... Идите, ваша свет-
лость, подойдите к ней и спросите, видит ли
она вас и ваши мысли? Потом дуньте ей в ли-
цо. Она очнётся и все исполнит.

— Это интересно, — сказал Потёмкин, — государи мои, пойдёмте, пусть кто-нибудь останется с чародеем.

Однако никому не хотелось оставаться. Но Потёмкин взглянул на всех, нахмутив брови, и осталось несколько человек. Затем все вышли, заперев за собою двери. Потёмкин подошёл к Лоренце и, любуясь её прелестным, застывшим лицом, сказал ей:

— *Belle comtesse, me voyes vous?* Видите ли вы меня?

— Да, я вас вижу! — прошептали её побледневшие губы.

Тогда он подумал о том, что она должна сделать и спросил:

— Видите ли вы мои мысли?

— Вижу...

Он дунул ей в лицо, она сделала движение, открыла глаза и несколько мгновений с изумлением глядела вокруг себя. Наконец она, очевидно, совсем очнулась, поднялась с кресла, хотела идти, но внезапно остановилась и запела.

Голос у неё был не сильный, но звучный и нежный. Она пела старинную итальянскую

баркаролла. Все слушали её с наслаждением. Потёмкин стоял перед ней выпрямившись во весь свой могучий рост и любовался ею.

Баркаролла окончена. Последний звук замер. Лоренца взялась за голову, будто вспомнила что-то, затем быстро направилась к балкону, отворила стеклянную дверь и через несколько мгновений вернулась с цветком в руке.

Она подошла к Потёмкину, прелестно улыбнулась, заглянула ему в глаза своими соблазнительными глазками и подала цветок. Он поцеловал её маленькую, почти детскую руку...

В гостиной началось шумное движение. Все изумлялись, восхищались, почти все дамы были просто в ужасе. Потёмкин задумался, отошёл от Лоренцы и грузно опустился в кресло.

— Да, это интересно!.. Это Бог знает что такое! — растерянно прошептал он сам с собою, В то же мгновение что-то заставило его обернуться — и он увидел рядом с собою Захарьева-Овинова. Он невольно вздрогнул.

— Князь! — воскликнул он, — ты здесь?

— Минута близка! — произнёс спокойный, так памятный ему голос.

Потёмкин хотел сказать что-то, но будто сразу не мог сообразить. Глаза его опустились. Когда он снова их поднял, Захарьева-Овинова уже не было возле него. Его уже не было и в гостиной.

VIII

Программа удалась блистательно. Граф Феникс одержал полную победу. Не только общество было заинтересовано в высшей степени, но и сам Потёмкин позабыл свою скуку.

Он уже не называл мысленно иностранца «шельмой». Он не называл его никак, но с видимым интересом и оживлением задавал ему вопросы и беседовал с ним, время от времени поглядывая на прекрасную Лоренцу, окружённую теперь дамами, несколько как бы томную и уставшую, но от этой томности и усталости только ещё похорошевшую.

Граф Феникс говорил, по-видимому, с одним Потёмкиным, однако настолько громко, что и все могли слышать слова его. Он говорил спокойным, самоуверенным тоном; кра-

сивое лицо его дышало особенным оживлением и становилось всё более и более привлекательным.

О чём он говорил?

Собственно ни о чём и об очень многом. Если бы написать слова его, то это оказались бы только отрывки, намёки какие-то, полуоткровения. Он намекал на свои таинственные знания, которым, казалось, нет и предела, на своё полное тайн и исключительного значения прошлое. Хладнокровный и спокойный слушатель из этих слов должен был бы вывести такое заключение, что этот граф Феникс или полупомешанный, или шарлатан-обманщик, или существо, хотя и в человеческом образе, но стоящее превыше людей.

На чём же, однако, остановиться, под какую из этих трёх категорий подвести его? Полупомешанный? Но в нём заметна необыкновенно тонкая наблюдательность. Он поразительно владеет собою. В среде, окружающей его, немало людей и спокойных, и разумных. И, наконец, первый его слушатель — светлейший князь Потёмкин — не таков, чтобы дать себя одурачить полупомешанному. Одним

словом, если он и помешан, то таким помешательством, какое увлекает за собою людей здравомыслящих.

Шарлатан-обманщик? Так на него смотрели здесь почти все и прежде всего Потёмкин. Но ведь он сумел победить это мнение. Он показал с помощью двух женщин такие чудеса, какие невозможно было подделать никаким образом. Что же, неужели он, действительно, великий чародей, победитель природы?..

Вопрос оставался открытым. Час был уже поздний, и гости разъезжались, унося с собою смутное, неопределённое, но сильное впечатление, уезжали как бы опьянённые, отуманенные.

Наконец в гостиной Сомонова осталось всего несколько человек. Потёмкин всё сидел, развалясь на кресле. На лице его блуждало задумчивое, неопределённое выражение. Вот он обратился к графу Фениксу:

— То, что вы и ваша прекрасная жена показали нам, и то, что вы говорите, — очень интересно, но подумали ли вы о том, где вы всё это показали и кому показали?

Граф Феникс с улыбкой глядел ему прямо в

Глаза.

— О чём же тут думать? — проговорил он.

— А вот о чём, милостивый государь, ведь мы варвары, а потому опасны. Мы заинтересованы и не можем остановиться до тех пор, пока не почтём себя удовлетворёнными. Полагаете ли вы, что мы дозволим вам уйти, исчезнуть, только подразнив наше любопытство, только смутив нас?

— Нет, я этого не полагаю, и если вы вспомните, ваша светлость, то я начал с того, что я могу показать вам очень много интересного и что хочу не на словах, а на деле доказать вам моё глубокое уважение к вашей особе. Я готов исполнить все ваши требования, обещаю ничего не скрывать от вас. Но, согласитесь, не могу же я удовлетворить все ваши желания в один час, в один вечер, сразу? К тому же спросите нашего достоуважаемого хозяина, о чём я говорил с ним сегодня.

— О чём он говорил с тобою, граф? — спросил Потёмкин Сомонова.

Тот, хотя и не особенно охотно, объяснил все относительно предположенного составления цепи.

Потёмкин с интересом слушал.

— Ну, и что же, сделали вы ваш выбор? — обратился он к графу Фениксу.

— Выбор сделан, — спокойно ответил чародей. — Цепь образовалась естественно, само собою. Всё, что было излишним, всё, что мешало, — ушло. Здесь теперь, в этой комнате, собраны именно те люди, с которыми я могу и должен быть откровенен, которых могу и должен посвятить во многое. Желаете ли вы составить цепь, необходимую для проявления некоторых сил?

Конечно, все громко и поспешно изъявили своё желание.

— Здесь недостаёт только одного человека, — невольно и почти бессознательно воскликнул граф Сомонов, — одного звена в нашей цепи нет.

Глаза графа Феникса блеснули

— Я уже заметил, — произнёс он даже как бы несколько резким голосом, — что цепь должна была образоваться естественно и свободно. Никто никого не заставлял ни уезжать, ни оставаться. Остались именно те, кто должен войти в цепь, уехали только лица или

бесполезные, или даже вредные для составления действительной или сильной цепи. — Я здесь! — вдруг прозвучал какой-то странный голос.

Все невольно вздрогнули и обернулись. В дверях гостиной показалась фигура князя Захарьева-Овинова. Неспешно, спокойным шагом он приблизился к говорившим. Лёгкая краска вспыхнула на лице графа Феникса и исчезла. Лёгкая краска вспыхнула тоже и на лице Потёмкина. Оба они почувствовали тревогу, оба встрепенулись, и оба не отдали себе отчёта в своих ощущениях.

— Итак, я в вашем распоряжении, господа, — говорил граф Феникс, — когда же мы соберёмся, где соберёмся?

— Зачем откладывать! — воскликнул Потёмкин. — Надо ковать железо, пока оно горячо! Сегодня действительно поздно, всем пора спать, а завтра вечером мы соберёмся, и, я думаю, здесь, у тебя, граф Александр Сергеевич, так что ли?

Сомонов был в восторге. Он именно боялся, что Потёмкин велит всем приехать к нему и тогда выйдет гораздо хуже.

Граф Александр Сергеевич вовсе не рассчитывал на Потёмкина. Он его пригласил только вследствие требования своего «божественного гостя». Потёмкин в деле мог быть помехой, а между тем с ним ничего не поделаешь. Хорошо ещё, что он в каком-то особенном, почти несвойственном состоянии духа... Пусть же будет все как должно быть, как предназначено...

Таким образом, было решено собраться на следующий вечер, и все разъехались. Впрочем, перед расставанием граф Феникс вдруг решил, что цепь всё же неполна и что следует пригласить графиню Зонненфельд.

Все согласились с этим, особенное же удовольствие выразил князь Щенятев. Он себя не помнил от радости, что попал в цепь.

IX

На следующий вечер в назначенный час все были в сборе в кабинете Сомонова. Даже Потёмкин не заставил себя ждать. Кажется, он был совсем новым человеком; от его привычной небрежности не осталось и следа. Он превратился в радушного простого челове-

ка, был приветлив и ласков со всеми и особенно ласков был с прекрасной Лоренцой.

Она казалась несколько рассеянной и задумчивой. Что касается графини Зонненфельд, то она, напротив того, была, очевидно, в каком-то возбуждённом нервном состоянии.

Князь Захарьев-Овинов явился после всех, уже в то время, когда всеобщее внимание было обращено на графа Феникса. При входе его Елена побледнела, но тотчас же справилась с собою. Даже рука её не дрогнула, прикоснувшись к его руке.

Он отошёл, и она продолжала беседовать по-итальянски с Лоренцой.

Потёмкин, так сказать, открыл заседание.

— Вот мы все и собрались! — воскликнул он. — И каждый из нас, конечно, страдает большим нетерпением. Господин чародей, для чего же вы собрали нас?

Граф Феникс сидел, задумчиво опустив голову. При этом обращении Потёмкина он поднял на него свои чёрные, блестящие глаза и не то иронически, не то печально усмехнулся.

— Господин чародей! Какая насмешка в этом названии! — воскликнул он.

— Нисколько! — перебил его Потёмкин. — Поверьте, что если бы я намерен был насмеяться, то не приехал бы сегодня сюда. Со вчерашнего дня я много думал о том, чему мне пришлось быть свидетелем, и, назвав вас чародеем, я назвал вас так, как называю вас в своих мыслях. Для меня вы чародей, и только. Да мы все ведь и не знаем, кто вы.

Лицо графа Феникса побледнело, и на этом красивом, энергичном лице мелькнула как бы печаль, как бы страдание.

— Князь, — сказал он, — какой вопрос вы мне задаёте! Но ведь именно с этого вопроса и необходимо нам начать, отвечая на него, я только и могу доказать, как серьёзно смотрю я на сегодняшнее наше собрание. Я в чужой стране, среди людей, ещё вчера бывших мне совсем чуждыми. Но и я, и жена моя — мы хорошо знаем, что находимся здесь не случайно. Вы спрашиваете меня, кто я? А если мне самому перед собою трудно ответить на вопрос этот? Я могу говорить только искренно, без всяких стеснений. И эта искренность, я

знаю это и чувствую, свяжет и соединит меня с моими новыми друзьями. Слушайте же мою исповедь и сами судите о том, кто я. Где я родился, кто были мои родители, я не помню. Этот вопрос, конечно, не мог не занимать меня, но я никогда не узнал ничего определённого. У меня есть только смутные предположения, настолько смутные, что нечего и говорить о них. Первые годы детства я провёл в Медине, в Аравии. Там я был воспитан под именем Ашарата. Я жил во дворце муфти. Я хорошо помню, что со мною всегда было трое слуг: один белый и двое чёрных. При мне был также наставник-воспитатель по имени Альтотас. Я его помню всегда старым, но крепким и бодрым. Этот Альтотас был для меня самым близким человеком, и я всегда очень любил его. Позднее на все мои расспросы Альтотас говорил мне, что я остался сиротой с трёхмесячного возраста и что мои родители были высокого и благородного происхождения и христиане. Но я никогда не мог от него добиться, чтобы он назвал их имя, а также место моего рождения. Впрочем, по нескольким вырвавшимся у него намёкам я

могу предполагать, что родился на Мальте. Альтотас много заботился о моём образовании. Сам он был настоящий учёный и обладал самыми разносторонними и глубокими познаниями. У меня были хорошие способности, и я все очень быстро усваивал; но более всех наук мне были по сердцу физика, ботаника и медицина. В этих науках я делал быстрые успехи. И я, и Альтотас — мы носили мусульманскую одежду и для виду казались принадлежавшими к магометанской религии. Но это было только по внешности, а в действительности мы исповедывали истинную религию, начертанную в сердцах наших. Муфти часто навещал меня. Он относился ко мне с большой добротой и, кажется, очень уважал моего воспитателя. Альтотас научил меня большинству восточных языков. Он часто говорил мне о египетских пирамидах, об этих громадных подземельях, вырытых древними египтянами для того, чтобы сохранить там и оберегать от оскорбления времени сокровища человеческих знаний. Мне минуло двенадцать лет, когда Альтотас объявил мне, что мы должны покинуть Медину и на-

чать наше путешествие. Мы прибыли в Мекку и остановились во дворце шерифа. Меня облекли в великолепные одежды, и на третий день после нашего прибытия мой воспитатель представил меня шерифу, который был со мною до крайности ласков. При виде этого властителя со мною произошло что-то особенное. Я почувствовал необыкновенное волнение и нежность; стал плакать от радости и заметил, что шериф едва удерживается от слёз. Три года я оставался в Мекке, и почти не проходило дня, чтобы меня не звали к шерифу, и каждый день доказывал мне, что он всё сильнее и сильнее меня любит. Но почему он меня так любит, почему я его так люблю — я не знал, и никто мне ничего не мог объяснить... Мне почему-то казалось, что негр, представленный ко мне и спавший со мною, много знает, и я стал от него допытываться. Но негр молчал и только однажды сказал мне, что если я должен буду покинуть Мекку, то мне следует опасаться огромных несчастий и что пуще всего я должен опасаться города Трапезунда.

Один раз ко мне вошёл шериф. Я крайне

был изумлён, потому что до тех пор этого никогда не бывало. Он обнял меня с особенной нежностью, сказал мне, что я всегда должен поклоняться Богу и что в таком случае в конце концов я буду счастлив и узнаю свою судьбу. Затем он горько заплакал, ещё раз обнял, обливая меня своими слезами, и вышел, проговорив: «Прощай, несчастный сын природы!» В этот же день мы с Альтотасом покинули Мекку и отправились в Египет. Я посетил эти знаменитые пирамиды, которые в глазах поверхностного наблюдателя ничто иное, как громадная масса мрамора и гранита. Я ознакомился с хранителями и служителями различных храмов и вообще проник туда, куда закрыт доступ всякому путешественнику. Я многому научился, узнал и испытал многое, затем в сопровождении моего воспитателя я путешествовал три года по различным государствам Африки и Азии. В 1766 году я прибыл на остров Родос и затем скоро сел на корабль, отправлявшийся на Мальту. Там мы были встречены с большой предупредительностью, и великий магистр Пинто поместил меня и Альтотаса в своём дворце. Затем, по

распоряжению великого магистра, ко мне был приставлен кавалер д'Аквино, из знаменитого рода князей Кароманика. Он сопровождал меня всюду. Тогда я в первый раз надел европейское платье и получил имя графа Калиостро. Альтотас тоже превратился в европейца, и я с изумлением увидел его в одежде духовного, с мальтийским крестом. Я уверен, что великий магистр Пинто знал о моём происхождении. Он часто говорил со мною о шерифе, но никогда не хотел ясно высказаться. Он был неизменно ласков со мною и обещал мне быстрое повышение, если я решусь вступить в мальтийский орден. Однако я не был в силах принять его предложение — мне предстояла иная судьба... На Мальте я потерял моего единственного друга и наставника, мудрого Альтотаса. Перед нашей разлукой он умолял меня бояться Бога и любить ближних. Он уверял меня, что скоро я увижу плоды знаний, приобретённых мною с его помощью. И он был прав. Мне нечего было больше делать на Мальте, и в сопровождении кавалера д'Аквино я снова начал мои путешествия. Мы посетили Сицилию, острова Архипелага и, нако-

нец, очутились в Неаполе, на родине моего спутника. Отсюда я уже один отправился в Рим.

Граф Феникс остановился и блестящими глазами обвёл своих слушателей, внимательно следивших за его рассказом. Потёмкин собирался сказать что-то, но «чародей» его предупредил:

— Я чувствую, — воскликнул он, — что всех вас занимает вопрос, откуда я брал средства для своей жизни и путешествий? Этот вопрос никогда не приходил мне в голову до моей поездки в Рим. Мне ни разу не пришлось подумать о деньгах. Альтотас, а после него кавалер д'Аквино были моими банкирами. Если мне требовались деньги, я обращался к ним и никогда не получал отказа. Когда я собрался в Рим, д'Аквино передал мне очень большую сумму, говоря, что эти деньги принадлежат мне, но решительно отказавшись сказать, каким образом и откуда. Он прибавил, передавая мне пакет на имя банкира Беллоне, что когда мои средства истощатся, этот банкир, по первому требованию, будет выдавать необходимые мне суммы. Скоро

мне пришлось убедиться, что я не был обманут... В Риме я начал вести очень уединённую жизнь и заниматься итальянским языком, но не прошло и двух месяцев, как явился ко мне посланный от кардинала Орсини и объявил мне, что его эминенция очень желает познакомиться с графом Калиостро. Я должен был явиться к кардиналу и был им встречен со всеми знаками внимания. Через неделю я был представлен папе и с этих пор сделался очень частым гостем Ватикана...

«Чародей» опять остановился. Но на этот раз он не останавливал своего взгляда на слушателях. Казалось, он внезапно забыл всех и всё. Он глядел долгим и любовным взглядом в глаза ласково улыбавшейся ему Лоренцы.

— Мне было тогда двадцать два года, — снова начал он, — счастливый случай или... нет, зачем я стану называть случаем то, что было моей судьбою! Не случай, а счастливая судьба заставила меня встретиться с прелестной девушкой, совсем ещё почти ребёнком... одним словом, с моей Лоренцой. Мы полюбили друг друга и сочетались браком. С тех пор мы путешествуем вместе. Мы объездили все

страны Европы... Моя добрая жена заполняла в моём сердце и в моей жизни ту пустоту, которую я ощущал со времени вечной разлуки с Альтотасом. Она верный друг мой и помощница. А цель моей жизни — посвящать на пользу ближних мои познания, врачевать недуги, помогать нуждающимся, приносить всякую помощь тем, кто обращается ко мне за помощью, кто в ней нуждается. За этим же я и здесь, в пределах России. Вот внешняя история моей жизни; я не часто её рассказываю и никогда ещё не рассказывал её с таким доверием к своим слушателям, как сегодня.

Он замолчал.

Что было особенного и поразительного в этом рассказе, который Калиостро и через десять лет повторил и письменно подтвердил перед судом папской инквизиции? Ровно ничего. Рассказ этот мог казаться не чем иным, как вымыслом заезжего авантюриста. Кроме намёка на таинственное и высокое происхождение Ашарата-Калиостро-Феникса, в нём не заключалось ничего, ровно ничего такого, что могло бы увлечь слушателей, а самый намёк этот способен был только окончательно

уничтожить их доверие к рассказчику.

А между тем все были увлечены. А между тем этот фантастический рассказ произвёл на всех какое-то магическое, чарующее действие. Даже Потёмкин сидел задумчиво, мечтательно и ласково глядя на Калиостро-Феникса. Даже Елена забыла весь свой страх, все отвращение к этому человеку и не сводила с него глаз.

Только на холодном лице Захарьева-Овинова ровно ничего не выразалось, только его глаза были опущены. Но вот он их поднял, его блестящий взор скользнул по лицу Калиостро и опять как бы ушёл в какую-то даль.

— Граф Феникс, — сказал он, — вы передали нам историю вашей жизни и теперь, основываясь на словах ваших, мы знаем кто вы, насколько вы сами это знаете. Но всё же мы недалеко подвинулись... Позвольте ли вы задать вам некоторые вопросы?

— Я жду их, — проговорил Калиостро, с бессознательным и тревожным изумлением глядя на этого человека, присутствие которого ему здесь было неприятно.

Да, очень неприятно. А между тем он,

несмотря на все свои тайные средства, никак не мог избавиться от этого присутствия. Почему оно ему неприятно и почему он не мог от него избавиться — он не знал. Что-то непостижимое мешало ему останавливаться на этой мысли. Едва дело касалось князя Захарьева-Овинова, Калиостро не соображал, не рассуждал — он только бессознательно чувствовал.

— Вы говорили, что долго пробыли в Египте, — начал Захарьев-Овинов, — вы упомянули о пирамидах, о ваших занятиях, о том, что вы проникли туда, куда никому нет доступа, что вы узнали многое. Не там ли получили вы посвящение в высшие тайны природы?

— Да, там я был посвящён...

— Вы обещали быть искренним, не скрывать от нас ничего, расскажите же нам об этом посвящении.

Глаза Калиостро блеснули, краска вспыхнула на лице его. Он схватился руками за голову и в волнении даже встал с кресла. Лицо его было прекрасно, на него как будто находило вдохновение.

— Боже мой, какие воспоминания! — вос-

кликнул он. — Слушайте, друзья мои, я вам скажу всё, что можно сказать... Мой воспитатель Альтотас, великий мудрец, один из носителей высочайших знаний, собиравшихся в человечестве от начала веков и до наших дней, объявил мне, что считает меня достаточно подготовленным и достаточно крепким, чтобы проникнуть в храм познаний и выдержать там испытания, каким должен быть подвергнут всякий, кто желает доказать, что он в силах снести на своих плечах великую, драгоценную ношу. Но не он сам посвящал меня. Он представил меня другому мудрецу, великому иерофанту. Мне были даны все нужные указания. Я должен был очиститься и подготовиться к ожидавшему меня. Я долго молился и постился. И вот, наконец, настал день, когда я, по чистой совести, сказал моим наставникам, что чувствую себя готовым... В сопровождении старого иерофанта и двух посвящённых ещё молодых людей среди глубокой ночи мы отправились из древнего Мемфиса к пирамиде Хеопса. Я уже хорошо знал эту пирамиду и должен вам сказать, что напрасно её называют Хеопской пирамидой:

действительным её строителем был Тот или Гермес, величайший из мудрецов мира. Он создал её именно затем, чтобы сохранить в ней для будущих веков, для будущих тысячелетий сокровища своих великих знаний. Мы подошли к пирамиде и остановились. Ночь была достаточно светла. Я не раз уже бывал здесь и теперь не понимал, к чему наша остановка. Я знал, что мы идём в пирамиду, но с этой стороны не было никакого входа. Однако мне не пришлось долго удивляться или, вернее, с этой минуты и началось всё то удивительное и неожиданное, что я должен был испытать. Иерофант ударил молотом в один из древних камней у основания пирамиды — и вдруг камень поддался, перед нами оказалась маленькая дверца. Мне завязали глаза и повели меня. Я знаю, что мы спустились вниз по ступеням лестницы и спускались долго. Когда мне развязали глаза, я был в обширной зале, ярко освещённой откуда-то сверху. Передо мною находился значительных размеров и удивительной древней работы сфинкс. Никогда до тех пор это таинственное изваяние так меня не поражало. Я не мог оторвать от него

взгляда. На меня глядело своими каменными неподвижными глазами прекрасное и страшное, холодное и загадочное человеческое лицо. Непостижимое существо: и ужасающее, и притягивающее к себе — голова женщины, тело быка, лапы и когти льва и огромные крылья!.. Иерофант подошёл ко мне и положил мне на плечо руку. «Сын мой, — сказал он, — прежде чем идти дальше, остановись и взглядишь в этого сфинкса. С первого взгляда он ужасен, он может представиться тебе чудовищем. А между тем это символ глубочайшей красоты и правды! Этот сфинкс не что иное, как заглавный лист той великой книги, читать которую ты желаешь. Это первая загадка, великая загадка! И не Эдип, как сказано в басне, разрешил её — иной в ней смысл, и я решаюсь тебе его поведать, ибо рассчитываю, что ты окажешься достойным читать великую книгу. Если же нет...» Тут он замолчал — и невольный трепет пробежал по моим жилам... «Готов ли ты меня слушать?» «Готов!» — произнёс я, взглянув ему прямо в глаза и выдержав взгляд его. Два посвящённых поднесли мне в эту минуту длинную белую

одежду. И вот с их помощью я сбросил с себя моё одеяние, и на мне не оказалось ничего, кроме этой длинной туники и сандалий на ногах. Тогда иерофант подвёл меня ближе к сфинксу и заговорил: «Гляди, ты видишь человеческую голову, голову женщины. Она олицетворяет человеческий разум, который, прежде чем выйти на арену будущего, должен изучить цели своих желаний, средства их достигнуть, препятствия, каких следует избегать, и предстоящие испытания... Тело быка означает, что человек, вооружённый знанием, должен, подобно сильному и крепкому быку, неустанной волей и беспредельным терпением прокладывать шаг за шагом путь, ведущий к успеху или падению... Когти льва обозначают, что для того чтобы достигнуть цели, намеченной разумом, недостаточно хотеть, а надо сметь, недостаточно работать, а надо иной раз биться и силою прокладывать себе дорогу... Орлиные крылья, гляди, они не приподняты, они опущены и прикрывают собой сфинкса — так вот, такими же орлиными крыльями, как густым и непроницаемым покровом, следует скрывать свои планы до тех

пор, пока настанет время действовать решительно, и в дерзновенном орлином полете вознестись на беспредельную высоту! Умей же, сын мой, видеть верно и желать справедливо, умей дерзать на всё, что дозволяет тебе твоя совесть, умей молчать о твоих планах... И если перед твоим упорством и терпением завтрашний день не что иное, как продолжение усилий, сделанных тобою сегодня, — иди твёрдо, иди к своей цели... Семь гениев, хранителей священного ключа, запирающего прошедшее и открывающего будущее, возложат на твою голову венец „властителей времени“, и ты сделаешься преемником великого Гермеса, таким же, какими были Пифагор, Платон и все мудрые маги, стоявшие некогда здесь, на том же месте, где находишься теперь ты».

Сказав это, иерофант завязал мне глаза, и я слышал, как он удалялся. Кто-то взял меня за руку, и мы пошли. Опять лестница. Голос у самого уха шептал мне: «Считай ступени!» Я сосчитал двадцать две. Мы остановились. Я слышал, как отперлась тяжёлая дверь и заперлась за нами. Прошло несколько мгнове-

ний — мы все шли. Вдруг тот, кто вёл меня за руку, остановил меня и воскликнул: «Стой, ни шагу, иначе ты полетишь в бездонную пропасть! Эта пропасть окружает со всех сторон „храм тайн“ и защищает его от вторжения непосвящённых. Мы пришли слишком рано, наши братья ещё не собрались, подождём их. Но если ты дорожишь жизнью — оставайся неподвижным, скрести руки на груди и не снимай повязки с глаз до тех пор, пока тебе не будет сказано это сделать. Помни, что ты теперь в нашей власти, что ты уже не принадлежишь себе и обязан нас слушаться беспрекословно; только исполнив это и доказав нам, что ты действительно владеешь собою, ты можешь избежать гибели и достигнуть всего, к чему стремишься». «Я уже знаю это и готов ко всему», — произнёс я. Прошло несколько мгновений. Потом мне было сказано: «Сними повязку!» Я снял её, и сердце моё невольно дрогнуло. Передо мною стояло два существа в таких же длинных белых одеяниях, как и я, только один из них был опоясан золотой лентой, а другой — серебряной. У одного из этих существ была голова льва, а у

другого — быка. Я не успел ещё в них взглянуться, как почти у самых ног моих разверзлась земля с ужасным шумом, за клубился дым, и среди этого дыма я увидел поднимавшегося скелета. Но скелет этот был как бы живой, он двигался и в своих костяных руках держал огромную косу, острие которой блестело, по-видимому, направляясь мне прямо в грудь. В то же мгновение из-под земли раздался глухой, ужасный голос: «Горе непосвящённым, дерзающим нарушать покой мертвецов!» Но я уже ничего не боялся, я чувствовал в себе подъем духа, чувствовал во всём существе своём силу и крепость. Я готов был на какие угодно испытания, на какие угодно зрелища. Я спокойно глядел на скелет, страшно кривлявшийся передо мною и скаливший мне зубы, на острие косы, почти уже касавшейся моей груди... Не знаю, сколько прошло времени; только вдруг дым из-под земли стал подниматься ещё гуще, и когда он рассеялся, ни скелета, ни косы, ни чудовищ уже не было. Со мною были только два посвящённых, и один из них ласковым голосом сказал мне: «Ты почувствовал холод смерти и не отсту-

пил, ты узрел ужас и не дрогнул! На твоей родине ты мог бы прослыть великим героем и потомство чествовало бы твою память. Но у нас храбрости и мужества ещё недостаточно. Есть качество несравненно выше, и это качество — добровольное смирение, торжествующее над тщеславной гордостью. Способен ли ты одержать подобную победу над самим собою?» «Не знаю, на что я способен, но готов я на все», — ответил я. «В таком случае ты должен ползти по этому подземелью до тех пор, пока не окажешься в святилище, где наши братья ждут тебя, чтобы дать тебе знание и могущество в обмен на твоё смирение. Возьми эту лампу и ползи во мраке и одиночестве».

Я принял лампу. Передо мной, как бы сам собою, отвалился камень, открывая узкое отверстие. Я прополз в него. Камень с шумом закрыл отверстие. Я один, в какой-то холодной трубе, где нельзя ни встать, ни сесть, где места ровно столько, чтобы ползти человеку. Мне показалось, что я в гробу, в мрачной могиле. Земля со всех сторон окружает меня, почти сжимает. Назад возврата нет. А что впере-

ди?! Я ползу, я уже начинаю утомляться — и никакого просвета... Глубокая тишина, спёртый воздух, почти захватывающий дыхание. Слабый свет моей лампочки, то и дело готовый погаснуть, освещает только чёрную землю, сырую землю. Я остановился на мгновение. Какая невероятная, невозможная тишина! Скорей, скорей вперёд! Я пополз снова. Когда же конец? Куда я пополз? А что если это ловушка? Мне казалось, проходят часы, и все нет конца моему мучительному пути. А если я не туда ползу? Если я пропустил какой-нибудь поворот, куда должен был направиться? Я почти остановился на этом предположении, так как земля уже положительно меня сжимала до того, что я почти не имел возможность двигаться. Вот уже едва хватает места для моего тела. А впереди всё тот же мрак! Холодная, сырая земля сжимает меня своими мрачными объятиями... Я почти задыхаюсь. Сердце усиленно бьётся, в голову стучит. Я погиб, мне больше некуда двигаться. Я забыт в глубокой страшной могиле. Я один, безнадежно один... никто не видит меня... никто не слышит!.. Забыт? Но ведь лампа моя не погас-

ла, она меня озаряет. Моя лампа — это подобие Божьего ока, следящего за мною и видящего меня в глубине моей холодной могилы... Я не один, со мною Бог!.. И едва эта мысль озарила меня, я почувствовал глубокое спокойствие. Среди невозмутимой тишины раздался гул, что-то как бы обрушилось передо мною, и я увидел свет, слабый свет, идущий откуда-то издалека. Земля уже не давит меня — свод надо мною расширился. Я могу встать. Передо мною лестница. Мне предстоит спускаться ещё глубже в неизмеримые бездны. И я спускаюсь по этой лестнице, считаю ступени: семьдесят восемь. Вот и конец. Но что же это? Последняя ступень — и передо мною глубокий, зияющий колодец. Свет померк, только моя лампа едва-едва разгоняет мрак. Я поднялся назад на несколько ступеней и стал оглядываться. Налево я заметил какой-то проход и различил в нём опять ступени. Туда! Наверное, там есть какой-нибудь выход. Зачем же вид бездонного колодца смутил меня, разве Бог не со мною, и разве я не добровольно подвергался всем испытаниям? Я пошёл вперёд. И вот лестница, и я снова считаю ступе-

ни — их опять двадцать две. Передо мною чугунная решётка, за нею виднеется галерея, по обеим сторонам которой возвышаются изображения сфинксов. Я сосчитал их — двенадцать справа, двенадцать слева. Между сфинксами стоят высокие треножники, на треножниках горит огонь. Слышны шаги. Неведомый мне человек в одежде иерофанта подходит к решётке и отворяет её. Он глядит на меня с ласковой улыбкой. «Сын земли, — сказал он, — да будет благословен твой приход. Ты избегнул бездны, открыв „путь мудрых“. Не многие из тех, кто, подобно тебе, стремились к мудрости, восторжествовали над этими испытаниями, многие погибли. Тебя охраняет великая Изида, и, надеюсь, она доведёт тебя невредимым до святилища, где добродетель получает свою награду. Я не должен скрывать от тебя, что многие ещё опасности предстоят на твоём пути. Но мне дозволено ободрить тебя, объяснив тебе символы, смысл которых укрепляет сердце человека. Видишь ли ты эти изображения, начертанные на стенах галерей? Разглядим их. Слушай меня, и если каждое моё слово запечатлится в

твоей памяти, то когда ты вернёшься на землю, все могущество владык земных будет ничтожно перед твоим могуществом!..»

Я глядел в лицо человека, говорившего мне это, и невольный священный трепет пробежал по моим жилам. Это строгое, но прекрасное лицо не могло обманывать. В нём ясно изображалась глубокая мудрость, соединённая с беспощадностью. Я был убеждён, я знал всем существом моим, что для меня настала великая минута. Я понимал, что мне сейчас будут открыты тайны, те тайны, о которых я давно уже думал, которых давно жаждал. Проницательный взор неведомого мне иерофанта, очевидно, читал мои мысли, понимал мои ощущения. «Да, я открою тебе великие тайны, — торжественным голосом сказал он, — но прежде ты должен поклясться, что сумеешь сохранить их, что никогда никому их не откроешь. Можешь ли ты поклясться?» — «Клянусь!» — прошептал я. — «Хорошо, и знай, что если ты станешь клятвopеступником, невидимое мщение будет шаг за шагом тебя преследовать. Оно настигнет тебя всюду, где бы ты ни был, хотя бы на сту-

пнях трона, оно достигнет и ты погибнешь. Смотри, вот что ожидает клятвопреступника!..» При этих словах его я расслышал явно какой-то отчаянный вопль, он раздался вблизи, но я ещё ничего не видел. Вдруг в нескольких шагах от меня стена мгновенно разверзлась, и я увидел огромного сфинкса, мывшего своими железными лапами человека, который корчился в страшных муках, испуская отчаянные стоны. Что это такое было, как это было — я ничего не мог понять, я только с чувством жалости и ужаса глядел на отвратительное зрелище. Сфинкс был неподвижен, а между тем гигантские лапы двигались, кровь несчастной жертвы струилась, и скоро передо мною был бездыханный труп, на лице которого, широко раскрытыми, вышедшими из своих орбит глазами, застыло выражение неизъяснимого ужаса и страдания... И мгновенно всё исчезло — ни сфинкса, ни трупа, ничего. Передо мною стена. «Так погибает всякий, кто нарушает клятву, данную в этом месте! — произнёс иерофант. — А теперь слушай!..» И каждое слово, приносимое им, как молотом, вбивалось в мой мозг и в

моё сердце, и навсегда в них запечатлелось.

* * *

Калиостро замолчал, и все замолчали. Все сидели, затаив дыхание, поражённые этим рассказом, увлечённые в страну чудес и ужасов. Так продолжалось несколько минут.

— Граф Феникс! — сказал наконец Захарьев-Овинов. — Вы видите, мы все поражены, но припомните слова светлейшего князя: «Мы хотим знать до конца», а вы остановились на самом интересном месте. Что же поведал вам иерофант? Какие тайны открыл он вам?

Калиостро ответил:

— Я обещал сказать вам всё, что могу, и я исполняю своё обещание, но ведь вы слышали, что я дал страшную клятву молчать о том, что готовился узнать. Неужели думаете вы, что я её нарушу?

— Как! — с лёгкой усмешкой воскликнул Захарьев-Овинов, — так вы ещё находитесь под клятвой? Я полагал, слушая вас, что вы давно уже освободились от всяких уз, что вы

возвысились надо всем и находитесь на такой высоте, где забываются все клятвы, где уничтожается всякий страх мщения. Если же нет, если я ошибаюсь, если то, что вы нам передаёте, действительно серьёзная истина и вы подлежите мщению, вспомните, ведь оно должно настигнуть вас всюду, где бы вы ни были. Почём знать, быть может, и здесь, в стране северных варваров, следит мстительное око за каждым вашим шагом...

Калиостро тревожно взглянул на него.

— Нет, князь, — сказал он, — я знаю, что делаю. Я имел право сообщить вам то, что сообщил. Но, заметьте, только вам — я не рассказываю этого направо и налево!

— К чему его перебивать! — воскликнул Потёмкин. — Пусть он говорит, всё это очень интересно и, на мой взгляд, полно смысла. Граф Феникс, передайте нам, не нарушая клятв ваших, о дальнейших испытаниях.

Калиостро внезапно ощутил в себе как бы новый прилив сил. Он победил ту неловкость, ту непонятную тревогу, которые в нём возбуждались присутствием и словами Захарьева-Овинова. Теперь он гордо поднял свою

красивую голову и взглянул прямо в глаза тому, кто так смущал его. Он встретил светлый и ясный мучительно-проницательный взгляд. Этот взгляд как бы пробудил в нём какие-то позабытые воспоминания. Он знал этот взгляд — страшный, могучий и холодный. И он его выдержал.

— Я победил землю! — воскликнул он. — Победил первую стихию, мне оставалось победить воздух, воду и огонь и затем выдержать последние испытания, самые страшные из всех, хотя по виду легчайшие. Всё это я и расскажу вам, не страшась никакого мщениия и не признавая себя клятвопреступником!..

Х

Калиостро замолчал, откинулся на спинку кресла, и по его рассеянному, блуждавшему взору можно было заключить, что он внешне забыл все окружавшее. Но вот снова раздался его голос:

— Когда иерофант объяснил мне смысл и значение изображений, начертанных по стенам галереи сфинксов, когда мы оказались в самом конце этой галереи, он отпер желез-

ную дверь, и моим взорам представилось такое зрелище: передо мною была другая чрезвычайно длинная галерея, но узкая и тёмная, в глубине которой ярко горело пламя. Да, передо мною в отдалении было целое море пламени!.. «Сын земли, — сказал иерофант, — я вижу смущение в твоём взгляде, это пламя страшит тебя. А между тем ты должен идти вперёд и не останавливаться ни перед какими препятствиями. Знай, что испытания, препятствия и даже смерть могут устрашить только слабые существа, для которых навеки закрыт храм мудрости. Если страх может объять тебя от чего бы то ни было, зачем ты здесь? Взгляни на меня: когда-то и я прошёл через этот пламень так же легко и свободно, как через цветник роз. Иди и не возвращайся, ибо возврата нет. Я запрю эту дверь, и напрасно ты будешь в неё стучаться. Прощай или до свидания». С этими словами железная дверь запёрлась за мною, и я остался один. Он был прав: в первую минуту это кипящее передо мною пламя, в которое я, очевидно, должен был ринуться, меня устало. Я никогда не был трусом, но с детских лет именно огонь

смущал меня. Я быстро прошёл длинную галерею и остановился в нескольких шагах от пламени. Откуда оно поднималось — я не мог себе представить, я видел только одно, что предо мною гигантская огненная печь и что мне предстоит войти прямо в неё. Жар огня уже меня охватил, я невольно остановился. Дрожь пробежала по моим членам. Но вот спасительная мысль мелькнула в голове: к чему же был весь этот урок высшей мудрости, полученный мною сейчас в галерее сфинксов от иерофанта? Ведь урок этот был бы бесполезен для человека, приговорённого к смерти. Это только новое испытание. Как оно окончится — я не знаю. Но ведь до сих пор я вышел невредимым и с первых испытаний. Вперёд! И я твёрдо пошёл прямо к огненной печи. Ещё мгновение — и я буду в огне. Но что это? Огонь как бы стихает, упадает. Передо мною сквозной железный пол. Пламя уже внизу, под этим полом. Опасность от огня, очевидно, уменьшается с каждым мгновением. Я замечаю у самых ног моих достаточно широкий каменный проход и смело ступаю на него, подобрав полы моей длинной одеж-

ды. Бегу над пламенем, бегу вперёд. И по мере того как я бегу, пламя поднимается за мною. Ещё миг — и конец испытанию огнём, ещё миг — и полная безопасность. Но что это? Пламя за мною в двух шагах от меня, оно поднимается всё выше, и выше, и выше, а впереди, также в двух шагах, тёмная неподвижная вода... О, слабость человеческой природы! Я вздрогнул, я остановился, почти доведённый до отчаяния. Но это было на мгновение. Разве же достаточно было у меня доказательств моей безопасности?! Я смело вступил в воду и пошёл. Вода всё выше и выше. Вот она достигает мне до шеи, ещё один шаг — и я должен плыть, чтобы не захлебнуться. Ну что ж, я поплыву... Вперёд!.. Вперёд!.. Однако мне даже не пришлось плыть — мои ноги ощутили под собою снова твёрдую почву, и скоро я вышел из воды. Я ощупал ступени лестницы, поднялся и очутился прямо перед дверью. Бушующее сзади пламя озаряет эту запертую дверь... Я жду. Что же это никто её не отворяет передо мною? Попробую отворить её сам. Вот изображение львиной головы. В зубах у льва большое металлическое кольцо в виде змеи, по-

жирающей свой хвост. Я изо всех сил ухватился за это кольцо — и невольно вскрикнул: в мгновение ока я почувствовал, что пол уходит у меня под ногами. Я ухватился ещё сильнее за кольцо обеими руками и повис в воздухе. Пламень погас. Я в полном мраке. Мгновение, другое — всё тихо. Что ж, буду так висеть, пока хватит сил. А потом? Потом что-нибудь да будет.

Конечно, спасение. А если нет? Из глубины моего сознания шепнуло мне что-то: «Ну, так смерть!» Но я ещё не успел закончить моих мыслей, как почувствовал какое-то прикосновение к моим ногам. Железный пол снова был подо мною. Я выпустил из моих окоченевших рук кольцо, и дверь открылась. Передо мною блеснул свет, и я очутился среди людей. Не успел я ещё оглядеться, как завязали мне глаза и повели куда-то. Мы шли долго, очень долго. Я слышал, как перед нами с шумом отворялись железные двери и запирались снова. Наконец мы остановились, и мне развязали глаза. Я оказался в ярком освещённом пламенниками обширном подземном зале, в многочисленном собрании, среди кото-

рого были и старый иерофант, приведший меня в пирамиду, и другой иерофант, бывший со мною в галерее сфинксов. Я не имею права говорить вам о том, что увидел в этом зале, но могу передать смысл речи, с какою обратился ко мне старый иерофант. Он говорил мне: «Сын земли, ты почёл себя учёным и мудрым и гордился своими познаниями, ты услышал, что мы обладаем сокровищами тайных наук, высшими знаниями сил и законов природы, — и в тебе загорелось желание проникнуть к нам и получить наши знания. Удовлетворён ли ты исполнением твоих необдуманных желаний? Ты между нами, в нашем святилище. Ты прошёл некоторые испытания и кое-чему научился. Ты должен теперь ясно видеть, что все эти пройденные тобою испытания только казались с первого раза серьёзными, а в сущности были игрою. К чему же привело тебя твоё безумное честолюбие, твоя гордость и твоя доверчивость? Вот ты здесь утомлённый, продрогший, в мокрой одежде — и неужели не понимаешь, как ты смешон?! Ты наш пленник, ты в руках неизвестного тебе тайного общества, секретами и зна-

ниями которого ты желал воспользоваться. Мы не звали тебя, ты сам пришёл к нам и должен быть наказан за свою дерзость, за своё безумие. Ты в подземелье, из которого тебе нет возможности выйти. Ты слышал об испытаниях, каким мы подвергаем неофитов, и теперь, в эту минуту, ты окончательно уверен в том, что эти испытания только игра, только шутка, как я и сам сказал тебе... Но неужели ты думаешь, что это всё, что ты всех победил, всего достиг и теперь высшая мудрость должна открыться перед тобою, и мы тебя примем в нашу среду как достойного, как равного нам? Если ты это думаешь, то жестоко ошибаешься: ты ещё не выдержал ни одного настоящего испытания, ещё ничем не доказал нам, что достоин быть между нами. Ты доказал только своё дерзновение, но этого чересчур мало! Однако мы вовсе не желаем твоей гибели и от тебя зависит доказать нам, что не одно праздное любопытство и не одно тщеславие привели тебя сюда. Действительно ли желаешь ты быть между нами?» Я ответил, что желаю, ответил от глубины моего сознания, и тон моего ответа, очевидно, произвёл

впечатление на всех присутствующих. Иерофант заговорил снова: «По непреложным, вечным законам иерархии я здесь призван быть властелином. Все маги, которых ты здесь видишь, несмотря на все свои посвящения и знания, ими достигнутые, подчиняются мне беспрекословно. Клянись же мне и ты, что с этой минуты моё слово будет для тебя законом, что твоё послушание мне будет рабским послушанием, что ты даже не позволишь себе ни на мгновение остановиться и подумать: прав я или нет, добро или зло заключается в моём приказании!..» «Клянись!» — твёрдо сказал я. «Берегись! — воскликнул иерофант. — Если ты поклялся только языком — горе тебе! Мы читаем в сердцах, мы видим мысли — и ложь наказывается у нас смертью!» Иерофант подошёл к столу, взял стоявшие на нём два золотых кубка и поднёс их мне. Кубки были одинаковые, и заключающаяся в них жидкость имела одинаковый тёмный цвет. «В одном из этих кубков, — сказал иерофант, — самый безвредный напиток, в другом смертельный яд. Я приказываю тебе взять один из них и немедленно

выпить залпом!» Я протянул руку. Мне было решительно всё равно, что я выпью — жизнь или смерть. Я находился в особенном, возбуждённом состоянии. Я не думал ни о чём и ничего не боялся. Я взял кубок и выпил его разом. Приятная теплота разлилась по моим устам, продрогшим членам. Иерофант с ласковой улыбкой положил мне на плечо руку. «Ты выпил жизнь, — сказал он, — да и не мог выпить смерти. Ни в том, ни в другом кубке нет яда...» Затем мне опять завязали глаза и повели. Опять какая-то дверь отворилась передо мною. Мне было сказано: «Стой неподвижно, пока не убедишься, что полная тишина тебя окружает, тогда сними повязку с глаз твоих». Дверь запёрлась. Я слышал удалявшиеся шаги, и вот шаги эти замерли. Всё было тихо. Я сорвал свою повязку.

XI

Я был среди прекрасного зала, высокие сво-
ды которого поддерживались громадными, гранитными колоннами, пестревшими в вырезанных на них иероглифах. Яркий свет падал откуда-то сверху. Курильницы были

расставлены на мозаичном полу, и дым их разносил по залу благоухание. Между колоннами был протянут и спущен пурпурный, шитый золотом занавес. В нескольких шагах от меня помещалось ложе, покрытое драгоценной золотой материей. Только при виде этого ложа я почувствовал всю свою усталость. Я почти упал на мягкие подушки. В это мгновение мне послышались как бы шаги. Да, это были шаги. Я увидел четырёх молодых и красивых людей, нёсших ванну. Они поставили ванну возле меня, почтительно поклонились мне и предложили снять мою мокрую одежду и сесть в ванну. Я с наслаждением исполнил это. Тёплая ароматическая влага, в которую я погрузился, наполнила меня неизъяснимым блаженством. Когда я взял ванну и уже хотел облечься в принесённую мне новую одежду, двое из молодых людей предложили мне предварительно позволить им укрепить меня тем, что они называли массажем. Они сказали мне, что после массажа все следы усталости исчезнут и я почувствую особенную силу и бодрость. Я кивнул им головой в знак согласия. И вот их быстрые искусные руки покры-

ли меня каким-то жирным, душистым веществом и стали растирать меня. В первые мгновения мне было даже больно. Мне казалось, что эти два сильных человека раздавят меня и переломают мне кости. Но скоро я убедился, что они правы, что их массаж действительно имеет на весь организм мой укрепляющее, обновляющее действие. Наконец массаж кончен, меня вытерли, обмыли душистой эссенцией, облекли в новую одежду. И я, незадолго перед тем чувствовавший непреодолимое желание лежать и отдыхать, теперь, напротив того, был так свеж и бодр, как никогда в жизни. Мне хотелось движения, силы жизни были во мне ключом, но в то же время я почувствовал сильный голод и жажду. Около суток я ничего не ел. Молодые люди удалились, унесли ванну, и через несколько мгновений около моего ложа, на её месте был стол, уставленный всевозможными кушаньями и напитками. Моим прислужникам нечего было спрашивать меня приступить к трапезе: никогда с большим удовольствием не насыщал я своего аппетита. Кушанья казались мне необыкновенно вкусными. Но вот мой голод

насыщен, жажда утолена. Молодые прислужники унесли стол, и я снова один на моём роскошном ложе. Какое-то особенное блаженное состояние наполняет меня. Я чувствую, как горячая, могучая кровь кипит в моих жилах и в то же время по всему существу моему разливается сладкая истома. Неясные образы роятся предо мною, в душе моей звучат как бы струны, грезится что-то обольстительное, знойное... Дух захватывает от нового голода, от новой жажды... Всё, что до тех пор, в иные мгновения, заманчиво, таинственно носилось передо мною, всё, что влекло меня и против чего я боролся: земная любовь, земная красота — всё это снова на меня наплывает и зовёт, и манит, и чарует. Вдруг неведомо откуда раздаются мелодические звуки... Музыка ближе, яснее... Эти звуки говорили то же самое, что было и внутри меня... Эти звуки звали к наслаждению, дышали всеми соблазнами — и я невольно вслушивался, и сердце невольно им вторило, звучало вместе с ними. Мысли туманились. Я забывал всё, прошлое исчезло... все мудрые наставления моего воспитателя Альтотаса, все мои знания, вся моя

сила — всё исчезло. Я звал красоту, звал любовь, звал наслаждение! И вот пурпурный занавес взвился передо мною, и среди дыма курильниц между колоннами, покрытыми золотыми иероглифами, я увидел что-то. Да, нечто двигалось там, и хотя я не мог понять, не мог догадаться, что это такое, тем не менее я всей душою стремился к этому непонятному явлению, торопил его, ждал с нетерпением страсти. Я встал с моего ложа и стремительно кинулся туда, к широкой полосе яркого, лившегося сверху света, за которой в дыму курильниц происходило непонятное, волшебное движение... Я поднялся по мозаичным ступеням — и замер от изумления и восторга. Среди потоков таинственного света и облаков фимиама я увидел толпу таких прелестных женщин, какие вряд ли грезилась и расплённому воображению поклонников Магомета. Да, это воистину были самые соблазнительные гурии Магометова рая... Что ж это? Я брежу? Но нет, то был не бред, не сон, то были небестелесные видения... Природа создала этих дочерей соблазна из плоти и крови и одарила их всеми чарами земной, живой,

дерзновенно-властительной красоты... И каждая из этих красавиц казалась высшим, любимейшим созданием природы, глядя на каждую из них, думалось, что краше, соблазнительнее её ничего уже и нельзя придумать... А между тем рядом с нею была другая, несколько на неё не похожая, но не менее её прекрасная и обольстительная. И рядом с этой другой — третья, четвёртая... и не было конца красоте, соблазну, очарованию. Разнообразие красоты и разнообразие одеяний: симфолический Египет, знойная и загадочная Индия, дивная в своей пластической простоте Греция — все страны мира, все эпохи человечества выслали мне и показали то, что они считали прекрасным, во что они облекали любимейшую из дочерей своих... Я стоял недвижим, с безумно бившимся сердцем, с горящей головой, и жадный взор мой ненасытно следил за этим живым видением, за этой воплощённой грёзой. Миг — и я был окружён роем красавиц; они глядели мне в глаза с лаской, с приветом, они опутывали меня гирляндами из душистых свежих роз. Я чувствовал их сладостное дыхание, теплоту их юного,

девственного тела... Они шептали мне слова любви, слова страсти; они обещали мне все земные блаженства, никогда не изведанные мною... Голова кружилась, почва уходила из-под ног моих... ещё миг — и я буду в их власти, я отдамся им, бессильный и безвольный... Но вдруг в глубине моего сознания дрогнуло что-то, и мысль, ясная, светлая и холодная, пронеслась в горящей голове моей: «В этой красоте, в этой страсти и в этом жгучем блаженстве — не счастье, а гибель, не торжество, а унижение! Ведь я знал это, знал давно! С этим знанием я пришёл сюда! Зачем же я допустил в себе весь этот ад, все эти муки? Зачем я вызвал их — эти чары соблазна? Но нет, не я вызвал их... откуда же они? Зачем они? Разве для них я здесь? Разве они обещаны мне в конце испытания? Разве в них награда победителя плоти? В них тайна высших познаний природы? Безумец! Ведь эта красота, эти чары, эти ласки, улыбки и розы — только новые испытания!..» Мгновенным усилием воли я овладел собою, и ничего, кроме презрения, не могли прочесть в моём взгляде эти ласковые, молящие, подернутые страстной

влагой взоры. И я не убежал от них как трус, не скрылся от них, как бессильный. Я схватил обвивавшие меня душистые гирлянды и разорвал их, и бросил их в окружавших меня красавиц. «Уйдите, оставьте меня, вы не нужны мне... Я не раб ваш!» — твёрдо сказал я. Звуки музыки замерли. Одна за другою удалялись и скрывались в облаках курений дочери соблазна. Но каждая из них останавливалась передо мною вся озарённая полосой яркого света, вся сверкавшая безумной, вызывающей красотой, и молила меня страстным взором, и манила меня... Но я не двигался с места. И вот я один — их нет! Я обернулся и увидел за собою спокойную величественную фигуру седого иерофанта. В руке его сверкнула сталь кинжала. «Сын мой, — торжественным голосом сказал он мне, — на этот раз ты прошёл через истинное испытание. Если бы ты не выдержал, если бы поддался соблазну, то доказал бы свою позорную и преступную слабость... Если бы ты не выдержал, то был бы жалким обманщиком в глазах наших, презренным существом, пятнающим своим присутствием святость и чистоту нашего храма...

Ты был бы бесполезен для жизни, и я вот этим кинжалом лишил бы тебя жизни в самый миг твоего падения!..» Он бросил кинжал, подошёл ко мне и обнял меня: «Подними голову, победитель плоти, — воскликнул он, — и смело гляди в беспредельную область духа! Ты достоин читать великую книгу природы. Древняя и вечно юная Изида снимет для тебя свои покровы, и ты узришь всю её нетленную красоту, и ты насладишься этой божественной красотой... Привет тебе, сын мой! привет тебе, брат мой!..»

Рассказ был кончен, и Калиостро, взглянув на своих слушателей, сразу убедился, что цель достигнута. Да, он отлично знал, что делает и к чему стремится. Нужен был именно такой рассказ, переданный этим откровенным, горячим и таинственным тоном, чтобы произвести надлежащее впечатление на единственного человека, о котором теперь думал Калиостро.

Этого человека, способного на быстрое увлечение, но так же быстро и охлаждавшегося, необходимо было увлекать постоянно и разносторонне, не давать ему охладиться.

Мудрый ученик египетских иерофантов решился действовать именно так, со всею своею ловкостью и смелостью.

Во время рассказа, глядя на Калиостро, можно было подумать, что он ничего не замечает, никого не видит, что он всецело отдаётся своим воспоминаниям и перед ним восстаёт только то, что он изображает горячим словом. А между тем он ни на мгновение не увлёкся. Его проницательный взгляд зорко следил за малейшим изменением в выражении лица Потёмкина, то есть того единственного человека, которого ему надо было увлечь. И если Калиостро остановился, он сделал это не потому, что ему уже нечего было рассказывать, а потому, что его наблюдения были окончены, что он уверился в достижении своей цели.

Теперь он знал Потёмкина, изучил его, теперь в его лице, как в раскрытой книге, он мог читать всю его душу — ясно и безошибочно. Он видел, что ему удалось затронуть в этом изумительном человеке, исключительность которого он хорошо понял, именно все заветные струны, могущие звучать ему в от-

вет. Если приступая к своему рассказу, Калиостро ещё сомневался, то теперь сомнений не было: всеильный русский вельможа прежде всего — мистик.

Его можно было изумить опытом с Лорендой, но ненадолго. Его можно было заинтересовать рассказом о таинственном происхождении Ашарата, но лишь на мгновение. А вот эти испытания в подземельях Египта подняли в нём целый новый мир мыслей и ощущений, встревожили до самой глубины его скупающую и томящуюся душу.

«Легко вызвать могучий дух, но раз он вызван — нелегко с ним справиться и заставить его служить дерзновенному вызывателю!» — невольно мелькнуло в голове Калиостро...

Он решил, однако, что справится с вызванным им могучим духом и заставит его служить себе.

Что касается остальных слушателей — о них нечего было и задумываться. Граф Сомонов и его друг, тоже известный богач, Елагин, принадлежали «божественному» Калиостро телом и духом и готовы были за ним следовать не только в египетские подземелья, но

даже хотя бы и в самую глубину ада.

Хозяйка дома, графиня Екатерина Петровна, ещё молодая и красивая обходительная женщина, была, очевидно, хорошо подготовлена мужем. В первые два-три дня по приезде Калиостро и Лоренцы она отнеслась к ним хотя и предупредительно, но сдержанно. Сильно заинтересованная мужем и склонная, подобно ему, к мистицизму, она, однако, по своему характеру, была несравненно осторожнее и хладнокровнее графа Александра Сергеевича.

Она очень любила мужа, и любовь её выражалась в том, что, во-первых, она невольно иногда ревновала его к дамам и девицам, которых он «магнетизировал», а, во-вторых, в том, что ей обидно было за то, что его увлечения и занятия всякою таинственностью возбуждают в обществе, а главное в интимном кругу императрицы, подшучивания над ним и лёгкие насмешки, вредят его репутации серьёзного и умного человека, каким она его считала.

Она боялась, что этот приезд таинственных иностранцев повредит мужу, будет при-

чиной неприятностей, и, во всяком случае, породит новые анекдоты и насмешливые рассказы.

Но не прошло и двух-трёх дней, как она поддалась обаянию графа Феникса и невольно любовалась красотой, грацией и прелестной наивностью Лоренцы. Теперь, после произведённых опытов, после рассказов Калиостро, она уже ни над чем не задумывалась. Она была увлечена всецело, заинтересована до последней степени, вся наполнена тем жутким страхом таинственного и неизвестного, который бросает и в жар, и в холод, и притягивает к себе, и увлекает.

Графиня Елена Зонненфельд? Как она относилась ко всему, что было вокруг неё?.. Она в эти последние дни жила совсем новой, непонятной жизнью. Она жила в каком-то особом мире, отуманенная, замороженная, не знавшая, где сон, где явь, где мечты, где действительность. На неё действовали два могучих влияния. Одно из них наполняло её блаженным трепетом, другое подавляло и мучило. Она страдала глубоко, томилась, как никогда, но не могла отдать себе отчёта в своём со-

стоянии. Она только ждала, нетерпеливо, мучительно, а чего ждала — не знала. Теперь, в этот вечер, одно из действовавших на неё влияний как бы отошло, уступило место другому, и это другое наполняло её всецело. Она была во власти египетского мага, так как другой маг, хотя и был здесь, почти рядом с нею, но зачем-то отступился от неё, покинул её, отдал её во власть враждебному влиянию. Зачем он сделал это? Или ему не под силу было бороться «с погибшим братом», или он не хотел бороться?!

Как бы то ни было, Захарьев-Овинов казался теперь самым ничтожным, невидным, почти лишним членом этого тесного собравшегося кружка. Его как бы не замечали. О нём как бы забыли. А главное — его не замечал, о нём забыл неестественно сам Калиостро. Да, Калиостро решительно о нём не думал, он гораздо более думал о его соседе, последнем «звене» этой составленной им цепи — о князе Щенятеве.

Если князь Щенятев попал в цепь, значит, он нужен был для целей Калиостро. Но теперь, глядя на покрасневшее от волнения, ко-

мичное лицо этого длинного и тощего пети-метра, трудно было решить вопрос: кто более владел им — граф Феникс или графиня Зонненфельд? Щенятев, очевидно, был сильно увлечён красавицей графиней. Впрочем, об этом уже более месяца говорили в петербургском обществе...

А Лоренца? Как относилась она и к мужу, и к его рассказам, и ко всем? Решить это было нелегко. Её хорошенькое, нервное лицо постоянно меняло выражение. Она казалась то задумчивой и серьёзной, то как бы уходила в область таинственных грёз и мечтаний, то внезапно оживлялась, улыбалась всем, всех ласкала этой милой, почти детской улыбкой. И встречаясь с её лучистым, неведомо что скрывавшим взглядом, невольно все любовались ею — так она была мила, так к себе привлекала.

Лоренца была, однако, единственным спокойным и хладнокровным членом этого кружка. Её роль, очевидно, ещё не началась. Она ничего не боялась, ни о чём не заботилась. Когда придёт время — муж обратится к ней, и она вступит в его распоряжение, а пока

она может наблюдать, разглядывать.

Она знала, что всё дело теперь в Потёмкине, он и есть именно тот человек, о котором больше всего думает её муж. Ведь для него главным образом они сюда и приехали. Она знала это и видела ясно, что все благополучно, что все идёт как следует. Да разве Джузеппе (так она мысленно называла «божественного» Калиостро) — разве он может ошибиться? Положим, в настоящем случае она значит больше, чем Джузеппе: без её помощи он не обойдётся, он ей говорил об этом, да и она сама ведь очень хорошо все понимает... Русский всесильный вельможа должен быть прежде всего в её власти. Он её жертва.

Она с внутренней улыбкой сказала себе: «Как легка, однако, была победа!» Нечего было даже так готовиться к этой победе, как она готовилась. Теперь вот она как бы забыта, теперь действует один Джузеппе. Он поглощает всё внимание этого великана... на неё почти и не смотрят. Но это ничего, так должно быть, когда надо, Джузеппе отойдёт, и великан поступит в её распоряжение...

И она лукавыми, светящимися глазами

время от времени поглядывала на великана.

А ведь он совсем не таков, каким она представляла его себе в то время, когда с Джузеппе в Курляндии готовилась к своим наступательным на него действиям! Да, впрочем, тогда она вовсе и не думала о нём как о человеке. Он был и для неё, и для Джузеппе только силой, которая нужна, которою следует овладеть. Теперь же вот он перед нею, живой человек — и ей придётся иметь с ним дело не как с отвлечённой силой, а как с живым человеком. Когда она его в первый раз увидела, он произвёл на неё тяжёлое, почти отталкивающее впечатление. Он так был не похож ни на кого. Он был так тяжёл, велик... Она не любит таких крупных, неповоротливых, важных людей!.. А вот теперь он ей нравится всё больше и больше, и она уже не думает о том, красив он или нет, стар или молод. В нём есть что-то особенное, что её невольно привлекает, в нём есть какая-то новая, неизвестная ей ещё сила — и эта сила иная, чем сила её Джузеппе...

«Он вовсе не так страшен, как кажется сразу, — решает в своих мыслях Лоренца, — а всё же он страшен, но это хорошо: для всех стра-

шен, но не для меня!..»

И она улыбается, заранее улыбается, заранее улыбается тем минутам, когда этот страшный великан, этот северный медведь превратится перед нею в послушного ягнёнка.

Но вот она уже о нём забыла. Она смотрит теперь с маленькой лукавой улыбкой на князя Щенятева и думает: «Вот если бы этого надо было приручить, если бы Джузеппе приказал ей овладеть этим человеком, ей очень было бы трудно исполнить такое приказание. Какой противный, какой смешной, а главное — как он влюблён в эту красавицу графиню!»

Она переводила взгляд на Елену и любовалась ею. Она говорила себе, что никогда ещё не встречала такой красавицы. Сколько раз Джузеппе твердил, что Лоренца очаровательна, что ни один из мужчин не устоит перед её прелестью. Да так оно до сих пор и было. Но что же она, Лоренца, перед этой графиней!.. Боже, какая красота, какая особенная красота! Смешной и противный князь на длинных ногах и с маленьким носиком, конечно, должен

быть влюблён в неё без памяти. Но как же Потёмкин глядит и не видит такой изумительной красоты, как может он в присутствии графини ласково смотреть на неё, Лоренцу. А она, графиня-красавица, отчего она так несчастна? Лоренца чувствует, что графиня несчастна. Джузеппе... он уже овладел ею, она в его власти. А что, если сам Джузеппе увлечётся ею?!..

Но эта мысль мелькнула в ней и исчезла. Она уже глядела на Сомонова, на его жену, на Елагина, прозванного ею по первому впечатлению деревянной статуей и теперь всецело, без остатка, поглощённого «божественным» Калиостро. Затем она возвращалась опять к Потёмкину, к Щенятеву, к Елене... Она не замечала только одного Захарьева-Овинова, как будто его и не было совсем в комнате, между ними...

Его решительно никто не замечал, никто о нём не думал; но он о себе напомнил. Он снова первый прервал молчание, наступившее после рассказа Калиостро.

— Граф Феникс, — сказал он, — какие великие мгновения вы пережили! Вы вышли по-

бедителем из всех испытаний, и эти испытания, когда вы прошли через них, должны были показаться вам лёгкими и ничтожными в сравнении с наградой, какую вы должны были получить как победитель природы... Но скажите, действительно ли великая Изида сняла перед вами свои непроницаемые покровы? Действительно ли она дозволила вам насладиться своей нетленной красотой?

Слова эти были сказаны спокойным тоном и в них, по-видимому, не заключалось никакой насмешки, а лишь одно естественное любопытство заинтересованного слушателя. Захарьев-Овинов выразил лишь то, что Потёмкин готов был сказать, что все остальные хотели сказать, но не осмеливались. Калиостро взглянул на человека, произнёсшего эти слова, на человека, о котором он забыл, не думал и который как бы внезапно очутился перед ним. Калиостро содрогнулся: для других это были естественные слова, вызванные любопытством. Но он понял их действительный смысл. Он почувствовал в них насмешку и презрение. Слова эти были для него вызовом, вызовом смелого врага, являющегося внезап-

но, неведомо откуда и владеющего неведомо каким оружием. И он, призвав всю свою силу и смелость, ответил этому врагу с великолепным дерзновением:

— Да, князь, великая Изида сдержала своё обещание. Я здесь не затем, чтобы хвастаться, чтобы играть перед вами роль. Я молчу лишь о том, о чём не имею права говорить, и всё, что я вам рассказал, я рассказал лишь для того, чтобы вы знали, откуда мои знания, чтобы никто не мог почесть меня, как это уже не раз случилось в течение моей жизни, за человека, продавшего свою душу дьяволу. Положим, вы все далеки от нелепых суеверий, но всё же мне необходимо, чтобы вы знали, откуда берётся моя сила. Каждый из вас может, если захочет и если сумеет, получить её. Человек способен владеть природой! В ваших словах, князь, я слышу недоверие ко мне — оно законно, я не могу претендовать на него...

Он вдруг улыбнулся.

— Я победил когда-то враждебные мне природные элементы, — продолжал он, — теперь я надеюсь победить вашу недоверчивость... Вы видите, как я самонадеян, я дока-

жу вам, что мне подвластен не только видимый мир, но и частью невидимый!

При этих словах внезапная краска вспыхнула на щеках Потёмкина. Он сдвинул свои густые брови, и на лице его изобразилось негодование. Эти последние слова Калиостро его как бы сразу охладили.

— Думайте о том, что говорите! — воскликнул он своим властным голосом. — Вам подвластен невидимый мир?.. Или докажите это, или... я, по крайней мере, не буду вас слушать!

Калиостро быстро поднялся, нервным движением оттолкнул от себя кресло и подошёл в упор к Потёмкину.

— Не я докажу вам истину моих слов — вам её докажет ваш покойный отец... Я призыву его к вам — и вы его увидите... Каждый увидит того из умерших, кого захочет видеть... Принимаете ли вы моё предложение? Желаете ли вы убедиться в том, что если невидимый мир и неподвластен мне, то, во всяком случае, слушается моего зова?. Или вы боитесь?.. Кто боится — пусть уйдёт...

Но никто не выказал страха. Все были как

бы подавлены, как бы застыли на месте.

Один Захарьев-Овинов молча и спокойно глядел в лицо Калиостро, да Потёмкин повторял с негодованием, к которому всё более и более начинало примешиваться изумление:

— Скорей... скорей докажите! Такими вещами не шутят... такие шутки неуместны!..

XIII

По распоряжению Калиостро занавеси на окнах были спущены, двери заперты на ключ, свечи потушены. Вся комната освещалась теперь одной только лампой, поставленной на камин и прикрытой абажуром. Таким образом, наступил полумрак, в котором, однако, можно было достаточно отчётливо различать все предметы.

— Теперь нам необходимо образовать нашу цепь! — объявил Калиостро.

Он пригласил всех разместиться вокруг стола и положить на этот стол руки. Прошло несколько минут в полной тишине, нервной, напряжённой тишине, среди которой самым сильным звуком было биение человеческого сердца, смущённого, наполненного страхом и

трепетом, сторававшего от жадного, болезненного и мучительного ожидания.

— Пусть каждый задумает и сильно пожелает видеть кого-либо из умерших, — сказал Калиостро, и его голос прозвучал как-то особенно страшно и повелительно в этой тишине.

И опять ни звука. Все сидят неподвижно. Вдруг посреди стола раздался сухой, резкий стук, потом другой, третий. Не прошло и минуты, как уже по всей комнате раздавались эти странные стуки, то слабее, то сильнее. Они перебегали с места на место. Сейчас стучало в зеркале над камином; теперь стучит в книжном шкафу, в раме картины, в потолке, потом будто далеко где-то, глухо... И вот стуки бегут, бегут, они всё ближе, всё сильнее. В столе раздаётся такой удар, что женщины громко вскрикивают. По комнате без всякой видимой причины ходит все усиливающееся всеми ощущаемое дуновение...

Вдруг дверцы книжного шкафа распахиваются сами собою, и одна из книг падает на пол.

Графиня Сомонова перекрестилась и во-

просительно, боязливо взглянула на мужа. Но он её не видит, он восторженно глядит на шкаф, очевидно, ожидая, что именно там «должно начаться». Щенятев ощущает дрожь в спине и желание вырваться отсюда и уйти, но он знает, что это невозможно, и всеми силами старается подавить свой страх и ничем его не выказать. Елагин спокоен и сосредоточен, только руки его, лежащие на столе, нервно дрожат. Потёмкин покраснел, даже в полумраке видно, как горит его взгляд. Он тяжело дышит, он весь внимание, ожидание, любопытство...

«Неужели правда? неужели возможно?.. О, если бы увидеть!..» — думается ему.

Захарьев-Овинов откинулся на спинку кресла, руки его небрежно лежат на столе. Лицо в окружающем полумраке кажется мертвенно бледным и мертвенно неподвижным. Глаза совсем почти закрыты.

Что же он — спит, дремлет? Нет, его мысли ясны, и думается ему...

«К чему допускать всё это, к чему позволять этому человеку играть другими, увлечь их, овладевать ими, ослаблять, извлекая

из них более или менее значительную долю жизненной силы для произведения явлений, по меньшей мере бесполезных? Зачем позволять им, тёмным, непосвящённым, вступать в такие области, где необходимо быть и сильным, и зрячим. Ведь они слепцы, ведь каждый неверный шаг может привести их к гибели... Что для них поучительного, важного в том, что показал им этот человек, так красноречиво говоривший о своих приключениях в египетских подземельях?.. Зачем же мне продолжать эту игру и скрываться, отвращать от себя внимание, зачем позволять этому несчастному, так бессовестно злоупотребляющему своими знаниями и примешивающему к ним бред собственной фантазии, с сознательною уже ложью тешиться над людьми и пользоваться ими для корыстных целей, для удовлетворения своего тщеславия, земных страстей своих? Ведь один миг, одно движение всепобеждающей, крепкой воли, один могучий символ — и этот клятвопреступник будет посрамлён и получит должное возмездие за свою дерзость!.. Но нет, не пришло ещё время; ни для кого из находящихся

здесь ещё нет очевидной, неизбежной опасности, при которой дозволительно действовать, не беря на себя ответственности... Пусть же он тешится и пусть морочит жалких слепцов... да, жалкие!.. слепцы!..»

Он поднял глаза и увидел поразительное в своей могучей, оригинальной красоте лицо Потёмкина. И этот слепец, и этот жалок! А между тем его потянуло к этому жалкому слепцу и захотелось ему крикнуть:

«Встань, уйди, тебе здесь не место! Не для тебя это праздное стучание в дверь подземельий человеческого духа. Ничего не найдёшь ты в этих подземельях, ты в силах подняться выше, в область света. Воспрянь же, отряхни с себя земной прах... прозри, тоскующий брат!..»

Но он ничего не сказал ему, не подал ему никакого знака. Он отвёл от него взгляд свой и остановил его на Елене. Она вся трепетала. В широко раскрытых, горящих глазах её виднелась мучительная, ненасытная жажда...

Тень страдания пробежала по лицу Захарьева-Овинова. Сердце его сжалось тоскою и болью, и он отвёл глаза свои от красавицы...

Уйти, бежать отсюда, бежать от этого соблазна, от этих чар! Но ведь он знает, что это невозможно, знает, что бегство равно падению. Он знает, что близок час последней борьбы, и в этой борьбе он или падёт, или вознесётся к своей заветной цели. Для того ли была вся эта борьба двадцати лет, чтобы погибнуть? Нет, впереди победа! Победа и торжество для него. А для неё? Что будет с нею?.. И ещё большей тоскою сжалось его сердце при этой мысли... Теперь он уже предчувствовал, что не поднять ему её, не очистить... Он не знал, не искал, не ждал её тогда, когда она встретила на его дороге. Эта встреча была неизбежна — и там, и здесь... Пусть же действуют вечные, непреложные законы! А теперь, до поры до времени, он должен быть хладнокровным зрителем представления, даваемого «божественным» Калиостро.

Он взглянул на чародея, но мельком, и тотчас же отвёл от него взгляд свой: он не хотел до срока смущать его, мешать ему... Калиостро внимательно глядел на Лоренцу... Её роль, очевидно, начиналась... Да, теперь действовала главным образом она, но её действие было

бессознательно. Она имела вид спящей и действительно спала крепким, чересчур крепким сном, отдалась чему-то, что жадно вытягивало из неё её жизненную силу. Вся краска сбежала с её нежных щёк... Капли холодного пота выступили на лбу её... Побледневшие губы были крепко сжаты...

Странные стуки внезапно прекратились, и по комнатам то здесь, то там стали вспыхивать и быстро исчезать как бы слабые фосфорические огонёчки. Потом от Лоренцы, с левой стороны, начало вытягиваться будто что-то беловатое, как бы дымок... Дымок этот струился, сгущался и образовывал в некотором расстоянии облако. Взгляды всех были обращены на это облако, прикованы к нему. Лоренца была забыта — никто не обращал внимание на то, откуда берёт начало таинственное облако.

Прошло несколько мгновений... Потёмкин порывистым движением поднялся с места, роняя кресло, на котором сидел. Он был бледен, он невольно схватился за сердце... Он ясно разглядел в клубившемся перед ним облаке человеческое лицо — и это лицо было ему

знакомо, он не мог не узнать в нём своего покойного отца... Да, это отец его!.. Сомнений не может быть: вот уже ясно, отчётливо обрисовалась вся его фигура, он видит его таким, каким видел в последний раз, незадолго перед его смертью...

«Да нет же! Мёртвые не встают из могил!.. Это обман воображения... вот стоит закрыть глаза, протереть их — и всё исчезнет, потому что нет ничего... потому что это всё только кажется...» И Потёмкин закрывает глаза, протирает их, встряхивает своей львиной головою, отгоняя от себя бред, грёзу, самообман. Вот он откроет сейчас глаза — и нет ничего! Он пришёл в себя, он спокоен, он владеет собою... Он открывает глаза — а фигура отца перед ним, и уже теперь не может быть никакого самообмана... отец как живой... не призрак, не призрачное видение... живой человек!.. И отец смотрит на него живыми глазами, с памятным ему, обычным выражением...

— Да что же это наконец? — вне себя воскликнул Потёмкин. — Это воистину дьявольское наваждение!

Он широко перекрестился.

— «Да воскреснет Бог и расточатся врази его»... — шептали его губы.

Но отец не исчезал, отец подходил к нему, и теперь он заметил, что за отцом ещё какая-то... женщина, довольно молодая и красивая женщина... а рядом девочка лет двенадцати, в белом платице... потом ещё какая-то мужская фигура...

— Матушка! — вскрикнула графиня Елена, безумно кидаясь вперёд, и появившаяся женщина приняла её в свои объятия...

Хозяйка дома громко, истерично рыдала: она узнала в девочке свою любимую сестру, смерть которой когда-то долго оплакивала...

Высокий сухощавый старик, одетый по моде шестнадцатого столетия, подходил к Сомову и Елагину, протягивая им руки. Но они невольным движением от него отстранялись...

Князь Щенятев, весь дрожавший, с вытаращенными глазами и перепуганным, посиневшим лицом не выдержал и закричал:

— Граф Феникс!.. Au nom du Ciel!.. Ради Бога... скажите им, чтобы они ушли... исчезли... Я никого не вызывал, я никого не хочу... я не

могу! не могу!..

Но граф Феникс не обратил на него никакого внимания. Он стоял в горделивой позе, с лицом спокойным, с блестящими глазами.

— Прошу всех успокоиться и вернуться на свои места! — повелительным голосом воскликнул он. — Недостаточно видеть — надо слышать... Если я вызвал тех, кого вы хотели видеть, то я разрешаю им и беседовать с вами...

Он не заметил, что в это время Захарьев-Овинов приблизился к Лоренце и на мгновение простёр над нею руку. Другой рукой он как бы начертал перед собою в воздухе какой-то знак... Беловатая струйка, клубившаяся влево от Лоренцы, внезапно прервалась...

— Приказываю вам — говорите с нами! — торжественно возгласил Калиостро, обращаясь к появившимся фигурам.

Ни одна из них не заговорила. Все они сразу как бы померкли и через несколько мгновений растаяли бесследно.

Калиостро почти не верил глазам своим, в изумлении, почти в ужасе он кинулся к Ло-

ренце... Как могла она очнуться, внезапно выйти из своего сна? Ведь это не могло случиться, это невозможно!.. Но она была неподвижна, всё в том же бессознательном состоянии, всё в том же глубоком, странном сне... А появившихся фигур нет. Они испарились... только кое-где раздаются слабые стуки.

Чародей склонился над Лоренцой, взял её за руки, дул ей в лицо. Она оставалась неподвижной...

Никто не замечал этого. Графиня Сомонова продолжала рыдать, закрыв лицо руками. Елена без чувств лежала на полу. Сомонов и Елагин будто окаменели. Щенятев дрожавшими руками силился снять абажур с лампы, чтобы осветить комнату. Потёмкин стоял, опустив голову на грудь и тяжело дыша.

— На этот раз довольно! — раздался над Калиостро спокойный голос, и чья-то рука коснулась его плеча.

Он быстро обернулся и увидел холодное и строгое лицо Захарьева-Овинова.

Он ничего не мог ему ответить: он был всецело поглощён Лоренцой, он не понимал, что такое с нею...

Захарьев-Овинов отошёл, быстро наклонился над лежащей в обмороке Еленой. Она открыла глаза. Он её поднял.

— Графиня, пойдите отсюда на воздух, — сказал он.

Она пришла в себя, крепко оперлась на его руку. Запертая дверь как бы сама собою распахнулась перед ними, и они вышли.

XIV

Всё было тихо в доме графа Сомонова. Гости уехали. Огни погасли, все спали. Поздно поднявшаяся, уже на ущербе, луна заливала бледным светом дорожки сада, цветники и статуи. Одинокий запоздавший соловей робко щёлкал и замирал в отцветших кустах сирени. Только он один нарушал пропитанную запахом цветов влажную тишину тёплой летней ночи...

Однако в двух окнах белого, облитого лунным блеском графского дома из-за спущенных занавесей пробивалась слабая полоска света. Это были окна спальни, устроенной для графа Феникса и прекрасной Лоренцы.

Среди царственно пышной обстановки, в

которой видна была вся заботливость хозяйна о его таинственных гостях, на широкой золочёной кровати среди кружева подушек и мягких складок затканного розовыми букетами штофного покрывала лежала Лоренца. Она ещё не раздевалась и была в том платье, в каком присутствовала на всех чудесах этого таинственного вечера. Только её длинные, густые волосы распустились и беспорядочно падали вокруг неё, выделяясь чёрными шелковистыми волнами на светлом фоне кровати.

Она лежала, очевидно, в глубоком изнеможении. Лицо её было ещё бледнее, чем во время вызывания умерших. Но теперь она не спала, глаза её были широко раскрыты...

Калиостро нервной походкой ходил взад и вперёд по мягкому восточному ковру, застилавшему спальню. Наконец он остановился перед женою, склонился к ней и взял её руку. Эта рука была холодна, как лёд.

Молодая женщина затрепетала всем телом.

— Лоренца, — сказал он, — объясни мне, что с тобою? Я не могу прийти в себя... ведь до сих пор никогда не случалось ничего подоб-

ного!.. Постарайся сообразить, понять, что случилось с тобою?

Она провела рукою по своему холодному лбу, будто собираясь с мыслями, но рука её снова бессильно упала, губы едва слышно прошептали:

— Мне так дурно, я так слаба... мне кажется, что я умираю! Я ничего не могу вспомнить и не знаю, о чём ты меня спрашиваешь, Джузеппе... знаю только, что было что-то, но что — не могу вспомнить... Джузеппе, дай мне сил!..

Он положил ей руки на плечи и пристально стал глядеть ей в глаза своими горящими глазами.

— Джузеппе, мне больно! Ты заставляешь страдать меня ещё больше, — простонала Лоренца.

Тогда он отвёл от неё глаза, но руки его ещё продолжали лежать на её плечах. Затем он медленно приподнял их и положил ей на голову. Потом отошёл на шаг и стал, не касаясь её, проводить руками от её головы и до самых ног. Он производил эти движения медленно, но безостановочно, минут десять.

Мало-помалу лёгкая краска выступила на щеках Лоренцы. Она, видимо, оживлялась. Ещё минут пять — и она поднялась с кровати. Её утомления, дурноты, страдальческого выражения лица уже не было. Она снова превратилась в здоровую, крепкую, сиявшую красотой Лоренцу.

— Теперь мне хорошо, Джузеппе, теперь из моей головы вышел этот странный, непонятный туман. Теперь я все поняла... начинаю вспоминать...

— Так скажи же мне, наконец, что это было с тобою?! — воскликнул он.

И она отвечала:

— Сперва все шло, как и всегда; я испытывала те же самые известные тебе ощущения. Потом, как и всегда, на меня напало забытье и что было во время него, — я не знаю. Ты сам должен был хорошо знать, что было. Но вдруг, даже среди этого забытья, какой-то ужасный удар как бы разразился надо мною и потряс меня. О, Джузеппе! Если бы ты знал, как я страдала!.. И в ту же минуту я проснулась. Я была неподвижна, а между тем все чувствовала, все понимала, все слышала — и

я поняла, что ты не один...

— Как не один?!

— Так, ты знаешь, что я в таких случаях чувствую твоё влияние, твоё присутствие около меня, надо мною, чувствую, что ты на меня действуешь, что я в твоей власти. Ведь ты знаешь, что, когда ты на меня действуешь, — у меня нет воли сделать что-либо такое, чего не ты желаешь. У меня нет ни желаний, ни мыслей, меня самой даже нет — я не существую. Я твоя собственность, и ты через меня делаешь всё, что хочешь... А тут я почувствовала, что ты не один, что есть на меня какое-то новое, незнакомое мне влияние, а твоего влияния нет. Я уже не тебе подчинялась, не чувствовала тебя, не понимала — мною овладел кто-то другой.

— Кто?

— Ты знаешь кто.

— Так ты уверена, что это он прервал твоё забытьё, твой сон?

Она задумалась на мгновение и произнесла:

— Да, я в этом уверена, и теперь я скажу тебе больше: этот человек гораздо сильнее те-

бя, Джузеппе! Он не только может овладеть мною в то время, как ты на меня действуешь, и уничтожить твоё влияние, он может овладеть и тобою и сделать тебя таким же рабом своим, такую же своей вещью, какою ты меня делаешь...

Калиостро горделиво поднял голову и усмехнулся.

— Ты ошибаешься, Лоренца, на меня никто не может действовать.

— Не говори так! — воскликнула Лоренца. — Уверяю тебя, что не я ошибаюсь, а ты ошибаешься, — и смотри, как бы нам не пришлось поплатиться за твою ошибку! Верь мне, я знаю, я чувствую, что этот человек страшно силен и что он враг нам. Берегись, Джузеппе, этого человека!

Он опустил голову и заговорил:

— Нет, ты находишься в заблуждении, я повторяю, он на меня действовать не может, но уже достаточно и того, что он на тебя подействовал, что он сумел, если это только не случайность какая-нибудь, непредвиденная мною, хоть на одно мгновение отстранить моё на тебя влияние, да чересчур достаточно

и этого!.. Но кто же он? Кто он? Всё это надо узнать, и я узнаю. Да, я о нём не забуду, теперь я все узнаю. Но пугаться ни мне, ни тебе не следует. Этого врага мы победим и уничтожим, даже если он и обладает достаточной силой. Во всяком случае, он не должен и не может мешать мне. Я всё же доволен сегодняшним вечером и достиг всего. Потёмкин в наших руках. Знаешь ли ты, что этот северный великан уже позвал меня к себе, так позвал, что этого никто не слышал? Мне назначено быть у него завтра. И ещё два с ним свидания с глазу на глаз — и я достигну всего. Ты придёшь мне на помощь — и он будет в наших руках... Тогда...

— Что тогда? Джузеппе, милый Джузеппе, будь же откровенен со мною.

Она обняла его своими нежными руками и заглядывала ему в глаза, и ласкала его жгучим сладострастным взглядом.

— Будь же откровенен со мною — ведь ты знаешь, что я тебе послушна, зачем же такая обидная скрытность? Чего именно тебе нужно, чего ты хочешь достигнуть? Каковы твои цели? Скажи мне, ничего не скрывай от меня.

Ты заставляешь меня действовать, даже приносить жертвы, так позволь же мне, по крайней мере, знать зачем всё это?

— Зачем? Затем, чтобы владеть вместе с тобою всем и всеми, чтобы стать выше всех вельмож, выше всех царей, победить мир не грубою силой, не оружием, а силой воли, знания и разума. Затем, чтобы не прозябать, не влачить жалкого существования подобно миллионам людей, а жить полной жизнью и взять от жизни всё, что только она дать может... Власть, неограниченная власть над судьбою и над душою, пойми, над душою людей — разве может быть что-либо выше этого?

— Да, но возможно ли это, Джузеппе? Ты можешь владеть моей душою... я слабая женщина, я тебе подчинилась... и люблю тебя... Но другие? Но все?

Калиостро презрительно пожал плечами и хотел замолчать. Но он взглянул на неё — она была так мила, так соблазнительно мила!.. И он улыбнулся.

— Ты ничего не понимаешь, быть может, когда-нибудь и поймёшь, а теперь верь мне и

будь мне послушна. Я знаю, что делаю. До сих пор были и удачи, и неудачи. Но теперь всё ясно. Именно здесь должно начаться исполнение моих планов. Здешние люди хоть и кажутся холодными, но с ними легко справляться. Здешние люди дадут мне огромные средства, без которых нельзя действовать. Здесь, в этом холодном, богатом Петербурге я устрою центр, от которого во все страны мира разойдутся и разрастутся ветки египетского масонства. Отсюда я, великий Копт, буду управлять миром!

Лоренца изобразила на своём прелестном лице наивное изумление.

— Великий Копт! — растерянно прошептала она. — Это что же такое?

— Это я объясню тебе завтра, когда вернусь от Потёмкина, а теперь будем спать — очень поздно, и нам обоим необходим отдых.

Он нежно обнял её и подвёл к кровати.

XV

На следующее утро, ещё до свидания с Потёмкиным, графу Фениксу-Калиостро пришлось увидеть результаты устроенного им

гаинственного вечера. Ему доложили о приезде князя Щенятева. Ученик египетских иерофантов усмехнулся и, многозначительно взглянув на Лоренцу, сказал ей, чтобы она не выходила и не мешала предстоящей беседе.

Он принял гостя в своей приёмной комнате. Эта приёмная графа Феникса уже носила на себе особенный, производивший известное впечатление отпечаток. Среди роскоши, царившей здесь, в глаза бросались некоторые предметы, не имевшие ничего общего со всей обстановкой, а потому тем более обращавшие на себя внимание. По столам и этажеркам виднелись различные, довольно странного вида инструменты, говорившие, хотя и очень загадочно, о физике и химии. Два довольно объёмистых ящика какой-то невиданной многоугольной формы заставляли задумываться о том, что бы такое могло в них заключаться. Несколько герметически закупоренных банок и склянок, выставленных на одном из окон, тоже возбуждали неразрешимые вопросы...

Князь Щенятев, проведённый в эту комнату, имел достаточно времени заметить все

эти таинственные предметы и заинтересоваться ими. Его легко и быстро воспламенявшееся любопытство было доведено до последней степени именно в то мгновение, когда вышел к нему Калиостро. Сразу и по привычке князь Щенятев даже хотел было попросить у хозяина некоторых разъяснений, однако он не сделал этого, и само его жадное любопытство уступило место новому чувству, приведшему его сюда, победившему в нём всё и охватившему его всецело. При входе Калиостро он с каким-то робким благоговением пошёл к нему навстречу и стал перед ним извиняться за то, что решился тревожить его так рано. Заикаясь, шепелявя и стесняясь, он объяснил ему, что дело первостепенной важности заставило его явиться.

Калиостро радушно улыбнулся ему, крепко пожал его руки, усадил его в кресло и сам сел против него и, пронизав его своим огненным взглядом, сразу начал:

— Мой дорогой князь, ваши извинения напрасны, вы неизбежно должны были явиться ко мне именно теперь. Я знал, что так будет и ждал вас. Этого мало; для того чтобы не было

между нами никаких недоразумений, я вам скажу, зачем вы здесь, чего вы от меня хотите, какое именно у вас до меня дело...

Щенятев поднял брови и взглянул с невольной недоверчивостью.

— Вы не можете этого знать, граф, — произнёс он, — потому что никто этого не знает, да и сам я всё выяснил себе и решил к вам ехать только сегодня утром.

— Если бы кто-нибудь знал, — ответил Калиостро, — или мог бы знать, тогда я бы не сказал вам ни слова... Да и к чему нам терять время в напрасных разговорах... Слушайте: вы здесь для того, чтобы просить меня посвятить вас в некоторые таинства природы... Вы хотите быть моим учеником...

— Да, но это не всё! — воскликнул Щенятев.

Калиостро улыбнулся.

— Как вы нетерпеливы, дайте мне договорить. Конечно, это не всё. Вы страстно любите прекрасную молодую женщину, вы всеми мерами добиваетесь её любви, но до сих пор напрасно. И вот вы желаете теперь, после встречи со мною, после тех доказательств моих

знаний, какие я уже успел дать вам, вы желаете с помощью этих самых знаний, посредством которых человек управляет природою, достигнуть вашей цели...

Князь Щенятев вскочил, и вся его длинная фигура изобразила изумление, смешанное с ужасом.

А Калиостро, едва заметно и спокойно улыбаясь, глядел на него.

— Особа, которую вы любите и которую хотите победить, — графиня Зонненфельд.

Щенятев даже вскрикнул и схватился за голову. Он просто не верил ушам своим. Ему казалось, он был почти уверен в том, что никто не знает о его страсти. Об этой страсти говорил весь город, но он воображал, что это тайна.

— Боже мой, да как же, как, каким путём вы можете знать всё это? — захлёбываясь, лепетал он.

— Успокойтесь, мой друг! — важно и покровительственно сказал Калиостро, кладя ему руку на плечо и усаживая его в кресло. — Успокойтесь, я вчера вам показал очень мало, но даже из этого малого, что вы видели,

вы должны были кое в чём убедиться. Чего же бы стоили знания и моя сила, если бы я не мог при первом взгляде на человека читать его мысли и чувства?!

Щенятев мало-помалу начинал приходить в себя. Его изумление, недоумение, ужас уступали место восторгу.

— Да, — воскликнул он, — вы великий чародей и великий волшебник! Я преклоняюсь перед вами... Я готов слепо идти за вами всюду. Я клянусь быть самым послушным и преданным учеником вашим...

— Я готов вам верить и готов вас принять в ученики — не даром же я допустил вас в цепь. Или думаете вы, если бы я не захотел, вы были бы среди нас вчера?! Вы принадлежите к немногим, избранным мною здесь...

Восторг Щенятева возрастал.

— Так, значит, я не даром возлагаю на вас все надежды? Значит, вы мне поможете? Если бы вы знали, как невыносима мне стала жизнь в последнее время. Вы понимаете, я не мальчик, я уже пожил на свете, я встречал многих прекрасных женщин... я знаю, что такое любовь, но никогда я не мог себе пред-

ставить, что способен на такую безумную страсть, какую теперь испытываю. Эта страсть жжёт меня, как огонь. Она меня отравила... я не могу так жить... Обещаете ли вы мне, что поможете, что она будет любить меня? Для этого я готов всем — пожертвовать... требуйте чего угодно, я весь в вашем распоряжении!..

— Прежде всего, — спокойно произнёс Калиостро, — я потребую от вас некоторого умения владеть собою, некоторого терпения. Без умения владеть собою, без терпения ничего нельзя достигнуть. Страсть ваша велика, желание победить любимую женщину наполняет вас всецело... Это хорошо, это обещает успех, будьте только терпеливы и спокойны с виду, а главное — держите в тайне задуманное вами. Если вы исполните всё это, я ручаюсь вам, что вы достигнете цели. Лицо Щенятева вспыхнуло и засияло.

— О, как мне благодарить вас, великий человек! — воскликнул он, готовый кинуться к ногам Калиостро.

Но тот величественным жестом руки остановил его.

— Подумайте, — сказал он, — прежде всего подумайте хорошенько, действительно ли вы имеете ко мне полное и безграничное доверие?

— Конечно, имею, зачем вы меня и спрашиваете об этом?

— Так клянись мне смело и без рассуждений исполнять всё, что я вам буду приказывать. Вспомните, ведь я сам проходил через ту же школу, я сам клялся в слепом повиновении моим учителям... Я исполнил мою клятву и никогда не раскаялся и не раскаюсь в этом.

— Клянусь! — твёрдо и торжественно произнёс Щенятев и по привычке невольным движением перекрестился.

— Принимаю вашу клятву, — сказал Калиостро, — теперь же я должен проститься с вами, я очень занят. Сегодня вечером я у вас буду...

Князь Щенятев, окрылённый надеждой, исполненный восторга, вышел. А Калиостро взял со стола маленький серебряный колокольчик и слабо позвонил.

На этот тонкий, едва слышный звонок дверь скрипнула, и в приёмной появилась Ло-

ренца.

— Ты уже один, он уехал? — говорила она, идя к мужу.

Тот с весёлым лицом принял её в свои объятия.

— Зачем же мне долго терять с ним время? О, моя Лоренца, как смешны люди, как слабы люди и как легко владеть ими!..

XVI

Как смешны люди, как слабы люди и как легко владеть ими! — эти самые слова много раз в жизни повторял себе Потёмкин, и, конечно, никогда не могло прийти ему в голову, что настанет час, когда их произнесёт неведомый иностранец, применяя их к нему, Потёмкину. А между тем, весело обнимая лукаво улыбающуюся, хорошенькую Лоренцу, Калиостро подумал о «северном великане».

— С одним кончил — пора к другому! — сказал он. — Что было сделано с одним в десять минут, с другим будет сделано в день, быть может, в два, но всё же будет сделано...

Калиостро поехал на верную победу. Несмотря, однако, на всю его уверенность, вы-

держку и самообладание, при первом взгляде на неприятельскую позицию и на силы противника, он невольно и неожиданно для самого себя смутился. На своём веку он повидался многого: блеск и мрак, нищета и богатства прошли перед ним, и он одинаково свободно и спокойно чувствовал себя как в бедной лачуге, так и в богатейших чертогах. Но никогда ещё в жизни не видал он той баснословной, безумной роскоши, какая окружала Потёмкина. Да и сам Потёмкин среди обстановки, созданной им для себя, показался ему не тем, каким он узнал его. Только теперь, в этих чертогах, он действительно понял всю силу, все значение и смысл великого русского вельможи. Он уже хорошо был знаком с прошлым Потёмкина, и его прошлое, вспоминавшееся ему теперь, заставило его отнестись к «светлейшему князю» иначе, чем он относился ко всем людям. Он не притворялся, не играл роли, когда почтительно склонился перед хозяином и выразил ему в отборных выражениях своё удовольствие быть у него принятым.

Но прошли первые минуты свидания, и

Калиостро уже владел собою и твёрдо шёл к намеченной цели. Он начал говорить, и в своём разговоре выказал не только высокое красноречие, но и действительные познания, блеск ума, живость, находчивость, ясность и глубину мысли. Потёмкин слушал его с возрастающим вниманием, слушал как самую интересную книгу, которую до сих пор никогда не приводилось ему читать. Новый мир, таинственный, мистический, полный самой оригинальной красоты, открывался перед ним; лучшие грёзы его юности возвращались снова, но уже не в прежних неопределённых и неуловимых очертаниях, а в яркой, осязаемой одежде. Таинственный иностранец, показавший ему большие чудеса, открывший перед ним даже двери загробного мира, теперь говорил ему о такой власти, перед которою власть, им достигнутая, была жалким ничтожеством. Чародей убеждал его — пресыщенного, скучавшего, не находившего себе покоя, не видевшего перед собою цели, — что есть иная жизнь, исполненная ещё никогда неизведанных им наслаждений.

И он невольно верил чародею, не мог он не

верить, после того что было, чего он был свидетелем. Да, он верил, он так хотел верить всему этому, и всё это так соответствовало тайным, мучительным стремлениям всей его жизни... Прошёл час, прошёл другой, третий, а беседа все длилась. И мало-помалу Потёмкин вышел из очарования, отогнал от себя радужные грёзы. Он возвращался к действительной жизни, к той жизни, среди которой всё же должен был действовать. Калиостро говорил ему теперь об алхимии, «о великом делании», то есть о философском камне, о превращении малоценных металлов в чистое золото.

Если бы ещё несколько дней тому назад ему вздумали говорить об этом, он искренно смеялся бы, но теперь он слушал и не смеялся. Калиостро убеждал его спокойно, вразумительно, по-видимому, с неопровержимой логикой. И кончилось тем, что Потёмкин уверовал в существование философского камня, и кончилось тем, что он согласился работать под руководством Калиостро, обещавшего ему много золота, так нужного для государства.

Граф Феникс победил его, и теперь оставалось только упрочить результаты такой победы.

С этого дня не прошло и двух недель, как Калиостро, а главным образом Лоренца, сделались почти самыми близкими людьми к Потёмкину. Он отдавал им всё своё свободное время. Калиостро делал большие приготовления к производству философского камня. Лоренца своей кокетливой игрою дразнила Потёмкина, затуманивала его именно в те минуты, когда у него начинали рождаться сомнения, когда он готов был очнуться и понять, что вряд ли ему придётся увидеть действительный философский камень, а истратить большие суммы на это дело уж, наверное, придётся.

Время шло. Настала осень. Вся жизнь двора и высшего общества сосредоточилась в Петербурге. О графе Фениксе говорили всюду. Он был занят не одним Потёмкиным. Он действовал разносторонне и неутомимо. Тайно, в закрытой карете, он приезжал то один, то с женою к Потёмкину и в уединённой комнате производил свои алхимические опыты. Воз-

вращаясь от Потёмкина, он таинственно беседовал с графом Сомоновым и Елагиным и уходил с ними в самую глубину каббалистики, клал основы нового тайного общества, названного им египетским масонством. Он — великий Копт, то есть единственный хранитель глубочайших таинств Востока, получивший высшую степень герметического посвящения и признанный первым из иерофантов. Он свыше получил миссию восстановить на земле истинное богопочитание и распространить между своими последователями такие знания природы, владея которыми человечество должно быстро достигнуть высокого духовного совершенства...

Простясь с Сомоновым и Елагиным, Калиостро иногда заезжал к князю Щенятеву и утверждал его в терпении. Но этого мало — скоро всему городу стало известно, что приезжий итальянский граф бесплатно всех и каждого лечит от самых разнообразных и даже неизлечимых болезней. Ежедневно со всех сторон с раннего утра к нему стекались больные, и он лечил. Мало того, он весьма многих вылечивал. Он не только не брал платы за

своё лечение, но даже раздавал бедным большим очень значительные суммы.

Каждый день по Петербургу ходили новые рассказы о его чудесных исцелениях. Теперь ему недоставало одного: быть представленным императрице. Но и это Потёмкин обещал в самом скором времени.

Одним словом, успех великого Копта был полный, Лоренца знала теперь, что такое великий Копт, но несмотря на всё это, она время от времени продолжала смущать своего Джузеппе. Она то и дело напоминала ему о враге, о «том человеке».

Калиостро знал о Захарьеве-Овинове всё, что можно было о нём знать. Он решил, что этот новый русский князь, должно быть, действительно владеет некоторыми тайными знаниями, что он где-то и от кого-то получил какое-нибудь посвящение. И он первое время его опасался, теперь же он всякий раз успокаивал Лоренцу.

— Если он действительно так страшен и был бы врагом, как тебе представляется, — говорил он, — мы уже почувствовали бы это. Он не допустил бы всех этих моих успехов.

Но Лоренца качала головою. Вообще наивная, легкомысленная, она в иные минуты обладала особенной прозорливостью. — А если он ждёт? — говорила она. — А если он нарочно допускает твои успехи и тогда, когда ты будешь чувствовать себя у цели, он нанесёт тебе удар?

Джузеппе начинал просто сердиться.

— Я не теряю его из виду, ведь я постоянно встречаю его и произвожу свои наблюдения. Я на него действую, а не он на меня. Он подчиняется моей силе...

— А если он это нарочно...

— Ты с ума сходишь, Лоренца! Ну, а если он нарочно, значит, остаётся его уничтожить... Не хочешь ли взять это на себя?

Лоренца испуганно, широко раскрыла глаза и силилась улыбнуться. Но улыбка у неё не выходила. Она бледнела, она дрожала всем телом.

Одно имя Захарьева-Овинова, одна мысль о нём приводили её в мучительное состояние.

Румяное утро, быть может, последнее ясное утро позднего «бабьего лета» глядело в окна кабинета императрицы. Екатерина только что окончила свои утренние занятия, отпустила докладчика и, прежде чем по обычаю перейти в уборную, отдыхала. Она откинулась на спинку кресла, полузакрыла глаза, а тонкие пальцы её руки, на белизне которых выделялись остатки чернил, небрежно играли кистью от шнура, стягивающего её распашной утренний пеньюар.

Великая Екатерина всё это последнее время очень хорошо себя чувствовала. После разнообразных живых и блестящих, как калейдоскоп, впечатлений, после кипучей умственной деятельности, оставаясь одна и предаваясь физическому отдыху, она любила именно так посидеть в своём спокойном кресле, с откинутой на мягкую его спинку голову.

В эти минуты на лице её появлялась счастливая улыбка и так и застывала.

Ей казалась, что после долгого томительного ненастья с целой вереницей непроглядных дождливых дней, с набегаящими грозами и бурями настало наконец лучезарное ти-

хое время. Небо безоблачно, солнце ярко, мягкий душистый ветерок отгоняет полдневный зной, соловьиные песни наполняют короткие светлые ночи. И становятся эти ясные дни, эти светлые ночи все яснее, все блаженнее... Ни облачка на небе, ни малейшего признака, по которому можно было бы заключить, что скоро настанет конец долгому ведру... Так зачем же и думать об этом конце, о новых грозах, бурях и невзгодах?! Надо всецело отдаваться благополучию, посылаемому судьбою...

И всецело ему отдавалась горячая, живая, могучая душа императрицы. Она отгоняла от себя воспоминания о былых, не очень давно ещё поднимавшихся на её горизонте тучах. Она выстрадала всем существом своим эти тучи и в своё время чутко и мучительно следила за тем, как они появлялись, разрастались, заволакивали все небо...

Внутреннее настроение, то одно, то другое — всё требовало громадной энергии, громадной затраты сил... Исправление старого, создание нового, борьба ежедневная, ежечасная...

Но это были неизбежные облака, только облака, а за ними скрывались настоящие чёрные тучи...

Мор в Москве, сопровождавшийся бунтом обезумевшей от ужаса черни, земская беда, таинственная и страшная, как Божья кара, такая беда, с какой, казалось, и бороться-то нечем... Помиловал Бог, прошла беда, но за нею стала надвигаться другая. Нежданный бунт Пугачёва, казавшийся вначале далёкой и незначительной тёмной точкой, которая вот-вот сейчас и расплывётся бесследно. Но эта точка не расплылась, не исчезла, а с ужасающей быстротою сгущалась, разрасталась и принимала чудовищные размеры...

Дрогнула, наконец, и смутилась душа императрицы, закрался в неё страх, какого она ещё не испытывала даже и в самые трудные минуты своей жизни... Туча наконец рассеялась, отдохнуть бы, насладиться спокойствием... А между тем нет отдыха и спокойствия...

Были потом и другие невзгоды, хоть с виду и не столь страшные, но всё же отравлявшие и дни и ночи.

Были заботы и горе в семье царской: унесе-

на смертью на заре юной жизни супруга наследника Павла Петровича, и умерла она вместе со своим первенцем, на появление которого в свет императрица возлагала лучшие надежды...

И это миновало, у цесаревича новая избранница, юная и не менее прекрасная, чем первая. Этот новый брак сулит прочное счастье. Императрица уже ласкает любимого старшего внука. А теперь у неё есть и второй внук, здоровый, милый ребёнок. Будущее России обеспечено, одною тяжкой заботой, одною тревожной мыслью меньше...

Все дела, как внутренние, так и внешние, мало-помалу приняли широкое и счастливое течение. Благодаря тонкому дипломатическому уму князя Репнина на Тешенском конгрессе благополучно разрешён вопрос о баварском наследстве, грозивший ввергнуть всю Европу в кровопролитную войну. Значение и влияние России упрочиваются с каждым днём. Русская монархия выходит победительницею из всех препятствий. И её имя гремит славою в далёких пределах...

У себя она окружена добрыми помощника-

ми.

Она овладела великою тайной находить чистые алмазы в почве, сделавшейся для неё родною, и шлифовать эти алмазы на зависть и удивление всему свету. Да, из её рук выходят истинно русские работники. Она не уступает в искусстве отыскивать их и воспитывать тому, кто денно и нощно стоит перед нею чудным примером, тому богатырю-исполнцу, чьё наследие не по праву кровного родства, а по праву родства духовного держит она своей женской, но по-мужски твёрдой рукою.

И дорожит она этими находимыми ею алмазами русского ума и таланта, хранит их как зеницу ока, осыпает их без конца щедротами и милостями. Ничего ей для них не жаль, и всякая награда кажется ей недостаточной, недостойной тех услуг, какие они приносят её новой, горячо любимой ею родине.

Эти люди — её семья, её присные, её дорогие, любимые дети. Кто любит Россию, того она любит; у кого спорится работа, на того она не нарадуется...

Прибывают, все прибывают способные работники... И всё это свои, русские люди, не па-сынки России, не приёмышы её, не чужерод-ны... Простыми с виду, но таинственными пу-тями по Божьему изволению и по великому разуму русской царицы, разуму просветлён-ному и вдохновлённому на благо родины сте-каются эти русские люди к царскому престо-лу. Не спрашивает их великая царица, какого они роду-племени, в лачуге или хоробах бога-тых готовились они к своему служению, не спрашивает она, кто из вельмож, царедвор-цев с ними в родстве либо в приязни, за кого они держатся, кто может замолвить за них доброе слово. Никаких порук ей не надо, ибо знает она точную цену этих порук. Сама она видит человека, видит его насквозь после первой же с ним беседы. Она глядит прямо и смело, отмечает человека — и не ошибается. В этом её сила, в этом её вечная слава...

Перед лучшим из отмеченных ею, блестя-щий гений которого она давно поняла и оце-нила, она не могла не преклониться. Она при-знала его себе равным, этого славного сына России, и горячо полюбила его как царица и

как женщина. Каждый новый год показывает ей, что этот друг её ума и сердца, превыше всех возвеличенный ею Потёмкин оправдывает самые смелые надежды, какие она на него возлагает. Все его недостатки и странности, его своеобразный тяжёлый нрав — всё это кажется ей пустым и ничтожным в сравнении с великими заслугами. Как царица она им довольна, а как женщина она простит ему всё, потому что прежде всего и во всём она — царица. Она знает, что не найти ей другого Потёмкина, а потому лелеет и балует его. Положение его крепко, и значение его всё возрастает. Нет и не может быть у него соперников...

Вот ещё недавно благосклонная судьба привела ей двух новых работников — Завадовского и Безбородку. Обоих она признала пригодными для большой работы. Как женщина она отдала предпочтение блестящему Завадовскому, как царица склонялась на сторону неуклюжего хохла Безбородко.

Но Завадовский, несмотря на всю свою близость к царице, не мог ни на минуту заслонить собою Потёмкина в чём бы то ни бы-

ло. А Безбородко, иногда просто неприятный царице, ни разу не заметил производимого им на неё впечатления. Он возвышался благодаря своим талантам и пользе, приносимой им в государственном управлении и, может быть, более чем кто-либо испытывал на себе всю царскую щедрость и благодарность Екатерины...

Теперь же, в это светлое время, в это счастливое затишье, которым она наслаждалась, она готова была на всех и на все изливать свои милости, всех оделять счастьем. Она сама была счастлива.

Годы кипучей, разносторонней деятельности ещё не наложили на неё своей тяжёлой печати. Хотя молодость давно уже прошла, но старость всё ещё медлила своим приближением. Красота зрелого возраста и свежесть не покидали ещё императрицы. Ей иногда казалось, что время идёт не вперёд, а назад, что стремится она не к старости, а возвращается к молодости — так хорошо, так бодро она себя чувствовала. Её многодумная голова работала без усталости и сохраняла всю свою свежесть благодаря, быть может, непрерывной смене в

работе.

Екатерина — политик, Екатерина — администратор, Екатерина — учёный, Екатерина — драматический писатель. Каждый день она проходила все эти роли одна за другою с великим совершенством. И каждый день оставалось ей ещё время для отдыха, для удовольствий...

Довольно громкий, трижды повторенный стук в дверь вывел императрицу из её приятного забытья.

Она хорошо знала этот стук, да и кто же бы иной мог теперь стучаться, С весёлой улыбкой сказала она: «Войди!» — и эта улыбка не покидала лица её во всё время, как появившийся перед нею Потёмкин целовал её руку и здоровался с нею.

— С какою новостью, с каким делом пожаловал, князь? — спросила Екатерина.

— Дела все покончены вчера, а новых, матушка-царица, ещё не накопилось для доклада, — отвечал Потёмкин. — Новостей тоже никаких не имею, а ежели таковые есть, то они уже, конечно, давно доложены Марьей Саввишной и обер-полицмейстером... Без де-

ла и без новостей, но с неким человеком, которого привёл по соизволению вашего величества.

— Так это ты со своим Фениксом, князь, — сказала императрица, покачав головою, — хорошо соизволение! Чуть не силой Бог ведающего принимать заставляет!.. И всегда-то ты был чудодеем, теперь же твои чудачества уж и не знаю до чего доходят... а я им потакать изволь... Посуди сам: приезжает неведомо откуда какой-то фокусник, авантюрист, выдаёт себя не то за чудотворца, не то за вечного жидка, дурачит всех, как малых детей, и прежде всех кого же — Григория Александровича!.. Что он зачаровал графа Сомонова с Елагиным — оно понятно: они от всякой бабы-гадалки с ума сойти смогут... Но ты?! Не ты ли первый смеялся над ними, а теперь сам желаешь стать общим посмешищем...

Потёмкин усмехнулся, но в то же время его широко открытые тонкие ноздри дрогнули.

— Посмешищем я никогда не был, не буду и не могу быть, — сказал он.

— Нет, можешь, и сам к тому клонишь! — перебила его царица. — Мало того — и меня

подводишь... Вчера не тем я была занята и, не подумав, смолчала, не запретила тебе являться с этим твоим Фениксом, а теперь прямо скажу: видеть его не желаю, ибо ни к чему даром давать пищу насмешникам... да и совсем мне неинтересно...

Потёмкин покачал головою.

— Неинтересно!.. и мне тоже было неинтересно, и я тоже готов был смеяться, да и смеялся над легковерием этих людей, готовых носиться со всяким фокусником и обманщиком... Но как думаете, матушка-царица, неужто я так вдруг, сразу одурел и позволил себя провести проходимцу?! Ежели я привёл его, то потому, что это и вправду человек необыкновенный, и обладает он такими познаниями и силами, каких у нас вот с вами нет...

Екатерина насмешливо взглянула своими ясными голубыми глазами. Потёмкин даже покраснел.

— Смеяться легко! — воскликнул он. — Но всегда ли следует смеяться?.. Меня не раз изумляло, как это вы, матушка-царица, при всей глубине и ясности вашего разума, огра-

ничиваете свой кругозор, сами ставите перед собою стену и не желаете знать, есть ли за той стеной что-либо или нет ровно ничего...

— Ты напрасно горячишься, князь, — спокойно сказала императрица, — и напрасно обвиняешь меня... Я чужда всяких суеверий и увлечений фантастических, ибо за подобные увлечения всегда потом краснеть приходится; но я вовсе не отрицаю возможности чудесного... я склонна верить в существование предзнаменований, например, а также в способность иных людей предсказывать будущее... Мало того, скажу тебе, что и в моей жизни были такие случаи...

— Неужто? Доселе вы никогда ничего подобного не говорили...

— Не приходилось... а между тем мне слишком памятно это... Да вот хоть бы и то: судьба моя, столь нежданная и чудесная, была не раз заранее указана, начиная с самого дня появления моего на свет. Когда я родилась, был какой-то большой праздник, и первый мой крик был встречен торжественным звоном всех колоколов в Штетине. Не было ли это счастливым предзнаменованием?!

— Но это что! Я расскажу тебе удивительный случай, — как бы вся встрепенувшись, оживляясь и блестя глазами продолжала Екатерина, — слушай, князь... В 1742 или 1743 году я была с матерью моей в Брауншвейге у вдовствующей герцогини, — у которой мать моя была воспитана. И та герцогиня, и мать моя принадлежали обе к дому Голштинскому. Случилось тут быть епископу Корвенскому, и с ним было несколько каноников. Между ними находился один из дома Менгденов. Сей каноник упражнялся предсказаниями и хиромантией. Мать моя спросила его о принцессе Марианне Бевернской, с которой я была весьма дружна и которая по своему доброму нраву и красоте была всеми любима. Вопрос моей матери заключался в том — не получит ли эта принцесса по своим достоинствам корону? Но Менгден ничего не ответил, а, взглянув на меня, сказал: «На лбу вашей дочери вижу короны, по крайней мере — три». Мать моя приняла то за шутку, но он объявил ей, что все исполнится и чтобы она никак в том не сомневалась. Затем он отвёл её к окошку, и она после уже с прекрайним удивлением

сказала, что он ей чудес наговорил о высокой судьбе моей, таких чудес, что она ему о том и говорить запретила! Мне же она уже здесь, в Петербурге, сказала, что Менгдена предсказания исполняются, и более этого я от неё узнать не могла...

Екатерина замолчала и глядела задумчиво, очевидно, отдаваясь далёким воспоминаниям.

— Да, это весьма знаменательно, — сказал Потёмкин, — и зачем же после этого такое пренебрежение к моему Фениксу, государыня? Если каноник Менгден сделал родительнице вашей удивительные, исполнившиеся предсказания, то почему приезжий итальянец не может обладать подобным же даром? И он обладает им, да кроме того, обладает такими знаниями, каких, наверное, не было у Менгдена. Коли угодно, не верьте мне и считайте меня за лежачего, одураченного человека... Но ведь он здесь, и вы можете сами убедиться — обманщик он или нет. Я уверен, что он не хуже Менгдена сделает предсказания...

— Только дело в том, что мне вовсе не на-

добны никакие предсказания, — спокойно и серьёзно проговорила императрица, — я нахожу всё это излишним, нахожу, что не следует очертя голову пускаться в таинственные лабиринты, ибо в сих лабиринтах весьма легко заблудиться.

— Однако именно эти лабиринты и привлекательны! — воскликнул Потёмкин. — Быть может, в блужданиях по ним и заключается единственный смысл нашей жизни!

Екатерина задумалась.

— Для тех, кто, как ты, недоволен жизнью... Но я жизнью довольна, моя жизнь полна... Я люблю идти прямо с открытыми глазами, по твёрдой почве. У меня, как тебе, князь, известно лучше, чем кому-либо, большие обязанности, и для того, чтобы исполнить их добросовестно, я должна владеть всеми своими силами и способностями. У меня остаётся время на отдых и забаву; но то, чем ты увлечён, далеко не забава... Однако, послушай, мне всё же бы не хотелось, чтоб тебя поднимали на смех и дурачили, а потому я, пожалуй, готова на несколько минут принять этого человека и разглядеть, что он такое... не в уборной

только — там, наверное, кто-нибудь дожидается уже, и там ему вовсе не место... проведи его прямо сюда коридором... Только что ж он — один или с ним его главная сила?

— Какая сила?

— Какая? Черноглазая, та самая, которая, думается мне, и притягивает светлейшего в лабиринты... Ты мне, конечно, и не заикнулся об этой силе, но я, как видишь, тоже имею некий дар... я тоже отгадчица...

Потёмкин засмеялся.

— Верно отгадали, матушка-царица, — сказал он, — не солгали вам, точно черноглазая, как и подобает итальянке... Только где уж меня взять этой силой, и если бы у моего Феникса ничего кроме этой силы не было, не привёл бы я его сюда!

Он смеялся, а между тем манящий соблазнительный образ Лоренцы был перед ним. Этот образ вот уже несколько дней не покидал его и то и дело заставлял горячо биться его скучавшее, холодевшее сердце. Присутствие Лоренцы теперь ему было необходимо. Он ни на минуту не задумывался над тем, какая она женщина, кто она, умна или глупа,

добра или зла. Его нисколько не интересовало, что такое она говорила, какие мысли и чувства высказывала, как поступала. Он просто любил глядеть на неё, слушать звук её голоса. Он любил каждое её движение, шелест её платья, он чувствовал её присутствие, её близость, её тонкую своеобразную, душистую атмосферу. Эта атмосфера его опьяняла, туманила ему голову...

Он уже сказал себе, что Лоренца ему необходима и что она должна принадлежать ему. Возможно ли это, честно ли, благовидно ли — ему даже не приходили в голову подобные вопросы, ибо если б они пришли, он решил бы, что невозможно, нечестно и недостойно. Но эти вопросы не могли прийти ему в голову — он давно отвык от них, давно жил на какой-то исключительной высоте, где существовал только один закон: его воля, его порыв, его желание, немедленно же приводимое в исполнение...

Знакомый голос отогнал его капризную, манящую грёзу:

— Я жду, князь, нечего мечтать о черноглазой итальянке — успеешь.

Он вышел.

XVIII

Калиостро-Феникс был один в уединённой комнате, куда его провёл Потёмкин и где ему следовало дожидаться обещанной аудиенции. Несмотря на все свои тайные знания, он не мог слышать разговора, происходившего в кабинете императрицы. Но и без всяких тайных знаний единственно благодаря свойствам своей особенной, необычайно восприимчивой и чувствительной организации он понимал и ощущал то, что совершенно ускользнуло даже от внимательного наблюдателя. Эта врождённая способность проникать в сущность вещей и людей, вероятно, дала и все направление жизни и деятельности Калиостро-Феникса, а вся его жизнь, вся его деятельность были именно такого рода, что могли только развивать, совершенствовать эту способность.

Теперь, ожидая возвращения Потёмкина, он изоцрял и напрягал силу своего чутья, стараясь воспринять и понять эту новую, окружавшую его атмосферу. Его цели и замыслы

были смелы и дерзновенны до крайности, он решил не останавливаться на полпути, стремиться достигнуть всего, поработить себе все и всех. Он находил, что чем смелее, чем шире цель, тем большего он может достигнуть.

Он хочет властвовать здесь, в жилище русской царицы; если он при напряжении всех своих сил и не достигнет этого, то всё же легко достигнет такого положения в этом царском жилище, что успех его петербургской деятельности будет обеспечен со всех сторон и ему уже нечего будет бояться неожиданного противодействия. Ведь он уже узнал, что царица недовольна «легковерием» Потёмкина, он уже предупреждён, что как ни могуч Потёмкин, — даже именно вследствие того, что им сильно дорожат, — тот, кто возбуждает легковерие светлейшего, кто его компрометирует, может внезапно и мгновенно, по одному слову и без всяких объяснений, быть выслан из северной столицы. Избавиться от возможности такой случайности, заручиться расположением царицы, уничтожить её предубеждение, получить некоторое влияние над нею — разве всего этого мало, разве всего это-

го не вполне достаточно?! Поэтому и необходимо задаваться самыми смелыми и высокими планами, ибо если будет достигнута хоть половина, даже четверть задуманного, достигнутого окажется более чем достаточно для «общих» планов, всё же остальное, что даёт удача и счастье, останется в излишке как прибыль...

Ему надо было добиться только свидания с царицей, только бы она приняла его, остановила на нём своё внимание — и он победит её, как побеждал всегда всех, как победил теперь Потёмкина. Нет на свете человека, а уж тем более женщины, у кого не нашлось бы слабого места, ахиллесовой пяты. Весь вопрос в том, чтобы узнать, где именно это слабое, уязвимое место, и этим-то искусством он владеет в высшей степени, оно-то и составляет его главное, надёжное оружие...

Он был крайне доволен, когда Потёмкин повёз его, наконец, к царице. Он чувствовал себя бодрым и крепким, оставшись один в уютной комнате, вокруг которой царствовала невозмутимая тишина. Но прошло несколько минут незримой, внутренней работы — и в

нём поднялись новые ощущения. Он понял, что здесь совсем не то, что здесь, совсем иная атмосфера, чем в сказочных палатах Потёмкина.

Ему казалось, что он среди неведомой для него и враждебной стихии, что перед ним стена, его останавливающая и стесняющая его свободу. Он испытывал такое ощущение, какое ему пришлось испытать, когда, несмотря на все его тайные знания и силы, к нему пришли, взяли его и повели, и он не знал, куда именно его ведут и когда, какими путями он снова выберется на свободу.

«Что же это? Предчувствие?» — спросил сам себя Калиостро и должен был себе сознаться, что его ощущения действительно более всего похожи на предчувствие грядущей опасности и неудачи.

Он вздрогнул, но не от робости, не от страха — препятствия, неудачи только разжигали его, только удваивали его силы. Ему со всей страстностью его горячей природы, обуздывать которую он, однако, давно уж научился, захотелось скорее очутиться лицом к лицу с грозящей опасностью, разглядеть её, понять и

начать с ней бороться.

Он не сомневался, что опасность заключается в самой царице — ни в ком и ни в чём более. Он уже несколько раз видел издали эту женщину, уже знал, что она очень сильна и тверда. Знал он также и все её слабости, так как узнавал о ней ото всех и отовсюду. Ему пришлось в голову действовать на неё только своим личным обаянием, действовать исключительно как на женщину, понравиться ей помимо всего, помимо всех своих тайных сил и знаний, увлечь её своею красотой, чарами своих глаз, улыбок, своего горячего, сильного магнетизма...

— Пойдём к императрице, — сказал Потёмкин, появляясь в дверях, — только должен предупредить вас, что она не в особенно хорошем расположении духа и что вам нелегко будет ей понравиться.

— Я и не смею рассчитывать на это, спокойным тоном ответил Калиостро, — с меня довольно чести быть принятым и беседовать с её величеством.

Потёмкин пожал плечами и окинул своего учителя довольно насмешливым взглядом.

Однако его взгляд тотчас же изменил выражение: никогда ещё не видал он Калиостро таким величественным, красивым, до такой степени исполненным спокойного достоинства. Он пошёл вперёд, движением руки приглашая итальянца следовать за собою.

Они в кабинете императрицы.

Калиостро привык ко всем приёмам, и ещё недавно он испытал высокомерный и презрительный приём, сделанный ему Потёмкиным на вечере у Сомонова, но никогда ещё не испытывал он ничего подобного тому, что ожидало его теперь. Он подходил к женщине, а увидел перед собою императрицу и в первый раз понял, что действительно существуют «императрицы».

А между тем Екатерина вовсе не хотела уничтожать его. Она могла быть самого невысокого мнения о человеке, но допустив его к себе, принимая его у себя, она не была в состоянии оскорбить его и унижить своими словами и обращением. Екатерина встретила Калиостро обычной любезной полуулыбкой и достаточно ободряющим тоном сказала ему, что он становится самым модным человеком

в Петербурге, что он по слухам исцеляет самые трудные болезни, благодетельствует неимущим больным и что если так будет продолжаться, то в лице петербургских докторов у него может оказаться целая армия противников.

— Эта армия для меня не опасна, если ваше величество будет знать, что я действительно приношу моим ближним всю пользу, какую могу принести, — с глубоким поклоном отвечал Калиостро.

Он ответил так, как должен был ответить, не потерял спокойствия и достоинства, но это стоило ему огромных усилий. В первое мгновение он был поражён, холодное величие императрицы подействовало на него подавляющим образом. Однако прошла минута, другая — и он снова овладел собою. Всё, что было в нём — силы жизни, воли, — сосредоточил он в своём взгляде. Этот взгляд притягивал и в то же время изливал потоки горячего света; он озарял все лицо Калиостро какой-то особенной, почти страшной красотой. Екатерина невольно глядела на него и думала:

«Да, этот человек может быть опасен... В

его глазах целый ад... он смел и, конечно, ни перед чем не остановится... да иначе и не одурчил бы Потёмкина... Если у его подруги такие же глаза и такая же смелость, эти люди могут много бед наделать... Но на меня ты можешь глядеть как тебе угодно, меня ты не зачаруешь, потому что я не верю тебе и не хочу верить...»

И Калиостро чувствовал, что вся его сила пропадает даром, он не мог подметить ни малейшего изменения в лице императрицы — между ними не протянулось ни одной связующей нити, между ними оставалась бездна.

К тому же он понимал, что ему даже не дадут времени для борьбы. Его спрашивали — он отвечал, но едва он хотел остановиться на подробностях, его тотчас же очень осторожно, но решительно останавливали и переходили к следующему вопросу.

На вопрос о его родине и происхождении, особенно в присутствии Потёмкина, который сидел молча, угрюмо, пристально разглядывая свои ногти и перстни на пальцах, он должен был сказать, по возможности кратко, то же самое, что рассказывал у Сомонова. Но то,

что там, среди составленной им цепи, при известном настроении показалось крайне интересным, заманчивым и не возбудило никаких сомнений, то теперь, в совершенно иных условиях, вызвало улыбку императрицы. Калиостро не мог не заметить этой улыбки, не понять её смысла, и эта улыбка на него самого подействовала отрезвляющим образом. Его рассказ ему самому показался теперь и неинтересным, и невероятным. Он терял свой жар, свою самоуверенность, довольство собою — и в этом было его поражение. Между тем улыбка Екатерины исчезла и на её лице мелькнуло даже некоторое раздражение. Брови её сдвинулись, образуя на лбу глубокую морщину, голубые глаза холодно смотрели на Калиостро.

— Ваши таинственные приключения весьма занимательны, — сказала она, — но есть один вопрос, в ваших глазах, быть может, и незначительный, а для меня имеющий некоторый интерес. Видите ли в чём дело: у вас, насколько я могу судить, несколько имён... какое же из них ваше действительное имя?

Египетский иерофант должен был вспом-

нить все испытания, пройденные им в недрах пирамид, для того чтобы не показать своего смущения и остановить краску, готовившуюся вспыхнуть на его щеках.

— Благодаря моему непонятному прошлому я и сам этого хорошо не знаю, — произнёс он с загадочной улыбкой.

— Очень жаль, — сказала императрица, — очень жаль! Я царствую в стране, где существуют установившиеся временем порядки и законы. Наши порядки и законы могут показаться вам странными и стеснительными; но как бы там ни было, в России все должны иметь одно подлинное имя и документы, доказывающие действительную принадлежность этого имени лицу, которое его носит...

Потёмкин перестал разглядывать свои перстни и ногти, зашевелился в кресле и быстро взглянул на Екатерину, а потом на Калиостро. Вопрос о документах до сих пор ни разу не пришёл ему в голову: Калиостро разгонял его скуку, Лоренца дразнила его воображение, и он только день за днём воспринимал получаемые от них впечатления.

«Неужто попался?» — подумал он. Но ему

не пришлось остановиться на этой мысли и сделать вывод. Калиостро снова изобразил на лице чувство собственного достоинства и великолепным движением вынул из бокового кармана своего зашитого золотом и сверкавшего камнями кафтана какую-то бумагу.

— Мои документы в порядке, ваше величество, — сказал он, подавая императрице бумагу, — я могу не знать своего действительного происхождения, я могу о нём только догадываться, наконец, это может быть моей сокровеннейшей тайной... Но ведь не я один в таком положении...

Глаза его горели, и он смело и глубоко глядел ими в светлые глаза императрицы.

— Наверное, и во владениях вашего величества, — продолжал он, — найдутся люди, действительное происхождение которых имеет мало общего с именем, которое они носят. А между тем их документы в порядке и признаются законными. Таков и мой документ, удостоверяющий, что я действительно тот, за кого себя выдаю, то есть граф Феникс, полковник испанской службы, числящийся в королевских войсках.

Императрица приняла бумагу, внимательно прочла её и вернула Калиостро.

— Очень довольна, — несколько сухим тоном произнесла она, — что получила на мой вопрос ответ удовлетворительный... и надеюсь, граф, что вы не будете претендовать на моё любопытство... В моём положении мне приходится иногда быть любопытной за других, то есть исполнять не только свои, но и чужие обязанности...

Потёмкин улыбнулся и встал с кресла. Аудиенция была закончена, и Калиостро выходил из кабинета русской царицы с полным сознанием понесённого поражения. Он сознавал свою ошибку, но не мог решить, в чём она и откуда происходит. Быть может, никогда ещё в жизни не отдавал он столько своей силы, той силы, в которую он верил и чудные действия которой он видел столько раз. С таким количеством затраченной магнитной силы он мог повлиять на всякую женщину, он заставил бы тревожно забиться самое холодное сердце, согрел бы самую холодную кровь... Или эта женщина — лёд? Нет, она, быть может, более других способна живо вос-

принять внезапное впечатление... В чём же его ошибка? Он упустил из виду то, что в известном возрасте женщина может поддаться страстному впечатлению только в том случае, если она сама пожелает этого...

Оставшись одна, императрица несколько мгновений находилась в задумчивости, потом она подошла к письменному столу, покачала головою и занесла в свою записную книжку: «Справиться у испанского поверенного в делах Нормандеса о полковнике графе Фениксе».

XIX

— Уверяю вас, что и мне неприятно и просто тяжело так говорить с вами, но вы меня вынуждаете, князь, к подобному разговору. Я его избегала до последней возможности, я сделала всё, чтобы естественно и спокойно заставить вас изменить ваш образ действий... Но вы или не хотели понять меня, или делали вид, что не понимаете...

Так говорила графиня Елена Зонненфельд, грациозно и устало склоняясь на высокую покатую спинку глубокого кресла в её уютной

гостиной, пропитанной тонким запахом каких-то неопределённых духов. Она говорила это князю Щенятеву. Он сидел перед нею, сверкая перстнями и аграфами, с лицом, залитым внезапной краской, с глазами, страстно и мучительно устремлёнными в глубокие и печальные глаза своей собеседницы.

— Графиня, — наконец выговорил он упавшим голосом, — неужели в моих действиях было что-либо недостойное и для вас оскорбительное? Мне кажется, я никогда и ни при каких обстоятельствах не позволял себе ничего такого, чем мог бы заслужить гнев ваш...

— Вы и теперь не хотите понять меня! — более скучающим, чем раздражённым тоном перебила его Елена. — Дело вовсе не в моём гневе! Я знаю, что вы не в состоянии желать оскорбить меня и, следовательно, гневаться мне на вас нечего... Я не люблю недомолвок и фальшивых положений и не хочу их точно так же для вас, как и для себя... Буду говорить прямо. Мы с вами знакомы с детских лет и даже в дальнем родстве... Когда я вернулась прошлой весной в Петербург, я была очень рада снова встретиться с вами, так как всегда

знала вас за доброго человека. Вы приняли, по-видимому, такое сердечное участие в моих делах, оказывали мне всякие услуги... Я благодарна вам за это, и вы знаете, что я принимала вас с удовольствием, что мои двери были открыты перед вами... Прошёл какой-нибудь месяц — и я стала вас видеть всегда и всюду...

— Вы меня обвиняете в этом, а сами сейчас сказали, что встречали меня с удовольствием! — печально усмехнувшись, заметил Щенятев.

Но Елена не смутилась. Её взгляд оставался всё таким же печальным и равнодушным. Она продолжала:

— Я охотно видела вас как знакомого, родственника, но это не давало вам права сделаться моей тенью, а вы стали именно моей тенью... И вы даже ни разу не подумали о том, что так следя за мною, вы меня просто компрометировали.

— Отчего же вы прямо не сказали мне тогда же, что моё присутствие вам неприятно? Отчего вы продолжали ласково мне улыбаться при наших частых встречах? Зачем не изменяли своего со мной обращения?

Елена пожалала плечами и с некоторым даже презрением усмехнулась.

— Вот, теперь я же оказываюсь виновной. Вы переходите в наступление! — воскликнула она. — Но это хорошо — я предпочитаю защищаться, а не наступать... Поймите, что я только теперь, в последнее время, увидела и сообразила все... Тогда же я так была занята своими делами, что ровно ни о чём не думала и ничего не разбирала. Вы были передо мною всегда и везде, иногда я не имела ничего против этого, иногда присутствие ваше казалось мне излишним... вот и всё! Только месяца два тому назад на вечере при дворе я случайно услышала фразу... моё имя в этой фразе было соединено с вашим — и тон этой фразы мне не понравился... открыл мне глаза. С этого дня я стала наблюдать, с этого дня я сделала всё, чтобы со своей стороны не подавать повода к толкам, очень для меня нежелательным, да и вас заставить быть внимательнее. Прямо говорить с вами об этом я не могла — вы относились ко мне всегда почтительно... Только раз у вас вырвался намёк на такое чувство, какого я вовсе не желала в вас ви-

деть — и я ответила вам довольно ясно... Если вы меня не поняли и даже не обратили никакого внимания на слова мои — виновата ли я в этом?.. Сегодня вы говорите прямо... Это уже не намёки — и вы даёте мне право прекратить всё это наше недоразумение.

Слёзы стояли в глазах Щенятева; лицо его мгновенно побледнело.

— Графиня, — дрожащим от волнения голосом заговорил он, — не я вас не понимаю, а вы меня не поняли! Вы приписываете мне такое чувство к вам, какого во мне нет и быть не может!

«Что он говорит?» — пронеслось в мыслях Елены. Ей стало неловко, но он сейчас же и вывел её из этой неловкости.

— Я знаю, что у меня репутация волокиты, — продолжал он, — и, быть может, я заслужил её. Но вы очень ошиблись касательно моего отношения к вам... вы оскорбляете и унижаете моё чувство... Я никогда не думал и не думаю ухаживать за вами, *je ne vous fais pas la cour — je vous aime!*

Он в волнении поднялся с кресла и стал перед нею, прижав руку к груди, в патетиче-

ской позе.

Она взглянула на него и отвернулась: он вдруг напомнил ей графа Зонненфельда и вызвал в ней к себе то же самое ненавистное, брезгливое чувство, какое она всегда испытывала, когда муж повторял своё «ja wohl!» и подходил к ней с намерением приласкать её.

Между тем Щенятев, бледный и трепещущий, шептал:

— Я вас люблю на всю жизнь... я ваш раб... я всецело в вашем распоряжении... Если бы тогда так поспешно и так несчастливо вы не вышли замуж, я просил бы руки вашей... я опоздал... Вы уехали — и я никогда не мог забыть вас... если я заслужил мою репутацию легкомысленного волокиты, если у меня были истории, рассказы о которых ходят по городу, то это единственно вследствие того, что я хотел как-нибудь забыться, забыть вас... И не мог! Вы появились снова — и я ваш...

Он упал на колени перед ней. Елена с испугом от него отстранилась.

— Князь! Сейчас, сейчас встаньте — иначе я уйду! Я не могу допустить этого.

Он поднялся с колен ещё более бледный,

ещё более трепещущий и растерянно глядел на неё.

— Так вы мне отказываете? Вы меня не любите? Вы не хотите забыть всё это ужасное ваше прошлое, о котором вы мне говорили, забыть навсегда... как бы его не было... и стать княгиней Щенятевой? — лепетал он.

Елена опустила голову и медленно проговорила:

— Благодарю вас, князь, за предложение, которое вы мне делаете... я почла бы за большую для себя честь носить ваше старое русское имя... Я очень расположена к вам... но я не люблю вас так, чтобы выйти за вас замуж.

— Это ваше последнее слово? — отчаянно крикнул Щенятев.

Она вспыхнула.

— Разве я могу шутить этим, разве такие слова говорятся на ветер? — сказала она.

Но он уже ничего не понимал. В виски его стучало, безумная тоска сосала его сердце, и никогда ещё Елена не казалась ему такой обольстительной, такой прелестной. Отказаться от неё он не мог. Она будет принадлежать ему, она ему обещана Фениксом... напрасно

он поторопился сегодня, вопреки советам своего учителя... Необходимо сдержать свою страсть, надо владеть собою... и... раньше или позже, несмотря на этот отказ, хоть он и кажется решительным, бесповоротным — она будет любить его, будет его женою.

Он внезапно как бы охладел, опустил глаза, чтобы не глядеть на неё, не смущаться её красотой, и вернулся на своё кресло.

— Графиня, — сказал он довольно спокойным голосом, — вы заставляете меня сильно страдать, но видно, такова моя судьба — и я бессилён перед нею. В моей любви к вам не может быть ничего для вас оскорбительного... вы жалуетесь, что я вас компрометирую... но, ведь, до сих пор и я, как вы, действовал бессознательно, я поддавался только своему чувству. Теперь я буду осторожен, я не буду всегда перед вами, не стану надоедать своим присутствием... только, молю вас, не гоните меня от себя совершенно, позвольте мне, хоть и не так часто, бывать у вас.

— Если вы сами находите, что вам не следует бежать от меня, если вы так благоразумны — я очень довольна... Как старого знако-

мого, как родственника я всегда готова видеть вас... но для этого нужно, чтобы наше сегодняшнее объяснение было первым и последним. Не думайте, что я могу изменить своё решение...

— Никогда, ни в каких обстоятельствах вы его не измените? — не утерпев, воскликнул он, поднимая на неё глаза и пожирая её страстным взглядом. Но она не видела этого взгляда — она на него не смотрела.

— Никогда и ни в каких обстоятельствах! — повторила она его слова. — И только постоянно помня это, вы и можете встречаться со мною и бывать у меня. Вы должны заставить меня забыть всё, что было до сегодняшнего дня и сегодняшний день, тогда мы будем друзьями.

Она сказала всё это, как на её месте сказала бы всё это и всякая другая женщина. Она не могла запереть двери перед человеком, только что предлагавшим ей свою руку и своё имя. Она говорила себе, что любовь, возбуждённая женщиной и вдобавок безо всяких с её стороны стараний, нисколько не может быть для неё обидной, а даже напротив того,

должна считаться для неё лестной. Мужчина, предлагая свою руку и своё имя, если он делает это сознательно, доказывает женщине высочайшую степень своего к ней уважения, подносит ей драгоценнейший и прекрасный дар.

Наконец, она хорошо знала, что по понятиям среды, где она вращалась, дар князя Щенятева именно для неё должен казаться особенно драгоценным: ведь он, предлагая ей своё старое знаменитое имя, выводит её из весьма фальшивого положения. Ведь у неё теперь нет никакого имени — ей странно снова называться княжной Калатаровой — её продолжают называть графиней Зонненфельд, но уж одно простое чувство справедливости и человеческого достоинства запрещает ей носить имя человека, совершенно ей чужого, освобождённого от всяких перед ней обязательств.

Отец ежедневно твердит ей о настоятельной необходимости выйти замуж, «исправить» своё фальшивое положение. Об этом же твердят ей родные, намекают знакомые. Но, конечно, ни на одно мгновение не останови-

лась она на мысли о возможности для неё нового замужества — разве она порвала свои цепи для того, чтобы надеть на себя новые?

Щенятеву не на что надеяться, мало того, если бы она могла, если бы считала себя вправе, она запретила бы ему показываться ей на глаза. Она всегда к нему хорошо относилась, но с некоторого времени его присутствие её раздражает, приводит в какое-то странное, неприятное состояние. В этом человеке есть как бы что-то новое, чего прежде не было.

Вот и теперь... он будто успокоился, он держит себя скромно и даже с достоинством... а её раздражение все растёт и растёт. Зачем он не уходит, и отчего она сама не может прервать этого неприятного свидания? Что такое происходит между ними?..

Наконец Щенятев стал прощаться, В то время как он почтительно поцеловал её руку, она ясно почувствовала трепет, пробежавшей по всему её телу; голова её вдруг отяжелела. Но он ушёл, и вслед за его исчезновением исчезли и все эти неприятные, странные ощущения.

Она осталась одна, забыв все и всех, осталась со своей тоскою, со своим горем. Тоска её была старой тоскою, томившей её многие годы, но горе было новым горем, недавно осознанным ею, названным ею по имени. Оно пришло давно, это горе, но оно стояло над ней в тени, и она только бессознательно его чувствовала, а не видела, и это горе было тем беспощаднее, тем ужаснее, что облеклось в наряды счастья и сразу казалось счастьем.

Елена, всю жизнь томившаяся жаждой теплоты и света, счастья и любви, гордо и целомудренно сохранившая своё сердце, теперь любила, в первый раз, безумно, беззаветно. Теперь она все знала, понимала, помнила. Она внезапно прозрела и увидела себя, своё прошлое и поняла, что это прошлое было во все не таким, каким она его себе представляла. До сих пор ей казалось, что она поступает по известным ей и ясным побуждениям, а между тем в действительности, теперь открывшейся перед нею, она поступала совсем по иным, неведомым ей тогда побуждениям.

В ней было два существа — одно слепое, но

мнящее о себе, что оно единственное и что оно и есть Елена. Это слепое существо жило призрачной, фантастической жизнью, принимало свою жизнь за действительность и объясняло все свои чувства и поступки требованиями этой жизни. Другое существо было зрячее, и хоть Елена и не чувствовала его в себе, но только оно и чувствовало и поступало соответственно с требованиями настоящей жизни.

И теперь, когда Елена наконец его в себе ощутила и увидела, она поняла действительность, и все её поступки и чувства получили для неё новый смысл, новое значение.

Теперь она знала, что среди розового сияния южного вечера, в развалинах Колизея, к ней подошёл и протянул к ней руку человек, которого она ждала с тех пор, как почувствовала себя женщиной, кого знала, по ком томилась, о ком страстно и сладко мечтала, кого любила всем своим существом, всей своей душою. Она любила его давно, и чем дольше ждала она его, тем сильнее крепла её любовь.

Если она так ждала его, так любила — значит, он должен был существовать, значит, он должен был явиться перед нею. И он явился.

И она узнала его сразу, не могла ошибиться, не могла не узнать, потому что знала его давно, потому что давно его любила. Только узнала его не слепая Елена, мнившая себя единственно живущей, а та настоящая, зрячая Елена, теперь вот открывшаяся и себя показавшая.

Зрячая Елена, встретив и узнав сразу того, кого она ждала и любила, без кого не могла жить, а могла лишь томиться, стала действовать так, как должна была действовать. Она напрягла все усилия своей любви и воли, чтобы притянуть к себе и удержать с собою того, кого любила. Она жила его присутствием, сливалась с ним душою, уходила в его мир, упивалась любовью, торопила своё блаженство.

Но он всё же ушёл — и ей нечем было удержать его. Он ушёл — значит, надо было искать его и прежде всего разорвать свои ненавистные цепи. Не будь этой встречи, она продолжала бы влачить их, как до тех пор влачила. Теперь это оказывалось невозможным, теперь эти цепи становились её позором. Она разорвала их...

Она не знала, где и когда произойдёт её новая встреча с тем, кому она всецело и всегда принадлежала, но она знала, что эта встреча должна произойти, да ведь и он сам сказал ей это.

Он снова явился — и она встретила его свободной от цепей и позора, готовой идти за ним, куда он поведёт, готовой исполнить своё призвание, достигнуть цели и назначения своей жизни, упиться счастьем и муками, упиться жизнью.

Она его ждёт... ждёт... и вот оно, её горе! Он не приходит, он не любит её, когда она его любит, когда она создана для него, только для него. Если бы он не любил её, зачем бы он пришёл к ней тогда, зачем бы оставался с нею и приказал, да, приказал ей освободиться и прийти к нему. Она все исполнила — где же он?

Нет, он не может не любить её! Он её любит. Разве может она ошибиться, разве не читала она любовь в глазах его?

А этот ужасный итальянец? Это видение в сосуде с водою? А потом та ночь, та страшная, непостижимая ночь, когда ей казалось, что

она умерла, и в то же время жила и видела его перед собою... Это был не бред, не сон, она так отчётливо все помнит... Но что же это было? Она вдруг очутилась в той самой неизвестной ей комнате, которую видела перед тем в воде; только в комнате не было белокурой красавицы... Он стоял один, властно глядя ей в глаза и притягивая её к себе... Он звал её — и она явилась. Она думала, что настал наконец давно жданный час... Вот он, он её любит — и она кинулась к нему, вся горя своей вечной любовью... Но он оттолкнул её...

И всё исчезло... И с тех пор он, видимо, её избегает. Напрасно она ищет с ним встречи, напрасно ждёт его, зовёт непрестанно, зовёт всеми силами своей души, своей любви, своей муки... Он её не любит! Да нет же, нет, это невозможно! Так зачем такие испытания, зачем этот бред, туман?

И кто же он? Кто он, этот непонятный, таинственный человек, вокруг которого всё непостижимо?.. Он принёс с собою целый новый мир, странный, полный чудес и тайн...

Все эти мысли теперь не покидали Елену, преследовали её днём и ночью, роились и би-

лись в голове её... Целые часы проводила она наедине с ними, не будучи в силах жить той жизнью, к какой привыкла. Её книги оставались закрытыми, краски нетронутыми, музыкальные инструменты молчали. Иногда по два и по три дня она никуда не выезжала и с большим неудовольствием принимала посетителей. Но теперь ей захотелось выехать, увидеть тех людей, от кого она могла, быть может, услышать что-либо о Захарьеве-Овинове.

Она подошла к окну, желая посмотреть, какова погода. В это время вблизи раздался стук экипажа, и к крыльцу подъехала карета. Лакей в придворной ливрее быстро спрыгнул с козел и открыл дверцу. Из кареты вышла какая-то женщина.

«Кто бы это мог быть?» — досадливо подумала Елена. Но отказывать было уже поздно.

Через несколько мгновений ей докладывали, что её желает видеть, по поручению государыни, Зинаида Сергеевна Каменева.

Елена приказала просить и стояла среди гостиной, ожидая появления гостыи.

«Зинаида Сергеевна Каменева! — думала

она. — Кто же это? Ах да, это одна из новых фрейлин государыни, смолянка последнего выпуска».

В дверях гостиной появилась молодая девушка. Она грациозно и скромно поклонилась Елене и сказала:

— Я не имею чести быть вам представленной, графиня, но я приехала к вам по приказанию государыни... Я сегодня дежурной фрейлиной... её величество только что получила иностранные депеши и письма... она при мне запечатала вот этот пакет и приказала мне сейчас же к вам ехать и передать его вам в руки...

Елена, бледная, как полотно, не сводила глаз с молодой девушки. Её сердце почти остановилось. Она никогда не встречала её, а между тем узнала сразу... не могла не узнать. Это прелестное, невинное лицо навсегда запечатлелось в её памяти, хоть и появилось перед нею на одно мгновение, в уменьшенном, неведомо откуда и какими путями явившемся, отражении в глубине графина с водою...

Машинально она приняла из рук её пакет и положила его на стол.

— Государыня просит вас при мне прочесть... она пишет вам сама и ждёт ответа, — сказала фрейлина.

Елена так же машинально распечатала пакет. В нём заключалось известие о внезапной кончине графа Зонненфельда фон Зонненталя. Тут же рукой императрицы было приписано: «С разводом поторопились. Но всё же есть некоторые соображения. Желаю вас видеть. Я теперь свободна и прошу приехать тотчас с моей фрейлиной».

— Передайте государыне... я не могу исполнить... её приказания... я... больна... — прошептала Елена, почти без чувств падая в кресло.

Часть третья

I

Старый князь Захарьев-Овинов чувствовал себя с каждым днём все хуже и хуже. Его одолевала по временам такая слабость, что он не мог пошевелинуть ни одним членом — ему было трудно даже принимать пищу. Целыми часами лежал он неподвижно, закутанный в свой меховой халат, с закрытыми глазами, с мертвенным жёлтым лицом.

Обрывки мыслей бродили в голове его; перед ним беспорядочно, вытесняя друг друга, вставали воспоминания прошлого, но воспоминания эти не приносили уже ни отрады, ни грусти. Для изнемогающего старика это были только картины, которых он становился безучастным, равнодушным зрителем. Не он вызывал их — они являлись сами, и он глядел на них только потому, что надо же было глядеть, когда гляделось.

Однако всё это становилось ему, наконец, крайне утомительным, он делал над собой усилие, открывал глаза, возвращался к дей-

ствительности. Неподвижный покой в течение нескольких часов накоплял в нём некоторую небольшую долю жизненной силы. Он мог приподняться с кровати, перебраться с помощью своего старого слуги Патрикеича в кресло, выпить чашку бульону, глоток вина, съесть пару яиц всмятку.

Тогда он вспоминал, что ещё живёт, и первая мысль, приходившая ему, была мысль о сыне. Он спрашивал Патрикеича дома ли князь Юрий Кириллович, и почти всегда получал в ответ, что дома. Мало того, ему в такие минуты не приходилось даже посылать за сыном, так как сын тотчас же приходил к нему сам, будто чувствуя издали его зов.

Сын приходил, и они оставались вдвоём, иногда очень долго. Но эти свидания были всё те же, как и с самого начала, — они не приносили старику никакой отрады, а иногда под конец просто раздражали его, хоть он и ничем не показывал этого своего раздражения. Он был очень недоволен, а между тем и сам не мог определить, чем именно недоволен.

Ещё сын внимательно и толково разобрал

все дела, привёл их в ясность, устроил: теперь можно было умереть спокойно, зная, что долг исполнен, что старая несправедливость, по воле судьбы и по собственному свободному желанию, исправлена и что большое родовое имущество князей Захарьевых-Овиновых не только не переходит в чужие руки, а даже получает разумного, бережливого хозяина. На этот счёт не могло быть сомнений — этот сын не только сбережёт, но и приумножит родовое богатство; он привык к скромной жизни, вкусы его просты, он довольствуется малым, даже, может быть, чересчур малым в его новом положении.

Наконец, старый князь никак не мог пожаловаться на обращение с ним сына. Он видел от него постоянную заботливость, все знаки сыновнего почтения, предупредительность, даже нежное внимание к его болезни, очевидное желание насколько возможно развлечь его, быть ему угодным. Иной раз старик, помимо своей воли, становился крайне раздражительным, капризным — все его выводило из терпения, всё было не по нём, и в такие дни сын выказывал большое терпение,

особенную нежную заботливость.

Но именно все эти качества сына и возбуждали в отце болезненную раздражительность, даже ускоряли ход его недуга. Присутствие сына, его терпение, его ровный, спокойный характер, его предупредительная заботливость, не только не успокаивали больного, но заставляли его волноваться, страдать и, вследствие этого, быстро впадать в слабость, доходить до почти полного истощения сил.

Старому князю бессознательно хотелось, чтобы его Юрий вышел из своего спокойствия, рассердился, показал бы хоть миной одной, что ребяческие капризы и привередничанья больного старика его раздражают, что он находит их чрезмерными. Старый князь опять-таки, не отдавая себе в том ясно-го отчёта, добивался этого, всячески сердил и раздражал сына.

Но все его старания пропадали даром. Юрий Кириллович даже как бы и не замечал ничего. Его бледное и молодое лицо с холодными, светлыми глазами оставалось неизменно спокойным, и в нём нельзя было прочесть не только раздражения и досады, но и

ровно никаких ощущений. Оно молчало — это лицо, убийственно молчало, и самая нежная сыновняя заботливость, и самые добрые, ласковые сыновьи слова только раздражали, только мучили, являлись излишней, чрезмерной тягостью.

Кончилось тем, что старый князь стал просто пугаться сыновнего лица — оно казалось ему неживым, казалось прекрасной, но безжизненной маской.

Иной раз, беседуя с сыном, рассказывая и передавая ему то, что считал важным и нужным, князь ясно замечал, что сын отсутствует; он перед ним, он глядит на него, а в то же время его нет — он далеко где-то, не принимает никакого участия в разговоре, не слышит отцовских слов, они ему неинтересны, он чужой.

Последняя краска, краска раздражения и досады, вспыхивала на жёлтых, иссохших щеках князя.

«Юрий, ты меня не слушаешь?» — едва сдерживая себя, замечал он, и был уверен, что сын или опять его не услышит, или, расслышав, смутится и не будет знать, о чём идёт

речь, что говорил отец.

Но сын отвечал спокойно, не изменяя своей холодной неподвижности:

— Помилуйте, батюшка, я внимательно вас слушаю; вы мне сообщаете обстоятельства вашей жизни, бывшие мне доселе совсем неизвестными; эти обстоятельства помогают мне ближе знакомиться с весьма многим, а главное — с вами, понимать вас и верно ценить... Я вам благодарен за это, ибо сближение с вами и понимание душевной вашей жизни есть именно то, чего я, как сын ваш, более всего желаю.

Он говорил это серьёзно, своим ровным, звучным голосом, глядел прямо в глаза отца своими ясными и в то же время жутко блестящими глазами. Нельзя было ему не верить, ибо в нём можно было найти что угодно, кроме лжи, неискренности и обмана. Весь он, все существо его и это спокойное неподвижное лицо, и этот властный, холодный взгляд, каждое его движение, полное горделивой, сознающей себя силы, ясно говорили о том, что такой человек никогда не унижится до лжи, неискренности и обмана, что ему нет

никакой причины, никакой надобности до них унижаться.

А между тем не в силах был старый князь и поверить ему, хоть и желал бы этого пуще всего на свете, не мог, потому что он слышал слова сына, но не чувствовал их, потому что слова эти звучали, но не согревали его холодшее, тянувшееся к теплу сердце.

Если он говорит, что ему интересно, что он желает сближения — значит, это так, но насколько интересно, в какой мере желает?.. Он где-то далеко и высоко, он на все смотрит сверху, издали — и все кажется ему мелким, ничтожным!» — старый князь не мог бы, конечно, ясно высказать мысль эту, дать себе в ней отчёт, но его сердце чувствовало всё это и понимало.

Да, недавний Юрий Заховинов был действительно и далеко, и высоко от всего, что его теперь окружало. Он жил и действовал, исполнял то, что в настоящее время было им признано за его обязанности; но эта жизнь, эта деятельность не была его жизнью и деятельностью. Он сказал себе, что должен быть при отце до конца, что должен относиться к

отцу как любящий сын, — и терпеливо и внимательно исполнял свою задачу.

Он, конечно, видел недовольство отца, быть может, он даже понимал его причину; но делать больше того, что он делал, не было в его власти. Ему казалось, что он делает всё, если же отец недоволен и этим — так это уже не его дело.

Отец слабеет с каждым днём, отец, видимо, близится к могиле. Можно ли остановить неизбежную работу природы, вечно разрушающей одну форму жизни для того, чтобы создать из неё новую? Можно ли своей волей и, следовательно, за своей ответственностью повелеть тому, что люди называют смертью, отступить на время? Можно ли? — и он отвечал себе: «Можно». Должно ли это? Следует ли брать на себя такую ответственность в данном случае? — и он отвечал: «Нет».

Бессмертный дух человека готовится покинуть свою земную, материальную оболочку: одна форма материи перейдёт в другую, послужит материалом для бесконечного разнообразия проявлений жизни; жизнь духа вступит в новое состояние.

Если этот процесс, представляющийся тёмным людям таким таинственным, печальным и страшным, а в сущности такой простой и прекрасный, уже начался, значит, его отец остановился на пути своём и дальше идти не может, не может больше развивать свой дух. Значит, пора ему отдохнуть, и затем, уже в новом образе и в иных условиях существования, продолжать очистительную работу духа.

Итак, он не станет вмешиваться в процесс видимого разрушения тела отца, не станет его задерживать. Но он может время от времени успокаивать страдания отца, давать ему несколько часов отрадного покоя — и это он делал постоянно, при первой к тому возможности.

Повинуясь силе его взгляда и движения, бывших выражением его мощной и твёрдой, как камень, воли, старик внезапно засыпал блаженным сном, полным сладких видений. Но проходило три-четыре часа — и он проснулся снова больной, слабый, с сознанием мучительной тягости, которая была не что иное, как его износившаяся, потерявшая для него

смысл и значение земная его жизнь.

Оставалось одно, что могло бы сделать эту тягость нечувствительной, скрасить последние дни, осветить их и согреть. Этого тепла и света всегда недоставало старому князю Захарьеву-Овинову; но прежде, когда он мог получить их, он о них и не думал, не понимал их необходимости. Он любил свою жену и детей вовсе не так, как мог бы, как должен был бы, для своего же счастья, любить их. Да и они не так его любили.

Потеряв их, он понял это, понял своё сердечное одиночество — и ужаснулся. Он стал надеяться на оставшегося сына. Но этот почтительный сын, этот удивительный, таинственный человек был и оставался ему даже более чужим, чем все остальные люди. Он не мог дать ему ни одной минуты света и тепла.

Сколько раз трепещущие отцовские объятия простирались к сыну, но от сына веяло холодом. Бездна была между ними, и эта бездна становилась все шире, всё глубже с каждым днём, с каждым часом.

«Любил ли он хоть кого-нибудь на свете? Что в его сердце?» — думал иногда старик,

глядя в невыдававшие своих тайн глаза сына.

И смутно решал он, что его сын никого не любит, что, несмотря на все его спокойствие, силу, и величие, он глубоко несчастлив...

II

Был ли он действительно счастлив или несчастлив на своей высоте, и какого рода счастье, какого рода несчастье давала ему эта высота?

Бывают периоды в жизни человека, когда он особенно часто и сознательно вспоминает своё прошлое, останавливается на нём, мыслью и сердцем переживает его снова. В таком именно периоде находился теперь Захарьев-Овинов. Покончив дела, возвращаясь в свои тихие комнаты нижнего этажа, он очень часто, прежде чем углубиться в чтение или писание, подолгу сидел неподвижно, уходя в своё прошлое, делая из него выводы и на их основании представляя себе картину будущего...

Все его детство и отрочество прошли в деревне князя, в той деревне, где жила, любила и умерла его мать. Он рос, окружённый ба-

ловством и почетом многочисленной княжеской дворни, как сын князя, как крестник императрицы. Вместе с этим не прерывалась его связь с родными матери. У неё был брат священник, заступивший место своего отца при церкви в имении князя.

Отец Пётр, этот дядя маленького Юрия, и его семья были ему единственными близкими людьми, и только от них он видел настоящее чувство и сердечную ласку. Он был очень дружен с сыном отца Петра, Николаем, своим сверстником. Эта братская дружба была лучшим из ранних воспоминаний Юрия.

Но вот мальчики подросли, и дороги их разошлись в разные стороны: Николая отправили в Киев учиться, Юрия перевезли в Москву, в дом князя, приставили к нему двух гувернёров для обучения языкам немецкому и французскому, и затем, когда он уже был достаточно обучен, его отправили с теми же гувернёрами за границу.

Так было нужно по семейным обстоятельствам князя Захарьева-Овинова. Отец не отказывался от сына, он следил за ним, он два раза приезжал в Москву с единственной целью

повидать его, но всё же мальчика необходимо было удалить, по крайней мере, до поры до времени.

И вот он очутился в далёком немецком университетском городе, лишённый всего, с чем сроднился, что любил, окружённый чуждыми людьми, чуждою жизнью...

Уже в годы детства, в деревне, среди счастливого и беззаботного неведения и привольной здоровой жизни на Юрия временами находила какая-то странная тоска, томление. В такие дни он избегал даже своего двоюродного брата и друга, Николая, он искал уединения — зимою в пустом обширном зале княжеского дома, а летом где-нибудь в чаще леса или в глубине старого запущенного сада. По целым часам он бродил, не зная устали, витая мыслью и сердцем где-то далеко, в неведомых, но всё сильнее и сильнее манивших его пределах.

Ему чудилась совсем иная жизнь, не имевшая ничего общего с окружавшей его жизнью, полная новых существ и новых отношений... Он чувствовал себя окружённым бесчисленными, едва уловляемыми образом,

слышал вокруг себя неясные голоса, ощущал лёгкие прикосновения. И всё это звало его, видимо, силилось ему сказать, проявиться перед ним яснее, определённое. Вот-вот, ещё миг, казалось, совершится великая перемена, его глаза наконец все увидят, уши все услышат... Вот уже он начинает видеть... образы сгущаются... светлеют... слова раздаются громче... Но происходило в нём нечто, будто обрывалось что-то — и таинственный, манящий и зовущий его мир исчезал.

Он возвращается к действительности, но возвращается с тоскою, долго его не покидавшей. Он слишком рано начал вдумываться в смысл окружавшей его жизни и с каждым годом все настойчивее решал, что эта жизнь — несправедливость, мрак и страдание, что это даже и не настоящая жизнь, ибо есть иная, та, которая его звала и манила, хотела и не могла ему ясно сказать.

Вместе с тем в нём росло и развивалось глубокое убеждение, горячая вера в то, что сам он рождён не для этой несправедливой и тёмной, а именно для иной, светлой жизни, что он выше всех, кто его окружает, и связан с

этими людьми не внутренней, а только внешней, временной связью.

Подобная внутренняя жизнь и хотя ещё не ясные, но всё глубже и глубже укоренявшиеся в нём взгляды, естественно, придавали ему рассеянный, властный и даже надменный вид. Но этот вид не изумлял никого из окружающих — он казался естественным в княжеском сыне, в барчонке, которого, по строжайшему наказу князя, все должны были беречь как зеницу ока, баловать и лелеять. Единственное существо, могшее заглядывать во внутренний мир Юрия, был Николай, и между ними иногда завязывались разговоры, довольно странные для детей их возраста.

Но дело в том, что Николай плохо понимал своего друга. Это происходило вовсе не потому, что он был недостаточно умен и развит — ни в уме, ни в общем развитии он тогда не уступал Юрию, — а просто потому, что его детское мирозерцание, его характер были иными. Он не слышал никаких голосов, ему не грезило ничего таинственного и необыкновенного, и он никак не мог сообразить, как может Юрий тосковать и не любить того, что

вокруг них, чем они живут и должны жить. Он, наоборот, любил все и всех, и жизнь представлялась ему прекрасной.

И чем более вырастали мальчики, тем им труднее становилось понимать друг друга. Их привязанность и дружба оставались неизменными, но к тому времени, когда им пришлось разлучиться, с тем, чтобы идти совсем разными дорогами, их внутренний мир стал окончательно различен...

С переездом за границу в жизни Юрия произошла не одна внешняя, но и душевная перемена. Он наконец узнал то, что до тех пор от него тщательно все скрывали, узнал своё действительное положение, о котором ещё недавно только смутно догадывался. Это открытие поразило его и способствовало дальнейшему и быстрому развитию в нём прирождённых ему свойств и особенностей. Его болезненно чувствительное самолюбие, его природная гордость сильно страдали, жизнь и люди стали представляться ему ещё более тёмными и несправедливыми. И в то же время он всё сильнее проникался сознанием своего превосходства, своей исключительности.

Он чувствовал и знал, что предназначен к чему-то особенному и таинственно великому... и он ждал, когда наконец судьба его начнёт совершаться, когда она ему откроется. Пока же он учился жадно, неутомимо. Ему хотелось добыть как можно больше знаний, самых разносторонних. Учение было его единственной жизнью. Он жил особняком, не сходясь со своими иноплеменными университетскими товарищами, не принимая участия в их тревогах, радостях и удовольствиях.

Патриархальная жизнь немецкого университетского города, в которой, несмотря на известную мелочность и значительную исключительность интересов, всё же можно было в те времена найти многие светлые, живые и здоровые стороны, казалась ему не только скучной, но почти противной. Он презирал, искренно презирал эту жизнь и эти чуждые ему интересы.

В семнадцать лет он был вполне развившимся телесно, красивым юношей. Хорошенькие и влюбчивые немочки начинали на него засматриваться, и ему ровно ничего бы не стоило, по примеру товарищей, завести

сентиментальный и мещанский роман с любой из них. Ему тоже ровно ничего не стоило бы отдаться и горячей страсти в объятиях одной из очень скромных с виду, но легко и дерзко смело увлекавшихся молодых женщин, жён профессоров и высших чиновников города. По крайней мере немецкие дамы и девицы сделали со своей стороны всё, чтобы навести его на такие мысли и расчистить дорогу перед интересным юным иностранцем.

Но все их усилия пропадали даром: Юрий Заховинов даже и не глядел на них — они для него не существовали. А между тем его здоровая и крепкая юная природа уже говорила ему о женской красоте, он уже начинал понимать, что такое любовь и страсть и какую могучую и законную роль они играют в жизни. Что же избавляло его от увлечений? Всё та же гордость, всё то же сознание своей грядущей судьбы, для которой он готовился, которую ждал страстно, всем существом своим, которая пока и была его единой любовью, поглощавшей все его помыслы, все его чувства.

Переносить это ожидание помогали только книги — и в двадцать лет Заховинов пора-

жал профессоров своими разносторонними серьёзными познаниями.

Университетский курс был им пройден. В это время он получил от отца письмо и поехал в Россию, в Москву, где должен был свидеться с князем. Отец и сын прожили вместе более недели. Князь сделал всё, чтобы произвести наилучшее впечатление на юношу, который был ему мил, напоминая его молодое, горячее увлечение деревенской красавицей.

Он предложил Юрию ехать в Петербург и начать там службу, обещал ему протекцию, обеспеченность, прекрасную будущность. Он просил только одного — скромности и большого такта в отношениях с его семьёй. Это было необходимо прежде всего для самого же молодого человека, и князь, разглядев его, не сомневался, что он способен держать себя с тактом.

Юрий Заховинов решительно отказался от Петербурга и просил князя разрешить ему снова вернуться за границу «для усовершенствования в науках». Князь подумал и согласился.

Но прежде чем снова покинуть Россию,

Юрий приехал в деревню поклониться праху матери. Там всё было пусто: отец Пётр и его жена умерли один за другим года три тому назад. Николай был в Киеве, кончал ученье, и в скором времени должен был вернуться в имение князя священником. Таково было его желание, на которое уже последовало княжеское согласие.

III

Этот вторичный отъезд Юрия Заховинова за границу окончательно решил судьбу его. Если б он остался в России и стал жить в Петербурге, как сначала желал того князь, если б он начал государственную службу, его жизнь могла сложиться совсем иначе. Новая обстановка, отношения, интересы — всё это не могло бы не отозваться на его внутреннем мире.

Он был крепок и здоров, обладал привлекательной внешностью, богатыми способностями, разносторонними познаниями. При поддержке князя, никогда не дававшего обещаний на ветер, такой человек непременно должен был проложить себе дорогу, достиг-

нуть более или менее значительного, как служебного, так и общественного положения.

Борьба, ему предстоявшая, так же, как и самолюбивый характер, должны были развить в нём честолюбие, желание подняться как можно выше, наверстать то, что было у него отнято обстоятельствами его рождения, — и кто знает, на какую высоту он мог бы подняться...

Несмотря на всю свою юность, он почти понимал всё это, и была даже минута, когда он почти решил остаться, попытать свои силы и начать достигать путём сознательной борьбы и неослабевающих усилий всего того, в чём люди полагают счастье.

Но это была только минута — громкий внутренний голос властно сказал ему: «Беги отсюда, великая и таинственная судьба твоя ожидает тебя не здесь, а там. Если останешься здесь, она отойдёт, и ты потеряешь её, быть может, навеки, ибо у тебя есть свободная воля разобраться в своих стремлениях и пойти направо или налево. Иди же направо, беги отсюда!»

Он поверил этому внутреннему, уже зна-

комому и никогда ещё его не обманувшему голосу и уехал.

Он снова очутился один, среди чуждой ему жизни, среди чуждых ему людей, на которых невольно, и даже не отдавая себе в том отчёта, глядел свысока. Но это одиночество его не тяготило. Он жил не в настоящем, а в будущем, и для будущего глядел на своё настоящее, на эти однообразно сменяющиеся дни и ночи, как на нечто временное, почти как на тюремное заключение. Тоска и мрак тюрьмы едва замечались, ибо весь он, мыслью и духом, был в той радостной минуте, когда наступит светлая, широкая и счастливая свобода.

Эта свобода была ему обещана, он не знал кем, но знал и верил, что она ему обещана. Если б можно было отнять у него эту веру и это убеждение, он, не задумываясь, покончил бы с собою, так как ему пришлось бы тогда остаться с одним только настоящим, то есть с вечной, безнадежной тюрьмой.

Однако он понимал, что и в тюрьме нельзя жить сложа руки, что если невозможно до времени счастливого освобождения утолить

свою палящую жажду, насытить мучительный голод, всё же необходимо иметь глоток воды и кусок хлеба, иначе освобождение придёт слишком поздно, найдёт не живого человека, а труп.

Такой духовной, единственной его пищей была наука. Заховинов стал объезжать один за другим все университетские города Западной Европы, работал во всех книгохранилищах, знакомился и сходил с известными учёными всех стран, делался их внимательным учеником, извлекал из каждого всё, что только тот мог дать ему.

Так проходили годы. Юрий Заховинов уже приблизился к тридцатилетнему возрасту. В Россию он не возвращался. Денежных средств, высылаемых ему князем, было достаточно для скромной жизни, какую он вёл. Он время от времени переписывался с отцом, и мало-помалу, так уже само собою сложилось, что отец не звал его больше в Россию, его пребывание в чужих краях, его переселение из страны в страну, из города в город — всё это как бы узаконилось, стало нормальным.

Теперь он был выбран в действительные

члены многих учёных обществ; светила европейской науки принимали его как сотоварища, охотно с ним беседовали, даже порой изумлялись глубине и обширности его знаний. Он постоянно работал, много писал, но не напечатал ни одной строки и вне избранных учёных кружков его имя оставалось совершенно неизвестным. А между тем ему стоило опубликовать хоть одну из работ своих, чтобы легко достигнуть почётной известности.

Что же мешало ему поделиться с людьми плодами усидчивых, многолетних трудов своих, что мешало ему получить должное, занять по праву принадлежащее ему почётное положение? Ответ на это заключался в том, что он искренно считал всю современную науку ничтожной, что с каждым годом, приобретая новые познания, он всё более и более убеждался, до какой степени они слабы. Если люди, называющие себя учёными, действительно считают себя таковыми, и если все им верят, то это не что иное, как всеобщее заблуждение.

Он же не причастен такому заблужде-

нию — он ясно и хорошо видит, что самые смелые и серьёзные из современных ему учёных бродят впотьмах, что до сих пор никто из них не решил как следует и бесповоротно ни одного из простейших вопросов, касающихся природы и жизни. Видят явления природы и жизни, наблюдают их, разъясняют, противоречат и друг другу, и себе в этих разъяснениях, а причина явлений остаётся тайной. Работают целые века над расширением могущества человека, над порабощением сил природы — и продолжают оставаться рабами этой таинственной природы, которая из-под своего непроницаемого покрывала насмешливо смотрит на жалкие усилия слепых пигмеев.

Но вместе с этим Заховинов чем больше жил и работал, тем более убеждался в заблуждении считать человечество шествующим постоянно вперёд, без остановок и с каждым веком приобретающим всё больше знаний. Нет, если получают новые знания, то многие прежние забываются, исчезают; человечество, или, вернее, отдельные, более развитые его части имеют свой день и свою ночь. Работающая часть человечества, совершив свой

труд, покончив свой день, утомляется и засыпает. Настаёт ночь с бурями, грозами и дождями. Ночная непогода ломает и смывает труды спящих работников, и когда при наступлении утра поднимаются на труд новые работники, они застают прежнюю работу в развалинах: иное приходится переделывать, другое — начинать снова, так как прежнее совсем погибло, исчезло, забылось. И кончается тем, что новые работники совсем разрушают все здание и принимаются возводить его по новому плану, употребляя при этом совсем новые приёмы в работе. Но ведь на этот новый план, на выработку новых приёмов и орудий потребны века — поэтому-то постройка и идёт так медленно.

Заховинов был уверен, что он живёт в один из ранних утренних часов новой работы, на развалинах громадного труда, совершенного работниками древних цивилизаций. Убедясь в этом, он, естественно, сосредоточил всё своё внимание на развалинах древнего мира.

Мало-помалу он решил, что работники предшествовавшего периода во второй поло-

вине своего трудового дня знали неизмеримо более, чем первейшие учёные XVIII века, только работали они по совсем иному плану и употребляли в работе иные, ныне забытые приёмы. Новый план, быть может, гораздо лучше, новые приёмы гораздо совершеннее; но ведь пройдут века, прежде чем будут достигнуты большие результаты работы. На закате нового трудового дня человечества, перед наступлением новой ночи истинные знания будут глубже и серьёзнее, чем были они в предшествовавший вечер человечества. Но ведь теперь-то, в этот ранний утренний час, в час подготовительной работы, человеческие знания ничтожны сравнительно с теми, какими обладали древние работники перед наступлением неизбежной ночи, почти разрушившей следы их работы...

Страстно и неустанно, с томлением всё возраставшей жажды, с муками все усиливавшегося голода стал Заховинов искать капли и крупницы древних затерявшихся знаний.

Прежде всего он, естественно, должен был натолкнуться на астрологию, хиромантию, картомантию, всевозможные способы узнава-

ния судьбы человека и предсказания будущего. Он остановился в недоумении. Всё это были тоже древние науки. На утренней заре новые работники нашли их крупницы разбросанными и затерянными в развалинах древнего мира. Крупницы эти кое-как подобрали, сложили в одну общую кучу и время от времени забавлялись ими. Иной раз даже считали их очень интересными, даже пробовали серьёзно взглянуть на них. Крупницы входили в моду и выходили из моды. Серьёзные люди, а уж тем более учёные, относились к ним с полным презрением.

Презрительная усмешка мелькнула и на устах Заховинова. Астрология! На основании каких-то условных вычислений, каких-то положений и соотношений некоторых небесных тел в минуту рождения человека нарисовать круглую или квадратную фигуру, разделённую на двенадцать частей, — и в этой фигуре, как в раскрытой книге, прочесть, ясно и подробно, всю грядущую жизнь человека!.. Гороскоп! Какое безумие!..

Хиромантия! Ладони человеческих рук испещрены более или менее тонкими, разнооб-

разными чертами... Разглядеть все эти черты, рассмотреть форму руки и пальцев — и опять-таки, как в книге, прочесть на руке характер и судьбу человека!.. Читать тот же характер, ту же судьбу в возвышениях и углублениях черепа — и называть это френологией, наукой! Читать эту судьбу в известном образе расположенных картах!.. Неужели стоило всю свою жизнь искать истину и работать, чтобы остановиться на такой фантастической забаве?.. Нет, не эти крупницы, найденные в развалинах древности, важны. Они — только древнее заблуждение. Надо рыть глубже...

Но тут Заховинову пришлось признать себя виновным в поспешности заключений. Он столкнулся с жившим во Франкфурте старым евреем Моисеем Мельцером, занимавшимся составлением гороскопов. Еврей этот составил его гороскоп, и Заховинов с невольным изумлением и интересом сидел над этой странной фигурой и читал подробные к ней объяснения. Еврей не мог знать не только обстоятельств его жизни, но и не имел о нём никакого понятия. В этом Заховинов был уверен. А между тем в объяснениях, написанных

дрожащей старческой рукою, была подробно описана вся жизнь Юрия Заховинова, как он знал её сам. Прошедшее и настоящее были верны, будущее сулило именно то, чего желал для себя Заховинов.

— Интересная случайность! — решил он.

Но через полгода в Милане какой-то босоногий монах по чертам рук рассказал ему то же самое, что было написано при гороскопе евреем.

После этого Заховинов решил, что необходимо тотчас же ехать в Мюнхен, где, как он слышал, жила какая-то фрау Луиза, славившаяся своими гаданьями на картах. Фрау Луиза в третий раз повторила перед ним его прошлое, не ошиблась, говоря о настоящем, а будущее изобразила именно таким, каким представили его еврей и монах.

— Таких случайностей быть не может, — сказал себе Заховинов, — и чем большим это кажется вздором, тем это интереснее и серьёзнее.

День, когда Заховинов сказал себе слова эти, был великим днём в его жизни.

Есть люди, и в особенности между учёными всех времён было и есть много таких людей, которые или с чужого голоса, или даже путём собственной мыслительной работы, дойдя до известных понятий, уже решительно не в состоянии сойти со своего места. Вне точки, на которой они остановились, им все кажется заблуждением и нелепостью. Они не признают для себя возможности никаких ошибок. Если свидетельства их собственных чувств противоречат их теориям и выводам, они не хотят ни видеть, ни слышать, ни осязать, закрывают глаза, зажимают уши — и бегут дальше от явления, грозящего доказать их несостоятельность, бегут с упорным криком: «Этого быть не может, это противоречит здравому рассудку, это нелепость!»

Но дело вовсе не в том, что «этого быть не может и что это нелепость», а просто в том, что человеку очень спокойно на своём пригретом, облюбованном и комфортабельно устроенном местечке. Иной раз, если это действительно учёный и мыслитель, он ведь

столько поработал, столько сил и жизни вложил в созидание своего мировоззрения, был его глашатаем, знаменосцем. И вдруг какое-то странное явление грозит разрушить до основания всю эту работу целой жизни, доказать неосновательность и близорукость работника! Нет, следует закрыть глаза, зажать уши, объявить дерзновенное, назойливое явление нелепостью и остаться у своего знамени, на своём месте.

Но эти люди своим образом действий прежде всего доказывают, что они работали лишь для собственных удобств, отдыха и лени, а не для истины, что они малодушные трусы, заботящиеся не о том, чем быть, а о том, чем слыть, пуще всего боящиеся свистков и глумлений современной им толпы, — и никогда подобным людям не покажет истина бессмертной красоты своей!..

Заховинов, более чем равнодушный к мнению о нём интересных и ненужных ему людей, работавший не для известности среди современников, никогда не думавший ни о каких свистках или овациях, уже по одному этому был свободен в своих занятиях от всяких

искушений и смущении.

Единственными его судьями были его же собственный разум, его же собственное чувство. Эти единственные и безапелляционные его судьи решили, что слишком легкомысленно и недостойно глубокого искателя истины отворачиваться от несколько раз повторенного факта только потому, что неисследованная причина этого факта представляется нелепостью...

Всё, что может сделать осторожный, спокойный и рассудительный человек для того, чтобы убедиться, что он не был жертвой обмана, — всё это сделал Заховинов с целью узнать, не было ли какой-нибудь связи между франкфуртским евреем, мюнхенской фрау Луизой и миланским монахом, и не мог ли кто-либо из них знать о нём, его прошлом и настоящем. Но все самые тщательные изыскания заставили его отказаться от этой мысли.

Тогда он снова поехал во Франкфурт и сделался скромным учеником бедного и грязного старого еврея, Моисея Мельцера. За денежную помощь, в которой он действительно нуждался, а может быть, и по иным ещё по-

буждениям еврей согласился передать Заховинову все свои познания.

Целые дни проводили они вместе, и очень скоро Заховинов увидел, что его время не пропадает даром. Еврею незачем было для составления гороскопа пришедшего к нему незнакомца узнавать его прошлое и настоящее — теперь Юрий Кириллович на основании преподанных ему правил сам составил свой гороскоп, и эта работа оказалась тождественной с работой еврея. Объяснения, так подробно и точно рассказавшие всю жизнь его, он нашёл в старой рукописи, хранившейся у Мельцера и составлявшей главный источник его астрологических познаний.

По уверениям еврея, рукопись эта была написана Ожэ Феррье, доктором Екатерины Медици. Подробного её изучения было достаточно Заховинову для того, чтобы убедиться в том, что под словами и понятиями, осмеянными и признаваемыми за шарлатанство и вздор, скрывается действительно очень серьёзная и важная сущность. В древнем мире существовала истинная наука, точная и безошибочная, далёкая от всякой произвольно-

сти и гадательности, от всякой фантастичности. Эта древнейшая математика, открывавшая великим учёным протёкших времён, лучшим работникам истекшего дня жизни человечества многие тайны природы, выражалась (как и следовало) знаками и символами, истинный смысл которых мог быть известен и понятен только посвящённым. Эта высочайшая математика, единственная наука, заключавшая в себе по своему свойству всевозможные науки, обладала огромной силой — знанием природы, достигавшим владычества над природой, а потому в руках человеческих она могла быть как источником высочайшего блага, так и источником высочайшего зла. Следовательно, все зависело от доброй или злой воли владевшего ею.

Таким образом, древние работники, открывшие свою великую науку, созидавшие её и совершенствовавшие, не имели никакого права передавать её каждому. Мало было явиться в собрание знающих и сказать: «Я хочу знать». Следовало доказать свою способность не только постигнуть науку и воспринять её, но и, владея ею, не злоупотреблять

своими познаниями, не творить посредством их зла. Доказательства эти были очень серьёзные, испытания, которым подвергался желающий познать науки, были трудными, страшными испытаниями, ибо ошибка, неудачный выбор ученика, падали всей своей нравственной ответственностью на учителей. Так следовало быть, и так оно было...

Рукопись Мельцера, этот листок из книги древней науки, найденный и буква к букве подклеенный французским медиком XVI века, окончательно заставил Заховинова отречься от современной ему науки и отныне отдать себя исключительно поискам предыдущих и следующих листков древней великой книги. Он знал, что перед ним большой труд, но знал также, что этот труд должен увенчаться блестящим успехом: об этом всю жизнь, с самого детства говорил ему внутренний голос, об этом говорили ему теперь предсказания гороскопа, руки и карт, первая половина которых уже осуществилась во всех подробностях.

Однако труд оказался не столь тяжёлым, как это можно было себе представить сразу.

Очевидно, самым тяжким, самым решительным шагом был первый шаг — и Заховинов его сделал, смело и презрительно отбросив от себя первое препятствие. Это препятствие встало перед ним в виде чудовища, одетого шутом, со свистком в зубах, с лицом, полным насмешки и злорадства. Оно крикнуло ему: «Иди — и ты покроешь себя насмешкой и позором как жалкий глупец, погнавшийся за нелепой химерой!» Заховинов отбросил чудовище — и оно исчезло бесследно, а он прошёл спокойно и тотчас же получил награду в виде рукописи Мельцера, давшей ему уже некоторые положительные указания...

Теперь, вспоминая прошлое, Заховинов говорил себе, что именно с той минуты он очутился в мистической сфере, где действуют высшие влияния и где человек, пригодный к работе, смело и спокойно, идя прямым путём к заветной цели, идя с непреодолимой волей и верой, на каждом шагу при первой необходимости получает себе помощь и подмогу. Чего он ищет — то и находит, кто ему нужен, тот уже ждёт его, и неизбежно в предназначенный день и час происходит с виду стран-

ная, но естественная, знаменательная встреча.

Всё это не случайность, не бред мистически настроенного воображения, а огромные, осязательные результаты, которых Захинов достиг в десятилетний период, прошедший с того времени, служили ему в этом порукой.

Стоило ему остановиться на каком-либо вопросе и понять, что без выяснения и решения этого вопроса ему нельзя успешно продолжать свои занятия, как тотчас же, по-видимому, случайно он находил какой-нибудь старинный манускрипт или редчайшее издание, трактовавшие именно о предмете, его занимавшем. Новая находка при всех своих иной раз несовершенствах помогала ему в решении важного вопроса, наводила его на новые мысли и соображения. Иногда же рукопись или книга оказывались драгоценными.

Можно было подумать, что в его руках находится подробный каталог всех редчайших и важнейших сочинений по древним, отринутым новой наукой, таинственным знаниям, с указанием места, где они находятся, и

лиц, которые ими владеют. Заховинов, подчиняясь кому-то особому, развивавшемуся в нём чутью, по мере надобности собирался в дорогу, ехал в город, о котором за день до того не думал, по приезде отправлялся бродить по всем улицам и непременно встречал какого-нибудь человека, с чьей помощью добывал нужную ему книгу или рукопись.

Он не навещал уже больше своих прежних учителей, известных учёных. У него являлись новые учителя и сотоварищи во всех странах Европы. Это были, по большей части, совсем неизвестные в учёном мире люди, люди различных профессий и положений. Встречи с ними происходили тоже, по-видимому, самым случайным и естественным образом. Но с каждой из таких встреч он делал новый шаг на пути своём.

Так прошли три года. Заховинов чувствовал, что им сделано всё, что было в его человеческих силах. Он знал, что находится в положении древнего неопита, добросовестно приготовившегося вступить в храм великих таинств, выдержать все испытания и заслужить высшее посвящение.

Действительность, среди которой он жил, приходя с ней в невольное соприкосновение, более чем когда-либо казалась ему призрачной и ничтожной. Он оставался свободным от всяких привязанностей и пристрастий, не замечал чужих радостей и чужого горя. Он сдал в себе все порывы и чувства и оставался на высоте своей холодной, девственной чистоты, всецело, без остатка поглощённый и подавленный страстно и жадно любимой им работой. Он знал уже много и был уверен в истинности своих познаний.

Он знал и то, что настало время его посвящения, наступил так давно, так терпеливо жданный час выхода из темницы на свободу. Где же старшие братья, имеющие силу и власть посвятить его, раньше него вступившие на путь, по которому он идёт, и уже достигшие того, чего и ему предстоит достигнуть? Они существуют, хоть никто ещё не говорил ему об этом и не называл ему имён их... Они явятся, ибо приспело время...

И они явились. Заховинов внезапно почувствовал, что должен ехать в древний немецкий город Нюрнберг. Он знал уже этот город,

хотя до сих пор у него там не было никаких знакомых. Он немедленно собрался и поехал. В первый же вечер по его прибытии в дверь его помещения в гостинице раздался троекратно повторенный стук.

Трепет пробежал по всему телу Заховинова, щёки его побледнели, глаза вспыхнули.

«Настал час... идут за мною!» — сказал он себе и ни на одно мгновение не усомнился в словах своих. Если б он ошибся, его постигло бы немедленное безумие, его жизнь была бы кончена. Но он знал, что ошибиться не может, что таких ошибок не бывает.

Твёрдой поступью, усилием воли подавив в себе волнение, он подошёл к двери, отворил её и впустил к себе пришедшего человека. Это был старик небольшого роста, очень сухощавый, с бледным, изборождённым мелкими морщинами лицом, с глазами живыми и пронзительными. Его чёрная одежда самого обыкновенного, общепринятого фасона была скромна, вся его фигура дышала спокойным достоинством.

Заховинов никогда не видал этого старика; а между тем тот посмотрел на него, как смот-

рят на человека, уже хорошо известного, уже изученного. И Заховинов почувствовал и понял, что старик его знает.

— Готовы ли вы идти за мною, господин Заховинов? — просто и ласково спросил на немецком языке старик, крепко сжимая невольно протянутую к нему руку Юрия Кирилловича.

— Вы знаете, что готов и что я ждал вас.

— В таком случае — пойдём!

Заховинов накинул плащ, надел шляпу — и они вместе вышли.

V

На узких, извилистых, то поднимающихся, то спускавшихся улицах старого города с его тёмными, покрытыми копотью веков зданиями, стояла почти полная тишина. Только иногда в тусклых окнах мигал кое-где неопределённый свет. Тёплая летняя ночь трепетала бесчисленными звёздами, и поздняя луна медленно поднималась, то здесь, то там расстилая серебристые полосы и длинные тени.

Заховинов ничего не замечал, ни на что не обращал внимания — он видел только перед

собою небольшую, сухощавую фигуру своего путеводителя и следовал за нею, стараясь сдерживать в себе восторг и волнение, его наполнявшие.

Этот восторг, это волнение были понятны: ведь всю жизнь он ждал наступившей теперь, наконец, минуты. Для неё с гордым презрением он отказался от всех радостей жизни, ей он всецело отдал свою юность, молодость, свои лучшие невозвратные годы, промелькнувшие перед ним, как серый дождливый день, без единого луча солнца, без единой радостной улыбки...

Но он даже не сознавал того, сколь многим пожертвовал этой минуте и ни на мгновение не усомнился в том, что теперь получит всё, чего ждал, чего жаждал, на что рассчитывал...

Наконец после получасовой ходьбы старик остановился среди особенно тихой, совсем зашумевшей улицы и подошёл к маленькой, старой двери. Он ударил в неё три раза, и дверь отворилась, хотя за нею никого не было.

Маленькая лампочка, повешенная на совсем чёрной от копоти стене, тускло озарила перед ними узенькую каменную лесенку. Ста-

рик запер за собою дверь на задвижку, и они поднялись по лестнице.

Они вошли в небольшую комнату, тоже очень тускло освещённую такой же маленькой, как и на лестнице, лампочкой. В комнате никого не было, и она представляла из себя что-то вроде приёмной. Два узеньких окна были закрыты пыльными занавесями. Старинный дубовый шкаф великолепной резной работы помещался у стены; напротив него большой камин-очаг, длинный стол, дюжина деревянных стульев с высокими спинками, в углу огромные часы с тяжёлым, глухо звучащим маятником — вот и всё.

Здесь по примеру своего путеводаителя Заховинов оставил плащ и шляпу. Затем старик подошёл к двери, отпер её, даже не постучав, и, обернувшись, пригласил знаком Заховинова войти.

Они очутились уже в более обширной и достаточно ярко освещённой двумя большими канделябрами комнате.

Пять человек были в этой комнате, и только один из них, увидя вошедших, не тронулся со своего места. Остальные пошли навстречу

Заховинову, ещё издали протягивая ему руки и дружески ему улыбаясь. Он на мгновение остановился, смущённый и изумлённый: он был среди людей, давно уже ему знакомых, и никого из них он никак не ожидал здесь встретить.

Вот Роже Левек, маленький плотный француз лет пятидесяти, с ясными голубыми глазами и глубокой характерной морщиной, начинавшейся между бровями и пересекавшей весь лоб. Роже Левек — известный парижский букинист-антикварий; в его запылённой, пропитанной запахом старой бумаги, заваленной книгами лавочке, на левом берегу Сены, недалеко от Ситэ, Заховинов немало часов проводил в течение последних семи лет, наезжая в Париж и отыскивая старые книги и манускрипты. Левек был всегда тут, помогая ему в розысках, беседуя с ним скромно и почтительно и незаметно наводя его на новые, интересные мысли.

Входя в запылённую лавочку букиниста, Заховинов чувствовал удовольствие и при виде ворохов старых книг, и при виде умного, спокойного лица Левека с его ясными глаза-

ми и глубокой морщиной, разделявшей лоб на две равные половины. Ему всегда становилось как-то теплее и спокойнее среди этих книг и в присутствии этого человека. Пыльные книги перебирались и перекладывались, пыль поднималась со всех сторон, тихий и почтительный голос Левека журчал неспешно, переходя с предмета на предмет, время шло — и Заховинов не замечал времени и не замечал он уходя, что помимо разных книг и манускриптов он выносил из лавочки букиниста очень драгоценную ношу, что каждый раз Левек своею тихой и почтительной беседой двигал его вперёд и незаметно, сам прятаясь и уничтожаясь, давал ему новую мысль, новую силу, новое знание.

Только теперь, взглянув в глаза Левека, Заховинов все понял, не зная чему больше изумляться: своей ли способности к столь долгому ослеплению или власти Левека, производившей в нём это ослепление...

А вот барон Отто фон Мелленбург, с которым, как бы случайно встретясь и познакомясь в Берлине, он совершил большое путешествие сначала по Рейну, а потом по Бава-

рии и отчасти Швейцарии. Барон Отто — породистый, важного вида немец, владетель прекрасного замка и значительных земель в одной из живописнейших прирейнских местностей. Сколько незаметных часов было проведено в беседах с этим взвешивавшим каждое слово, с виду сухим и даже как бы чванным человеком, лета которого трудно было прочесть на его холодном, будто из камня выточенном лице! А между тем сколько глубины было в этих беседах и как много плодотворных семян заронил этот сухой и чванный барон в душу и мысль Заховинова. Теперь, почувствовав пожатие его сильной, больной руки, Заховинов ответил ему крепким, благодарным пожатием...

А этот крохотный человек, с такими угловатыми, живыми манерами! Сразу при виде этой фигурки трудно удержаться от смеха, но один взгляд на эти огненные чёрные глаза, на этот высокий прекрасный лоб остановит смех, превратив насмешку в невольное почтение, пожалуй, даже в некоторый тайный страх. Странные глаза, блеск и сила которых способны преобразить пигмея в прекрасного,

мощного великана!

Этот пигмей-великан тоже немец, но в его жилах ещё осталась кровь его предков — евреев. Зовут его Иоганн Абельзон. Он был профессором древней истории, но давно уже оставил кафедру и жил, постоянно путешествуя. Заховинов встречал его время от времени в течение нескольких лет то в Германии, то во Франции, то в Англии.

Сначала он даже избегал этого крохотного человека с могучими и страшными глазами, чувствовал к нему антипатию; но потом это изменилось, профессор древней истории увлёк его обаянием своего горячего красноречия, своими познаниями. Кончилось тем, что Заховинов не раз даже искал с ним встреч и они обменялись несколькими почти дружескими письмами.

Четвёртым знакомцем Заховинова оказался граф Хоростовский, старый, совсем одинокий богач литовско-польского происхождения, родившийся в Австрии, владевший там огромными поместьями, слывший за чудака и скупца, так как он жил очень скромно, внезапно появлялся то там, то здесь, внезапно ис-

чезал и неведомо на что употреблял свои баснословные, все увеличиваемые молвою капиталы и доходы. Заховинов в последние два года встречался с ним довольно часто и, сам себе не отдавая в том отчёта, заинтересовался им более, чем кем-либо в жизни. Он хотел узнать его, но не мог — граф не высказывался и в то же время заставлял Заховинова, всегда очень сдержанного и осторожного, быть с ним даже почти откровенным. Теперь Заховинов понимал, что из всего этого собрания граф Хоростовский может дать о нём подробнейшие сведения.

VI

Граф Хоростовский, вслед за другими пожав руку Заховинова, оставил её в своей и подвёл его к человеку, сидевшему в глубине комнаты. Это был старик величественного вида, с лицом, носившим на себе следы глубокой старости, но несмотря и на эти беспощадные, разрушительные следы, сохранившим какую-то светлую, почти лучезарную красоту.

Длинный и широкий плащ скрывал высокую фигуру старика.

— Отец, — почтительно сказал граф Хоростовский, — вот человек, имя которого вы сказали нам семь лет тому назад и за которым следить нам поручили. Я, Мелленбург, Абельзон и Левек не оставляли его и, когда было нужно, входили с ним в непосредственные сношения. Брат наш Ренке тоже следил за ним неустанно, оставаясь ему неизвестным, и теперь привёл его к вам.

Старик поднялся с кресла, положил свои сухие, бледные руки на плечи Заховинова и крепко поцеловал его. Это был первый поцелуй в жизни Заховинова, заставивший трепетно и радостно забиться его сердце.

— Благословен ваш приход! — сказал старик, глядя в глаза Заховинова своими лучезарными глазами. — Сядем же все и объясним пришедшему к нам брату, почему он пришёл к нам и почему мы его ждали. Передайте и мне и ему историю его жизни, его борьбы, историю неустанного развития его духа...

Все разместились, и Заховинов с чувством невольного радостного умиления выслушал из уст четырёх известных ему людей и одного

неизвестного — Ренке — подробную истинную исповедь своей собственной как внешней, так и внутренней жизни. Сам он даже и не мог бы с такой точностью и последовательностью рассказать о себе, как рассказали эти люди. Они будто не только жили с ним и шаг за шагом проследили все его поступки и работы, но они будто жили в нём, прошли через все его ощущения, мысли и чувства, начиная с его детского возраста и кончая настоящей минутой.

Когда этот удивительный рассказ завершился последними словами Ренке о том, с какой глубокой верой, с каким полным отсутствием даже и тени сомнений Заховинов последовал за ним, ясная улыбка осветила прекрасное лицо старика и он заговорил, обращаясь к Заховинову:

— Вам известно, что в древние времена человек, желавший посвящения, являлся в собрание посвящённых и должен был проходить через целый ряд испытаний. В древних святилищах Египта, в подземельях пирамид, были искусно устроены всякие приспособления для подобных испытаний. Неофит пока-

зывал свою неустранимость и силу воли, не подвергая себя никаким опасностям, и только последнее испытание могло для него окончиться смертью: из святилища можно было выйти только посвящённым, ибо древние иерофанты не имели права рисковать и выдавать тайн своих... Но и в те времена эти испытания, действовавшие на воображение человеческое, имевшие, по своему значению, глубокий внутренний смысл, были только отражением, образом действительных испытаний... Мы — хранители древней науки, древних таинств, величайшего сокровища, и из века в век мы бережём в глубочайшей тайне и передаём достойным преемникам нашу драгоценную ношу, наш горящий светильник чистого огня истины и знания. Он не погас доселе, этот дивный светильник, и горе будет тому веку, в который он погаснет... Мы прямые и законные наследники древних иерофантов, и дорожим их традициями, их символами и обычаями. И ныне мы находим иногда полезным действовать на воображение людей... Но вы не нуждаетесь для своего посвящения в торжественной и таинственной

обстановке... Вы оставили всё это за собою, вы приходите к нам не учеником, не робким неопитом — вы приходите к нам уже после целого ряда действительных жизненных испытаний, закалённым в борьбе, вы несёте с собою прекрасную и полную кошницу истинных знаний... Сами того не зная, вы быстро и твёрдо поднимались по ступеням иерархической лестницы посвящений, и в настоящее время, придя к нам, вы уже находитесь на высокой её ступени...

Заховинов слушал слова эти жадно и с восторгом. Этот чудный старик говорил ему то, что уже не раз являлось ему в горячих грёзах, что он не раз предчувствовал и что окрыляло его силы. Старик продолжал:

— Наши братья, которым я поручил следить за вами и помогать вам, доказали своим рассказом, что мы хорошо вас знаем и что наш суд и приговор — безошибочны. Вы с детства предназначены к великому делу, вы рано почувствовали своё духовное высокое призвание, и вся ваша жизнь была единым, могучим порывом к заветной цели... Ещё не обладая никакими знаниями, вы уже, по тайному

влечению, как истинный избранник, не рассуждая, действовали и шли тем прямым путём, который ведёт к познанию истины, к возвышению и очищению духа, к владычеству над природой... Вся тайна знания и могущества заключается в развитии воли — и вы развивали вашу волю неустанно. Ваша воля стремилась к истине, потому истина всё более и более открывалась перед вами... Воля справедливого и мудрого человека есть образ Божьей воли — и по мере того как она крепнет, человек начинает управлять событиями; вы видели это в вашей собственной жизни. Для того чтобы получить право вечно владеть истиной, нужно желать и ждать долго и терпеливо: вы доказали своё непреодолимое терпение, и область ваших законных владений должна все расширяться. Желать и преследовать преходящие блага этой жизни — значит отдавать себя вечности смерти: земные блага никогда не имели цены в глазах ваших — и вы наследник вечной жизни. Чем больше воля преодолевает препятствий, тем более она возрастает в могуществе; много препятствий разрушено и пройдено вами, и

поэтому-то мы видим вас на высокой ступени могущества. Вы ещё не знаете степени своей силы, своего могущества, вы никогда ещё не пользовались ими, а между тем они велики: вы уже можете управлять той сущностью природы, которую я назову электрическим огнём и светом и которую природа отдаёт человеку, мощно и правильно развившему свою волю. Этот вечный, животворный свет освещает тех, кто умеет владеть им, и уничтожает тех, кто им злоупотребляет. Царство Мира принадлежит царству Света, а царство Света — Престол Воли. По мере того как человек совершенствует свою волю, он начинает всё видеть, то есть все знать в постоянно и бесконечно расширяющейся перед ним области. Его счастье не что иное, как плод познания добра и зла. Но Бог дозволяет срывать этот плод лишь человеку, настолько владеющему собою, чтоб никогда не пожалеть его для себя, то есть для своих личных, земных целей... Это предостережение, но я вам его делаю, не сомневаясь в вас, делаю так, как и вы можете мне его сделать, ибо все мы сильны лишь до тех пор, пока боремся, и на какой бы высоте

мы ни стояли, стоит нам на миг лишь ослабить, опустить наше оружие, уступить духовной лени — и мы можем быть побеждены. Наше оружие обратится против нас самих, и мировой великий огонь, посредством которого мы владели природою, испепелит нас.

Старик замолчал; но его вдохновенные, лучезарные глаза, как звёзды, блестели перед Заховиновым, зажигая и в нём вдохновение, поднимая сознание ещё неизвестной, рвущей свои оковы силы. Он встал бледный, с замирающим сердцем и провёл рукою по своему лбу.

— Вы обещаете мне великую награду за мои труды и усилия, которые я теперь признаю очень ничтожными, — сказал он, — вы поднимаете меня слишком высоко, и я чувствую, я знаю, что действительно нахожусь на этой высоте. Я чувствую это и понимаю в первый раз: до сих пор я никогда об этом не думал... Я не страшусь, не робею, но у меня является сомнение и недоумение, и я должен их вам высказать: то, что я делал всю жизнь, то, что вы называете моей борьбой и работой, мне не стоило никаких усилий; я действовал

известным образом потому, что иначе не мог действовать и даже не могу представить, как бы я мог иначе действовать... За что же такая награда? Не из смирения говорю я это. Я просто изумлён... Мои усилия, моя борьба мне ничего не стоили... Я думал, что ныне вы поможете мне стать на первую ступень великой лестницы, а вы мне говорите, что я прошёл уже много ступеней, что я поднялся высоко... и вы, конечно, правы...

— Вот эта-то сила, для которой все легко, все кажется лёгким, и подняла вас! Вот поэтому-то мы и приветствуем вас не как ученика, а как достославного брата! — разом сказали все.

Прошло несколько мгновений. Старик поднялся и обратился к Заховинову:

— Но вы хоть и ждали сегодняшнего дня, хоть и чувствовали его приближение и неизбежность, однако не знали нас до самой последней минуты, — сказал он. — Кто же мы? Кто эти люди, с которыми вы встречались, которых знали как равных себе, как низших по их житейскому общественному положению?

Заховинов склонил голову и спокойно,

твёрдо проговорил:

— Я имею великое счастье убедиться в том, чему доселе хотел, но боялся верить... Я убеждаюсь в том, что не иссохло великое древо, корни которого так же древни, как человечество... Я нахожусь среди истинных мудрецов — победителей природы, среди великих учителей — Розенкрейцеров... А вы... отец...

Заховинов не договорил, невольно и стремительно склоняясь перед старцем. Тот поднял его и заключил в свои объятия. При этом движении плащ упал с плеч старца, и на сухой, широкой груди его засверкал осыпанный бриллиантами знак высочайшей мистической власти и силы — чудный символ Креста-Розы.

VII

В тот же вечер Юрий Заховинов был признан розенкрейцером. Он получил высокую степень учителя, ибо, как сам он теперь ясно видел и понимал, многочисленные ступени иерархической лестницы были уже им пройдены, и на первую из них он ступил ещё в детстве...

Таким образом, Заховинов сразу оказался в центре таинственного святилища, в среде малого числа избранников, составлявших то единственное средоточие, из которого исходило все мистическое движение и где хранилась и разрабатывалась наука познания природы и власти над нею, унаследованная от глубочайшей древности. Во всех странах существовали в то время более или менее тайные мистические общества; масонские ложи различных наименований и оттенков «работали» во многих городах; но все эти общества, но все эти ложи были не что иное, как разноцветные лучи, исходившие из того центра, где таинственно сиял на груди величественного старца осыпанный бриллиантами знак Креста-Розы.

Тысячи людей, принадлежавших к мистическим обществам, к масонским ложам, не только не подозревали этого, но даже и самое существование розенкрейцеров казалось им сомнительным. Они знали, что в прежнее время были розенкрейцеры, что эти розенкрейцеры владели тайнами, быть может, и очень важными — но теперь о них ничего не

слышно, они рассеялись и исчезли...

Люди, стоявшие во главе обществ и лож, одновременно со своим посвящением получали теми и иными способами указания, что над ними, то есть выше их, существует, следя за ними и покровительствуя им, какая-то высшая и могущественная тайная корпорация — но этим, по большей части, все и ограничивалось.

Только самым способным, сильным и искренним работникам мало-помалу открывалась тайна. Такие работники, опять-таки тем или иным способом, благодаря встречам с новыми людьми и знаменательным беседам с ними, наводились на мысль о существовании розенкрейцерства, о его действительном значении и, наконец, принимались в среду одного из «великих учителей», получали от него посвящение.

Отныне посвящённому ученику-розенкрейцеру предоставлялся ясный, свободный и широкий путь восхождения по высшим ступеням иерархической лестницы посвящений. Розенкрейцер знал, что он может достигнуть блистательной степени «великого учителя».

Тогда ему сразу откроются громадные горизонты, он увидит всех своих собратьев — «великих учителей» и вместе с ними сделается спутником единого центра, единого солнца — мудрого главы розенкрейцеров, носителя высшего знака Креста-Розы. Тогда он узнает, кто этот мудрец, увидит всю его силу, войдёт с ним в постоянное и тесное общение. Пока же он только знает о его существовании; но где он и как его имя — это для него тайна.

Случай, помощь сильных людей и их пристрастие, хитрость, а порою даже и преступление могут возвести человека на вершину земных почестей. Случай, неприязнь сильных людей и их пристрастие, врождённая прямота и неспособность к интригам могут оставить в тени и пренебрежении человека, способного с честью и великой пользой занять самое высокое положение. На этой же таинственной иерархической лестнице не могло быть ничего подобного.

Человек не в состоянии был занять ту или другую ступень хитростью или благодаря пристрастию и недальновидности высших, не мог уже потому, что удержаться на этой

ступени возможно было единственно своей собственной силой и своим знанием. Если сила и знание достигали известного предела — этим самым человек и становился на подобающую ему ступень.

Высшая справедливость и полная невозможность несправедливости делали мистическую иерархию истинной и природной иерархией. Сила и значение её были велики. Абсолютное подчинение младших старшим являлось естественным, свободным и соединялось с таким же естественным и свободным уважением и почитанием. Злобы и зависти друг к другу не могло быть, ибо злоба и зависть, как и всякие страсти, ослабляли и быстро сбрасывали человека вниз с достигнутой уже им ступени.

Членами мистических обществ и лож, от низших до самых высших степеней, могли быть люди достойные и недостойные, искренние и неискренние, знающие и только умеющие скрывать своё незнание; но едва человек получал розенкрейцерское посвящение, он вступал совсем в иную область. То, во что он верил или стремился верить, превращалось

для него в знание. Посвящающий его учитель доказывал ему основательно свои познания, свою силу, показывал ему явления, ясно и неопровержимо говорившие о том, что человек может получить громадную власть над природой и по своему желанию комбинировать и направлять её силы.

Неофит останавливался на невольном восторге и благоговении перед глубокой и светлой областью, ему открывавшейся. Он делал первый шаг, пробовал свою силу — и результат получался поразительный...

Власть над природой — светлая грёза всего человечества, власть, перед которою меркнет могущество всех владык земных! Естественно, что, убеждаясь в существовании и возможности такой власти, человек всецело отдавался борьбе для её достижения. Он знал, что все средства заключаются в нём самом, что развить свои силы он может единственно волей и наукой, передаваемой ему его учителями. Без развития воли он останется на месте и не пойдёт вперёд; без учителей он годы будет томиться над решением той или другой задачи, которая может быть ему объяснена и

понята им в самое короткое время. Отсюда его неустанная внутренняя работа, его глубокое уважение к учителям, его свободное иерархическое подчинение им.

Таким образом, сильный волей и разумом человек достигал громадных знаний. Эти знания оставляли далеко за собою, на неизмеримом расстоянии, официальную, всем доступную академическую науку. Все сводилось к изучению и познанию явлений электромагнетизма, то есть силы, составляющей, по убеждению розенкрейцеров, суть всей природы и находившейся во всяком как одушевленном, так и неодушевленном Божьем творении, на земле и в беспредельном мировом пространстве.

Зная свойства этой силы, человек, обладавший верой, разумом и волей, действительно, мог, говоря словами апостола Павла, быть пророком, знать все тайны, переставлять горы. Владея сутью предмета, он легко овладевал и всем предметом...

Официальная наука, идя своим тяжёлым и медленным, черепашьим шагом, не поднимавшая головы и видевшая только то, что у

неё под ногами, конечно, должна была признать всё это за бредни и безумие. Когда доктор Месмер, не будучи посвящённым, нашёл некоторые проявления электромагнетической силы и громогласно объявил удивительные результаты своих открытий, официальная наука на него накинута, преследовала его при жизни и до смерти, признала его шарлатаном.

Но прошло сто лет — и в настоящее время лучшие представители официальной науки поневоле, ввиду поразительных, кричащих фактов, один из которых носит теперь название гипнотизма, должны отказаться от своей презрительной усмешки и скорее заняться исследованиями изумительных, совершенно реальных явлений, имеющих в своей основе всё ту же электромагнетическую силу. Имена Месмера, аббатов Фариа, Пюисегюров, Делезов, дю-Потэ и подобным им «безумцев» и «шарлатанов» начинают являться уже совсем в новом освещении...

Но все эти смелые, много пострадавшие люди разобрали только первые страницы великой книги, находившейся во владении тай-

но работавших учителей — розенкрейцеров. А что эта великая книга действительно находилась в их владении — теперь можно предполагать на достаточном основании и не боясь обвинений в безумии.

Зачем же они действовали и работали втайне, зачем не открыли глаза человечеству и не осветили его своими знаниями? Если их знания, их силы действительно были так истинны и велики, то ведь им ничего не стоило раздавить враждебную, ничтожную официальную науку и стать едиными просветителями человечества. Они остались как бессильные трусы в темноте, в забвении, они ничего не дали человечеству — значит, им нечего было дать ему.

Нет, подобные обвинения и выводы крайне неосновательны. Истинная мудрость и справедливость, высокое духовное развитие заставляли их, храня древние традиции иерофантов, работать втайне и открывать свои знания только испытанным людям, неспособным их выдать. Посредством могущественной силы, постигнутой ими, один человек может завладеть другим и превратить его в сле-

пое орудие своей воли, своих страстей. Этой силою можно попрасть, исковеркать и уничтожить весь строй общественной жизни, породить всевозможные преступления и несчастья, каких до сих пор ещё почти не знавало человечество. Дни, когда подобная сила делается общим достоянием, представлялись им адом, и их первая обязанность была охранять человечество от таких дней.

Они говорили, что, когда малейшая частица их знаний будет найдена помимо них и станет доступной каждому, настанут страшные беды. Преступления и несчастья, порождаемые в наши дни, благодаря первым исследованиям в области гипнотизма, опытам, известным всякому студенту парижской Сальпетриеры, доказывают, до какой степени были правы учителя-розенкрейцеры. Если б они не держали своих могущественных знаний в тайне, если б они всеми мерами, даже иногда страшно жестокими, не оберегали свои тайны, они превратились бы в сознательных преступников, и это было бы их нравственным падением...

Итак, Заховинов благодаря своим духовным качествам, трудам и знаниям оказался на той высоте, какая признавалась достаточной для «учителя». Он давно обуздал в себе все телесные страсти и потребности, отказался от всяких привычек, жил мыслью и духом, а не телом, ставшим для него послушным рабом, а не всесильным владыкой. По мере неустанного и могучего развития его воли в нём скоплялась и крепла электромагнетическая сила. Для того чтобы начать действовать и работать уже в качестве посвящённого «учителя», ему оставалось только из уст носителя великого знака Креста-Розы получить откровения глубочайших таинств науки и увидеть осязательные результаты своей силы. Глава розенкрейцеров и его ближайшие сподвижники не могли в нём ошибиться.

Через три дня после посвящения Заховинов уехал из Нюрнберга в сопровождении Георга фон Небельштейна, как звали «отца» розенкрейцеров. Они ехали в древний, уже разрушившийся от времени замок Небельштейн,

построенный или, вернее, почти высеченный в скале, наверху горы, в живописной, уединённой местности. Здесь, среди полнейшего затишья, окружённый редчайшими фолиантами и рукописями, мудрый старик проводил большую часть года.

В замке жил также и другой древний старик, Ганс Бергман, молочный брат и лучший друг хозяина. Ганс Бергман из простого конюшего превратился после сорокалетней борьбы и трудов тоже в «учителя»; он был глубочайшим знатоком герметической науки, кабалистом и астрологом. Но всё это нисколько не мешало ему оставаться тем, кем он был рождён, — то есть почтительным слугой своего друга и учителя Георга фон Небельштейна...

Заховинов провёл в старом замке два месяца, и когда он, наконец, простился с мудрыми старцами, он стал новым человеком и начал новую жизнь.

Теперь он вышел из темницы, теперь он пользовался широкой, прекрасной свободой. Перед ним раскрылись светлые, беспредельные горизонты. Он мог пользоваться на ду-

ховное благо себе и другим законно полученными им силами...

Издавна усилия человечества направлены к тому, чтобы отрастить себе крылья, чтобы победоносно бороться с временем и пространством. В те годы, когда жил и действовал Заховинов, о больших победах люди не смели и думать: железная дорога, телеграф, телефон и все дальнейшие открытия и усовершенствования нашего сегодня и завтра могли показаться несбыточной грёзой, волшебной сказкой.

Но во владении Заховинова были средства победы над временем и пространством, ещё далее оставляющие за собою наши железные пути, телеграфы и телефоны, чем они, в свою очередь, оставляют за собою средства передвижения и сношений между людьми, существовавшие в XVIII веке. Заховинов мог без всяких видимых инструментов знать и видеть то, что происходило на очень дальнем расстоянии. Он мог устанавливать между собою и нужными ему людьми невидимую связь; чужие мысли, когда он хотел этого, были для него так же ясны, как громко произне-

сённые слова. В его власти было овладеть почти каждым человеком, внушать ему свои мысли, заставляя его действовать по своей воле. Он мог избавлять людей от болезней и страданий и возбуждать в них всякие страдания...

Для всего этого он должен был только произвести более или менее значительную затрату своей жизненной силы, действуя так, чтобы эта затрата не была чрезмерна, чтобы она не произвела разрушительного влияния на его организм и могла быть быстро пополнена известным ему способом.

Владея такими познаниями и способностями, Заховинов, естественно, являлся мудрейшим из всех людей, в среде которых он находился. Он уподоблялся зрячему между слепыми. Поэтому он мог творить свою волю, вести за собою всех, управлять обстоятельствами и подготавливать события. Он мог легко и без всякой борьбы устроить себе какое угодно положение, достигнуть всевозможных почестей и возвышений. Как бы ни был силён и могуществен человек, человек этот должен был трепетать вражды Заховинова, которому сам он

ровно ничего не мог сделать...

Но Заховинов был истинным розенкрейцером, «великим учителем», а потому он не был в состоянии злоупотреблять своими познаниями и силами и направлять их к своей личной, житейской пользе и выгоде. Он глубоко проникся основными правилами герметического учения. Если и прежде, до своего посвящения, он легко отвернулся от благ земных, от земного честолюбия, то теперь, когда его высшее честолюбие было удовлетворено, когда он знал свою действительную силу и власть, земные почести не могли не потерять для него всякий смысл и значение. Привлекательно лишь то, что недостижимо или, по крайней мере, требует больших усилий для достижения. Но то, что даётся без всякого труда, что можно иметь всегда, в каждую минуту, — стоит ли оно малейшей затраты драгоценной жизненной силы? Да и наконец есть значительные наслаждения в сознании своего тайного могущества, о котором никто и не подозревает...

Вместе со всем этим Заховинов знал, что, влияя на события, вторгаясь в чужую судьбу,

одним словом, производя известного рода насилие и действуя по своему произволу в высшей сфере, управляемой гармоническими, божественными законами, он всецело берёт на себя полную ответственность. Его бессмертный дух должен будет искупить в вечности малейшую вольную и даже невольную ошибку, каждое мгновение произвола, вторжения в гармоническую область божественных законов...

Только ради абсолютного блага, ради помощи человеческой души, рвущейся к свету, «великий учитель» розенкрейцер может и должен проявлять свою силу. Как его самого отыскивали, невидимо поддерживали и вели по прямому пути, так и он должен отыскивать способных к духовному развитию людей, должен следить за ними, поддерживать и вести их.

Это его задача, долг, его главная деятельность и смысл, высокий смысл его жизни. Чем его собственное развитие идёт быстрее, чем более он очищается и выше возносится над материей, тем легче он может поднимать и очищать других. Следовательно, у него есть

ещё другой долг, другое назначение: не останавливаться на своём пути, идти вперёд и подниматься выше...

Прошло ещё несколько лет — и Заховинов, как того ждал и предсказывал «отец», снова поднялся по иерархической лестнице. Он положительно отрешился от всего земного, он был весь в высших, лучезарных сферах — светлый, холодный, победитель плоти. Телесный человек как бы не существовал; страсти, потребности, волнения, наслаждения, горе — вся разрушительная, кипучая телесная борьба отсутствовала, а потому и самое тело его не могло носить на себе её следов — Заховинов по внешнему виду оставался так же молод, как был в двадцать пять лет.

Его знания расширялись, его силы всё крепили. Он чувствовал себя как бы на вершине высочайшей горы, с которой мог во все стороны видеть всё, что было ниже его, а также и то, что было его выше. Дивное зрелище открывалось внизу, поразительно прекрасное сияло над ним — и он различал величайшие законы мироздания, чувствовал всюду присутствие божественной премудрости,

проявляющейся везде и во всём, всецело отражающейся, как солнце, в малейшей капле...

Заховинов опередил всех своих спутников, «великих учителей», принимал от них выражения глубокого восторженного почтения. Древний «отец» благословлял его своими бледными, иссохшими руками, как своего любимейшего сына и наследника...

Графиня Зонненфельд была одна из тех душ, способных на развитие и рвущихся к свету, которые отметил могущественный розенкрейцер, за которыми он следил, которым помогал. Он явился ей в Риме, пробудил её и расчистил перед нею путь... Теперь она освободится от всей земной грязи и очистится...

Он должен был покинуть её на время, послушный зову Георга фон Небельштейна.

Старец встретил Заховинова на поминани-ем о том, что «время пришло». Пришло время последнего, великого испытания. Заховинов должен был вернуться на родину, принять новое имя, новое положение, войти в новые отношения с людьми...

Там, на родине, ждало его последнее испытание. Он выйдет из него победителем и вер-

нётся к «отцу», как равный к равному. Сто лет живёт на земле старец, время его освобождения от телесных уз близко... Тогда Заховинов примет власть в свои мощные руки, сменит знак своего высокого достоинства на высочайший...

Почти все достигнуто, остаётся немного... Всё, что грезилось с детства, что сулило блаженство, манило к себе, — все исполнилось. Достигнуто большее, о чём никогда даже и не мечталось. Великий розенкрейцер на вершине могущества, какое только может быть дано человеку...

Но получил ли он счастье, испытал ли его со времени своих высоких посвящений? Или его земной отец, старый князь Захарьев-Овинов прав, и он всегда был и остался несчастлив?..

Да, старый князь прав — великий розенкрейцер даже и не знает, что такое счастье... Он всё ждёт чего-то, хотя ждать уже, кажется, ему нечего...

Одно последнее испытание! Оно будет таким же лёгким, как и всё, что было доселе...

Но теперь он знает, в чём это испытание и

как оно страшно... В душе его мрак, в сердце страдание — и он трепещет на своей холодной, лучезарной высоте, трепещет в первый раз и чует бездну под собою...

IX

Старому князю вдруг стало совсем плохо. Уже почти двое суток он не принимал никакой пищи и находился в забытьи. Он то лежал неподвижно, с открытыми, ничего не выражавшими глазами, то начинал волноваться, произносил несвязные слова, стонал и, по всем признакам, испытывал сильные страдания.

Сын не отходил от него. Он видел отцовские страдания, убеждался, что они минутами становятся ужасны, и разбирал их причину. Он находился перед явлением, ему не совсем понятным, несмотря на все его знания и силы, и такое явление глубоко его заинтересовывало.

Положение старого князя было ясно для Юрия Кирилловича: сам больной, приведённый могучим магнетизмом и волей сына в состояние ясновидения, подробно рассказал

ему свою болезнь, представил ему полную картину своего разрушившегося организма. Из этих сведений, в которых не могло быть ошибки, Захарьев-Овинов видел, что вся работа в теле отца, работа, необходимая для жизни, происходит совершенно неправильно; что некоторые важные внутренние органы бездействуют, парализованы, изменены.

Когда человеческое тело приведено болезнью именно в такое состояние, смерть является неизбежной и близкой. Всеобщее разрушение органов, хаотический беспорядок в их взаимодействии, полнейшая дисгармония механизма, ход которого, то есть жизнь, основан на гармонии — всё это и есть процесс умирания, агония. Болезнь князя была такого рода, имела такое течение, что последний её период неизбежно должен был оказаться тихим, без страданий. А между тем, несмотря на все усилия сына, больной страдал, умирание затягивалось. С князем происходило именно то, что народ обозначает словами «земля не берёт». Смерть пришла, а человек не умирал, не мог умереть.

Что же это значило? Какая тому была при-

чина? Захарьев-Овинов знал, что причина кроется не в материи, а в духе, что нечто мешает духу покинуть свою земную оболочку, свою временную одежду, хотя эта одежда уже давно в лохмотьях. Духу страшно тяжело в этих ужасных лохмотьях, но никакая сила не может помочь ему, пока не устранена причина, лишаящая его свободы...

Следует найти эту причину и освободить дух.

Был вечер, и полная тишина стояла во всём доме. Только маятник глухо отбивал уходившие в вечность мгновения, только умиравший тяжело вздыхал на своей кровати. В углу за китайской ширмочкой, оставлявшей в тени большую часть просторной и высокой комнаты, горела лампа. В другом углу слабое мерцание лампы золотило большой киот, наполненный родовой княжеской святыней — иконами в тяжёлых ризах, усыпанных жемчугом и разноцветными камнями.

Захарьев-Овинов, поднявшись с кресла, в котором задумчиво сидел у кровати отца, подошёл к двери, запер её на ключ, спустил занавес и затем, неслышно ступая по мягкому

восточному ковру, опять вернулся к кровати. Но он не сел в своё кресло, он остановился перед кроватью, склонился над нею и устремил на отца свой холодный, властный взгляд...

Старик внезапно открыл глаза, и в них изобразился ужас. Потом глаза закрылись, открылись снова, но теперь в них уже не было ужаса, они превратились в глаза мертвеца — стеклянные, безучастные, неподвижные.

Захарьев-Овинов отступил шаг, другой — и вот старый князь, давно не бывший в состоянии не только подниматься, но даже и поворачиваться без посторонней помощи, сразу, как кукла на пружине, вскочил с кровати и встал перед сыном... Нельзя себе было представить ничего ужаснее этого умиравшего, парализованного старика, стоявшего теперь навтыжку, будто под ружьём, с этими мёртвыми, страшными глазами, зрачки которых неестественно расширились. Страшной и свирепо жестокой казалась сила, поднявшая этот труп и превратившая его в окаменелость, неведомо каким образом не падавшую, твёрдо державшуюся как бы в насмешку над всеми известными физическими законами.

Но Захарьев-Овинов не замечал ничего этого. Лицо его было спокойно и серьёзно.

— Отец, — произнёс он тихо, но таким властным голосом, которому нельзя было не повиноваться, — требую, чтобы ты отвечал мне.

— Я в твоей власти... приказывай... спрашивай... я буду отвечать, — пронёсся в тишине комнаты глухой, унылый, будто замогильный голос.

— Отчего ты страдаешь?

— Оттого, что не могу освободиться, не могу сбросить с себя тело и чувствую все изменения, в нём происходящие... Мои мучения ужасны... их редко кто испытывает, ибо те изменения, которые происходят в моём теле, бывают обыкновенно уже после смерти, то есть после более или менее полного освобождения духа, а потому если дух и ощущает их, то в самой незначительной степени... Мой же дух не в силах выйти из тела, соединён с ним, и потому земное «я», всё ещё состоящее из соединения духа и материи, испытывает медленное, останавливающееся, а следовательно, ещё более мучительное разложение материи.

Невыносимее этих страданий ничего быть не может...

— Отчего же твой дух не в силах выйти из тела?..

Наступило несколько мгновений глубокого, страшного молчания. Живой труп оставался всё таким же неподвижным; глаза его с расширенными зрачками были всё так же бессмысленно устремлены прямо вперёд и ничего не отражали, но на измождённом лице изобразилось отчаянное, немое страдание.

Захарьев-Овинов поднял руку и неумолимым, беспощадным голосом произнёс:

— Отвечай!

Сдавленный стон вырвался из груди старика.

— Пощади! Не спрашивай! — прошептали, с трудом разжимаясь, заочневшие старческие губы.

Но великий розенкрейцер будто не слышал этого стопа, этой мольбы. Глаза его метнули искры, и он повторил с удвоенной, тяжёлой и твёрдой как камень силой:

— Хочу! Отвечай!..

Опять глухой стон пронёсся по комнате.

Живой мертвец, подавленный чужой волей, видимо, испытывавший невыразимые муки, всё ещё пробовал бороться.

— Не требуй от меня невозможного... не ставляй меня выносить того, что свыше сил человеческих... я не могу... не смею отвечать... — шептал он хриплым голосом.

— Я требую для твоего же освобождения, а потому отвечай! — не теряя холодности, не изменяя выражения своего спокойного лица, сказал Захарьев-Овинов.

И застывшие, искажённые муками старческие губы произнесли:

— Не могу освободиться, ибо задача не выполнена, ибо нет примирения и покоя в душе, ибо только одно может освободить меня... Я его ждал, жду... но не приходит и не от меня зависит получить его...

— Скажи, чего именно недостаёт тебе — и я помогу...

— Увы! Ты не в силах, именно ты не в силах помочь мне... Тебя я ждал, на тебя надеялся... ты должен был разрешить мои узы... а ты ещё слабее меня!.. Ты даже и не понимаешь того, чего я жду... чего жажду, что так высоко

и необходимо духу человека!.. Несчастный! Одна только способность моя воспринять это так могущественна, что удерживает дух мой в разрушающем теле... Но Боже, Боже! Хоть и ничтожны эти муки ради вечности, но они невыносимы! Боже, пошли избавление... Боже, спаси и его, и меня!..

Живой мертвец замолчал. Силы и власть Захарьева-Овинова слабели — и он не замечал этого. Над ним всё ещё звучали и в нём повторялись странные, непонятные слова отца: «Ты ещё слабее меня... несчастный! Боже, спаси и его, и меня!..» Ведь это не безумный, не бессмысленный бред! Никогда не может дух человеческий выдать большей истины, как в таком состоянии. Значит, в непонятных словах отца заключается глубокий смысл, откровение, правда...

Сердце розенкрейцера сжалось тоскою. К чему же была вся эта жизнь с её борьбой, испытаниями, неустанным развитием воли, постоянным восхождением к свету и власти? Где эта власть, если умирающий, слепец, порабощённый его волей, сильнее его, своего поработителя?

Яркая краска вспыхнула на щеках Захарьева-Овинова. Его самообладание, спокойствие, холодность, сознание своей высоты и силы исчезли. Его сердце усиленно билось, по его за минуту перед тем молодому и прекрасному лицу легли тени, прошли морщины... Он волновался, негодовал...

— Отец, говори всё, говори прямо! Ты должен все сказать мне, я требую этого!.. Я хочу!.. — повторял он, и от волнения, от негодования, от ужаса перед этим неожиданным, невероятным поражением его воля слабела, его власть уничтожалась, из победителя природы он превращался в её раба, терял свой разум, нарушал великий, неизменный закон, на котором было построено все его могущество, и не замечал этого.

— Отец, говори! — вне себя, будто в опьянении, простонал Захарьев-Овинов.

Но старик молчал, потом вдруг шатнулся и бессильно упал на пол.

Это падение заставило Захарьева-Овинова прийти в себя. Он кинулся к отцу, поднял его и уложил на кровать. Он дунул ему в лицо. Больной вздрогнул, закрыл и снова открыл

глаза. Теперь зрачки его не были расширены, взгляд не казался мёртвым, стеклянным. Князь узнал сына и слабо произнёс:

— Юрий, я засну...

И он действительно заснул.

Захарьев-Овинов отпер дверь, позвал старого слугу отца и затем спустился в нижний этаж, в свои комнаты.

Никогда ещё, с тех пор как он себя помнил, не испытывал он такой тоски... Вот перед ним мелькнул прекрасный образ Елены. Дрогнуло и загорелось его сердце...

«Последнее испытание! — шептал он. — Оно и там, и здесь; оно велико, охватывает меня со всех сторон, грозит разрушить мою силу... и уже ослабляет меня... Я мнил, что природа сняла для меня все покровы... но вот новая глубина, новая тайна... Передо мной загадка — и я её не понимаю, я слеп... Но я пойму и решу её!...»

Х

Захарьев-Овинов провёл ночь почти без сна, взглядываясь в своё будущее, общие черты которого были ему давно известны. Он знал,

что пришло время великого переворота в его жизни. Страшные тучи нависли над ним; беды и опасности грозят со всех сторон. Но тучи рассеются, опасности минуют, и снова заблещет ясное солнце, заблещет так, как ещё никогда не блистало. Таковы предсказания его судьбы. Предсказания эти никогда ещё его не обманывали и обмануть не могут, ибо теперь он знает, на каких твёрдых, незыблемых, природных указаниях они основаны.

Итак, все хорошо. Ему ли бояться испытаний, опасностей? В его руках надёжное оружие. Он на такой высоте — он, победитель природы! А между тем ведь вот же умирающий отец доказал ему, что есть власть сильнее его власти, что есть нечто неизвестное им и неуловимое, и это нечто в состоянии сразу обессилить, превратить его в такого же жалкого слепца, как и все люди, которыми управлять он может по своему желанию, и которые кажутся ему с его высоты пигмеями. Значит, есть такая глубина природы, куда он ещё никогда не заглядывал и заглянуть не может...

Но ведь он накануне последней, решительной битвы. Судьба обещает ему победу. Перед

ним горит великий знак Креста-Розы. Когда победа совершится, когда он возложит на себя этот символ верховной власти в области духа, тогда его знания сразу удесятятся, тогда вся эта непонятная глубина природы откроет ему великие свои тайны, тогда навсегда простится он с ужасным сознанием своего бессилия.

Ведь так было всегда, ведь каждая новая ступень посвящения, каждая новая победа увеличивали силы и знания в неизмеримо быстро возраставшей прогрессии. Между первой и второй ступенью лестницы мистических посвящений разница в силах и знаниях так же велика, как между полным незнанием и знанием на первой ступени. Между предпоследней, высокой ступенью и последней, высочайшей эта разница страшно, неизмеримо велика...

А потому — терпение, спокойствие, сознание своей силы, своего призвания! Прочь этот трепет, эти сердечные муки — только в них возможность падения...

И Захарьев-Овинов заставил замолчать в себе все тревожные ощущения. Он снова был

холоден и спокоен, снова владел своей силой...

Но он был всё же человек — и человеческое любопытство заставило его встать с кровати, зажечь свечи и приняться за работу. Эта работа, состоявшая из вычислений, комбинаций знаков и чисел и строго логических выводов спокойной, ясной мысли, должна была показать ему, в каком именно моменте своей судьбы он теперь находится и что именно его ожидает теперь, сейчас...

Позднее осеннее утро уже заглянуло в окна, когда работа была окончена. Захарьев-Овинов знал, что в настоящую минуту ему предстоит знаменательная встреча и что эта встреча должна иметь решающее значение для всей его будущности. Он сложил тетрадь и неподвижно сидел перед столом. Он ждал.

Бессонная ночь не оставила на нём никакого следа. Он не чувствовал ни голода, ни жажды. Его сверкающий взгляд был устремлён в одну точку, и мало-помалу начинала перед ним выступать сущность того, кого он ждал, кто должен был явиться с минуты на

минуту. Но он ещё не знал, кто это, ещё не видел никакого лица. Он ощущал только приближение какой-то силы. Да, это сила, могущественная сила... Она близка... всё ближе и ближе... Спасение это, помощь — или враг идёт, или наступает час борьбы, последней борьбы?..

Стук раздался у двери... Он поднялся с кресла, пошёл и отворил дверь.

Ему навстречу будто пахнуло что-то, будто пронизал его электрический ток; но это было так мгновенно и должно было показаться ему так невозможным, что он не обратил на это внимания. Он отступил на шаг. В комнату вошёл небольшого роста священник в серой поношенной рясе.

С первого взгляда ничего особенного нельзя было найти в лице священника. Это было самое обыкновенное, типичное русское лицо со следами ещё не сошедшего летнего загара, с чертами неправильными, некрасивыми. Но вот он поднял глаза — и впечатление сразу изменилось. В этих ясных голубых глазах было столько света и блеска, что, казалось, они всё вокруг себя озаряют. При виде этих глаз

совсем забывался, как-то исчезал весь человек... И странное дело, глаза священника поражали своим сходством с глазами Захарьева-Овинова: в них была такая же сила, такая же власть; от их взгляда точно так же могло стать жутко. Но была между ними и громадная разница: глаза великого розенкрейцера в конце концов подавляли, принижали; глаза священника, если долго смотреть на них, умиротворяли, утешали...

Когда священник вошёл в комнату, все лицо его дышало весельем и радостью; веселье и радость сказывались во всех его живых, несколько порывистых движениях. Он прежде всего взглянул на образ, висевший в углу, и широко перекрестился, а потом перевёл взгляд свой на Захарьева-Овинова.

— Князь и брат мой, здравствуй! — громким, твёрдым и радостным голосом сказал священник, простирая вперёд обе руки.

Теплом и светом обдало Захарьева-Овинова.

— Николай! — так же громко и почти так же радостно воскликнул он. Они крепко обнялись и троекратно поцеловались.

«Так вот кто шёл ко мне! Так это он!.. Не враг, а друг... с помощью... Но чем же он может помочь мне... и отчего я о нём не думал?» — мелькало в мыслях Захарьева-Овинова.

XI

Князь и священник уселись рядом и несколько времени молча и пристально глядели друг на друга. Они расстались детьми и теперь встретились в том возрасте, когда главнейший вопрос жизни уже должен быть решён для человека, когда важнейшие задачи должны быть исполнены, цель почти достигнута...

Что общего могло быть между ними — этим только что признанным носителем старого русского имени, достигшим исключительной высоты сил и знаний, этим человеком, могущим владеть людьми и управлять ими по своему желанию, и бедным, скромным сельским священником?..

Отец Николай окончил в Киеве своё духовное образование — и при этом ничем не выделился. Он отказался от прихода в городе и

уехал в свою глухую родную деревню. Он женился на совсем необразованной, некрасивой девушке, дьяконской дочке и почти безвыездно жил в бедном домике, исполняя свои пастырские обязанности, в телеге разъезжая со святыми дарами по деревенским избам. Его руки, бравшиеся нередко и за соху, были в мозолях; на нём неизбежно отражался весь строй бедной и тёмной жизни, его постоянно окружавшей.

Одно только его отличало от людей его среды: полное отсутствие приниженности, забитости, робости. Это особенно замечалось здесь, в княжеском доме, среди необычной ему обстановки. Положим, его могло ободрять исключительное его положение в доме; но дело в том, что старый князь Захарьев-Овинов никогда не помнил о кровном родстве отца Николая с той женщиной, которую он любил когда-то, и сельский священник в первый раз в жизни был в Петербурге и в княжеском доме.

Да, разница между двумя сошедшимися теперь людьми была велика. Долгие годы, кинув их в неизмеримо далёкие друг от друга

сферы деятельности, должны были уничтожить последние признаки их прежней связи... А между тем оба они теперь чувствовали, что эта связь крепка, что они братья... Особенно Захарьев-Овинов чувствовал это и спрашивал себя: как это мог он не знать Николая, забыть о нём и не вспоминать даже здесь, не вспоминать до тех пор, пока Николай сам не пришёл к нему?

— Когда ты приехал? По каким делам? Надолго ли? — машинально проговорил он, поглощённый своими мыслями.

Священник улыбнулся ясной, почти блаженной улыбкой.

— Сейчас приехал, — просто и весело ответил он, — надолго ли — не знаю... Своих дел нет, приехал потому, что князь очень болен... и ты здесь...

— Отец давно болен, и я давно здесь, — опять-таки машинально сказал Захарьев-Овинов.

— Да, я знаю... Но вот теперь стало нужно... и я приехал. Теперь я вам обоим нужен...

И опять-таки отец Николай произнёс всё это с прежней простотою, прежней улыбкой.

Но улыбка быстро исчезла с лица его, в голубых лучистых глазах как бы даже блеснули слёзы.

Он встал и положил руку на плечо Захарьева-Овинова.

— Юрий, — проговорил он печально, — ты очень несчастлив... Недоброе ты сотворить можешь... Но Господь того не попустит по своему великому милосердию... Господь тебя помилует и спасёт, и сохранит...

Великий розенкрейцер поднял голову и остановил свой изумлённый, но полный всегдашней силы взгляд на лице священника.

«Что же это за человек, если приход его возвещён как величайшее событие? Кто он, чтобы говорить так, как он говорит?..»

И нет ответа на эти вопросы. Новая загадка перед победителем природы. Но ведь он умеет проникать в чужие мысли; ему ясна и сущность всякого находящегося перед ним человека! Или он внезапно лишился всех своих знаний и способностей?..

Нет, его знания, его способности всё те же — они его собственность, и он не сделал ничего такого, чтобы их лишиться. Мысли и

чувства отца Николая ему ясны, и в них он читает то же самое, что сейчас услышал: «Ты очень несчастлив... недоброе сотворить можешь... Но Господь тебя помилует и спасёт, и сохранит...» Ничего иного, ничего затаённого... и вместе с этим — он видит и чувствует — перед ним большая, могучая сила.

— Николай, ты ошибаешься... Я не могу быть несчастливым, — проговорил Захарьев-Овинов.

Священник покачал головою.

— Ты так несчастлив, что даже и не постигаешь своего несчастья... Так несчастлив, что даже и не видишь, что такое счастье и в чём оно!

— Кто же тебе сказал это? Откуда ты знаешь меня? — и невольная усмешка пробежала по губам Захарьева-Овинова и сверкнула в глазах его.

Но священник её не видел, он просто и прямо ответил:

— Конечно, мне трудно знать тебя, князь, ведь чужая душа — потёмки... Я говорю тебе лишь то, что вижу, чувствую... Я знаю, что говорю правду и не могу сказать иного... Но по-

годи; коли дозволишь, мы сюда вернёмся и побеседуем, теперь же пойдём к болящему, ему, видно, тяжко... Пойдём молить Бога о его здравии и успокоении...

При этих словах лицо священника стало очень серьёзным и сосредоточенным. Он поднял глаза на образ, перекрестился; его губы шептали: «Боже мой, помози нам, многогрешившим рабам Твоим» — и он решительно и быстро направился к двери.

Захарьев-Овинов последовал за ним. Он видел, как отец Николай поднялся по лестнице и затем устремился спешной, неровной походкой прямо по направлению к спальне князя, будто расположение комнат ему отлично известно и он никак не может ошибиться.

XII

Он и не ошибся. Он остановился у запертой двери в княжескую спальню и дождался подходившего Захарьева-Овинова.

— Упреди болящего твоего родителя... я обожду, — сказал он.

Захарьев-Овинов вошёл к отцу. Старый слуга так и кинулся к нему навстречу.

— Батюшка, ваше сиятельство, извольте взглянуть... князь-то как вне себя, — шептал он, — все был тих, а вот теперь тяжело так стонет, приподняться все хочет... и все на дверь... все на дверь!.. шепчет... прислушайтесь вот... понять трудно, а раза два как будто вышло: «Впусти,пусти!..»

Но князь уже заметил сына и по всем его усилиям было видно, что он действительно стремится по направлению к двери. Его губы бессильно разжимались, и в их несвязном неопределённом шёпоте чуткий слух Захарьева-Овинова разобрал:

— Юрий... скорее... там... тепло... свет... отвори...

Дверь тихо отворилась, и в спальню вошёл отец Николай.

Он прямо подошёл к кровати и остановил на больном ласковый, почти нежный взор.

Старый князь мгновенно затих, глаза его закрылись, лицо стало спокойным, таким спокойным, каким не было уже давно, — давно с самого приезда сына.

Между тем отец Николай быстро оглянул комнату, увидел киот с горевшей перед ним

лампадой, поспешно подошёл к нему и упал на колени. Он стал молиться. С изумлением глядели на эту молитву и Захарьев-Овинов, и старый слуга. Но священник уже забыл где он, кто с ним. Он знал только то, чего просит у Бога — и просил всем существом своим, всей своей верой, волей, душой.

Наружным образом его молитва выражалась в странных, порывистых телодвижениях. Сначала он будто отгонял от себя что-то, будто что-то отрывал от себя, сбрасывал. И это продолжалось немало времени, пока он не почувствовал себя очищенным, освобождённым от всего, что его стесняло, давило, что наплывало на него со всех сторон, мешая ему всецело отдаться одной мольбе, единому страстному желанию, превратиться в один порыв...

Но вот его усилия увенчались успехом: все земное, тёмное, жестокое его оставило; все злые силы, навевавшие ненужные, мешающие, а порою и дурные мысли, отступили от него побеждённые и уже не могли поднять голоса, онемели. Тогда он прямо и смело ринулся вперёд, в высь, к чему-то бесконечно

светлому, что он почти видел над собою, что он чувствовал всем существом своим. И он знал, что там, среди этого света и тепла, изливавшегося на него и проникавшего в него блаженным трепетом, источник жизни, источник всех благ...

И он молил подать ему, по божественному обещанию, силу, исцеляющую немощи и бесов изгоняющую... «Через слабость мою прояви Твою силу!..» — шептали его губы...

Но он ещё не чувствовал в себе наития силы. Его мольба, его вера всё ещё оставались бесплодными; он был по-прежнему слабым человеком... Он, однако, не падал духом; его вера не слабела, напротив, она крепла с каждым мгновением. В нём звучал ясный голос: «Просите — и дастся вам... толцые — и отверзется!»

И он просил с могучею силой любви к ближнему, он стучал все громче и громче в заветную, обетованную дверь, он взывал, почти требовал обещанного и должного, зная, что Тот, Кто обещал, не может его не услышать, не может не отворить ему двери. Он весь преобразился, черты его осветились, гла-

за таинственно блистали, трепет пробежал по его телу, капли холодного пота струились по лбу его...

Наконец свершилось. Мольба его была услышана, обетованная дверь отверзлась. Он почувствовал, как влилась в него светлая, могучая сила. Ему уже давно было знакомо это ощущение, давно уж он знал, что сила эта — не призрак, не бред, не мечта воображения...

Он поднялся с колен и направился к кровати. Теперь в нём уже не было волнения, ни странных движений, ни трепета. Он спокойно подошёл к неподвижно лежавшему больному и положил ему свою руку на голову.

— Князь, встань и помолимся вместе! — тихо сказал он.

В этих тихих словах не чувствовалось требования, но они были так сказаны, что, очевидно, их нельзя было слушаться.

— Я не могу шевельнуться! — явственно произнёс больной.

Тогда отец Николай ещё раз возложил на него руку и ещё раз повторил: «Встань, и помолимся вместе»!

И старый князь встал с кровати и опустил-

ся на колени рядом со священником, начавшим громко читать молитву. Слуга повергся ниц и рыдал. Захарьев-Овинов стоял бледный, неподвижный, едва веря глазам своим...

Когда молитва была окончена, отец Николай благословил больного, глядевшего на него с умилением, а затем помог ему лечь в кровать.

— Для Бога всё возможно! — спокойно и с глубоким убеждением сказал он. — Только веруйте, только молитесь... Просите — и дастся вам, толцые — и отверзется... И жизнь, и смерть — всё в деснице Господней; но Господь не может желать смерти грешника, смерти непросвещённого... Он избавит вас от лютых мучений, он продлит дни ваши, исполнит мольбу вашего духа, насытит вас — ибо жаждете — и затем пошлёт вам безболезненную и мирную кончину... Только молитесь... только уповайте!..

Все лицо старого князя было залито слезами. Он не мог оторвать взгляда от священника. Потом он вдруг приподнялся с подушек и произнёс:

— Отче, хочу исповедаться перед тобою в

грехах моих.

Отец Николай молча взглянул на Захарьева-Овинова — и тот послушно вышел из спальни. Вслед за ним, дрожа и обливаясь радостными слезами, тихо вышел слуга и запер за собою дверь...

XIII

«Светлейший опять не в духе, опять заскучал... в невидимку превратился!» — на разные лады сообщалось в высших придворных сферах. Видимой и хоть сколько-нибудь понятной причины недовольства светлейшего никакой не было, а потому эту причину, по обыкновению, выдумывали. Самые противоречащие и ни с чем не сообразные рассказы ходили по городу и, выслушав их все, можно было только развести руками и постараться скорее забыть весь этот вздор, от которого голова туманилась и одурь нападала.

Правдой было лишь то, что уже третью неделю Потёмкин никуда не ездил и все дни и вечера проводил в своих палатах, никого к себе не впуская. Он действительно был очень не в духе — только на этот раз не тосковал, не

скупал. Он весь отдался своему новому капризу, Лоренце, и этот каприз возрастал с каждой минутой.

Калиостро работал, создавая золото, в одной из княжеских комнат, превращённых в великолепную лабораторию. Он работал ежедневно, а иногда и по несколько раз на день приезжал взглянуть, как идёт работа и все ли в порядке.

Потёмкин сначала глубоко заинтересовался алхимической работой, подолгу оставался в лаборатории, следя за действиями Калиостро, расспрашивая его о сущности «великого делания», восхищаясь его всегда неожиданными, умными и даже глубокими выводами и объяснениями. Но скоро и лаборатория, и беседы с Калиостро потеряли всю свою прелесть. Светлейший предпочитал не мешать алхимику в его работе и ожидать результатов этой работы за несколько комнат от лаборатории, в совсем иной обстановке.

Здесь среди всех прихотей и причуд баснословной роскоши рядом с ним почти всегда была прелестная Лоренца. Всякий раз свидание начиналось с надежды и кончалось пора-

жением — Лоренца ускользала как змея, улетала как бабочка, оставляя светлейшего в негодовании, в бешенстве. По её исчезновении он предавался необузданным порывам и приходил в себя только от звона какой-нибудь драгоценной, редкой вазы, вдребезги им разбитой с досады...

Но он негодовал вовсе не на Лоренцу и не на Калиостро. Он хорошо знал, что и Калиостро, и Лоренца в его руках, что стоит ему захотеть — и Лоренца будет принадлежать ему по праву силы, могущества. Да и, наконец, сама соблазнительная итальянка во время одного из их свиданий, когда он выразил ей свои чувства, очень ясно дала ему понять, что она перед ним бессильна, что она в его руках, понимает это, а потому не может и не станет защищаться. Она свободна только в своём чувстве, свободна полюбить его или возненавидеть. Она способна и на то, и на другое — все от него зависит...

И вот, его каприз состоял в том, чтобы заставить её полюбить и чтобы он узнал, почувствовал это. До сих пор ему не было никакого дела — любят ли его или нет те женщины, ко-

торых он удостаивал своим вниманием. Каприз являлся, прихоть исполнялась — вот и всё.

Теперь же от Лоренцы он жаждал невынужденных, свободных, искренних признаний. Не его могущество, не эта царственная роскошь должны были соблазнить её — её должен был соблазнить он сам как человек, как мужчина.

Этот каприз, всецело наполнявшее его страстное желание вызвать любовь в сердце хорошенькой чужестранки — это было в нём не что иное, как последний вызов беспощадно и быстро промелькнувшим годам, показавшейся седине, углублявшимся морщинам. Никогда ещё до последнего времени он не думал о своих годах, о своей наружности, о производимом им впечатлении. Но недавно на одном из придворных балов он нечаянно услышал такой разговор двух красивых женщин.

— А! Вот и светлейший! — говорила одна из них, когда он проходил мимо, горделиво подняв голову и ни на кого не глядя. — Бог мой, как он изменился! Правда, я не видела

его четыре года... но чтобы так постареть!.. А был когда-то так прекрасен, что и вправду обворожить мог...

— Зато прежде он был Григорием Александровичем, а ныне — светлейший! — не без насмешки в голосе ответила другая дама.

— А всё-таки ни светлость, ни вся его власть не вернут ему красоты и молодости, не дадут ему сердца женщины...

Он прошёл мимо — и ничто не дрогнуло в лице его. Очень ему нужны красота и молодость... да и к тому же он владеет единственным сердцем, которым действительно дорожит... Он тотчас же и позабыл этот подслушанный разговор, как позабыл и всё, что вокруг него говорилось в тот вечер и что его ничуть не занимало.

Но через дня два-три разговор двух дам ему вспомнился от слова до слова — и не отставал от него, то и дело повторялся в его памяти, как иногда вспоминается неведомо зачем откуда-то взявшийся напев или стих, бессмысленно навязывающийся, преследующий, не дающий покоя.

Кончилось тем, что этот разговор заставил

его задуматься — он невольно, бессознательно был им обижен. Видно, молодость и для всесильного великана драгоценнейшее благо! Ему безумно захотелось доказать себе, что он могуч всячески, что он ничего не потерял — и только приобретает, что эти две насмешницы ошиблись. Не золотом, не властью, а своей привлекательностью покорит он сердце самой хорошенькой, самой соблазнительной женщины, какую только встречал в жизни...

И теперь, даже не замечая этого, светлейший уже не валялся по утрам нечёсанным и неумытым, в халате и туфлях на босу ногу. Лоренца заставляла его всегда во всём блеске драгоценного наряда, напудренным и надутым, заставляла таким, каким уже давно никто не видал его. Теперь он знал каждую морщину, каждую шероховатость кожи на своём львином, мясистом лице. И он в присутствии Лоренцы просто мучился за эти морщины, за эти шероховатости, которых она во все и не замечала.

О, эта Лоренца! Какими глазами она него смотрела! В них иной раз читался восторг, вызывающая нежность; они ласкали его, томили, манили. Вот, вот, ещё мгновение — и он поймёт, что она его любит. Но внезапно опускаются длинные чёрные ресницы...

— Лоренца, о чём вы задумались? Что вспомнили? Расскажите!..

Она поднимает глаза — и в них ничего прежнего. Она смотрит холодно, рассеянно, устало — и ничего не может он прочесть в её взгляде...

В одну из таких минут он настоял на том, чтобы она заговорила о своём прошлом.

— Как вы встретились с вашим графом? Что это было: любовь, идиллия, драма или что-либо иное? — спросил он.

Она улыбнулась (что было в этой улыбке!) и рассказала своим звонким, почти детским голосом, закрадывавшимся прямо в сердце, ласкавшим и возбуждавшим нервы:

— Я уже вам говорила, синьор принчипе, что я римлянка. До шестнадцати лет я не выезжала из родного города... Вот, мне было тогда пятнадцать лет и два месяца... Один раз

вечером — у нас не такие вечера, как в вашем холодном, тёмном Петербурге, — так вот, вечером я сошла с крыльца нашего дома и остановилась на несколько минут подышать прохладой...

Город утихал, прохожих было мало. Я глядела вверх, на небо, по которому плыли такие лёгкие, прозрачные, розоватые облака... Эти облака превращались в разные фигуры, в людей, зверей, птиц, в здания, в целые картины... И я следила за их превращениями... Вдруг мне стало как-то странно, страшно... сердце сжалось... во всём теле я почувствовала трепет и слабость...

Я опустила глаза и встретила с двумя чёрными, блестящими глазами, и поняла, что эти глаза на меня давно смотрели и что от них мой трепет, моё волнение... Это был он... граф. Спросите его, как он сделал, — но только через час я уже видела его в нашей столовой вместе с отцом моим, он уже был гостем у нас в доме... Через два дня он просил моей руки у моих родителей... Они согласились: он был знатен, богат, его с радостью принимали все знатнейшие люди в Риме...

— А вы, Лоренца? Значит, он одним взглядом своих чёрных глаз так сразу и завладел вашим сердцем? — с не совсем искренней улыбкой спросил Потёмкин.

— Мой Бог, синьор принчипе! Как будто трудно завладеть сердцем пятнадцатилетней девочки, особенно с помощью таких глаз!

— И вы никогда не раскаялись, прелестная Лоренца, что так рано вышли замуж, никогда не взглянули с любовью ни на кого, кроме своего мужа?

— Синьор принчипе, это исповедь?

— Нет, это праздный вопрос, на который искренно, быть может, не отвечала ни одна хорошенькая женщина...

Но отчего же она задумалась? Отчего тень печали промелькнула по лицу её?

— Он необыкновенный человек, мой муж! — после некоторого молчания произнесла она. — Он выше других людей, он обладает необычайными знаниями и силами... Зачем же мне было раскаиваться в моём замужестве... я только могу благодарить судьбу мою...

— Да, ведь и то! Вы верите всему, что он

рассказывает, — с насмешливой, почти злой улыбкой сказал Потёмкин, — верите так же, как и мы все верим...

— Да, конечно, а то как же может быть иначе? — сверкнув глазами, быстро ответила она. — Разве можно не верить ему... Если вы видели удивительные и ужасные вещи, то подумайте только, чего я должна была навидаться!..

Её голос оборвался, и Потёмкин ясно увидел, как дрожь пробежала по всему её телу. В глазах её мелькнул ужас...

Светлейший сдвинул брови.

— Если б вы и хотели полюбить кого-нибудь — так он не позволит, не так ли? — почти крикнул он. — Если б и полюбили уж — так он своей тайной силой, своими чарами вырвет любовь из вашего сердца! Так, что ли?

Он сам не знал — шутит он или говорит серьёзно. А Лоренца — между тем побледнела и дрожала, пугливо озираясь.

— Быть может, и так, — прошептали её губы.

— Так вы его боитесь, прелестная моя Лоренца, прошу вас, скажите мне правду, ска-

жите... вы его боитесь?!

Теперь он очень серьёзно спрашивал. Его сердце закипало. Лоренца ничего не ответила, она молчала и трепетно опустила голову, — в этом движении был её ответ, который она не смела доверить слову.

— Боитесь его и здесь, у меня? Не смеете полюбить меня, потому что его боитесь?

Дверь отворилась — и вошёл Калиостро. Потёмкин хотел встать и выгнать его, как собаку. А между тем он не сделал этого. Он остался будто прикованным к месту и только вопросительно глядел на преемника древних египетских иерофантов.

Калиостро молча положил на стол возле князя какой-то блестящий металлический слиток.

— Что это? Неужели золото? — с невольным изумлением и волнением воскликнул Потёмкин. Но Калиостро сразу охладил его.

— Синьор принчипе, — сказал он. — Я уже объяснил вашей светлости, что такого быстрого результата ожидать невозможно. Все происходит в природе по неизменным вечным законам. Все проходит постепенно вели-

кую лестницу видоизменений, от низшего к высшему... Это ещё не золото; но это уже интересный продукт сил, доказывающий, что моя работа производится правильно и что в её окончательном результате нельзя сомневаться. Это прекрасный металл, почти неизвестный, не имеющий ещё названия — это среднее, так сказать, между серебром и золотом, выше серебра и ниже золота... С этой минуты я могу получать такого металла сколько вам угодно...

— Что же я буду делать с этим вашим прекрасным металлом, господин алхимик? — не без досады спросил Потёмкин, с интересом, однако, разглядывая сверкавший, похожий на золото, слиток. Калиостро улыбнулся тонкой усмешкой и в то же время обжёг всё ещё бледную и трепетавшую Лоренцу своим пронизательным взглядом.

— Что будете делать? — сказал он. — А вот хоть бы и это: из моего металла выйдут превосходные пуговицы для мундиров русской армии. Они обойдутся дешевле медных, с виду пуговицы будут несравненно красивее — они прочнее, не чернеют, не требуют чист-

ки... И таких чудных пуговиц нет и не было ни у одной из армий...

— А ведь это, пожалуй, и мысль! — смеясь воскликнул Потёмкин.

Он взял в руки слиток и пробовал весь его. Мысль Калиостро ему понравилась.

XV

Потёмкину очень бы хотелось задержать Лоренцу. Ему хотелось бы снова остаться с нею вдвоём и продолжать начатый разговор. Ведь разговор этот становился интересным и мог окончиться чем-нибудь решительным. Алхимик может вернуться в лабораторию и продолжать своё «великое делание».

«В лабораторию, за работу!» — стоит только сказать это — и алхимик не посмеет послушаться, стоит сказать: «Прекрасная Лоренца, останьтесь со мною и будем продолжать нашу беседу!» — и она останется...

А между тем светлейший не сказал ни того, ни другого, и когда Калиостро объявил, что ему пора домой, что у него и у жены есть дело, что их ждут, светлейший с недовольным видом проводил их до двери, а сам вер-

нулся к столику, на котором лежал слиток. Он рассеянно взял этот слиток в руки, рассеянно глядел на него, а потом бросил на ковёр и отшвырнул его ногою.

Несколько минут измерял Потёмкин комнату своими тяжёлыми шагами, потом сбросил с себя тяжёлый, зашитый золотом кафтан и, по обычаю, грузно упал на шёлковые подушки турецкого дивана. Лицо его было мрачно, красные пятна, пятна гнева, выступили у него на лбу и на щеках. Теперь не дай Бог было попасться ему под руку, но никто и не мог попасться — с утра, по приказу светлейшего никого не принимали, вокруг всё было тихо и пусто...

Он ли это — избалованный судьбою властелин, перед которым все должны склоняться, чья воля давно уже для всех закон? Каким образом не может он, не смеет исполнить самое исполнимое из всех желаний? Каким образом, так хорошо умеющий узнавать людей и презирать их, он поддался тёмному иностранцу, сделался игрушкой в руках хорошенькой женщины?

Конечно, если бы он сам сознательно за-

дал себе эти вопросы, то все могло бы очень быстро измениться. Но дело именно в том, что он подчинился общей судьбе человеческой, не мог задать себе подобных вопросов, не понимал, не видел своего положения и никто, конечно, не мог бы, не посмел всё это объяснить ему...

Да и наконец, тёмный иностранец — сделает ли он чистое золото, или остановится на этом блестящем слитке, валявшемся теперь на ковре, всё же человек он не совсем обыкновенный. Ему не удалось сразу очаровать императрицу, но ведь мало ли что не удаётся сразу. Будь у него не одна, а несколько встреч с Екатериной, быть может, и эта мудрая, хладнокровная женщина поддалась бы его обаянию. С Потёмкиным он видется ежедневно, ежедневно на него действует — и достигает своей цели...

Он вовсе не рассчитывал сегодня так быстро вынести Потёмкину свой слиток. Он спокойно сидел в лаборатории, задумчиво и мечтательно глядя на пламя, пылавшее в маленькой жаровне, и вдруг почувствовал что-то вроде тревоги. Давно уже знакомо ему было

это ощущение. Он вздрогнул, насторожился, схватил ещё со вчерашнего дня готовый слиток и поспешил туда, где его жена беседовала с Потёмкиным.

У двери его тонкий слух расслышал последние слова Лоренцы, последние слова светлейшего. Он поспел как раз вовремя: знакомое нервное ощущение предупредило его не даром.

Его острый взгляд, взгляд властелина, приказал Лоренце встать и объявить, что ей пора, что она должна непременно удалиться вместе с мужем. И она исполнила это.

Ему хорошо было известно, что Потёмкин готов его выпроводить и остаться с нею, но мысленно он приказал ему молчать. Он, неведомо кто, приказал молчать великому Потёмкину — и Потёмкин послушался, проводил их до двери и остался со своим бессильным гневом...

Карета быстро мчала Калиостро и Лоренцу по направлению к дому графа Сомонова, где они по-прежнему жили. Несколько минут они оба молчали. Лоренца совсем как-то притихла в уголке кареты и боялась взглянуть на

своего спутника.

Она хорошо понимала и чувствовала, что он недоволен ею, что он слышал конец её разговора со светлейшим. Он всегда все слышит, все знает...

В чём же её вина? Ведь она не сказала ничего особенного, а между тем она чувствовала, что он винит её и что она действительно виновата. Она ничего не сказала Потёмкину, но ведь она знала, что именно думала, что чувствовала во время этого разговора. Она готова была возмутиться против своего повелителя. Это возмущение, тоска, страх — давно знакомое, не раз повторявшееся состояние — наполняли её в ту минуту, как он вошёл со слитком в руках...

Теперь, теперь возмущение все продолжалось, но оно смешивалось уже с чисто паническим страхом и с сознанием своей виновности. Что же будет?

— Лоренца! — спокойно и повелительно позвал он.

Но она не может взглянуть на него. Она ни за что не взглянет.

— Лоренца!

Его рука прикоснулась к её лбу. Будто молния ослепила её и всю пронизала. Её глаза потеряли всякое выражение, зрачки расширились.

— Слушай меня, — сказал он.

— Я слышу, — невнятно шевельнулись её губы.

— Если бы я не вошёл и не прервал вашего разговора, что бы ты сделала?

— Я рассказала бы ему всю правду.

— Какую же правду ты бы ему рассказала, что именно?

— Я сказала бы ему, что мы не совсем то, за что выдаём себя. Он считает меня прирождённой патрицианкой... И вот я стала бы говорить ему: я дочь римского бронзироващика, по имени Фелициани. Мы жили хоть и в изысканности, но в полной простоте, как и все ремесленники. Я была совсем ребёнком, любила и боялась Бога, молилась Ему усердно, любила моих родителей, да и всех любила. Ничего дурного я не знала и ни о чём дурном и злом не думала. Мои удовольствия были незатейливы и невинны. Я чувствовала себя очень счастливой. Меня все ласкали; все, и свои и

посторонние, говорили мне словами и взорами, что я красива, что я все хорошою. Это делало меня ещё более счастливой...

Но вот явился неведомый человек, взглянул на меня — и этим взором будто влил в меня отраву. Один миг — и во мне не осталось ничего прежнего: меня наполняли муки, ужас, блаженство; туман закутал меня, и в этом тумане я ничего не видела, не понимала. Я знала только, что я во власти этого человека, что я его раба... И он взял меня. Кто он — я не знала; но вся жизнь его была загадкой и обманом. Его богатство, которым он прельстил моих родителей, быстро таяло... Он сам мне в этом признался; но стал внушать мне, что стоит только нам захотеть — и мы всегда будем богаты... Я должна любить его одного, но быть любезной и ласковой с теми мужчинами, которые могут нам принести пользу. Он учил меня кокетству, самому бесовестному.

При одной мысли об этом я сторала со стыда... Я была чистым, незапятнанным ребёнком, а он открыл мне все ужасы людской испорченности, всю грязь и весь жалкий раз-

врат, в котором купаются люди... О, он презирал людей! Как он умел их презирать и какие огненные, уничтожающие речи лились с уст его! Он был мой демон-искуситель — и я его боялась. Я не могла, не хотела слушаться его ужасных советов и пользоваться моей красотой, обманывать ею глупых людей, таявших от моего взгляда... Я все сказала моему отцу и моей матери... Они пришли в ужас, было решено, что я останусь с ними, а его мой отец после ужасного объяснения выгнал из дому...

Презрительная и гордая усмешка скользнула по лицу Калиостро.

— Да, Лоренца, — сказал он, — это была первая вина твоя передо мною. Ты, глупый ребёнок, не поняла меня. Я вовсе не развращал тебя, я показал тебе людей такими, каковы они в действительности. Я не могу не презирать их и ни к кому не могу ревновать тебя. Я выше предрассудков, лицемерно выдуманых этими низкими, глупыми людьми! Если нам нужно золото и для того, чтобы получить его, тебе стоит только улыбнуться какому-нибудь глупцу и позволить ему поцеловать твою руку — улыбнись ему, выслушай его

страстный вздор, в основе которого всегда заключается низость и животная грубость, протяни ему руку... Потом ты вымоешь руку — и от всего этого ничего не останется, кроме нужного нам золота. Больше же я никогда от тебя ничего не требовал и не допустил бы, потому что я люблю тебя... А твой отец, со слов твоих, обвинял меня в том, что я желаю торговать тобою...

— Бог мой! Да разве это не всё равно? — воскликнула Лоренца.

— Это не всё равно! — решительно и твёрдо сказал Калиостро. Она продолжала:

— Он покинул дом моего отца, где мы жили со времени нашей свадьбы, но я не осталась; в тот же вечер, не знаю как, против своей воли, я ушла. Шла я сама не знаю куда — и пришла к нему, хоть и не имела понятия, где он находился. Я отказалась от родителей, не видалась с ними. В нашем новом жилище всегда было много народу, по преимуществу мужчины. И я всем расточала свои улыбки, благосклонно выслушивала нежные и страстные признания... Особенно мною увлечён был маркиз д'Аглиата. Он уговорил нас

уехать с ним в Венецию. Но мы не успели оглядеться в этом городе, как нас посадили в тюрьму.

— За что? — спросил Калиостро.

— Я не знаю...

— И я тоже не знаю, ибо не совершил никакого преступления и проступка...

— Мы были скоро выпущены, — опять заговорила Лоренца, — но маркиз д'Аглиата исчез и похитил шкатулку со всеми нашими драгоценностями и деньгами. Мы остались нищими и пошли пешком на богомолье к Сант-Ягоди-Компостелло. Это было долгое, утомительное путешествие, во время которого мы испытали много нужды и всяких бедствий. Сколько раз мы голодали!.. Уставшая, изнемождённая, полная отчаяния, я просила у Бога смерти. Я не была приготовлена к такому испытанию, к такому образу жизни...

— Несчастливая, но ведь и твой муж не наслаждался! — воскликнул Калиостро. — Ведь и он привык путешествовать в блестящем экипаже, с карманами, полными золота. А видела ли ты когда-нибудь его отчаяние, падал ли он духом?

— Нет, — проговорила Лоренца.

XVI

Эта беседа в быстро мчавшейся карете становилась всё более странной. Если бы кушер, сидевший на козлах, мог слышать и понимать своих седоков, если бы он уразумел, что такое перед ним происходит, то, наверно, выронил бы вожжи и постарался бы убежать куда-нибудь подальше от этой чертовщины.

Разговор вёлся как бы спокойно и обстоятельно. На вопросы Калиостро его жена отвечала, очевидно, слыша и понимая эти вопросы. А между тем она была погружена в глубокий и странный сон. Она не знала, что находится в карете, что рядом с нею муж и что это он говорит ей, её спрашивает. Ей было приказано выразить всё, что она могла, что хотела бы рассказать Потёмкину — и она исполняла это приказание. Она перенеслась в своё прошлое, видела его ясно перед глазами, снова жила в нём и правдиво передавала то, что было перед нею. А между тем её глаза оставались неподвижными, как у мёртвой, недоступными никаким внешним впечатлениям;

вся она застыла, ни один мускул её тела не двигался, даже губы, произнося слова, с трудом шевелились. Голос её был странный, глухой, совсем не её обыкновенный голос.

— Нет, — повторила она, — мой муж не падал духом, он был спокоен, даже весел, и когда я приходила в отчаяние, когда я объявила, что не могу выносить больше этого путешествия, что теряю последние силы, он каждый раз умел на меня действовать... и мои силы возвращались, отчаяние проходило, я забывала все и бодро шла вперёд. Наконец мы достигли Испании и пришли в Барселону. Мой муж сказал мне, что мы здесь останемся довольно долгое время...

Однако нужно было жить, нужно было иметь пристанище и питаться. Тогда мой муж приказал мне идти исповедаться в церковь, находившуюся вблизи от гостиницы, где мы остановились. Он научил меня всему, что я должна говорить, как должна поступать, и я послушно исполнила его приказание. Я сказала исповеднику, что мы оба, я и муж, принадлежим к знаменитым римским фамилиям, что мы тайно обвенчались, скры-

лись из города, добрались сюда, истратились в дороге и теперь нуждаемся в деньгах, так как сумма, которую наши друзья нам высылают, придёт ещё через несколько времени...

Монах мне поверил и дал мне деньги. На следующий день он пришёл к нам, принёс всякой провизии и, говоря с нами, не иначе называл нас как «экчеленца»...

Так продолжалось немало времени. Но всякой доверчивости бывает конец, и наш почтенный покровитель пожелал видеть наше брачное свидетельство. А между тем мы его не взяли с собою, оно осталось в Риме. Тогда, по приказу мужа, я отправилась к одному из первых богачей в городе, занимавшему важную должность, название которой я теперь забыла. Я понравилась этому человеку — более того, он сразу в меня влюбился...

Он взялся выхлопотать из Рима наше брачное свидетельство и снабдить нас значительной суммой денег. Мы могли расплатиться со всеми нашими долгами, и у нас ещё осталось достаточно. Мы поспешили в Мадрид, оттуда в Лиссабон, а затем отправились в Лондон...

После трёх недель жизни в этом городе наши денежные средства истощились, и мне опять пришлось добывать деньги. Между нашими новыми знакомыми было двое: один богатый и уже пожилой человек, принадлежавший к секте квакеров, и молодой человек, называвший себя маркизом Вирона. Квакер, несмотря на все строгости секты, к которой он принадлежал, пленился мною и дошёл до нежных признаний...

Как-то мы были вдвоём, мужа не было дома. Я смеялась, шутила, стыдила почтенного квакера, но он не унимался. Он бросился передо мною на колени, ловил и целовал мои руки, уверял, что не может без меня жить. Наконец, он силою меня обнял. Тогда я пришла в негодование и закричала. Дверь отворилась, и в комнату вбежали мой муж и маркиз Вирона. Они схватили квакера и скрутили ему руки...

Я поспешила в свою комнату и не знаю, что было дальше, знаю только, что квакера, наконец, выпустили и что у мужа оказалось много денег...

Однако деньги у нас выходили скоро, и не

прошло и двух месяцев, как моего мужа посадили в тюрьму за неплатёж квартирному хозяину. Но я обратилась за помощью к одному нашему знакомому англичанину. Я горячо плакала, объясняла безвыходное положение моего мужа. Этот англичанин дал мне нужную сумму. Мужа выпустили из тюрьмы, и на следующий же день мы уехали в Париж...

В путешествии мы встретились с французом, по имени Дюплеzir. Через полчаса знакомства с ним я уже поняла, что он в меня безумно влюбился, хотя и не делала ровно ничего такого, что могло бы ему подать надежду на взаимность. Этот Дюплеzir не разлучался с нами. Мы жили на его счёт, и он считал себя счастливым доставлять мне возможность пользоваться роскошью и всеми удовольствиями...

У моего мужа оказались какие-то мне неизвестные дела в Париже. Он часто уходил из дому, иногда не возвращался целый день, и я оставалась одна, то есть не одна, а все с тем же Дюплеzиром...

Но оказалось, что этот француз вовсе не богат, он истратил на нас слишком много и

продолжать так не имел возможности. Постоянно беседуя со мною, он начал вооружать меня против мужа, доказывать мне, что это человек дурной и безнравственный и что если я хочу остаться честной женщиной, то должна немедленно его покинуть и вернуться в Рим к родителям...

Мой муж в это время был очень занят, обращал на меня очень мало внимания. Я слушала Дюплезира и кончила тем, что прониклась его взглядами и решилась последовать его советам. Он помог мне убежать из дома и скрыться...

Но по жалобе мужа, обратившегося к королевскому правосудию, меня отыскали и заключили в Сент-Пелажи, где я находилась несколько месяцев. Наконец мой муж явился в место моего заключения. Я была очень рада его видеть. Я просила у него прощения...

Калиостро усмехнулся.

— Искренно ли ты просила у него прощения, поняла ли ты свою вину? — спросил он.

— Да, поняла, муж явился — и я была в его власти. Он сказал мне, что я виновата — и я узнала, что я действительно виновата, и была

рада и счастлива, когда он простил меня и увёл с собою. Снова начались наши путешествия. Из Парижа мы отправились в Брюссель, потом в Германию, в Италию и, наконец, в Палермо. Но из Палермо мы должны были бежать, так как муж мой подвергся какой-то опасности, о которой не хотел мне сказать... Мы очутились в Неаполе, и тут я в первый раз поняла, чем занимается мой муж. Это открытие привело меня в ужас и в то же время показало мне, что я навсегда в руках этого человека... Мой муж был колдун, и я помимо своей воли была его помощницей в колдовстве... Он мною владел посредством тайной силы... Он отдал душу дьяволу и погубил мою душу...

Голос Лоренцы оборвался.

По лицу Калиостро скользнула краска досады.

— И ты бы так сказала ему это? Обвинила бы своего мужа в колдовстве, в том, что он погубил и свою, и твою душу? — воскликнул он. — О, глупая женщина! Я объяснил ей всё, я открыл ей многие тайны... Она говорила, что понимает, она одобряла меня, клялась

быть мне верной подругой и помощницей, клялась, что боготворит меня — и теперь я вижу, она лгала! В глубине души она осталась полной предрассудков, такой же тёмной и глупой, как и та среда, где она выросла. Она меня не любила и не любит... Она хотела предать меня, погубить, она предаст меня и погубит, если я навсегда не вырву её жала... Зачем же я люблю её!..

XVII

Но и досада, и другое, более глубокое чувство, вызвавшее последние слова Калиостро, быстро в нём замерли. Лицо его сделалось спокойным и горделивым. Он взглянул на Лоренцу, положил ей руку на лоб и повелительно произнёс:

— Продолжай, говори слово в слово так, как ты бы ему сказала!

Снова раздался в карете странный, глухой голос Лоренцы, с трудом вырывавшийся из почти неподвижных губ.

— Прожив некоторое время в Неаполе, мы переехали в Марсель, — начала она, — здесь мы познакомились с одной пожилой дамой,

которая, несмотря на свой возраст, сразу пленилась моим мужем. Она засыпала нас дорогими подарками и деньгами... У этой дамы был старинный друг сердца, человек ещё более почтенного возраста, чем она. Он стал ревновать её к моему мужу. Между тем дама вовсе не желала с ним разрыва, так как он был очень богат и пользовался хорошей репутацией. К тому же он мог сделать нам много неприятностей...

Во избежание этого дама просила моего мужа быть любезным со стариком, как оказалось, бредившим каббалистикой и уже давно искавшим философский камень. Очень скоро муж мой уверил этого человека, что может вернуть ему молодость. Они стали вместе заниматься отыскиванием философского камня...

Так продолжалось несколько месяцев. Все были довольны, и наши карманы постоянно наполнялись золотом. Наконец старик нашёл, что пора ему достигнуть цели, то есть превратиться в молодого и иметь философский камень. Между тем мой муж, несмотря на все свои познания, не мог ему ещё доста-

вить ни того, ни другого и кончил тем, что объявил ему о своём отъезде из Марселя. Он должен был ехать в Италию, чтобы достать только там растущую траву, необходимую для дальнейших работ...

Старик подарил ему прекрасный экипаж, снабдил его значительной суммой денег. Дамма тоже дала много денег и мужу, и мне — и мы уехали, но вовсе не в Рим, а в Испанию. Экипаж мы продали в Барселоне.

«Куда же теперь едем?» — спрашивала я мужа.

И он мне ответил:

— В Кадикс.

— Зачем?

— Затем, что там ждут меня.

В Кадиксе нас действительно ждали, так как только что мы приехали, как явился к нам какой-то человек и дал моему мужу тысячу экю для закупок различных предметов и веществ, необходимых при добывании философского камня... И вот мы опять в путешествии. Мы едем в Англию. Мы только что успели осмотреться в Лондоне, как явилась к мужу старая англичанка, миссис Фрей, и вме-

сте с нею старик, по имени Скотт. Каким образом отыскивали моего мужа все эти люди, я не знаю. Всё это были как бы случайные встречи, а между тем мы именно ехали в тот или другой город для этих встреч и только ими можно было объяснить наше пребывание то там, то здесь... Не будь этих встреч, мы не знали бы, чем существовать... Скотт и миссис Фрей занимались каббалистикой, или, вернее, отыскивали комбинации, при посредстве которых можно выигрывать в лотерею. Мой муж сказал, что может им помочь в этом, так как владеет секретом комбинации чисел, при которой ошибка невозможна...

Калиостро, всё время слушавший спокойно, с презрительной усмешкой, вдруг вспыхнул: в нём закипела кровь, глаза его метнули искры.

— Какой, однако, ужасный рассказ, — воскликнул он, — этого рассказа более чем достаточно для того, чтобы осудить меня на вечную тюрьму или даже на казнь, как грубого мошенника или шарлатана!.. Только неверное освещение, только маленькие изменения в подробностях — и я преступник!.. Но и в

этом змеином рассказе должны быть явные противоречия!.. Лоренца, можешь ли ты сказать, что миссис Фрей и Скотт были обмануты, что обещание, данное им, было шарлатанской проделкой?..

— Нет, — прошептала Лоренца, — ведь муж мой настоящий колдун... Он, действительно, сделал так, что на указанные им номера билетов пали большие выигрыши. Тогда мой муж принял миссис Фрей и Скотта по их настоятельной просьбе в долю при своих работах: они вносили часть денег, необходимых для добычи философского камня. Но работа подвигалась медленно, было несколько неудачных опытов, поглотивших значительные суммы... Миссис Фрей и Скотт, оба скупые и жадные, испугались за свои деньги и потребовали их обратно... Мой муж не имел возможности вернуть им деньги и за недостатком средств должен был остановить свою работу. Тогда миссис Фрей и Скотт подали на него в суд жалобу, обвиняя его в мошенничестве. Однако на суде они ничего не могли доказать — и мой муж был оправдан. При этом он публично, на суде, объявил, что занимает-

ся каббалистикой, что знает много самых интересных вещей и предложил отгадать номер билета, на который падёт первый выигрыш ближайшей лотереи...

— Да, и не нашлось никого, кто бы принял, хоть из простого любопытства, моё предложение, кто бы захотел проверить — дерзкий ли я обманщик или, действительно, владею большими знаниями! — спокойно и раздумчиво проговорил Калиостро. — Ну, а потом, Лоренца, что было потом?

— Потом наша жизнь внезапно изменилась, стала совсем новой, и мы сами стали новыми!.. Я не узнавала моего мужа, да не узнавала и себя... Мы уже никогда не нуждались в деньгах, не скрывались от преследователей, не переезжали из города в город для того, чтобы встречаться с людьми, деньгами которых мы пользовались... У моего мужа стало столько денег, что трудно было и считать их. Мы путешествовали по-прежнему, но в блестящих экипажах, с большою свитой. Когда мы куда-нибудь приезжали, для нас уже было готово самое роскошное помещение. Мы давали богатые праздники, сыпали деньгами всю-

ду, купались в золоте. Больные и бедные стекались к моему мужу — и он вылечивал больных и щедро оделял бедных. Во многих городах он устроил больницы и клиники... больные не только помещались в них даром, но во всё время болезни и лечения семейства больных содержались на счёт моего мужа. Тысячи людей обязаны ему своим здоровьем и благосостоянием...

Калиостро улыбнулся и остановил на Лоренце свой взгляд. Станный это был взгляд: в нём соединялись насмешка, негодование, презрение и любовь — любовь нежная, какая-то печальная, какая-то фантастическая.

— Так вот, теперь я уже не мошенник, не шарлатан, я благодетель человечества! — воскликнул он. И прямо так, в один миг, из мошенника и шарлатана превратился в благодетеля человечества? Как же это произошло такая метаморфоза? Откуда пришло всё это?

И Лоренца отвечала:

— Я не знаю...

— Да, ты не знаешь, — продолжал Калиостро, уже говоря сам с собою страстным шёпотом, — ты не знаешь и никогда не узнаешь!.. Для того чтобы получить несколько золотых монет, которые помогали мне прокормиться и прокормить тебя, я прибегал, по твоим уверениям, к самым позорным средствам; я был мелким мошенником и шарлатаном... Какое же страшное неслыханное преступление должен был я сделать для того, чтобы, как ты говоришь, купаться в золоте? Каких богачей я отравил, зарезал, обманул для приобретения этого неиссякаемого источника золота, для создания этих дворцов, клиник, больниц, для постоянных раздач милостыни, для бриллиантов, которыми мы с тобою усыпаны, для содержания многочисленной свиты, экипированной на заказ в Париже, где ливрея последнего моего лакея стоила мне не меньше двадцати луидоров?.. Кого я убил, кого отравил я, жалкий обманщик, для того чтобы излечить от всевозможных болезней тысячи людей, признающих меня теперь своим спасителем, молящихся теперь за меня Богу? Да, ты ничего не знаешь, хотя и могла

бы знать... Но довольно! Ты змея... змея — и надо вырвать тебе жало, пока есть ещё время.

Он замолчал на мгновение, сжал брови, нервная дрожь пробежала по всем его членам.

— Лоренца! — воскликнул он грозным голосом. — Слушай: ты забыла всё, наше прошлое, наши путешествия, приключения, опасности, заключения в тюрьму... ты все забыла. Ты никогда не заикнёшься ни о чём подобном Потёмкину. Ты слышишь меня?

— Слышу, — прошептали её бледные губы.

— Ты забыла?

— Нет, я ещё помню, но все забуду.

— Говори мне, говори правду — любишь ли ты меня, как любила прежде?

И он расслышал!

— Я не люблю тебя...

Его сердце больно забилося.

— Нет? — дрогнувшим голосом произнёс он. — В первый раз ты говоришь это... Когда ты меня разлюбила? Когда же ты ко мне изменилась?

— Я всё та же, всегда была такая! Ты спрашиваешь меня, любила ли я тебя — и я гово-

рю «нет!». Но я не могу сказать тоже, что не люблю тебя, потому что это будет неправда. Я связана с тобою. Ты сразу завладел мной и владеешь, пока хочешь этого... Ты прикажешь мне идти на пытку — и я пойду, но ведь это не та любовь, о которой ты теперь меня спрашиваешь... Та любовь — другое...

— Если бы я так владел тобою, тебе не пришло бы в голову поверять Потёмкину такой рассказ о нашей прежней жизни, который может погубить меня.

— Это значит только, — глухо ответила она, — что бывают такие минуты, когда я силюсь выйти из-под твоей власти.

— Так я приказываю тебе никогда не думать об этом, я приказываю тебе не только забыть наше прошлое, но и любить меня так же, как я люблю тебя... Слышишь ли: люби меня — и с радостью, со счастьем исполняй мою волю.

— Я не знаю, могу ли я это.

— Можешь! Я знаю, что можешь. Не рассуждай и повинуйся.

Слабый вздох раздался в карете, и едва внятно губы Лоренцы произнесли:

— Повинуюсь.

Он наклонился над нею и дунул ей в лицо. Она шевельнулась, вздохнула ещё глубже, как бы вбирая в себя воздух, глаза её внезапно изменились, зрачки сузились, вся её мертвенность исчезла. Она пришла в себя и с изумлением огляделась.

— Куда мы едем? — спросила она.

— Домой, от Потёмкина. Вот видишь, уже подъезжаем... Ты проспала всю дорогу.

— Да, я спала.

Она провела рукой по лбу и затем сказала:

— Спала, а между тем вся разбита... Мне нехорошо...

Но он взял её руки, и через несколько мгновений она почувствовала, как приятная, бодрящая теплота пробежала по её жилам.

Они в то время подъехали уже к дому графа Сомонова.

Калиостро вышел из кареты и ловким, привычным движением почти вынес из неё Лоренцу, маленькая нога которой едва коснулась откидной ступеньки.

Калиостро проводил жену под руку в её спальню, и так как уже выходя из кареты за-

метил значительное движение у отдельного подъезда, куда впускались приезжавшие и приходившие к нему больные, он сказал:

— Сегодня, кажется, много народу меня ждёт, я пойду туда, а ты переоденься и отправляйся к графине, если она дома. Если увидишь графа, скажи ему, что я с больными, что освобожусь к обеду, весь вечер свободен и буду присутствовать на заседании ложи.

— Хорошо, — послушно ответила Лоренца.

Калиостро ушёл. Теперь она снова хорошо и бодро себя чувствовала, только в голове была как будто какая-то пустота, но и это ощущение мало-помалу уменьшалось, проходило.

Лоренца подумала о Потёмкине, и самодовольная улыбка мелькнула на её прелестном лице.

— Как он влюблён в меня!.. Такой всемогущий человек... а только одно слово — и он сделает какую угодно глупость...

Ведь Калиостро, в возбуждении и волнении спрашивая её, любит ли она его и мучительно смутясь её ответом, не подумал спросить её: не любит ли она кого-нибудь другого?

А если бы он спросил, она бы ему ответила: «Я начинаю любить Потёмкина».

Да, она действительно начинала любить русского великана. Она была его капризом, и он в свою очередь становился её капризом. Ещё недавно если бы сказали ей, что она его любит, она засмеялась бы своим почти детским, легкомысленным смехом, а между тем новое чувство с каждым днём закрадывалось к ней в сердце и делало в нём успехи.

Начав свои посещения потёмкинских чертогов по приказу мужа, теперь она сама с тайной радостью стремилась туда. От могущественного вельможи веяло на неё чем-то особенным: жутким и слабым, что заставляло биться и трепетать её почти бессознательно жившее сердце. Она чувствовала силу Потёмкина, но эта сила не страшила её, как страшила временами власть мужа. Бывали дни, когда она безумно боялась своего Джузеппе; Потёмкина она никогда не боялась. Он был лев, одним движением способный её уничтожить, но она инстинктивно чувствовала, что он никогда не сделает этого движения. Он лев, он может быть очень страшен, но не для неё. Он

могуществен и прекрасен в своём могуществе, а она — маленькое, капризное и бесильное существо — в состоянии легко овладеть всей его силой. В этом и заключалась причина и тайна её любви к нему. Она теперь вспомнила свидание с ним, мысленно повторяя каждое слово, им сказанное, видела каждый его взгляд. Она не видела только его стараний казаться перед ней молодым и красивым — ей было это не нужно, она ни разу не задумалась о его телесной красоте, о его молодости. Он просто казался ей интересным, привлекательным — и какое ей было дело до его морщин.

Да, она вспомнила все малейшие его движения, но конец своего разговора с ним не помнила, и если бы её спросили, как они расстались, почему она уехала, она не могла бы ничего на это ответить. Приказание Калиостро было исполнено — она забыла не только конец своего разговора с Потёмкиным, своё невольно вырвавшееся признание в страхе перед мужем, но и своё желание откровенно передать ему все...

Да и что же она могла бы передать ему, ко-

гда сама теперь не помнила своей жизни?

Ей не запрещено было любить его, и чувство, запавшее в её сердце, с каждой минутой росло в нём, но в то же время ей приказано было любить мужа — и она должна была исполнить это требование.

Она переделалась, она сейчас, по приказанию Калиостро, пойдёт в апартаменты графини. Калиостро теперь со своими больными, но если бы он вернулся к ней, она кинулась бы к нему на шею, она покрыла бы его поцелуями, потому что ей приказано его любить... и она его любит. Да, любит... при мысли о нём закипает и трепещет её сердце.

— Джузеппе! — бессознательно шепчут её губы. Но вот её взгляд падает на туалетный стол. На столе этом прекрасная перламутровая шкатулка. Она раскрыта, и в ней блестят, переливаясь драгоценными камнями, её серьги, браслеты, колье, кольца. Взгляд упал на прелестное колечко с крупным бриллиантом и красным, как кровь, рубином. Это подарок Потёмкина.

Она наклонилась над шкатулкой, она быстро и жадно схватила это кольцо, надела

его на палец, любовалась им и потом вдруг громко и звучно поцеловала его и вся вспыхнула. Глаза её загорелись страстью. Явись перед нею теперь Потёмкин — и она, кажется, забыла бы всё... всё, и этот поцелуй с кольца перешёл бы на того, кто подарил ей это кольцо. Да, она сразу любила двух людей, любила одинаковой страстной любовью, и сама не понимала, как это может быть, не могла задуматься над неестественностью всего этого. Она просто ощущала эту двойную любовь, всецело её наполнявшую, — и поддавалась своим ощущениям.

Никогда ещё до сих пор не испытывала она такой любви — это совсем, совсем не то, что было прежде с нею!..

Она ещё раз взглянула на кольцо, ещё раз щёки её вспыхнули румянцем, и она направилась к двери, исполняя приказание мужа.

XIX

Если добывание философского камня в лаборатории Потёмкина и подвигалось медленно и если светлейший терпеливо ждал результата работы только благодаря Лоренце,

дела Калиостро у Сомонова и Елагина шли крайне успешно и быстро. Здесь философский камень не добывался, о нём не думали. Здесь Калиостро встретился уже с убеждёнными каббалистами, нисколько не сомневавшимися в том, что божественный иностранец способен создавать золото и даже составлять жизненный эликсир.

Пока в золоте надобности не оказывалось. О жизненном эликсире тоже некогда было подумать. Придёт время — и то и другое появится к услугам сотрудников великого Копта.

Тут всё дело было именно в великом Копте, то есть в главе и основателе египетского масонства. Сомонов и Елагин уже давно ожидали прибытия великого человека, который должен был посвятить их в высшие масонские таинства, проверить и утвердить их каббалистические познания. Прибытие такого человека было им обещано их заграничными друзьями, братьями-масонами.

Сначала вышло недоразумение: Сомонов принял Захарьева-Овинова за ожидаемого таинственного посланца, но недоразумение

сразу объяснилось. Явился сам божественный Калиостро, на приезд которого они даже никогда не смели рассчитывать.

Он представил им поразительные доказательства своих познаний, своих сил, И теперь он мог говорить им что угодно — они почли бы себя преступниками, если бы усомнились хоть в одном его слове.

Из кружка, первоначально составленного Калиостро, выбыло три члена: Потёмкин, который уже не являлся в дом графа Сомонова, а предпочитал видеть Калиостро у себя; графиня Елена Зонненфельд, никуда теперь не показывавшаяся, и Захарьев-Овинов, о котором поразительно, совершенно неестественно, внезапно все забыли, как будто его никогда и не было, как будто никто никогда не знал и не видел его.

Но это выбытие трёх членов нисколько не расстроило кружка. Два и даже три раза в неделю двери дома графа Александра Сергеевича закрывались для всех посторонних, и в библиотеке происходили таинственные заседания под председательством великого Копта.

Откровения, которые Калиостро под великой клятвой молчания сообщил своим новым ученикам, состояли в следующем.

Бесспорно, что масоны многочисленны, а разнообразные их ложи, работающие во всех городах Европы, имеют серьёзное значение. Эти ложи приносят немалую пользу, так как собирают, разрабатывают всё, что могут найти сохранившимся от древних истинных знаний. А между тем всё же работа их крайне медленна и несовершенна, ибо главного ключа к познанию истины они не имеют. Познания их крайне незначительны, а частью даже извращены. Истина, сохранившаяся из века в век египетскими иерофантами, для них недоступна.

Но он, Калиостро, получил эту истину из рук её законных владельцев, получил в глубине пирамид и призван для распространения её среди лучших людей Европы. Единое истинное египетское масонство уже основано им во многих странах, и вот теперь он явился в Россию с тою же целью.

Он заранее знал, так как имел указания свыше, что здесь найдёт людей, которые ста-

нут его ближайшими и главнейшими помощниками.

Здесь, в России, в Петербурге, в доме графа Сомонова, должна устроиться главная ложа египетского масонства. Здесь будет центр истинного света, долженствующего озарить все человечество. Сомонов и Елагин — два главнейших столпа, на которых будет зиждиться великое здание.

Само собою разумеется, что от такого значения и от такой роли ни Сомонов, ни Елагин не могли и не хотели отказаться. Счастью и восторгу кружка не было границ. Графиня Сомонова забыла всю свою осторожность. Она теперь была такой же пламенной поклонницей Калиостро, как и её муж. Князь Щенятев тоже был доволен званием основателя главной египетской ложи, хотя к этому довольству примешивалась не покидающая его тоска. Тоска происходила от того, что частные уроки магической силы, которые он брал у Калиостро, до сих пор не давали ожидаемых блестящих результатов. Но всё же некоторые результаты уже появились, и он терпеливо ждал, постоянно ободряемый своим учите-

лем.

Таким образом, египетская ложа была основана и составлялась уже программа деятельности. Вместе с этим Калиостро посвящал основателей ложи в тайны египетского масонства. Собрания в библиотеке превратились в лекции, и, вероятно, никогда ещё у Калиостро не было таких горячих слушателей, какими оказались Сомонов и Елагин. Даже Щенятев, даже графиня восторженно присутствовали на этих беседах, несмотря на всю свою неподготовленность.

Калиостро говорил увлекательно, ясно, умел самые запутанные, отвлечённые вопросы изложить просто и понятно. Он действительно открывал своим слушателям великие тайны природы. Он поражал их самыми смелыми, неожиданными гипотезами, выдавая эти гипотезы за непреложные истины.

Теперь уже в библиотеке не только председатель, великий Копт, но и все члены — основатели главной египетской ложи были не простыми, обыкновенными людьми, а высшими существами, для которых Изида сняла с себя своё таинственное покрывало.

В конце последней беседы Калиостро объявил, что знаний у основателей достаточно для того, чтобы открыть ложу и что сила ложи будет развиваться по мере того, как станет увеличиваться число её членов, так как чем обширнее цепь, тем больше и силы. Он говорил, что не пройдет года — и окажутся громадные результаты.

Поэтому настало время привлекать новых членов, открывая им истину мало-помалу, насколько они будут способны и достойны воспринять её. Он спросил у Сомонова и у Елагина, исполнили ли они задачу, на них возложенную. Задача состояла в том, чтобы подготовить как можно больше лиц, желающих и достойных вступить в ложу. Сомонов и Елагин представили великому Копту список намеченных ими людей. Против каждого из них была составлена характеристика, собраны все необходимые сведения, для того чтобы дать великому Копту возможность убедиться в надёжности избираемого лица.

Калиостро проверил список, одобрил выбор лиц и заявил, что в таком составе ложа сразу может начать широкую деятельность.

Сомонов и Елагин тоже не сомневались в этом. Они были убеждены, что в скором времени во всех городах России, во всех дальних её окраинах уже можно будет найти египетских масонов.

А Калиостро думал, проглядывая списки:

«Не удалось сразу подействовать на императрицу, но что отложено, то ещё не потеряно. В конце концов и она должна будет сдаться и, сама того не подозревая, окажется среди замкнутой цепи египетского масонства, с которым ей уже не предоставится возможность бороться. Да, пройдёт год, другой — и, если всё будет продолжаться так же успешно, великий Копт получит в этой стране первенствующее значение. В его руках будет действительная сила, в его руках будет всё!»

XX

Никогда ещё граф Сомонов не был в таком волнении, как в этот вечер открытия великой египетской ложи. Труды и работы нескольких лет наконец должны были увенчаться успехом. Являлась высокая и прекрасная цель существования, плодотворная дея-

тельность. Являлось именно то, чего недоставало графу, отсутствие чего так долго его томил.

В первые годы своих занятий тайными науками он поступал легкомысленно и теперь отлично сознавал это. Но его первоначальное легкомыслие было понятно и извинительно. Первые шаги на новом поприще всегда робки и неверны. Он искал, он нуждался в подтверждении тех истин, какие узнал из творений мистиков и каббалистов. Своими занятиями, своими опытами он вызвал в обществе насмешки, создал себе чуть ли не шутовскую репутацию.

Но теперь он уже хорошо проникся каббалистическим правилом молчания и работы втайне. Теперь уже никто не мог рассказывать о том, как он ищет дам и девиц для того, чтобы их магнетизировать и погружать в таинственный сон.

А между тем никогда ещё он так серьёзно не работал, как именно теперь, в последнее время, под руководством своего великого учителя Калиостро. Только магнетизировать дам и девиц и погружать их в таинственный сон

ему уже не было надобности. Он убедился окончательно во всех чудесах, производимых магнетизмом. Он убедился в гораздо большем и интереснейшем, и его работы приняли иное направление.

Глубоко проникнувшись взглядами Калиостро, он находил, что прежде всего необходимо создать обширную и крепкую таинственную среду людей, неустанно работающих в одном и том же направлении. Раз эта среда будет создана и получит должное развитие, в её распоряжении окажутся громадные силы.

Что значит могущество, даваемое грубыми материальными средствами, перед тем могуществом, каким будут владеть члены великой магической цепи?

Да, Калиостро, изучивший всю каббалистическую и мистическую мудрость и умевший с такой поразительной ясностью, с таким убедительным, душу захватывающим красноречием изъяснить её, открыл ему глаза на всё. Если многое до приезда великого Копта казалось не вполне понятным, туманным, неопределённым, теперь всё выяснилось в полной простоте и величии...

Поэтому понятно, какое значение для графа имел настоящий день, день открытия египетской ложи.

Сначала ему хотелось, чтобы это великое торжество произошло в соответствующей его значению великолепной символической обстановке. Он уже представил себе, как устроить залу заседания, снабдить её всеми предметами, фигурировавшими в заседаниях иерофантов в глубине египетских пирамид.

Но когда он обратился за советом по этому поводу к Калиостро, тот сразу охладил его, объяснив, что будет гораздо благоразумнее не делать ровно никаких приготовлений.

— Впоследствии, когда египетское масонство окончательно укрепится в России, — сказал Калиостро, — можно будет выработать все ритуалы; теперь же, для начала, ритуал не только излишен, но вреден... Кто-нибудь из новых членов может нас выдать, силы наши не так ещё сплочены, чтобы затрачивать их на борьбу с внешними врагами и неприятностями.

Граф не мог не согласиться с основательностью этого взгляда, и потому отказался от осу-

ществления своего плана. Заседание было назначено в библиотеке, и для него не производилось никаких особенных приготовлений.

К назначенному часу собрались все приглашённые, и на первый раз для открытия ложи оказалось человек двадцать. Всё это были люди, принадлежавшие к высшему обществу, люди хорошо испытанные Сомоновым и Елагиным. Все эти люди более или менее долгое время занимались тайными науками и были готовы на значительные пожертвования и труды для распространения того, что они считали великой истиной.

Женщин не было ни одной; даже графиня Сомонова, даже Лоренца отсутствовали. Членами ложи, первой великой египетской ложи, получившей наименование «лож Изиды», по выработанному уставу должны были быть исключительно мужчины. Для женщин основывалась другая ложа, устав которой, как говорил Калиостро, уже составлялся графиней Лоренцой.

Все собравшиеся хорошо знали друг друга. Да и вообще в этот вечер не ожидали ничего такого, к чему бы они уже не были подготов-

лены. Они должны были только выслушать Калиостро и скрепить своими подписями протокол открытия ложи...

Пробило восемь часов в графской библиотеке. Калиостро ещё не появлялся, а потому в ожидании его выхода вёлся разговор, главным и даже единственным предметом которого был, конечно, он сам и его деятельность. Все изумлялись этому великому человеку, благоговели перед ним...

— Да, наконец, и при дворе уже не позволяют себе таких насмешек, как в первое время, — говорил он. — Вот уже две недели как я заметил большую, внезапную перемену... Удивительные люди! В течение нескольких месяцев к графу Фениксу стекаются не только из Петербурга, но и из иных мест больные. Всё это происходит не тайно, а явно, на глазах у всех... Ежедневно он производит необыкновеннейшие исцеления. Приносят умирающего — и через несколько мгновений, едва граф Феникс к нему прикоснётся, умирающий начинает выздоравливать... Ежедневно граф раздаёт деньги неимущим. Всё это знают, все — и, не правда ли, мы только и слышали,

что насмешки и самые пренебрежительные отзывы о нашем учителе! Но вот у князя Хилкина заболел единственный ребёнок. Доктора отказались. Сам Роджерсон объявил, что смерть должна неминуемо последовать через несколько часов. В последнюю минуту, доведённые до пределов крайнего отчаяния, Хилкины, по моему настоянию и убеждению, обратились к графу Фениксу, над которым более других смеялись, — и умиравший ребёнок теперь здоров... Чего не могли сделать ежедневные излечения самых жестоких болезней, то сделал этот один случай — он сразу изменил при дворе взгляд на графа Феникса...

— Да, это правда, — зашепелявил Щенятев, — я сам это заметил. Вчера я повстречал во дворце Роджерсона и не утерпел, подошёл к нему и спрашиваю: «Правда ли, что вы приговорили к смерти маленького князя Хилкина?»

— Ну что же он? Это любопытно... Что он вам ответил? — заговорили все.

— Он посмотрел на меня как-то боком и отвечает: «Да, правда, приговорил к смерти, так как смерть была неизбежна, ребёнок непре-

менно должен был умереть». — Но ведь вот же, остался жив! — это я говорю ему — значит, не должен был умереть!.. А Роджерсон мне на сие: «Говорят, выздоровел!» — Я посмеялся: «Да не говорят, это верно, я сам был у Хилкиных... и вылечил его граф Феникс, которого вы называете шарлатаном!»

— Ну и что же, что же он на это? — раздалось вокруг.

— Пожал плечами. «Я, — говорит, — и теперь не изменил о нём мнения». И в тот же час отошёл от меня, — завершил князь Щенятев свой рассказ.

— Да, положение Роджерсона теперь не из завидных! — заметил кто-то.

— Но он в большой силе, — прибавил Щенятев — если бы вы видели, как он глядел, то поняли бы, что граф Феникс должен его опасаться, то есть я хочу сказать, он должен был бы его опасаться, если б был обыкновенным человеком...

В это время сам граф Феникс вошёл в библиотеку, и все взоры с благоговением и восторгом устремились на него. Он, как и всегда, сверкал своей драгоценной одеждой, как и

всегда, искрились и горели его пронизательные глаза, которыми он обвёл присутствовавших. Он крепко пожал всем руки, поместился на придвинутом ему кресле и на мгновение, как всегда это делал перед началом своих бесед, задумался, полузакрыв глаза. Но вот глаза его поднялись снова, и он начал:

«Господа, сегодняшней день — счастливый день, полный великого значения. Так как во всей природе нет ничего случайного, то и здесь мы собрались не случайно, и этот день, этот час обещают нам многое. Этот день, этот час, эта минута, в которую я говорю вам, избавлены от всех тех таинственных, но могучих влияний, какие могут пугать и заставлять сомневаться в благополучии задуманного дела. Я выбрал этот день, этот час и эту минуту именно потому, что мы находимся теперь при самом счастливом, самом светлом сочетании таинственных природных влияний. Мы собрались для того, чтобы положить основание великой работе, результаты которой должны принести счастье всему человечеству. Возблагодарим же Бога за то, что мы оказались достойными быть первыми работ-

никами и, прежде всего, разберём и убедимся — действительно ли мы этого достойны. Только тот, кто действительно добр и намерен употребить свои силы и познания ко благу человечества, достоин владеть таинствами природы, только мудрый отыщет и познает эти таинства. Природа — добрый друг и у неё нет тайн для того, кто достоин её дружбы. Чванство, гордость, любопытство, высокомерие — вот свойства, при которых человеку обыкновенно кажется, что он близок к раскрытию тайн природы и при которых в действительности он быстро и необратимо от них удаляется. Пусть каждый из вас проникнется этим, сделает эти слова моей первой заповедью и смело идёт в путь, ничем не смущаясь и, прежде всего, не обращая внимания на людские мнения и толки. Пусть каждый из вас знает, что тайны природы доступны для человека, что они разнообразны и бесконечны. Пусть каждый из вас навсегда отречётся от прежних мнений и взглядов и навсегда откажется произносить слово „невозможно“. Слово это мы слышим на каждом шагу, но оно ни что иное, как величай-

шая бессмыслица ибо понятия человеческие ограничены, и чтобы решиться разумно сказать, что то или иное невозможно, надо знать „всё возможное“. Вам вовсе не предстоит искать невозможного, а с каждым новым днём, с каждым новым усилием узнавать лишь то, что возможно...

Все жадно и внимательно слушали слова Калиостро, и он продолжал излагать своим мелодичным, убеждённым голосом прекрасные мысли, над которыми стоило задуматься. При том же обаянии, какое он имел на всех собравшихся, каждое его слово являлось величайшей истиной и запечатлевалось в памяти, каждое его слово было для всех светлым обетованием, и кончилось тем, что он наэлектризовал всех. Когда он замолк, объявив, что великая ложа Изиды открыта, когда кругом стола Сомонов, возбуждённый и вдохновенный, стал обносить лист для подписей, все подписались с каким-то священным трепетом. Все готовы были отдать себя всецело и всем пожертвовать для дела, указанного им великим Коптом.

Решено было собраться через неделю, и

каждый должен был представить план своей дальнейшей деятельности. Затем Калиостро сказал, что он чувствует себя несколько утомлённым и ушёл, приняв выражение всеобщего восторга и поклонения.

Прежде чем идти спать, он заглянул в свою рабочую комнату. Он зажёл свечу и подошёл к столу, не отдавая себе отчёта, зачем он это делает, чего ему надо. Посреди стола лежал лист бумаги, и на этом листе неизвестным ему почерком было написано по-итальянски: «Берегись, нет ничего тайного, что не стало бы явным. Жив или умер ребёнок князя Хилкина?»

Калиостро несколько раз перечёл слова эти, не веря глазам своим. Кто положил сюда этот лист бумаги, кто написал это?

Он поспешил в спальню, где на роскошной кровати, прекрасная в своей неувядаемой, юно-девственной красоте, лежала и крепко спала Лоренца. Он наклонился над нею, прижал свою руку к её лбу и повелительно сказал:

— Гляди!

Выражение её лица мгновенно измени-

лась. Она приподняла голову с кружевных подушек, села на кровати и шепнула:

— Я вижу.

— Гляди в мою рабочую комнату. Недавно, не более трёх часов тому назад, кто-то пришёл и положил ко мне на стол лист бумаги.

— Да, пришёл и положил! — едва внятно произнесла она.

— Что написано на этом листе?

«Берегись, нет ничего тайного, что не стало бы явным! Жив или умер ребёнок князя Хилкина?» — быстро, как бы читая, отвечала Лоренца.

— Кто же принёс, кто положил этот лист? Кто написал?

Но прошло несколько мгновений — она оставалась неподвижной и ничего не отвечала.

— Разве ты не видишь?

— Нет, вижу.

— Так кто же это?

— Я не могу сказать!

— Как не можешь, отчего? Я приказываю тебе! Говори!

Она молчала.

— Говори!

— Он запретил мне, и я не могу назвать его, потому что он сильнее тебя, его сила преодолевает во мне твою силу. Твой приказ не уничтожает его запрета... Не мучь меня... я не могу!

Калиостро дотронулся до головы её, и она упала на подушки. А он стоял побледневший, смущённый.

Он знал, хорошо знал, что она права, что если она не сказала ему сразу, то, значит, и не может сказать, и что он только напрасно будет её мучить... Но ведь и без неё он знает, кто положил этот лист на его стол, кто написал ему угрозу... Он сейчас назовёт имя этого человека. Это... это...

Но он не мог назвать его имени, как будто это было ему запрещено так же, как и Лоренце. Он забыл его, да забыл. Он сам не мог понять, что такое с ним происходит, и панический страх, почти неведомый ему доселе, дрожью пробежал по его членам.

Часть четвёртая

I

Многочисленные друзья князя Щенятева были крайне им недовольны. В последнее время он становился неузнаваемым. Вот уже около десятка лет как весь Петербург знал его, как он то и дело обращал на себя внимание, заставлял о себе говорить... Начать с того, что князь Щенятев был вездесущим. Везде и во всякое время можно было видеть его длинную, сухопарую и вертлявую фигуру, его маленький, подобный пуговке, нос, будто вынюхивавший все новости, курьёзы и семейные истории, которых он всегда был первым провозвестником в гостиных. Везде и всюду бросалась в глаза эта фигура, облачённая в самый роскошный наряд, только что выписанный из Парижа, сверкающая бриллиантами, буквально осыпанная ими, эти быстрые, любопытные глаза, этот бойкий, несмолкаемый, шепелявый голос...

Над наружностью князя Щенятева сначала смеялись, но потом даже и сама его наруж-

ность вошла в моду. Вся богатая петербургская молодёжь стремилась подражать ему, неизвестно на каком основании признав его единогласно законодателем мод, образа жизни, вкусов светского человека.

Сам он никогда не стремился достигнуть такого положения, никогда не обдумывал своих манер, нарядов, образа своей жизни. Он просто был одиноким, рано осиротевшим богачом, у которого денег куры не клевали и которому так или иначе надо было убить время, развлечься найти себе какое-нибудь удовольствие. Если он выписывал из-за границы платье и экипажи, то единственно потому, что это стоило очень дорого, значит, было куда бросить деньги. К тому же заказы, сношения по поводу них, приёмка заказов — всё это поглощало некоторую частицу времени, которого некуда было девать...

Князь Щенятев искал удовольствий всюду, стремился туда, где, как ему казалось, можно было найти эти удовольствия. Если он находил их, то опять возвращался, не находил — стремился в новое место.

А между тем он вводил в моду всё, к чему

случайно прикасался, всё, о чём говорил, чем интересовался на краткое мгновение. Он был щедр и даже расточителен, потому что ему никогда не пришло в голову подумать о том, что такое деньги, какую пользу, какое добро можно извлечь из них. И этим обстоятельством, конечно, широко пользовались весьма многие люди, вступавшие с ним в сношения, окружавшие его, называвшие себя его друзьями.

Его холостой дом представлял собой воплощение беспорядка, где хозяйничали все, кто только желал этого.

Но вот с некоторого времени всё это изменилось. Князя по-прежнему можно было встретить иной раз при дворе или в салонах; но он теперь появлялся как видение, появлялся — и исчезал. Внешней перемены в нём не было. Всё так же удивительно и роскошно были его парижские костюмы, так же блистали его бриллианты, а между тем перемена в нём была огромная.

Он сделался каким-то таинственным, перестал даже любопытствовать, никого и ничего не пускал уже в моду. Проницательный чело-

век, глядя на него, непременно сказал бы: «Вот господин, носящий в себе какую-то важную тайну». Даже речь его стала необычайной и загадочной. Он, прежде никогда не помышлявший и не говоривший ни о чём, что не имело прямого отношения к настоящему дню и к животрепещущему интересу, теперь раздражался отвлечёнными, загадочными изречениями и фразами, приводил этим всех в изумление и, ничего не объяснив, исчезал.

Но этого мало. Иногда проходило несколько дней — и князя никто не видел. Мало и этого. Его дом, всегда открытый для всех и каждого, дом, куда всякий мог приходить когда угодно и распоряжаться по-своему, теперь почти для всех был заперт. Друзья являлись и, к величайшему своему изумлению и негодованию, получали от многочисленной княжеской прислуги решительный отпор: «Князь занят» или: «Князь нездоров», «Как есть никого не приказано принимать!»

Друзья возмущались и на основании прежних порядков намеревались входить в дом помимо всяких запретов. Но княжеская прислуга решительно запирала двери, так как

была бесконечно рада этому нежданному благополучию, этим необычайным барским распоряжением никого не принимать.

Но всё же некоторые из друзей, более ловкие и решительные, несмотря на сопротивление прислуги, врывались к князю, добирались до него и приступали к нему с требованиями разъяснить, что всё это значит. Таких назойливых друзей князь принимал вовсе не радушно. Они заставляли его рассерженным, раздражённым до последней степени.

— Что же это такое! — восклицал он, безбожно шепелявя. — Неужто не могу я быть свободным у себя в доме?.. Если я сделал распоряжение никого не принимать, так зачем лезть ко мне силою!..

— Да чего же ты кипятишься, князь? — урезонивали друзья. — Согласись, что твоё поведение очень странно...

Но князь ни с чем не соглашался. Он был совсем не прежним, а новым человеком. В нём появилась решительность и твёрдость, каких прежде не замечалось. Друзьям приходилось уходить из его дома, ничего не добившись, и в ожидании, чем всё это кончится,

бранить его. Они так и делали...

Когда князь Щенятев спрашивал у своего учителя Калиостро, доволен ли он им, его работами, его рвением, учитель отвечал, что очень доволен. А между тем, в сущности, он был им крайне недоволен. Ему гораздо приятнее было бы, если бы ученик не выказывал столько рвения и не делал бы столь быстрых успехов...

Эти успехи, это рвение начинали смущать учителя. Щенятев брал у него слишком много времени, слишком отвлекал его от более важных дел. Он, чего не предполагал Калиостро, оказался не из тех людей, которых можно свести на нет. Он поставил себе цель, получил от учителя обещание в достижении этой цели и намерен был непременно достигнуть своего, заставить учителя исполнять данное обещание.

Калиостро требовал от князя терпения — и терпение было им выказано. Калиостро объявил, что прежде чем достигнуть каких-либо результатов, надо быть подготовленным изучением тайных наук, — и князь, уже несколько лет не бравший книги в руки, теперь по

целым дням сидел, окружённый книгами, добытыми им у графа Семенова, Елагина, а также выписанными из-за границы.

Он жадно поглощал одно за другим мистические и каббалистические сочинения, целые страницы заучивая наизусть. Наконец, голова его превратилась в битком набитый склад таинственных формул, вычислений, символов, фигур и тому подобного. Теперь при свидании с Калиостро он оглушал своего учителя целыми залпами своих познаний, целыми страницами и главами из прочитанных им сочинений. И Калиостро не мог убедить его, что прочесть и заучить — ещё очень мало, что нужно переварить все прочитанное и пропитаться им. Впрочем, он и не пробовал этого.

По указанию учителя вместе с чтением князь занялся и опытами магнетизма, но делал эти опыты очень тайно и осторожно, так что о них никто не знал. Сначала опыты были почти безуспешными, и князь горько жаловался на это Калиостро.

Учитель объяснил, что для развития в себе магнетической силы, человек должен вести

определённый и правильный образ жизни.

— Скажите, что мне надо делать — и я все исполню! — прошепелявил князь.

Калиостро назначил ему самый строгий режим: ежедневно в шесть часов утра князь должен был просыпаться и какова бы ни была погода, делать пешком большую прогулку. Он должен был отказаться от долгого пребывания в многолюдных собраниях, от завтраков, обедов и ужинов.

Ему было запрещено вино, а он был большой любитель тонких вин и в подвалах своего дома имел один из самых лучших погребов Петербурга. стакан вина на целый день, ни больше, ни меньше — вот всё, что ему было теперь дозволено. Пища его должна была состоять почти исключительно из молочных продуктов и зелени; только в крайнем случае мог он позволить себе кусок жареного мяса без всяких приправ и пряностей.

Такой режим сразу показался князю невозможным, чересчур жестоким. Но цель, к которой он шёл, была слишком соблазнительна, и он твёрдо объявил своему взыскательному учителю: «Исполню!»

И, действительно, начал исполнять, только изредка поддаваясь искушению.

Так продолжалось около двух месяцев, и князь не мог пожаловаться: телесно он чувствовал себя очень хорошо, да и к тому же его магнетическая сила, видимо, прибавлялась. Попыты его становились удачнее, и хотя графиня Елена редко его к себе допускала и держала себя с ним очень сдержанно, но ему уже начинало казаться, что он на неё действует.

Он был прав. Она чувствовала это действие. Её впечатлительная, нервная природа очень легко поддавалась магнетизму. Но во всяком случае ощущения, испытываемые ею в присутствии Щенятева, были очень неприятными ощущениями. Желая привлечь её к себе, он только с каждым разом всё более и более её от себя отталкивал...

А время шло, и цель не достигалась. Наконец Щенятев потерял всякое терпение. Он сделал всё, что только во власти человека. Он был самым ревностным, исполнительным учеником графа Феникса, доказал силу своей воли, произвёл над собою чудеса. Срок, назначенный учителем, давно истёк...

Терпение Щенятева не выдержало, он чувствовал, что дальше идти так не может, чувствовал также, что и поститься ему не по силам. Да и ранние утренние прогулки по дождю, метели и петербургской грязи опротивели до последней степени.

Наконец настала минута, когда князь просто вышел из себя и, несмотря на всё своё благоговение перед Калиостро, на него рассердился, почувствовал себя оскорблённым и одураченным. Это случилось через два дня после открытия великой ложи Изиды.

«Если, несмотря на все мои усилия, я всё ещё слаб и не могу действовать сам, он должен помочь мне!» — решил князь и отправился к Калиостро.

Он застал учителя в его рабочей комнате, погруженным в какое-то писание. Ему показалось, что великий Копт не в духе и как будто чем-то расстроен; по крайней мере он никогда ещё не видел его с таким выражением лица, таким рассеянным, бледным, почти постаревшим.

Но он не смутился этим и прямо приступил к объяснению. В нём говорила неудовле-

творённая страсть, которую он всячески разжигал в себе, страсть, доведённая до последнего отчаяния и бешенства.

Калиостро сразу увидел, что с человеком в таком состоянии шутить нельзя. Он даже стал раскаиваться, что вошёл с ним в сношения, что принял его в ученики и дал ему разные обещания. Положим, Щенятев был ему очень полезен для дела египетского масонства: он мог располагать и им, и его состоянием. Но теперь этот несносный ученик просто надоедал ему, мешал.

Великий Копт мог бы шепнуть Щенятеву несколько слов, дать ему один небольшой урок — и послать его к предмету его страсти. Очень может быть, что в таком случае цель была бы достигнута.

Но дело в том, что преемник египетских иерофантов не мог открыть ни Щенятеву, ни кому другому свою тайну. Если б он открыл её, если бы она стала переходить от одного к другому, сделалась общим достоянием, то ближайшим последствием этого было бы то, что он, «божественный Калиостро», потерял бы в глазах своих учеников свой высший пре-

стиж, своё великое значение. Одного этого уже было достаточно, о других последствиях Калиостро даже и не думал.

Между тем Щенятев настаивал и требовал:

— Если я не могу сам, — помогите вы мне!

Калиостро скрыл свою досаду и сказал:

— Хорошо, я помогу вам, я отправлюсь вместе с вами к графине!.. Но помните, что надо, чтобы мы были одни с нею, без посторонних...

Щенятев от отчаяния, уныния и тоски сразу перешёл к необузданной радости. Он до боли жал руки Калиостро, благодарил его и задыхаясь шепелявил:

— Граф! Нет ничего легче!.. и именно сегодня. Сейчас едемте, сейчас!.. Ведь я вам говорил, что её трудно теперь видеть: известие о смерти этого Зонненфельда на неё как-то удивительно подействовало. Я не могу понять, отчего это, но это все знают и видят... Она изменилась, похудела, всегда печальна и почти нигде не бывает. К ней тоже попасть трудно. Но я её встретил два дня тому назад и говорил ей о женской египетской ложе. Я заинтересовал её. Она разрешила мне быть у неё сегодня

вечером и подробно ей передать все... Она непременно хочет поступить в ложу...

— Я на это и рассчитывал! — почти про себя проговорил Калиостро.

— И она сказала, что будет одна! — вне себя от восторга воскликнул Щенятев. — Едемте же, граф, скорее!.. Нельзя терять ни минуты... Она мне только будет благодарна за то, что я явлюсь с вами, именно с вами!

Калиостро склонил голову, загадочно усмехнулся и потом медленно, но решительно сказал:

— Хорошо... едем.

II

Елена действительно ждала князя Щенятева. Ждала она его на этот раз даже с большим нетерпением, несмотря на то что он всё более и более становился для неё несносен, что в его присутствии она постоянно теперь испытывала какое-то неопределённое, но очень неприятное и тяжёлое ощущение. Он не ошибся, говоря Калиостро, что заинтересовал её женской египетской ложей.

После разговора с ним она весь день про-

думала об этой ложе и решила вступить в неё непременно... Она ухватилась за эту возможность, как за последний якорь спасения. Невольно мечтала она о том, что с помощью таинственного посвящения приобретёт тайные знания и они помогут ей достигнуть того, чего естественными, человеческими средствами, очевидно, ей нельзя достигнуть.

Елена была глубоко несчастна. Щенятев говорил, что со времени смерти Зонненфельда она изменилась, похудела, что всё это замечают. Но никто не замечал перемены более глубокой, происшедшей с нею за последнее время, или, вернее, никто не определил, не мог определить её.

Смерть Зонненфельда на неё вовсе не подействовала. Какое дело было ей до этого чуждого для неё человека? Она могла только пожалеть о нём, как пожалела бы о всяком, кого знала и кто неожиданно умер.

В иное время и при других обстоятельствах, конечно, ей пришлось бы поглубже задуматься, узнав об этой смерти, и разобравшись, не было ли её вины перед этим человеком, не способствовала ли она так или иначе его

преждевременной смерти? Но в том состоянии, в каком она теперь находилась, она не могла ни о ком и ни о чём думать, была исключительно поглощена своей собственной внутренней жизнью, своими муками, терзавшими её всё сильнее.

Не смерть Зонненфельда прибавила этих мучений, а те обстоятельства, при которых она о ней узнала. Кто принёс ей первое известие? Молодая, красивая девушка, одна из новых фрейлин императрицы. Но она узнала в ней ту красавицу, образ которой видела в таинственном графине с водою, ту красавицу, которой страшилась пуще всего в мире. Ведь она о ней думала непрестанно, её прелестное юное лицо преследовало её, как самое страшное, невыносимое видение.

Она старалась забыть это лицо, старалась убедить себя, что оно только почудилось ей, что оно было бредом её воображения, что его не существовало в действительности. И ей удавалось иной раз довести себя до этого убеждения, забыться, успокоиться на некоторое время...

А тут вдруг не в таинственной грёзе, не в

обольщении чародея, а наяву, при свете дня явилась к ней эта страшная женщина — и уже нельзя было себя обманывать, нельзя было убеждать себя, что это только одна случайность...

Нет, теперь она знала, знала наверное, что у неё есть смертельный враг и что этот враг её погубит...

И она не выдержала. Жизнь, проведённая ею по большей части в высших и придворных сферах, и обстоятельства этой жизни приучили её к большой сдержанности, к строгой выдержке, к безупречному умению владеть собою. Этому же должно было научить её и её большое самолюбие, её врождённая гордость. Она могла вынести очень многое, могла подавить в себе глубокие сердечные муки и не дрогнуть, не выдать себя ничем постороннему человеку, а уж тем более врагу. Но при взгляде на прелестную девушку, явившуюся перед нею, она забыла всё, была побеждена и уничтожена сразу. У неё хватило сил единственно на то, чтобы отказаться ехать к императрице, объявив себя больною.

Когда молодая фрейлина увидела, что она действительно больна, что она почти без чувств, и хотела помочь ей, Елена снова нашла в себе силу проговорить:

— Благодарю вас, мне ничего не надо... я лягу.

Она нашла в себе силу подняться, дойти до двери, отворить эту дверь и запереть её за собою. Но едва дверь была заперта, силы её оставили — и она упала тут же на пол, уже окончательно теряя сознание.

Её обморок был продолжителен, и никто не знал о нём, никто не пришёл ей на помощь. Наконец она сама очнулась, но долго ещё сидела на полу, у самой двери, с почти безумными глазами, с единственной мыслью, безжалостно и отчаянно стучавшей ей в голову:

«Она существует... она здесь, все кончено... я погибла!»

Несколько дней Елена чувствовала себя настолько слабой, разбитой, как-то совсем униженной, что не могла встать с кровати. Она целыми часами лежала, не поднимая головы, и почти не принимала никакой пищи.

Когда князь Калатаров, узнав о нездоровье дочери, пришёл к ней, он не на шутку испугался. Она лежала бледная, её великолепные глаза стали огромными и неестественно блестящими; её взгляд делался просто страшен.

Князь спрашивал её, но она глядела на него и не отвечала. Она, очевидно, не слышала его вопросов.

Он послал за докторами. Доктора приехали, ничего не поняли, но прописали какое-то лекарство и успокоили князя, сказав ему, что у его дочери, очевидно, было внезапное потрясение, но что это ничего, что все пройдёт через дня два-три.

И князь успокоился. Теперь он уже знал, какое именно было потрясение у его дочери. Зонненфельд умер! Эта смерть была будто насмешкой судьбы над Еленой. К чему теперь оказался весь этот скандал, трудный, тяжёлый развод? Без всякого скандала Елена была бы теперь свободна и безупречна. Она по праву носила бы фамилию графов Зонненфельдов, получила бы после мужа значительное состояние. Она была бы теперь одною из самых лучших и привлекательных невест в

России. Только бы несколькими неделями раньше умер граф Зонненфельд, до окончания развода, — и в таком даже случае было бы несравненно лучше. Но он умер именно тогда, когда развод был произнесён, утверждён, всё было окончено...

Елена не могла не ужаснуться такой насмешке судьбы, и князь объяснил этим её болезнь.

Такое же точно объяснение придала этой болезни и государыня. Она знала Елену ещё ребёнком, восхищалась её быстро развивающейся красотой. Ей вовсе не нравился внезапно решённый брак прелестного ребёнка с немецким дипломатом, но она не нашла возможным вмешаться в это дело. Когда Елена явилась хлопотать о разводе, императрица опять-таки была этим недовольна и сначала прямо объявила, что дело это невозможное.

Но если маленькая княжна Калатарова была прелестна и влекла к себе сердце и взоры Екатерины, любившей всё прекрасное, всё возвышавшееся над общим уровнем, то теперь графиня Елена Зонненфельд фон Зонненталь была бесконечно прекраснее. Она су-

мела сразу обворожить государыню, которая долго беседовала с нею, и кончилось тем, что Екатерина отказалась от своей первоначальной строгости и сделала всё, о чём просила её Елена.

Известие о смерти Зонненфельда не на шутку раздосадовало государыню. Ей было просто обидно за молодую женщину, которая, по её выражению, «сделала большую глупость и была за это наказана насмешливой судьбою».

Когда Елена вышла из своего подавленно-го состояния и получила возможность владеть собою, она немедленно поехала во дворец и была принята государыней. Лицо Екатерины было не особенно ласково, брови сдвинуты. Но первый же взгляд в чудные глаза молодой женщины, горевшие каким-то особенным, поразившим Екатерину, страданием, смягчил её сердце. Она не то укоризненно, не то печально, но во всяком случае ласково покачала головою и сказала:

— Что ж, дело сделано, поправлять его уже нельзя. *Vous n'avez pas voulu suivre mes conseils, mon enfant, et vous voyez que vous avez*

eu tort... Но во всём этом есть и другая сторона вопроса. Вы находитесь в таком неловком положении, из которого необходимо выйти... К тому же между нами произошло, как мне начинает казаться, некоторое недоразумение. Я была, как вам это хорошо известно, против вашего развода; ваши прекрасные глаза меня разжалобили (и при этом Екатерина невольно залюбовалась этими действительно прекрасными, печальными глазами), я помогла вам, но, помогая, я была уверена, что, говоря мне о своём несчастном браке, вы кое-что от меня скрыли. Да, я не хотела вынуждать полной вашей откровенности, но была уверена, что вы разводитесь для того, чтобы выйти снова замуж, что есть человек, которого вы любите, с которым надеетесь быть счастливой, что новый брак уничтожит все последствия развода, то фальшивое положение, в какое вы себя ставили... Скажу больше, дитя моё: если бы я не была уверена в этом, если бы я думала, что вы поступаете, как малый ребёнок, не знающий жизни, я бы вам ни за что не помогла... Но вот время идёт... Я всё жду... Что же вы скажете мне на это?

Елена побледнела ещё больше.

— Ваше величество, проговорила она, — если бы я разводилась для того, чтобы выйти замуж, я так бы вам это прямо и сказала. Я ничего не скрывала от вас...

Брови Екатерины сдвинулись, и на лице у неё выразилось неудовольствие.

— Ну, душа моя, я вам скажу, что вы никак не можете оставаться в теперешнем вашем положении, вы должны из него выйти. Я уже давно слышу, что в вас безумно влюблён, что вами бредит князь Щенятев. Я слышала также, что и вы от него не отворачиваетесь, что он у вас часто бывает. Это хороший для вас жених, он сразу исправит всё, и тогда можно будет помириться с глупостью, которую вы сделали и за которую теперь наказаны.

— Ваше величество, я никогда не выйду замуж за князя Щенятева, — едва слышно, но твёрдо прошептала Елена.

— Напрасно! — воскликнула Екатерина. Она положительно начинала сердиться. Она положительно чувствовала большую, особенную симпатию к этой прелестной женщине, и

ей неприятно было видеть её несчастной и в фальшивом положении. Её никак нельзя было оставить в таком положении! Императрица из нескольких продолжительных разговоров с нею и из того, что она вообще о ней знала, смотрела на неё не только как на замечательно красивую и привлекательную женщину, но и как женщину умную, талантливую. Эта красавица могла бы пригодиться для какого-нибудь серьёзного и хорошего дела. Императрица решила, что ей необходимо выйти замуж, уничтожить следы произведённого ею скандала, и затем она приблизит её к себе, даст ей возможность принести и себе и другим всю пользу, на какую она способна.

— Напрасно! — повторила Екатерина.

Но затем, помолчав немного, прибавила:

— Однако, если не Щенятев, то, быть может, есть кто-нибудь другой?.. *Soyez tranche, mon enfant!* Будьте откровенны со мною, ибо я от всего сердца желаю вам пользы.

И внезапно, забывая всё своё неудовольствие, всю свою строгость, Екатерина взглянула в глаза Елены тем своим ласковым, неизъяснимым взглядом, который сразу всех обез-

оруживал и неудержимо влѣк к ней человеческое сердце. Елена чувствовала, как в груди у неё закипает что-то, как всё выше и выше поднимаются и рвутся наружу безнадежные, отчаянные рыдания. И вот уже нет сил сдерживать их. Слѣзы брызнули из глаз, и с глубокой, сердечной мукой, с полной безнадежностью она прорыдала:

— Никого нет!..

Императрица встала и подошла к ней. Она обняла её и поцеловала.

— Теперь я все понимаю, — сказала она мягким, ласкающим слух голосом, — и не надо мне никаких признаний. «Никого нет» — это значит есть кто-то, но нам кажется, что нас не любят... Дитя моё, это только кажется. С такими глазами, с такой красотой, с такой умной головкой нечего бояться. Если мы любим, то и нас полюбят.

И вдруг, несколько изменяя тон, она прибавила:

— Однако я полагала, что вы уже вполне женщина, а вы ещё совсем ребёнок. Покойный граф Зонненфельд, как я вижу, был до крайности плохим мужем. Успокойтесь, моя

милая, и когда это отчаяние пройдёт и заменится более счастливым настроением, приходите ко мне и будьте откровенны со мною; тогда увидим, что надобно делать... я с удовольствием помогу вам во всём и подам вам добрый совет... Только предупреждаю: я заставлю вас теперь слушаться моих советов. Вы ребёнок, и потакать вам не след.

На этом и кончилось объяснение Елены с императрицей.

III

В долгие часы уединения среди никем и ничем не нарушаемой тишины своих комнат, где все дышало красотой, прелестью и художественным вкусом молодой, талантливой хозяйки, Елена горько думала:

«Ведь вот эти мудрецы, эти волхвы, открывшие в глубине древности таинственную науку и показывающие нам чудеса, отуманивающие нас своими чарами, говорят и утверждают, что все доступно человеку. Они говорят, что человеческая воля всесильна, и только надо, чтобы она действительно была крепка, чтобы ничто не было в состоянии её изме-

нить и ослабить... Хочу — и могу!.. Отчего же я бессильна, хоть и крепка моя воля, хоть и могуче моё желание?..»

Но Елена забывала, что те же мудрецы говорят:

«Страсть есть не что иное, как безумное опьянение, насылаемое на слабого человека силою смерти и разрушения. Страсть ослепляет, лишает рассудка, и обуреваемый, опьянённый ею человек превращается в раба фатальности. Он неспособен видеть, к чему клонятся его действия, неспособен видеть их ясных, прямых, неизбежных следствий. А потому все его поступки влекут его неизбежно к одной только цели — к гибели и разрушению...»

Да, Елена, глубокая и прекрасная любовь которой превратилась в это последнее время в безумную страсть, потеряла всякую способность поступать сознательно и разумно. Думая о могуществе воли, сама она отказалась от всякой воли, поддавалась течению, и оно уносило её в какую-то страшную тёмную бездну. Мрачная сила как бы окутала её неведомыми чарами, и вместо того, чтобы обдумыв-

вать своё положение, чтобы стараться его выяснить. Искать из него возможного, разумного исхода, Елена теперь только ждала чего-то, ждала страшного удара, который уже над собою чувствовала.

Безжалостная рука со смертоносным оружием занесена над нею — и она пригнулась к земле, замерла и ждёт...

Сначала в её ожидание порою вкрадывалась надежда. Вот он придёт к ней. Ведь он обещал, ведь он должен прийти! Он придёт и, быть может, все объяснится... Он разгонит её сомнения, докажет, что она ошиблась, что ей нечего страшиться этой юной красавицы: не её он любит. Она только его друг, его сестра, а сердце его, его страсть принадлежит одной Елене.

Он должен был прийти — и он приходил. Три раза она видела его у себя в доме, два раза встретила его у посторонних. Но никакого объяснения не было между ними, ни на одну минуту они не оставались вдвоём. Всегда так случалось, что им невозможно было ничего сказать друг другу.

Конечно, каждый раз она могла бы от него

потребовать, чтобы он пришёл тогда, когда никого нет с нею. Она могла бы прямо сказать ему, что ей необходимо говорить с ним. Но дело в том, что его появление теперь действовало на неё подавляющим образом. Она напрягала все свои силы, чтобы выдержать его присутствие, не смела поднять на него глаз, не решалась ничего сказать ему. И он уходил, а она опять ждала его.

Молодую фрейлину она не видела ни разу и ничего о ней не слыхала. Казалось бы, что ей следовало постараться как можно подробнее узнать про эту девушку и прежде всего, конечно, узнать, какие отношения существуют между нею и Захарьевым-Овиновым. Но в этом-то и заключалась вся особенность её душевного состояния; она находилась под влиянием какого-то необычайного панического страха, и для неё невозможно было произнести имени молодой фрейлины. Что угодно, но она никого о ней не спросит.

Она старалась не думать об этой ужасной женщине, и вся трепетала при одной мысли о ней — и всё ждала, всё ждала!..

Когда человек доходит до последних пре-

делов безнадежности и отчаяния, когда он инстинктивно чувствует, что в нём уже не осталось никакой собственной силы и что сила эта никогда не проснётся, он ищет помощи извне. И чем эта помощь фантастичнее, невозможнее, тем она начинает казаться ему вернее. Это последний крик отчаяния, последнее возмущение природы.

Такую помощь внезапно, вследствие разговора с встретившимся ей князем Щенятевым, Елена увидела в таинственном посвящении в египетскую ложу. Когда ей доложили о князе Щенятеве и графе Фениксе, она вся встрепнулась, на бледных щеках её вспыхнул былой румянец, глаза загорелись, и граф Феникс, подходя к ней, поразился её красотой.

— Вы меня извините, — начал он, — я являюсь незваный, но всему виною князь. Он уверил меня в добром вашем приёме.

Елена мгновенно забыла весь свой страх и ужас перед этим таинственным человеком. Она крепко сжала его руку и отвечала:

— Я глубоко благодарю князя за то, что он просил вас ко мне приехать, и вам благодарна за то, что вы захотели навестить меня. Я не

встречала вас в последнее время и даже боялась с вами встретиться. Но не сердитесь на меня за этот страх и вспомните те ужасы, какие вы нам показывали.

Калиостро ласково улыбнулся.

— Ужасы! — воскликнул он. — Ужасы существуют только для непосвящённых, для людей, не понимающих, что такое перед ними.

— Да, конечно, но всё же редко кто может, даже и обладая большими познаниями, спокойно отнестись к сверхъестественному, — прошепелявил Щенятев, пожирая Елену глазами.

Калиостро опять улыбнулся и покачал головою.

— Нет, князь, — сказал он, — хотя вы и большие успехи сделали в тайных науках, а всё же до сих пор повторяете очень странную всеобщую ошибку. Сверхъестественное, сверхприродное! Да разве может быть в природе что-либо сверхприродное! Ведь это чистая бессмыслица. Сверхъестественного не существует, не может существовать. Это первейшая истина, которой должен проникнуть-

ся всякий, кто желает подойти к тайным наукам.

Таким образом, разговор завязался.

Калиостро всецело овладел вниманием Елены, так что она не замечала многозначительных взглядов, которыми он обменивался со Щенятевым. Она жадно вслушивалась в слово чародея. Прошло несколько минут — и вот на неё стал наплывать как бы туман.

Мелодический голос итальянца, как музыка, звучал над нею. Блестящие чёрные глаза его горели прямо перед нею, и она не в состоянии была оторвать от них своего взгляда.

Ещё мгновение — огненные глаза всё ближе к ней, ближе...

Вот она слышит приказ:

— Спите!..

И она заснула.

IV

Теперь она, как и Лоренца, была в полной власти Калиостро. Одно быстрое, почти неуловимое движение, мгновенное, даже ускользнувшее от внимания Щенятева прикосновение к ней руки великого Копта, его

решительный, самоуверенный приказ «спите» — и всё было кончено. Ни борьбы, ни возмущения. Она превратилась в собственность постороннего ей человека, потеряла свою волю, свои мысли, чувства.

Она сделалась более чем его рабой. Раба подчиняется силе, не смеет ослушаться, исполняет всё, что прикажет ей господин, но всё же в глубине души у неё остаётся внутренняя свобода, она может иметь свои чувства, свои мысли — и не выдать их господину, скрыть от него свой внутренний мир. А Елена ничего не могла скрыть от Калиостро. Приказал бы он ей — и она немедленно открыла бы ему все свои тайны. Приказал бы он — и она должна была бы исполнить всякое его требование не рассуждая, не смущаясь, проникнутая одним только тупым, но могучим, всепоглощающим ощущением необходимости как можно точнее исполнить данную ей задачу.

Одно слово Калиостро, да и не только слово, но один его мысленный приказ — и она совершит какое угодно преступление, кого угодно отравит, зарежет, задушит. И рука её не дрогнет, и она успокоится только тогда, ко-

гда преступление уже будет совершено. А затем она забудет об этом преступлении, как будто его никогда не было, и пойдёт на какие угодно пытки, искренно утверждая, что никогда никого не убивала, возмущаясь, как может быть взводимо на неё ни с чем не соответствующее подозрение. Да, она сделает всё это, если так будет ей приказано.

Какой же адской силой владеет Калиостро, чтобы так поработать себе живую душу человека? Нет, то не адская сила, а просто знание одной из бесчисленных тайн природы. Тайной этой вместо того, чтобы свято сохранять её, он легкомысленно пользуется. Он делает именно то, что ему запрещено делать под страхом смерти. Он делает только то, что через сто лет после этого дня будет делать всякий легкомысленный или преступный студент медицины.

Калиостро был доволен. Теперь он окончательно убедился, какая отличная помощница будет у его Лоренцы в женской египетской ложе, как многого он будет в состоянии достигнуть с помощью этой женщины, отныне всецело находящейся в его власти.

В его быстро работавшей мысли мелькнули целые новые комбинации, новые планы. Этим комбинациям и планам вовсе не противоречило исполнить желания князя Щенятева. Пусть этот ревностный и надоедливый ученик добьётся своего, пусть он женится на прекрасной графине.

И он обратился к Щенятеву, стоявшему в сильном волнении, с широко раскрытыми глазами и, не отрываясь, испуганно и страстно глядевшему на Елену.

— Князь, — сказал он, — я прошу вас на одну минуту выйти в соседнюю комнату.

Но Щенятев вместо того, чтобы беспрекословно исполнить требование учителя, вдруг возмутился. Он ни за что не хотел оставить с ним Елену, в нём заговорила ревность.

— Зачем же мне уходить? — довольно решительно воскликнул он.

— В таком случае уйду я, а вы оставайтесь.

Под вспыхнувшим взглядом учителя Щенятев вдруг присмирел и покорно пошёл к двери.

Калиостро не терял времени. Он наклонился над Еленой и шепнул ей:

— Вы любите князя Щенятева?

— Нет, я не люблю его! — трепетно, с невыразимым ужасом в голосе произнесла она.

— Я вам говорю, что вы его любите. В этом не может быть никакого сомнения. Вы его любите страстно... Ведь так? Ведь я говорю правду?

— Да, вы говорите правду... Действительно, я страстно люблю его...

— Когда вы проснётесь, вы ощутите эту любовь, и если он станет говорить вам о своём чувстве, вы ответите ему полным признанием, выразив ему всю вашу нежность. Ведь вы сделаете это?

— Да, я это сделаю.

В это время из соседней комнаты, куда удалился Щенятев, послышался шорох. Калиостро почувствовал, что его ученик у самой двери — и подслушивает, подглядывает. Досада изобразилась на выразительном лице итальянца, но затем тотчас же сменилась на смешливой, презрительной и в то же время злорадной усмешкой. Он ещё ниже склонился над Еленой и едва слышно шепнул ей:

— Смотрите на меня! Можете ли вы видеть

мои мысли?

— Могу! — так же тихо ответила она. Потом, через мгновение, он спросил:

— Поняли?

— Да, поняла.

— Исполните?

— Исполню.

— Князь, прошу вас, войдите! — громко сказал Калиостро.

Щенятев во мгновение был у кресла, в котором бледная и неподвижная лежала Елена, и вопросительно, любопытно и робко глядел в глаза учителя.

— Вы знаете, что я владею большими силами, что я знаю величайшие тайны природы, — заговорил Калиостро, — и что природа мне послушна. Я даю вам теперь ясное тому доказательство: графиня вас любит, цель ваша достигнута, сердце этой прекрасной женщины принадлежит вам. Но, несмотря на всю мою силу, я на этот раз должен был бороться с природой, и мне нелегко далась победа, так как в сердце графини была большая к вам антипатия.

Щенятев задыхался от радости, восторга и

невольного, непонятного страха.

— Граф! Граф! — бормотал он. — Моя благодарность не имеет границы, и я сумею доказать вам это... Вы мой благодетель...

— Теперь же я чувствую себя очень утомлённым, — продолжал Калиостро, скрывая усмешку, — я должен удалиться и вернуть известным мне способом затраченные мною силы. К тому же я не хочу мешать вашему счастью, ловите его, пользуйтесь каждым мгновением. Стойте неподвижно, пока я не уйду, а графиня не проснётся.

Сказав это, он быстро подошёл к двери, простёр руки по направлению к Елене, а затем скрылся за спущенной портьерой.

V

В то же мгновение Елена шевельнулась, открыла глаза, поднялась с кресла и увидела Щенятева.

Он стоял перед ней смущённый до последней степени, с выражением вора, застигнутого на месте преступления. Он не смел сомневаться в ожидавшем его счастье, но и боялся ему верить, и в то же время его наполняло

неясное, но томительное сознание своей преступности. Если бы он поднял глаза и встретил строгий и холодный взгляд Елены, он ни за что не решился бы произнести ни одного слова и бежал бы от неё без оглядки, не ожидая действия чар великого Копта...

Но когда он робко, с усилием поднял глаза, перед ним блеснул не строгий, не холодный взгляд, а взгляд, полный ласки и нежности. Никогда ещё Елена не была так обольстительно хороша. Любовь озарила все лицо её особенным очарованием...

Он был так безумно влюблён в эту женщину, он жил ею, она одна наполняла все его сны, все его грёзы. Он ждал этого мгновения как высочайшего блаженства, представлял себе это прелестное лицо, озарённое нежной, вызванной им улыбкой, — и замирал от восторга, готов был отдать всю жизнь за одну минуту счастья...

И вот она глядит на него с лаской и любовью! Пришла блаженная, так долго, мучительно, страстно жданная минута... Она его любит!.. Он бросится перед нею на колени, он покроет её руки безумными поцелуями, он

умрёт от блаженства и страсти...

А между тем он не смел шевельнуться: панический страх оковал его и пересилил его радость. Не он кинулся к её ногам, а она быстро подошла к нему и взяла его руку. Её глубокие, подернутые страстной влагой глаза нежно глядели, но возбуждали в нём не блаженство, а леденящий ужас. Ему казалось, что перед ним не Елена, а непонятное, неземное существо, одно из тех терзающих душу существ, вызванных графом Фениксом тогда, во время страшного вечера у Сомонова...

«Разве это она? Разве она может быть такою, так глядеть, так улыбаться?»

Что-то непонятное возмущалось в нём и не верило, не могло верить такой внезапной перемене.

А Елена не выпускала его руки. Она шептала:

— Князь, как давно это было, когда здесь, в этой комнате, вы говорили мне, что меня любите!.. С тех пор вы молчали... отчего?

— Ведь вы запретили мне... я не смел! — безбожно шепелявя и дрожа, как в лихорадке, произнёс он.

— Простите меня и забудьте... теперь говорите мне, говорите, что меня любите... пойдём вот сюда... это мой любимый уютный диванчик... сюда, садитесь рядом со мною...

Она увлекала его за собою. Его длинная фигура как-то неуклюже и деревянно упала на мягкие подушки низенького диванчика. Он был особенно смешон и некрасив в эту минуту, с высоко поднятыми коленями худых ног, с ужасом на побледневшем лице, на котором только один маленький круглый нос не изменил своего обычного цвета и краснел, подобно яркой пуговице. Но Елена не видела его комичного безобразия — она с восторгом на него глядела, и в тишине комнаты раздавался её мелодический шёпот:

— Скажите же мне, что по-прежнему меня любите, что не изменились ко мне!..

И он отвечал все с тем же ужасом, будто делая самое мучительное, вынужденное признание:

— Я люблю вас...

— И я люблю вас, мой дорогой, мой верный друг! Слышите, я люблю вас!.. Что с вами?.. Да говорите же, говорите! Вы меня муча-

ете!..

— Я люблю вас... я люблю... вас! — бессмысленно повторял он.

Она крепко сжала его руки.

— О! Повторите, повторите ещё!

Но вдруг она замолчала, будто припоминая что-то. Брови её сдвинулись, и на лице появилось сосредоточенное, напряжённое выражение. Она, очевидно, силилась что-то припомнить — и не могла. Наконец глаза её блеснули, на щеках вспыхнула краска, напряжённое, почти мучительное выражение уступило место сияющей улыбке.

— Как мне отрадно слышать ваш чудный голос! — воскликнула она. — Друг мой, как могла я до сих пор не видеть, не заметить вашей красоты? О, как вы прекрасны!.. Никогда не в силах была я себе представить, чтобы человек мог быть так прекрасен... В картинных галереях я видела чудные изображения, созданные великими художниками; но ни одно из этих изображений не может сравниться с вами в красоте!.. Дайте же мне налюбоваться вашими чертами...

Бедный Щенятев не знал, конечно, до ка-

кой степени он смешон и дурен, но всё же он не почитал себя красавцем, и его лицо, отражённое в зеркале, а особенно этот похожий на пуговицу и почему-то всегда чересчур румяный нос не могли не смущать его порою. Нежданные слова Елены звучали для него горькой обидой и насмешкой. А между тем она восхищалась им, горячо и страстно. Она любовалась им. Ему становилось всё тяжелее и тяжелее, его панический страх усиливался... Всё это было совсем не то, о чём он мечтал, к чему стремился...

Он закрыл глаза и силился освободиться от своих тягостных ощущений.

«Ведь это чары! — твердил он себе. — С какой же стати я боюсь? Чего боюсь?.. Она меня любит!..»

И он чувствовал её всё ближе и ближе... её горячее дыхание уже касалось его щеки...

— Милый!.. Отчего ты так холоден?.. Или ты меня не любишь?..

Какое безумие! Ведь это её голос ему шепчет... «Пользуйтесь каждым мгновением!» — вспоминаются слова Калиостро.

Вдруг будто электрическая искра пронзила

его: тяжесть, страх, смущение, обида, неясное сознание своей преступности — всё исчезло. Прежняя страсть закипела в нём. Он открыл глаза, встретился с её манящим взглядом. Он схватил трепетной рукою её стан, привлекая её к себе... Ещё миг — и губы их встретятся в долгом поцелуе блаженства, и она, гордая, целомудренная Елена, погибавшая от любви к таинственному, прекрасному человеку, всецело завладевшей её душою, забудет всё в объятиях смешного Щенятева!..

Но не дано было прозвучать этому противоестественному поцелую.

Новая, ещё более внезапная перемена произошла в ощущениях Щенятева. Новый могучий ток пронизал его и парализовал его мысли, его волю. Он перестал сознавать присутствие Елены, не видел её. Он вырвался из её объятий и спешно направился к двери. Вот он в соседней гостиной, где несколько минут перед тем, удалённый великим Коптом, с нетерпением и тревожной ревностью ждал позволения войти и, трясясь, как в лихорадке, подсматривал у спущенной занавеси таинственные действия учителя, подслушивал, тщетно

стараясь расслышать его шёпот и ответный шёпот Елены...

Какая-то, неизвестно откуда появившаяся мужская фигура совсем неслышно ступая по ковру, приблизилась к нему и, прежде чем можно было её заметить и удивиться, он почувствовал на своём лбу горячую руку. Мгновенно он потерял всякое сознание окружающего, будто его взяли и окунули в какую-то новую, непостижимую стихию. Перед ним носились в хаотическом беспорядке, появлялись и пропадали бесчисленные, различные образы.

В одно мгновение он увидел со всех сторон тысячи человеческих лиц, мужских, женских, старых, молодых, детских, во всевозможных одеяниях и положениях. Он увидел в то же время тысячи неизвестных и непонятных ему существ, доходивших до божественной, умиляющей душу красоты, и до цепенящего безобразия. Бесконечность всевозможных предметов, форм и сочетаний окружала его, неслась перед ним, клубилась и терялась в сияющем, серебристо-голубом, беспредельном пространстве...

«Забудь все и никогда не вспоминай! — звучал над ним, как удары колокола, потрясая все его существо, властительный голос. — Забудь всё, что имеет отношение к женщине, с которой у тебя нет ничего общего: ты не должен любить её, и она тебя любить не может... Не пытайся заглядывать в те сферы, где тебе нечем дышать, где ты ослепнешь, оглохнешь — и погибнешь... Вернись к своей прежней жизни: ешь, пей, веселись, ибо ты материя, и не скоро ещё настанет время для развития твоего духа... Но это время придёт — и далёкий голос в редкие святые минуты никогда не перестанет напоминать тебе, что придёт это время... Забудь же всё!..»

Щенятев бессознательно, машинально прошёл ряд комнат, оделся в передней, вышел на подъезд и сел в свою карету. Только подъезжая к дому, он пришёл в себя. Он не знал, где был, откуда едет... Впрочем, он и не останавливался на этой мысли. Приехав домой, он вспомнил, что завтра очень интересный маскарад у Нарышкина, прошёл, сопровождаемый камердинером, в гардеробную, приказал отпереть шкафы с платьем и стал

выбрать костюм для маскарада...

Между тем появившаяся в гостиной Елены фигура приблизилась к двери и остановилась... Елена была все на том же низеньком диванчике, где покинул её Щенятев всё в той же позе, в какой он её покинул... Она будто обнимала кого-то... Но вот под взглядом, на неё устремлённым, её руки опустились, она откинулась на спинку дивана, лицо её приняло более спокойное выражение. Тёмная фигура приблизилась к ней, и на неё пахнуло теплом...

«Забудь всё это!» — и над нею прозвучал, подобно колоколу, властительный голос...

Её душа рванулась навстречу этому теплу, этим звукам. Но иная сила удерживала её, и несколько мгновений во всём существе её происходила мучительная, жестокая борьба двух сил, двух влияний, двух волей. Это была разрушительная борьба. Елена оставалась неподвижной, но в то же время глубоко страдала. Холодный пот струился с её лба, её зубы были стиснуты.

Наконец вновь явившаяся сила восторжествовала. Чары Великого Копта были разру-

шены. Елена внимала новому приказу. Она забыла только что происшедшую возмутительную сцену, забыла Щенятева. Она открыла глаза и увидела перед собою Захарьева-Овинова.

Безумная радость охватила её. Наконец-то он здесь, у неё, и они одни, и она читает любовь в его взгляде. Она хотела встать, но невыразимая слабость приковала её к месту. Все её тело было разбито. Сердце её мучительно сжималось и горело, будто огнём палило ей грудь. Она могла только ему улыбнуться, могла только глазам сказать ему, как она его любит, как счастлива и как невыносимо страдает.

VI

Появление Захарьева-Овинова в доме Елены не было случайным. Несмотря на тревожное состояние духа, великий розенкрейцер по-прежнему владел всеми своими знаниями и силами, и к тому же на его обязанности лежал надзор за действиями Калиостро. Никто не возлагал и не имел права возложить на него этой обязанности, но она прямо

истекала из его положения.

Если он до сих пор считал возможным отстраниться от всякого деятельного вмешательства и быть только зрителем, то теперь, когда Калиостро, очевидно, забыл всякую меру и начинал ради своих личных целей наносить людям вред, делать зло, вмешательство сильнейшего становилось необходимостью.

И Захарьев-Овинов начал следить за Великим Коптом.

Если б Калиостро не был ослеплён своим успехом, а главное, если б он почаще вспоминал полученные им уроки и слова своих учителей, он понял бы, что Лоренца права, что он вовсе не в безопасности. Он должен был знать, что человек, получивший какое-либо посвящение и нарушивший клятву, возбуждает против себя могучую силу и сам роет бездну под своими ногами. Он должен был знать, как сам же рассказывал у Семенова, что по пятам клятвопреступника следует неумолимый мститель...

Но он был ослеплён и начал считать фантастической старой сказкой то, чему сам глубоко верил в недавнее ещё время, в знамена-

тельные минуты своей жизни. К тому же мщение медлило, до него было ещё далеко. Он получил только предостережение...

Действительно, Захарьев-Овинов не хотел поступать решительно и жестоко, он надеялся, что Калиостро после полученного предостережения поймёт, что ступил на совершенно ложный и опасный путь и остановится, и начнёт действовать иначе. Ведь в этом человеке заключается настоящая, большая сила; его деятельность могла бы принести пользу. Ведь на него ещё недавно рассчитывали не только масоны, но и сами розенкрейцеры. Следовательно, необходимо постараться спасти его — и для него самого, и для дела...

Но вот предостережение не подействовало — и великий розенкрейцер, вооружённый всеми своими тайными способами знать человеческие намерения, своевременно узнал о том, что Калиостро легкомысленно и преступно покушается на судьбу Елены и намерен внушить ей страсть к Щенятеву. Таинственный оракул, странными с виду знаками, цифрами и формулами рассказывавший великому розенкрейцеру изо дня в день всё, что ка-

салось Калиостро, не назвал прямо имени, но указания его были точны и определённые. Со-мнений не могло быть никаких.

Захарьев-Овинов почувствовал глубокое негодование. В указанное ему его вычислени-ями время он был в доме Елены. Если б он опоздал на полчаса — преступное деяние уже совершилось бы. Но его расчёты были верны; он не мог ошибиться, не мог опоздать. Он во-шёл в дом именно в то самое время, когда дверь отворилась и слуга провожал Калиостро.

Великий Копт остановился на мгновение, почувствовал нечто странное, в чём не мог дать себе отчёта. Но он никого не увидел, или, вернее, не заметил. Не заметил также нового вошедшего гостя и слуга, отпиривший и запи-равший двери...

Сказка о шапке-невидимке, конечно, толь-ко сказка, но внимательное наблюдение окружающих нас явлений, но истинная, без всяких предвзятых взглядов наука, смело иду-щая ежедневно вперёд, доказывают нам все яснее и яснее, что нет такой сказки, которая не была бы основана на действительности. Да

и откуда бы явилось у человека какое-либо представление, если б его не было в природе?..

Великий розенкрейцер захотел, чтобы его появление не было замечено, и так подействовал на Калиостро и на слугу, что они его и не заметили. Легко и неслышно ступая, скользя, подобно тени, он достиг комнаты, рядом с которой находились Щенятев и Елена. Он сбросил с себя плащ и, не трогаясь с места, отвлек Щенятева от Елены, а затем излечил его навсегда от его страсти...

Теперь он был перед Еленой, освободил её от чар Калиостро, победил в ней его силу, его приказ, заставил её забыть всё, что произошло с нею. Она, измученная, обессиленная, глядела на него взглядом, полным беззаветной любви, она принадлежала ему всецело, и весь её мир, все её прошлое, настоящее и будущее заключались только в нём одном.

Но ведь он был теперь перед нею не затем, чтобы познать никогда неизведанное им блаженство земной любви. Он считал это блаженство жалким соблазном и глубоким падением. Испытывая страстное и нежное влече-

ние к Елене, он признал его своим последним испытанием...

Они не должны были любить друг друга земной любовью. Но ведь он знал, что она его любит, что любовь эта владеет всем существом её. Он знал все её муки, понимал, до какой степени несчастна, как гибнет, сгорая внутренним огнём, эта прекрасная и телом и душою женщина... Отчего же, избавив её от всех мук, не вырвал из неё сжигавшего её чувства? Ведь он мог это. Заставляя её забыть всё, что сейчас было, он мог прибавить: «Забудь и свою любовь ко мне, как будто ты никогда меня не любила...» И она, подчиняясь всё тому же неизбежному природному закону, исполнила бы его волю... и стала бы спокойной, и узнала бы, может быть, иное, возможное для неё на земле счастье...

Он не сделал этого потому, что должен был выдержать последнее испытание, не прерывать его, не бежать от опасности, не обходить её, а испытать до конца, до последней капли полный кубок соблазна — и остаться победителем на холодной, лучезарной высоте, где сиял, переливаясь волшебными лучами, ве-

ликий символ Креста-Розы...

Ещё в недавнее время мог ли он подозревать, что для него, закалённого в борьбе, неуязвимого, поправшего в себе все земное, будет так страшно и тяжело это последнее испытание! Сколько раз и в годы юности, и в зрелом уже возрасте вызывал он перед собою самые соблазнительные образы женской красоты — и всегда оставался к ним равнодушным и холодным.

Мало того, юная красота с манящим и стыдливым приветом во взоре — это вдохновеннейшее создание материальной природы — всегда представлялась ему враждебной, ядовитой, а потому отталкивающей. Ведь он знал, какое падение, какая бездна безнадёжного отчаяния, напрасных и бесплодных сожалений, потерянной свободы и силы ожидают человека, стремившегося к порабощению природы и пленённого тленной красотой быстро преходящих земных форм. Что может быть ужаснее: отдать всю жизнь достижению высшей цели, подняться почти на вершину горы, уже познавать все блаженство свободы и могущества — и в миг один быть сброшен-

ным в самую глубину материи... Одной этой мысли было достаточно для розенкрейцера, чтобы глубоко презирать земную красоту и не бояться её соблазнов...

Но ведь он также знал, что не напрасно последним испытанием мудрого является именно этот, а не иной призыв материи. Он знал, что для последней борьбы со своим поработителем природа собирает все свои силы и сосредоточивает их в одном могучем центре.

И этот центр — всегда, везде и во всём — любовь, а в ней творческая сила, и следствие её — жизнь...

Наконец великий розенкрейцер понял, в чём состоит действительный соблазн и страшная опасность испытания. Природа, так решил он, выступая в последнюю битву со своим поработителем, отлично знает силы противника, и обмануть её нет возможности. Она не станет пленять телесной красотой того, кто понимает истинную цену и значение этой красоты. Она не вышлет жрицу сладострастия, сверкающую ослепительной наготой, соблазнять того, кто в силах отвернуться от такого соблазна.

Она покажет своему сильному противнику прекрасную душу в прекрасной оболочке и очарует его этой душой. Ему будет казаться, что он любит только прекрасную душу, что он ищет сближения только с родственной ему высокой душой. А между тем это будет один самообман, и когда природа достигнет цели, когда совершится падение её поработителя, из-за прекрасной души, из-за духовного сближения выступит земная, материальная форма со своими неумолимыми, грубыми правами, со своим отравляющим опьянением животной страсти...

Так решил Захарьев-Овинов, и ему стало ясно, что тогда ещё, в Риме, природа его обманывала. Он очищал душу Елены и поднимал её в высокие духовные сферы, находя в ней сродство с собою, а материальная, земная Елена незаметно опутывала его незримой паутиной...

Но ведь он понял коварство природы и понял также, что природа стоит перед ним во всеоружии, готовая смертельно поразить его. И он содрогнулся, в первый раз за всю жизнь почувствовав в себе возможность слабости.

Он долго откладывал последнюю битву, долго к ней готовился. Но медлить долее было бы трусостью, его недостойной.

И вот он решил, наконец, принять вызов. Он лицом к лицу с грозящей опасностью. Елена глядит на него глазами, полными неизъяснимой любви, — и его сердце трепещет и замирает от этого взгляда...

VII

Но как она изменилась, как много и глубоко она страдала! В его душу закрадывается новое чувство, никогда ещё им неизведанное. Это чувство щемящей, терзающей жалости. Только стоит поддаться ему — и всё будет забыто: он направит свои силы и знания в известном направлении и успокоит это истерзанное, потрясённое сердце, даст ему мир и забвение...

Но нет, он стоит на своём, он вышел в битву, и только его губы почти бессознательно шепчут, повторяя мысль его:

— Графиня, зачем вы допускаете в себе такие страдания, зачем вы себя губите!..

Безумные, жестокие слова. От этих слов

Елену охватило такое отчаяние, душа её так возмутилась, что она позабыла всю свою слабость, сила жизни закипела в ней, и она негодующая, изумлённая такой нечеловеческой жестокостью поднялась перед Захарьевым-Овиновым и глянула на него сверкающим взглядом.

— Зачем вы говорите о моих страданиях? — воскликнула она. — Ведь вы знаете, что я не в силах бороться с ними, что не я в них виновата, а вы!.. Я ждала вас, ждала долгие дни, целую вечность... Наконец вы со мною... Но зачем вы здесь? Неужели для того, чтобы терзать меня и надо мной издеваться?!

Она ждала ответа. Но ведь не мог же он сказать ей, что явился для того, чтобы бороться против любви и страсти, возбуждаемых в нём ею. Он только опустил голову, а она, не дождавшись ответа, продолжала с мучительной горечью:

— Или вы ни в чём не виноваты? Но в таком случае зачем же вы пришли тогда и взяли мою душу?.. Я не знаю, кто вы... вы, князь Захарьев-Овинов; но это мне ничего не объясняет... Я знаю только одно, что вы бесконечно

выше других людей, что у вас непонятное для меня таинственное могущество... Вы знаете всё, и всё можете...

— Я никогда не говорил вам этого и не давал вам доказательств какой-либо особенной моей силы...

— Да, вы никогда о себе не говорили; но доказательств у меня много... Или думаете вы, что за все эти долгие месяцы, когда я жила только вами, я ничего не поняла, ни в чём не уверилась? Я не знаю, кто вы, но всё же я вас знаю... Тогда... в Колизее... Вы появились предо мною — и в один миг навсегда взяли мою душу, моё сердце, мою жизнь... Вы знали это — значит, этого хотели, значит, вам нужны были моя душа, моё сердце, моя жизнь!.. С этой минуты вы от меня не уходили, были всегда со мною, зримый или незримый, но всегда были. Вы разбудили меня от долгого сна, от забытья, от томительного ожидания... вы показали мне новую жизнь, приподняли передо мной на мгновение завесу, за которой скрываются великие тайны... И тогда вы велели мне возродиться, отрешиться от прежней жизни, навсегда покончить с нею — и следо-

вать за вами... Или это неправда? Не так оно было? Не то означал ваш отъезд из Рима и наша первая встреча здесь, когда я исполнила всё, чего вы от меня требовали?

Он взглянул на неё своими загадочными, как звёзды сиявшими, глазами и твёрдо ответил:

— Всё это правда.

Как будто тихий голос какой-то неясной надежды закрался ей в сердце.

— Зачем же томили вы меня до сей минуты? Ведь вы знаете, что я давно жду вас, что я все исполнила, готова следовать за вами повсюду, что я люблю вас и не сделала ничего такого, за что могла бы стать недостойной любви вашей!.. Или это было испытание? Или, может быть, внезапно, уже здесь, вы изменились и вам уже не надо ни моей души, ни моего сердца, ни моей жизни?..

— Я всё тот же... Не изменился и не могу измениться.

— Так что же это значит?

— Это значит, что, к моему и вашему несчастью, мы оба ошиблись... Вы говорите мне о таком чувстве, какого не может и не

должно быть между нами.

Она подняла на него свои прекрасные глаза, в которых изобразилось глубокое изумление.

— Между нами может быть только любовь, — произнесла она, — любовь одна, и я говорю о ней, и вы знаете, что ни о чём ином я говорить не могу.

— Нет, вы ошибаетесь! — горячо воскликнул он. — Любовь — не одна!.. Вспомните, что я говорил вам, в одну из наших встреч, о страдании и блаженстве. Я говорил вам: главный закон, действующий во всей природе, — это стремление к соединению. Закон этот необходим, ибо в нём заключается сила подобий и соответствий, а без сей силы не может быть жизни. Всякое препятствие к соединению производит усилие для избавления себя от этого препятствия. Такое усилие и есть то, что мы называем страданием. Но всякое препятствие временно, ибо его можно побороть, а посему и страдание преходяще. Пока существуют препятствия, дотоле продолжаются и страдания. Коль скоро прекратятся препятствия, прекращаются и страдания, и настанет

покой и соединение. Всё в мире, начиная с самого низшего творения и кончая высочайшим, стремится и должно стремиться к соединению с себе подобным. Чистое не может соединиться с нечистым, высшее с низшим, ибо соединение состоит в подобии. Быть существенно соединённому со своим подобием есть высочайшее блаженство всякого существа, ибо только к этому клонятся все его усилия и стремления... Вот что я говорил вам — и вы поняли эти истины...

— Я и теперь их понимаю, — задумчиво сказала Елена, — но не могу ещё ясно понять вашей мысли.

— Моя мысль проста: два существа, имеющие между собою подобие, не могут и не должны стремиться к соединению в низшей природной сфере, когда получают возможность соединиться в высшей. Человек на земле состоит из временной, преходящей материи и вечного духа. От него зависит во время своей земной жизни дать в себе преобладание или материи, или духа. Я всю жизнь трудился над развитием своего духа и поработил себе материю. Вы способны на то же — и я

пришёл в вашу жизнь именно для того, чтобы направить эту работу и помочь вам... А вы... вы говорите мне о земной любви, о соединении в сфере временной и враждебной духу материи, о соединении грубом, животном, задерживающем развитие духа, тогда как наше соединение может быть вечным и блаженным в блаженной и вечной сфере духа!..

Елена все поняла, но он ни в чём не убедил её. Она чувствовала, что в этих словах звучит какой-то разлад — и этот разлад терзал её...

— Да, мы люди, состоящие из тела и духа, — воскликнула она, — и если мы подобны, если стремимся друг к другу, то и соединение наше должно быть полным, временным и вечным, земным и небесным!.. Не старайтесь смутить меня. Я верю в высший разум Творца и в Его благость. Я не верю и не могу поверить, чтобы честное исполнение Его закона, без которого прекратилась бы вся земная жизнь, Им созданная, могло быть греховным, грязным, недостойным человека... Земная любовь! Да ведь я говорю об истинной, чистой и самоотверженной любви, о любви му-

жа и жены, соединяющихся навеки, а не о разврате, не о мимолётном, изменчивом капризе!.. Вы хорошо знаете, какой любовью я люблю вас!..

— Да, я знаю и не могу отвечать вам подобной любовью, ибо такая любовь, любовь земного мужа к земной жене была бы моим падением...

Но этих последних его слов она даже и не слушала. Дикими и жалкими казались ей теперь всякие рассуждения. Её всю охватила её любовь; она чувствовала только присутствие давножданного, давно любимого человека; она знала только, что должна победить его, ибо в этой победе или поражении был для неё вопрос жизни и смерти. Она сжала руку Захарьева-Овинова и привлекла его. И он склонился, почти упал к ногам её на мгновение обессиленный и тоже охваченный одним ощущением, ощущением близости любимой женщины.

Природа побеждала, природа зачаровывала. Он не мог оторваться от этих чудных глаз, он ловил, как дивную музыку, звуки этого милого голоса.

Она говорила:

— Милый, велики твои силы, знания, твоё могущество! Но я чувствую и знаю, что не могу ошибаться: твоя жизнь прошла без тепла, без счастья, без любви... И моя жизнь была такою же — унылой, холодной, безотрадной. Недаром пришёл ты ко мне, судьба привела тебя, мы назначены друг другу. Как я тебя узнала и полюбила с первого мгновения, так и ты должен был узнать и полюбить меня... Иначе не могло быть, и так оно было... Не обманывай меня... не сисься отворотить от меня своё сердце словами и рассуждениями... забудь все слова и слушай только то, что говорит тебе твоё сердце... Не к падению я зову тебя, а к блаженству! Любовь счастливая, это светлое и тёплое солнце жизни не ослабит, а разовьёт твои силы, окрылит твои мысли и вознесёт тебя высоко... и я вознесусь вместе с тобою... Да, вместе, вместе... Я жизнь и душу готова с радостью отдать тебе, так разве может быть такая любовь тебе в чём-либо помехой?.. Гляди же на меня, гляди в мои глаза — ты умеешь читать в душе, ты видишь все мысли и чувства... читай же мою душу!..

И он глядел, и он видел, что эта прекрасная душа, чистая, как хрусталь, заключающая в себе все качества для быстрого и пышного расцвета, всецело принадлежит ему и ждёт от него решения своей участи, ждёт жизни или смерти...

То счастье, то блаженство, которого он достигал всю жизнь и не мог достигнуть на дивных высотах знания, теперь впервые наполнило его, потрясая все существо его неведомым трепетом. Только теперь постигал он впервые, что такое тепло, что значит быть согретым...

Её слова звучали в нём и внутренний голос шептал им в ответ: «Да, ты права, такая любовь не погибель... она может окрылить, укрепить, а не ослабить добытые трудом и волей силы... она светла и тепла, как солнце... она и есть солнце жизни!..»

Но вот заглушая всё: и голос сердца, и её нежный молящий голос, из глубины гордого, стремящегося к высшей власти духа, — внезапно раздалось грозное слово: «Великий розенкрейцер! Ты гибнешь! Не взойти тебе на высшую ступень... природа победит тебя...

вечная Изида из послушной рабыни превратится для тебя в неумолимую властительницу... Бездна под твоими ногами... ещё один шаг, один миг — и все погибло!»

Лицо Захарьева-Овинова покрылось смертельной бледностью. Глаза его померкли. Он поднялся с колен и быстрым движением выволок свои руки из рук Елены.

Она поняла эту внезапную перемену, прочла свой приговор в его помертвевшем лице, но всё ещё не смела верить — ведь это было так безумно жестоко, так несправедливо, так неестественно!..

— Ты уходишь?.. Нет, этого не может быть... ты не можешь уйти, потому что я люблю тебя и ты меня любишь!.. — растерянно шептала она.

Она силилась удержать его; но он отстранил её руки.

— Прощай Елена, — сказал он, — я не могу сойти к тебе, и не дано мне поднять тебя... Прощай навеки!..

Его нет. Она одна. Проходят минуты, а она все неподвижна, без мыслей, в тупом оцепенении... Но внезапно нежданная мысль

мелькнула перед нею.

«Безумная! Если он ушёл, значит, не любит тебя, значит, любит другую!.. Как же ты о ней забыла, об этой ужасной красавице?! Ведь ты знала, что в ней твоя гибель... Как же ты забыла?!»

Дикий, нечеловеческий хохот, смешанный с рыданиями, вырвался из груди Елены. А бедное, истерзанное сердце стучало все болезнее, заливаясь кровью...

VIII

Он победил природу, но никогда ещё, с тех пор как ему приходилось выдерживать всевозможные испытания, победа не требовала стольких усилий, не давалась так трудно. До сего времени после каждого пройденного испытания, после каждой победы он всегда изумлялся ничтожности выдержанной борьбы.

Сначала, до розенкрейцерского посвящения, ему казалось, что не он силен, а слабы борющиеся против него силы. В последние годы, когда он хорошо узнал и значение этих сил, и могущество их, он стал приписывать

лёгкость одерживаемых им побед своей твёрдости, своей железной воле.

И, конечно, такое сознание было для него лучшей наградой. Он видел себя на недоступной для других высоте, чувствовал, что стоит на ней твёрдо, мог глядеть на всё и на всех спокойно, сверху вниз — и это было единственным наслаждением его суровой, холодной жизни.

Какое же высокое наслаждение и довольство должен был он ощущать теперь, выйдя победителем из самой тяжёлой борьбы, благополучно выдержав своё последнее испытание! Ведь он был уверен, что теперь беспрепятственно поднимается на высшую ступень дивной лестницы посвящений.

А между тем ни наслаждения, ни довольства собою в нём не было. Он чувствовал себя разбитым, подавленным, уничтоженным, будто не он одержал самую блистательную победу, а его победил могучий враг и низринул с высоты в тёмную бездну. Именно таковы были его ощущения: ему казалось, что он потерял почву под ногами и быстро стремится куда-то вниз, и не в силах удержаться.

Что же это значило? Или он не победил соблазна любви? Или он нашёл в себе только временно силу оттолкнуть Елену, уйти от неё, но скоро опять к ней вернётся?.. Нет, он хорошо знал, что Победа, одержанная им, не мнимая, а действительная победа; он никогда не вернётся к Елене; она ему чужда теперь — их дороги разошлись навеки. Он даже не думал об этой прекрасной женщине, оставленной им в жертву глубокому отчаянию. Он сказал себе: «Если она не в силах подняться выше материи и должна поэтому погибнуть, значит так тому и надо быть». Он сказал себе это и отогнал от себя её образ. И этот соблазнительный образ побледнел, померк, испарился.

А ему было всё так же тяжело, ещё тяжелее. Он спешил к себе домой быстрым, мерным шагом, едва касаясь земли, и пешеходы, попадавшиеся ему навстречу среди тишины тёмных, окутанных в осенний туман улиц, давали ему дорогу, с изумлением, почти со страхом на него глядя, невольно спрашивая себя: кто это? Человек или призрак?

Но он был не призрак, и природные влияния действовали на него, как и на всех, если

только он не противопоставлял им свою волю, способную творить чудеса как в духовной, так и в материальной сфере. Теперь он не думал о природных влияниях, не боролся с ними, а потому это быстрое и продолжительное движение на воздухе произвело в нём телесную усталость и в то же время несколько успокоило его душевное волнение, освежило его горящую голову.

Он вошёл в свою рабочую комнату уже не тем, каким вышел из дома Елены. Он был снова, как и всегда, холоден и спокоен, и черты лица его выражали несколько мрачную неподвижность.

На жёстком кожаном диване, прислонив голову к его высокой деревянной спинке, сидел и крепко спал отец Николай. Захарьев-Овинов нисколько не изумился, увидя здесь своего двоюродного брата, так как, приближаясь к спящему, знал, что с ним встретится. Он подошёл к спящему священнику, остановился перед ним и устремил на него свой загадочный взгляд, в котором трудно было прочесть что-либо.

Но вот этот взгляд как бы внезапно вспых-

нул, и в нём мелькнули вопрос, изумление и недоумение над вопросом, на который нет ответа. Никогда ещё в течение всей жизни не встречал Захарьев-Овинов на лице человеческого такого света, такой безмятежности, такого невозмутимого, торжественного спокойствия.

Он знал одно поразительное лицо, навеки запечатлённое в его памяти, чудное старческое лицо отца розенкрейцеров. Не раз видел он это лицо в то время, как мудрый старец после долгих работ и ночных бдений забывался кратковременным сном. Захарьев-Овинов делал тогда над ним свои наблюдения. Черты учителя тоже выражали торжественное спокойствие, тоже были светлы и безмятежны, но всё же между седыми, нависшими бровями всегда и неизменно лежала глубокая тень, говорившая о тяжёлой внутренней борьбе, о прожитых сомнениях и бурях.

На лице же спящего священника не было никакой тени — один только свет, одна чистота и радость.

И Захарьев-Овинов, отрешась внезапно от всей своей внутренней жизни, пронизатель-

ным, привычным взглядом разглядывал этого спящего перед ним человека. И он понимал, видел ясно, что человек этот разгадал великую тайну, тайну, не дававшуюся ему, великому розенкрейцеру, неразгаданную даже и его мудрым учителем-старцем. Человек этот был счастлив. Он изведal истинное, духовное блаженство и теперь спал, ища во сне не забвения, не успокоения от внутреннего разлада, а просто телесного краткого отдыха.

Этот краткий отдых был действительно необходим священнику. Прошло немного больше недели с тех пор, как он приехал в Петербург и произвёл поразительную перемену в состоянии здоровья старого князя. За это время больной был неузнаваем: его страдания почти прекратились, силы вернулись. Он уже снова, закутанный в меховой халат, сидел в своём покойном кресле и даже несколько раз в день, чего с ним не случалось уже более года, мог медленно, с трудом, но всё же пройтись по комнате. У него явился аппетит, мысли его прояснились, он снова жил.

Для каждого, кто видел его в последнее время, а тем более для сына, такая перемена

являлась необычайной, чудесной. Но только он сам действительно понимал весь её смысл, все её значение.

В течение всей своей жизни равнодушный к религии и обращавшийся к ней только внешним образом, только по привычке, старый князь теперь по целым часам горячо молился. Он постоянно требовал к себе отца Николая и долго беседовал с ним наедине. А когда священник уходил, старик оставался в каком-то особенном, почти экстатическом состоянии, с просветлённым лицом, с тихими радостными слезами, незаметно катившимися по щекам.

Однако весьма часто его желание видеть отца Николая оказывалось неисполнимым. Слуга доказывал князю, что батюшки нет дома, что он пошёл по больным и ещё не возвращался.

Дело в том, что на следующий же день по приезду священника у него оказалось очень много занятий в Петербурге, хотя он никогда здесь не был, хотя ещё за сутки перед тем никто не знал его, да и сам он никого не знал.

Но теперь его знали.

Старый слуга князя, бывший свидетелем необычайного исцеления своего господина и глубоко поражённый всем виденным, конечно, немедленно же рассказал обо всём другим княжеским слугам. Не прошло и суток, как уже далеко разнеслась весть о святом священнике, приехавшем откуда-то и исцелившем почти уже мёртвого князя Захарьева-Овинова.

Двор княжеского дома стал наполняться всяким народом. К отцу Николаю начали стекаться со всех сторон недугующие, страждущие, труждающиеся и обременённые. Всем была нужда до батюшки. Добившись свидания с ним и получив его благословение, каждый открывал ему свою душу, просил его молитвы и помощи. Он никому не отказывал, принимал всех в отведённой ему в княжеском доме комнатке, со всеми молился, всех утешал, обнадёживал. И каждый выходил от него с облегчённым сердцем, с облегчёнными телесными страданиями, с надеждой и верой.

Отца Николая стали звать к таким больным, которые сами не могли к нему прийти. Он спешил по первому зову.

Прошла неделя, и казалось, что у него не было ни днём, ни ночью возможности отдохнуть, не было возможности остаться наедине с самим собою. Выходя из спальни старого князя, он знал, что внизу у него уже давно ждёт его множество народа. А отпустив этот народ, дав каждому то, чего тот просил, он спешил из дома, сопровождаемый толпою.

Княжеская прислуга, чувствовавшая к нему благоговейную любовь, всё более и более волновалась:

«Совсем замучают батюшку, сам он заболет!.. Шутка сказать, восьмой день, восьмую ночь на ногах, неведомо когда спит, когда кушает...»

Но эти опасения невольно забывались при взгляде на священника. Несмотря на бессонные ночи, на образ жизни, который всякого довёл бы до болезни и полного ослабления, отец Николай был неизменно бодр и свеж и производил впечатление человека, только что отдохнувшего, освежённого сном, подкреплённого пищей.

Наконец у него выдался спокойный час, он отпустил всех пришедших к нему, обошёл и

объездил всех требовавших его присутствия. Он знал, что старый князь теперь мирно спит, а потому прошёл к Юрию Кирилловичу, которого не видал в течение двух дней и с которым не успел до сих пор побеседовать так, как бы хотелось.

Юрий ещё не возвращался, но он скоро вернётся. Так, по крайней мере, сказал себе отец Николай. И вот в ожидании брата и друга своего детства он присел на жёсткий диван, прислонился головой к его деревянной спинке и заснул тихо и безмятежно, как засыпают дети.

IX

Крепок и мирен был сон его, только вдруг среди этого крепкого сна он почувствовал какую-то тяжесть, открыл глаза и встретился с пристальным, недоумевающим взглядом великого розенкрейцера.

Он поднялся с дивана и улыбнулся опять-таки такой точно улыбкой, какой улыбаются дети, если их застанут заснувшими не в своё время и не на своём месте.

— Вот и ты, князь, — сказал отец Нико-

лай, — а я пришёл, тебя нет, и я стал дожидаться, да притомился за день, прилёг — и заснул. Если я тебе не мешаю, то останусь, благо я нынче свободен.

— Я и вернулся домой скорее, я и спешил, чтобы побыть и побеседовать с тобою, — отвечал Захарьев-Овинов. — Мы почти не видались все эти дни, но я знаю о тебе всё, каждый твой шаг. Не ведая усталости, забывая требования человеческой природы, днём и ночью ты молишься с приходящими к тебе и зовущими тебя, ты исцеляешь больных, и я ведь сам был свидетелем тому, что природа, столкнувшись с твоею силою, останавливает свою работу и подчиняется твоей воле... Кто же ты?

Изумление выразилось в светлых глазах отца Николая.

— Как кто я? — сказал он. — Ты знаешь, кто я: я тёмный и грешный человек, служитель алтаря Господня, напрягающий все свои слабые силы к тому, чтобы служение моё было честно. Я стараюсь исполнять все обязанности моего служения, и Господь иной раз, не по заслугам моим, помогает мне.

Захарьев-Овинов видел, что иного ответа на свой вопрос он не получит, что отец Николай не даст и не может дать себе иного определения.

— Скажи мне, как ты жил, как достиг того, чем теперь владеешь, скажи мне всё, не таюсь, брат мой!

Опять священник как бы с некоторым недоумением взглянул на него.

— У меня ни от кого нет тайностей, — воскликнул он, — а уж перед тобой, князь, перед присным и кровным моим, зачем же мне таиться? Ты желаешь знать, как я жил? Видимо, жил, как и все живут в моём звании; но я понимаю, что не видимые обстоятельства моей жизни тебя занимают, а духовная, внутренняя жизнь моя... Видишь ли, брат мой, что я скажу тебе: если Господь мне помогает и проявляет через меня, недостойного, свою силу и благодать, то это потому, что с отроческих лет моих возлюбил я Его всей моей душою, возлюбил добро и возненавидел зло.

— Добро и зло! — перебил его Захарьев-Овинов. — И ты уверен, что всегда правильно отличал добро от зла, что безошибоч-

но знаешь, в чём добро и в чём зло?

Отец Николай отвечал спокойно и уверенно:

— Когда человек живёт вдали от Бога, не освящаясь Его светом и не согреваясь Его теплом, то он окружён ночной темнотою и в этой темноте может, конечно, принять зло за добро и добро за зло. Но если он прилепится душою к Богу, то, согретый и освящённый Богом, он не может ошибиться. Как бы ни был ограничен его разум, он легко отличает добро от зла. Бог есть любовь, человек же создан Творцом по Его образу и подобию, и цель земной человеческой жизни ради вечного блаженства души должна состоять лишь в том, чтобы усовершенствоваться в себе образ Божий и подобие, то есть наполняться любовью...

Захарьев-Овинов ничего нового не услышал в словах этих, — они много раз звучали над ним и в нём, они были так просты и ясны. А между тем ему показалось, будто он слышит их впервые, и вместе с этим что-то смущающее, как бы неясный упрёк какой-то прозвучал в них. Отец Николай продолжал:

— Да, брат мой, только понять и почув-

ствовать это — и тогда не будет, не может быть никакой ошибки!.. Дерзай, сознавая всё своё ничтожество, уподобляйся Богу!.. Люби своего ближнего — и отдай себя ему на служение. Знай, что в каждое мгновение твоей жизни ты должен любить не мыслью, а сердцем, не словом, а делом... Давай всем и каждому то добро и благо, какого у тебя просят...

— А если у тебя просят того, чего ты не можешь дать, чего у тебя нет?

При этих словах Захарьева-Овинова глаза отца Николая загорелись каким-то особенным светом. Он поднялся перед великим розенкрейцером во всём блеске своей духовной красоты и силы.

— Если у тебя чего нет! — воскликнул он. — Так проси у Бога, ибо у Бога есть всё. Проси с дерзновением, взывай всею душой своей, пока Господь не услышит твоего голоса! И знай, слышишь ли, знай, что тебе непременно дано будет то, чего ты просишь, о чём неустанно взываешь для блага ближнего, ради любви к ближнему! Знай тоже и то, что если в разум твой или в сердце твоё закралось хотя малейшее сомнение, если хоть на еди-

ный краткий миг ты сказал себе, что Бог может тебя не услышать, что Он может не дать тебе того, чего ты у Него просишь, — ты становишься недостойн получить просимое, ты не в силах поднять дары любви и передать его ближнему. И напрасно тогда будешь ты взывать — твой глас замрёт, не поднявшись к Престолу Подателя всех благ. Вот и всё, вот в чём заключается то, что ты называешь моей силой.

Отец Николай замолк.

— Да, это так, — зазвучал металлический голос розенкрейцера, — дело не в словах... ты развил в себе волю, ты победил в себе материальную природу, и, освобождённый от уз её, ты умеешь хотеть, а потому твоё хотение исполняется. Да, я приветствую тебя вдвойне, брат мой! Хоть разными путями, но мы стремимся к одной цели — и достигаем её...

— Погоди, — спокойно и решительно перебил его отец Николай, — ты говоришь, что мы стремимся к одной цели разными путями. К моей цели ведёт только один путь, тот путь, о котором я сказал... другого пути нет и быть не может. Брат мой, страшусь, что ты находишь-

ся в заблуждении. Если б ты верным путём шёл к единой святой цели, ты был бы счастлив и блажен, а я уже говорил тебе, что ты несчастлив, а в сей час ты ещё несчастнее, чем когда-либо. Юрий, открой мне свою душу, ведь я здесь, перед тобою, затем, чтобы помочь тебе — не своею, а Божьею силой.

Он устремил свой светлый взгляд в глаза Захарьева-Овинова.

— Юрий, скажи мне, веришь ли ты в Бога?

И при этом слове он невольно содрогнулся сам, испугавшись своего вопроса.

Захарьев-Овинов ответил:

— Верю, только не так, как веришь ты. И моя вера даже не позволяет мне говорить о Боге, ибо как могу я говорить и судить о Непостижимом?

Отец Николай побледнел. Он хотел возразить — и не мог, хотел попросить — и не был в состоянии сделать вопроса, даже мгновенно забыл о своём вопросе. На него в первый раз в жизни действовала какая-то неведомая ему сила. То не была сила зла, ибо со злыми влияниями он давно умел бороться и умел распознавать их. Тут же он не знал с чем и как бо-

роться. Он поддался неведомой силе. Но ведь он не мог не исполнить того, зачем пришёл сюда.

— Теперь и ты расскажи мне, как ты жил, — спросил он брата, — и розенкрейцер в свою очередь поддался его силе и без сопротивления передал ему в общих чертах рассказ о своей внутренней жизни, о своей борьбе, о своих работах, о той великой науке, которую он изучал и изучил...

Отец Николай слушал внимательно; многое для него было непонятно в рассказе брата, но с каждой минутой выражение его лица становилось тревожнее и тревожнее.

— Я человек мало учёный, — наконец сказал он, — и та премудрость, о которой ты говоришь, для меня темна. Не знаю, так ли я тебя понял: твоя наука должна была научить тебя творить чудеса. Скажи мне, пробовал ли ты облегчить страдания твоего родителя, пробовал ли исцелить его?

— Да, пробовал! — с невольной тоскою в душе ответил Захарьев-Овинов.

— Пробовал и не мог... а всякий тёмный и неучёный человек с Божьей помощью, с ве-

рой и любовью может исполнить то, чего ты не в силах был исполнить.

И вдруг как бы внутренний свет озарил его, теперь он все понял.

— Так вот отчего ты так несчастлив!.. Ты живёшь без любви, ты живёшь без Бога!

Х

Захарьев-Овинов ничего не возразил на слова эти. Он сидел неподвижно; ни одна черта его как бы застывшего лица не дрогнула; прекрасные и холодные глаза глядели прямо в глаза священника. Этот взгляд, полный притягательной силы и власти, смутил бы всякого своей загадочностью, чем-то особенным, неизъяснимым, что в нём заключалось. Самый смелый и самоуверенный человек вряд ли бы его вынес.

Между тем отец Николай не только не смутился, но даже все пристальнее, всё глубже всматривался в глаза брата и, казалось, начал все яснее читать в них братнюю душу.

Сам он преображался с каждым мгновением. Простые и добрые черты его лица озарялись теперь высоким вдохновением, и в то

же время в них разлита была большая скорбь и жалость.

— Да, Юрий, — повторил он с непоколебимой уверенностью. — Ты живёшь без любви, а стало быть, без Бога! Ты ходишь в непроглядной, погибельной темноте, и обуянный себялюбием и гордостью мнишь, что поднялся на светлую высоту... Но то, что ты принимаешь за свет, не есть свет истины, ибо истинный свет и освещает, и согревает, а тебе холодно... Твой свет только слепит и повергает в холод вечного мрака и отчаяния... И ты уже ослеплён!.. Но милосердие Божие безгранично — ты можешь прозреть снова!..

Захарьев-Овинов положил свою холодную, бестрепетную руку на плечо священника.

— Остановись, Николай! — сказал он спокойным, как-то чересчур спокойным голосом. — Не предавайся чувству, ибо чувство весьма часто бывает склонно к заблуждению и мешает правильной работе разума... Не предавайся преждевременным сожалениям и не обрекай меня на погибель... Ложный свет, конечно, только ослепляет и губит, но разберём спокойно — ложен ли тот свет, к которо-

му я стремился всю жизнь и который меня теперь окружает. Если я пришёл к гибели — значит, шёл неверным путём. А между тем путь мой был единственным путём спасения. Для того чтобы возвыситься и очистить свою душу, человек должен как можно выше подняться над грубой материей, победить все страсти, вожделения, телесные потребности, уничтожить, вырвать с корнем из своего сердца злобу, зависть... Ведь всё это и есть именно то, что было совершено людьми, которых ты признаешь святыми, приблизившись к Богу, ставшими наследниками вечно-го блаженства... Или это не так?

— Нет, это так! — сказал отец Николай с глубокой печалью в голосе.

— А если это так — мой путь был путём правым. Я победил в себе грубую материю, возвысился над нею. Если я говорю тебе это — ты должен мне верить. Я овладел своим телом — и оно мне послушно. Ничем земным нельзя соблазнить меня. Я не знаю, что такое злоба, месть, зависть...

— О, Боже! — воскликнул отец Николай. — Да лучше почувствуй злобу, месть и зависть!

Ты будешь тогда ближе к спасению!

Захарьев-Овинов слабо улыбнулся.

— Но ведь я не только не злобствую и не завидую, а всему миру, всем людям желаю добра и блага...

— Желаешь добра и блага! — и голос священника дрогнул слабой надеждой, когда он говорил это. — Скажи мне, Юрий, как ты желаешь, что делаешь для добра и блага своих ближних?

— Что могу...

— Да, я знаю... ещё у нас в деревне знал я, что ты подумал о бедном крестьянстве... знаю все твои распоряжения... Ты приказал управляющим и приказчикам быть милостивыми с народом, не взыскивать с бедных недоимок... Все я знаю... Но скажи мне, страдаешь ли ты страданиями твоих ближних, плачешь ли о них, думаешь ли о них непрестанно, отдаёшь ли им жизнь свою, свою плоть и кровь, свою силу?

Захарьев-Овинов покачал головою.

— Ты снова поддаёшься чувству и сам себе противоречишь, — сказал он, — если высшее благо человека, с чем ты согласен, состоит в

уничтожении материи и освобождении духа, если материя — зло, а земная жизнь — лишь миг перед вечностью, лишь кратковременная темница духа, если земные беды — одно ничтожество, то как же я могу страдать и плакать от того, что людям, быть может, холодно и голодно? Ведь я хорошо знаю, что телесный холод и голод — ничто, вовсе не беда, не горе, а спасение... Я понимаю, что люди, не зная истины, могут поддаваться земным страданиям и сильно их чувствовать, но, зная, как посредством этих страданий и только ими душа человеческая развивается и приближается к совершенству, именно любя людей, не должен страдать с ними, а только радоваться, глядя на мудрую и неизбежную работу совершенствования души...

Отец Николай с ужасом всплеснул руками.

— Боже мой! — воскликнул он. — Так вот до чего довела тебя твоя мудрость! Ты мнил достигнуть света, а ныне окутан беспросветной темнотою... За великую твою гордость у тебя отнимается разум. Твоя мудрость вместо того, чтобы просветить и согреть твоё сердце, иссушила его, превратила в камень! Ты мог

служить Богу, а служишь духу зла! Ты можешь знать все тайны, недоступные другим людям, можешь читать в прошедшем и будущем, но к чему тебе все эти знания, когда ты не знаешь единственного, что потребно душе твоей и при чём твои знания могли бы принести драгоценный плод?.. Ты можешь переставлять горы, но к чему тебе это, когда ты одинок и мир представляется тебе пустыней?.. Для кого и для чего ты будешь переставлять горы?.. Для своей забавы?.. Ты жил и работал, и боролся... много в тебе сил... но вся жизнь твоя — пустоцвет, ибо ты не осушил ни одной слезы, не сделал счастливым ни одного Божьего создания... Вокруг тебя мрак и холод... и только несчастье можешь ты принести с собою... На тебе проклятие — ты сам несчастлив, и несчастлив всякий, кто близок к тебе, кто тебя любит!.. Но Господь поможет мне снять с тебя это проклятие!..

Отец Николай порывисто положил руки на плечи Захарьева-Овинова, и в первый раз в жизни человеческое прикосновение заставило содрогнуться великого розенкрейцера. В первый раз в жизни он испытывал странное,

непонятное ощущение: неведомая сила действовала на него, охватывая его каким-то тёплым туманом и в то же время обессиливая его. Он оставался неподвижен, с опущенными глазами и забывал действительность. Только каждое слово священника повторялось в нём, входило в него как нечто имеющее над ним власть и неизбежное. И теперь у него не было никакого желания оправдываться и возражать, у него было одно только желание — слушать. Зачем же этот негодующий и страдающий, полный силы и боли голос вдруг замер?.. Но вот он слышит снова:

— Раньше или позже ты должен прозреть и спастись. Ты должен отойти навсегда от гордости, от самопоклонения и смиренно, с верой, надеждой и любовью принести все дары свои Тому, кто Один может указать тебе истинный свет и спасение... Раньше или позже ты повергнешься во прах, сознав всё своё ничтожество, и душа твоя скажет: Кресту Твоему поклоняемся, Владыко, и святое воскресение Твоё славим!.. А теперь я оставляю тебя, но не покину и буду непрестанно о тебе молиться...

Проговорив это, отец Николай осенил Захарьева-Овинова крестным знаменем и быстро вышел из комнаты.

Прошло несколько минут, а великий розенкрейцер оставался неподвижным. Наконец он поднял голову и движением руки как бы отогнал от себя туман, на него наплывший. Глаза его блеснули глубоким огнём, и никогда ещё прекрасное лицо его не выражало столько гордости, столько безжалостного презрения.

«Видно, трудна была моя последняя борьба, — думал он, — если я так ослабел, если слова брата так смутили меня и показались мне новыми... Как будто я не знал всего этого прежде... Как будто этот соблазн уже не являлся и уже не побеждён мною!.. Любовь!.. Какая любовь?.. От этой любви недалеко до слабости, до падения...»

Но одна мысль стояла перед ним.

«Он говорит, что я несчастлив!.. Я не могу быть несчастливым, не могу... Я достиг всего!..» А между тем он чувствовал своё несчастье и вместе с этим знал, что брат его Николай — счастлив...

Он выдвинул один из ящичков своего стола, вынул оттуда небольшую склянку с какой-то тёмной жидкостью и проглотил несколько капель. Его голова медленно склонилась на спинку кресла, в котором он сидел, и он заснул крепким сном, без грёз и без сновидений.

XI

Граф Феникс добился своего. Он внезапно сделался самым модным, самым известным человеком в Петербурге. Всюду, начиная с придворных сфер и кончая самыми низшими слоями населения, шли толки об удивительном иностранце.

Молва, с необыкновенной быстротой облетавшая город, преувеличивала действительность и придавала деятельности графа Феникса окончательно фантастический характер. О нём говорилось уже как о сверхъестественном существе, для которого нет ровно ничего невозможного. Для многих он являлся чудотворцем, добрым гением человечества. Он не только исцеляет всевозможные болезни, немых заставляет говорить, хромым — хо-

дить, слепых — видеть, умалишённым возвращает рассудок, но может даже воскресить мёртвого, лишь бы тот не успел ещё совершенно застыть. Его одновременно видели во многих местах. Он обладает способностью становиться невидимым и в одно мгновение переноситься через какое угодно пространство. При этом у него столько золота, что он мог бы им вымостить все улицы Петербурга. И он щедр: стоит обратиться к нему с просьбою — и он засыплет деньгами.

В бедных домиках теперь можно было подслушать такие разговоры:

— Вот пойду завтра к итальянскому графу — и конец всем нашим бедствиям, выручит он нас, озолотит...

И действительно, к нему ходили за деньгами, и с каждым днём у сомоновского дома собиралось столько народу, что уже должна была вмешиваться полиция и разгонять толпу.

Однако далеко не все признавали графа Феникса благодетелем человечества; весьма многие, никогда его не видав и не имея о нём понятия, чувствовали к нему ненависть и ужас.

— Какой там чудотворец, какой благодетель! — просто еретик, колдун, действует он дьявольской силою, и всякий, кто к нему обращается, всякий, до кого он коснётся, погибает. Он и приехал только для того, чтобы губить православные души. Может, болезни какие и вылечит на недолгое время, а душу-то и погубит! Едва коснулся человека — и на человеке том уже клеймо дьявольское...

Наконец, немало было людей, смотревших на приезжего иностранца просто как на обманщика, шарлатана, морочащего легковерных, отводящего глаза. В особенности все петербургские медики били тревогу.

Но как бы там ни было, о графе Фениксе говорили все, и защитников у него было более, чем врагов, и защитниками его являлись люди сильные. Египетская ложа Изида разрассталась не по дням, а по часам. Ежедневно в неё прибывали новые члены.

Если до последнего времени Великий Копт только сыпал деньгами и упорно отказывался от всяких подарков и благодарностей своих состоятельных пациентов, теперь египетская ложа давала ему возможность прини-

мать от членов её богатые взносы. Эти взносы являлись как раз вовремя, так как крупные суммы, привезённые с собою, истощились, а делать золото посредством философского камня, очевидно, было ещё некогда.

Граф Феникс решил, что настало самое удобное время извлечь всю материальную выгоду из князя Щенятева. Этот несносный ученик теперь достиг всех своих целей и желаний. После вчерашнего вечера он более чем когда-нибудь находится в руках учителя — стоит намекнуть ему, что достигнутое им счастье может быть мимолётным, может пройти, как светлый сон, что сам он ещё не в силах укрепить за собою своё счастье, и без помощи учителя не обойдётся. Прямо просить у него денег на ложу Изиды Калиостро не хотел... но он сам, наконец, должен предложить — и предложить сегодня.

Князь Щенятев только что вернулся с какого-то холостого обеда, во время которого окончательно забыл своё недавнее воздержание, особенно по части вин. Ему доложили о приезде графа Феникса. Он встретил своего учителя достаточно любезно, но граф Феникс

при первом же на него взгляде пришёл в большое изумление. Он увидел и почувствовал, что перед ним как бы совсем новый человек, не имеющий ровно ничего общего с тем князем Щенятевым, которого он оставил вчера в гостиной графини Зонненфельд. В чём заключалась эта перемена — сразу сообразить было трудно, но она была необыкновенна.

Затем произошёл следующий разговор:

— Князь, я заехал к вам вот по какому делу: наверно, вы будете у графини, если не сегодня, то завтра. Скажите ей, что она должна как можно скорее повидаться с моей женою, так как открытие женской ложи последует в самом непродолжительном времени.

Щенятев с изумлением посмотрел на графа Феникса. Вообще ему на этот раз было очень не по себе в присутствии учителя, хотелось как можно скорее освободиться от него и отдохнуть. Он бессознательно чувствовал почти злобу и отвращение к этому человеку, а главное, ко всему таинственному миру, которого граф Феникс являлся представителем... Зачем он приехал?..

— Про какую графиню вы говорите? — спросил он.

— Как про какую? — не веря своим ушам, воскликнул Калиостро. — Разумеется, про графиню Зонненфельд!

— Я вряд ли увижу её сегодня и завтра. Очень может быть, что долго не встречу с нею — она совсем не выезжает, а к ней ехать мне неохота, так как вовсе неприятно выслушивать у дверей: «Графиня никого не принимает...»

Даже кровь ударила в лицо Калиостро. К чему такая глупая и неожиданная комедия! А между тем самодовольное, пылавшее лицо Щенятева с его красным маленьким носом и любопытными, бегавшими глазками, подернутыми теперь влагой и несколько воспалёнными, не выражало ни малейшего признака смущения. Если кому стало неловко, так это Калиостро. Он почувствовал себя в глупом положении и, несмотря на всю свою находчивость, даже не знал, как из него выйти. Наконец он проговорил:

— Ну да, я понимаю ваши чувства... и одобряю... но ведь передо мной-то надевать эту

маску вам нельзя, так как если вы не могли вчера обойтись без моей помощи, то не обойдетесь без неё и завтра... Вы убедитесь, что недостаточно взять клад — надо уметь удерживать его.

Глаза Щенятева широко раскрылись.

— Граф, — сказал он, — вы говорите такими загадками, каких я не понимаю.

Калиостро побледнел, и сердце его закипело. Он решительно не был приготовлен ни к чему подобному, и этот безобразный, смешной князь, которого он презирал и который теперь вот просто издевался над ним, выводил его из всякого терпения.

— Как! — воскликнул он, забывая все и отдаваясь своему гневу. — Как! Вы находите возможным говорить со мною таким тоном... Что ж, вы хотите смеяться надо мною? Вы клялись быть мне послушным... уверяли меня в своей преданности, толковали о вечной благодарности... и вот, когда я сделал для вас то, что вы называли величайшим благодеянием, когда я доставил вам все счастье, к которому вы безнадежно стремились и которого никогда не достигли бы без моей помощи,

когда, одним словом, вам кажется, что можно без меня обойтись, — вы делаете вид, что ничего не понимаете!.. Вот это благородно!.. Теперь я буду знать, на что способны русские дворяне!..

Щенятев не понимал, о чём толкует Калиостро, не понимал его намёков; но последние слова итальянца заставили его вздрогнуть.

Если бы всё это происходило до обеда, а не после двух-трёх бутылок старого вина, огонь которых всё ещё разливался по жилам, Щенятев, наверное, смутился бы при виде бешенства Великого Копта. Ведь он знал его силу и, подобно многим, трепетал перед ним.

Но теперь, услышав и поняв оскорбление, ему нанесённое, он внезапно забыл, кто оскорбил его. Он забыл, что этот человек может мановением руки превратить его в камень, может наполнить всю комнату выходцами из могил, да и мало ли ещё что он может. Теперь он был храбр, не боялся никого и ничего, даже забыл совсем и про выходцев из могил, и про всю каббалистику, над которой проводил в последнее время дни и ночи. Он поднялся и несколько неровной поступью по-

дошёл в упор к Калиостро.

— Повторите, что вы сказали! — стиснув зубы, прошептал он.

Но ведь и Великий Копт ничего не понимал, отуманенный своим гневом, не видал, в каком состоянии находился Щенятев. Он тоже встал и жестикулировал, сверкая глазами.

— А! Вы не слышали того, что я сказал!.. Вы хотите, чтобы я повторил... Я говорю, что знаю теперь, на что способны русские дворяне... они способны...

Но он не договорил, оглушённый полной, звонкой пощёчиной, заставившей его пошатнуться. Искры посыпались у него из глаз — и несколько мгновений он не в состоянии был сообразить и понять, что такое случилось.

Между тем эта пощёчина, неожиданная и для самого Щенятева, сразу его отрезвила. А отрезваясь, он пришёл в ужас от того, что сделал. Он испуганно взглянул на окаменевшего Калиостро, и как-то пятясь, но очень спешно выскользнул из комнаты и запер за собою двери.

Наконец очнулся и Калиостро. Оглядел-

ся — никого нет. Он схватился руками за голову. Губы его шептали страшные проклятия. Он, видимо, соображал что-то, решался... Но вдруг, подняв с полу свою шляпу, он быстрыми шагами направился не за исчезнувшим во внутренних комнатах хозяином, а к выходу...

XII

Мрачнее ночи приехал к себе Калиостро. Он не разбирал того, что с ним случилось, и даже просто не думал о человеке, нанёсшем ему такое оскорбление. Он инстинктивно чувствовал, что Щенятев во всём этом почти ни при чём, что он только орудие. Ужасна была возможность случившегося, и эта возможность являлась для Калиостро страшным предзнаменованием, самым злоеющим призраком.

Он понимал и чувствовал, что до полученного им оскорбления было одно, а теперь, внезапно, стало совсем иное, что он теперь находится среди новых, враждебных ему влияний, что недавно ещё, всего за час какой-нибудь, торжествующий, сознававший всю силу и удачу, он сразу превратился в человека, сто-

ящего перед бездною, в которую его уже начинает тянуть.

Что же такое случилось? Откуда вдруг взялись все эти враждебные силы? Откуда эта его собственная слабость, выразившаяся в том, что он потерял власть над собою, поддался гневу, когда надо было оставаться холодным и спокойным?.. Он ещё не видел врага, не понимал, в чём именно надвигавшаяся беда, но своими чуткими нервами ощущал близость грозы, близость опасности...

Он был бледен как полотно, и рука его заметно дрожала, когда он отпирал дверь в свою рабочую комнату. Внезапная мысль мелькнула в нём: «Верно, ждёт меня новое предостережение!»

И он затрепетал, внутренне решая, что на этот раз нельзя будет пренебречь предостережением.

Он вошёл. Комната была освещена канделябрами, и в кресле у большого стола сидел кто-то. Он сделал несколько шагов и остановился, поддаваясь охватившему его ужасу.

В кресле сидел Захарьев-Овинов и спокойно, холодными и пронзительными глазами

смотрел на вошедшего.

Прошло несколько мгновений, прежде чем Калиостро справился со своим волнением и подошёл к неожиданному гостю.

— Князь, — сказал он, изо всех сил стараясь придать своему голосу спокойствие, — кто это провёл вас сюда?.. Я здесь никого не принимаю... и чем я могу служить вам?

Захарьев-Овинов привстал с кресла, поклонился, затем сел снова и ответил по-итальянски:

— Мне надо говорить с вами, и если я здесь, у вас, в этой комнате, где вы никого не принимаете и где нам никто не мешает, значит, наш разговор будет серьёзен. Пожалуйста, сядьте и слушайте меня внимательно, не перебивая.

Снова бешенство, как и во время разговора с Щенятевым, поднялось в груди Калиостро, но это бешенство победил какой-то панический страх. И вместо того чтобы насмешливо ответить на странный тон и странные слова неожиданного гостя, Великий Копт послушно сел в кресло против него и даже не решился поднять своих глаз, боясь этого холодного и

страшного взгляда.

Захарьев-Овинов начал:

— Помните, я был в числе ваших слушателей, когда вы рассказывали тёмную историю вашей юности и подробности посвящений, будто бы полученных вами в глубине пирамид. Вы рассказывали сказку или, вернее, истину, которой уже более двух тысяч лет и действующим лицом которой вы не могли быть. Я знаю, что в Египте вы кое-чему научились, но, во всяком случае, не в подземельях пирамид, где теперь все мертво и тихо и где давным-давно стёрты следы древних испытаний... Не египетские иерофанты посвящали вас, а немецкие масоны...

Между тем Калиостро вдруг нашёл в себе свою прежнюю силу и смелость. Он решился поднять глаза на Захарьева-Овинова и выдержал его взгляд. Даже насмешливая улыбка скользнула на губах его.

— В числе моих учителей-масонов вас не было, — проговорил он, — во всяком случае я вижу, что имею дело с масоном... вы знали меня до моего приезда в Петербург... вы почему-то враждебно ко мне относитесь, но из

этого ещё не следует, что я должен выслушивать всё, что вам угодно говорить мне — и притом... таким наставительным тоном...

— А между тем вы будете слушать всё, что я нахожу нужным сказать вам...

Калиостро почувствовал в себе приток той магнетической силы, которая столько раз при напряжении его воли производила удивительные действия. Сколько раз с помощью воли и этой силы он заставлял людей исполнять его мысленные приказания, замолкать перед ним...

Все существо его напряглось теперь в одном порывистом, могучем желании, чтобы человек, бывший перед ним и, очевидно, ему сильно враждебный, ослабел и ушёл. Этот порыв был действительно очень силён, и Захарьев-Овинов болезненно ощутил его в себе. Но в тот же миг сам Калиостро почувствовал утомление и понял, что его сила пропала даром. Незванный гость оставался спокойным, и его металлический голос говорил:

— Напрасно пытаетесь вы бороться со мною... мы только теряем время... Да, я давно вас знаю, хоть и не был в числе учителей ва-

ших, хотя я и вовсе не масон, как вы предполагаете...

Но Калиостро не сдавался.

— Так, значит, вы здесь для того, чтобы следить за мною, — воскликнул он, — вы принадлежите к какому-нибудь тайному обществу... Но вы взялись за поручение, которое трудно исполнить... Ведь и я тоже послан, ведь и я исполняю важное поручение... и я имею достаточно средств для защиты...

Захарьев-Овинов усмехнулся такой холодной и презрительной усмешкой, что Великому Копту стало очень неловко и он едва снова не поддался паническому страху.

— Не говорите мне о поручении, вам данном, — сказал Захарьев-Овинов, — вы сами придумали это поручение, вы сумели заставить несколько богатых лож служить вашим личным целям и доставлять вам денежные средства. Но вы обманули доверчивых людей — и только. Если бы вы остались только масоном, каким были три года тому назад, я не явился бы к вам, не говорил бы с вами. Но вы посвящённый розенкрейцер, вы оказались недостойным полученного вами посвя-

щения — и я говорю с вами только как с недостойным, преступным розенкрейцером... Понимаете ли вы меня, Джузеппе Бальзамо?

При этом имени Калиостро вздрогнул, нервно схватился за ручку кресла и несколько мгновений оставался неподвижным. Он начинал понимать, что дело очень серьёзно, а главное, он с каждой минутой всё более и более чувствовал это.

Его ощущения, не могшие обмануть, доказывали ему, что перед ним человек, действительно облечённый большою силою и властью. Размеров его силы и власти он ещё не мог определить, но знал, что во всяком случае с этим смелым и сильным человеком надо считаться. Но он ведь сам был смел и силен, он быстро справлялся с неожиданностью и решил бороться. Он опять поднял глаза на Захарьева-Овинова, опять выдержал его взгляд и сказал:

— Вы знаете забытое имя, на которое я не отзываюсь... Знаете, что три года тому назад я стал розенкрейцером... я ощутил на себе вашу силу — и не могу не признать её... Я вижу в вас розенкрейцера, и вы здесь самовольно

или по поручению для того, чтобы покарать меня... Но смотрите на меня и убеждайтесь, что я не боюсь кары, что я готов защищать себя от ваших обвинений. В чём же именно моё преступление?

XIII

Захарьев-Овинов должен был внутри себя сознаться, что тот, кого он назвал Джузеппе Бальзамо, теперь не лжёт и не хвастает, что он действительно осилил свой страх и приготовился к защите. Но ему даже приятна была такая смелость, потому что он глубоко презирал всякую слабость и трусость. Даже что-то похожее на симпатию к этому вызывающе глядевшему на него человеку скользнуло у него в сердце.

— Преступление ваше, — сказал он, — заключается в том, что вы сознательно нарушили все обязанности истинного розенкрейцера, что вместо того чтобы служить общей великой цели и развивать в себе великие способности духа, вы воспользовались всеми вашими знаниями и полученными вами откровениями для достижения не только земных

целей, но и целей корыстных... Вы убиваете в себе дух и становитесь рабом плоти, служа силам разрушения...

— Брат, остановитесь! — горячо перебил Калиостро. — Если бы я кому-либо и при каких бы то ни было обстоятельствах выдал тайну великого общества, к которому мы принадлежим, если бы даже слово — «розенкрейцер» сорвалось с уст моих, вы имели бы право обвинять и карать меня... Но в этом я неповинен... тайну моей принадлежности к обществу я храню свято... Что же касается выраженных вами обвинений, то это уже дело моей совести! Если я недостоин своего посвящения, если я унижаю мой дух и служу моей плоти, — это моё дело... В подобных преступлениях мы, братья, не имеем права обвинять друг друга... Для того чтобы судить меня, вы по крайней мере должны мне представить ваши полномочия от моего учителя, которому я обязан подчиняться... Где же ваши полномочия? Назовите мне имя моего учителя!

Захарьев-Овинов медленно поднялся с кресла.

— Имя твоего учителя... его розенкрейцер-

ское имя: Albus... Полномочия мне не нужны... Я здесь не для того, чтобы сурово карать тебя, а для того, чтобы, скорбя о гибели твоей души, остановить тебя от падения, если это ещё возможно... А потому я больше не скрываюсь перед тобою...

И с этими словами быстрым движением он растегнул свой камзол и обнажил часть груди, на которой ослепительно сверкнул прямо в глаза Калиостро знак предпоследнего великого посвящения Креста-Розы.

Калиостро приподнялся и будто замер, не отрываясь своими широко раскрывшимися глазами от этого чудного знака.

Неожиданность была велика, и невольный трепет пробежал по жилам Великого Копта. Он посягал на многое и в глубине души относился скептически и даже с отрицанием ко многому из того, перед чем благоговели его братья-розенкрейцеры. Но несмотря на всю свою дерзновенность, часто соединявшуюся с легкомыслием, он всё же был мистик, всё же был адепт тайных наук — и знал то, что знал.

И он знал, что этого чудного знака, сиявшего особенным, таинственным светом, за-

тмевающим блеск самых чистейших бриллиантов, светом самостоятельным, озаряющим ночную темноту, нельзя подделать. Он знал, что человек, способный постигнуть тайну этого света, сосредоточить его и бестрепетно носить на груди своей, — есть никто иной, как могучий победитель природы, перед которым склоняются великие учителя-розенкрейцеры. Доселе он никогда не видал этого человека, даже не было ему открыто его имя, но он знал о его существовании и не раз в минуты мечтаний представлял себя на его месте...

Так вот когда и где пришлось им встретиться! Так вот какая сила следила за ним!.. Туман, нередко заставлявший его в последнее время плохо видеть и понимать, тот самый туман, производимый чужою, могучей волей, который не дал ему произнести имени человека, оставившего здесь, на этом столе, предостережение, — теперь разъяснился. Могучий человек перестал скрываться, он был перед ним во всеоружии своей тайной, мистической власти, и чудный свет сиял на груди его... Всякая борьба должна прекратиться, так

как борьба с носителем света в знак Креста-Розы — безумие...

Калиостро вышел из своего оцепенения. Он быстро отбросил от себя кресло, шагнул к великому розенкрейцеру и склонился перед ним. Движение это было искренно и невольное. Лицо Калиостро и вся его фигура выражала смирение, покорность, благоговейный трепет.

Захарьев-Овинов слегка коснулся рукою его плеча, и в тишине комнаты властный и холодный голос великого розенкрейцера произнёс: «Встань!»

В это время шевельнулся занавес, скрывавший дверь в соседнюю комнату. То была Лоренца. Она неслышно отперла дверь в тот самый миг, когда блеск знака Креста-Розы поразили Калиостро. Но лица Захарьева-Овинова она не могла видеть, а потому не могла видеть и чудного знака. Она заметила только движение своего мужа, его трепет, волнение... Она только видела через мгновение потом своего Джузеппе, гордого и могучего Джузеппе, у ног таинственного человека. Она почти не узнала мужа — таким он представился

ей жалким, приниженным... А этот был велик и могуч и повелительно, как господин рабу, сказал: «Встань!» Лоренца слабо вскрикнула и скрылась.

Ни Захарьев-Овинов, ни Калиостро не обратили внимание на её присутствие, не слышали слабого звука её голоса — они были совсем в иной сфере.

Калиостро провёл рукою по своему горевшему лбу. Теперь он сразу стал как бы новым человеком, и в этом человеке уже никак нельзя было узнать великолепного графа Феникса, самоуверенного и полного сознанием своего превосходства надо всеми. Но в то же время в нём уже не замечалось страха неизвестности, не замечалось никакой приниженности — прикосновение великого розенкрейцера подействовало на него успокоительно. Он безо всякого дурного чувства и с полным доверием взглянул в глаза Захарьева-Овинова.

— Светоносный наставник! — дрогнувшим голосом и в то же время торжественно сказал он. — Жду твоего суда и покоряюсь твоей власти.

— Я уже сказал тебе твои преступления, — ответил Захарьев-Овинов, — они очень тяжки, и чем же ты можешь оправдать их?! Ты уже несёшь за них наказание. Ты сам хорошо знаешь, что со времени посвящения, вот уже три года, ты не приобрёл ничего, твои богатые силы не только не получили дальнейшего развития, но и значительно ослабели... В тебе заключались прекрасные задатки духовной мощи, ты один из тех избранных, кому при рождении даётся великое сокровище и чья свободная воля может или сохранить и преумножить это сокровище, или расточить его и уничтожить... Как такого избранника мы приняли тебя в среду нашу, но только после данного тобою обета стать новым человеком, искупить заблуждения и зло твоей молодости и неустанно идти по пути спасения... Подумай, какое жалкое, преступное прошлое было у Джузеппе Бальзамо и какая работа духа требовалась от тебя, чтобы Джузеппе Бальзамо действительно исчез и созрел истинный Калиостро!.. Ты был так искренен в своём раскаянии, но не прошло и нескольких месяцев — ты обманул и нас, и себя... Ты преда-

ёшься всем земным страстям, ты весь охвачен материей... Тебе надо золота, поклонения слепцов — и для достижения этого ты не останавливаешься ни перед какою ложью, ни перед каким обманом, ты морочишь людей, рассказываешь им сказки, издеваешься над ними... Ты создаёшь зловонную грязь и сам в ней купаешься... Или я не прав? Или не след этой зловонной, умерщвлённой грязи я вижу на лице твоём, опозоренном ударом пьяного глупца, которому вчера ты преступно отдавал живую человеческую душу!.. Ведь если бы я не остановил этого гнусного твоего действия — теперь на тебе лежала бы новая ответственность за величайшее злодейство!..

Калиостро побледнел и опустил голову.

— Твои обвинения справедливы, — прошептал он, — но так, как ты знаешь всё, зачем же ты видишь во мне только мрак и не видишь никакого света?.. Ведь ты знаешь, что свет озаряет мрак и его изменяет...

— Покажи мне свет твой, — сказал Захарьев-Овинов, — представь мне всё, что может служить твоему оправданию.

Глаза Калиостро загорелись внезапным

одушевлением.

— Да, я скажу всё, — воскликнул он, — но прежде всего я, недостойный, преступный розенкрейцер, осмеливаюсь спросить тебя, великого светоносца: счастлив ли ты в своём величии?

И он ждал ответа, и только его волнение помешало ему подметить трепет в голосе Захарьева-Овинова, ответившего ему:

— Конечно, счастлив...

— Ты счастлив, а я не мог бы найти никакого счастья даже на твоей высоте, если бы мне нельзя было время от времени спускаться на землю и погружаться в её волнения и радости, в её зло и добро, в её любовь и ненависть... Только смешение всего этого может произвести то семя, из которого зарождается порою мгновение истинного, горячего счастья!.. Я понял это и, поняв, отказался от той высоты, где мне было бы невыносимо холодно... Счастье! Я всю жизнь его жаждал и к нему стремился!.. Ведь оно — единственная сладость жизни, и оно так чудно, что не может быть преступным!..

— И ты не заблуждаешься? Ты действи-

тельно можешь сказать, что хоть когда-нибудь испытал его? — пытливо смотря в глаза Калиостро, спросил Захарьев-Овинов.

— Да, я его испытал! — убеждённо и восторженно воскликнул Калиостро. — Конечно, счастье такая редкость, такое сокровище, что надо искать его долго и ничего не жалеть для этих поисков... Но я всё же находил и нахожу его... Поклонение, трепет и восторг толпы, роскошь и гармония красоты, страстные ласки жены, которую я люблю всею кровью моего сердца, благословения и радость бедных, щедро наделяемых мною и вырываемых из нищеты, блаженные улыбки матери, сына которой я излечил от тяжкой болезни, — всё это приносит мне счастье... И для этого счастья я готов на все... Я все отдаю ему... Казни же меня, великий светоносец, за моё счастье!..

Калиостро поднялся весь пылающий, объятый вдохновением. Он забыл всё, посягал на всё, ничего не страшился.

Лицо великого розенкрейцера дышало холодом и безнадежной строгостью.

— Я казнить тебя не стану, несчастный, неизлечимый безумец, — медленно произнёс

он, — ты сам будешь своим палачом... Я предоставлю тебя твоей судьбе, ибо в своём опьянении ты понять меня не можешь... Но ты носишь доселе наименование розенкрейцера, и я не могу допустить, чтобы ты устраивал здесь своё обманное египетское масонство... Я приказываю тебе немедленно прекратить твою деятельность, уничтожить основанную тобою ложу Изида и затем покинуть Россию. Я тебе приказываю это — и жду повиновения!..

Воодушевление Калиостро мгновенно исчезло. Снова панический страх, снова трепет пробежали по его членам. Его взгляд померк, мертвенная бледность покрыла лицо его. Он не мог произнести ни слова и только, как в тумане, видел неумолимый, беспощадный взгляд великого розенкрейцера. Затем видел он, как его судья удалился или, вернее, исчез. И не знал он, что этот бестрепетный судья, этот великий светоносец, удаляясь, думал:

«И он счастлив!.. и Николай! Что общего?.. А между тем они, пожалуй, и поняли бы друг друга... Николай простил бы его... за любовь!.. Но я простить не могу... да и не в прощении

Прошло два дня, а Калиостро, по-видимому, повсе не думал об исполнении приказа, данного ему великим розенкрейцером. Он имел в эти два дня совещание с графом Семеновым и Елагиным, назначил второе собрание ложи Изиды, принимал больных, раздавал бедным деньги. Он даже казался особенно оживлённым и довольным, уверенным в себе, и ровно ничего не указывало на близость его отъезда из России. Об отъезде не было и речи...

Калиостро принадлежал к числу людей, жизнь и деятельность которых никак не может уложиться в правильно ограниченные, хотя бы и самые просторные рамки. Его разносторонняя и замечательно способная природа, кипучая и чуткая, представляющая собою смесь самых поразительных противоречий, неизбежно должна была кинуть его в постоянную борьбу. Эта борьба была его стихией — без неё он не мог жить.

Волна жизни с одинаковой быстротой и

неожиданностью то возносила его вверх, то опускала вниз. И по мере того как шли годы, как расширялась его деятельность, эти порывы жизненной волны становились всё сильнее. Он возносился всё выше и падал всё глубже, и так должно было продолжаться до тех пор, пока падение его не станет настолько глубоким, что он уже не в силах будет вынырнуть из поглотившей его бездны.

Он мог падать духом, испытывать страх, подчиняться чужой воле, признавать над собою власть — но всё это длилось лишь мгновение. Миг проходил — и он ободрялся снова, забывал страх и признавал над собою единственную власть, власть той тайной силы, которая жила и кипела в нём и заставляла его стремиться всё вперёд, за всеми благами, какие только может дать жизнь.

Его чувство и мысль были постоянно в движении и постоянно менялись. Он поддавался всем впечатлениям и быстро от них освобождался. Всё, что случилось с ним так неожиданно для него, а главное — появление великого розенкрейцера, его глубоко поразило. Услыша свой приговор из уст Захарье-

ва-Овинова, он понимал, что слушание невозможно, что следует без рассуждений повиноваться, ибо из неповиновения выйдут только самые печальные последствия. В тайном могуществе великого носителя света Креста-Розы он не мог сомневаться...

Но вот прошёл час, другой — и Калиостро освободился от своего трепета; он снова никого и ничего не боялся.

«Пусть будет, что будет, — решил он, — но я не уйду отсюда... Ведь очень часто сила только потому и сильна, что сталкивается с трусостью и слабостью... И это ещё надо узнать — насколько он меня сильнее, если я противопоставлю ему всю мою волю... если я не боюсь его!.. Я останусь здесь!»

И он, приняв такое решение, совсем даже успокоился... О Щенятеве, о полученном оскорблении он не думал. Он был уверен, и основательно, что Щенятев теперь трепещет, ни за что не посмеет перед ним явиться и будет молчать о случившемся...

Но ведь что бы ни решал Калиостро, приказание великого розенкрейцера должно было исполниться. И оно начало исполняться.

Императрица проснулась очень рано, даже раньше обыкновенного. Вообще всю эту ночь её сон был как-то тревожен, чего уже давно с нею не случалось, так как она отлично себя чувствовала всё это последнее время. Она всегда засыпала после своей изумительной дневной деятельности, чувствуя большую потребность в отдыхе, а потому засыпала быстро, сразу, крепким здоровым сном. Сон её был всегда спокоен, и она уже давно не видела никаких снов или, по крайней мере, просыпаясь, их не помнила...

А тут, в эту ночь, на неё нахлынули самые пёстрые, фантастические грёзы, и среди этих грёз то и дело являлось перед нею лицо человека, которого она видела всего раз, — лицо графа Феникса. Она проснулась под впечатлением этих сновидений, и ей даже почудилось уже наяву, что кто-то как будто прошептал над нею: «Феникс».

Поглощённая интересами своей исключительно разнообразной умственной и духов-

ной жизни, воспринимая ежечасно новые впечатления, Екатерина совсем было забыла о чудодейственном иностранце. После свидания с ним она послала запрос испанскому посланнику Нормандесу, но для того чтобы узнать, числится ли в королевском войске полковник граф Феникс, надо было получить ответ из Испании, а его пока ещё не было.

Теперь же, проснувшись, она никак не могла отвязаться от мысли об этом человеке. Его лицо ежеминутно представлялось ей, его имя все повторялось и повторялось в голове её, мешая отдаться иным, более интересным для неё, серьёзным мыслям.

Под конец это даже раздражило Екатерину. Снова заснуть она не могла, а потому зажгла свечу и дёрнула за сонетку. На её звонок в спальню вошла Марья Саввишна Перекусихина, неизменная прислужница и самый близкий человек к императрице. Женщина совсем простая и необразованная, обладавшая, однако, природным умом, проницательностью и сметливостью и притом действительно боготворившая свою «матушку-царицу», она пользовалась неограниченным дове-

рием Екатерины, знала все мельчайшие подробности её интимной жизни, знала её душу.

Они виделись ежедневно утром и вечером, когда Марья Саввишна одевала и раздевала императрицу, и в то время между ними всегда происходил обмен мыслей относительно новостей дня. Так как Марья Саввишна существовала исключительно для царицы и жила только её интересами, то в течение дня она очень ловко и обстоятельно узнавала всё, что касалось Екатерины, что так или иначе могло занимать её. Царские приближённые нередко изумлялись всеведению царицы, невозможности скрыть от неё что-либо; виновницей такого всеведения была Марья Саввишна.

Так и на этот раз, одевая Екатерину, Марья Саввишна, полная, румяная женщина неопределённых лет, с добродушным лицом, толстыми губами и очень пронизательными серыми глазами, передавала «матушке» самые свежие новости и представляла собою живую утреннюю почту. Но императрица слушала её довольно рассеянно...

— А вы бы, матушка, пожурили светлей-

шего, — вдруг каким-то особым, многозначительным тоном проговорила Марья Саввишна.

— За что же это? — спросила Екатерина.

— Да уж чудит больно... К причудам его, оно точно, все привыкли, но всё-таки ж причуда причуде рознь... Помните, матушка, докладывала я вам про итальянку-то, про жену этого лекаря да чудодея заморского...

— Ну? — перебила Екатерина, внезапно оживляясь.

— Ведь причуда-то его не проходит... От верных людей знаю: итальянка-то, почитай, каждый день к нему то с мужем, а то и одна ездит. Да и это бы ещё ничего, а вот, говорят, он на сих днях при всём честном народе по Невскому с ней в экипаже проехал...

— Вздор! — воскликнула Екатерина. — Григорий Александрович такого не сделает... Ведь ты не видела, Саввишна, так и нечего болтать попусту...

Но Марья Саввишна ничуть не смутилась.

— Может, того и впрямь не было, да уж одно, что могли такое выдумать люди, — неладно... Никак не след Григорию Александровичу

за приезжими итальянками волочиться, и, воля ваша, матушка, а пожурить его надобно...

Екатерина задумалась.

— В амурные дела светлейшего я вступаться не желаю, — сказала она, — а дурить и всякие слухи своими дурачествами пускать ему не подобает — это ты правду говоришь, Саввишна...

Когда Перекусихина вышла, оставив «матушку» в одиночестве, к неотвязной мысли о графе Фениксе присоединилась новая неотвязная мысль о красавице итальянке, так долго, чересчур долго занимающей Потёмкина. Теперь Екатерина вспомнила свои последние встречи с светлейшим и решила, что он находится в каком-то не совсем обычном состоянии. Неужели итальянка серьёзно его очаровала? Но в таком случае его надо избавить от наваждения, не то он и взаправду наделает всяких глупостей...

За такими мыслями застал императрицу её лейб-медик Роджерсон.

— Любезный Роджерсон, — своим ласковым тоном сказала Екатерина, в то время как

медик внимательно прислушивался к её пульсу, осторожно держа её руку двумя пальцами и как-то особенно отставив свой мизинец, — я ещё вчера говорила вам, что совсем здорова, а вот сегодня чувствую себя нехорошо: голова болит и какое-то беспокойство...

— Да, ваше величество, пульсация несколько беспокойна, — отвечал Роджерсон, — но это пустое, успокоительные капли вам быстро помогут...

Он подошёл к столу и написал рецепт. Екатерина сейчас же заметила, что он медлит уходить.

— У вас ко мне есть дело? Я слушаю! — проговорила она.

Глаза Роджерсона блеснули злым огоньком.

— Не дело, ваше величество, — сказал он, — а я осмелюсь обратить ваше внимание на действие некоторого человека, шарлатана...

— Вы говорите о графе Фениксе? Я знаю, что он должен очень интересовать вас, — не без лёгкой иронии в голосе перебила его Екатерина. — В чём же, однако, вы его обвиняе-

те?

— В большом преступлении! — воскликнул Роджерсон. — Судите сами, ваше величество. У князя Хилкина заболел головной водяшкой единственный сын. Ребёнку несколько месяцев. Меня пригласили на консилиум. Мы все решили, что ребёнок должен умереть, ибо иначе быть не может. Затем явился этот граф Феникс и уверил князя и княгиню, что он отвечает им за жизнь и полное выздоровление их мальчика. Но лечить его у них в доме он не может и требует, чтобы его привезли к нему и оставили на его исключительное попечение. При этом он предупредил, что не допустит даже, чтобы отец и мать, да и вообще кто-либо навещали ребёнка до его полного выздоровления. Князь и княгиня долго не соглашались, но вид умиравшего сына довёл их до крайнего отчаяния, они совсем потеряли голову и совершили безумный поступок — отдали его с рук на руки Фениксу...

— Отчего же это безумный поступок? — перебила императрица. — Я сделала бы то же самое! Ведь вы все, господа медики, приговорили ребёнка к смерти, и он действительно

умирал... вылечить его не было никакой возможности... Чувство родителей понятно — утопающий хватается за соломинку... Но соломинка не спасает, а Феникс спас ребёнка... Этот поступок с его стороны большая глупость, но где же преступление?

— Я ещё не кончил, ваше величество, торжественно сказал Роджерсон. — Через неделю Феникс известил князя Хилкина, что мальчик поправляется; через две недели он разрешил князю на несколько секунд увидеть сына. Счастливый отец убедился своими глазами, что ребёнок спасён. Через три недели мальчик был возвращён домой в самом цветущем состоянии, и при этом его спаситель отказался от всякого вознаграждения, объявив, что он делает добро ради добра, а не ради денег...

Императрица устремила на своего медика взгляд, в котором мелькнула и исчезла насмешка.

— Теперь я понимаю, в чём преступление: вы полагаете, что граф Феникс подменил ребёнка!.. Но ведь это надо доказать, любезный Роджерсон!

Лейб-медик вспыхнул.

— Доказать подмен такого маленького ребёнка довольно трудно, — проговорил он, — судьёй может быть только мать... и княгиня Хилкина всех уверяет, что Феникс подменил её сына...

— Очень жаль, что она не заметила этого сразу, — задумчиво сказала Екатерина.

Взгляд её упал на стол. На столе она увидела до сих пор незамеченный ею пакет из испанского посольства. Она распечатала его и прочла заявление Нормандеса о том что на королевской испанской службе никогда не было и нет никакого графа Феникса.

— До свиданья, — сказала она Роджерсону, — за вашими каплями я пошлю, и, может быть, даже приму их... а о рассказе вашем подумаю, благодарю, что предупредили...

XV

Это было утром, а в шестом часу вечера, вернувшись к себе от Елагина, Калиостро не застал Лоренцу. Его поджидал граф Сомонов и не без волнения объявил ему, что вот уже часа три, как графиня Феникс отправилась к императрице. За ней была прислана придвор-

ная карета с приказанием государыни явиться немедленно и без всяких провожатых. Калиостро, как и Сомонов, сразу понял, что событие это не представляет ровно ничего утешительного. С большим нетерпением стали они дожидаться возвращения Лоренцы.

Прекрасная Лоренца по своему характеру не только не испугалась, когда ей объявили, что её немедленно требует к себе императрица, но даже была очень рада этой поездке. Робости перед людьми она вообще никогда не чувствовала, приключения её прежней скитальческой жизни с мужем развили в ней и спокойствие, и самообладание; она знала, как надо ей держать себя с русской императрицей, и ей было очень интересно близко увидеть и услышать эту удивительную, как она всегда слыхала, женщину.

Над вопросом, зачем она так вдруг понадобилась Екатерине, Лоренца не задумывалась: она сразу решила, что это все устроил Потёмкин и что кроме хорошего от этого свидания ничего не будет. Джузеппе вернулся из дворца недовольным — она отлично это тогда заметила, — ну, так вот, она сделает то, чего не

удалось Джузеппе: она очарует царицу и поможет мужу в достижении его целей... Ведь это не в первый раз...

Решив всё это, она быстро оделась к лицу и поехала. Карета остановилась у маленького подъезда. Лоренцу провели пустынными коридорами и оставили в небольшой прелестной комнате, затянутой бледным розовым штофом и уставленной самыми роскошными, самыми грациозными безделушками. Комната эта была совсем во вкусе молодой женщины, и она весело любовалась ею, когда занавеси, скрывавшие дверь, распахнулись и на бледно-розовом штофном фоне появилась небольшая, полная женская фигура.

Лоренца взглянула и увидела, что перед нею царица, лицо которой ей было хорошо знакомо по многим портретам. Тогда она, несколько не смущаясь, почтительно поклонилась, вложив в этот поклон всю свою врождённую грацию. Екатерина оглянула её быстрым взглядом и поразилась её прелестью, её капризной, затуманивающей красотой. Она ответила на её поклон величественным движением головы, села на низенький розовый

диванчик и, указывая Лоренце на лёгкий золочёный стул, стоявший в некотором расстоянии от диванчика, пригласила её сесть мягким голосом, звук которого очень понравился Лоренце.

Прошло несколько мгновений. Лоренца смело, но в то же время почтительно глядела на императрицу и ждала.

— Вы и ваш муж заставляете так много говорить о себе, — наконец сказала Екатерина, — что я, уже имев случай видеть его, пожелала видеть и вас...

— Я очень счастлива, ваше величество... — прошептала Лоренца.

— Скажите, пожалуйста, я хочу слышать это от вас, правда ли, что вы занимаетесь вызыванием духов, предсказываете будущее и к тому же ещё делаете золото и жизненный эликсир?

Всё это было сказано так же мягко, но с очень насмешливой полуулыбкой. Лоренца смутилась. Она не знала, о чём будет говорить с ней царица и, отправляясь во дворец, вовсе не подумала об этом. На такие же вопросы что было ответить ей? Она смущённо

улыбнулась и остановила на царице ласкающий, нежный и молящий взгляд. Этот её взгляд, как она давно уже убедилась, производил чудное действие не только на мужчин, но и на женщин. Однако на Екатерину он, очевидно, не произвёл своего обычного действия, так как она уже довольно строго повторила:

— Я жду ответа!

— Уверяю вас, ваше величество, что я совсем не умею предсказывать будущего и не знаю, как мой муж делает золото... а призраков, духов я очень боюсь...

И говоря это, Лоренца даже вздрогнула, и неподдельный испуг изобразился в её прекрасных глазах.

Екатерина сдвинула брови.

— Однако же мои сведения идут из очень верного источника, — сказала она, — мне князь Потёмкин говорил, что он сам видел призраки, вызванные вами...

При имени Потёмкина Лоренца невольно вспыхнула, и это не ускользнуло от внимательного взгляда царицы.

— Князь сказал вам это, ваше величе-

ство? — воскликнула молодая женщина. — А между тем он знает, что не я вызываю призраки... я даже, по счастью для меня, никогда их не видала... они являются тогда, когда я сплю...

— Как когда спите? Что такое вы мне рассказываете, моя милая?!

— На меня очень часто находит какой-то особенный внезапный сон, и когда я так засыпаю, то иногда являются призраки... это чистая правда, ваше величество, и я ничего другого не могу сказать вам...

В глазах Лоренцы даже блеснули слёзы. Совсем, совсем не того она ожидала от своего свидания с царицей. И какое у неё теперь суровое лицо!.. Лоренца вдруг почувствовала себя будто в западне... Её допрашивают, и она не знает как быть... хоть бы её скорее отпустили!..

Ждать этого ей пришлось недолго. Екатерина достаточно её разглядела, поняла всю её силу и всю слабость, узнала всё, что ей надо было знать, в чём она хотела убедиться.

«Глупа, но хороша, как чертёнок, — подумала она, — может вскружить голову кому

удобно... и особенно такие глупенькие и очаровательные женщины бывают опасны для людей уже не первой молодости...»

И, подумав это, она величественно встала с диванчика. Её движение инстинктивно заставило подняться и Лоренцу.

— Я не имею основания вам не верить, — снова без всякой строгости в голосе сказала царица, — у вас, очевидно, какая-то странная болезнь, и ваш муж очень бы хорошо сделал, если б полечил вас от этих ваших внезапных засыпаний, во время которых являются призраки... Слушайте внимательно, что я скажу вам: ровно через сутки вы с мужем должны выехать из Петербурга и покинуть пределы России. Такова моя неизменная воля... Вам доставят такую сумму денег, какой будет достаточно не только на ваше путешествие, но даже и на уплату некоторых долгов — их, наверное, немало у вашего мужа, хоть он и делает золото... Если же завтра к вечеру вы не уедете, то предупреждаю вас: и вы, и муж ваш будете арестованы... Мне говорят о подменённом ребёнке, и о другом ребёнке, который исчез... Очень дурные слухи растут с каждым

днём и ходят по городу... До сих пор я ещё не обратила на них должного внимания. Но вашему мужу, да и вам, как его сообщнице, следует очень остерегаться... Уезжайте же... я советую вам это... я вам это приказываю...

Екатерина слегка наклонила голову и вышла из розовой комнаты. Лоренца дрожала, как в лихорадке, сердце её усиленно стучало, на глазах стояли слёзы...

— Сударыня, пожалуйста! — услышала она непонятные ей слова.

Её проводили теми же пустынными коридорами, вывели на тот же маленький подъезд и усадили в карету. Карета тронулась.

XVI

Долго ещё Лоренца не могла прийти в себя и находилась в состоянии, подобном тому, в какое приводил её Джузеппе, когда таинственным способом прикасался к её голове и повелительно говорил ей: «Спи!» Она ничего не сознавала, не видела, не чувствовала.

Но вот она пришла в себя и прежде всего рассердилась на царицу, да так, как ещё до сих пор ни на кого и никогда не сердилась. С

её прелестного лица сбежало полудетское выражение, щёки зарделись краской гнева, глаза сверкнули злобой. Она даже с такою силой сжала свои маленькие, нежные руки, что одно из колец, покрывавших её тонкие пальчики, втиснулось в тело и до крови прорвало кожу. Но она и на боль не обратила внимания.

«И за что восхваляют эту ужасную женщину! — бешено думала она. — За что называют её необыкновенной, великой?! Она злая, капризная, дурная, завистливая — и больше ничего... Она только хочет показать свою силу... Но это ещё посмотрим! Князь могуществен, он делает всё, что хочет... Я не желаю уезжать... Я люблю князя... я хочу с ним остаться!»

Она изо всех сил дёрнула за шнурок, один конец которого находился в карете, а другой был привязан к поясу кучера. Карета остановилась. В миг один Лоренца распахнула дверцу, выпорхнула из неё с лёгкостью и грацией, каким позавидовала бы первейшая танцовщица, и прежде чем кучер мог придти в себя от неожиданности, была уже далеко.

Она закуталась в свою соболью шубку и

неслась по снежному тротуару, пока не заметила стоявшего на перекрёстке извозчичьего возка. Тогда она всё с той же лёгкостью и быстротою оказалась в возке и кое-как объяснила извозчику, куда её надо везти, всунув ему при этом в руку серебряный рубль. Извозчик изо всей мочи погнал пару застоявшихся лошадок. Ухабы, ухабы, опять ухабы... снежная пыль в глаза... кто-то кричит, бранится — чуть не раздавили кого-то... опять ухабы — и вот Лоренца перед хорошо знакомым ей одним из крылец потёмкинских чертогов.

По раз и навсегда данному приказу светлейшего здесь её впустят во всякое время. Ей знакома дорога, и перед нею распахнутся все двери. Она знает, где именно найти «его». А если он выехал — она останется ждать и дождётся...

Но он был у себя и ждал её. Он часто, слишком часто её ждал и слишком волновался, когда его ожидания оказывались тщетными. Едва она вошла и он её увидел, разгладились морщины на его прекрасном лбу, и счастливая улыбка разлилась по всем чертам его лица, на котором за минуту изображались ску-

ка, тоска и раздражение. Он взял её маленькие белые ручки, склонился к ним и стал целовать их жадно и страстно.

Но вот он взглянул ей в глаза и невольно отстранился: он почти не узнал Лоренцу, ему никогда даже не могло прийти в голову, что она способна быть такою.

— Что с вами, моя дорогая маленькая сеньора? — спросил он. — Кто вас обидел?

— Знаете ли, откуда я? — дрожа, в волнении шепнула Лоренца. — Я прямо от вашей царицы!

— Что? От царицы? — Он сдвинул брови. — Успокойтесь и расскажите мне все подробно...

Не выпуская её рук, он усадил её рядом с собою и внимательно, не перебивая, выслушал её рассказ, прерывавшийся слезами и едва сдерживаемыми рыданиями. Лоренца была из числа тех женщин, к которым идёт решительно всё, даже слёзы. Под конец Потёмкин не столько её слушал, сколько любовался ею. С первых же её слов он догадался в чём дело, всё сообразил, и когда она довела свой рассказ до конца, он уже был спокоен и улыбнул-

ся ей какой-то мечтательной, влюблённой улыбкой.

Улыбка эта озадачила и смутила Лоренцу.

— Вам смешно, князь! — с горьким упрёком в голосе воскликнула она. — Вы рады тому, что нас преследуют, вы хотите, чтобы я уехала?!

— Перестаньте говорить пустое, — сказал Потёмкин, снова покрывая её руки поцелуями, — мне вовсе не смешно, но и печалиться не вижу пока причин... Вы уедете только в том случае, если того сами захотите.

Она остановила на нём долгий взгляд и стала внимательно слушать.

Он продолжал:

— Воля царицы — закон. Если она приказывает, чтобы муж ваш завтра же выехал, то он и должен выехать... Но ведь вы, по словам царицы, подлежите высылке только как его спутница. Вы можете остаться... для этого надо, чтобы вы решились оставить мужа... чтобы вы доверились мне... чтобы вы любили меня так же, как я люблю вас...

Лоренца вздрогнула. Оставить мужа! Ведь она не помнила, что было время, когда она

убегала от своего Джузеппе, что ещё недавно она готова была его покинуть, и если не сделала этого, то единственно потому, что у неё не хватало сил и решимости, потому что она трепетала перед тайной, колдовской властью этого человека.

После того как он во время её странного усыпления приказал ей любить его, она исполняла его приказ, она любила его страстно. Но не менее страстно любила она и Потёмкина. Если бы теперь Джузеппе был здесь, она не могла бы ни на что решиться, её одинаково влекло бы к этим двум людям... Джузеппе нет, она не чувствует его присутствия, его влияния... а русский великан перед нею среди почти сказочного великолепия своей царственной роскоши, во всём блеске своего могущества, силы, очарования...

И он говорит ей, что её любит, он покрывает поцелуями её руки и шепчет ей: «Лоренца, останься со мною!..» Он её любит!.. Он, грозный лев, перед кем все трепещут, сам трепещет, ожидая её ответа... Уехать завтра!.. Навсегда его покинуть... никогда больше не видеть этого величественного, гордого лица, ко-

торое умеет так страстно, так нежно улыбаться!.. Нет, это невозможно!..

Её сердце бьётся всё сильнее и сильнее. Она уже не помнит о Джузеппе, она все забыла... А ласковый, соблазнительный голос шепчет ей:

— Лоренца! Ты в моей власти. Лоренца! Моя воля — тоже закон. Я хочу, чтобы ты меня любила — и ты меня любишь. Я хочу, чтобы ты сама сказала мне это — и ты скажешь!.. Ты останешься со мною и будешь жить для меня одного. Я спрячу тебя так, что никто тебя не отыщет, Я окружу тебя всем, что только может придумать и пожелать твоё воображение, твоя прихоть. Говори же мне, что ты меня любишь, что ты останешься!..

Лоренца подняла на него свои чудные глаза, подернутые страстной влагой, — и эти глаза сказали ему все. Она слабо, как-то радостно и в то же время испуганно вскрикнула и, охватив его шею своими тонкими руками, припала головой к широкой груди его.

— Лоренца! Встань и уходи отсюда навсегда! — вдруг прозвучал над ними странный голос, полный необычайного спокойствия и

непобедимой власти.

Она затрепетала всем телом. Это «он», непонятный, великий, перед кем должно склоняться всё, перед кем чародей Джузеппе превращается в бессильного покорного раба, как она видела два дня тому назад. Это «он»!

И она почувствовала себя совсем уничтоженной властью этого непонятного существа. Ужас охватил её, такой ужас, какого она не испытывала никогда в жизни. Она выскользнула из объятий Потёмкина и с единой мыслью о том, чтоб не увидеть «его», не встретиться с «его» взглядом, как безумная, убежала из комнаты.

Всё это произошло так быстро, что Потёмкин не успел шевельнуться, не успел не только удержать её, но даже понять, что она от него вырвалась и убегает. Но вот она исчезла. Он порывисто поднялся и страшный от гнева взглянул на стоявшего перед ним человека.

Кто это? Кто этот дерзновенный безумец, осмелившийся сюда проникнуть?

Он узнал его — и гнев мгновенно стих, уступив место изумлению, такому изумлению, что мысль о Лоренце пропала вместе с

порывом возбуждённой ею страсти.

Было чему поразиться и от чего прийти в изумление! Несколько месяцев тому назад этот человек в первый раз появился здесь. Потёмкин принял его высокомерно, принял только по желанию и просьбе царицы. Но прошло не больше часу времени — и человек этот овладел высокомерным, могущественным вельможей, потряс его душу и стал близок и дорог этой душе. Он обещал появиться тогда, когда это будет надо, в минуту величайшей опасности, и ушёл.

С тех пор Потёмкин несколько раз встречал его, даже подолгу находился с ним в одной и той же комнате и не обращал на него внимания. Он забыл, да, непостижимо забыл свою с ним беседу, забыл значение для него этого человека. Как могло случиться это? Ведь это невозможно! А между тем оно было именно так: он забыл все — и только теперь вспомнил.

— Князь, я исполнил своё обещание... я пришёл к тебе в тот самый миг, когда готово было совершиться твоё падение, такое падение, всю глубину которого ты не можешь

исчислить! — произнёс между тем Захарьев-Овинов, поднимая глаза на Потёмкина и заставляя его сразу вернуться ко всем впечатлениям их первой встречи, сразу как бы уничтожая и сглаживая всё, что было со времени этой встречи до настоящей минуты.

Широкое чувство любви, доверия, почти восторга к этому неведомому, но близкому человеку наполнило сердце Потёмкина.

— Но как же мог ты сюда проникнуть? — воскликнул он, едва веря своим глазам.

— Если б кто-нибудь спросил тебя, как можешь ты одним росчерком пера решить дело, последствия которого отразятся, быть может, на миллионах людей, что ты ответишь? Если скажешь: «Могу, ибо имею власть и силу» — будет ли это ясным ответом? Для того чтобы ответ твой был ясен, тебе пришлось бы объяснять и рассказывать весьма многое и коснуться даже множества таких предметов, которые для тебя самого непонятны и тайны. Так и я, отвечая тебе кратко: «Мог сюда проникнуть, ибо имею власть и силу», — не удовлетворю тебя, а потому оставим подобные вопросы...

— Так я задам тебе другой вопрос, — перебил Потёмкин, внезапно вспомнив Лоренцу и вновь ощущая при этом воспоминании только что покинувшее его страстное волнение. — Почему должен я выносить насилие над моей волей и над моими действиями и считать это для себя спасительным? От падения ли ты пришёл меня избавить или просто мешать моему счастью, которого так мало в моей жизни?

— На это ты сам себе сейчас ответишь, вспомнив всё, что испытал, узнал и в чём уверился в течение своей жизни.

Сказав это, Захарьев-Овинов положил руки на плечи Потёмкина и устремил ему прямо в глаза взгляд, от которого нельзя было оторваться.

Внезапно одно за другим с необычайной яркостью встали перед Потёмкиным многие забытые им воспоминания. И воспоминания эти громко и убедительно доказали ему, что к Лоренце влекла его не любовь, истинная и прекрасная, дающая настоящее счастье. К Лоренце влекла его только похоть, только дразнящий каприз раздражённого воображения.

Он хорошо знал эти капризы, обещающие так много и быстро приносящие после минутного самозабвения только пустоту, недовольство собою, доходящее до омерзения.

Что было всегда, то было бы и теперь! И только что он понял это, как Лоренца представилась ему совсем в новом свете. Он не мог до сих пор беспристрастно судить её, да вовсе и не желал этого. Но теперь соблазнительная её красота отошла на второй план, и он увидел, что ни любви, ни счастья не могла дать ему эта ребячливая, легкомысленная женщина. Она дала бы ему только одно опьянение, и чем продолжительнее оказалось бы это опьянение, тем было бы хуже...

Не находя исхода своим стремлениям, своей тоске по неведомому, изнывая от скуки и пресыщения земными благами, он нередко сам искал такого опьянения, забывался, не забываясь о том, что погружается в грязь, почти теряет своё человеческое достоинство. Но человеческое достоинство всегда просыпалось в нём внезапно, и чем грубее и сильнее было его опьянение, тем он с большим гневом на себя стряхивал грязь, проникался сознанием

своего падения и рвался к свету.

Это были периоды высочайшего подъёма его духа, самых глубоких и светлых мыслей, кипучей и плодотворной деятельности, плоды которой не пропали и зреют доселе.

Именно такое сознание ничтожности и презренности наслаждений, составлявших предмет его капризных мечтаний со времени встречи с Лоренцой, наполнило его теперь под влиянием нахлынувших на него воспоминаний. В один миг и бесповоротно вырвал он из своего сердца образ Лоренцы, и если б она сама явилась перед ним со всеми своими соблазнами, он посмотрел бы на неё тем гордым и презрительным взглядом, который всегда создавал ему столько бессильных врагов.

— Да! — сказал он с просиявшим лицом и горячо обнимая Захарьева-Овинова. — Ты прав, непонятный друг, ты отвёл меня от падения. И мне именно теперь не след было падать: время приходит горячее, нужны все мои силы на многие работы.

Он задумался. Его опять поразили мысли, вызванные появлением Захарьева-Овинова.

— Ты не любишь вопросов, — воскликнул

он, — но всё же скажи мне, зачем ты заставил — ибо я вижу, что это ты заставил — и меня, и царицу, и всех, кажется, забыть про тебя, не замечать тебя даже и тогда, когда ты был у всех на глазах?

Захарьев-Овинов усмехнулся.

— Ведь я сказал тебе, когда ты спрашивал меня: кто я? — что я тот, кому ничего не нужно. Если человеку ничего не нужно, если он не стремится ни к чему из того, что могут дать люди, он только тогда свободен и спокоен, когда люди его не замечают. Бросаться в глаза и заставлять говорить о себе любит лишь тот, кто не чувствует под собой твёрдой почвы, кто нуждается в людях.

— Да, — задумчиво проговорил Потёмкин, опустив голову на руки и закрывая глаза, как он всегда делал в минуты глубокого раздумья, — когда ты знаешь, что не нуждаешься ни в ком, а что в тебе каждый может нуждаться, — это великая услуга для гордого духа! Но это не всё! Скажи мне, человек непостижимый, познавший все и достигший такой власти, в существование которой я всегда верил наперекор тому, что люди называют

здравым смыслом, скажи мне, в чём познал ты истинное счастье и где мне искать его?

Он долго ждал ответа. Наконец тихий голос, полный горькой муки, произнёс над ним:

— Брат мой, я скажу тебе, в чём истинное счастье, только тогда, когда буду наверное знать, что нашёл его!

Потёмкин открыл глаза, поднял голову — и никого не увидел перед собою. Захарьев-Овинов исчез так же внезапно и неслышно, как и появился.

XVII

В доме графа Сомонова, да и вокруг его дома, происходило некоторое замешательство с самого утра. Крыльцо, через которое выпускались больные и вообще все желавшие видеть православного целителя и благотворителя графа Феникса, было теперь наглухо заперто. На его ступенях сидел человек, объявлявший всем подходящим, что нынче приёма нет, что граф Феникс уехал на некоторое время из Петербурга. На тревожные вопросы: когда же он вернётся? — был ответ, что это пока неизвестно. Больные и чаявшие графской милости

уходили повеся голову и с глухим ропотом.

В самом доме, или вернее, в той его части, где находились комнаты, занятые графом Фениксом с супругою, был замечен беспорядок и все признаки сборов к неожиданному и скорому отъезду. Лоренца наблюдала за слугами, укладывавшими в различные ящики и сундуки самые разнородные вещи. Сам Калиостро появлялся бледный, с горящими глазами, повелительным голосом отдавал слугам приказания и затем удалялся в библиотеку графа Сомонова, где с самого утра были собраны влиятельнейшие члены — основатели ложи Изиды.

Накануне вечером Великому Копту и Сомонову пришлось долго ожидать возвращения Лоренцы. Граф Александр Сергеевич прошёл все степени недоумения, ожидания, волнения и опасений. Наконец он не выдержал и обратился к Калиостро с такими словами.

— Однако нам могут заметить, что все наши труды и работы, все наши тайные знания немного стоят, если мы, как и все посвящённые, должны томиться в неизвестности и не можем знать того, что для нас важно и нас

интересует. Положим, я ещё слаб, я ещё владею только незначительной долей таинств... но вы, наш великий учитель, зачем оставляете вы себя в томительной неизвестности относительно того, что с вашей супругой, почему она до сих пор не возвращается и для какой цели вызвала её царица?

Калиостро, сидевший в глубокой задумчивости и давно уже безо всякой помощи каких-либо тайных знаний понявший положение, встал и, стараясь казаться спокойным, ответил:

— Отчего же вы думаете, граф, что я в неизвестности? Если вы сомневаетесь в том, что я вижу теперь мою жену и знаю всё, что произошло с нею, то, значит, вы перестали считать меня тем, кем знали до сих пор! Вы полагаете, что поездка жены моей к царице взволновала меня? Вы ошибаетесь...

Услыша слова эти, граф Александр Сергеевич мгновенно воспрянул духом и оживился. Между тем Калиостро продолжал:

— Я был уже взволнован, когда вернулся, и вы меня встретили известием о поездке графини Лоренцы. Мне тяжело и неприятно со-

общать вам истинную причину моего волнения; но всё равно несколькими часами раньше или позже — а сообщить придётся. Дело в том, что сегодня я получил известие, заставляющее меня, не теряя времени, ехать в Германию, а оттуда во Францию.

Говоря это, Калиостро думал: «Если я ошибаюсь, если Лоренца привезёт иную весть, то легко будет их всех обрадовать, объявив, что обстоятельства изменились и я могу ещё на некоторое время до окончательного устройства ложи остаться в Петербурге».

Отчаяние и почти ужас изобразились на лице графа Сомонова.

— Как?! — глухо прошептал он. — Вы должны ехать? Вы покидаете нас именно в такое время, когда присутствие ваше необходимо, когда от присутствия вашего и от вашей силы зависит утверждение и благоденствие нашего великого дела?!

— Я очень хорошо знаю, как важно и необходимо моё присутствие здесь, — с глубоким и очень искренним вздохом сказал Калиостро, — если и еду, то единственно оттого, что моё присутствие ещё нужнее в другом месте...

Моя поездка необходима для того же общего великого дела, которому посвящена вся моя жизнь. Не спрашивайте меня, зачем именно я еду, я не могу ни вам, да и никому на это теперь ответить, придёт время — и вы все узнаете, все станет вам ясно.

Граф Сомонов опустил голову и в глубоком унынии шептал:

— Да ведь это несчастье! Это истинное несчастье!

— Истинный мудрец и адепт великой науки никогда не должен предаваться унынию! — наставительно проговорил Калиостро, подавляя в себе самом приступ уныния, досады и бессильной злобы. К тому же для утешения вашего и всех членов нашей египетской ложи я скажу вам следующее: вы очень скоро убедитесь, что мой отъезд именно теперь избавит всех нас от больших неприятностей.

— Моя жена близко, она возвращается и через несколько минут будет здесь! — вдруг, перебив сам себя, воскликнул Калиостро.

И он знал, что в этих словах его не может быть ошибки. Он всегда чувствовал прибли-

жение Лоренцы, хоть она иной раз находилась на дальнем расстоянии, лишь бы только она именно к нему стремилась. Это никогда ещё не обманувшее его ощущение явилось и развилось в нём уже несколько лет тому назад совсем неожиданно и помимо его воли. Нервная чуткость была в нём велика, и велика была его связь с безумно, хоть и странно любимой им женою.

Действительно, через несколько минут Лоренца была перед ними, бледная, дрожавшая, с испуганными глазами. Один взгляд на неё убедил Калиостро в том, что он не ошибся в своих предположениях относительно её свидания с царицей. Он подавил в себе крик бешенства, готовый вырваться из груди его, он только побледнел и уверенным, спокойным голосом сказал:

— Граф, вы сейчас увидите, что я был прав и что мой отъезд необходим вдвойне. Лоренца, успокойся... ведь ничего неожиданного ты не можешь сказать мне, и то, что ты скажешь, вовсе не так ужасно, как ты думаешь... говори же!

Лоренца упала в кресло, залилась слезами

и сквозь её рыдания граф Сомонов расслышал:

— Царица!.. Она жестокая и несправедливая... она объявила мне свой приказ... мы завтра же должны выехать отсюда... иначе нас арестуют!..

— Вы видите! — окончательно овладев собою, торжественно произнёс Калиостро. — Соберите завтра утром членов — основателей ложи... сделайте это очень осторожно... Я прощусь с вами, оставляю инструкцию. Ровно в семь часов мы выедем. Будьте так добры, прикажите распорядиться нашим отъездом... только без всякой огласки... Теперь же я ухожу — мне необходимо заняться и привести в порядок мои бумаги.

Он крепко пожал руку графа Сомонова, совсем растерявшегося и безмолвного, и сопровождаемый Лоренцой, ободрившейся под влиянием его никак нежданного ею спокойствия, пошёл в свою рабочую комнату.

Все следующее утро до обеда было посвящено совещаниям в библиотеке. Калиостро был важен, торжественен и всего менее походил на человека, вынужденного выезжать

против воли, под страхом ареста по обвинению в уголовных преступлениях.

Впрочем, он искренно далёк был от мысли считать себя преступным. Когда Лоренца передала ему все подробности своего разговора с царицей и умоляла сказать ей, неужели правда, что он подменил умершего ребёнка (ребёнок находился хоть и в доме Сомонова, но в особом флигеле, и Лоренца его ни разу не видала), он, блеснув глазами, ей ответил:

— Всё это пустое!.. Да если бы и действительно мальчик князя Хилкина умер и я заменил его ребёнком бедных родителей, то это было бы не преступление, а благодеяние — и для бедных родителей, и для Хилкиных, и для ребёнка.

Наконец совещания основателей ложи Изиды были окончены. Калиостро дал подробную инструкцию как вести дело во время его отсутствия, сказал красноречивое, горячее слово и закончил его обещанием вернуться в скором времени и при изменившихся к лучшему обстоятельствах. Египетские масоны благоговейно простились с Великим Коптом, и даже граф Сомонов и Елагин не смели выра-

жать своей печали.

Когда стемнело, огромный дормез на полозьях был подан к крыльцу. Ровно в семь часов отворились двери, две закутанные фигуры сошли с крыльца и исчезли в глубине дормеза. Снег закрипел, лошади тронулись. Калиостро в темноте крепко сжал маленькую руку своей спутницы.

— Всё к лучшему, моя Лоренца! — бодро и даже весело сказал он.

XVIII

В нижнем этаже царского дворца находились три небольшие комнаты, убранство которых указывало на некоторую поспешность и случайность. В этих комнатах с недавнего времени помещалась камер-фрейлина императрицы Зинаида Сергеевна Каменева, известная при дворе под именем «la belle Vestale». Название это было дано ей Екатериной, и так за нею и осталось, повторяясь со всевозможными оттенками, начиная от искреннего восхищения поразительной красотой юной камер-фрейлины и кончая тоном пренебрежения и насмешки над бедной де-

вушкой-сироткой, пользовавшейся особым вниманием царицы.

Судьба прекрасной весталки не представляла ничего необыкновенного. Отец её, мелкопоместный дворянин Рязанской губернии, умер очень рано, оставив после себя вдову и маленькую единственную дочку. Не имея возможности справиться после смерти мужа с деревенским хозяйством и к тому же теснимая заимодавцами, вдова Каменева с ребёнком добралась до Петербурга, где у неё были зажиточные родственники. Родовое имение с несколькими десятками душ крестьян пришлось продать. Вырученные деньги почти все ушли на оплату долгов. И таким образом, Каменева осталась с дочкой без средств к существованию. По счастью двоюродный её брат приютил её у себя, а девочку года через два ему удалось пристроить. Он имел доступ к Ивану Ивановичу Бецкому, сумел заинтересовать его судьбою ребёнка, и маленькая Зина Каменева была определена в Смольный институт. Прошёл год. Мать её умерла от простуды, Зина стала круглой сиротой. Узнав о смерти матери, она очень горевала и своим

искренним детским горем возбудила к себе участие всего институтского начальства. Но детское горе, как бы ни было сильно оно, не может быть продолжительным.

Жизнь Зины в институте оказалась счастливой. Все её любили, и скоро она позабыла о своём сиротстве. Она была способная, живая девочка, всегда почти весёлая, хотя веселье её никогда не выражалось в шумных порывах. Любила она всех. Душа её всегда была открыта для каждой из подруг. Но эти подруги чувствовали, что могут найти сочувствие и поддержку Зины только в том случае, если они правы, если не сделали ничего дурного. Зина была очень справедлива, и это сразу замечали и понимали все, кто знал её.

Наружность маленькой институтки сначала не могла обратить на себя особого внимания, но по мере того как она выростала, с каждым новым годом красота её развивалась все пышнее и пышнее, и к концу институтского курса Зина превратилась в настоящую красавицу. О красоте её уже говорилось в институтских стенах, только сама она про то не знала, или, вернее, не обращала на свою

внешность никакого внимания. И в этом она совсем не походила на подруг своих. Смолянки очень рано начинали думать о своей наружности и заниматься ею. Частые посещения института императрицей и её приближёнными, роскошные придворные праздники, устраиваемые в институтских залах с участием воспитанниц, были тому причиной.

Девочки не могли не замечать, какое значение имеет в свете красота. Во время праздников они не раз, быть может, подслушивали чересчур громкие суждения о своей наружности. После каждого праздника, конечно, между ними шли долгие разговоры, вызванные впечатлениями и всеми подробностями праздника. Из этих разговоров выяснилось, что вот такая-то и такая-то воспитанница обратила на себя общее внимание. Государыня сказала то-то, Иван Иванович Бецкий — то-то, граф Безбородко сделал такой-то и такой-то комплимент, и так далее. В девочках невольно появлялось желание быть отличёнными на следующем празднике, и к торжественному дню все они готовились заранее, изучали себя, придумывали причёски, изыскивали все

маленькие средства, бывшие в их распоряжении, чтобы увеличить свою красоту и произвести как можно лучшее впечатление. Всё это, естественно, развивало в них женское кокетство и в большинстве случаев смолянки, окончив курсы и выйдя из института, оказывались хотя и совсем не знавшими жизни, но хорошо владевшими тайной пользоваться своей природной красотой и возвышать её с помощью иной раз почти неуловимого, тонкого искусства. А в Зине Каменевой не было ровно никакого обдуманного кокетства. Все её кокетство, бессознательное и тем более могущественное, заключалось в данной ей природой удивительной женственной красоте, естественности и грации.

Перед праздниками и посещениями института высокими особами Зина никогда ни к чему не готовилась, не помышляла ни о своей причёске, ни о мелочах своего туалета. Она всегда и всюду являлась такою, какой была ежедневно с утра и до вечера, и производила на всех самое чарующее впечатление.

В последние годы пребывания в институте, когда девочки уже окончательно преврати-

лись в молодых девушек, Зине пришлось испытать большие разочарования и горести. Она увидела перемену к себе во многих подругах; прежняя всеобщая любовь к ней значительно ослабела. Её продолжали обожать воспитанницы младших классов, но взрослые девицы и ближайšie подруги, за исключением немногих, как-то охладели к ней и от неё отделились.

Ей было это очень горько, но она далеко не сразу поняла причину такого отчуждения. А когда, наконец, уже перед самым окончанием курса поняла, то сильно удивилась и огорчилась ещё больше. Всё дело было в её красоте и в той невольной зависти, которую эта красота возбуждала в подругах. Не будь праздников и вызываемого ими в девочках кокетства, красота Зины не создала бы ей из недавних друзей завистниц...

Во всяком случае, Зина уже начинала чувствовать, что жизнь вовсе не так светла, как ей до сих пор казалось, что люди вовсе не такие хорошие и добрые, как она хотела это думать.

Когда после выпуска в Смольном был ве-

ликOLEпный придворный праздник, где Зина играла роль весталки и где она так неожиданно для самой себя и для всех упала в обморок, она поразила своей красотой императрицу, и даже сам её обморок обратил на неё особое царское внимание. Через несколько дней после праздника Екатерина, расспросив подробно Бецкого о смолянке Каменевой, приказала привезти её к себе.

Зина, хотя и была несколько смущена, но в то же время чувствовала себя очень счастливой. Как и все смолянки, она боготворила царицу.

Представленная Екатерине, она держала себя с обычной своей безыскусственной простотой. Она сумела, нисколько о том не думая, очень мило и наивно выразить царице свои чувства. Великая Екатерина любила красоту, в чём бы ни выражалась она. Её светлый ласковый взор долго покоился на Зине, изучая её и любуясь ею. Под конец она обняла молодую девушку и сказала ей:

— Дитя моё, ты прекрасна, и не думаю я ошибиться, полагая, что у тебя доброе сердце. Я верю в искренность чувств ко мне, выра-

женных тобою. Ты сирота, близких родных у тебя нет... ты останешься со мною... Я назначаю тебя моей камер-фрейлиной.

Зина едва верила ушам своим. Она совсем растерялась. Но первым её чувством была радость, и, заливаясь благодарными, счастливыми слезами, она припала к руке милостивой и доброй царицы.

Когда она вернулась в институт для того, чтобы объявить там свою радость и приготовиться к переезду во дворец, её встретили со всех сторон поздравления, пожелания счастья, её обнимали, целовали, ласкали. Но чуткое её сердце чувствовало, что не все эти выражения расположения и участия искренни, что многие из них скрывают за собою совсем иные чувства. Да и вообще, успокоясь от неожиданности и обдумывая своё положение, она уже не знала сама — следует ли ей радоваться или печалиться. У неё явилось предчувствие ожидающей её борьбы и грядущих бед...

XIX

С тех пор прошло несколько месяцев. Она исполняет свои обязанности во дворце. Царица по-прежнему расположена к ней и неизменно ласкова. И любовь к царице все усиливается в сердце Зины.

Первое время она жила как бы в тумане — так велика была перемена, происшедшая в её жизни, так сильны и неожиданны были получаемые её ежедневно впечатления. Но мало-помалу она начинает разбираться в этих впечатлениях, вглядывается в новых окружающих её людей, приучается к жизни.

Свободные от дежурства дни она по большей части проводит одна у себя, в своих трёх комнатках, занимаясь чтением и музыкой и думая свои думы.

Теперь, когда недавний туман рассеялся, когда она успокоилась и вошла в новую колею, её всё чаще и чаще преследует одно воспоминание. Воспоминание это соединено с тем великолепным праздником, во время которого решила её судьба. Перед нею восстаёт образ человека, два раза мелькнувшего перед нею в тот незабвенный вечер.

В первый раз она увидела его перед собою

и остановилась поражённая, с мучительно и сладко забившимся сердцем. Второй раз она увидела его вдали, среди толпы, в тот самый миг, когда она играла свою роль весталки, зажигала свой пламенный. Она увидела его, и его взор произвёл на неё самое непонятное действие. Она не выдержала этого взора и потеряла сознание.

Потом она уже больше не встречала этого человека, не знает даже, кто он, боится, да, боится о нём узнавать и спрашивать. А между тем она, конечно, никогда его не забудет, он перед нею навсегда. Между ними какая-то могучая связь, и она бессознательно чувствует, что никто и ничто не разрушит этой связи.

Вспоминается ей и ещё одно обстоятельство: её посещение по воле императрицы прекрасной графини Зонненфельд. И эту женщину она никогда не забудет. Не забудет она её чудного лица, так непонятно страшно, так непонятно мучительно на неё глядевшего. С прекрасной графиней ей тоже после того не пришлось ни разу встретиться, но о ней она узнает и расспрашивает. Только немного до сих пор узнала: графиня все нездорова, и её

почти не видно в петербургском обществе.

Между тем Зине с каждым днём всё более и более хочется опять встретить эту женщину и поближе узнать её. К ней влечёт её neodо-лимая симпатия...

Она сидела у себя и думала именно о Елене в тот самый день, когда граф Феникс с Лоренцей выезжал из Петербурга. Эти думы были так настойчивы и вместе с тем такая непонятная тоска закрадывалась в сердце Зины, что сама она удивилась этому. Но каково же было её удивление, когда она услышала, что наружная дверь, ведущая из коридора её комнаты, с шумом отворилась и когда через мгновение была перед нею та, о ком она думала.

Елена остановилась, бледная, похудевшая, с неестественно, почти безумно горевшими глазами. Она задыхалась от волнения, очевидно, хотела говорить, но не могла вымолвить ни слова.

Зина поднялась ей навстречу, но, увидя это страшное лицо, этот безумный взгляд, тоже онемела от ужаса.

Быстро оглянув комнату и затем впиваясь

долгим, невыразимо мучительным взором в Зину, Елена, наконец, глухо проговорила:

— Здесь никого нет... мы одни... слава Богу!

— Графиня... вы так взволнованы... что случилось с вами?.. Чем я могу служить вам? Только скажите — я всё сделаю, что в моей власти, лишь бы вас успокоить... — робко, дрожавшим голосом едва слышно шепнула Зина.

Но Елена расслышала её шёпот.

— Что случилось со мною? Чем вы можете служить мне?.. Вы всё сделаете, чтобы меня успокоить!.. О Боже, какая адская насмешка! — воскликнула Елена, отчаянно заломив руки. — Ты меня отравила, ты отняла у меня жизнь — и хочешь помочь мне!.. Верни мне жизнь!

Зина не верила ушам своим. Ей казалось, что она бредит, что всё это во сне — и вот она сейчас проснётся... Но это не сон, не бред. Перед нею не призрак, а живая женщина. Что же значат эти непонятные, безумные слова?

Зина чувствует, что, несмотря на всю их непонятность и безумие, в них заключается какой-то глубокий и ужасный смысл. И она

слушает, прижав руку к больно бьющемуся сердцу и стараясь понять этот смысл.

— Да, это ты... о, как я тебя знаю... каждую черту твою!... Да, ты хороша, ты очень хороша... но ведь и мне с детских лет все говорили о красоте моей. Ведь и я слышала, что прелестнее меня никого не может быть на свете... И он сам... знаешь ли ты, как много раз его взор говорил мне то же самое! Сердце женщины не может ошибаться — я не обманываюсь, не лгу. Он восхищался мною, в его глазах я читала любовь, страсть. Ты хороша, может быть, ты лучше меня, но ведь ты ещё совсем ребёнок!.. Что же ты сделала, чем могла ты так привлечь его, что он ушёл от меня навеки? Ведь к тебе он ушёл, тебя он полюбил, ты была с ним, ты упала в его объятия... ведь я это видела так ясно в воде, а вода обманывать не может!

«Она сошла с ума! — мучительно подумала Зина. — Конечно, она сошла с ума!»

При этой мысли такая жалость наполнила ей сердце, что она не выдержала и горько заплакала, кидаясь к Елене и схватывая её руки.

— Графиня, — сквозь слёзы говорила она, сама не зная что, желая только своим ласковым голосом и нежностью успокоить несчастную, — голубушка, милая, успокойтесь!.. Я совсем не понимаю, что это такое вы говорите... успокойтесь, право, уверяю вас, вам всё только кажется... Всё это не так, я никого не знаю, никого!

Елена вздрогнула, притихла и несколько мгновений молча, пристально глядела на Зину.

— Как! Ты его не знаешь, ты его не любишь?

— О, Боже мой! — отчаянно воскликнула Зина. — Да про кого же вы говорите? Скажите его имя!

— Его имя, его имя... — прошептала Елена, проводя рукой по своему горящему лбу. — Разве кто-нибудь знает его имя?.. Там он был Заховинов, здесь он — князь Захарьев-Овинов... Но и то и другое — разве это его имя?!

Зина обняла Елену, вложив в это объятие всю нежность, на какую была способна.

— Милая, слушайте же и верьте мне: я не знаю никакого князя Захарьева-Овинова и

никогда его не знала. Вы сами говорите, что я ещё ребёнок — и ведь это правда, я так ещё недавно была в институте и так мало понимаю жизнь... Я вижу, что вы очень несчастны, и когда бы вы только могли знать, как мне жаль вас, как мне хотелось бы вас успокоить... Только послушайте, быть может, вы напрасно предаётесь отчаянию... Бог милостив... Я ничего не знаю, но из слов ваших могу понять, что вы любите этого князя — о, как сильно вы его любите! — и что он обманул вас или разлюбил... Но кто же вам сказал, как могли вы подумать, что я тому причиной?! Милая, дорогая, неужели вы не в силах мне поверить, что не только я никогда не видала этого человека, а потому не могу любить его, но ещё ни один мужчина не говорил мне о любви...

В её голосе, в её лице выражалась такая искренность, такая детская простота, её ласка была так обаятельна, что Елена, несмотря на всё своё болезненное возбуждение, являвшее все признаки настоящего безумия, как-то вдруг почти совсем успокоилась. Её отчаянье, ненависть, злоба стихли. Она позабыла все

противоречие между тем, что она знала, и уверениями этой чудной девушки. Ведь муки были слишком велики, слишком невыносимы — и больное сердце, совсем истерзанное, жадно хваталось за возможность какого-либо, хотя бы минутного, успокоения.

Не верить этому простодушному, чистому ребёнку было нельзя — и Елена поверила. Глаза её потухли, в них выражались теперь только бесконечная усталость и мольба об участии. Она всю жизнь была одинока, она никогда и никому неверяла ни своих надежд, ни своего горя. Она, как святыню, хранила от всех свои муки, несла их одна, но теперь эта ноша разбила ей сердце, лишает её рассудка, жизни... Теперь она не в силах противиться участию, она его жаждет и молит...

Зина нежно привлекла её к себе — и вот она положила свою отяжелевшую, отуманенную долгими, бессонными ночами голову на грудь той, кого до последней минуты считала своим злейшим врагом. И ей тепло на этой груди, у этого юного сердца, ещё не знакомого ни с блаженством, ни с муками страсти.

Она была истерзана до последней степени,

чувствовала, что не может больше жить, и видела перед собою ночью и днём только одну картину, явившуюся ей в воде под обаянием чародея, и она в порыве безумия ворвалась сюда, чтобы хоть своим последним, предсмертным проклятием смутить ту, которая неизменно представлялась ей в объятиях погубившего её человека...

Но вместо того, чтобы проклинать её, она доверяет ей своё горе. Мучительным шёпотом передаёт она ей никому неведомую историю своего разбитого сердца.

С тоскою, жалостью и горькими слезами слушает Зина эту исповедь, и вдруг невольный, внезапный крик ужаса вырывается из уст девушки...

Она поняла, наконец, в этом таинственном рассказе, кто такой князь Захарьев-Овинов. Она поняла, почему несчастная княгиня пришла именно к ней, поняла свои неотвязные думы последнего времени и тайную связь, образовавшуюся между нею и этой измученной, доведённой до безумия женщиной. В её памяти и воображении будто живой восстал образ этого непостижимого человека, неотразимую

власть которого она уже на себе испытала... Кто же он — воплощённый демон, страшный чародей?.. Но кто бы он ни был — вот эта прекрасная графиня гибнет, загубленная им... и, быть может, такая же гибель грозит и ей...

Её невольный крик заставил Елену содрогнуться. Она приподнялась и остановила на Зине взгляд, в котором снова загорелось дикое пламя. Долго смотрела она так, трепеща всем телом. Лицо её исказилось страданием и гневом.

— Ты обманула меня, ты его знаешь! — наконец воскликнула она диким, почти нечеловеческим голосом.

Зина ничего ей не ответила, не была в силах ответить. Её голова кружилась, ужас охватывал её всё сильнее и сильнее.

Елена силилась говорить, но только слабый стон вырвался из груди её. Она схватилась за сердце, покачнулась и упала на пол.

Когда Зина пришла в себя и склонилась над нею, то увидела широко раскрытые, неподвижные глаза, такие глаза, каких не бывает у живого человека...

«Отец, отец, все совершенно, все исполнено, и в вечном храме мудрости принесены мною все жертвы!.. Отец, последняя борьба была, нежданно для меня, тяжелой борьбою, но я всё же не пал, я вышел из неё победителем, стряхнул с себя все узы плоти, отогнал от себя все соблазны природы, разорвал ту цепь из благоуханных роз, которые, как говорит вековая мудрость человечества, опаснее и крепче всех цепей, скованных из железа и золота...

Мой свободный дух стремится в беспредельное сияющее пространство, ничто не связывает меня с землёю, а между тем непонятная тоска гложет мне сердце. В тоске этой нет никаких сожалений, ибо если бы я нашёл в ней сожаления, то я не мог бы назвать себя победителем. Тоска эта не что иное, как пустота, ощущаемая в душе моей... Откуда же такая пустота? Все мои знания и весь мой разум ничтожны для того, чтобы ответить мне на вопрос этот... Отец, ты один можешь мне ответить, отчего же ты молчишь, отчего же оставляешь меня с этой невыносимой душев-

ной пустотой? Ведь она составляет именно противоположность тому, что я должен был получить, победоносно окончив последнее испытание!..

Но ты молчишь! В прежнее время в минуты сомнений и вопросов, на которые ты один мог ответить, ты всегда сказывался мне, где бы я ни был, какое пространство ни разделяло бы нас. Всегда в такие минуты я ощущал трепетание невидимой, но могучей нити, связывающей нас друг с другом через пространство и время. Ты всегда тем или иным способом откликался на зов мой. Отец, где же ты? Я тебя не слышу, я тебя не ощущаю!..»

Так шептали бледные губы великого розенкрейцера. Склоня голову, с тоскою и усталостью на мертвенном, прекрасном лице, сидел он перед своим рабочим столом, окружённый книгами и манускриптами. Как и всегда, невозмутимая тишина была вокруг него и нарушалась только однообразным стуком маятника стенных часов. Как всегда, особенный ароматический запах, освежающий и успокоительно действующий, носился по уединённым его комнатам. Но он не слышал мерного

звука маятника, не ощущал привычного запаха, уже не производившего на него теперь никакого ободряющего и успокаивающего действия.

— Где ты, откликнись на зов мой! — повторял он страстным, мучительным шёпотом.

Он призывал не того отца, который был вблизи от него, в этом же доме, не того отца, который теперь спокойно ожидал минуты своего освобождения и жил особой, внутренней жизнью, всё более и более развивавшейся в нём и направляемой благодаря ежедневным долгим беседам с отцом Николаем. Этого отца великий розенкрейцер мог видеть постоянно, но он не нуждался в нём, и по-прежнему между ними не было внутренней связи.

Он звал другого отца, единственного человека, перед которым склонялся, призывал своего мудрого, великого учителя, в последнее время не подававшего ему о себе никаких известий. Он знал, что если бы этот отец переселился в иной мир, покончил своё долгое земное странствование, он бы узнал об этом в ту же минуту. Отец не мог покинуть земли, не сказав последнее земное «прости» любимому

му сыну и наследнику своих знаний, мудрости и власти.

Нет, отец жив, а между тем нет от него вести, и порвана между ними давно уже созданная их волей и знанием, неизменно действовавшая, невидимая нить. Они разобщены, и виновник этого разобщения, очевидно, отец...

Что же это значит? За что такое наказание, единственное наказание, какому мог быть подвергнут великий розенкрейцер отеческой властью старца? Мысль о том, что отец им недоволен и что не всё ещё совершено, — эта новая мысль была невыносима Захарьеву-Овинову.

Но вот он начинает ощущать нечто необычайное. Это именно и есть то самое ощущение, какое он всегда испытывал, когда от него требовалось все напряжение духовных способностей, когда готово было совершиться какое-нибудь явление высшего порядка.

«Это отец приближается!» — мелькнуло в голове его, и сердце его забилося.

Он ждал, устремив неподвижный взгляд перед собою. Вот какой-то неясный, едва слышный звук пронёсся в тишине комнаты...

вот мелькнуло что-то. Но перед ним не отец. Перед ним графиня Елена.

И это уже не то полупрозрачное видение, вызванное им несколько месяцев тому назад и явившееся на могучий зов его. Это не тот светлый, пронизанный лунным блеском образ, шептавший ему слова любви, простиривший к нему руки и открывший ему его собственное, так испугавшее его чувство.

Темна и бледна стоит она теперь перед ним с поникшей головою, с бессильно опущенными руками. Страшно лицо её; невыносимое страдание разлито по всем чертам его; глаза глядят с упрёком, с таким упрёком, от которого нечем избавиться и некуда скрыться.

Холодом смерти пахнуло на Захарьева-Овинова — и он сразу понял, что смерть привела к нему Елену. Но ведь недаром вышел он победителем из последнего испытания, недаром шептал далёкому «отцу» о том, что порваны им все узы, связывающие с землёю, с земными чувствами и земным страхом. Он мгновенно подавил в себе волнение и поднялся навстречу тёмному, печальному

призраку, бестрепетный и холодный.

Между тем Елена продолжала глядеть на него с подавляющим упрёком. И вот зазвучал среди застывшей тишины её тихий голос:

— Зачем ты погубил меня? Я была рождена для жизни и её радостей, и жизнь моя могла развиваться пышным цветом. Я была рождена для добра и любви, и душа моя могла отдать жизни и людям все свои заветные сокровища... зачем же ты погубил и обманул меня?

Мучительный, полный упрёка взор подтверждал это жестокое обвинение.

Но Захарьев-Овинов не вышел из своего холодного спокойствия, он только почувствовал, что тоска или, как он сам определил, пустота в душе его все увеличивается. Он отвечал бледному призраку, приведённому к нему смертью, как ответил бы живой Елене:

— Ты напрасно винишь меня — я не губил тебя... я звал тебя к спасению. Я хотел очистить твою душу от всей земной пыли и грязи, для того чтобы ты могла встретить великий миг, пережитый теперь тобою, в радости и блаженстве. А ты мрачна и страдаешь! Ты сама себя погубила!..

Не то тяжкий стон, не то воздух пронёсся по комнате и замер. Снова шевельнулись бледные губы Елены:

— Мудрец, — ты не знаешь тайн жизни и смерти! Ты жесток и безумен в своём гордом ослеплении. Я говорю тебе: моим назначением была жизнь, полная любви и добра. Ты мог дать мне такую жизнь... и обещал мне её... и обманул меня, обманул жестоко и безумно! Не лги же перед собою, не ищи себе оправданий! Если б ты пришёл ко мне как отец или как брат, я стала бы тебе, быть может, дочерью или сестрою. Но ты пришёл ко мне как давно жданный возлюбленный, как жених приходит к страстно любимой невесте. Ты искал и нашёл меня — и в первый миг нашей встречи глядел на меня взором страсти. Ты сказал мне этим взором: «Я твой, а ты моя!» — и я поверила тебе, потому что не могла не поверить. Ты властно взял моё сердце и мою душу, зная, да, зная, что отныне они принадлежат тебе и никому другому принадлежать не могут. Ты погубил и обманул меня, потому что любил меня горячее, земной любовью и обещал мне эту любовь, бывшую моим зем-

ным уделом. Обманутая тобою, я страдала так, как только может страдать земное существо... и я погибла... и теперь, в этот миг, страшный и непонятный, я всё так же томлюсь и страдаю...

Её бледные руки поднялись и в изнеможении опустились снова. Страшно сверкнули глаза её и страшно прозвучали её последние слова:

— А ты, ты — убийца!

Ещё миг — и она исчезла, беззвучно и бесследно.

Дрогнуло сердце Захарьева-Овинова. «Ты убийца!» — явственно прозвучал в глубине его сознания осуждающий голос, и почудилось ему, что это голос «великого старца».

Чья-то рука коснулась руки его. Он взглянул — рядом с ним отец Николай. Лицо священника, всегда свежее, было теперь бледное и выражало необычное волнение; даже рука его, сжимая руку брата, заметно дрожала.

— Велики тайны Божии! — воскликнул он. — Юрий, я вошёл — и увидел тень женщины... я понял её жалобы и её муки... я слышал... о, Юрий!.. Веди меня, веди меня сейчас

к её гробу. Надо молиться об упокоении души её. Веди!

XXI

Какой это был ужасный день для Зины Каменевой! Если бы ещё недавно ей сказали, что бывают такие дни в жизни человека и что ей, так ещё далёкой от человеческих страстей и горя, придётся пережить все эти минуты и часы ужаса и страданий, она бы не поверила. Но она пережила и переживала их, и при этом даже выказала большое самообладание.

Когда на её отчаянный крик сбежалась дворцовая прислуга и когда появившийся врач объявил, что графиня не в обмороке, а действительно умерла, Зина, несмотря на испытанное потрясение, не растерялась. Графиню решено было тотчас же перевезти в закрытой карете в дом её отца, и Зина решила, что она не оставит теперь трупа несчастной до самой минуты погребения.

Прошло не более получаса времени — и во дворце все знали, со слов врача, что давно уже больная неизлечимой болезнью сердца

графиня Зонненфельд приехала посетить камер-фрейлину Каменеву и внезапно скончалась. У молодой графини «разорвалось сердце». Никому, конечно, не могло прийти в голову в чём-либо подозревать камер-фрейлину; напротив, даже не особенно расположенные к ней люди могли только пожалеть её.

Между тем тело Елены тихомолком вынесли, уложили в большую карету и в сопровождении врача отправили к князю Калатарову. Очень скоро уехала туда же Зина, получив разрешение отлучиться на три дня, во время которых у неё не было дежурства.

Эти несколько пережитых часов произвели в молодой девушке большую перемену — она как бы вдруг созрела. Чувство глубокой жалости наполняло её сердце, и эта жалость была так велика, что за нею забывалось все личное. Труп безвременно погибшей красавицы был теперь для Зины самым священным, самым дорогим предметом. Да, она не покинет его ни на минуту, она проводит его до могилы...

Князь Калатаров совсем обезумел, когда ему привезли мёртвую дочь. Он едва понял

объяснения врача, потом, дрожа всем телом, подошёл, взглянул на застывшее бледное лицо Елены, на котором как-то особенно таинственно и страшно выделялись длинные чёрные ресницы закрытых глаз, перекрестился, машинально приложился губами к холодному лбу покойницы, отошёл, и больше никто не мог добиться от него ни одного слова. Он сидел неподвижно в кресле, весь сторбившись, и все шептал что-то сам с собою...

Покойницу убрали и положили на стол в большом зале. Послали за священником. Пока же вдруг все притихло, и Зина осталась одна у тела.

Она опустилась на колени. Она хотела молиться, но молитвенное настроение всё ещё не приходило. Душа было чересчур потрясена.

Но вот она слышит, что кто-то опустился на колени рядом с нею, она слышит чей-то голос, то громко произносящий слова молитвы, то падающий до шёпота, быстрого, странного, какого-то особенного шёпота.

Зина подумала, что это приходский священник, за которым послали, и невольно,

чутко слушала. Она никогда не слыхала такой молитвы и такого моления. Эти слова, этот голос заставили её позабыть всё, как бы уйти от земли...

Человек говорил с Богом, веря и зная, что Бог его слышит. Человек просил у Творца милости к созданию, покинувшему землю, но не могущему ещё освободиться от земного притяжения, не забывшему ещё земных помыслов и чувств.

Мольба эта была проникнута такой беспредельной любовью и жалостью к скорбящей душе, нуждающейся в освобождении и Божьей милости, как будто человек молился о самом дорогом и близком ему существе, как будто нежный отец молился о своей единственной дочери.

«Но ведь она посторонняя ему и чужая!» — не услышала, а почувствовала Зина чью-то мысль, так как в ней самой не было и не могло быть этой мысли.

Она подняла голову, взглянула — и увидела просветлённое вдохновением лицо священника с ясными, лучистыми глазами. Но за ним был ещё кто-то, и неудержимая сила

влекла Зину взглянуть и понять, кто это.

И она поняла. С криком ужаса отшатнулась она в сторону и как бы окаменела. Но она всё же не могла оторвать глаз от того, кто стоял в нескольких шагах от неё с поникшей головою, с потухшим взглядом.

Страшным и ужасным казался ей теперь этот непонятный человек, и в душе её, заглушая все чувства, поднимались к нему ненависть, и страх, и злоба. И она поняла, что он прочёл всё это в её взгляде.

Крик Зины поразил слух отца Николая. Он встал с колен, взглянул на неё, прямо подошёл к ней и положил руки на её голову.

— Господь Сил охранит тебя от всех искушений, от всякого зла и соблазна... — вдохновенно сказал он. — Веруй в Его неизреченное милосердие, не отходи от Него — и никого не бойся. Пока душа твоя чиста и полна любовью, ты сильнее всех сильных.

Её волнение, страх, ненависть и злоба стихли. Она оторвала свой взгляд от ужасного человека. Из глаз её полились тихие слёзы. На неё будто повеяло благодатным теплом, дающим бодрость и силу.

Великий розенкрейцер ещё ниже опустил голову. Мучительная пустота в душе его достигла высшего предела, и вместе с этой пустотою он вдруг сознал себя в первый раз в жизни слабым, ничтожным и жалким со всей своей мудростью, со всеми своими силами и победами над природой...

Подобное сознание своего ничтожества и недовольство собою в таком человеке, каким был Захарьев-Овинов, являлось началом действительного и высокого духовного возвышения. Только теперь приступал он к последнему испытанию.





Великий розенкрейцер

Часть первая

I

Императрица была очень огорчена мгновенной и таинственной смертью молодой графини Зонненфельд. Впечатление было тем более сильно, что эта смерть случилась так близко от неё, в здании дворца, в помещении камер-фрейлины Каменевоы.

Царица чувствовала большую симпатию к покойной: узнав о её безвременной смерти, она даже не удержалась от слёз, а она редко поддавалась такой слабости. Ей представилось юное, прелестное лицо бывшей княжны Калатаровой таким, каким она видела его в первый раз, несколько лет тому назад, когда

молодая девушка, почти ребёнок, была ей представлена. Ей вспомнился слишком внезапный и необдуманый брак княжны с немецким дипломатом, потом скандал развода и последнее свидание с графиней Еленой. Недаром царице было как-то особенно тяжело после этого свидания — ведь уж тогда преобразённое, более чем когда-либо прекрасное, исполненное страдания лицо молодой женщины ясно говорило о приближавшейся катастрофе. Ведь и тогда, если бы только царица хотела разобраться в своих впечатлениях, она должна была видеть, что такие страдания не могут пройти, не могут кончиться не чем иным, как смертью.

Да, она могла бы всё видеть и понять, могла бы знать, что это свидание её с несчастной красавицей — последнее свидание. Только ведь человек все понимает и обо всём догадывается слишком поздно, когда уже нечем помочь, когда судьба свершилась. Да и чем бы она могла помочь? Перед судьбою все могущество, вся власть человеческая — ничтожны...

И вот графиня Зонненфельд умерла, умер-

ла от страдания, которого нельзя было пережить. Но в чём заключалось это страдание, это безысходное горе её жизни — царица не знала. И ей захотелось узнать эту тайну.

У великой Екатерины было свойство весьма немногих людей, являющееся в большинстве случаев одним из признаков гениальности и объясняющее необычайную плодотворность деятельности царицы, — она умела заключить в себе целый мир самых противоположных интересов, не имеющих ровно никакого между собою отношения. Она умела отдаваться каждому из этих интересов всецело и с необыкновенной лёгкостью переходила от одного к другому, в течение нескольких часов производила смену самых разнородных занятий.

Каждый день её проходил так: один час — кипучая законодательная работа, другой час — обсуждение различных текущих государственных дел, третий — творческое вдохновение, изображение жизни в форме литературных произведений, по преимуществу комедий — этой самой сжатой и живой литературной формы. Затем, не чувствуя никако-

го утомления и забывая все только что покинутые ею занятия, как будто их никогда не было, царица призывала к себе внука, великого князя Александра, и давала ему урок, вела с ним строго обдуманную беседу, которая всегда прибавляла что-нибудь к развитию будущего наследника русского престола.

Но вот и этот час прошёл, великий князь удаляется. Теперь перед государыней целая груда запечатанных пакетов. Её корреспонденты из разных мест России, а также заграничные друзья её, главным образом барон Гримм, сообщают ей о всевозможных делах и предметах. И она не пропускает ничего, заинтересована всем, начиная от вопросов большой важности и кончая самыми мелочными делами. На каждое письмо готов её ответ, принято новое решение, созревает новый план...

Затем наступает злоба дня, и царица, свежая и свободная от всяких забот, от всяких тревог и посторонних мыслей, будто только что проснувшаяся после крепкого, освежающего сна, отдаётся этой злобе дня. Её невероятная память хранит в себе целую бесконеч-

ность впечатлений, она никого и ничего не забывает, знает подробно все относящееся не только до окружающих её людей, но даже до таких лиц, о которых она имеет сведения лишь понаслышке. Что раз вошло в мозг и в чувство этой удивительной женщины, то уж и не исчезает, а живёт в них, незаметно переходя из настоящего в прошедшее и навсегда затем сохраняясь в складах всеобъемлющей памяти. Внутренний мир Екатерины — это самая удивительная лаборатория, и заглядывать в эту лабораторию всегда интересно для наблюдателя жизни...

Таким образом, и теперь, под впечатлением смерти графини Зонненфельд, царица на известное время всецело отдалась смутившим её впечатлениям. Она вообще не любила думать о смерти и гнала от себя мысль о ней, эта же безвременная смерть существа юного, прекрасного, исполненного всяких талантов, рождённого, казалось, для долгой и счастливой жизни, глубоко возмутила её. Один миг — и нет человека, и вместе с человеком рушится, уничтожается целый разнообразный мир, в нём заключавшийся... Время!.. Она огляды-

валась назад и видела, как невероятно быстро мчится это время, с какой ужасающей торопливостью уходят годы один за другим. Так, недавно сама она была молода, и жизнь казалась ей какой-то бесконечностью, а теперь вот уже давно ушла молодость... Кто знает, быть может, скоро придёт смерть, внезапно, нежданно-негаданно, и оборвёт все разнообразные, вечно трепещущие нити, связывающие царицу с окружающей её жизнью и мощно влияющие на эту окружающую жизнь.

Екатерина чувствовала, что она не может умереть, что она не должна умереть, что ей необходимо жить долго — и для себя, и для других. А между тем она не могла справиться с поднимавшимся в её душе сомнением, не могла отогнать от себя, в известные минуты, призрака смерти — и мучилась этим.

Она всем говорила, что проживёт долго. В одном полушутливом, полусерьёзном разговоре со своим приятелем Дидро, или, как его называли при дворе, господином Дидеротом, она несколько лет тому назад, рассуждая о Петре Великом, сказала:

— О, я ещё не скоро с ним увижусь, хотя

мне и очень хочется с ним побеседовать. Раньше как в восемьдесят лет я не сделаю ему визита...

А между тем, говоря это, она с ужасом помышляла о том, что этот визит может произойти и гораздо раньше. Как бы то ни было, но теперь снова, мучительно и почти болезненно, она думала о смерти. И в то же время ей хотелось, страстно хотелось разглядеть и узнать то тайное горе, которое безжалостно свело в могилу красавицу графиню. Конечно, ей не трудно было догадаться, что это горе была любовь. Да, это ясно! Екатерина из слов несчастной молодой женщины во время их последнего свидания поняла это. Но любовь к кому? Кого так безнадежно, так смертельно могла любить красавица? Кто мог нанести такой удар сердцу этой пленительной женщины? И какая связь может быть между её неожиданной смертью и другой красавицей, Зиной Каменевой? Ведь они не знали друг друга, между ними не было и не могло быть ничего общего. Зина совсем ребёнок — что же общего? А между тем ведь не может быть никакого сомнения в связи между смертью гра-

фини и Зиной! К ней явилась несчастная, у них было какое-то объяснение — об этом знает Марья Савишна Перекусихина, которая все знает, — и во время этого объяснения графиня упала мёртвой.

Царице было известно, что Зина Каменева не отходила от гроба покойницы и выражала все признаки особенно тяжкого горя, как будто умерла её самая дорогая, самая близкая подруга. Царица ездила поклониться праху усопшей и видела Зину у гроба, похудевшую, измученною.

Графиню похоронили. Зина вернулась к себе и целую неделю пролежала. Роджерсон, по приказанию царицы, несколько раз в день навещал её и каждое утро докладывал Екатерине о состоянии больной.

Роджерсон не видел ровно ничего особенного в этой болезни. Молодая девушка очень впечатлительна и чувствительна; неожиданная смерть, хоть и совсем посторонней для неё женщины, но у неё на глазах, во время разговора с нею, не могла не потрясти её. В первые дни она была возбуждена, проявляла усиленную деятельность, ну, а затем неиз-

бежно произошла реакция, ослабление.

Однако юность и хорошее здоровье, в соединении с лекарствами, по уверению Роджерсона, действовали быстро. Прошло несколько дней — и лейб-медик объявил императрице, что камер-фрейлина Каменева совсем здорова, совсем поправилась, что её даже вредно держать в её комнатах, что она должна приступить к исполнению своих обязанностей и вообще смена впечатлений, развлечения и доброта государыни окончательно изгладят в ней все следы пережитого потрясения.

В тот же день Зина была призвана к царице. Внимательно взглянув на молодую девушку, Екатерина увидела, что Роджерсон прав, что Зина действительно выздоровела. На её щёки вернулась здоровая краска. Но всё же она, очевидно, вовсе не спокойна, в ней заметна какая-то особенная задумчивость, какой прежде не было. Это понятно — иначе быть не может. Екатерина решилась осторожно выведать и узнать интересовавшую её тайну.

— Дитя моё, — сказала царица, в то время как Зина, склонясь, целовала её руку, — я очень рада, что ты здорова и что розы по-прежнему цветут на твоих щёчках.

И при этом она нежно погладила Зину по щеке своей маленькой мягкой рукою.

— Но дело в том, что ты у меня в долгу, ты пропустила не одно дежурство, а посему изволь-ка подежурить и сегодня, и завтра. Мне нынче как-то не по себе, ужо вечером у меня не будет никакого приёма, и я не двинусь с места. В восемь часов я позову тебя, и ты будешь мне читать.

Зина даже вспыхнула от удовольствия. За всё время пребывания её во дворце у неё выдался один только такой счастливый вечер месяца два тому назад: в течение трёх часов она была наедине с государыней и читала ей. Екатерина несколько раз прерывала чтение и беседовала с Зиной о прочтённом. Эти три часа пролетели для смолянки как сон, и, вернувшись к себе, она даже всплакнула от радости и спросила себя, за что ей такое счастье. Великая, мудрая, обожаемая царица была так

близка к ней, так задушевно говорила с нею, с такой несказанной добротою и ласковостью поучала её, открывала перед нею сокровищницу своей мудрости. Теперь, когда, несмотря на вернувшееся здоровье, в её душе было очень смутно, тоскливо и даже страшно, — на чём лучше могла она успокоиться и отдохнуть, как не на близости к царице, как не на этих часах чтения, на интимной беседе с нею? Зина чувствовала себя теперь особенно одинокой, ближе царицы у неё никого не было. Никого не любила она так, с таким детским обожанием, как царицу.

Зина весь день ждала этих заветных восьми часов. Наконец они пробили, она у государыни, в её рабочем кабинете, где никого нет, где все погружено в тихий полумрак, озаряемый только четырьмя восковыми свечами, поставленными на письменный стол и прикрытыми абажуром.

Царица с видом как бы некоторого утомления полулежит на своём любимом мягком и низеньком кресле, прислонясь к его покатой спинке. Волосы её уже расчёсаны на ночь и спрятаны под белым чепчиком. Она запахну-

лась в свой серый атласный халат, мягкие складки которого обрисовывают её полную фигуру. Её маленькие ноги в тёплых туфлях вытянуты и лежат на большой подушке, и тут же, возле этих ног, свернувшись, спит любимая белая собачка царицы Лэди.

При входе Зины царица указала ей на стул возле письменного стола, ближе к свечам, и на раскрытую книгу, лежавшую на столе.

Зина с несколько робкой, но в то же время радостной улыбкой присела на стул и подвинула к себе книгу.

— Боюсь, что ты будешь пенять на меня, — сказала царица, — чтение на сей раз вряд ли займёт тебя. Это очень серьёзная книга, сочинение великого Монтескье. Она написана не для таких юных голов, как твоя, но что делать! Мне непременно надо сегодня побеседовать с Монтескье, а у самой что-то глаза болят...

— Однако, — прибавила она, — быть может, я не права — ты умна, ты хорошо учишься, ты серьёзна, а великий писатель излагает свои мысли так ясно, что, пожалуй, он и тебя заинтересует. Постарайся читать внима-

тельно и, если чего не поймёшь, остановись и спроси меня, это будет и для меня полезно — разъяснить глубокую мысль.

Зина приступила к чтению. Она старалась заинтересоваться мыслями Монтескье, но, к ужасу своему, заметила, что это ей никак не удаётся. Она просто отдавалась сначала приятному ощущению тишины этой комнаты, близости к ней обожаемой царицы, потом эти приятные ощущения переходили в тревожные, ей вспоминались все последние мучительные дни, всё, что она пережила, всё, что она узнала, — и трепет наполнял её, и она спешила уйти от своего страха снова в тишину этой комнаты и в близость любимой царицы.

Уже несколько страниц книги прочтено, но она не помнит ни одного слова из прочитанного, будто она это и не читала. А царица сейчас остановит её, сейчас спросит. Что же она скажет? Ведь она должна будет признаться, что была далеко и что ни одно, как есть ни одно слово, не осталось в её памяти.

Царица действительно её остановила.

— Ну и что же, — сказала она, — не правда

ли, ведь это всё так ясно и просто сказано? Простота и ясность — признак гения. Гений умеет облечь самую глубокую, самую тонкую, почти неуловимую мысль в простую и ясную форму...

Но вдруг она остановилась и пристально взглянула на Зину.

— Ты меня не слышишь! Ты читала, и сама не знаешь, что такое прочла, — я вижу это по твоим глазам. Или я ошибаюсь?

Зина готова была расплакаться.

— Нет, ваше величество, вы не ошибаетесь, — прошептала она, — я...

Она не могла закончить фразу, в груди её как бы поднялось что-то, сдавило ей горло и наконец вырвалось неудержимым, громким рыданием.

Екатерина повернулась в кресле, потом встала с него и подошла к Зине. Она обняла её.

— Дитя, ты ещё не совсем здорова, — сказала она, — успокойся. Это я виновата, твой свежий и цветущий вид обманул меня.

Говоря так, она уже отлично понимала, что успокоить Зину можно одним только спо-

собом — дать ей выплакаться и затем заставить её высказать всё, что у неё на душе. Теперь незачем её даже ни о чём спрашивать, надо быть только ласковой с нею — и она сама все скажет. В этом расчёте Екатерина и устроила чтение, и теперь, глядя на рыдавшую Зину, она видела верность своего расчёта. Всё, что Зина пережила и узнала, давило её невыносимо. Под этой тяжестью она не могла жить и не умела сама разобраться в себе, не умела ответить себе на самые важные вопросы. Был один только человек, который мог бы помочь ей в этом, — это добрый священник, находившийся тогда рядом с нею у гроба графини и сказавший ей слова, навеки в ней запечатлевшиеся. Но этого доброго священника нет, и она не знает, где искать его, не знает, когда он придёт к ней, а, кроме него, единственное существо, под защиту которого она должна прибегнуть, которому она может открыть свою душу, — это царица.

В годы Зины, в хаосе мучительных ощущений, нахлынувших с такою силою, одиночество невозможно — от такого одиночества можно сойти с ума. И вот инстинктивное чув-

ство самосохранения заставляет Зину довериться царице и рассказать ей, как на духу, всё. Екатерине стоило одним словом ободрить её, и, конечно, она сказала это ободрительное слово.

— Успокойся, — произнесла она, ласково и в то же время властно глядя в глаза Зины, — успокойся и расскажи мне всё, что с тобой было за это последнее время. Открой мне, что было общего между тобой и графиней Зонненфельд. Почему она очутилась у тебя и у тебя умерла? Я знаю, как тебе всё это тяжело, как тебе, может быть, трудно говорить об этом, но уверяю тебя, дитя моё, что раз ты мне скажешь откровенно — тебе станет легче. Не смущайся ничем, а главное — не скрывай ничего. Ты сама должна понимать, что никто не даст тебе лучшего совета, как я, что только мне и можешь ты открыть свою душу, как матери, — ведь я для тебя заменяю мать.

Вся душа Зины так и кинулась навстречу словам этим. Она припала головою к руке царицы и, покрывая эту руку поцелуями и моча её своими слезами, начала исповедь. Да, это была настоящая исповедь! Зина ничего не

скрыла, она передала царице не только всю сцену свидания своего с обезумевшей от горя графиней Зонненфельд, но и все свои собственные ощущения: свою встречу с таинственным и ужасным человеком во время праздника в Смольном монастыре, действие на неё его непостижимого взгляда, от которого она потеряла сознание, тогда, на эстраде, во время исполнения роли весталки.

Императрица внимательно и все с возрастающим изумлением её слушала. Она видела, что на рассказ Зины можно положиться, что перед нею совсем раскрыта душа этой чистой девушки и она может читать в ней всё, до самой глубины. Тайна, интересовавшая её, была теперь ей известна, предположение её оказалось верно: графиня Зонненфельд умерла от безнадёжной любви и от ревности к Зине. А между тем разъяснения всё же нет.

III

Напрасно ясный, спокойный и могучий разум царицы старался выяснить себе всю эту таинственную историю, напрасно силился он разделить исповедь Зины на две части:

на действительность, естественную, очевидную, и на фантастичность экзальтированной девичьей души. Никак не удавалось царице совершить это разделение. И к тому же она ясно видела, что фантастичности в Зине гораздо меньше, чем можно было это предположить, — в ней только большая чувствительность, восприимчивость к впечатлениям.

А событие всё же остаётся непостижимым, таинственным, всё же приходится произнести слова, над которыми так часто смеялась царица: колдовство, чары...

Какой вздор! Да, это вздор, а между тем без этого вздора все становится ещё непонятнее, ещё невозможнее, и ко всему этому непонятному и невозможному присоединяется ещё одно обстоятельство: каким образом сама она, Екатерина, ничего и никого не забывавшая, все помнившая и всегда действовавшая в ясной, насквозь пронизанной светом области, каким образом она забыла о существовании человека, играющего такую фатальную роль во всей этой истории? Каким образом в течение долгих месяцев она не вспомнила об этом новом князе Захарьеве-Овинове, кото-

рый так заинтересовал её, которого она хотела непременно разглядеть, расспросить, изучить?..

Он появился перед нею, остановил на себе её внимание — и вдруг исчез, как будто его никогда не было. Проходили месяцы — и она ни разу о нём не вспомнила, а между тем ведь она должна была о нём вспомнить и должна была его видеть — он всё время был, очевидно, здесь, вблизи от неё. Ей стоило только позвать его — и он бы явился, но она о нём забыла, как ни разу в жизни ни о ком не забывала. А вот теперь он является героем таинственной, так опечалившей её истории, он причина смерти прекрасной женщины, в судьбе которой она была заинтересована, он же смутил покой этой младенческой души, которая теперь рассказывает ей свою непонятную тайну!

«Колдун! Чародей!» — мелькнуло в мыслях Екатерины, но при этих двух словах ей вспомнился другой колдун, чародей, мнимый граф Феникс, делавший, но не сделавший золото в лаборатории князя Потёмкина. Ей припомнилась прелестная итальянка, чуть не смутив-

шая покоя её собственного сердца.

— Колдун! Чародей! — повторяла себе Екатерина и прибавляла: — Однако нет такого колдуна и чародея, которого нельзя было бы разоблачить и удалить и обессилить. Это даже гораздо легче сделать с колдуном, чем с самым обыкновенным человеком, ибо всякий колдун или чародей непременно боится таких вещей, каких не боится обыкновенный человек. Он боится правосудия, боится закона, так как знает за собою чересчур много больших и малых грешков.

Каким чародеем являлся этот мнимый граф Феникс, как одурачил он многое множество людей, вовсе даже не глупых и достойных лучшей участи, чем быть одураченными приезжим авантюристом, а между тем одно её желание, одно её слово — и где теперь этот человек? И где теперь эта хорошенькая итальянка?..

Так думала царица, но перед нею вместе с этими мыслями восставал во всех мельчайших подробностях вспомнившийся ей образ Захарьева-Овинова, и она не могла, не хотела глядеть на него теми же глазами, какими гля-

дела на графа Феникса. Неужели и он такой же шарлатан и обманщик? Нет, этого не может быть.

Что-то в глубине её мысли, в глубине её сознания говорило ей, что теперь она имеет дело с человеком совсем иного сорта, а между тем... а между тем, что же всё это значит? К чему вся эта непостижимая путаница таинственностей... и за что будет страдать этот прелестный ребёнок? За что этот так невероятно забытый ею человек губит живые души? Что же теперь делать? Конечно, прежде всего надо призвать этого человека и разглядеть его.

Если он погубил прекрасную графиню, если он силился зачаровать Зину, то ведь её-то, царицу, он не зачарует.

И у царицы явилось страстное желание как можно скорее видеть Захарьева-Овинова. Появится он перед нею — и всякая таинственность исчезнет. Ведь всякая таинственность существует только издали, пока не видишь предмета. Стоит прийти в соприкосновение с ним — и таинственности конец, вступает в права действительность, и неизменные, точ-

ные, ясные законы природы начинают действовать.

Остановись на этой мысли, императрица сразу успокоилась и решила, не откладывая этого дела, как и вообще она не откладывала своих решений, увидеть Захарьева-Овинова.

Только что эта мысль созрела в голове её, только что хотела она обратиться к Зине, с тем чтобы окончательно её успокоить, преподать ей здравые советы и внушить уверенность, что ничего нет таинственного на свете, что все объясняется легко и просто — стоит только приложить к этому объяснению здравый рассудок, как занавес тихой комнаты шевельнулся — и перед царицей в слабом полусвете обрисовалась спокойная, бледная и прекрасная фигура Захарьева-Овинова.

Даже слабый крик вырвался из груди Екатерины, а бедная Зина прижалась к ней, пряча свою голову в её коленях. Миг — и царица невольным движением протёрла себе глаза, изумляясь своей галлюцинации. Вот она открывает глаза — и, конечно, никого нет! А между тем она открыла их... и Захарьев-Овинов по-прежнему был перед нею.

Он сделал несколько шагов вперёд, почти-тельно, низко поклонился и произнёс своим бесстрастным голосом:

— Ваше величество приказали мне явиться и пройти сюда.

Он ещё раз церемониально поклонился. И в то же время его глаза остановились прямо, спокойно на глазах царицы. Она хотела говорить — и не могла. Хотела встать — и не в силах была шевельнуть ни одним членом.

IV

Однако так не могло продолжаться. Ещё несколько мгновений, и Екатерина, конечно, очнулась бы от неожиданности. Она, наверно, поборолась бы в себе невольный трепет и растерянность, вызванную этим совершенно невероятным появлением. Её сильный, холодный ум признал бы в этом появлении только очень оригинальную и редкую случайность, а затем Захарьеву-Овинову пришлось бы отдать государыне подробный и ясный отчёт в его действиях.

Он должен был бы объяснить, каким образом, не нарушая законов природы и зако-

нов приличий, он проник сюда, во внутренние царские покои. Каким образом он знал, что найдёт здесь царицу? Как его не остановили по дороге? И, наконец, что означают его слова: «Ваше величество приказали мне явиться и пройти сюда»?

Ведь царица очень хорошо знала, что она не отдавала и не могла отдать такого приказа, что она сейчас только ещё намеревалась пригласить его и, может быть, даже сюда, в эту комнату. Значит, в этих словах его заключалась ложь.

Он, этот мнимый чародей, этот губитель сердец и жизней, осмелился солгать ей, царице, её мистифицировать, с ней шутить, когда она не подала ему никакого повода для подобных шуток. Иной раз она очень любила шутки, иной раз она вовсе не прочь была и от мистификации, но вовсе не в таких обстоятельствах. Да, Захарьеву-Овинову пришлось бы очень серьёзно ответить за свои странные поступки.

Он отлично знал и понимал это и хотя вовсе не боялся никакой ответственности, но подобное объяснение с царицей совсем не

входило в его планы. Он не желал особенно изумлять её, а уж тем более не желал открываться перед нею. Не желал он также терять времени и любоваться произведённым им впечатлением.

Ещё несколько мгновений, царица овладеет собою, и тогда ему будет предстоять, во всяком случае, нелёгкая борьба, на которую потребуются значительная затрата его жизненной силы. Такая затрата была излишней, не вызывалась крайней, неотвратимой потребностью, а потому в нравственном отношении была для него преступной. И он не стал терять времени.

Его блестящий взгляд изменил своё выражение, сделался пронзительным, почти страшным. Екатерина не выдержала этого взгляда. Она мгновенно как бы потеряла сознание, осталась неподвижной, с застывшим лицом, с широко раскрытыми глазами, зрачки которых внезапно расширились.

Но ведь царица была не одна. Спрятавшись головою в её колени, трепетала Зина. Захарьев-Овинов склонился, прикоснулся рукою к голове девушки, и её трепет исчез, и

при первых звуках его голоса, говорившего ей: «Встань!» — она послушно приподняла голову с колен Екатерины, потом поднялась и, сделав несколько шагов, опустилась в кресло.

Захарьев-Овинов глядел на неё, совсем забыв об императрице. Лицо его помертвело, он даже схватился рукою за сердце — так оно у него усиленно и непривычно забилося. Но он тотчас же подавил в себе волнение. Он снова спокойно подошёл к Зине и взял её за руку.

— Можешь ли ты отвечать мне? — спросил он и услышал тихий ответ:

— Могу.

— Знаешь ли ты, что судьба приводит нас друг к другу и что мы не должны бороться против этой судьбы?

— Знаю.

Он остановился на мгновение.

«И она это знает!» — пронеслось в его мыслях.

— Ты боишься меня, — сказал он, — зачем же ты меня боишься? Неужели мы для того встретились и для того родилась невидимая, но чувствуемая и мной, и тобою связь между нами, чтобы я тебя погубил? Разве я могу по-

губить тебя?

И шёпот Зины ему ответил: «Можешь!»

— Да, конечно, могу! — воскликнул он. — Но я не сделаю этого. Нет, ты не знаешь, ты неясно читаешь в той туманной дали, которая отверзается теперь перед тобою. Я читаю в ней яснее тебя, я давно привык читать в ней, и я говорю тебе: не на погибель сводит нас судьба, а на спасение.

Он сам не знал, что скажет это, а между тем сказал, сказал помимо себя, по вдохновению, и эти слова вырвались из самой глубины его души, из той глубины, в которую, может быть, он и не заглядывал.

— Но твой страх, твой ужас предо мною для тебя слишком мучительны, — продолжал он, все крепче и крепче сжимая руку Зины, — и ты не должна меня бояться. Ты должна доверять мне, ибо я друг твой, ибо ближе меня никого у тебя не было, нет и не будет. Я не искал тебя, а нашёл — и мы с тобой связаны таким узлом, который ни ты, ни я развязать не можем, а разорвать его было бы губительно. Я не звал тебя, а вот уже немало времени ты вблизи меня, и я не раз тебя чувствовал. Ты

врывалась в жизнь мою, я отстранял тебя, я не глядел на тебя, я думал, что мне тебя не надо. Я забывал тебя, но не мог забыть с первой нашей встречи, и ты, поверх всего, не раз мелькала передо мною. Я очень страдаю, я очень несчастлив, и твоя душа — первое существо, которому я признаюсь в этом... Да, я признаюсь в моём тайном, для меня самого непонятном сострадании твоей души, с которой говорю теперь, и душа твоя, освобождаясь от материи, должна помнить о моём страдании. В это последнее время я узнал, что и ты страдаешь, и мне тяжело стало от твоего страдания, и я почувствовал, что между нами завязан крепкий узел. Ты не должна страдать, ибо, я боюсь, не вынесешь таких мучений. И вот я пришёл к тебе для того, чтобы освободить тебя от страданий. За этим я здесь, за этим, не теряя ни одной минуты, забыв все и всех, я спешил к тебе и нашёл тебя. Перестань же страдать! Будь спокойна! Моя душа приказывает тебе это — слышишь ли ты меня?

— Слышу.

Тогда Захарьев-Овинов отошёл от неё и приблизился к царице. И её он тоже взял за

руку и стал говорить ей. Он говорил:

— Царица, поручаю тебе эту юную душу, не отвращай от неё своего сердца. Слышишь ли меня? Исполнишь ли это?

— Исполню, — прошептала Екатерина.

— А теперь я сейчас разбужу тебя, но ты забудешь всё, забудешь своё изумление при моём виде, и моё присутствие здесь не покажется тебе странным. Я пришёл не для тебя, а для неё, но и к тебе, к твоей силе, к твоему великому разуму влечёт меня. Мне ничего не надо от твоего могущества — ты царствуешь в одной сфере, а я царствую в другой, и твою сферу, со всем твоим могуществом, я вижу с моей высоты, и она кажется мне ничтожной. Но ты царица, истинная царица, и, когда придёт время, ты поднимешься в иные сферы, и в них скажется твоя царственная мощь.

Только не скоро ещё настанет для тебя это время, и ни приблизить его, ни отдалить я не могу, я не хочу вмешиваться в жизнь твою! Мы можем только обмениваться мыслями, но мы чужды друг другу, ибо между нами пока — разверзтая пропасть.

Он замолчал. Ещё раз он остановил взгляд

свой на Зине, потом выговорил:

— Проснитесь!

Лёгкое движение его руки — и царица, а за нею и Зина вышли из своей неподвижности. Странное выражение их лиц исчезло. Они обе очнулись.

Захарьев-Овинов сидел перед Екатериной, а она глядела на него с благосклонной улыбкой, и ничто в её лице не показывало ни изумления, ни неудовольствия. Перед нею был человек, которого она пожелала видеть, с которым намерена была иметь небезынттересную для неё беседу.

V

Прошло всякое изумление, и вместе с этим изумлением забылись за несколько минут перед тем интересовавшие и смущавшие её вопросы. Как царица в течение долгих месяцев не помышляла о князе Захарьеве-Овинове, так теперь она вдруг забыла о судьбе несчастной Елены Зонненфельд и о влиянии на эту ужасную судьбу сидевшего перед нею человека. Больше того, она забыла, что этот человек покушается на спокойствие Зины Ка-

менево́й. Она помнила только то, что он «разрешал» ей помнить. В какое негодование пришла бы она, если б могла понять это, с каким бы могучим порывом воли постаралась бы сбросить с себя это чужое, непрошеное влияние. И может быть, ей бы и удалось вернуть себе всю свою внутреннюю свободу, а Захарьеву-Овинову пришлось бы признать себя побеждённым и убедиться, что существует не одна его сила и что с ним можно бороться.

Но ведь его истинная сила и заключалась в том, что он не давал возможности одумываться, он захватывал человека врасплох и всё время держал его как бы в тумане, из-за которого было видно лишь то, что он «разрешал» видеть.

Таким образом, эта беседа, начавшаяся самым необычным образом, свелась к самой обыкновенной беседе. Царица расспрашивала Захарьева-Овинова об умственном движении в Западной Европе и с глубоким интересом следила за его ответами и разъяснениями. Скоро она убедилась, что перед нею человек, действительно много знающий, много думающий. Отсутствие в нём какого-либо

увлечения, критический анализ, приправленный несколько насмешливым скептицизмом, — всё это ей нравилось.

— Теперь вы здесь огляделись, — внезапно прервала она его, — дела ваши устроены, от Европы вы взяли всё, что она могла вам дать, и всем этим вы должны послужить России. Это ваша прямая обязанность перед родиной.

— Каждый человек непременно кому-нибудь и чему-нибудь служит... — начал было Захарьев-Овинов.

Но она его перебила:

— Я говорю не о такой службе, и вы хорошо меня понимаете. Мне нужны просвещённые, разумные люди для государственной работы...

— У вас их достаточно, ваше величество, и вы обладаете драгоценнейшим даром государей — находить нужных людей в нужные минуты. Только на сей раз, останавливая на мне ваш выбор, вы обращаетесь к недостойному: я совсем не способен к практической деятельности, мои познания и занятия такого рода, что я могу только принести вред, а не пользу.

В лице Екатерины мелькнуло раздраже-

ние.

— Вы отказываетесь... Что же руководит вашим отказом? Не просто ли лень кабинетного учёного?

— Нет, не лень, — ответил он, — всякое дело только тогда может развиваться и принести благотворные результаты, когда человек отдаёт ему все свои силы, проникнут сознанием пользы своей деятельности, заинтересован ею. А я, осмеливаюсь прямо это высказать вашему величеству, ибо иначе говорить с вами не могу и не смею, я не способен заинтересоваться ни одним из дел, какие вы мне поручите...

— Почему же?

— Потому что моё мировоззрение, мои занятия и приобретённые познания увели меня слишком далеко от практических и государственных интересов.

— И эти интересы кажутся вам недостойными того, чтобы обратить на них внимание, — с добродушной насмешливостью перебила Екатерина.

— Далеко не так, ваше величество, и я не в такой мере заслуживаю насмешку. Я признаю

большое значение за предметами даже несоизмеримо более мелкими, чем государственная деятельность. Мир — большая стройная машина, и каждый винт и винтик в ней весьма важен, ибо без него вся машина может прийти в негодность. Машина эта правильно действует лишь в том случае, когда в ней все до мельчайших винтиков на своём месте. Зная это, я и не могу становиться не на своё место.

— Если вам угодно ограничиваться общими фразами, — заметила царица, — то, конечно, мы ни до чего не договоримся. Я сама очень люблю отвлечённые рассуждения, сама не прочь от философии, только наполнить всю жизнь одними мыслями, без дела — это и холодно, и скучно...

Она пристально на него посмотрела, так пристально, что ему на мгновение стало даже неловко.

— И я вам скажу, — продолжала она, — мне жаль вас: со всей вашей учёностью, со всем вашим пренебрежением к обычным людским интересам, вам иногда, и даже очень часто, бывает невыносимо скучно,

невыносимо холодно.

— Невыносимо скучно, невыносимо холодно? — как-то неопределённо, полувопросительно повторил он её слова.

— А мне вот и тяжело может быть порою, и тревожно, и жутко, но ни скучно, ни холодно никогда не бывает. Вы ушли от жизни живой и думаете, что стали выше её, но это неправда! Слышите ли, это заблуждение! Жизнь и то, что может она дать человеку, сильнее всего, да, сильнее всего. Если вы считаете себя выше её радостей, то это единственно оттого, что вы не знаете этих радостей, не испытали их. Вы находите, что быть философом и ни в чём не чувствовать потребности — выше, чем быть владыкой. Но это вам кажется только оттого, что вы никогда не были владыкой и никогда им не будете...

Екатерина начинала говорить с увлечением и не заметила, как при последних словах её лицо Захарьева-Овинова стало вдруг мрачным.

«Она вызывает меня, — подумал он, — хочет доказать мне моё ничтожество. Я играю в её глазах очень жалкую роль... такая роль ме-

ня не смущает... Но зачем же вдруг показалось мне что-то особенное в словах её?.. Неужели какая-нибудь „земная“ власть, какое-нибудь земное величие может иметь для меня хоть что-либо притягательное и хоть на миг избавить мою душу от невыносимой тоски и скуки?.. Какое противоречие!»

И он уже не слышал того, что говорила теперь Екатерина. Он опустил голову, и в его застывшем лице, в его неподвижной позе сказывалось глубокое страдание. Зина, всё время сидевшая молча, совсем притихнув, почти не спускавшая с него глаз, сразу же заметила происшедшую в нём перемену, прочла в его глазах страдание. Чувство жалости и тревоги охватило её.

— Государыня! — трепетно и страстно вскричала она. — Убедите его, что он не прав, во всём, во всём... Посмотрите, как он страдает, как он несчастен!..

Но при звуках этого голоса Захарьев-Овинов очнулся от своих мыслей. Не мог же он допустить такого оборота разговора. Он явился сюда, воспользовавшись своими знаниями и умением проникать всюду, оставаясь со-

всем незаметным для людей, которые не должны были его видеть, только с целью от-решить Зину от её страданий. Он остался здесь, потому что устал, потому что давно, давно ему хотелось отдохнуть, и он бессозна-тельно почувствовал себя отдыхающим в од-ной атмосфере с Зиной, в ощущении её близос-ти. Только поэтому он и не уходил. Он и те-перь ещё не хотел уйти. Он взглянул на Зину, и она мгновенно замолкла, позабыв свою тре-вогу. Взглянул на царицу, и она не обратила внимания на слова Зины. Разговор продол-жался и с личной почвы перешёл в сферу об-щих интересов. Раздражение Екатерины про-шло, теперь она снова внимательно слушала Захарьева-Овинова, и он снова выросал в глазах её. Он говорил о том, что в Западной Европе готовятся такие общественные бури и грозы, каких не помнит человечество.

— Вы, пожалуй, скажете, что во многом ви-новаты мои друзья философы с Вольтером во главе? — заметила Екатерина. — Впрочем, я очень не буду стоять за них... Я сама в них разочаровалась.

— Да, они немало работают в деле разру-

шения всего строя европейской жизни, — сказал Захарьев-Овинов. — Но они всё же не что иное, как орудие судьбы, слагающейся из длинного ряда причин и следствий.

Скоро Захарьев-Овинов совсем увлёк внимание царицы. Он кончил тем, что стал говорить как пророк и рисовал ужасающую картину бедствий, грозящих Западной Европе. Екатерина, вообще недоверчиво относившаяся ко всяким пророчествам, на этот раз невольно верила пророку.

— Надеюсь, однако, что все эти бедствия не коснутся России? — спросила она, даже с некоторой робостью ожидая ответа.

— Нет, не коснутся, ваше величество! — решительно сказал Захарьев-Овинов. — Вы слишком ясно всё видите, и велика ваша сила. Вы не способны на непоправимые ошибки и всегда вовремя умеете остановиться.

Екатерина благодарно взглянула на своего собеседника. Почему-то его сдержанная похвала была ей особенно приятна.

Но время шло. Царица посмотрела на часы и протянула Захарьеву-Овинову руку. И он ушёл, безмолвно простясь с Зиной, которая,

по приказанию царицы, проводила его за несколько комнат. Теперь уж ничего таинственного не было в его присутствии в этих апартаментах — не он первый, не он последний выходил так от царицы.

VI

«Вы находите, что быть философом выше, чем быть владыкой, только потому, что никогда не были владыкой и никогда им не будете!» — эти слова Екатерины запечатлелись в памяти Захарьева-Овинова. Слова эти преследовали его и теперь, в тишине его рабочего кабинета. Тоска, не покидавшая его со времени смерти графини Зонненфельд, с каждым часом становилась все невыносимее, и к тоске этой все яснее и настойчивее примешивалось чувство недовольства собою, сомнения в себе.

Это было совсем новое чувство для великого розенкрейцера. До сих пор он никогда его не испытывал. Он всю жизнь только шёл вперёд, упорно поднимался по лестнице познаний и всегда хранил в себе, хоть и бессознательно, глубокую уверенность в том, что идёт

по истинному пути, что делает именно то, что ему следует делать. Быстрый и необычайный успех шёл за ним по пятам, возносил его всё выше, и он, сам того не замечая, начинал считать себя центром вселенной, могучим властелином природы, её победителем. Всё, что он видел вокруг себя, он почитал своим законным владением...

Но вот, выйдя из своего уединения, он столкнулся с людскою толпой, которая представлялась ему толпой пигмеев, — и сразу эта толпа дохнула на него горем и страстью, тоской и смертью. И он услышал, что горе и страсть, тоска и смерть исходят от него. И он почувствовал, несмотря на все доводы рассудка, почувствовал всем своим существом, что это так. Разве это его задача?..

Он страшно одинок, ему холодно, он задыхается... Ему говорят, что он несчастлив, и брат Николай, и Калиостро, и Зина, и царица — все сразу видят его страдание, его несчастье... Да разве он даром получил власть над природой, разве он не великий носитель знака Креста и Розы, разве он может быть недостойным своего имени? Происходит нечто

непонятное и ужасное... И великий старец молчит... И насмешливые слова царицы все повторяются в памяти. Так неужели действительно его победа над природой не полна, неужели в нём остались задатки тления и его может ещё, когда он отрешится от всего земного, увлечь снова этот жалкий мир преходящих форм? Но ведь царица не знала, кому она говорила о невозможности стать владыкой. Ведь он не владыка только оттого, что никакое земное владычество не может удовлетворить и хоть на мгновение увлечь владыку высшей области, истинного владыку в царстве духа...

Зачем же все повторяются и повторяются в памяти слова её? Быть может, в них указание... Да, указание... Необходимо проверить свои силы...

Захарьев-Овинов остановился на этом решении.

Когда-то великий старец, отец розенкрейцеров, говорил ему, тогда ещё готовившемуся к высшим посвящениям: «Вся жизнь, во всех своих проявлениях и формах, создана Божественной Волей. Человек как существо, со-

зданное по образу и подобию своего Творца, заключает в себе великие задатки творческой силы, и в том случае, если его воля не противоречит Божественной Воле и гармонирует с нею, он может развить её до громадных размеров. В таких условиях человек может создавать формы жизни. Истинный адепт обладает такою волей, которая способна создания воображения наделить объективной, действительной жизнью — насколько действительна жизнь всяких видимых форм в области материи...»

Тогда эти слова старца казались розенкрейцеру необычайными. Но с тех пор он уже убедился, что в них заключалась истина. И вот теперь, для того чтобы испытать себя и проверить, он решился воспользоваться своею силою и призвать к жизни целый мир, полный земных обольщений, действительный мир, которого он будет единственным владыкой...

Порывистым движением отпер он один из ящичков своего бюро, вынул из этого ящичка маленькую шкатулку. Под давлением его пальца щёлкнула невидимая пружина,

крышка шкатулки быстро отскочила. В глубине оказался небольшой гранёный флакон. Великий розенкрейцер осторожно его откупорил и влил себе в рот несколько капель тёмной жидкости. Потом он снова закупорил флакон, поместил его в шкатулку. Опять щёлкнула пружина, шкатулка запёрлась. Тогда он поставил её в ящик, запер бюро. По всей комнате от откупоренной жидкости разлилось сильное и пряное благоухание, и в то же время в самом Захарьеве-Овинове стали происходить быстрые изменения...

Теперь глаза его метали искры, румянец залил бледные щёки, он весь будто вырос, будто новая, могучая сила наполнила его. Ещё миг — и он побледнел, пошатнулся и упал в кресло. Если бы кто-нибудь из домашних теперь его увидел, то по всем признакам почёл бы за мёртвого. Но был уже поздний час ночи, двери стояли на запоре, никто не мог войти к нему...

Он очнулся как бы от лёгкого забытья, открыл глаза — и улыбка скользнула по его лицу. Вокруг него всё изменилось. Он находился не в уединённой комнате петербургского до-

ма, а на обширной открытой веранде, украшенной дивными мраморными изваяниями и увешанной гирляндами невиданно прекрасных цветов, разносивших неведомо сладостное благоухание. Перед ним, из-за громадной арки, открывалась волшебная панорама сада, залитого тёплым солнечным светом; вдали с одной стороны рисовались голубые очертания дальних гор, с другой — синело и золотилось море, сливавшееся с горизонтом.

Он приподнялся с шёлковых, расшитых причудливыми золотыми узорами подушек, взглянул на себя и увидел, что и сам он преобразился. На нём вместо его обычного платья была мягкая, шелковистая и лёгкая, как пух, одежда, сотканная из невиданной ткани, красиво и широко драпировавшая его фигуру. На ногах — лёгкие золотые сандалии. Он сделал несколько шагов, чувствуя небывалую бодрость в теле, прилив жизни, энергии, веселья.

Это был не сон. Он отлично сознавал, что за минуту перед тем упал в своё кресло и закрыл глаза именно затем, чтобы «так» проснуться. Да, но зачем помнить то, что он

оставил за собою, — эти воспоминания будут мешать настоящему. Он захотел забыть — и забыл всё.

Он остановился посреди веранды и три раза медленно хлопнул в ладоши. Через мгновение перед ним был человек мужественного и привлекательного вида, одетый в такую же широкую и красивую одежду, как и он. Человек этот склонился перед ним с приятной и весёлой улыбкой и проговорил:

— Мой повелитель, я счастлив, что вижу тебя здоровым и бодрым, надеюсь, нездоровье твоё прошло.

— Друг мой, Сатор, — произнёс великий розенкрейцер, — я действительно чувствую избыток сил и большую лёгкость всех членов. Сон подкрепил меня.

Говоря это, он уже окончательно отрёшился от той действительности, которая окружала его несколько минут перед тем и представлялась ему единственно существующей! Теперь он всецело был в иной действительности и знал только её. Человек, бывший перед ним и названный им Сатором, оказывался как бы давно ему известным, он будто провёл

с ним долгие годы. Он любил этого человека и считал его самым близким и преданным своим другом.

— Сегодня светлый праздничный день, — между тем говорил Сатор, — а потому надо отложить все работы и заботы. Весь твой счастливый народ предаётся сегодня веселью, и пиршества готовы в твоих чертогах. Мой повелитель, позволь проводить тебя в термы. Целебная ванна ещё более освежит тебя, и ты предстанешь перед двором своим во всём присутствии тебе царственном блеске и величии.

Великий розенкрейцер в роскошных термах. Толпа молчаливых расторопных служителей его окружает. Он в мгновение раздет и погружается в тёплую благоуханную влагу, которая бурлит и пенится вокруг его тела, с каждой новой секундой усиливая в нём самые сладостные, неизъяснимые ощущения. Но пора выйти из этой чудной ванны. Десяток проворных рук растирают его бархатистыми тканями, возбуждая во всех членах живительную теплоту и бодрость, потом облачают его в новые одежды и удаляются с глу-

бокими поклонами.

Он один — и на мгновение остаётся недвижимым, наслаждаясь никогда не изведанной свежестью и бодростью духа и тела. Жизнь бьёт в нём ключом, и стремление к радостям и веселью его охватывает. Едва касаясь мозаичного пола подошвами золотых сандалий, он стремится теперь вперёд через анфиладу позлащённых солнцем чертогов — и вот он перед громадной террасой, наполненной бесчисленной толпой народа.

При его появлении вся эта толпа как бы замирает, но миг — и неудержимые восторженные клики приветствуют владыку. Неведомо откуда раздаются звуки сладостной музыки, гармонично выражающей его душевное настроение. Он величественно и благосклонно кланяется на все стороны, не различая, не видя отдельных лиц. Все эти лица сливаются для него в одно громадное существо, которым он владеет и которое боготворит его.

Сатор подводит к нему некоторых избранных, и он небрежно прислушивается к словам робкого, восторженного почтения.

Звуки музыки все сладостнее, и теперь к

ним примешивается стройное пение. Благодуханная теплота разлита в воздухе, вокруг — жужжание толпы, впереди — за беломраморной колоннадой, из-за тропической растительности сада, мелькают горы, синее море. Но теперь великого розенкрейцера манит новое наслаждение, он замечает сверкающие золотом и хрусталём столы, полные удивительных яств и напитков. Он подаёт рукою знак — и вот он за столом, и всё, что только воображение человеческое могло придумать для удовлетворения вкуса, предложено ему расторопными слугами. Однако аппетит его удовлетворён, кубок живительной влаги огнём пробежал по жилам, и он бросает взор по сторонам. Рядом с ним Сатор, но кто же с другой его стороны чьё присутствие он вдруг почувствовал всем существом своим? Рядом с ним женщина — воплощение юности и грации, и он видит, что вся красота этих чертогов, этой лучезарной природы — ничто в сравнении с красотой её. И её красота не прячется, не скрывается за ревнивые ткани нарядов. Наряд её прост и не скрывает её прелестей.

Неудержимое влечение к этому прекрасно-му созданию, кипучая страсть наполняют великого розенкрейцера. Он сознает, что готов сейчас отдать всё, весь мир за неё одну и что с нею самая мрачная темница станет раем, а без неё даже и блеск солнца померкнет. И он жадно отдаётся своим ощущениям. Где-то в глубине его сознания бледно мелькает другой образ, напоминающий ему, что эта страсть уже не в первый раз в его сердце. Да, но то была страсть неудовлетворённая, побеждаемая, подавленная. Теперь же она торжествует.

Он не отрываясь глядел на свою соседку. Её глаза полуопущены, но из-под длинных ресниц он чувствует мерцание её взгляда. Вот она обернулась к нему, и её мелодический голос произнёс:

— Мой повелитель, за что ты сердит на меня, так сердит, что до сих пор не сказал мне ни одного слова?

— Я люблюсь тобою, Сильвия, — ответил он, — и мой взгляд должен и без слов сказать тебе очень многое.

Она улыбнулась. О, эта улыбка! Он почувствовал её прикосновение, лёгкое, мгновен-

ное пожатие руки — и едва удержался, чтобы не обнять её, чтоб не покрыть её всю ненасытными поцелуями, забывая, что они не одни, что взгляды тысячной толпы устремлены на них...

Потом, после пира, когда солнце зашло за горы, когда на потемневшем небе высыпали звёзды и благоуханная прохлада разлилась повсюду, в таинственных волшебных аллеях был праздник. Великий розенкрейцер не покидал Сильвию, и она шептала ему речи страсти, безумные клятвы, наивные признания. И он был счастлив. Потом наступила ночь, ещё более таинственная, ещё более волшебная...

VII

Время стало проходить, и прошло его немало. Да, немало, ибо истинное исчисление времени в человеческой жизни происходит не минутами, часами и днями, а получаемыми впечатлениями. Недаром говорится о человеке, сразу пережившем внутреннюю грозу и бурю, огромное горе или счастье, что в день один пережил многие годы. В этом выражении нет ничего фантастического и преувели-

ченного. Взгляните на подобного человека по-внимательнее, и вы увидите в нём такую внешнюю и внутреннюю перемену, которая может быть результатом только очень долгого времени.

Так и великий розенкрейцер, находясь вне времени, исчисляемого часовой стрелкой, прожил много. Сначала он был как в чадю, жадно воспринимая неведомые ему впечатления, опьяняясь ими и даже не имея возможности хоть на мгновение заглянуть вглубь себя и сказать себе: «Я счастлив!» Но уже эта самая невозможность самоуглубления, отсутствие внутренних вопросов и стремлений показывали, что он весь — в настоящем и это настоящее его удовлетворяет. А такое состояние и есть единственное «земное» счастье.

Однако оно было непродолжительно. Оно стало удаляться незаметно, но быстро. Началось с того, что притупилось «чувство удивления» перед всеми этими неслыханными красотами природы и искусства, перед сказочным блеском и роскошью, перед поклонением толпы и сознанием своего могущества. За-

тем явилась «привычка» ко всему этому. Ещё шаг — и вследствие привычки созрело «равнодушие»; изумительный праздник красоты, блеска и могущества превратился в будни, в самые монотонные будни.

Великий розенкрейцер уже не замечал теперь сказочного великолепия своих чертогов и даже позабыл свои первоначальные впечатления. Он подолгу работал с Сатором и другими своими приближёнными, но мало-помалу, сам того не замечая, отказывался от собственной инициативы в этой работе. Дела, относившиеся до блага бесчисленного народа, которым управлял он, как-то мало находили отголоска в его сердце. Он доволен был, слыша уверения Сатора, что люди благоденствуют, что все благополучно. Он доверял Сатору и тем, к кому Сатор относился благосклонно. Он удалял от себя тех, кого Сатор находил недостойными высокого положения и доверия властелина. Он находился в твёрдой уверенности, что Сатор — надёжный и верный друг, человек большой мудрости в делах управления, что он не способен ошибаться ни в решении дел, ни в людях. Поэтому ему даже

в голову не приходило искать новых людей и подвергать действия и решения Сатора критике и проверке.

Когда занятия утомляли и в то же время не удовлетворяли, так как эта деятельность не была его призванием, он искал телесного отдыха и наслаждений. Он спешил в термы и погружался в клокочущую влагу целебного источника. Эта ванна хоть и освежала его, но её действие было почти неощутимо, и он уже не мог вызвать в себе прежних необычайно сладостных впечатлений...

Долее всего прожила его страсть к Сильвии. Но вот даже и чувство его к красавице притупилось. То, что было его блаженством, тоже обратилось в привычку и уже не удовлетворяло его жажды новых, неизведанных впечатлений.

Он познал, что такое неудовлетворённость, скука. И в то же время в нём начал пробуждаться иной человек, или, вернее, к нему возвращались все его свойства, знания и силы. Туман спадал с его глаз. Он снова ощутил за собою и перед собою вечность. Его мудрость наконец вернулась и показала ему ис-

тину.

И он увидел, что окружён обманом и фальшью. Он увидел, что его друг, всесильный Сатор, вовсе не мудрец, а опытный царедворец, бесовестно пользующийся своим положением, отстраняющий всеми способами, даже и грубой клеветой, всякого свежего и самостоятельного человека, и поэтому творящий ряд несправедливостей и ошибок. И все эти несправедливости, все эти ошибки падают на властителя.

Вслед за разочарованием в Саторе и других приближённых его ждало разочарование в красавице Сильвии...

Была дивная, душистая ночь, и аллеи волшебного сада озарялись полной луною. Эта ночь манила к счастью, к поэтическим мечтам, к возвышенным и плодотворным мыслям. Но мрачно и тоскливо было в душе великого розенкрейцера. Он покинул своё ложе и, будто бледный призрак, прошёл ряд безмолвных чертогов. Его тень скользила по широким ступеням террасы. Он в саду среди благоуханной тишины, под грустными ветвями могучих померанцев. Он сидит неподвижно,

склонив голову и будто прислушиваясь к душевному голосу, который тоскливо и страстно ему плачется: «Не держи меня в неволе, выпусти из неволи, дай расправить ослабевшие крылья!..»

Но вот другой тихий голос достигает его слуха. Он вздрогнул, затаил дыхание, прислушивается...

— К чему твои сомнения, — шепчет знакомый нежный голос, близко шепчет, в душистой беседке, со всех сторон закрытой невиданными причудливыми цветами, — к чему твои сомнения, они только портят и сокращают эти быстротечные минуты счастья!

— Но я не могу избавиться от этих сомнений, — отвечает другой, незнакомый, голос, — я жадно, с мучением слежу за тобою, за каждым твоим шагом, движением, взглядом... И когда я вижу, что ты улыбаешься властелину и нежно на него смотришь, — моё сердце разрывается, и я едва в силах удержать крик отчаянья и ненависти к этому человеку... Страшное сомнение закрадывается мне в душу и шепчет: «Она его любит!..»

— Если бы я любила его, разве ты мог бы

ко мне приблизиться, разве ты был бы со мною теперь в этой беседке? Если я здесь, значит, люблю тебя...

— Но ведь ты любила его?

— Никогда я не любила его... Отказываться от его любви было бы безумием, да и невозможно это: он властелин, одно его слово — и о сопротивлении нечего думать... или исполнение его воли, или гибель. Сатор сказал мне это, а Сатор беспощаден...

— Да, но загляни хорошенько в своё сердце... Ведь он — властелин, в нём власть и сила, несокрушимое могущество, и всё это — его обаяние. Женское сердце склоняется перед силой и боготворит её.

— Может быть, может быть, и я полюбила бы его за могущество и преклонилась бы перед ним, только для этого надо было одно: чтоб он не полюбил меня. Да, тогда бы, если б он не замечал меня, а, заметив, остался бы ко мне равнодушен, может быть, я и увлеклась бы им, может быть, я и добивалась бы его любви и в этой борьбе сама опалила бы своё сердце. Но он полюбил меня, и я сразу увидела, как он трепещет и млеет от моего взгляда,

от моего прикосновения... Где же его сила? Где же его могущество? Он не властелин для меня, а раб мой... А я раба любить не могу. Я презираю его, он мне жалок, смешон... Я должна выносить любовь его... но и в его объятиях я всё же всегда с тобою, мой милый, мой ненаглядный, и от него я спешу к тебе, чтобы ты скорее согрел меня, чтобы ты стер своими сладкими поцелуями его ненавистные поцелуи...

Властитель не хотел больше слушать. На мгновение сильно забилося его сердце, и он растерялся от неожиданности и грубости этого обмана. Но он сейчас же и понял, что обман этот возбуждает в нём не горе, не обиду, а только глубокое отвращение. Да разве сам он любил её? Разве сам он не начал отрезвляться от своей животной страсти, от грубого поклонения материальной красоте? Любовь! Разве это любовь? Он не знает, что такое любовь, и не знает, где искать и где найти её... Стыд поднялся в нём, и пусто и тоскливо стало в его сердце.

Он медленно приблизился к беседке; он уже хотел распахнуть благоухающие ветви и

сказать: «Прочь, скорее прочь с глаз моих, прочь из моего волшебного сада!» Но он не коснулся душистых ветвей, не произнёс ни слова и поспешно удалился. Снова тень его мелькнула на широких мраморных ступенях террасы.

Он оглядел этот сад, утопавший в лунном блеске, эти далёкие, бледные горы, море, колоннады и портики своих чертогов и перенёс взгляд выше, к тёмному небу, усеянному мириадами звёзд, трепетавших в загадочном мерцании. И беспредельность охватила его.

«Зачем их гнать отсюда? — думал он. — Они у себя, они такая же часть этой земли, как цветы и деревья, как вода и камни... Они у себя, а я — пришелец в этом мире временных форм, на мгновение остановившихся призраков. Я искал здесь то, чего не мог найти, и должен уйти отсюда!»

Всё выше и выше поднимался взгляд его. Душа напрягала последние усилия...

Он открыл глаза, поднялся с кресла, и глубокий вздох, вздох освобождения вырвался из груди его. Свечи догорали на столе, бледное зимнее утро заглядывало в окна...

Рано утром во двор Захарьева-Овинова въехало несколько нагруженных подвод. В этом обстоятельстве не было ровно ничего удивительного, так как время от времени именно такие подводы приходили то из одной, то из другой княжеской вотчины и привозили всевозможные сельские продукты как для домашнего продовольствия, так и на продажу. Но на этот раз оказалось нечто, не совсем обыкновенное: на одной из подвод между огромными кулями, прикрытая со всех сторон ими, оказалась женщина.

Мужики-возчики, остановясь во дворе, на своём обычном месте, окружили эту подводу, стащили с неё куль и таким образом дали женщине возможность слезть с подводы.

На первый взгляд это была крестьянка, но, очевидно, из очень зажиточных. Она была закутана в длинный суконный шушун и с ярким персидским платком, обвязывавшим её голову так, что из всего лица были видны только глаза. Когда она слезла с подводы, то во всех её движениях совсем не оказалось ро-

бости, присущей крестьянкам, приезжавшим из деревенской глуши в петербургский княжеский дом. Она спустила с лица платок, освободила рот и довольно повелительно крикнула одному из мужиков:

— Пахомка! Ступай-ка ты, да оповести кого след о том, что я приехала. Куда идти, не знаю, а не на дворе же мне стоять, и так за ночь вся как есть перезябла. Коли поп тут, так ты его тащи с собою.

— Сейчас, матушка, сейчас! — отозвался весьма охотно и с некоторым подобострашием Пахомка. — Вестимо, чего тебе среди двора оставаться, мигом батюшку отца Николая доставлю.

Пахомка, передёрнув плечами, маленькой рысцою в своих огромных лаптях побежал к одной из домовых пристроек.

Теперь можно было поближе разглядеть приехавшую женщину. Большая, плотная, ещё молодая, лет тридцати с небольшим, она производила очень выгодное впечатление. У неё были бойкие чёрные глаза, крупный, неопределённой формы, но вовсе не дурной русский нос и сочные, полные губы, из-за ко-

торых при каждом её слове так и сверкали белые зубы. Очевидно, это лицо в хорошие минуты могло быть и очень весёлым, и очень приятным, но теперь матушка находилась в раздражённом состоянии, что, конечно, объяснялось долгим путём и значительной усталостью.

Мужики возились вокруг подвод. Вот из одного строения показалось несколько дворовых, со всех ног бежавших к подводам. Просторный двор княжеского дома оживился.

Через несколько минут в доме уже знали, кто такая приезжая. К ней с любопытством подходили и почтительно ей кланялись.

— А батюшки-то дома нету! — вдруг сказал кто-то.

— Как нету! — воскликнула приехавшая. — Куда же это он в такую рань?

Несколько человек усмехнулись.

— Что за рань! Для батюшки отца Николая рани не бывает, что день, что ночь — для него едино. Коли не у службы Божией, так по больным ходит. Больных-то ныне, с самого лета, их как много по Питеру. Ну вот его и зовут.

— Он-то тут при чём? — в недоумении вос-

кликнула приезжая. — Что ж это, в Питере своих попов нет, что ли?

Тот из дворовых, к которому она обратилась с этими словами, почесал у себя в затылке и недоумённо поглядел на неё.

— Своих-то попов, питерских, немало, и у каждого из них свои дела есть: на всех треб хватит. А батюшка-то, отец Николай, разве он...

— Что?.. Разве он что?

— Он не для треб, а для целения души и тела. Сколько народу за него тепереча молится! Не человек он — ангел!.. Угодник Божий.

— Это кто же такой угодник Божий? — насмешливо спросила матушка, но тут же и замолчала, увидя произведённое этими её словами полное недоумение.

В это время перед ней очутился княжеский дворецкий, важного вида человек. Матушка даже смутилась, его увидя и не зная, за кого принять его. Вид у него царственный, на плечах накинута шуба лисья, а из-под шубы кафтан выглядывает, весь золотом шитый. Матушка почтительно, по-русски, по-деревенски, поклонилась. Дворецкий ответил ей та-

ким же почтительным поклоном и густым басом произнёс:

— Так это ты, матушка, отца Николая супруга?

— Я, а то кем же мне быть? — несколько оторопев, произнесла молодая женщина.

— А в таком разе, пожалуй, сударыня матушка, я тебя в покойчик батюшки и проведу. Самого его нету, да у заутрени я его видел, и он мне сказал, что скоро будет; к одному только больному, тут недалече, хотел зайти. Он беспрерывно скоро будет. Пожалуй, матушка, за мною.

Приезжая, очевидно подавляемая совсем неожиданными и новыми мыслями, последовала за дворецким.

Он проводил её в княжеский дом с заднего хода. И вот она в чистой и по-барски убранной комнате. На полу разостлан мягкий ковёр, всюду наставлены большие кресла; в правом углу богатый киот с образами.

Она остановилась, смущённая.

«Неужто это моего попа тут так ублажают, — невольно мелькнуло у неё в голове. — То-то он и застрял! Как не сбежать в такие па-

латы! Да не может то быть?..»

Но последнее сомнение тотчас же исчезло. Из растворенной двери в следующую комнату она увидела брошенную на кресло знакомую ей деревенскую рясу отца Николая, да притом и в этой богатой комнате, где она стояла, на неё так и пахнуло тем неуловимым запахом, да и не запахом, а чем-то совсем неосознанным, но хорошо знакомым ей и указывавшим яснее всего на то, что здесь именно, в этих богатых покоях, живёт не кто иной, как отец Николай.

— Чай, иззябли в дороге, матушка, да и проголодались? Я сейчас сбитню горяченького прикажу приготовить и пришлю тебе закусить.

Проговорив эти слова, дворецкий с поклоном вышел.

Приезжая, совсем растерявшаяся и как-то притихшая, продолжала стоять посреди комнаты и медленно развязывала платок на голове. Вот она сняла этот платок, потом сняла свой длинный шушун из грубого сукна на заячьем меху и долгое время не знала, куда всё это девать, так ей казалось неподходящим по-

ложить свои деревенские вещи на барские, крытые бархатом кресла. Наконец она решилась и осторожно сложила на самое дальнее кресло, в уголку, сложила да и присела тут же, опустив руки вдоль колен, как это всегда делают женщины из русского народа, погруженные в задумчивость. Она невольно сравнивала свои обычные, ещё так недавно покинутые впечатления с тем, что её теперь окружало.

Она выросла в глухой деревне, в среде, почти ничем не отличавшейся от крестьянской. Домик её отца, в котором она и теперь жила с мужем, немногим разнился от крестьянской избы. Но она хорошо знала, что есть люди, которые живут совсем иначе. Она с детства, время от времени пользуясь каждой возможностью, забиралась в давно покинутый барский дом, где тщательно сохранялась княжеская обстановка времён царицы Анны.

Робко, с замирающим сердцем бродила она по обширным покоям, казавшимся ей особенно обширными после домашней деревенской тесноты. Она разглядывала каждую вещь. иной раз вовсе не имевшую в себе ров-

но ничего замечательного, сделанную грубо, аляповато, но казавшуюся ей чудодейственной, — и бессознательная тоска и зависть наполняли её, и каждый раз, возвращаясь из барского дома к себе, она вздыхала.

Это стремление к той жизни, для которой она не была предназначена, было в ней врождённое, инстинктивное. Но время шло, и детские мечтания исчезали, жизнь вступала в свои права. Бродить по барскому дому, отдаваться чувству тоски и зависти было теперь некогда: мать померла, отец дряхлел, все хозяйство было на её руках. На подмогу ей оказывался всего один работник, тоже старик, совсем почти глухой и плохо видевший одним глазом.

Покойная её мать была отличной хозяйкой и держала поповский домик с огородом в большой исправности, и дочка вышла хорошей хозяйкой и работницей. Время шло быстро, она уже заневестилась. Из Киева явился Николай.

Когда ей старик отец объявил, что это её жених, она ничего не возразила, вышла замуж без всяких рассуждений, без всякой борь-

бы с собою. Всё это было в порядке вещей, иначе и не могло с ней случиться, слава Богу, что жених-то не противен, а напротив, он даже заинтересовал её. В конце концов, как бы то ни было, он не деревенщина, рос с княжеским сыном, потом учился в Киеве, немало чего навидался, иной раз станет рассказывать — интересно выходит. Правда, есть в нём что-то странное, не такой он, как другие люди молодые, каких она встречала, а и то сказать — встречала-то она немногих, так что судить точно и не могла. Но с первых же дней своей семейной жизни она увидела, что между нею и её мужем что-то не совсем ладно: до свадьбы были чужими, а после свадьбы ещё больше чужими стали, ровно и не понимают друг друга. Что же, он так умён, а она так глупа? Ничуть себя она глупой не считает, хотя и выросла в деревне, а не такова совсем, как деревенские бабы, — и читать, и писать умеет, отец всему выучил. Книг немало прочла, да и от природы Бог разумом не обидел...

Неведомо куда привели бы теперь матушку её мысли, да думать-то оказалось некогда: проворный и ласковый человек с поклонами

и поздравлениями со счастливым приездом внёс в комнату сбитень медовый в большом медном сосуде с ручкой, наподобие чайника. Он накрыл стол чистою белою скатертью, потом уставил его всяким съестным, весьма заманчивым особенно после дальней дороги и недостаточной грубой пищи.

Приезжая сразу покончила со всеми своими мыслями, со всеми волновавшими её чувствами и принялась кушать и пить с большим аппетитом, даже с наслаждением.

Во время этого её занятия снова отворилась дверь и в комнату вошёл сам отец Николай. Он, вероятно, прошёл по двору, как всегда это делал, очень быстро, во всяком случае, его прихода никто не заметил и никто не успел сообщить ему о приезде его жены. При виде её среди комнаты, за завтраком, он в первое мгновение вздрогнул. Светлое его лицо как бы омрачилось, но это только был один миг, — и снова ясное спокойствие разлилось по всем его чертам.

— Настасья Селиверстовна! Приехала! Вот неожиданно-негаданно! — вскричал он, подходя к жене. — Все ли благополучно? В добром ли

здравии? Ну, мать, с приездом! Облобызаемся.

Всё это он проговорил так быстро, его движения были так порывисты, что матушка едва успела проглотить положенный в рот кусок и сама не заметила, как трижды, по обычаю, облобызалась с мужем или, вернее, трижды его губы беззвучно приложились к её круглым горячим щекам.

Затем отец Николай придвинул себе стул, сел рядом с нею и глядел на неё светлым, почти радостным взглядом. Глаза его, как прозрачные голубые камни, в которых отражалось солнце, так и светились, так и искрились. Но именно это сияющее выражение его лица, именно этот поразительно ясный свет, изливавшийся из его глаз, произвели самое раздражающее действие на матушку.

То, что она подавила было в себе, о чём перестала думать в теплоте, богатстве и новизне этой обстановки, но с чем она ехала сюда и чем была полна, въезжая на княжеский двор, теперь сразу заполонило её.

— Чего ж ты ухмыляешься, поп? — вскричала она страстным голосом. — Рад, вишь, жена приехала. Лиси перед кем хочешь, обма-

нывай кого знаешь, а меня не обманешь. Чай, у тебя кошки на сердце скребутся. Не ждал, думал: где ей, глупой бабе, не надумается. А вот и надумалась — взяла, да и тут! И никоим манером ты меня отсюда не выживешь, ты тут — и я тут, потому ты мне муж, а я тебе жена.

— Матушка, да я вовсе и не желаю выживать тебя. Бог с тобой! Здорова ты — ну, вот я и доволен, а что приехала ты, так это напрасно.

— Ну вот! Ну вот, совсем, небось, от меня хотел избавиться, ан нет, ан вот же тебе!.. Ты здесь — и я здесь! — с деревенской ухваткой, сверкнув глазами и раздувая ноздри, крикнула матушка.

Отец Николай качнул головою и чуть слышно вздохнул, а она между тем продолжала:

— А ты вот что мне скажи, поп, кто ты таков теперь стал? Как тебя величать надо? Жил ты, был знаменский поп Микола, ну а нынче-то кто же? В бояре, что ли, попал? Или архиереем при живой жене сделался? Кто ты таков? Чего ты так барствуешь, покажись-ка,

покажись. Батюшки мои, ряса-то, ряса!

Она оглядывала и ощупывала его шёлковую синюю рясу, которую недавно ему подарил старый князь.

— И тебе это не совестно — в таких шелках-то? Ведь это что ж такое? Жена вон, деревенщина, в затрапезье ходит, а он, поди ты, в шелках каких!

Отец Николай тоже осматривал теперь свою рясу.

— Красива, — сказал он, — и на ощупь приятно, это мне наш болящий князь онамеднись подарил и приказал носить, так мне как же не носить-то?

— А ты бы ему, князю-то болящему, — перебила матушка, — и сказал бы: на что мне, мол, князь али там сиятельство ваше, такая ряса. Не пристало мне, деревенскому попу, в шелках ходить, а вот, коли милость ваша будет, этот самый шёлк жене бы на платье для праздника.

— Вот это точно. Не догадался, матушка, прости, не догадался, — разводя руками, сказал отец Николай. — А и то сказать, кабы и догадался, так не стал бы таких слов говорить

князю — не моё это совсем дело.

Матушка махнула рукою, поднялась из-за стола и прошла по комнате.

— Да что тут с тобой толковать, — мрачно произнесла она, — а вот ты мне скажи: домой-то, в деревню-то, ты думаешь когда быть? Али совсем здесь уж останешься? Ведь, ты подумай только, сколько времени прошло, как ты сбежал-то тогда! Тебя так многие, чай, по нашим местам в бегах и считают!

Отец Николай сидел задумавшись.

— Да ведь Семён Петрович священствует? — наконец спросил он. — Ведь прихожанам никакого от моего отсутствия нет убытка...

Матушка, очевидно, не могла равнодушно выносить ни слов его, ни его спокойного тона.

— Ну что же такое, что поп Семён! Он Знаменской церкви иерей поставленный или ты? При деле ты или без дела? Жена я тебе или нет? Вот ты мне на что, ответь? Два раза наши подводы сюда ходили, писала я тебе, что же ты мне не отвечал?

— Как, матушка, не отвечал, — изумлённо

перебил её отец Николай, — оба раза я тебе отвечал.

— Да что ты мне отвечал-то? Жив, мол, и здоров, чего и тебе желаю, — вот и весь ответ твой был.

— А ответ был таков потому, что нечего другого было мне сказать тебе. Коли было бы что, я бы и сказал, коли бы знал, когда вернусь, то я бы и отписал, а вот как тогда, так и теперь не знаю ни срока, ничего не знаю, всё во власти Божией! Есть у меня здесь дело, я и живу, не будет дела — домой поеду, там, может, тоже дело найдётся. Не могу я отсюда выехать.

— Да почему же не можешь? Упрямая ты, несурная голова!

Но отец Николай молчал, и она, глядя на него, знала, что он так ей ничего и не ответит, и уже она привыкла к этому его особенному в иные минуты молчанию. Но это-то молчание всего более и раздражало её, и теперь она уже каким-то почти шипящим голосом заговорила:

— Да и я-то, дура, что хочу от тебя чего-нибудь добиться! Аспид ты, мучитель мой, и ни-

чего больше! Ну и молчи! Мне слов твоих не надо. Дойду и до самого князя. Нынче дойду, беспременно, затем и приехала. Расскажу ему все как на духу, скажу ему, каков ты есть изверг... Он, небось, тебя за святого считает, обошёл ты его своими лисьими речами, а вот увидим ещё, как это князь на твои настоящие поступки посмотрит, что ты с женой делаешь, как ты её одну оставляешь! Хоть с голоду помирай, тебе нет дела... Да и не к князю, к владыке пойду... ко всем вельможам пойду, не могу больше терпеть от тебя, довольно! Натерпелась... не один год... Всю молодость мою ты загубил!

Сначала отец Николай при каждом её слове вздрагивал, когда её слова больно в нём отзывались, но вот он сделал над собою усилие, губы его зашептали что-то, и мгновенно он перестал слышать слова жены, он ушёл всецело в иной мир, в иную область мыслей и ощущений.

Матушка волновалась всё больше и больше. Она была в таком состоянии, что ей, очевидно, необходимо было наговориться досыта, излить всю свою душу, высказать перед

мужем всё, что накипело в ней за эти месяцы его отсутствия. Она осыпала его целым градом упрёков и насмешек, не задумываясь над словами, но он ничего не слышал.

Он спокойно глядел перед собою светлыми сиявшими глазами и не видел ни её, ни этой комнаты, видел совсем иное, и она, наконец взглянув на него, поняла это.

Она поняла, что все её красноречие пропало даром. Отчаяние, злоба и раздражение охватили её, ещё миг — и она, кажется, кинулась бы на мужа с кулаками, но ей, по счастью, пришло в голову, что всё же она в княжеском доме; она побежала в соседнюю комнату и там громко зарыдала.

IX

Отец Николай расслышал это рыдание. Он встал, быстро направился к жене, увидел её сидящею в кресле, с лицом, закрытым руками, и склонился над нею.

— Настя! Настя! — тихо и ласково произнёс он, касаясь рукою её головы. — Ну, чего ты? Чего? Зачем плачешь? — успокаивал он её и опять погладил по голове.

Она уже ощутила это прикосновение, от которого повеяло на неё чем-то тёплым, успокоительным, отрадным. Ей стоило только отдаться этому первому ощущению — и тишина и спокойствие наполнили бы её душу, она внутренне прозрела бы и увидала бы все совсем в ином свете, но никогда, ни разу в подобные минуты не могла она отдаться этому спасительному ощущению — сила сопротивления была в ней велика. Каждый раз вся её душа возмущалась против мужа. Она и теперь порывисто подняла голову и отстранила от себя его ласкающую руку.

— Ну, чего ты? Что я тебе далась, малый ребёнок, что ли, или дура? — гневно сверкнув глазами, крикнула она. — Чего ты меня по голове гладишь, ровно кошку или собаку какую? Сам истерзал человека, жизнь погубил всю и думает — скажет: «Настя, Настя», а я так хвостом и завиляю. Я тебе не зверь, а человек, жена твоя законная, так ты меня уважать должен, заботиться обо мне, а не губить.

— Настя, Христа ради, не говори ты таких напрасных слов, ведь ими ничему не поможешь, и от них тебе только станет хуже. Возь-

ми лучше в толк да разум, коли можешь, и скажи мне, чего тебе от меня надо? В чём я перед тобою повинен? Бог видит: всё, что могу, я готов сделать, скажи только...

— О душегубец! — проскрежетала Настасья Селиверстовна, заламывая руки. — Ну есть ли какой способ выслушивать эти льстивые слова от такого человека? Ведь знает, знает, что меня-то уж своим лживым смирением провести не может, и всё ж таки донимает... Да закричи ты на меня! Бей ты меня! Покажись ты, как есть, всё же легче тогда будет, поговорю я с тобой как следует. Ну, чего ты тянешь всю душу? Чего ты юродивым представляешься? Чего, вишь, я хочу! В чём он, вишь, виноват? Да вот скажи ты мне, коли есть в тебе душа человеческая, скажи мне правду наконец, зачем ты на мне женился? Зачем тебе понадобилось всю жизнь терзать меня? Ну, говори! Только не молчи — говори, хоть раз в жизни говори мне правду.

Он опустил голову:

— Жена, я никогда не лгал тебе, только во многих случаях молчу, ибо молчание лучше слов напрасных.

— Знаю я твоё молчание! Ну, теперь не молчи, говори, говори мне: зачем ты на мне женился?

— На иной вопрос не легко сразу ответить, Настя. Вот ты мне и теперь такой вопрос задаёшь... Я сам себе его никогда не задавал, и он для меня внове, но, коли хочешь, отвечу тебе на него, да и себе сразу отвечу. Зачем, говоришь, я на тебе женился? Видно, так нужно было. Сама знаешь, отец мой был иереем и дед тоже; сам я от детских лет любил пуще всего в мире молитву, храм Божий, да и потом, возрастая, учился Писанию, истории церковной, богословским наукам, и знал я, тогда же знал, что нет и не может у меня быть иного призвания, как священство. Так вот я и готовился, по примеру отца и деда, в священнослужители. Только было у меня время сомнений, разбирал я в себе, достоин ли я такого высокого служения... проверял себя... Ах, Настя, ты напрасно думаешь, что легко быть священником, что легко подъять на себя такую обязанность! Ведь ежели человек недостойн, ежели человек с нечистым сердцем совершает великие Господни таинства, то ведь

эти таинства сожгут его невидимым огнём, сожгут — и навеки! Ведь ежели он в душе своей не верит в те слова, какие произносит в церкви, если он хоть на малое мгновение усомнится в том, что совершает, — он погубит свою душу, ибо ложь перед алтарём Господним такой грех, после которого человеку не подняться! Вот когда я всё это понял, я и усомнился. Долго молился, долго разбирался в душе своей, наконец решил с трепетом, но с надеждой на Бога, на Его милосердие, на Его поддержку... и когда я решил, то я многое понял. Я понял, что мне нужно для того, чтобы быть священником.

Настасья Селиверстовна сидела теперь молча, с широко раскрытыми глазами и вслушивалась в слова мужа. Так с нею он доселе ещё никогда не говорил, и вообще на этот раз сам он ей казался как-то чуден. Слова его были до того необычны, что на короткое время улеглось в ней её раздражение — и она слушала. Он продолжал:

— Кончив одним из лучших в училище, я был призван начальством, и было мне предложено священническое место в Киеве.

— Ну да, я знаю это, — перебила Настасья Селиверстовна, — отчего же ты не взял этого места? Был бы, поди уж, и протопопом, да и для меня нашёлся бы другой человек, с которым, быть может, жилось бы лучше.

— Я было сначала от места-то не отказывался, — продолжал отец Николай, — да только вдруг потянуло меня на родину. Меж товарищами моими был один человек хороший, и ему сильно хотелось занять то место, которое мне предлагали. Он давно уже на то место рассчитывал, я про то не знал, а вот как было оно мне назначено да стало то известно между товарищами, он мне и сказал, а я и обрадовался, пришёл да и говорю начальству: «В село родное хочется» — да и князю о том написал. Князь прислал своё согласие, начальство было меня отговаривать стало: «Пропадёшь ты там, говорят, в глуши. Пусть, говорят, по деревням те идут, кто ни аза не знает, а ты не на то учился». Я смолчал, потому нас так приучили — молчать перед начальством, а сказать хотелось, что куда же идти тому, кто что-нибудь смыслит, как не в народ тёмный. Да не в том дело. Вот я и решил да и поехал, ну а

потом сама знаешь: как же я мог на тебе не жениться — ведь иначе меня в иереи не посвятили бы, да и прихода Знаменского не мог бы я получить, потому твой отец священствовал и только твой муж мог быть на этом месте — сама это всё знаешь!

— Да я-то тут при чём? Я-то тут в чём виновата? — снова приходя в раздражение и наступая на мужа, заговорила матушка. — Коли я тебе была так ненавистна, ты бы и ушёл, ну я не знаю что... ну поехал бы в Москву. Князь тебе бы всё устроил — ты ведь хоть и не с той стороны, а родней ему приходишься... свой... я-то тут при чём? За что ты меня погубил, вот что ты скажи?

— Ах, опять ты эти слова! — сказал, вздыхая, отец Николай. — Конечно, коли бы я знал, что в этом чья-нибудь гибель, я бы и не показывался в нашу деревню, да разве мог я тогда знать это? Разве я тогда знал это? — возвысил он вдруг голос и блеснул своими светлыми глазами. — Когда я и теперь этого не знаю! Когда я и теперь... и теперь, более чем когда-либо, думаю, что не гибель наша была в этом браке, а скорей спасение!

Настасья Селиверстовна злобно засмеялась.

— Ну, поп, опять блаженным прикидываешься либо и впрямь спятил! Хорошо нашёл спасение! Я не по тебе, ты не по мне, уж чего же тут! Да только-то вот, видишь ли, что от меня ты дурного никогда ничего не видывал. Я баба работающая. Кабы не я, так ты бы в деревне голодом сидел. Во всю жизнь никакого непотребства у меня и в голове не было, а ты... ты?

— Ну что же я? — спокойно сказал отец Николай.

Но она не могла договорить. Её кулаки сжимались, бешенство душило её, снова из глаз так и брызнули слёзы — женские слёзы злобы и бессильного бешенства.

— Успокойся, Настя! Это ты с дороги, что ли, расстроилась? Эх, горе ты моё, горе! Как подумаешь, что так легко было бы тебе стать и спокойной, и довольной, и счастливой, — уж молюсь я об этом Богу, молюсь, да, видно, ещё рано.

— Не замасливай, не замасливай! — вырвалось вдруг у матушки.

У неё вообще были всегда очень быстрые переходы от одного состояния к другому.

— Ведь не скрылось от меня, как тебя ошеломило при моём виде, тебе любо было позабыть, что я есть на свете!

— Нет, я не забывал о тебе, а это правду ты сказала, что я в первую минуту, как увидел тебя, смутился, смутился я потому, что, сдаётся мне, тебе вовсе приезжать не следовало.

— А почему это?

— А потому, что ты здесь себя только, видишь ли, больше расстраиваешь, только больше себя мучаешь, вредишь себе. Там, в деревне, такому человеку, как ты, гораздо не в пример легче, там ты в работе, спокойна. Работа — всё лечение твоё душевное, в работе тебе не приходит никаких мыслей, а тут вот... они уже и пришли. Там, в деревне, тебе некому завидовать, а тут ты каждому завидовать станешь, и ропот в тебе явится, и ох много грехов всяких! Поэтому я и смутился, но уже раз ты приехала, что тут делать! Моё смущение прошло, я возрадовался, что вижу тебя здоровой, хотел расспросить о том и о другом, обо всех соседях и прихожанах, а ты меня сей-

час же встретила разными упрёками. Ну что мне с тобой делать — нет, видно, тебе исцеления!

— А! Так мне нет исцеления! Тут вот не успела в дом я войти, а уж о разных твоих делах наслушалась изрядно. Видишь ли, тут ты святым угодником стал, целителем недугов... разные болезни лучше всякого дохтура излечиваешь! Ну, батюшка, отец Николай, ты вот меня болящею считаешь, вот излечи меня, чтобы я стала здоровой, чтобы сердце у меня не закипало каждый раз, как гляжу на тебя да слушаю все твои речи... Ну, если ты такой великий целитель и сила тебе такая Богом дана, то вот и излечи меня!

Отец Николай опустил глаза, и по его светлому лицу мелькнула тень печали.

— Какой я целитель! — со вздохом сказал он. — Что славу про меня такую пустили, в том я не причинен, я её не искал, не желал, о ней не думаю. Я только делаю то, что должен делать по своему призванию и по обязанности моего сана. Какой я целитель? Люди сами исцеляются своею верою, а я только молюсь с ними. Кабы мог я с тобой молиться, Настя, и

твоя душа была бы исцелена. Да ты сама не хочешь этой молитвы. Захочешь, сможешь молиться вместе со мною, ну и воспрянешь здоровой для новой жизни, а пока не можешь, я насильно не властен тебе открыть глаза.

— Уйди ты, — вдруг произнесла Настасья Селиверстовна, подбоченясь и становясь в вызывающую позу, — лучше уйди! Уйди, потому моего терпения с тобой наконец не хватит. Уйди ты от греха, комедиант, не то, право, я за себя не отвечаю... А что к князю я пойду на тебя жаловаться — это вот как Бог свят! Затем и приехала сюда.

Он хотел сказать что-то, но она наступала на него, глаза её метали искры, ноздри так и ходили, зубы так и сверкали.

Он наклонил голову и, подавив вздох, тихо вышел и запер за собой двери.

Х

В подобные минуты, которых немало было за всю супружескую жизнь отца Николая, когда после безумных речей, грубых упрёков, рыданий, брани и даже иной раз побоев рас-

свирепевшая матушка прогоняла от себя мужа, и он, видя, что бессилен перед нею, покорно уходил — ему было куда уйти! Зимой он спешил за околицу по большой дороге, летом — в лес, в поле, и тишина деревенской природы его скоро успокаивала, и в миг один, при взгляде на торжественность Божьего мира, при первых словах молитвы, в его душе стихал невольный ропот, стихали тоска и томленье. Он хорошо понимал, что ему послан крест, что его жена — это испытание для него, и ему только тяжело было видеть её такою, и он только молился о том, чтобы Господь простил её и снял наконец слепоту с её очей. О себе, о несправедливостях и обидах, ему наносимых, об этой грубой, оскверняющей человека брани, об этих полученных им побоях — им, мужчиной, от женщины — он, конечно, не думал. В миг один Божие солнце, ветер или дождик снимали с него всю эту паутину, всю эту грязь и пыль, он снова дышал привольно и спокойно, снова всеобъемлющее чувство любви наполняло его душу, и он, увидя себя в уединении, падал на колени и поклонялся Творцу своему и благодарил его за

всё: за великое душевное счастье, ему данное, и за эти мгновения, казавшиеся ему теперь такими ничтожными испытаниями. Он с жаром, со всею силою, на какую был способен, молился о том, чтобы Творец и впредь не покидал его, чтобы он всегда, во все дни и часы своей жизни чувствовал в себе связь с Богом, могучее трепетание невидимой нити, протянутой от Творца к своему творению...

Теперь же ему некуда было идти, простор и тишина полей, лесов и большой дороги были от него далеко. Едва он успел запереть за собой двери своего помещения, как к нему подбежал один из дворовых.

— Батюшка! Пожалуй сюда, давно тебя ждут!

— Где? Кто? — ещё весь полный только что испытанных ощущений, растерянно спросил отец Николай.

— А тут вот, на крыльце, у людских, две женщины пришли, Христом Богом просят, в ноги кланяются, чтобы повидать тебя.

— Иду, иду.

И отец Николай, второпях захватив шапку и на ходу порывисто надевая на себя шубу,

поспешил туда, где его ждали.

У крыльца в людской флигель он увидел две женские фигуры, из которых одна так и кинулась ему навстречу, подбежала и упала ему в ноги. Это была женщина уже немолодых лет, судя по одежде, не из простых, с лицом, носившим на себе следы былой красоты и некоторого изящества.

— Батюшка, благослови! — прошептала она.

Отец Николай склонился над ней, благословил её, причём она схватила его руку и долго не выпускала, покрывая поцелуями.

— Дочь моя, встань! Что ты мне поклоняешься... Нехорошо! Не след!

Но женщина не вставала с колен, будто застыла в своём молитвенном положении, и всё продолжала покрывать руку отца Николая поцелуями.

Он совсем растерялся и вдруг тоже упал на колени и поклонился ей.

— Поднимись, дочь моя, — шептал он, — а то что же мы с тобой так друг перед другом на коленях стоять будем, негоже, совсем негоже.

Тогда женщина очнулась, встала, и за нею

встал и отец Николай.

— Чем могу служить тебе? — произнёс он, но в тот же самый миг он уже знал, в чём дело. — Твой муж... твоя дочь... — неожиданно для самого себя говорил он, — ведь горе и испытания слабых людей часто ведут к греху. Да, грех... но Бог милостив... я приду молиться с вами, приду, приду... не бойся, не обману тебя. Приду сейчас, дай только вот спросить эту...

Женщина, для которой в словах отца Николая всё было ясно, которая убедилась, что этот человек знает всё то, что она собиралась рассказать ему, осталась неподвижной, потрясённой, и в то же время надежда, приведшая её к этому священнику, о котором только несколько дней тому назад она узнала, всё росла и росла в её сердце. «Да, он таков, как о нём говорили, он всё знает, всё видит, он спасёт нас».

Между тем отец Николай подошёл к другой женщине, стоявшей у крыльца. Эта была моложе, лет под сорок, с лицом бледным и спокойным, по виду и одежде — зажиточная мещанка либо купчиха. У неё на руках заку-

таный в тёплое одеяло покоился ребёнок, но ребёнок не маленький, не грудной, а, по росту судя, этак лет трёх или четырёх.

Взглянув на ребёнка, отец Николай даже вздрогнул — такое у него было ужасное и в то же время жалкое лицо. Это было человеческое лицо, но младенческого, благообразного в нём ничего не оказывалось. Это было несчастное уродливое существо с блуждающим, бессмысленным взглядом, с открытым и непрерывно жующим ртом.

Губы отца Николая зашептали молитву, он благословил ребёнка, потом мать.

— Бедный, бедный! — прошептал он. — Сколько ему лет? С рождения он у тебя болен?

— С рождения, батюшка, — тихо ответила женщина. — Давно это, ему ведь шестнадцать годов.

— Шестнадцать!

— Да, на вешняго Миколу семнадцать будет. Сначала, как родился, рос было, даже шибко рос, а потом вдруг перестал, так вот и остался.

— Ну, мать, пойдём в горницу, расскажи мне свою нужду, пойдём.

Они взошли на крыльцо; столпившиеся слуги расступились перед ними и поспешили отпереть двери в довольно просторную и чистую горницу, в которой через несколько мгновений отец Николай очутился наедине с женщиной и её сыном. Он сел на лавку и жестом пригласил её поместиться рядом с собою.

— Что ж у тебя, мать? — внезапно совсем успокаиваясь и глядя своими светлыми глазами то на женщину, то на мальчика, спросил священник.

Та опустила глаза, потом подняла их на него. Это были тихие, спокойные, грустные глаза, в которых выражалась большая прямота и большая покорность, безропотность.

— Да вот, батюшка, — начала женщина, — я ведь издалека — вологодская, у мужа моего торговля в Вологде, живём в достатке: всего вволю, дом свой, большой... так надо сказать — почти что по-барски живём, и что ни задумает мой хозяин, Митрий Степаныч, то ему и удаётся.

— Человек-то он, твой хозяин, какой — хороший?

— Хороший он человек, батюшка, ничего дурного про него сказать нельзя. Ну, там, не знаю, может, в своём торговом деле чем когда и покривил душою, не знаю я про то... а для меня всегда был добр да ласков. Почитай с малолетства я его и знала, соседи мы, старее он меня годов на семь.

— По доброй воле вы поженились?

— По доброй, батюшка, по доброй. Крепко мы с ним слюбились и вот живём без малого лет девятнадцать, и ничего такого промеж нас до сей поры не выходило.

— За что же это вам такое Господь наказание послал? Детей-то других у тебя нет, что ли?

— Есть, батюшка, как не быть, две уж большие девочки, сынок старшенький, разумный такой, почтительный паренёк вышел, а вот этот второй родился.

— Наказание Божие!

— Это ты, батюшка, святое слово сказал, да, наказание мне... мне окаянной! Одна я в том виною. Как была я тяжела вот этим Никушкой, болезнь на меня напала, чаяла, не доношу да и сама не встану, вот тут я и взмо-

лилась Богу да обеты дала: первое дело — пешком сходить на Москву, поклониться угодникам, а второе дело — три года работать, каждую свободную минуту работать... Я, видишь ты, батюшка, золотом шить мастерица, так вот и обещалась покров в собор вышить — это раз, а другое — остальные мои работы продать, а на вырученные деньги променять образ в золочёной ризе в собор приделу святого Николая Угодника и на неугасимую лампаду. Вот дала я эти все обеты, и полегчало мне, и хворость мою всю как рукой сняло: доносила я дитю совсем здоровая да и от бремени разрешилась благополучно. Ребёночек, Николаем мы его назвали, тоже здоров был, и позабыла я, грешная, окаянная, мои обеты, работать-то работала, да с ленцою, не то что в три, а в четыре года только и вышила одну пелену, а о том, чтобы в Москву идти пешком к святым угодникам да образ в золочёной ризе с неугасимой лампадкой в собор поставить, — об этом совсем забыла. И года не прошло с рождения Николушки, уже примечать мы стали в нём что-то неладное, а потом всё хуже да хуже, а к четырём годам и расти

совсем перестал, так несмышленочком и остался. Все дети здоровые, все дети красивые, а этот, вишь ты, какой! Всякий от него отвернётся, только материнское сердце на него и глядеть-то может. И будто у меня память кто отнял, не думаю я о своём окаянстве, о том, что обманула Господа Бога, о том, что не сдержала обетов своих, только ропот во мне иной раз, большой ропот; за что, мол, Господь наказал, за что, мол, и мы, родители, страдать должны, глядя на наше детище, да и оно, ни в чём не повинное, — не то человек, не то зверь. Да какое там, хуже зверя!

— Ну, ну и что же? — весь превратись во внимание, нетерпеливо спрашивал отец Николай.

— Вот так оно и было до этого лета; летом стою я в соборе перед иконою Николая Угодника, вдруг будто голос надо мною: «А где твои обеты? Где же твоя работа? Где неугасимая лампада? Была ли ты у московских угодников? От Бога получила, а Богу не дала и дитя своё погубила». Ровно ножом пырнуло мне прямо в сердце, так оно всё кровью и облилось, упала я тогда: молиться хочу, да и не мо-

гу, побежала я к батюшке-духовнику, рассказываю ему, а он мне и говорит: «Да, это очень великое твоё прегрешение, должна ты теперь замолить грех свой. Иди по обету». Вот мне от этих слов и стало легче. Через три дня вышла я с моим Николушкой, пришла на Москву, поклонилась святым угодникам, а теперь иду на Валаам и в Соловки....

— Мать, пешком всё ходишь? И сына носишь? — воскликнул отец Николай.

— А то как же, батюшка? Обет такой был: пешком чтобы!

— Ведь мальчик вон какой большой, тяжёл, чай?

— Сначала-то это точно, куда как тяжёл был. Иной раз иду, иду, и невтерпёж станет, сяду и заплачу; ну а теперь уж привыкла, теперь уж иной раз и долго иду, а тяжести никакой не чувствую, так что порой даже забываю, что он у меня на руках.

— А муж-то, когда ты ему сказала, что пойдёшь одна... с сыном, пешком, на Москву, а потом в Соловки... Он что же? Он так и отпустил тебя?

Женщина подняла на священника изум-

лённый взгляд.

— А то как же, батюшка? Как же ему меня не отпустить было? Горько-то оно горько, уж как горько было расставаться! И его жаль, и детишек жаль, слезами они заливаются, да и хозяина слеза прошибла. А чтобы не отпустить — как же он мог? Себе он, что ли, враг! Ведь знает, что надо.

И всё это она сказала так просто, так убедительно. Лицо отца Николая осветилось каким-то особенным светом, вскочил он с лавки и порывисто, неровною походкою, в очевидном волнении, весь сияющий, так и заходил по комнате.

— Ах ты счастливая! — воскликнул он вдруг, почти подбегая к изумлённой женщине. — Да и сын твой счастливый, дай мне его... дай!

И он взял дрожащими руками у матери это уродливое создание, бессмысленно на неё глядевшее, и с несказанной нежностью стал осеять его крестным знаменем, целовал его, целовал его в страшное лицо, целовал его руки и ноги.

— Батюшка, что же ты меня-то не благо-

словишь на моё хождение?

— Чего мне тебя благословлять, мать! Бог тебя благословил, сам Бог, слышишь, благословил тебя! Милости Его над тобою и над твоим сыном!

— Батюшка, батюшка! Так неужто Николушко мой несчастненький здоров будет? Неужто Бог простит мне моё окаянство?

— Простит! Простит! Он уже давно простил тебя! А Николушка твой... зачем ему быть здоровым... зачем? Ему и так хорошо... хорошо у твоей груди, тепло ему у неё... Он счастливый! И ты, и он — вы оба счастливее вельмож и царей земных... счастливее меня грешного! Вы убогие... У Бога вы, значит, под Его покровом. Его сила над вами и в вас. Его святою силою идёшь ты, мать, не чувствуя тяжести своего детища... Широкая дорога перед тобою, и приведёт она тебя к Богу, к великому блаженству. Счастливая ты, мать, Христос с тобою!

И он жадно, жадно глядел на неё, крестил её и затем охватил её голову и прижался к её лбу губами.

— Спасибо, родная, что пришла ко мне, что

дала взглянуть на себя, душе теплей стало, веселей, на сердце радостней!

Теперь женщина уже ничему не изумлялась и глядела на священника ласково и любовно. Тихие слёзы катились у неё из глаз.

— Батюшка, — сказала она наконец, — хоть и полегчало мне, как дошла я до Москвы, а всё же до сей вот минуты была я в тумане, а ты вот снял с меня этот туман, великое тебе спасибо! Подкрепил ты меня, и теперь нет уж во мне ни страха, ни трепета ни за себя, ни за Николушку, ни за хозяина, ни за детушек... Спасибо тебе, батюшка!

Она поклонилась ему низко, большим русским поклоном. Он ещё раз благословил её с Николушкой и светлый, бодрый, будто окрылённый, вышел из горницы.

XI

В сенях отца Николая дожидалась женщина, к которой он обещал пойти. Увидя её, он подал ей знак и торопливой, нервной походкой устремился к воротам. Женщина едва за ним поспевала. Казалось, не она, а он ведёт её. Он стремился будто давно знакомой ему

дорогой, быстро прошёл улицу, обернулся, взглянул на свою спутницу и, прежде чем она могла словом или знаком его направить, решительно свернул в сторону. Потом он остановился перед воротами очень невзрачного домика и сказал:

— Мать, ступай вперёд.

Она скользнула в калитку, обошла кругом грязный, загромождённый всякой рухлядью двор и с усилием отперла низенькую дверцу. Когда эта дверца пропустила её, с ней вместе прошёл и отец Николай. Они очутились в просторном, но невероятно грязном и дымном помещении. Два маленьких заледеневших окна едва освещали картину той полной нищеты, которая уже не только не может, но и не хочет, в своём безнадежном отчаянии, прикрывать свои язвы и своё безобразие.

Однако и в этой дымной холодной полумгле быстрый и ясный взгляд священника сразу разглядел всё, что ему надо было видеть. Он разглядел в углу, на жалком подобии кровати, фигуру спавшего человека, прикрытого лохмотьями. От этой фигуры он перевёл глаза к одному из окошек. Там, стараясь при-

моститься поближе к свету, сидела с работой в руках молодая девушка. Несмотря на крайнюю бедность одежды, нечёсанные волосы и вообще неряшливый вид, это была очень красивая девушка, и каждый, глядя на неё, должен был сказать себе, что девушка эта, наверное, родилась не в бедности и не для бедности. Она медленно подняла свои большие глаза на пришедших, затем тотчас же опустила их к шитью и осталась неподвижной, равнодушной.

— Катюша, ах, Боже мой, да что же это ты?.. Подойди же под благословение батюшки! — растерянным голосом произнесла женщина, с которой пришёл отец Николай.

Молодая девушка не тронулась с места и не произнесла ни слова.

— Оставь её, мать, — сказал священник, — я благословлю её в своё время, теперь же она нас не слышит. Сядем, и поведай мне своё горе.

Они кое-как поместились на старом большом сундуке, и отец Николай, склонив голову и глядя светлыми глазами вверх всего окружающего в беспредельное пространство,

услышал скорбную повесть. Говорившая ему женщина родилась в богатой дворянской семье, выросла в холе, вышла замуж за человека своего круга, помещика Метлина, и жила несколько лет спокойно и счастливо. Родилось двое здоровых красивых детей, мальчик и девочка. Дети уже подрастать стали. И вдруг будто сразу прорвалось что-то, посыпались на эту счастливую семью одно за другим всевозможные несчастья.

— Метлин, сам того не желая и не по своей вине, поссорился с богатой и влиятельной роднёю. Родня стала всячески притеснять его, завела с ним тяжбу, задарила всех судей и неправильно оттягала у него почти всё имение. Да и не только своим имением, а и жениным приданым он должен был поплатиться. Пожар усадьбы, где они жили, уничтожил остальное. Никто из родных и близких людей не вступился — все отвернулись, как от зачумлённых.

Собрали Метлины кое-какие крохи и перебрались с детьми в Петербург, надеясь доказать свою правоту и вернуть незаконно отнятое имение. Жили в бедности, но не замечали

её, не теряли бодрости духа, верили в торжество правды, А время шло. Прошло четыре года. Сын, прекрасный и добрый мальчик, отрада и надежда родителей, не выдержал лишения, простудился зимою в лёгкой одежде и, проболев, прометавшись в жару несколько дней, умер. Все старания Метлина доказать свою правоту остались напрасны, кроме вечных неудач, оскорблений, он ничего не видел. Жить стало совсем нечем. Пробовал искать службы — и тут не повезло, не удалось ему найти себе хоть какого-нибудь маленького места. Чтобы не умереть с голоду, приходилось иной раз ходить на подёнщину. Жена с дочкой, уже выросшей, ходили по домам, выпрашивая себе работу — шитьё, вязанье, всё, что можно было достать...

— Думала я, батюшка, — говорила Метлина отцу Николаю, что уже хуже с нами быть не может, а случилось худшее, подкараулило нас такое горе, какого я и во сне не видывала, а сны-то мне снились уж какие страшные да тяжкие!.. Терпел мой Пётр Ильич, всё терпел, и никогда не слыхала я от него речей богохульных... А тут вдруг вернулась я домой с Ка-

ттюшей, этому уж восемь месяцев будет, гляжу на него и не узнаю: не он совсем — лицо страшное, глаза кровью налиты, дышит тяжело, зубы стучат, кулаки сжаты: «Довольно, говорит, будет! Нет, говорит, на свете ни правды, ни Бога, их глупые да счастливые люди выдумали!» Кинулась я к нему, обняла его, слезами обливалась: «Батюшка мой, очнись, что ты говоришь, не бери греха на душу, не губи себя». А он как оттолкнёт меня да такое вымолвил, что повторить у меня и язык не повернётся. С тех пор запил, запил, иной раз дня по три, по четыре пропадает, вернётся пьяный и вот завалится, спит... Бывает, и деньги у него водятся, а откуда те деньги, придумать не могу, да и боюсь думать...

Рыдания подступили ей к горлу, но она удержала их и продолжала:

— И этого горя, видно, мало было. Катюша моя, на отца, что ли, глядя, стала на себя не похожа. По целым дням молчит, по ночам плачет. А потом вот точь-в-точь как он: будет, говорит, довольно! Я ей рот зажимаю, а она от меня и руками, и ногами. Вот уж третью неделю она меня изводит. Не могу, говорит, боль-

ше так жить, либо повешусь, либо, забыв стыд, стану жить в палатах... Вот её речи! Батюшка, спаси ты нас, на тебя только и надежда!

— Не на меня, а на Бога, — тихо сказал отец Николай. — Молись, мать.

— Молилась я, батюшка, молилась. Без молитвы-то как бы я прожила! И вера была, крепкая вера... А теперь, теперь и хочу молиться, да не могу... душа, знать, молчит, на молитвенные слова не откликается... и вера... ищущу её — и нет...

— А ты всё же молись и ищи веры...

Он уже сам молился. На него уже сходил молитвенный трепет, и он уже искал, жадно и тревожно, той спасительной и надёжной нити, которая поднимала, окрыляла всю его душу и приводила его в общение с высшей, святой, всемогущей силой. Он подошёл, почти шатаясь, к спящему человеку и простёр к нему руки.

— Встань, — произнёс он.

И человек приподнял голову, сел на кровати и изумлённо воспалёнными глазами глядел на священника. Девушка у окна тоже бы-

ло повернула голову, но затем вдруг резким движением склонилась ещё ниже над своей работой.

XII

— Кто это, кто?.. Зачем? Чего вам от меня надо? — шептал Метлин.

Недоумение, робость, даже ужас изображались в его воспалённых глазах. Дрожь пробежала по его телу. Это был человек лет около пятидесяти, крупного и сильного сложения, с лицом, ещё сохранившим следы породистой красоты и благородства. Но долгие лишения, несчастья и пьянство последних месяцев исказили, измозжили это лицо, придали ему болезненную одутловатость, и вся эта большая, сильно исхудалая фигура как-то съёжилась, сторбилась и производила жалкое впечатление, говорила о падении, о беспомощности.

В последнее время, находясь почти постоянно в болезненном возбуждении под влиянием вина, Метлин мало-помалу начинал жить какой-то фантастической жизнью. Он переставал ясно отличать действительность от своих болезненных представлений и гал-

люцинаций, и то, и другое путалось перед ним и в нём смешивалось. Он жил в ярком мучительном бреде, ему чудились несуществующие в действительности лица, и эти лица были так реальны, осязаемы, что он говорил с ними, и они ему отвечали.

Ему и теперь казалось, что перед ним одно из таких лиц. Только он ещё в первый раз видел такое лицо, и оно несколько не было похоже на прежние, всегда мучившие его призраки.

Полные внутренним светом глаза отца Николая неотразимо влекли его к себе, и в то же время ему становилось страшно, так как эти глаза глубоко проникали ему в душу и видели в ней то, чего никто не должен был видеть.

— Кто это? — повторял он, и ему хотелось уйти, спрятаться от этого всевидящего взора. Ему невыносимым становилось новое, охватывавшее его ощущение своей нравственной наготы перед незванным, непрошеным свидетелем.

Между тем отец Николай вдруг охватил его голову руками и прижал её к своей груди.

Это было невольное движение, видимое выражение того, что должно было совершиться. Человек, полный веры и силы, взял, весь горя сожалением и любовью, больную, измученную голову обессиленного человека в полное, непосредственное общение с собою и действовал на этого человека всем своим внутренним миром. Такое воздействие не могло остаться бесплодным, и совершилось именно то, чего «хотел» отец Николай: больной, измученный человек быстро начинал выходить из своего тумана и бреда.

Огонь, паливший его внутренности, угасал; мучительное беспокойство сменялось тихим, почти приятным утомлением. Мир призрачных представлений померк, действительность выступила в своей обычной простоте и рельефности, и Метлин понял, увидел, что он у себя, среди своей нищенской обстановки, что какой-то человек в одежде священника прижимает к своей груди его голову и что ему тепло, и странно, и отрадно на груди этой.

Но вот ещё раз, не в забытьё, не под влиянием винных паров, а от вернувшегося созна-

ния тяжких бед и надломившей его непосильной борьбы, в нём поднялось отчаяние, возмущение, мучительная злоба. Он оторвал свою голову от груди священника, отстранился и глядел на отца Николая мрачными, холодными и злыми глазами. Ему теперь припомнилось, как недавно сквозь пьяный бред свой он слышал голос жены; она говорила с кем-то о святом человеке, священнике, который помогает в разных бедах и напастях. И он сообразил, что это и должен быть тот самый священник; жена привела его, и, верно, этот её святой человек хочет спасти его, Метлина, от запоя. Когда он сообразил это, злоба, как кипятком, обдала его сердце, и всё у него внутри будто вспыхнуло. Ему захотелось надругаться над этим «святым» человеком и выгнать его вон. Как смел он прийти к нему? Он нищий, но всё же он у себя хозяин и ему никого не надо!

Но что-то будто сковывало ему язык.

— Зачем вы пришли ко мне? Мне вас не нужно, я ещё не умираю! — с трудом произнёс он.

Отец Николай ничего не ответил.

— Да, я понимаю, — продолжал Метлин, и жалкая, насмешливая усмешка скривила его лицо, — понимаю!.. Ты хочешь, батюшка, наставлять меня на путь истинный, толковать мне о грехах моих, о моём окаянстве и о милосердии Божиим!.. Напрасный труд — я уж давно на шкуре своей изведаль, к чему ведёт истинный путь... а Бог... до Него так высоко, что Он не видит нас и не слышит...

— Замолчи! — вдруг воскликнул отец Николай с такою силой, что Метлин не был в состоянии произнести слова, будто внезапно онемел. — Замолчи, несчастный, не богохульствуй... не помышляй о том, чего не можешь постигнуть!.. Не видит, вишь, и не слышит! А вспомни-ка, обращался ли ты к Творцу и Господу так, чтобы Он тебя видел и слышал? Молился ли ему всей глубиной своей души... с той несокрушимой верой, какая должна исходить от малого беспомощного дитяти к отцу, в котором всё его спасение, всё его упование? Полагался ли ты на Него безропотно, с терпением и кротостью?..

Метлин внезапно отрешился от всех своих ощущений, от своего гнева и злобы, он вду-

мывался в слова священника и понимал, что никогда не верил в Бога, как в отца, никогда не превращался, обращаясь к Нему, в беспомощного ребёнка, никогда не полагался на Него безропотно и с терпением. В нём всегда было именно нетерпение, ропот, возмущение несправедливостью, медлительностью Божьей защиты.

— Но если я слаб, Бог должен был укрепить меня, а не терзать через меру! — вдруг воскликнул он. Отец Николай покачал головою.

— Кто ж это сказал тебе, что ты знаешь меру своих сил! Всякое испытание, посылаемое человеку, есть только пища души, и душа, вкушая сию пищу, может и должна крепнуть, расти, очищаться. Но человек свободен, а по-сему может погубить свою душу, предавшись злу, которое сторожит его особенно во времена испытаний. Вот и ты: твоя душа уже начала крепнуть и очищаться благодаря пище испытаний. Ты среди бед и несчастий становился добрее, чище, снисходительнее, кротче, умнее, чем во времена благополучия. Так ли я говорю?

— Так! — прошептал Метлин, не спуская

глаз с отца Николая.

Священник продолжал:

— Но ты допустил в себе зло и внезапно ослабел, и начал шататься, и усомнился в добре и правде, в Боге, и душа твоя стала разрушаться. Но Бог милосерд, Он приходит на помощь слабости человеческой! Если ты почувешь Бога, если почувствуешь и поймёшь, что Он видит тебя и слышит, — ты спасён.

— О, если б я мог это! — отчаянно воскликнул Метлин.

— Пожди ещё малое время с терпением и увидишь, что Господь снизойдёт даже и к телесной твоей слабости. Он знает меру сил человека и чрезмерно не испытует. Верь, что Он придёт тебе на помощь без промедления, я обещаю тебе это, а когда увидишь Божью помощь, то откажись навеки от зла и омой свою греховную душу добром и любовью.

Отец Николай поднялся с сияющим лицом.

— Веришь ли, что я тебя не обманываю, что спасение твоё близко?

— Верю! — воскликнул Метлин, вдруг падая на колени и осеняя себя крестным знаменем. Мир и радость теперь наполнили его

душу. Ничего не изменилось вокруг него — те же горе и беды были позади, та же безысходная нищета в настоящем, тот же голод и холод, а между тем душа его ликовала и он без ужаса, с надеждой смотрел вперёд — он верил.

Его жена тоже молилась и громко плакала, и это были благодарные, освежающие слёзы.

Одна Катюша по-прежнему сидела у окна. Только теперь она уж не делала вид, что работает. Она бросила работу свою на пол и бледная, с дрожащей по временам нижней губою, во все глаза смотрела на отца Николая. Вот он благословил её отца, потом мать. Он подходит к ней. Она вскочила и остановилась перед ним, сверкая глазами. Его рука уже поднимается для благословения.

— Лгун! Обманщик! — вдруг злобно крикнула Катюша и, очевидно не владея собою, выбежала из комнаты во двор как была, в одном платье.

Метлины, ошеломлённые, в ужасе, даже не тронулись с места.

— Бог милостив! — сказал отец Николай, перекрестился и поспешно вышел. Когда он

проходил по двору, то почувствовал на себе злобный взгляд Катюши. Она действительно глядела на него из полуотворенной двери в соседнее помещение. От этого взгляда лёгкая дрожь пробежала по телу священника, и он стал молиться за несчастную девушку.

XIII

В это время Настасья Селиверстовна, находившаяся в полном одиночестве, продолжала получать неожиданные впечатления. Когда отец Николай ушёл и ей стало ясно, что он не скоро вернётся, она мало-помалу начала утихать. Её горячее сердце успокоилось. Она теперь чувствовала, что «отошла» с дороги, совсем отогрелась, напилалась, что ей хорошо и приятно в этих богатых княжеских покоях. Она обходила то одну, то другую комнату, с любопытством по нескольку раз разглядывала каждую вещь и любовалась каждым креслом, столом или шкапом... Незаметно и бессознательно чувство довольства охватывало её. «Вот бы пожить здесь вольготно, в своё удовольствие!» — невольно говорила она самой себе. Потом она остановилась на такой

мысли: «Да ведь не выгонят же отсюда, не пошлют на кухню жену, когда муж живёт в барских палатах. Где он, там и она... Вот придёт кто-нибудь — она так прямо и скажет: тащите, мол, сюда и мне кровать да перину, с дороги, мол, притомилась, соснуть хочу... Ну и притащут кровать да перину, расположится она тут как боярыня... А там, дальше, видно будет...»

Дверь скрипнула... Это, наверное, тот человек, что еду ей и сбитень принёс. Она ему и скажет. Но на пороге двери был совсем «не тот человек, а молоденькая девица в богатой господской одежде и красоты неописанной. Настасья Сильверстовна совсем растерялась и даже рот разинула — в жизнь свою она такой красоты не видывала. Но долгое смущение было не в характере матушки, а потому она тотчас же оправилась, поклонилась не без достоинства и проговорила:

— Что прикажешь, сударыня, за каким делом пожаловала?

Вошедшая девица робко сделала несколько шагов вперёд, подняла глаза на матушку и нетвёрдым голосом сказала:

— Мне надо бы видеть отца Николая... Я знаю, его нет теперь дома... но не могу ли я обождать его здесь... ведь он здесь живёт?

— Здесь-то, здесь... — как-то раздумчиво протянула Настасья Сильверстовна и замолчала.

Один глаз её полуприщурился и не то насмешливо, не то подозрительно глядел на молодую девушку. Та смутилась ещё больше, покраснела и почти испуганно спросила:

— А вы... вы кто же?

— Я-то кто?.. Я моего мужа жена. Вот из села приехала — и диву даюсь, всем-то до моего попа дело, нарасхват он... и впрямь, видно, народ здесь с придурью, своих, вишь, попов мало, за деревенского ухватились...

И при этом глаза матушки, упорно устремлённые на молодую девушку, очень ясно и красноречиво прибавляли: «И ты, мол, девка, с придурью!.. Ну чего влезла, убирайся-ка по добру-поздорову, пока хуже не вышло!..»

— Скажи ты мне, сударыня, — вдруг после небольшой передышки воскликнула матушка, — скажи мне, никак я, вишь, того в толк взять не могу, ну на что вот хоть бы твоей ми-

лости мой отец Николай?

Но матушке, недоумение и раздражение которой возросли до высшей степени, не пришлось договорить, не пришлось услышать ответа на не дающий ей покоя вопрос. Вошёл отец Николай, и всё лицо его так и осветилось радостью, когда он увидел молодую девушку. Та же радость, только борющаяся со смущением, отразилась в глазах юной красавицы.

— Добро пожаловать! — воскликнул священник, прямо подходя к ней и благословляя её. — Я поджидал вас, и ежели бы вы не нашли меня, то я сам бы нашёл вас... Сердце сердцу весть подаёт... Так-то!

Он как бы совсем не замечал присутствия жены. Он ласково положил руку на плечо девушки, указывая ей на кресло и приглашая её садиться. Потом он взглянул на жену и спокойно сказал:

— Настя, прошу тебя, оставь нас, нам надо побеседовать без свидетелей.

Вся кровь бросилась в голову Настасьи Селиверстовны. Она уже хотела по-свойски выразить своё негодование, у неё уже вертелось

на языке такое слово, которое, наверно, должно было заставить непрошеную посетительницу удалиться. Отец Николай почувствовал всё это и остановил на жене пристальный, решительный взгляд.

— Настя! — повторил он, и она в первый раз в жизни присмирела перед его взглядом и словом и хотя с явным неудовольствием, даже со злобой, но всё же молча, вышла из комнаты и заперла за собою дверь. Будто какая невиданная сила заставила её опуститься в кресло, далеко от этой двери, так что ей никак невозможно было слышать разговора отца Николая с пришедшей к нему девушкой. Да она и не стала бы подслушивать, эта мысль даже и не пришла, не могла прийти ей в голову, — она во всю свою жизнь действовала прямо, открыто, была совсем чужда хитростей и уловок. А главное, она была полна своего рода собственным достоинством.

Вот это-то чувство собственного достоинства, её самолюбие страдали теперь чрезвычайно. Она считала себя гораздо крупнее, значительнее и умнее своего мужа. Во всё время своей супружеской жизни она всё более и бо-

лее проникалась убеждением, что не только их дом держится единственно ею, но что и сам отец Николай без неё — ничто. Разве он что-нибудь умеет, разве он знает, как надо жить, как надо относиться к людям?

Несколько раз приходилось ему, благодаря своему «чужачеству» и непониманию, наживать себе большие неприятности и подвергаться гневу начальства. В таких случаях что он делал? Да ровно ничего, молчал, не защищался и не оправдывался, вообще держал себя так, как будто дело его вовсе не касалось. Не приходи она всякий раз ему на помощь, он бы теперь, несмотря на свои отношения к князю Захарьеву-Овинову, которыми вдобавок никогда не пользовался, был бы уж, пожалуй, лишён прихода. Местное духовенство его почему-то недолюбливало, и вообще врагов у него оказывалось немало. Но она, узнавая о грозящей неприятности, начинала действовать: ехала в город, находила доступ ко всем нужным лицам, умела поговорить с ними и возвращалась домой, отстранив неприятность. Она принималась очень горячо, даже чересчур горячо, объяснять мужу, чем он ей

обязан. Выражал ли он ей, по крайней мере, свою благодарность, ценил ли её? Ничуть.

Так было всегда. И вдруг всё изменилось. Отец Николай, никогда почти и в город-то не ездивший, собрался и уехал в Питер. При этом он выказал непреборимую решительность, о которую разбились все усилия, доводы и натиски Настасьи Селиверстовны.

— Князь болен, умирает, ему тяжело, я должен его видеть, потому и еду, — объяснил отец Николай, и больше от него ничего нельзя было добиться. Пришлось его отпустить и снарядить в дорогу, что Настасья Селиверстовна и сделала со всей своей привычной добросовестностью и заботливостью. Проводя мужа, она наказывала ему не мешкать в Питере и возвращаться как можно скорее во избежание неприятностей с начальством.

— Ни дня не медли, — повторила она, — сам знаешь, рады будут тебе ногу подставить, так ты на это не напрашивайся.

— Там видно будет... всё образуется... — как-то загадочно, будто про себя, говорил отец Николай.

И вот стали проходить недели за неделя-

ми, а его всё нет. Настасья Селиверстовна рвала и метала, ждала его ежедневно, боялась, что вот-вот и скажутся последствия его долгой отлучки — назначат нового священника. Что тогда? Но ничего подобного не случилось, и она поняла, что князь всё устроил, что пребывание отца Николая в Питере не ставится ему в вину начальством. Тогда в ней поднялась досада, которую она достаточно ясно и высказала в своей беседе с мужем.

Но теперь была уж не досада, а явившееся сознание, что происходит нечто непостижимое, что их роли изменились. Здесь, в Питере, в этой чудной столице, где всё для неё — диво, где, несмотря на всю свою душевную крепость, она невольно робеет, где она — ничто и сама себе кажется совсем не на месте, он, её муж, «юродивый самодур», как она его очень искренне называла, он у себя дома, на своём месте. Ото всех ему почёт, всем он нужен, все его на руках носят! Вот уж и боярышни-красавицы, каких она отродясь не видывала, к нему прибегают да с ним о своих делах тайных совещаются! Этого только недоставало! А жену — вон! Не мешай, мол, незваная поме-

ха!..

Конечно, тут же Настасья Селиверстовна соображала, что он — священник, что ничего нет предосудительного в том, если к нему хоть бы и боярышня-красавица обратится за советом, за утешением, и что в таком случае их беседа должна быть наедине... Но именно то обстоятельство, что во всём этом нет ничего предосудительного, и доводило её до нестерпимого раздражения.

«Какое лицо у него стало, как он увидел эту красавицу!.. И она тоже вся так и просияла... А он-то, он-то: за плечо её... Сердце, мол, сердцу весть подаёт... кабы не ты ко мне, так я бы к тебе!.. А, каково! Я-то ведь тут... и на меня, будто на собаку: вон пошла!..» — вот в такую определённую форму вылились наконец все помышления и чувства матушки.

Горькая обида наполнила её сердце, и к этой обиде примешалось ещё что-то непонятное, незнакомое. И это непонятное и незнакомое было горьчее всякой обиды, кипучее гнева, сильнее злобы.

«Сердце, мол, сердцу весть подаёт!..» — почти во весь голос повторила Настасья Сели-

верстовна. Голова её склонилась, она закрыла лицо руками и заплакала так тихо, так горько, как не плакивала ни разу в жизни.

XIV

Если б Настасья Селиверстовна подошла теперь к двери и отворила её, она увидела бы, что юная красавица склонилась к отцу Николаю, а он держит руку на голове её и глядит так нежно, так любовно, с таким восхищением во взгляде. Священник действительно всем существом своим любовался на это чудное Божье создание, на эту раскрывшуюся перед ним чистую девическую душу, ещё более прекрасную, чем её прекрасная оболочка. Ещё никогда не встречал отец Николай такого создания и радовался, что ему пришлось с ним встретиться.

Ему не надо было выводить из смущения свою посетительницу, убеждать её быть с ним откровенной. Зина Каменева, почувствовав себя с ним наедине, сразу забыла всю свою робость и всё своё смущение. Ей нетрудно было в несколько минут передать ему всё: он понимал её с полуслова, его ничто не

изумляло, всё было для него ясно.

А между тем её исповедь была гораздо сложнее той, которую она так недавно и с не меньшей искренностью передавала императрице. Дело в том, что с тех пор прошли часы, прошли целые сутки, и во время этих суток всё изменилось в душе Зины.

Когда она после встречи с Захарьевым-Овиновым вернулась от императрицы в свои комнаты, она сразу изумилась происшедшей вокруг неё перемене. Всё на своём месте, всё как было, а между тем ничего прежнего не осталось. Все эти последние дни Зине очень часто делалось жутко, когда она одна оставалась у себя. Что-то мучительное, даже более мучительное, чем панический страх, охватывало её. Это был ужас, происшедший от неизвестности и непонимания.

Она ничего не видела ни перед собой, ни в себе самой: в ней совершалось нечто ужасное и отвратительное. Она испытывала такое ощущение, будто глухой глубокой ночью пришла на кладбище, и все мертвецы встали из могил и окружают её, и она не в силах бежать от них и должна отдаться им во власть.

Только вспоминая слова священника и то чувство успокоения и защиты, которое она ощутила под его влиянием, она несколько отдыхала, но впечатление это скоро проходило, и снова туман и ужас охватывали её. Образ доброго священника исчезал, и его место занимал другой, страшный образ, от которого некуда было спрятаться и нечем было защищаться.

Теперь же сразу всё изменилось. Вот этот образ здесь, в ней, наполняет её, а между тем прежнего ужаса, прежнего страха уже нет. Она знает, что непонятный и ужасный человек никогда не уйдёт от неё, что она никогда от него не избавится, но уже она его не боится. Он тот же самый, она не узнала ничего такого, что могло бы изменить её взгляд на него, то же самое тяжкое и таинственное преступление лежит на нём, та же самая мучительная смерть неповинной жертвы стоит между ними, а всё же она не боится уже этого призрака, не боится его влияния на её собственную жизнь. Она ещё не знает, каким путём должна дойти до успокоения, не знает, чем он снимет с себя своё тяжкое преступле-

ние и чем она его оправдает, но уже раз у неё явилась уверенность, что есть оправдание, что можно смыть это преступление — и всё изменилось.

Ведь она уже сказала себе в те часы и минуты, когда здесь, после похорон графини Зонненфельд, лежала, охваченная слабостью, больная, измученная, она уже сказала себе, что любит этого преступника! Какой ужас, какая мука заключались в этом слове! Она сама считала себя преступницей, каким-то чудовищем — ведь только чудовище может любить его! И она напрягала все свои силы, чтобы доказать себе неверность этого, чтобы убедить себя в том, что она ошибается, что она его не любит, не может любить его, что чувство, которое он к себе возбуждает в ней, вовсе не любовь, а только ужас, ненависть, отвращение.

Но нет, она знала, что его любит, и терзалась этим чувством, и говорила себе, что перед нею погибель, что она такая же его жертва, какою была графиня Зонненфельд, и так же безвременно погибнет, как погибла та. Что сделает он? Каким образом будет её преследовать? Какое оружие употребит для её по-

гибели — это всё равно, она будет бороться с ним и погибнет в борьбе. Она его любит, с этим уже нечего делать, в этом-то и заключается гибель, и, конечно, никакими муками, никакими терзаниями не вынудит он у неё признания в этом позорном чувстве...

Так было несколько дней тому назад, так было не далее как ещё сегодня, а вот теперь уже совсем не то, теперь она уже не страшится своего чувства, уже не может сказать, что её неминуемо ждёт гибель. Правда, в ней мелькнула мысль: «А вдруг в этом-то непонятном превращении её мыслей и ощущений, именно в том, что она неизвестно почему изменила свой взгляд на него, что он уже в ней не возбуждает ни страха, ни отвращения, что именно в этом и заключается её окончательное падение и его торжество. Это и значит, что он околдовал её, что он овладел её душою, и она погибла...»

Но такая мысль мелькнула в ней и исчезла. Безграничная жалость к нему наполнила её сердце, и, если бы царица сказала ей теперь, что немедленно и навсегда избавит её от страшного колдуна, что устранит его из её

жизни и судьбы, она стала бы умолять не делать этого. А главное, она уж не могла теперь быть откровенной с царицей, она ни за что не призналась бы ей в своих новых ощущениях, в наполнявшей её жалости к человеку, от которого она только что искала защиты. Между тем ей невыносимо и мучительно было оставаться одной со своей тайной, ей нужно было найти себе защитника, который бы помог ей выполнить задачу. Да, задачу, и эта задача уже была ясна перед нею: она должна спасти «его», вырвать из мрака и зла его душу, дать ему свет, жизнь и счастье. Когда эта задача открылась ей, она почувствовала мучительный и в то же время блаженный трепет, и вдруг ей показалось, что она только что проснулась к жизни, что до сих пор она не жила, не существовала, что до сих пор был какой-то сон, а теперь началась действительность, явь. У неё будто выросли крылья, стало так широко, привольно, свободно. Явилась цель жизни.

И она вспомнила о добром священнике. Только он может быть её помощником и защитником, только он все поймёт и объяснит

ей и укажет путь. Но где он, как найти его?

С этими мыслями она заснула. Что ей всю ночь грезилось лицо с загадочным, могучим и теперь уже не страшным взглядом, что её сердце всю ночь билось и замирало — это понятно. Но вот что случилось при её пробуждении: её горничная заметила ей, что она опять побледнела, что вообще она плохо поправляется.

— Позвольте вам доложить, барышня, вы бы к отцу Николаю съездили, — говорила горничная, — помолился бы он с вами, и всю вашу хворость как рукой бы сняло.

— Кто этот отец Николай? — с забившимся сердцем, боясь ещё верить, спросила Зина.

— А нешто вы, барышня, не слышали? Отец Николай, священник, святой человек, он из деревни приехал, старого князя Овинова от смерти спас... Князь-то совсем кончался, а он помолился... и князь ожил... Теперь много народу к отцу Николаю ходит, и всем он помогает...

— Да где же, где он живёт? — почти задыхаясь, спрашивала Зина.

— А в княжеском доме, у самого этого Ови-

нова князя... и доступ к нему свободный, кто хошь приходи... Многие ходят — и из просто-народья, и бары...

Зина себя не помнила от радости. Она увидела в этом помощь свыше, Божье благословение её начинаниям. Как могло быть иначе? Кто же это видел и слышал её чувства и мысли? Кто в первую же минуту ответил на её вопросы и дал ей все нужные указания? Ведь не слепой же случай! Она уже ясно сознает теперь и ощущает, что кто-то, безгранично могучий, ведёт её и направляет судьбу её.

В первую же свободную минуту она поехала к отцу Николаю, в дом князя Захарьева-Овинова. Ведь это «его» дом, «он» живёт здесь, но ей не было это страшно...

И вот всё это она рассказала священнику. Рассказала в кратких словах и о себе, о своём детстве, воспитании, о своём теперешнем положении при дворе и о милости царицы.

XV

Казалось, отец Николай слушал её рассеян-но и даже о другом думал; казалось, он давно уже знал всё то, о чём она ему говори-

ла. Её голос дрогнул, когда она начала признание в любви своей. Не стыдилась она этого признания, но страшилась — а вдруг священник скажет ей, что чувство её ужасно и погибельно, что она должна с ним бороться как с дьявольским наваждением и побороть его.

Но отец Николай положил ей на голову свою руку, и его тихий голос сказал ей:

— Люби его и спаси его своей любовью... Только ты одна и можешь принести ему спасение. Извлеки его из мрака, покажи ему свет, свет добра, любви и милосердия!

Ведь это было то, что сама она себе говорила!

— Батюшка, так научите меня, как мне быть, что мне делать... Я ничего не знаю и не понимаю... Я чувствую, что он на краю гибели, я готова отдать жизнь свою, чтобы спасти его... Но в чём его гибель, от чего спасти его... и как?

— Его гибель в том, что он не знает и не ощущает Бога любви, что он никого и ничего не любит... Он ищет в разуме то, что может найти только в сердце... и сердце его закрыто.

Он пошёл за мудростью разума и, когда нашёл её, возомнил себя богом... он уподобился падшему ангелу... Но он рождён человеком, способным познать мудрость сердца и вступить в общение с истинным Богом любви, а посему мудрость разума пригнетает его... Не знаю, понятны ли тебе мои слова?

Зина жадно слушала.

— Понятны, батюшка, — воскликнула она. — Я не сумела бы сказать это, но я понимаю...

— Ну так вот, видишь ли... коли бы раньше всё это было — ничего с ним нельзя было бы сделать. Он ещё не понимал своего несчастья, он весь был гордость... Выше знания своего и мудрости своего разума ничего не видел. Таким я его здесь встретил. Но с тех пор в нём перемена большая... Его разум довёл его до преступления — ты знаешь, о чём я говорю, — он изведal муки, сердце его дрогнуло и почти раскрылось. Теперь он уже сам знает своё несчастье, он сам невольно стремится от разума к сердцу... Только не знает пути. И ты покажешь ему путь, через тебя, познав тщету мудрости разума, дойдёт он до мудрости серд-

ца... Иначе быть не может... недаром ваша встреча... Господь посылает в тебе ему Ангела Хранителя... Слава Тебе, Господи!..

Но Зина опустила голову, её глаза подёрнулись слезами, и она задумалась.

— Нет... Что же я?.. Разве я могу... Разве я умею?.. Разве я достойна?.. И как я всё это сделаю?.. — шептала она.

Отец Николай улыбнулся.

— Ты пришла ко мне с верой, надеждой и любовью, пришла окрылённая... Зачем же дух уныния тебя берёт? Не поддавайся ему. Пока ты достойна, оставайся такою... Можешь ли? Умеешь ли? Как он будет? Да зачем же тебе думать об этом? Всё будет так, как угодно Богу. Проси Его помощи, верь, надейся, люби, только верь, надейся и люби не на слове, а делом, всей своей душою, каждой минутой своей жизни. Тогда ты увидишь, как вокруг тебя и в тебе самой станет образовываться и развёртываться цепь событий, по которым ты дойдёшь, с Божьей помощью проходя звено за звеном, до своей цели. И все события эти будут очень просты, и чудесными, непонятными покажутся они только людям, объатым

слепотою. Для человека, пришедшего в общение с Богом, чующего Его, всё в жизни сей просто, ясно и понятно. Такой человек с равным спокойствием плывёт и по тихим водам, и по бушующим волнам, ибо надёжный кормчий правит его ладью... Всё сбудется... Всё от тебя зависит... Ты звана на дело спасения драгоценной души человеческой... Будь же не только званой, но избранной!..

Зина не проронила ни одного слова, ни одного звука, и каждое слово, произнесённое отцом Николаем, глубоко запечатлевалось в её сознании. Несмотря на свою молодость, она уже о многом думала и знала гораздо больше того, что входило в программу её институтского образования. Но всё, что она знала и о чём думала, было так ничтожно и бледно перед этими немногими словами священника, в которых открылся ей целый новый мир. Она восприняла истину этих слов навсегда, навсегда прониклась ею.

— Ну вот и всё! — внезапно изменяя тон, весело и бодро воскликнул отец Николай. — Да благословит тебя Бог, моё дитя, доброе и хорошее... Мы будем видаться, и, если надо,

я буду с тобою. Иди же с миром и спокойно жди...

— Как мне светло, как мне хорошо... Никогда так не бывало! — бессознательно высказала Зина наполнявшее её чувство, приникая к руке священника.

Она уже уходила, но он остановил её.

— Подожди-ка... Мне хочется задать тебе одну малую работу!

— Что прикажете, батюшка?

— Бог прикажет, родная!.. Царица благоволит к тебе, царица милостива и справедливость любит, можешь ли склонить на милость и справедливость её сердце?

И отец Николай рассказал Зине о Метлиных, прося её похлопотать перед царицей за эту несчастную семью. Конечно, Зина с большою радостью взялась за дело и обещала при первой же возможности доложить обо всём Екатерине.

XVI

Отец Николай проводил свою гостью до порога, ещё раз нежно благословил её и обернулся, полный спокойной радости. Перед

ним, держась за ручку отворенной двери, стояла Настасья Селиверстовна. Был миг, когда он даже не узнал её — такое новое, необычное выражение отразилось на её лице. Её щеки побледнели, глаза померкли, подёрнулись будто облаком печали. Всё, что было в ней грубого, неженственного, — исчезло. Теперь она, несмотря на деревенский наряд, уж не казалась полумужичкой, это была серьёзная, прекрасная в своей природной силе и в своей глубокой грусти женщина.

Но вот злая усмешка искривила её губы — и впечатление изменилось.

— Уж ускользнула! А жаль! — воскликнула Настасья Селиверстовна, кивая головою по направлению к двери, в которую вышла Зина. — Право слово, жаль! Я бы с ней поговорила, она бы, царевна-то эта невиданная, Недотрога Кирбитьевна, может, и мне бы в грехах своих покаялась...

— Что ты, Настя, Господь с тобою... За что ты?.. Что она тебе сделала?.. — растерянно проговорил отец Николай.

— Что ж она могла бы мне сделать! — неестественно засмеялась Настасья Селивер-

стовна. — Она хоть и птица в шёлку да в пуху, а я всего старая дура, деревенщина, а тронь она меня хоть пальцем — и как есть вот ничегошеньки от неё бы не осталось — пар один! Говори, кто такая? — изменяя тон, повелительно и в то же время как бы трепетно спросила она.

— Тебе-то на что, Настя?

— Кто такая?

Настасья Селиверстовна уже оставила ручку двери и ближе подходила к мужу.

— Девица благородная, Каменева, царицына камер-фрейлина.

— Это что ж такое за слово? Как ты сказал?.. Это служанка царская, что ли?

— Нет, слуги — те из простого звания... а это, ну как тебе сказать... ну наперсница, ближняя боярышня...

Настасья Селиверстовна была озадачена.

— Вишь ты!.. Да верно ли это? Может, Микола, ты это путаешь... Тебе-то что ни скажи, ты, простота, всему поверишь.

— Бог с тобой, Настя, коли говорю, значит, так оно и есть.

— Ну так я тебе, поп, вот что скажу: куда

ты съёшься? Твоё ли дело с боярышнями да царскими наперсницами знаться... И чего тебе надо? Не в свои сани не садись, знай свой приход, свою деревню, а не то добром не кончится...

Она вдруг притихла, голос её упал, сделался почти ласковым, и она продолжала:

— Нечего нам с тобою грызться, никакой свары заводить я не хочу, а лучше вот что: сядем-ка мы рядком да потолкуем ладком. Добром прошу тебя: поедем в деревню, пожил здесь, долго пожил — ну и будет, едем, что ли? А?

Она взглянула ему в глаза.

— Теперь об отъезде мне ещё нельзя думать... Не от меня зависит...

— От кого же... Уж не от наперсницы ли этой?

Отец Николай добродушно усмехнулся.

— А ведь ты это, Настя, верно сказала: так оно и выходит, что теперь мой отъезд наиболее всего от неё именно и зависит... Да, от неё...

Огнём вспыхнули глаза Настасьи Селиверстовны.

— Так ты ещё надо мной издеваешься... Ты ещё похваляешься... Где же совесть в тебе?.. Господи, только этого и недоставало!..

Она задыхалась. Ещё миг — и должна была произойти одна из тех возмутительных сцен, какими была полна домашняя жизнь отца Николая.

Но вдруг Настасья Селиверстовна замолкла, села на стул, как бы утомлённая, прислонилась к его спинке и осталась неподвижной.

Отец Николай несколько раз прошёлся по комнате. Она не шелохнулась. Необычно грустное выражение её лица снова поразило его.

XVII

К чему же привёл великого розенкрейцера сделанный им опыт? Давно-давно, ещё в далёкие юные годы, он уж понял и почувствовал, что никакие блага мира, никакое земное могущество не в силах удовлетворить стремлений его духа и дать ему счастье. Это убеждение и направило его по исключительному и трудному пути, которым он бодро шёл всю свою жизнь, стремясь к дивному идеалу

сверхчеловеческого знания и могущества. Теперь, уже надломленный тоскою, уже смущаемый невольными сомнениями — а эти сомнения не могли не представляться ему чудовищными и погибельными, так как они грозили обратить в ничто весь великий труд его жизни, — он дрогнул от насмешливых слов Екатерины. В нём заговорили его гигантская гордость и не менее гигантское самолюбие...

Он будет владыкой, ещё более, несравненно более могущественным, чем она. Он испытает, узнает в действительности то, что до сих пор понимал лишь разумом... Он создал целый новый мир, владычествовал в этом мире и ушёл из него по окончании опыта. Кто же прав — он или царица? Конечно, он. Земная власть, выше какой быть не может, земная красота, очаровательнее которой ничего нельзя выдумать, полная чаша земных наслаждений, доступных лишь крайне малому числу избранных смертных, — всё это не только его не удовлетворило, но оказалось ещё гораздо ничтожнее, обманчивее и грубее, чем он предполагал. Он стремительно ушёл от всего этого и, когда почувствовал и увидел себя в

иной сфере, вздохнул всей грудью, вздохом облегчения и радости.

«Зачем это был не сон, не бред?.. Зачем я понапрасну загрязнил себя и ослабил свои силы?..» — думал он.

Как не сон, как не бред? Разве, возвратясь к действительности, он полагал, что мраморные чертоги, волшебный сад, и Сатор и Сильвия — всё это было реально, существовало само по себе, вне его воображения? Да, он был совершенно уверен в этом, и ничто в мире не могло убедить его в противном. Он признавал одну действительность, безотносительную, полную, неизменную — действительность жизни духа, мира духовных явлений. Но едва появляются частицы материи, видимые и осязаемые материальными органами, как тотчас же возникает пёстрый, постоянно меняющийся и постоянно проходящий мир форм, создаваемых едино реальною творческою силою духа. И чем грубее, материальное форма, тем она призрачнее. Разве видимые и осязаемые предметы производят одинаковые представления и впечатления во всех людях, животных, в насекомых? Вот человек, не дух,

а плоть; его видят, осязают, слышат и чувствуют люди, животные, насекомые, и всем этим существам, видящим его, осязающим, слышащим и чувствующим, он представляется совершенно различным. Так разве он неизменен, то есть реален? Для каждого живого существа он таков, каким оно может, способно его понимать и воспринимать, — значит, он только игра форм, преходящее, призрачное явление...

Захарьев-Овинов знал, что это так: труд и опыт целой жизни доказали ему это. Поэтому ему было ясно, естественно и просто, что та жизнь, которую он вёл в чудных чертогах с Сатором и Сильвией, настолько же реальна или, вернее, настолько же нереальна, как и эта жизнь его в отцовском петербургском доме. Только эта жизнь ему дана», а ту он сам — взял». Он мог её «взять», потому что овладел таинствами природы, потому что долгие годы погружался в дивную лабораторию, где создаются, крепнут и торжествуют творческие силы духа...

Как же ему признавать сном и бредом своё владычество, Сатора и Сильвию, когда он зна-

ет, что может, если захочет, ко всему этому вернуться? Ему стоит только известным способом направить свою волю и проглотить несколько капель эссенции, тайна которой открыта ему его учителем-старцем. Эссенция эта в один миг произведёт различные изменения в его организме, ослабит материю, освободит дух, поможет воле сосредоточиться, проявить всю свою творческую силу, и он снова там, среди форм, вызванных им к жизни!

Какой же это сон и бред, когда он может любого человека, обладающего некоторыми качествами, вовсе не редкими в людях, с помощью эссенции и своего желания перенести вместе с собою в мир своего владычества, в общество Сатора и Сильвии, и жить там с ними общей, видимой, слышимой, осязаемой и чувствуемой жизнью!..

Да, он может всё это, только... только вот он чувствует себя утомлённым, ослабевшим и говорит себе: «Зачем я понапрасну загрязнил себя и ослабил свои силы?..» Можно «взять», «создать» себе жизнь, но даже и для великого розенкрейцера это не безопасно,

ибо такое творчество легко может оказаться «превышением власти» и подлежать тяжёлой ответственности, болезненно отразиться на духовном, то есть единореальном существе человека.

А главное — поглотивший столько сил опыт оказался жалким, нестоящим и переход от «созданной» жизни к «данной» явился освобождением, радостью. Но освобождение и радость были только относительны. Прошло немного времени — и великий розенкрейцер почувствовал обычную тягость, тоску, томление и недовольство собою. Так жить нельзя... так можно задохнуться... дышать нечем! В чём же разгадка мучительной тайны, не дающейся мудрому и гордому победителю природы?

Стук в дверь даже заставил вздрогнуть Захарьева-Овинова — так он был далёк от всяких внешних проявлений жизни. Он отпер двери, и слуга подал ему письмо, пришедшее издалека. Он машинально разорвал конверт и увидел почерк отца розенкрейцеров. Более чем столетнею, но ещё твёрдою рукою великого старца было начертано:

«Сын мой, по получении этого письма моего немедленно соберись в путь и спеши на годичное наше собрание. Я изумлён, что должен писать тебе об этом и напоминать твою обязанность, исполнение которой особенно необходимо для тебя в этом году. Чувствую и знаю, что без письма моего ты бы не явился. Но какие бы обстоятельства ни удерживали тебя, что бы ни происходило в твоей внутренней жизни — бросай всё, забудь всё — и приезжай. Это не совет мой, не просьба, а строгое приказание, ибо пока я, как отец, могу приказывать моему сыну».

«Отец! — прошептал Захарьев-Овинов. — Что сын твой может сказать тебе и что ты ему ответишь?!»

Да, великому старцу не изменило его ясно-видение. Он знал в своём далёком уединении, что надо требовать к себе сына, что без отчего строгого приказа он не явился бы на годичное собрание братьев-учителей, на то собрание, которое должно было стать его последним, высочайшим торжеством. Он завтра же соберётся в путь, он явится в назначенный день и час, ибо слушание немислимо, он явится,

как явятся и все розенкрейцеры высших степеней, рассеянные по различным странам, но лучше бы ему не являться. Смутит его появление многих, а пуще всего смутит он великого старца.

XVIII

Время шло. Прошёл час, потом другой, а Захарьев-Овинов сидел неподвижно, с закрытыми глазами, с лицом, прекрасные черты которого почти исказились от глубокого душевного страдания. Письмо выпало из рук его — и он забыл о нём. Он забыл и о самом старце, и о предстоявшем на завтра своём отъезде.

Все яснее и яснее возникало в нём такое представление: ему казалось, что он один среди бесконечного пустого и тёмного пространства. Бесконечность этого пространства, его темнота не смущали его и не пугали, но сознание своего одиночества было невыносимо. Один, один! Ни души живой, нигде, никогда!.. Но разве это возможно, разве это не бессмысленно?.. И он мчался с безумной, мучительной быстротой и звал отчаянным голосом живое существо, которое бы могло его по-

нять. Но никто не откликнулся, никого не было. Один, один!..

Никогда, ни разу в жизни у него не было такого отвратительного, страшного кошмара. Но он вдруг понял, что вся его жизнь была осуществлением этого кошмара, что он в действительности, в той единственной духовной действительности, которую признавал, был всегда одиноким среди беспредельного пространства. Даже друзья-розенкрейцеры, даже сам отец-старец, даже Елена Зонненфельд ни разу не нарушили этого полного одиночества. Старца и двух-трёх братьев он любил головою, Елену любил кровью, но никого из них не любил сердцем, не любил душою. Остальные же люди для него совсем не существовали. Даже брат Николай был для него призраком, на мгновение останавливавшим его внимание и затем бесследно пропадавшим.

Как же он мог жить в этом отвратительном, ужасном одиночестве? Он мог жить в нём, потому что не замечал его. Жил — и томительно ждал, жил — и скучал, жил — и обманывал себя; наконец, во всё это последнее время жил — и страдал с каждым часом всё

сильнее и сильнее.

Но, видимо, чаша его страданий переполнилась. Дальше — нельзя. Теперь он видит, понимает весь ужас своего положения, теперь он отчаянно зовёт к себе живую душу и знает, что без этой родной души он погиб, что кто бы ни был человек, каких бы высот знания и силы он ни достиг, но, оставаясь в сердечном и душевном одиночестве, он неминуемо свергнется со своей высоты и расшибётся вдребезги...

Он знает это, видит, чувствует, он уже летит вниз с ужасающей быстротой, ощущает смертельный холод бездны под собою и, напрягая последние усилия, зовёт, зовёт. И нет ответа! Но вот среди безнадежного мрака, будто какой луч света, будто чей-то шорох, чьё-то приближение. Будто чьё-то тёплое, живое дыхание коснулось его — и разом трепет жизни пробежал по его измученным, ослабевшим членам. Он ощутил биение своего сердца, новое, отрадное биение. Будто что-то таяло в груди его. Никогда не изведанная, сладостная теплота охватила его...

И он почувствовал с восторженной небес-

ной радостью, с неизъяснимым блаженством, что он не один... Всё исчезло. Он совсем очнулся. Ясность и тонкость ощущений пропали. Не было остроты и невыносимости недавних страданий, но также не было и живительной теплоты, только что испытанной. Восторженная радость полувспомнилась, как отлетевшая, ускользнувшая грёза, которую при пробуждении невозможно уловить и вспомнить...

Голова его была тяжела. Он чувствовал себя утомлённым. Его потянуло на воздух. Он оделся и вышел из дому с намерением пройтись, освежиться. Сойдя с крыльца, он подошёл к воротам, ведущим во двор, и услышал близко от себя слабый радостный возглас.

Перед ним была Зина, она в это время, выйдя от отца Николая, высматривала свою карету, остававшуюся на улице и почему-то отъехавшую довольно далеко от ворот.

— Вы здесь?.. Каким образом?.. — спросил он, и голос его дрогнул, и в глазах сверкнула радость, но он не дал себе отчёта ни в смущении своём, ни в своей радости. — Да к чему я спрашиваю, — продолжал он, — вы были у

моего брата... Николая...

— Брата?

Она подняла на него изумлённые глаза.

— А вы не знали, что Николай брат мне, двоюродный, что мы с детства были вместе, вместе выросли? И он не сказал вам этого?

— Нет, князь, он не сказал мне... Боже мой, как это хорошо, как я рада!

Она ничего не понимала, не могла сообразить, как такое может быть, но вот оно так — и большая радость наполняет её. Вообще Захарьев-Овинов увидел в ней большую перемену. Он мог убедиться, как послушно её душа исполняет его приказание. Она его не боится, она смотрит ему прямо в глаза своими ясными, детски-чистыми глазами. Неуловимая, покинувшая его грёза, блаженство и теплота на миг вернулись в его сердце. Но это слишком долго одинокое, охладевшее сердце всё ещё само себя не понимало и отдаляло своё выздоровление, своё возрождение. Он всё ещё считал себя её будущим путеводителем, охранителем, наставником, отцом и братом и в своей гордыне не понимал, что сам должен умолять её поднять его, спасти и исцелить...

— Я радуюсь нашей встрече, — сказал он, сжимая её руку. — Завтра я уезжаю за границу и на довольно долгое время.

Она испуганно на него взглянула, сердце её почти перестало биться. Но это был один миг, ей вспомнились слова отца Николая — и спокойствие вернулось к ней.

— Но я вернусь, я вернусь, — продолжал он. — Мы будем встречаться, мы встретились не случайно.

Он сказал ей то, что ей надо было от него услышать.

— Прощайте, — серьёзно и спокойно произнесла она. — Когда вы будете далеко, там, куда вы едете, иногда вспоминайте обо мне... я буду за вас молиться...

Её карета подъехала. Миг — и она уж хлопнула за собою дверцу.

Она уехала. Ему захотелось вернуть её, сказать ей что-то очень важное, необходимое. Ему захотелось послушаться старца, не уезжать... Но он отогнал от себя всё это...

На следующий день всё было готово к его отъезду. Он пришёл проститься с отцом и застал у него отца Николая. Старый князь был с

виду спокоен и довольно бодр.

— Куда ты едешь — не спрашиваю, — сказал он, — это не моё дело, но желал бы знать, когда вернёшься.

— Я напишу вам об этом, батюшка, теперь же сам ещё определить не могу. При первой возможности приеду.

— Я буду ждать тебя, — со вздохом произнёс князь.

— Вот и он тоже говорит, что придётся мне тебя дожидаться... Дай-ка Бог, поскорее бы! — прибавил он, кивнув на отца Николая.

Тот смотрел на брата очень внимательно, прямо в глаза, будто стараясь прочесть в них. И он прочёл.

— Может, наш князь вернётся и скорее, чем сам думает, — сказал он и подошёл прощаться.

Старый князь почувствовал что-то новое, необычное, когда сын целовал его руку. Это было не прежнее холодное прикосновение. Отец Николай тоже почувствовал тёплый братский поцелуй на губах своих.

— Я бы остался, хотелось бы остаться, да ехать необходимо! — невольно вырвались

эти слова у Захарьева-Овинова, когда он выходил из отцовской спальни.

Как это было на него не похоже! Старик и священник переглянулись.

Часть вторая

I

Осеннее, но всё ещё тёплое солнце заливало улицы Страсбура. По направлению к Кольскому мосту стремились толпы народа. На самом мосту и на набережной замечалось необыкновенное оживление. Из окрестных ресторанов и кабачков была вынесена, кажется, вся мебель, и каждый стул отдавался внаём за большую плату. Сразу никак нельзя было понять, что это такое происходит, только на всех лицах ясно читались возбуждение, любопытство и ожидание.

Мужчины и женщины, собираясь в кучки, вели между собою оживлённую беседу. Вслушиваясь в эти разговоры, можно было наконец мало-помалу понять, что кого-то ждут, кто-то должен въехать в город через Кельский мост.

В одной группе собралось несколько пожилых людей, и скоро к ним подобрался старик, очень бедно, даже чересчур бедно одетый, с трясущейся головою, с бегающим не то пугливым, не то дерзким взглядом. Он некоторое время стоял, вслушиваясь в разговор. Важного вида человек, одетый во все чёрное, объяснял:

— Проникнуть в эту тайну мудрено, но нет сомнения в том, что он делает людям столько добра, сколько давно никто не делал. Да, добро, им делаемое, так велико, что нельзя его признать иначе как за доброго гения...

— Что же говорят о нём? Кто он такой? — раздалось сразу несколько голосов.

Говоривший глубокомысленно пожал плечами.

— Кто он! Этого никто не знает. Он совершает чудеса, у него, говорят, бывают небесные видения, он беседует с ангелами...

— Беседует с ангелами! — внезапно оживляясь и трясаясь всем телом, вдруг воскликнул бедно одетый старик. — Сколько лет этому человеку? Ради Бога, сколько ему лет?

— Сколько лет! Да, может быть, столько,

сколько нашему отцу Адаму или графу Сен-Жермену! — с усмешкой отвечал ему сосед. — Чего тут спрашивать о его годах, разве для таких необычайных людей, для таких благодетелей человечества существуют метрические записи? У подобных людей нет возраста или, вернее, им столько лет, сколько они желают, чтобы казалось. Многие говорят, что графу Калиостро более трёх тысяч лет, но что на вид ему нельзя никак дать более тридцати шести. Вот мы через полчаса, через час сами об этом судить будем.

Но трясущийся старик уже не слышал и отошёл от говоривших.

— Тридцать шесть лет... тридцать шесть лет! — шамкал он про себя своим беззубым ртом. — Тому негодяю теперь, должно быть, столько же... И с ним беседуют ангелы... А что, если это он самый и есть? Останусь непременно, я должен его увидеть...

Время проходило. Толпы любопытных густели. Мальчишки то и дело бегали за мост и возвращались с вестями. Вот наконец они бегут, машут платками и кричат во все горло:

— Едут! Едут!

Все устремились ближе к мосту, напирая друг на друга, взбираясь на стулья, ломая их. Раздались женские взвизгивания, послышалась брань, потом все стихло.

За мостом, в залитой солнцем дали, показалось что-то. Что-то двигалось, вот ближе, ближе, теперь уже можно было различить несколько экипажей. Они въехали на мост. Потом показались всадники, целый кортеж... Кортеж приближался. Можно было подумать, что это въезжает в город король — такое множество было экипажей и всадников, прислуга в залитых золотом ливреях, экипажи, нагруженные тюками, и наконец, богатая открытая коляска.

Толпа крикнула в один голос и замахала шапками и платками навстречу этой открытой коляске. В ней важно, с олимпийским спокойствием восседал красивый стройный человек с энергичным лицом и блестящими чёрными глазами. Одежда его поражала своим великолепием, драгоценные камни так и сверкали на нём в солнечном блеске. Рядом с ним помещалась прелестная молодая женщина, красота которой спорила с богатством

наряда.

— Да здравствует божественный Калиостро! Да здравствует благодетель человечества! — раздавалось в толпе всё восторженнее и неудержимее, и красивый, сверкающий драгоценными камнями человек приподнимал свою маленькую треугольную шляпу, украшенную галунами и белыми страусовыми перьями, и кланялся толпе с таким величием, с такой благосклонной улыбкой, с такой торжественностью и грацией, каким мог позавидовать любой король.

Его спутница тоже кивала направо и налево своей хорошенькой головкой и отвечала милыми улыбками на каждый букет цветов, прилетающий к её ногам в коляску. Скоро граф Калиостро и его жена — хорошенькая Лоренца — были буквально засыпаны душистыми цветами.

Теперь экипаж продвигался шагом: густая толпа окружала его со всех сторон. Фанатический восторг изображался на всех лицах.

— Да здравствует божественный Калиостро! Да здравствует благодетель человечества! — повторялось все громче и громче.

Но вот к коляске, отчаянно работая локтями, протискался бедно одетый старик с трясущейся головою, вот уже он у самой дверцы, он ухватился за неё, впился взглядом своих слезящихся глаз в лицо Калиостро и крикнул:

— А! Это ты, Джузеппе Бальзамо! Это ты, негодяй! Отдай мне мои шестьдесят унций золота! Отдай шестьдесят унций золота, слышишь, ты украл их у меня — отдай!

Старческий голос был полон злобы, и в нём звучала такая уверенность, такая сила правды, что вся толпа мгновенно притихла, и экипаж остановился.

Лоренца слабо вскрикнула, а Калиостро вздрогнул. Но ещё миг — и то же спокойное величие было на лице знаменитого путешественника. Он будто не слышал слов старика, будто не видел эту ужасную в своей злобе, в своём безобразии фигуру, ухватившуюся за дверцу коляски. Вместе с тем над онемевшей толпою неведомо откуда, будто сверху, будто с неба, прозвучал громкий голос: «Устраните безумца, одержимого адскими духами!»

Многие упали на колени при звуках этого голоса, поражённые величием, красотой и

спокойствием графа Калиостро. Несколько сильных рук сразу протянулись к дрожавшему старику. Вот его оттащили от коляски. Он слабо бился, он силился крикнуть что-то, но ему связали руки, всунули в рот платок и увлекли подальше в сторону.

— Да здравствует благодетель человечества! — крикнули разом сотни голосов, и новые цветы посыпались в коляску.

Толпа начала расступаться, и коляска, сопровождаемая всадниками и другими экипажами, теперь уже свободно катилась по городским улицам. Народ бежал следом, весело крича; в окнах домов появлялись мужские и женские головы, махали платками, сыпались цветы — и так продолжалось до тех пор, пока коляска не остановилась перед большим зданием, вокруг которого уже ожидала новая народная толпа.

Весь Страсбур знал, что это здание вот уже около месяца было нанято посланцем знаменитого графа Калиостро и устроено для помещения многочисленных больных. Теперь к его приезду здесь было собрано более двухсот человек мужчин, женщин и детей, страдав-

ших самыми различными недугами. В толпе уже знали, что божественный Калиостро, осчастлививший Страсбур своим посещением, намеревается прожить здесь долгое время, по крайней мере так должно было казаться, потому что для него был отделан с необыкновенным великолепием роскошный дом. Знали также, что он, прежде чем отдохнуть с дороги, желает оказать своё первое благодеяние городу Страсбуру — излечить всех больных, собравшихся в его лечебнице. Так оно и было.

Калиостро, разбросав наполнявшие коляску цветы, поднялся во всём своём великолепии. Дверца распахнулась, он ловко соскочил со ступеньки экипажа, сам вынес из него прелестную Лоренцу и, взяв её под руку, сопровождаемый огромной свитой и множеством любопытных, вошёл в подъезд лечебницы. Здесь в большом зале находились все больные.

Великолепный граф, не отпуская от себя Лоренцу, подходил к каждому, каждому глядел в глаза своими пронизательными чёрными глазами, клал руку то на голову, то на пле-

чи больных, говорил каждому: «Теперь вы свободны от вашей болезни, она прошла и не вернётся, вы здоровы» — и шёл дальше. И люди, все эти мужчины, женщины и дети, за мгновение перед тем страдавшие и жалобными стонами выражавшие свои страдания, почувствовав прикосновение знаменитого целителя, услышав его слова, объявлявшие им об их исцелении, мгновенно чувствовали себя действительно освобождёнными от болезни.

Когда Калиостро обошёл всех и без всяких признаков утомления направился уже обратно к выходу из залы, все эти больные, как один человек, стеснились вокруг него, упали перед ним на колени и благодарили за своё исцеление. Все они были здоровы.

Из числа людей, пробравшихся в залу за чудодеем, было и несколько скептиков, городских врачей и иных лиц, смеявшихся над божественным Калиостро, не веривших в него.

Эти люди теперь решительно не знали, что думать, они были свидетелями действительного чуда. Чудо это совершилось на глазах у сотен людей, о чуде этом через час будет

знать весь город, и им не останется никакой возможности опровергнуть то, чему и сами они были свидетелями. Они заранее, ещё утром, собрались здесь, так как в лечебницу пускали всех и всем разрешали беседовать с больными. Из расспросов, из вида больных они хорошо знали, что это были не притворщики, что это была вовсе не комедия, что здесь собрались настоящие больные, страдавшие самыми разнообразными болезнями, — и вот они здоровы!..

— Да здравствует божественный Калиостро! Да здравствует благодетель человечества! — снова, ещё неудержимее раздаются голоса кругом и сопровождают великолепного графа и его подругу от лечебницы до его нового отеля. Здесь их ждёт отдых, а затем приём именитых людей города Страсбура и богатое пиршество.

II

Европейское общество последней четверти XVIII века совмещало в себе две крайности: с одной стороны, подготавливалось так называемое царство разума, то есть опрокидыва-

ние — кровавое, беспощадное и бессмысленное — всех издавна сложившихся устоев жизни, за ужасами которого следовал грубый материализм. С другой стороны, кажется, никогда ещё, даже в самых, казалось бы, просвещённых умах не кипело такой безумной жажды чудесного, таинственного, необычайного — и следствием этого являлось иной раз почти детское легковерие. Эти две противоположности, две крайности уживались не только в целом обществе, но даже и в отдельных лицах, наперекор здравому рассудку, они могли совмещаться. Один и тот же человек являлся сегодня отрицателем, завтра впадал в удивительный фетишизм.

В особенности французское общество, более чем общество какой-либо другой страны, являло собою подобное странное зрелище. Французская натура весьма впечатлительна, сензитивна, нервна, а потому французы ранее других почувствовали в воздухе, которым дышал весь западноевропейский мир, какую-то духоту, как бы сгущение электричества, как бы приближение страшной грозы. Слепая, стихийная сила надвинулась на Евро-

пу, жизнь выходила из своей обычной колеи, воздух наполнялся чем-то вредным, раздражающим, сдавливающим дыхание; ни ум, ни чувства не находили себе исхода и метались то в одну, то в другую сторону.

Только этим болезненным настроением и можно объяснить продолжительность и необычайность успеха такого, хотя бы и действительно исключительного человека, как Калиостро. Положительно ни один из людей, записавших свои имена в истории последней четверти XVIII века, не пользовался такой громадной популярностью, как Калиостро. Пройдёт ещё немного лет со времени описываемых дней появления его в Страсбуре — его бюсты будут красоваться чуть не в каждом французском доме; весь Париж, первый центр умственного европейского движения, будет нарасхват раскупать эти бюсты и с благоговейным молитвенным трепетом читать надпись под ними: «Божественный Калиостро». Изумительному иностранцу будут воздаваться царственные почести, и сам король Франции издаст указ, по которому малейшее оскорбление, нанесённое Калиостро, будет

признаваться оскорблением его величества.

Теперь Калиостро, недавно изгнанный из Петербурга по приказу Екатерины и как бы забывший своё имя графа Феникса, под которым он был известен в России, ещё не достиг вершины своей славы, но уже быстро восходил на эту вершину.

Задолго до его приезда в Страсбур, как мы уже видели, весь город ожидал его. Его ловкие эмиссары распустили среди населения самые разнообразные, самые невероятные о нём рассказы, и этим рассказам почти все верили.

Первый же день его появления был первой решительной победой, одержанной им во Франции. Весть об излечении им больных молнией пролетела по городу, и вечером к его столу, в его отеле, собралась вся страсбургская знать, считая для себя за честь воспользоваться его приглашением.

Калиостро и хорошенькая Лоренца встречали гостей среди положительно царственной обстановки. К этой обстановке приглашённые уже были приготовлены, но всё же она превзошла самые смелые их ожидания.

Нельзя было не восхищаться обширными залами отеля, где богатство соединялось со вкусом и где в обстановке было даже что-то сказочное. Если бы из числа страсбурцев, вступивших теперь в отель Калиостро, был кто-нибудь, знакомый с петербургским дворцом светлейшего князя Потёмкина-Таврического, то этот человек понял бы, откуда у Калиостро взялся этот капризный восточный вкус, с каких чертогов при устройстве своего отеля он брал копию. Эта удивительная, таинственная и прелестная гостиная, посреди которой Калиостро и Лоренца любезно принимали приезжавших, была даже точным подражанием, во всех мельчайших подробностях, одной из гостиных потёмкинского дворца.

Но никто из жителей Страсбура не только не бывал в чертогах русского всеильного вельможи, но даже и о России имел самые смутные, фантастические представления. Никто не делал никаких сравнений, все только восхищались, и великолепие обстановки ещё более содействовало тому благоговейному трепету, с которым приглашённые подходили к Калиостро. Многие из них принадлежали к

старым дворянским фамилиям, занимали высокие должности, обладали значительным состоянием и по своему характеру являлись людьми независимыми, гордыми, даже чванными. Но все эти их свойства мгновенно исчезали перед Калиостро. Эти гордые, чванные господа мгновенно принижались в его присутствии, склонялись перед ним, как перед королём. Конечно, если бы Калиостро пожелал только, они стали бы целовать его руку. Все наперебой, в самых отборных выражениях, объясняли знаменитому иностранцу и его хорошенькой подруге, до какой степени они счастливы, видя их в стенах старого города Страсбура, и при этом с жадным любопытством спрашивали, долго ли город Страсбург будет иметь счастье считать в числе своих жителей графа Калиостро и его супругу.

Калиостро всем отвечал, что он приехал сюда вовсе не с тем, чтобы уехать, но что продолжительность его пребывания в городе будет зависеть от самого города. Он слишком много путешествовал, и ему пора отдохнуть, если ему будет хорошо здесь, если он увидит, что может делать действительно добро жите-

лям, то никуда и не уедет.

И все оставались необыкновенно довольны этим ответом.

Один за другим гости подходили к Калиостро, сопровождаемые своими жёнами, сыновьями, дочерьми, почтительно представляясь, объясняя подробно свои имена, титулы и звания. Затем мужчины целовали руку у Лоренцы и отходили. Для каждого и для каждой и у Калиостро, и у Лоренцы было ласковое слово, любезная улыбка, крепкое пожатие руки.

Но и во время этого торжественного представления всё же, однако, не обошлось без нескольких комичных сцен. Так, например, один набожный страсбургский сановник, толстый и красный, с добродушным и в то же время серьёзным лицом, остановился перед Калиостро и громозвучным голосом, на всю гостиную, потребовал от него, чтобы он дал ему честное слово в том, что он не знаком с дьяволом.

Калиостро хотел было обратить это в шутку, но толстый господин так наступал на него, а на всех лицах выразилось такое внимание,

что он немедленно принял серьёзный вид и дал требуемое от него слово. Тогда толстяк всё ещё не успокоился, он снял с себя крест и заставил Калиостро перекреститься и поцеловать крест. Когда и это было исполнено, он вздохнул полной грудью и опять-таки на всю гостиную проговорил:

— Ну, теперь можно и поесть, и выпить, а то шёл сюда и всё думал: ну, а что, коли всё это одно только дьявольское наваждение? Посадят за стол, начнёшь есть, проглотишь кусок, а вдруг это не мясо, а камень; выпьешь стакан доброго вина, а вдруг это не вино, а адский пламень. Ну, а сами знаете, господа, что такое камень, облитый адским пламенем, да ещё в человеческом желудке! С одним из моих предков случилось вот именно такое...

Он уж хотел даже рассказать эту историю, но его не слушали. Дверь в обширную, в два света, столовую распахнулась, и громкий голос залитого в золото дворецкого провозгласил, что обед подан. Все устремились в столовую, и, надо сказать правду, нашлось немало гостей, как мужчин, так и женщин, которые с благодарностью глядели на толстого сановни-

ка, — те сомнения, о которых он говорил, были и у них, только они не решались, конечно, их высказать. Теперь сомнений не оставалось, таинственный хозяин перекрестился и поцеловал крест — значит, можно пить и есть. И гости отдали полную честь роскошному хозяйскому обеду.

Калиостро был очень оживлён и очаровывал всех своими рассказами о путешествиях по различным странам, о самых необыкновенных явлениях природы, о многом неслыханном и чудесном, чему он был свидетелем. К концу обеда он даже совсем перестал стесняться, толковал как очевидец о таких событиях, которые происходили за несколько сот лет перед тем, — и никому даже в голову не могло прийти изумляться этому. Если бы он объявил своим мелодическим голосом и южным неправильным акцентом о том, что он старший брат Адама, — и в этом ему теперь поверили бы.

III

Наконец обед кончен. Гости приглашены из столовой в прекрасный зал, где было мож-

но свободно поместить более тысячи человек. Яркий свет бесчисленных ламп наполнял эту прекрасную комнату, белые блестящие стены которой были украшены лепной работой, изображавшей таинственные предметы, очевидно, имевшие оккультное значение. Вообще весь этот зал был отделан в древнеегипетском стиле, и на входивших в него со всех сторон глядели изображения сфинксов и иероглифы. Нежным и ласковым голосом Лоренца объявила гостям, что скоро начнётся сеанс «голубков». Гости затаили дыхание, у многих вырвались возгласы восторга, иных пробрала дрожь панического страха.

Дело в том, что в числе необыкновенных рассказов, всюду распространяемых эмиссарами Калиостро, на первом плане всегда стоял рассказ о чудесах, производимых «голубками». Все уже знали, что под этим именем следует понимать вовсе не птиц, а детей, мальчиков и девочек от семи — до десятилетнего возраста, посредством которых выражается необыкновенная сила графа Калиостро и происходят удивительные ясновидения, а также сношения с миром ангелов.

В обширных печатных и письменных материалах, относящихся к Калиостро, сохранился рассказ очевидца об этом первом его сеансе «голубков» в Страсбуре. И вот что заключается в этом рассказе.

«Голубки», посредством которых Калиостро мог сноситься с миром чистых духов, должны были обладать полнейшей детской чистотою и невинностью. Из множества приведённых к нему детей Калиостро выбрал шесть мальчиков и шесть девочек, которые показались ему особенно подходящими, и сдал их Лоренце. Она удалилась с ними из залы и через несколько минут вернулась: шесть мальчиков и шесть девочек следовали за нею, но уже совершенно преображённые. Дети были одеты в длинные белые туники, опоясанные золотыми поясками; волосы их тщательно расчёсаны и надушены какой-то особой ароматичной эссенцией.

Калиостро подводил этих детей к мраморному, поставленному посреди зала столу, на котором стоял сосуд, наполненный водою. Он разместил детей вокруг стола, заставил их взяться за руки, так что они образовали

непрерывную цепь; затем он произнёс над ними какие-то слова на непонятном языке и каждого по очереди заставлял смотреть в сосуд с водою. Все эти шесть мальчиков и шесть девочек, поглядев в воду несколько мгновений, восклицали, что они видят ангелов.

Тогда Калиостро вышел из зала и вернулся в новом костюме. Между присутствовавшими пронёсся говор, что это одеяние великого Копта. Как бы то ни было, на нём была надета длинная прямая одежда из чёрного шёлка, по которому были вышиты красные иероглифы. На голове у него был золотой убор египетского иерофанта, сдерживаемый на лбу обручем, состоявшим из драгоценных камней. На груди у него красовалась зелёная длинная лента, вся вышитая золотом и тоже сверкавшая драгоценными камнями. На широком красном поясе висела шпага, заканчивавшаяся рукояткой в форме креста. В этом странном костюме он был особенно красив, и на лице его выражались такое величие, такая необыкновенная важность, и вообще от всей его фигуры веяло такой таинственностью, что все собрание притихло под влиянием мистиче-

ского ужаса и почтения.

Торжественной поступью подошёл он к столу, возле которого стояли «голубки». Внезапно неведомо откуда появились два служителя в одежде египетских рабов, как они изображены на финских памятниках. Эти два служителя подвели детей к великому Копту, и каждому из подводимых детей он клал руку сначала на голову, потом на глаза, потом на грудь и в то же время другою рукою делал над детьми странные знаки.

После этой первой церемонии один из служителей поднёс Калиостро на белой бархатной подушке маленькую золотую палочку. Калиостро взял её, постучал ею по столу и спросил:

— Что делает в эту минуту человек, который сегодня утром, при въезде в город, вздумал оскорбить великого Копта?

Дети наклонились к сосуду с водою, стали глядеть в него, и вот одна маленькая девочка крикнула:

— Я вижу его — он спит!

Шёпот удивления пронёсся по залу, хотя, собственно говоря, в восклицании девочки не

было ровно ничего изумительного: мало ли что ей могло показаться! И какая же возможность была проверить сказанное ею?

Эта мысль невольно мелькнула у некоторых из гостей, ещё сохранивших известную долю хладнокровия. Великий Копт, очевидно, понял это, а потому, обращаясь к собранию, он сказал:

— Всякий может теперь задавать вопросы и затем проверять ответы. Именно всё дело в этой проверке, и без неё в ответах «голубков» нет ничего интересного.

Тогда гости, а в особенности дамы, заволновались; наконец одна из них робко возвысила голос и спросила, что делает её мать, находящаяся теперь в Париже.

Один из «голубков» ответил, что её мать теперь присутствует на спектакле и сидит между двумя стариками, но проверить этот ответ было так же трудно, как и первый, на вопрос, заданный самим Калиостро.

Спросившая дама почувствовала на себе несколько полунасмешливых взглядов, смутилась, замолчала и села на своё место. Но первый шаг был уже сделан, желающих спра-

шивать оказывалось теперь много. Вот новый женский голос спрашивает:

— Сколько лет моему мужу?

Проходит несколько мгновений — и никакого ответа. Тогда раздаются восторженные возгласы мужчин и дам, окружающих ту, которая спросила; даже хлопали от восторга в ладоши. Дело в том, что ответа никакого «голубки» и не могли дать, так как спросившая дама была не замужем.

Таким образом, первое поползновение расставить сети великому Копту и его «голубкам» не привело ни к чему, и уже никому в голову не приходило продолжать подобные поползновения.

Калиостро с довольной улыбкой обратился к собранию.

— Я предлагаю каждому, — сказал он, — написать что-нибудь на бумажке, затем заклеить эту бумажку и передать её кому-либо на хранение, для того чтобы потом могли её распечатать и прочесть во всеуслышание.

Ещё не совсем понимая, что из этого будет, третья дама написала несколько слов на любовно предложенной ей кем-то из присутство-

вавших бумажке, аккуратно свернула её и передала соседу.

Тогда Калиостро обратился к «голубкам» и велел им смотреть в воду.

— Кто-нибудь из них сейчас увидит в воде ответ на вопрос, заданный письменно, — объявил он.

И действительно, вот маленький девятилетний мальчик закричал:

— Я вижу слова в воде... слова, но они не совсем ясны...

— Смотри пристальнее! — спокойно и торжественно сказал Калиостро. — Сейчас слова эти будут явственны, так что ты сможешь их прочесть.

Мальчик внимательно, жадно глядит в воду. Вот проходит несколько мгновений, и он радостным голосом говорит:

— Теперь ясно, теперь видно каждую букву...

— Читай!

Мальчик громко прочёл:

— Вы его не получите!

Тогда все кинулись к господину, державшему заклеенную бумажку, развернули её и

стали читать. Дама написала: «Получу ли я согласие короля на мою просьбу о том, чтобы сыну моему был дан полк?»

Никто не мог скрыть изумления и восхищения, и только дама, написавшая вопрос, оказалась смущённой. Она должна была верить, что если написанное ею угадано и если ответ прочтён маленьким мальчиком в воде, то уже не может быть никакого сомнения в верности этого ответа: её сын не получит полка. Она готова была плакать.

Как бы то ни было, наиболее сомневавшиеся из гостей графа Калиостро были теперь побеждены. Один только тучный, красный господин, заставивший перед обедом великого Копта дать ему слово, что он незнаком с дьяволом, перекреститься и поцеловать крест, снова почувствовал в себе присутствие духа сомнения. Он подобрался к своему сыну и приказал ему незаметно выйти из зала, как можно скорей бежать домой, узнать, что делает в эту минуту его мать, и затем вернуться сюда.

Молодой человек, которому вовсе не приятно было хотя и на короткое время уходить

и который жадно, влюблёнными глазами следил за прелестной Лоренцей, тем не менее, не смея послушаться отцовского приказа, вышел из зала. Тогда сомневающийся толстяк выступил вперёд, несколько покачиваясь. Успокоенный насчёт дьявола, он за обедом хорошо познакомился со всеми винами погреба графа Калиостро, лицо его пылало, глаза метали искры. Громовым голосом, обращаясь к «голубкам», он возгласил:

— Что делает в настоящее время моя жена?

Дети несколько времени глядели в воду, но молчали, и вдруг неведомо откуда, как бы в воздухе, как бы с потолка, раздался звучный голос:

— Ваша жена теперь играет в карты с двумя соседками.

Этот неведомо откуда раздавшийся таинственный, странный голос поверг в трепет не только дам и девиц, но и многих мужчин. Даже сам толстяк едва удержался на ногах, бормоча:

— Чёрт возьми! Вот так штука!

Однако он быстро оправился и объявил,

что сейчас все узнают, правду ли сказал голос. Он послал домой сына, который сейчас должен вернуться.

Теперь все взгляды устремились на дверь. Наконец молодой человек появился. Не успел ещё он войти, как толстяк крикнул ему:

— Говори сейчас, что делает твоя мать.

— Я застал её играющею в карты с нашими соседками, госпожой Дюперру и госпожой де ла Маделонет, — проговорил молодой человек.

Трепет не то восторга, не то ужаса прошёл по залу; некоторые дамы не выдержали и, закрыв лицо руками, не владея собою, кинулись вон из зала, а затем из этого отеля, где совершались такие непонятные вещи, такие неслыханные чудеса.

IV

Случайно либо нет, но «голубок» сказал правду: бедный старик с трясущейся головою, который ухватился за дверцу коляски великого Копта, назвал «божественного благодетеля человечества» негодяем и требовал от него шестьдесят унций золота, — спал. Он

спал в маленькой грязной мансарде, в самом бедном квартале Страсбура. Его изрядно помяли, оттаскивая от коляски, потом он, напрягая все свои силы, освободился из рук тащивших и бивших его людей, затерялся в толпе и исчез. Он считал себя в безопасности, ему на ум не пришло, чтобы кто-нибудь мог следить за ним, он побрёл по улице и кое-как, охая от боли, дотащился до своей мансарды.

Он даже не подумал об обеде, не чувствовал голода, лёг на жёсткий матрац, подложив себе под голову какое-то тряпье, и стал предаваться своим думам.

В нём поднялась бесконечная злоба, временно забытая и отодвинутая на задний план необходимостью защищаться и спастись бегством. Но теперь, в безопасности, он всецело предался этой злобе. Время от времени он приподнимался на кровати и громко бранился, изыскивая самые ужасающие проклятия, обращаемые им на голову того человека, которого так торжественно встретил город Страсбур.

Откуда же взялась эта злоба, эта ненависть к великому Копту? Что общего было между

нищим стариком и божественным Калиостро? Почему старик, как безумный, уцепился за коляску и кричал о своих шестидесяти унциях золота? Для того, чтобы понять это, надо вернуться назад на двадцать лет в Палермо. Старик этот был оттуда родом, имя его было Марано. Тогда он вовсе не был жалким нищим, хотя и жил довольно бедно, но эта бедность являлась только кажущаяся и происходила от скупости Марано.

Марано был ростовщиком. Жадность и скупость соединялись в нём, как это очень часто бывает, с различными предрассудками, с верою во всё таинственное. У него была одна цель в жизни — деньги, и для достижения этой цели он не раз уже сходилась со всевозможными шарлатанами, которые в конце концов его обманывали. Он по целым годам только и искал встречи с людьми, которые выдавали себя за делателей философского камня, и на эти таинственные опыты уже употребил немало денег. Конечно, никогда он ничего не добивался, разочарование следовало за разочарованием, но он был неисправим.

Вот с некоторого времени он стал слышать

об одном юноше, тоже обитателе Палермо, жизнь которого была полна необыкновенной таинственности. Юношу этого звали Джузеппе Бальзамо, ему тогда всего было семнадцать лет, но, несмотря на этот нежный возраст, он уже пользовался в Палермо большой известностью и ему приписывалась сверхъестественная власть. Родители его были бедные, простые люди, но, несмотря на это, он сумел пустить слух, что он вовсе не сын этих бедных людей, а происходит от какой-то великой азиатской принцессы. Ему тем более легко было уверить в этом легковерных людей, что вид его и манеры совсем не подходили к тому кругу, в котором он вырос. Он был очень красив, держал себя важно, с большим достоинством, относился ко всем свысока и в то же время умел привлекать каждого своею симпатичностью. Его магнетическое влияние было неотразимо. Стоило ему поглядеть пристально в глаза кому-либо, подержать кого-либо за руку — и этот человек уже чувствовал к нему симпатию, бессознательно ощущал какую-то с ним связь, подпадал под его влияние. Говорить он был мастер, фантазия

его не знала пределов.

Все эти свойства помогали ему вести в Палермо очень весёлую жизнь, легко добывать деньги и спускать их, не думая о завтрашнем дне. В нём была ещё одна особенность: он умел, когда дело касалось его лично, напустить на себя такую таинственность, под которой, каждому казалось, скрывается нечто, полное значения и необычности. Весьма многие в Палермо были совершенно уверены, что он вызывает духов и постоянно находится в общении с ангелами, что при их посредстве он узнает самые скрытые вещи и вообще много чрезвычайно интересного.

Марано долго вслушивался в эти рассказы о Джузеппе Бальзамо, и наконец ему страстно захотелось познакомиться с этим другом небожителей. Сделать это было нетрудно, и вскоре один из знакомых Марано привёл к нему знаменитого молодого человека.

Когда еврей остался наедине с другом небожителей, он опустился перед ним на колени и почтительно поцеловал его руку.

Бальзамо принял эти знаки почтения как

должное, а затем ласково поднял ростовщика с полу и спросил его, чем он может быть ему полезен. Зачем ему так понадобилось свидание с ним?

Все лицо еврея, обыкновенно выражавшее недоверчивость, пугливость и жестокость, мгновенно преобразилось, оно сделалось слащавым. Голос его дрожал, когда он произнёс:

— Синьор! Благодаря вашему общению с духами, вам, конечно, это очень легко было бы самим узнать, если бы вы того захотели, и, вы, конечно, отлично понимаете, чего мне надо. Вы легко можете мне помочь вернуть все те деньги, которые я потерял благодаря обманщикам и лже-алхимикам, и не только вернуть, но и дать мне возможность приобрести гораздо больше. Умоляю вас, не откажите мне в этом! Вы молоды, у вас не может быть чёрстного сердца, пожалейте несчастного, обманутого человека! Вам ничего не стоит сделать меня счастливым.

— Я с удовольствием окажу вам эту услугу, — важно сказал Бальзамо, — но для этого нужно, чтобы вы мне доверились.

Марано так и задрожал весь от радости.

— Бог мой! Я ли не доверяю вам! Только прикажите — всё сделаю.

И в его словах действительно заключалась правда: с этой минуты его доверие к Бальзамо было безгранично, потому что перед ним постоянно мелькали слитки золота, которые, как ему казалось, он легко может получить при помощи удивительного юноши.

Со своей стороны Бальзамо прекрасно видел и понимал это и решился воспользоваться фанатизмом еврея и его жадностью. Он назначил Марано свидание на следующий день за городом в ранний утренний час.

Конечно, Марано не заставил себя ждать, он был на месте раньше условленного времени.

Они встретились у часовни, находившейся за городскими воротами. Бальзамо не произнёс ни одного слова, сделал знак еврею следовать за ним, что тот, конечно, исполнил тоже в полном молчании. Шли они около часу, наконец остановились в пустынной местности, возле какой-то пещеры. Тогда Бальзамо указал еврею на эту пещеру и произнёс:

— В этом подземелье скрыт огромный

клад. Мне запрещено самому им воспользоваться: я не могу ни взять его, ни употребить для себя без того, чтобы не потерять моего могущества и моей чистоты. Клад этот сторожат адские духи, но дело в том, что адские духи могут быть в мгновение обессилены ангелами, которых я могу вызвать. Таким образом, если вы хотите получить этот клад, то мне остаётся только узнать, способны ли вы исполнить все необходимые для этого требования.

Еврей широко раскрытыми глазами, в которых теперь светилась такая жадность, какую можно найти только у представителей этого племени, так и впился в глаза Бальзамо.

— Только укажите, что мне делать, — дрожащим голосом прошептал он, — я все исполню. Говорите скорее!

— Вы это узнаете не от меня, — таинственно произнёс Бальзамо. — Станьте на колени!

Говоря это, он сам опустился на землю в умилённой молитвенной позе. Еврей поспешно последовал его примеру, и в то же самое мгновение откуда-то сверху раздался ясный и мелодический голос, произносивший следую-

щие слова:

— Шестьдесят унций жемчуга, шестьдесят унций рубинов, шестьдесят унций бриллиантов в шкатулке из золота в сто двадцать унций. Адские духи, хранящие этот клад, передадут его честному человеку, последовавшему за нашим другом, если этому человеку пятьдесят лет, если он не христианин, если у него нет семьи: ни жены, ни детей, ни друзей, если он никого не любит, если он совершенно равнодушен к человеческим страданиям, если он никогда сознательно не делал никому добра, если он любит золото больше всего на свете и если он не желает, чтобы золото, которое он может получить, когда-нибудь принесло кому-нибудь пользу!

Голос замолк, и Марано с настоящим вдохновением, с трепетом радости, которую не мог заглушить даже невольный страх, воскликнул:

— По счастью, я удовлетворяю всем этим условиям! Говорю это, положив руку на сердце, и отвечаю моей жизнью, что я именно такой человек, какой надо!

Тогда таинственный голос снова раздался:

— В таком случае пусть он положит у входа в пещеру, прежде чем войти в неё, шестьдесят унций золота для духов, хранящих клад.

— Вы слышите? — сказал Бальзамо, оставшийся совершенно спокойным и серьёзным, и затем быстрыми шагами стал удаляться от пещеры.

Еврей побежал за ним.

— Шестьдесят унций золота! — восклицал он, вздыхая. — Да зачем же это?

— Вы слышали голос? — невозмутимо сказал Бальзамо. — Значит, так надо.

И он прибавил шаг по направлению к городу, не входя с Марано ни в какие дальнейшие разговоры.

— Синьор! Синьор! Остановитесь! — вскричал еврей, когда они уже входили в город. — Шестьдесят унций золота — неужели это последнее слово?

— Конечно да, — с раздражением в голосе произнёс юноша.

Еврея всего передёрнуло, но в то же время он так и вцепился в рукав Бальзамо.

— Постойте! Куда же вы? Погодите! Шестьдесят унций золота! Когда же? Завтра?.. В ка-

кой час?

— Да, в такой, как сегодня, — в шесть часов утра.

— Я явлюсь, — с глубоким вздохом произнёс еврей, и они расстались.

На следующее утро в назначенный час они встретились снова на этом самом месте.

Бальзамо имел чрезвычайно равнодушный, спокойный вид, а Марано трясся, как в лихорадке. При нём было шестьдесят унций золота.

Они поспешно дошли до пещеры, и еврей услышал там снова воздушный голос, повторивший всё, что было сказано накануне. Бальзамо стоял в стороне, погруженный, по видимому, в задумчивость, как бы не принимая никакого участия в происходившем перед ним.

Прошло ещё несколько минут, прежде чем Марано победил свои сомнения и свою жадность и решился положить шестьдесят унций золота на назначенное место. Наконец, сделав это, он приготовился войти в пещеру, сделал уже несколько шагов, но тотчас же вернулся, весь бледный, едва переводя дыхание.

— Скажите мне, уверьте меня, что нет никакой опасности, — там так темно и страшно! Уверены ли вы, что ничего дурного со мной не может случиться?

— Конечно, ничего дурного; вам нечего бояться, если счёт золота верен.

Тогда еврей наконец решился войти в пещеру. Но он несколько раз оглядывался назад, и каждый раз его взгляд встречался с рассеянным, равнодушным взглядом юноши.

Но вот он окончательно решился и быстро двинулся вперёд, в густой мрак пещеры. Он сделал в темноте шагов двадцать без всякого препятствия, как вдруг на него накиннулись три фигуры и огласили свод пещеры страшными криками. Несчастный Марано почувствовал себя схваченным. Напрасно он бился: крепкие, будто железные, руки стискивали его, и при этом ужасный голос кричал над самым его ухом. Напрасно до полусмерти перепуганный еврей кричал в свою очередь и звал к себе на помощь ангелов-хранителей. Ангелы не появлялись, а черти вертели его всё сильнее и сильнее. Наконец на его спину посыпались тяжеловесные удары. Вот он

упал, и в то же время страшный голос приказывал ему оставаться неподвижным и безгласным. Если же он шевельнётся, если произнесёт хоть одно слово, то будет убит на месте.

Марано пролежал некоторое время в полной неподвижности. Когда наконец он пришёл в себя и увидел, что вокруг него никого нет, он дотащился до выхода из пещеры.

Вот свет дневной блеснул ему в глаза. Кругом всё тихо: ни чертей, ни ангелов, ни Бальзамо, а главное — у порога пещеры все пусто. На том месте, где он оставил шестьдесят унций золота, пусто, как будто это золото никогда тут и не лежало.

Долго, долго оглашал Марано окрестность своими проклятиями, потом он побежал в город и подал жалобу на Бальзамо. Но оказалось, что удивительный юноша уже скрылся из Палермо.

V

Все обстоятельства этого печального происшествия восставали теперь в воображении старого еврея с такой ясностью, как будто они

произошли сегодня, сейчас. Удары, полученные им утром и мучительно ощущаемые его старым телом, казались ему теми давнишними ударами. Он чувствовал себя в темноте пещеры, в железных лапах неведомых дьяволов; он переживал все ужасные ощущения той минуты, когда понял своё несчастье, когда увидел исчезнувшими безвозвратно шестьдесят унций золота, составлявших все его наличное состояние.

Двадцать лет прошло с тех пор, ужасные двадцать лет! Он уже не мог более подняться, несмотря на всю изворотливость своего еврейского ума, несмотря на то, что ради денег готов был на самые страшные преступления. Судьба как бы смеялась над ним, не давая ему возможности даже посредством преступления добыть достаточно денег, чтобы начать настоящий гешефт.

Он прожил двадцать лет, гонимый нуждою, терзаемый ненасытной и никогда не удовлетворяемой алчностью. Он покинул Палермо, где все смеялись над ним как над глупцом и где он потерял всякий кредит, начал скитаться из города в город по Италии, а за-

тем по Франции, большей частью путешествуя пешком, нередко испытывая голод и ночуя под открытым небом.

В течение этих двадцати лет он перенёс все унижения, все неудачи, какие только может испытать человек. И вот он встречается и узнает того, кого считает единственной причиной своих несчастий, своей мучительной, печальной жизни! Мошеннически отнятые у него шестьдесят унций золота, очевидно, пошли впрок негодяю и послужили основанием его счастью, богатству, славе. Вор, грабитель окружён теперь царственным блеском, весь город склоняется перед ним и называет божественным, благодетелем человечества, а он, несчастный Марано, обворованный, ограбленный, томится в нищете и снова избит, снова опозорен...

Можно себе представить ад, наполнявший теперь душу еврея, те ужасающие мучения, бессильную злобу, страшнее которой ничего не может и быть для такой души.

Долго терзался измученный, избитый Марано на своём жалком ложе, но наконец заснул в изнеможении.

Если бы не пришёл этот спасительный сон, его организм не выдержал бы, он, наверно, умер бы от злобы и нравственных мучений.

Так он проспал час, другой и третий. Уже давно стемнело. Вся низкая, закопчённая мансарда погрузилась в тишину и мрак; из неё не доносилось ни одного звука. Но вот раздался стук в дверцу мансарды, стук этот повторился. Еврей испуганно открыл глаза, прислушался, потом приподнялся и с трудом спустил ноги с кровати.

— Отворите! — расслышал он голос за дверью.

— Кто там? — коснеющим языком спросил он.

Но стучавшийся не называл себя и только повторял:

— Отворите!

В этом голосе, неизвестном или неузнаваемом, Марано слышались и сила, и решимость; в нём было что-то такое особенное, вследствие чего еврей как бы бессознательно, против воли и забывая всю свою трусливость, подошёл к двери и отворил. Но среди почти

полного мрака, наполнившего мансарду, он не мог разглядеть, кто к нему вошёл. Он видел только слабые очертания какой-то тёмной, неопределённой фигуры и стоял неподвижно, ожидая и не соображая даже, что нужно высечь огонь и зажечь лампу. Пришедший сам это сделал.

В то же мгновение сдавленный крик ужаса вырвался из груди Марано. При свете зажжённой лампочки он увидел перед собою закутанную в чёрный плащ мужскую фигуру и узнал в ней своего врага Джузеппе Бальзаме. Да, перед ним был тот, кого он менее всего мог ожидать теперь видеть, перед ним был «божественный» граф Калиостро, только что покинувший свои чертоги после знаменитого сеанса «голубков», снявший с себя великолепную одежду великого Копта и под видом скромного горожанина, не желающего вдобавок быть узанным, явившийся к Марано.

Один из надёжных шпионов, каких у Калиостро теперь было много, ещё днём сообщил ему, где живёт и где в настоящее время находится полоумный старик, задумавший было нарушить торжественность въезда в

Страсбур знаменитого целителя и чародея. Если бы Марано вышел из своей мансарды, Калиостро знал бы об этом и в данную минуту всегда безошибочно мог настичь его, где бы он ни находился.

Первым движением старого еврея, когда он узнал, что перед ним и у него этот заклятый враг, было броситься на Бальзамо. Но чувство самосохранения сразу осилило всю ненависть: старик понял, что борьба будет неравная, а потому он не двигался с места, не шевелился ни одним членом, и только глаза его впивались в красивое лицо Калиостро с таким выражением злобы и ненависти, что становилось жутко. Но Калиостро было чуждо всякое чувство страха, даже едва заметная усмешка пробежала по лицу его.

— Марано, как ты глуп! — сказал он. — Неужели двадцать лет жизни, и такой ещё жизни, какую тебе пришлось прожить, не научили тебя благоразумию? Ведь если ты теперь в нищете, если ты бедствовал всё время, то единственно по своей глупости, и сегодня ты доказал эту глупость самым неоспоримым образом. Ну чего ты дрожишь? Ну чего ты гля-

дишь на меня, будто съесть меня хочешь? Садись, успокойся и слушай меня.

Он повелительным жестом указал ему на кровать, и Марано, послушно исполняя его приказание, присел на грязный матрац.

Калиостро сделал к нему несколько шагов, остановился перед ним и стал говорить:

— Конечно, это невероятно глупо, и ничего не может быть нелепее и безрассуднее, как поддаваться своим чувствам. Каким образом ты не сообразил, что во время торжественной встречи человека, которого все боготворят, нельзя накидываться на этого человека и что, делая это, можно подвергнуть себя только побоям. И это в самом благоприятном случае, ведь если бы я захотел, если бы я допустил, тебя избili бы до смерти. Да, ты был бы мёртв, и уже не осталось бы никого на свете, кто мог бы рассказывать сказки о Джузеппе Бальзамо, о шестидесяти унциях золота и о тому подобном вздоре. Если ты жив, то единственно по моей милости, если я теперь перед тобой и говорю с тобою, то это доказывает, что я вовсе не таков, каким ты меня считаешь. Если я тебе что-нибудь должен, то я на-

мерен рассчитаться с тобою и уплатить тебе не только твой капитал, но и хорошие проценты, слышишь — хорошие проценты за всё время!..

Марано так дрожал, что его дрожь уже начала походить на конвульсии. Он давно хотел говорить, но язык его не слушался. В нём не было теперь уже страха, он снова проникся своим чувством ненависти к человеку, благодаря которому испытал двадцать лет нищеты и нравственных мучений. Наконец он немного справился со своим волнением.

— Ты снова издеваешься надо мною! — страшным голосом произнёс он. — Мой капитал... проценты на мой капитал... если бы я даже был таким дураком, чтобы поверить, если бы ты действительно вздумал мне вернуть всё это, разве ты можешь вернуть мне двадцать лет моей жизни?! Двадцать лет... где они, эти двадцать лет? Отдай мне их! Отдай мне мою жизнь, мою силу! Возьми от меня все мои бедствия, горе, нищету, унижения, всё, что я испытал в течение этого долгого времени... возьми!.. Отдай мне двадцать лет моей жизни вместе с моими шестьюдесятью

унциями золота! Отдай — и тогда уходи, а иначе не смей надо мной издеваться! Ты видишь, я не боюсь тебя... кто бы ты ни был и какой бы ты силой ни владел, я не боюсь тебя, слышишь ли, не боюсь, потому что мне терять уже нечего! Ты видишь, что я теперь стал! Мне и жизни-то, может быть, только на несколько дней осталось!..

Он был страшен, он был отвратителен и в то же время жалок. В его страстных словах, произнесённых сдавленным старческим голосом, звучала правда.

Калиостро между тем спокойно глядел на него, и как бы облако не то задумчивости, не то даже грусти носилось по выразительным чертам его лица.

Но вот Марано совсем замолчал.

— Да, старик, — сказал Калиостро, — конечно, твоё положение печально, конечно, ни я да и никто на всём свете не может вернуть времени, но уж такова твоя судьба, и я тебе скажу, что ты сам виноват в ней. Конечно, ты со мной не согласишься, а между тем это так: не я, не лишение тебя твоего золота причиной этих двадцати лет, проведённых

тобою, как ты говоришь, в нищете и в разных бедствиях; единственная причина всего этого только ты сам, только твои свойства — и никто более. Ты, вероятно, помнишь, что говорил неведомый голос в пещере? Ты тогда с такою радостью признал себя обладателем самых возмутительных качеств, делающих человека подобным зверю, ставящих его даже гораздо ниже зверя. Ну так вот эти самые качества и создали двадцать несчастных лет твоей жизни. Был бы ты иным — и жизнь твоя сложилась бы иным образом. Но об этом говорить нам нечего, будь хоть теперь благо-разумен, успокойся и пользуйся тем, чем ещё можешь воспользоваться. Я несколько раз в эти последние годы вспоминал о тебе и даже справлялся и узнавал, где ты находишься. Очень многое мне известно, и о многом сообщают мне мои духи, но о тебе они сообщить мне не хотели, и опять-таки в этом виноват не я, а, значит, ты сам. Если бы я раньше встретился с тобою, для тебя было бы лучше, по крайней мере, я, видишь ли, времени не теряю: в первую свободную минуту я здесь. Успокойся!

И, говоря это, он приподнял руки и положил их на плечи Марано.

Первым инстинктивным движением того было отстраниться от этого ужасного прикосновения, но внезапно он почувствовал, как приятная теплота распространилась по всем его членам, и он уже не думал отстраняться. Он жадно воспринимал эту теплоту и поддавался возникавшему в нём ощущению.

Прошла минута, другая — и он физически чувствовал себя так хорошо, так бодро, как давно-давно уже не чувствовал. Спокойный и даже почти ласковый взгляд чёрных красивых глаз Калиостро был устремлён на него и не возбуждал в нём ненависти; в нём даже, как ни странно, как ни невозможно казалось это, пробудилось что-то похожее на симпатию к этому непонятному человеку, к этому врагу. А Калиостро говорил:

— Вот видишь, времени и жизни вернуть нельзя, но всё же кое-что и можно исправить. Видишь, ты снова бодр, ты снова чувствуешь себя таким, каким был двадцать лет тому назад; тех мучений, какие были в тебе, теперь нет, и всё это произвёл я, значит, ты относи-

тельно меня не прав. Смотри!

Калиостро отступил на шаг от еврея и по-
дошёл к маленькому столу, на котором горе-
ла лампочка.

VI

И вдруг изумлённого слуха Марано достиг знакомый, любимый звук — это был звук золота. Золото блеснуло ему в глаза, много золота. Вот на столе, возле лампочки, целая кучка золотых монет...

Марано почувствовал себя совсем обновлённым, совсем перерождённым.

Он подбежал к столу, ощупал золотые монеты, боясь, что это один только призрак, что они, того и жди, пропадут, исчезнут бесследно. Но они не исчезали. Золото, чистое золото, сверкающее, холодное и прекрасное, пересыпалось в дрожавших руках еврея и наполняло его блаженным трепетом, трепетом страстно влюблённого человека, обнимающего давно и безнадёжно жданный предмет своей страсти.

Ещё минута — и Марано, совсем даже забыв о присутствии Калиостро, стал пересчитывать монеты. Он сложил их в равные куч-

ки, сосчитал и пересчитал снова. Двадцать да двадцать — сорок, сорок да сорок — восемьдесят, в страстном волнении шептали его губы.

— Да, но тут не всё... далеко не всё! Где же остальные? — вдруг воскликнул он. — Ты сказал, что вернёшь мне всё... и проценты... проценты за двадцать лет! Где же это? Это далеко, слишком далеко, тут всего двести пятьдесят монет... только двести пятьдесят!

Калиостро улыбнулся.

— Знаешь ли, друг мой, — спокойно сказал он, — если человек очень долго голодает и вдруг накинется невоздержанно на пищу, то умрёт гораздо скорее, чем умер бы от голоду. Мне очень легко сразу отдать тебе все золото о котором ты теперь мечтаешь, и даже гораздо больше того, но я не сделаю этого, так как не желаю твоей гибели и не за этим пришёл к тебе. Собери хорошенько эти двести пятьдесят монет и храни их: они будут улаживать часы твоего досуга, ты будешь перебирать их, любоваться ими; уверяю тебя, они доставят тебе много удовольствия.

— Так, значит, ты обманул меня! — отчаянно воскликнул еврей.

— Нисколько, — все с тем же спокойствием ответил Калиостро. — Я, кажется, тебе доказал, что не желаю твоей гибели, спасая твою жизнь сегодня утром; не будь тут моей воли — тебя избили бы до смерти. Я мог бы, конечно, не дать тебе ни одной монеты, а вот перед тобою двести пятьдесят, и они принадлежат тебе. Ты всё получишь, получишь даже больше, но для этого нужно, чтобы ты исполнил кое-какие условия.

— Какие?

— А вот какие. Завтра же ты выедешь из Страсбура, отправишься в Германию, во Франкфурт-на-Майне. Когда ты туда приедешь, тебя встретит человек и проведёт в нанятую для тебя и оплаченную на год вперёд квартиру, где ты будешь жить в обстановке, несравненно лучшей, чем та, в какой я тебя видел в Палермо двадцать лет тому назад. Во Франкфурте-на-Майне очень много твоих соплеменников, и они ведут там большую торговлю, большие дела. Тебе никто не мешает тоже заняться вместе с ними торговлей и делами, которые могут обогатить тебя. Всё будет устроено так, что когда тебе понадобятся

деньги, эти деньги будут являться вовремя, но если когда-нибудь кому-нибудь ты произнесёшь имя Джузеппе Бальзамо — в тот же день исчезнет всё, у тебя не останется ни одного медного гроша, и ты умрёшь в нищете, жестоко оплакивая своё безумие. Джузеппе Бальзамо нет и не было — понимаешь ли ты это? Никогда никакого Джузеппе Бальзамо ты не знал, сегодня утром ты действовал вне себя, будучи одержим адскими силами. Завтра, ровно в десять часов утра ты выйдешь из дому и пойдёшь в лечебницу графа Калиостро. Ты будешь идти по улицам и обращаться ко всем встречным, спрашивая: где лечебница знаменитого целителя, благодетеля человечества, графа Калиостро? Придя в лечебницу, ты потребуешь, чтобы тебя провели к божественному Калиостро и, увидя меня, ты падёшь передо мной на колени, и так убедительно, чтобы всё этому поверили, — слышишь ли ты, чтобы всё этому поверили, — будешь просить у меня прощенья за то, что вне себя, наущённый адскими духами, осмелился публично назвать меня негодяем и требовать от меня шестьдесят унций золота. Если ты не

исполнишь всего этого, то пеняй на себя: тогда ты сам откажешься от своего счастья. Если же исполнишь всё, то я буду благодетельствовать тебе так же, как благодетельствую многим.

Марано стоял ошеломлённый, вдумываясь в слова Калиостро, а Калиостро между тем совершенно спокойно вынул из кармана кожаный мешочек и в один миг уложил в него двести пятьдесят золотых монет. Марано, заметив это, испустил отчаянный вопль и схватил Калиостро за руку, но тот мгновенно оттолкнул его так, что старик отлетел на несколько шагов и, потеряв равновесие, упал на пол.

— Будь спокоен, — сказал Калиостро, — эти деньги твои. Я тебе показал их для того, чтобы ты познакомился с ними и полюбил их. И ты с ними познакомился, ты их очень любишь, но вот я сейчас заметил в тебе одну весьма скверную мысль. У тебя мелькнуло в голове, забрав эти деньги, завтра чем свет скрыться и не прийти в лечебницу, весьма вероятно, что эта мысль за ночь созрела бы и укрепилась в тебе, и ты привёл бы её в испол-

нение. Этим ты только погубил бы себя, а я, повторяю, вовсе не желаю твоей гибели. За ночь хорошенько обдумай все мои слова и своё положение, откажись от своей глупости, которая погубила всю твою жизнь. Если двадцать лет тому назад Джузеппе Бальзамо нужны были твои шестьдесят унций золота, то теперь графу Калиостро, владельцу неисчерпаемых сокровищ, умеющему из всякой дряни делать чистое золото, не могут быть нужны не только шестьдесят унций золота, но и миллионы унций, а о том, что граф Калиостро владеет действительно философским камнем и умеет делать золото, — об этом знает весь свет. Обдумай все хорошенько и пойми наконец, глупый человек, что единственное твоё спасение в слепом послушании моим приказаниям и что я действую для твоей же пользы. Спокойно разбери всё, сделай завтра утром так, как я тебе сказал, и после публичного покаяния за сегодняшней твой поступок, которое ты произнесёшь в моей лечебнице, ты получишь этот мешочек. Надёжный человек проводит тебя из города и удостоверится в том, что ты уехал во Франк-

фурт-на-Майне. Если в твоих действиях не будет искренности, если ты пожелаешь хоть в чём-нибудь обмануть меня — знай, что ты погиб. Ну, а затем прощай, я и так потерял с тобою очень много времени.

Калиостро позвонил перед евреем мешочком с золотом, затем спокойно положил его к себе в карман и вышел.

Долго ещё стоял Марано совсем растерянный, собираясь с мыслями, но мысли его не слушались; они разбегались в разные стороны, в голове у него была какая-то пустота, какой-то туман носился перед ним. Он улёгся на кровать, и скоро тяжёлый сон овладел им.

VII

Калиостро уверенным шагом сошёл с тёмной старой лестницы и очутился на пустынной улице. Весь этот бедный квартал Страсбура, встававший чуть свет и принимавшийся рано за дневные работы, ложился обыкновенно рано. На улице была полнейшая темнота осенней ночи, только кое-где ещё из маленьких окон лилась струйка света; кое-где, трепетно мерцая, догорала масляная

лампочка в фонаре.

Едва Калиостро сделал несколько шагов по улице, как к нему подошла какая-то фигура и шепнула:

— Господин мой, какие будут приказания?

Он ответил:

— Можешь идти за мною, но завтра с семи часов утра возьми с собою двух-трёх людей, возвращайся к этому дому и следи за стариком.

— Приказания графа будут исполнены, — произнёс тихий голос.

Калиостро двинулся по улице, и тёмная фигура последовала за ним в некотором отдалении.

Вечер был очень свежий, по временам налетал ветер, по небу ходили тучи, но дождя не было.

Калиостро быстро шёл, вдыхая в себя свежий воздух; после тревожного дня ему было приятно освежиться этой прогулкой, и он даже замедлял шаги, соображая, что до его отца уже недалеко. Теперь уж он на улице, где жизнь ещё не замерла, где ещё не спят, где больше света, и он запахивается в плащ, пря-

ча лицо своё, чтобы никто случайно не мог его узнать.

Но кто его узнает?! Кому может прийти в голову, глядя на эту фигуру, закутанную в чёрный суконный плащ, что это тот самый человек, о котором с утра говорит весь город, который появился как волшебное видение, весь залитый в золото и драгоценные камни, в ореоле всевозможных чудес.

Вот он свернул в узенький глухой переулок, как тень скользнул вдоль каменной ограды, остановился у маленькой дверцы, скрытой за густыми разросшимися вьющимися растениями, листья которых уже пожелтели и медленно опадали.

Он вынул из кармана ключ, отпер эту потайную дверцу, потом запер её за собою и оказался в саду. Это был сад, примыкавший к заднему фасаду его отеля.

Через минуту он отпирал уже другую замаскированную дверцу в нижнем этаже самого здания, а ещё через минуту, пройдя узкий коридор, очутился перед тяжёлой двойной драпировкой.

Осторожно, беззвучно он раздвинул склад-

ки материи и заглянул: перед ним просторная, богатая спальня, похожая на ту спальню, какая была у него с Лоренцей в Петербурге, в доме графа Сомонова. Вот большой туалет, и перед ним женская фигура.

Прекрасное венецианское зеркало отражает хорошенькое, несколько утомлённое личико Лоренцы.

Увидев за собою мужа, она невольно вскрикнула от неожиданности: она не знала, что за тяжёлой материей, задрапировывавшей всю комнату, находится потайная дверь.

Калиостро весело засмеялся.

— Когда же ты наконец привыкнешь к моим внезапным появлениям? — сказал он, крепко обнимая жену и покрывая её поцелуями. — Знаешь ли, что это даже может внушить мне кое-какие подозрения. Где бы ты ни была — одна ли или с кем-нибудь — ты не должна смущаться. Что было в твоих мыслях? О чём ты думала, если моё появление тебя смутило? Ну, говори же мне, моя Лоренца, о чём или о ком ты думала? Говори прямо, без утайки чтобы мне незачем было узнавать

твои мысли иным способом. Ты хорошо знаешь, что тебе никогда не удастся что-либо скрыть от меня.

— Я вовсе не желаю этого, — совсем просто отвечала молодая женщина. — О чём я думала? Я думала о том, что мой Джузеппе действительно великий человек...

Он глядел ей в глаза.

— Но, — перебил он, — ты находишь, что это величие сопряжено с большими волнениями и опасностями.

— Разве это не так? — робко спросила она.

— Конечно так, жизнь человеческая — борьба, и всё дело в том, чтобы стать победителем в этой борьбе. Тишина, спокойствие, отсутствие всякой борьбы — ведь это сон, смерть, а я живой человек и живу борьбою. Знаешь ли ты, что после каждой неудачи я собираюсь с новыми силами? Ты вот не любишь, моя маленькая Лоренца, думать, а если бы ты любила думать, то вспомнила бы, что каждая моя неудача есть непременно начало нового благополучия. Как ты была смущена, когда мы должны были выехать из Петербурга, а я тебе говорил тогда, что все к лучше-

му, — и вот прошло короткое время, и ты видишь, какую счастливую жизнь устроил я и себе, и тебе. Разве сегодняшней день, день полного торжества, не хороший день? Разве над нами не горит ясное солнце? Разве тебе не нравится этот отель?

— Нет, Джузеппе, мне здесь все очень нравится, всё это так похоже на то, что мы оставили в Петербурге. Ты хорошо сделал, что подумал обо всём и всё устроил так, как там.

Он самодовольно улыбался.

— Да, я подумал обо всём. Да, этот отель — повторение петербургской роскоши, но заметь разницу: там для нас всё было чужой роскошью, а здесь — наша собственность. Этот отель принадлежит нам, всё, что видишь кругом себя, твоё. Приказав устроить эти комнаты лучшим мастерам, я думал о тебе, моя Лоренца, о твоём удовольствии. Или я не угодил тебе?

Она обвила своими тонкими руками его шею и крепко его поцеловала.

В этом поцелуе страстно любимой женщины была для него высшая награда. Он глядел теперь на неё долгим и нежным взором, в ко-

тором выражались весь пламень любви, вся безграничная нежность, на какую было способно сердце этого странного человека.

— А всё же, — наконец сказал он, — всё же я замечаю в тебе какое-то беспокойство, ты чем-то недовольна. Тебя что-то смущает.

— Джузеппе, — очень серьёзно сказала она, — я повторю твои же слова: на свете ничто не может быть полно, и всё только стремится к гармонии, но не достигает её никогда. Да, сегодняшней день — день нашего торжества, а между тем ведь и он омрачён... вот я только что думала о том, нет ли где опасности для тебя, не ждёт ли нас и здесь новая неудача? Мы въехали в город, как король с королевой, я никогда ничего подобного не могла себе представить... но этот ужасный старик... Где он? Кто он? Он знает твоё имя... в его словах какое-то отвратительное обвинение. Неужели ты забыл о нём, об этом старике, и неужели его появление тебя не смутило? Где ты был? Откуда ты? Куда ты исчез, когда расходились и разошлись все гости?

— Я просто почувствовал себя утомлённым, переоделся и сделал пешком прогулку

по городу.

— А старик? Что же о нём думать?! — Забудь о нём, пожалуйста, и не смущайся: это сумасшедший, это одержимый бесами.

— Да, но он знает твоё имя!

— У меня много имён, — задумчиво произнёс Калиостро — а настоящего моего имени не знает никто, не знаешь его и ты.

— Ты не раз мне говорил это, но это меня ничуть не успокаивает. Этот старик...

— Оставь старика! — уже с раздражением в голосе возразил Калиостро. — Он сам завтра явится в лечебницу, и если его появление, его слова смутили кого-нибудь в городе, то всё это послужит только дополнением моего торжества.

— Ты уверен в этом?

— Да, я в этом уверен! — сказал Калиостро с такою силою, что Лоренца сразу успокоилась и вздохнула полной грудью.

— Ты говоришь, что жизнь есть борьба, что ты любишь только борьбу, — через минуту говорила она, раздеваясь и приготавливаясь лечь спать, — может быть, ты и прав, но... я всё же устала в этой борьбе, и мне хоте-

лось бы, хоть на некоторое время, пожить спокойно, на одном месте, без всяких волнений и тревог, так, как живут другие люди.

Она сама почти испугалась, что решилась высказать так прямо, но в её словах было столько искренности, столько затаённой грусти, её голос прозвучал с такою действительной душевной усталостью, что Калиостро вздрогнул и несколько времени молча, пристально глядел на неё.

— Лоренца, — наконец сказал он, — ты права: в жизни, как и в море, — приливы и отливы, да и борьба не может быть без передышки. Да, ты права, и я обещаю тебе успокоения. Мы здесь останемся долго, и наша жизнь в этом городе будет сплошным нашим торжеством. Тебе нечего опасаться. Я очень рад, что мы так заговорили сегодня с тобою... Погляди на меня, Лоренца, и скажи: веришь ли ты мне?

— Верю, — ответила она.

— Ну, так слушай же. Я знаю мою судьбу и знаю, что мы теперь вступили в период не омрачённого ничем счастья, в период отдохновения и блеска. Отбрось же от себя всякие

тревоги и знай, что чем более ты будешь спокойной, чем сильнее будет в тебе уверенность в том, что нам нельзя ожидать ничего дурного, что перед нами одно благополучие, тем крепче и тем продолжительнее будет это благополучие. Говорю тебе, Лоренца, над нами безоблачное небо, настали ясные дни, и от нас будет зависеть чтобы они были очень долгими.

— Ах, если бы это от меня зависело! — страстно воскликнула Лоренца. — Что же я могу? Я могу только исполнять твои приказания, только следовать за тобою и разделять твою участь!

— Ты забыла одно, — тихим голосом произнёс Калиостро, сжимая её руку, — ты забыла, что ты можешь любить меня, меня одного так, как я люблю тебя. Люби меня так — и больше ничего не надо. Над нами, как и над другими людьми, стоит судьба. Этой судьбою заранее определена вся наша жизнь. Мы сошлись не случайно — наша жизнь и наша будущность связаны крепко. Уж если мы говорим об этом, я выскажу тебе страшную тайну, тайну, которую я давно храню в себе и кото-

рая меня терзает каждый раз, как я о ней вспоминаю. Я знаю, слышишь ли, Лоренца, я знаю, наверное, знаю, что если мне суждено погибнуть до времени, если блестящая жизнь моя, полная славы, полная блеска, должна прерваться на самой высоте удачи и счастья, то причиной этого будешь ты, только ты — и никто больше. Слышишь ли, Лоренца, я знаю это!..

Он весь преобразился, его голос звучал нестерпимой душевной мукой, и в то же время он страстно глядел на жену свою, и в то же время она казалась ему самым прелестным, самым чудным созданием в мире. Лоренца была потрясена его словами, она бессознательно почувствовала в них какую-то истину, какой-то тайный смысл, полный значения, и она глядела на своего Джузеппе, трепещущая, побледневшая, и губы её шептали чуть внятно:

— Я люблю тебя, как же... как же я могу быть причиной твоей гибели? Зачем ты пугаешь меня? Ведь ты только сейчас говорил мне о том, чтобы я успокоилась, чтобы я ничего не страшилась в будущем, что настали

ясные дни... Ты сейчас говорил мне это... а сам...

Но он не слышал её. Он почти упал в кресло и закрыл лицо руками. Перед ним, сквозь закрытые глаза, сквозь руки, сжимавшие эти глаза, так что ничего нельзя было видеть, все яснее и яснее обрисовывались страшные, печальные сцены, значение которых он боялся объяснить себе.

За минуту до этого спокойный, полный самообладания — теперь этот человек внезапно, под натиском тяжёлых мыслей, впал в полную слабость и доходил до отчаяния.

Лоренца своими горячими ласками едва могла привести его в себя. Наконец страстная любовь превозмогла все; под её наплывом разлетелись все призраки, затуманились и скрылись тени будущего — и Джузеппе всецело, всем существом своим, отдался настоящей минуте, и жил ею, и был счастлив...

VIII

Ещё не занималась на небе бледная заря осеннего дня, а старый Марано давно уже не спал. Он, как зверь, запертый в клетку, ме-

тался по своей мансарде, потом в изнеможении падал на матрац, потом снова вскакивал и снова метался. Чувство успокоения и свежести, какое произвело в нём прикосновение Калиостро, давно исчезло. Теперь он походил на человека отравленного. Будто жгучий, мучительный яд наполнял весь его организм — этим ядом оказались двести пятьдесят червонцев, которые он видел на своём столе, ощущал, пересыпал жадными руками и которые потом оказались в кармане ужасного Джузеппе Бальзамо.

— О, злодей! О, изверг! — в бессильном бешенстве повторял Марано. — Ему мало было один раз обокрасть, погубить меня, он вот теперь обокрал меня вторично. Вор! Грабитель! Злодей!

Марано был действительно очень несчастным человеком, и несчастье его заключалось вовсе не в том, что в течение двадцати лет он испытывал нужду, — есть бедняки, есть даже нищие, которых тем не менее никак нельзя назвать несчастными. Несчастье Марано заключалось не в материальной нужде как таковой, а в том, что он был лишён единствен-

ного блага, которое составляло всю сущность его внутреннего мира, которое одно могло дать ему примирение с жизнью. В его душе, с тех пор как он себя помнил, никогда не было ничего, кроме любви к золоту, страстной, непоборимой любви. И вот целые двадцать лет он был лишён единственного любимого им предмета и томился, хирел, состарился и одряхлел до срока. Наконец он увидел этот страстно обожаемый, доселе недостижимый предмет, он увидел золото, осязал его, проникся мыслью, что это золото — его собственность, и вдруг... опять ничего нет; оно ускользнуло. Бальзаме говорит, что завтра он получит его снова, что стоит только быть послушным, исполнить требование этого врага, выставляющего себя чуть ли не его благодетелем, — и золото станет приходить, и жизнь сделается счастливой.

Но дело в том, что Марано теперь ничему не верил. Он знал только одно: что золото было вот здесь, на этом столе, а теперь его нет! И каждая новая минута приносила ему уверенность, что это золото никогда не вернётся. Его мучения становились невыносимыми. Нако-

нец он уже не мог рассуждать: ни одна ясная, здоровая мысль не удерживалась в голове его, он поддавался только своим ощущениям — и они были ужасны.

Прошёл ещё час — и в глазах еврея стало блуждать совсем дикое, безумное выражение. Перед ним беспорядочно роились какие-то давно позабытые образы, отрывки из пережитой жизни. Вот он видит себя на далёкой родине, в Палермо, видит себя мальчиком. Он украл у отца, такого же ростовщика, каким он сам потом сделался, несколько мелких монет и в первый раз в жизни понял восторг, радость, блаженство. Он по несколько раз в день, да и ночью, пробирается в потаённый уголок старого сада, где зарыл своё сокровище, и отрывает его и любуется им, пересчитывает каждую монету, разглядывает её и целует.

Сначала он боялся, что его воровство будет открыто, что у него отнимут эти деньги, но отец ничего не заметил. Он в полной безопасности, но ему и в голову не может прийти истратить хотя бы часть своего сокровища? У насласти, на какое-нибудь удовольствие — он

не для этого рисковал всем, присваивал деньги; он присвоил их для того, чтобы иметь их, чтобы любоваться ими, наслаждаться их видом с сознанием того, что они его собственность.

Целых два года хитрый, осторожный, как лисица, в каждую свободную минуту прокрадывался мальчик в заветный уголок сада и пересчитывал там деньги. В течение этих двух лет его сокровище значительно возросло: ему не раз удавалось снова забираться в кассу отца и незаметно стягивать оттуда то одну, то две маленькие монеты. Наконец, этого ему показалось мало, он почувствовал страстную любовь уже именно к золоту: ему нужны были червонцы. Он осторожно пересчитал все свои деньги, пошёл в самую дальнюю в городе меняльную лавку, променял там монеты и получил за них четыре червонца.

Скоро к этим четырём червонцам прибавилось ещё три из отцовской кассы. На этот раз, ввиду пропажи такой значительной суммы, старый еврей заволновался, но так как подозревать никого не мог и так как в его

кармане оказалась маленькая дырочка, то он решил, что сам потерял эти три червонца, поволновался, даже пострадал от этого — и потом успокоился.

Прошло ещё немного времени, и подросток Марано уже пустил в ход свои сбережения, нажил на них сто процентов, удвоил капитал, отцовское занятие пришлось ему по вкусу.

Молодому еврею было всего двадцать лет, а между тем такого бессердечного и отвратительно жадного ростовщика никто ещё не знал в Палермо. Ожидать от него хотя бы самого слабого проявления человеческого чувства было нельзя, и вот теперь в болезненно расстроенных мыслях Марано, в его воображении мелькали одна за другой, перебивая друг друга, различные сцены из его жизни.

Он видел себя в своём тёмном, затхлом помещении в Палермо, среди различных вещей, оставленных ему под залог. Перед ним мелькали разные лица несчастных людей, которых нужда заставляла к нему обращаться; ему чудились стоны, мольбы и слёзы жертв его алчности, и он злобно усмехался, взгляды-

ваясь в эти призраки.

Наконец и призраки исчезли, и ничего уже ему не вспоминалось. Теперь мелькали только обрывки каких-то непонятных мыслей, и все путалось. Вдруг он вскакивал с кровати, дрожа всеми членами, подкрадывался к столу, ему чудилось, что на столе опять лежит возле лампы эта блестящая куча золота... все двести пятьдесят червонцев.

Он осторожно приближал к ним руку, схватывал... и в руке ничего — всё исчезало! И он кидался на пол в яростном бешенстве, вскакивал снова, глядел на стол, снова видел на нём кучу золота — и опять она пропадала под его дрожавшими пальцами.

«Идти... идти в лечебницу... к графу Калиостро! — пронеслось вдруг в его мыслях. — Надо идти... надо сказать... что сказать? Надо просить прощенья у графа Калиостро... у божественного... у благодетеля человечества, сказать, что вчера было дьявольское наваждение, что дух злобы подсказывал слова... Да!.. Где лечебница графа Калиостро?.. У всех спрашивать... Идти... Зачем? Кто это сказал?.. Да, для того, чтобы получить золото... золото,

где оно? Где оно? Идти за ним... Куда?.. Кто это говорит, что надо ехать во Франкфурт-на-Майне?.. Там ждёт дом, богатые клиенты, дела, опять золото, много золота... Где оно?..

Дикое, безумное выражение глаз Марано всё усиливалось. За припадком бешенства и волнения наступил упадок сил, и он некоторое время лежал неподвижно, как пласт, на кровати, потом опять вставал и начинал метаться по комнате и снова глядел на стол, но уже не видел на нём золота.

«Оно там... там, в лечебнице!..»

Наконец он как будто успокоился, взял свою ободранную, грязную войлочную шляпу, надел её, вышел из мансарды, забыв запереть за собою дверь, хотя всегда тщательно это делал, и спешно, будто кто гнал его, спустился с лестницы.

Был уже день; городская жизнь давно началась; улицы наполнились народом. Старый еврей, с блуждающим взглядом, весь оборванный, ужасный, отталкивающий, шатаясь, шёл прямо перед собою. Вдруг он остановил встретившегося ему человека и громко, на

всю улицу, крикнул:

— Где лечебница графа Калиостро? Как мне найти её?

— А тебе зачем? — спрашивали его столпившиеся на этот крик люди.

— Там... там спасение! — растерянно произнёс он.

Ему сказали, как пройти в лечебницу, и он пошёл снова, но сбился с дороги, и опять останавливал встречных, и опять их спрашивал, как пройти в лечебницу.

Скоро по направлению к лечебнице шёл уже не он один, за ним целая толпа любопытных, желавших увидеть, что будет, исцелит ли знаменитый иностранец этого помешанного старика.

Вот Марано у входа в лечебницу. Его пропустили. Вся зала полна народом. Здесь снова, как и накануне, собралось немало больных и ещё гораздо больше любопытных.

Граф Калиостро в своём роскошном наряде, сопровождаемый многочисленной свитой, уже обходил больных, налагал на них руки и объявлял им, что они освобождены от болезни. Больные радостными возгласами привет-

ствовали своё выздоровление; многие кидались на колени перед Калиостро, ловили и целовали его руки. По зале шёл несмолкаемый, едва сдерживаемый говор: все передавали друг другу слухи о поразительных исцелениях и о том, что вчера божественный Калиостро раздал бедным больным большую сумму денег, что сегодня уже началась раздача, что этот Богом посланный человек принёс счастье всем несчастным, всем больным города Страсбура.

Вот, наконец, и Марано, пробившись сквозь толпу, пропускавшую его охотно, чтобы только не прикоснуться к его грязным лохмотьям, увидел Калиостро. Он задрожал всем телом, шатаясь, кинулся к нему, не устоял на своих слабых ногах и упал в нескольких шагах от Калиостро на пол.

Великий Копт увидел его, подошёл к нему, наклонился и потом, обращаясь к окружающим, сказал:

— Вы видите этого человека? Кажется, это тот самый безумец, который вчера, во время моего въезда, кинулся к моей коляске и бранил меня, называя не помню уже каким име-

нем. Ведь это он?

Все, кто присутствовал вчера при въезде, признали старого еврея.

— Что тебе надо, несчастный? — громким и спокойным голосом, на всю залу, спросил Калиостро

Марано долго ничего не мог вымолвить. Наконец его хриплый голос произнёс:

— Дьявол вселился в меня вчера, и он шептал мне: «Иди, увидишь божественного Калиостро, закричи ему, что он негодяй, что он украл у тебя шестьдесят унций золота... Требуй от него шестьдесят унций золота».

Вся зала так и замерла, никто не проронил ни одного звука.

— Негодяй, отдай мне мои шестьдесят унций золота! — вдруг, напрягая последние силы, завопил Марано и смолк, схватывая себя за голову и, очевидно, силясь вспомнить что-то, что-то сообразить.

— Вот видите, — громозвучно произнёс Калиостро, — видите, что враг человеческого рода делает иногда с людьми. Очевидно, этот несчастный жаден, и дьявол, вселясь в него, сулит ему золото. Шестьдесят унций золота!..

Я думаю, этот несчастный нищий никогда и не видал такой суммы! Что же хочет дьявол с этим золотом? Видите ли, я... украл его шестьдесят унций... я!.. Не знаю, если бы он сказал устами дьявола, что я украл у него пучок седых волос, это ещё могло бы иметь смысл, но красть то, чего у меня столько, сколько я хочу...

Калиостро развёл руками и усмехнулся, а затем, повернувшись к следовавшему за ним одному из своих секретарей, велел принести шкатулку, находившуюся в соседней комнате.

Через минуту шкатулка была принесена. Калиостро отпер её, и все увидели, что она полна золотом.

Калиостро двумя пригоршнями взял червонцы и бросил их на пол перед трепетавшим в конвульсиях Марано. Старый еврей испустил отчаянный крик, кинулся вперёд и прильнул к золоту, загребая его, прижимаясь к нему лицом, целуя монеты. Теперь он визжал, хохотал, рыдал, бесновался... Но вот всё его тело конвульсивно вздрогнуло, он испустил глухой стон, его пальцы, сжимавшие мо-

неты, разжались, он вытянулся на полу — и остался неподвижным.

Калиостро склонился над ним, повернул к себе его лицо и сказал:

— Он умер. Вот для чего дьяволу нужно было золото — для того, чтобы убить этого человека! Его я воскресить не могу. Над ним совершился суд Божий.

И все видели, как при этих словах лицо Калиостро омрачилось, он опустил голову и несколько времени простоял в глубокой задумчивости.

Между тем служители подняли Марано, который действительно был мёртв. Секретарь подбирал золото и снова клал его в шкапулку. Ещё минута — и божественный Калиостро снова обходил больных, снова исцелял их и снова принимал их горячую благодарность. Теперь лицо его опять было спокойно, к нему вернулось всё его величие.

Все присутствовавшие были потрясены, обсуждали смерть сумасшедшего еврея и толковали о дьявольских кознях, о том, как враг человеческого рода губит поддавшуюся ему душу. Если в ком ещё до сих пор сохранилось

неприятное впечатление от сцены, происшедшей у коляски во время въезда божественного Калиостро в Страсбург, теперь это впечатление окончательно изгладилось. Все только ещё вернее знали, что у Калиостро нет недостатка в золоте, что он может затопить золотом весь город Страсбург.

IX

«Благодетель человечества» говорил старому еврею: «...ведь если бы я захотел, если бы я допустил, тебя избили бы до смерти. Да, ты был бы мёртв, и уже не осталось бы никого на свете, кто мог бы рассказывать сказки о Джузеппе Бальзамо, о шестидесяти унциях золота и о тому подобном вздоре...»

Теперь этот старый еврей, помимо своей воли, окончательно оправдал Калиостро в глазах жителей Страсбура. Оправдал — и умер. Еврея похоронили за счёт «благодетеля человечества». Еврей унёс за собою в могилу все сказки о Джузеппе Бальзамо, — значит, теперь не остаётся никого, кто мог бы повторять эти сказки и смущать ими торжество могущественного графа Калиостро!.. Нет, старые

тайны не умирают, и всегда остаётся нечто, способное вынести их из мрака на свет. Тут же относительно сказок о Джузеппе Бальзамо оставались и помимо умершего Марано живые свидетели.

Первым из таких свидетелей была Лоренца. А затем, разве не хранилась эта тайна в таком страшном месте, откуда всегда могла грозить божественному Калиостро?

Разве «великий носитель знака Креста и Розы», русский князь Захарьев-Овинов, не доказал ему, в каких сильных и неумолимых руках находятся эти старые сказки?

Но Калиостро не смущался. Лоренца, эта страстно любимая жена его, добровольная, а ещё более невольная спутница и помощница его жизни, всегда с ним. Она его послушное орудие. Сны и видения будущего грозят какой-то бедою. Но это будущее далеко, о нём не время думать... А розенкрейцеры? И о них нечего думать: Захарьев-Овинов остался там, в России; Лоренца своими тайными способностями поможет вовремя заметить и отвратить опасность...

Да, положительно Марано, старый полоум-

ный еврей, был страшнее всех и всего, с ним приходилось возиться, следить за ним. Теперь его нет, препятствие отстранено. Впечатление, произведённое на Калиостро сценой смерти старого еврея, пропало, как пропадали и все впечатления в этой страстной и порывистой душе, жаждавшей наслаждений, блеска и славы. Калиостро чувствовал под собою твёрдую почву, чувствовал всё возрастающие свои силы. Он знал, да, знал, что звезда его счастья всё выше и выше поднимается над его головою. И сознание это окрыляло его, усиливало его энергию, его неослабную, постоянную деятельность.

Он говорил себе: «Всё к лучшему» — и совсем искренне считал теперь свою неудачу в Петербурге большим для себя благополучием. То, что не удалось там, среди северных снегов, среди русских варваров, то должно осуществиться в самом центре цивилизации. Пусть там, в Петербурге, обманутые им русские вельможи делают что угодно с ложей Изиды! Он время от времени будет посылать им письма, будет поддерживать с ними так, на всякий случай, сношения. А великая ложа

египетского масонства будет им основана не на берегах Невы, а на берегах Сены, в великом, чудном Париже, в этом роскошном средоточии всего мира. Слава, которую он приобретёт здесь, будет гораздо громче той славы, какая ожидала бы его на далёком севере...

Но Париж ещё впереди, надо подготовить почву, надо явиться туда уже во всеоружии победителя, и для этого предстоит некоторое, даже, быть может, довольно долгое время оставаться на последней станции, и эта последняя станция — Страсбург. Отсюда до Парижа недалеко, здесь с Парижем постоянное сообщение. Не Калиостро придёт в Париж как проситель, искатель успеха, а сам великий город призовет его и при первом же его появлении повергнет к его ногам дань удивления, восторгов, поклонения.

Да, здесь надо собраться с силами и с материальными средствами. Страсбург — город богатый. Граждане его, несмотря на сравнительную простоту нравов, обладают огромными средствами...

Однако зачем же графу Калиостро, купающемуся в золоте, «делающему» золото, думать

о чьих-либо средствах?.. Приходилось думать. Делать золото, даже и обладая философским камнем, было, видно, довольно трудно, работа эта, видно, отнимала слишком много времени, по крайней мере, Калиостро предпочитал, когда возможно, приобретать деньги иным, более простым, обыденным способом.

Из Петербурга, благодаря удивительной щедрости и доверчивости некоторых русских богачей, и, прежде всего, графа Сомонова, сделавших огромные пожертвования для дела всемирного распространения египетского масонства, он вывез весьма крупные суммы. По дороге до Страсбура эта богатая казна, которой мог бы позавидовать не один владетельный принц, более чем удвоилась поддержкой и приношениями многочисленных масонских лож, совсем попавших под влияние великого Копта. Такое богатство дало ему возможность поразить Страсбур роскошью, щедростью и благотворительностью. Но огромные суммы уже были затрачены, и теперь каждый день уменьшал наличность капиталов. Следовало позаботиться об их умножении.

Калиостро не стал терять времени. Что в Петербурге требовало строжайшей тайны, что встречало в северных варварах недоверие, холодность и прямое обвинение в обмане и шарлатанстве, то на почве образованной, учёной Франции было несравненно легче. Мистицизм, страсть к необъяснимому, сверхъестественному, а главное, жажда новизны, какого-нибудь захватывающего, манящего интереса заставили почти всех богатых и влиятельных жителей Страсбура, как мужчин, так и женщин, заинтересоваться египетским масонством. В страсбургских домах с первого же дня приезда Калиостро только и было разговоров что о великом Копте, о египетском масонстве, об учреждении в Страсбуре великой ложи. Людей, желающих превратиться из мирных граждан в египетских масонов, было сколько угодно. Оставалось только подвести их под различные категории и с каждой из этих категорий собирать, сообразуясь с обстоятельствами, более или менее обильную жатву. Этим-то и занялся Калиостро.

В подобном деле не было мастера, ему равного. Он искусной и опытной рукою зажёг

свою лампочку, и на эту лампочку со всех сторон так и устремлялись мошки. И бились эти мошки, зачарованные непонятным светом, и стремились к огню, не думая о том, что он может опалить их. Если этот огонь, зажжённый великим Коптом, и не опалял ещё жителей Страсбура, то, во всяком случае, он хорошо и быстро вытрясал их кошельки.

Казна графа Калиостро, опустошённая путешествием, отделкою отеля и благодеяниями первых дней, быстро наполнялась. Надо отдать справедливость «благодетелю человечества»: он продолжал делать добро, и, каков бы ни был источник этого добра, оно существовало действительно. Бедные уходили из его отеля с помощью, больные исцелялись...

Проходить молчанием эту сторону деятельности знаменитого авантюриста нельзя, да и самая его деятельность, его необычайная слава и значение в общественной истории последней четверти XVIII века, его баснословные успехи — всё это не могло бы иметь места, если бы он действительно не делал много добра. Он был олицетворением огромной силы, соединённой с таким же огромным бесси-

лием. Он обладал действительно знанием многих, совсем неведомых тогда тайн природы, тех тайн, которые в наше время мало-помалу делаются всеобщим достоянием. Рядом со способностью к самым наглым обманам в нём были по временам порывы искреннего, доброго чувства. Самая беззастенчивая эксплуатация людских слабостей, трескучее шарлатанство и всякого рода мистификации чередовались в нём с искренним вдохновением, в минуты которого можно было говорить разве только о самообмане.

Он попеременно черпал то из источника своей силы, то из источника своей слабости. Таким мы видим его во всё продолжение его жизни, среди величайших успехов и самого низкого падения. Каким способом исцелял он людей от различных болезней, посредством ли огромной, заключавшейся в нём самостоятельной магнетической силы, о существовании которой в человеке до сих пор идёт горячий и становящийся всё более и более интересным спор? Посредством ли известного ему свойства человеческого воображения, являющегося, как теперь выясняется всё убедитель-

нее, действительной творческой силой? Это всё равно; факт тот, что он исцелял, и этому сохранилось много доказательств и свидетельств. Не подлежит сомнению, что многое множество людей, страдавших такими болезнями, против которых оказывалась бессильной современная медицина, назло этой медицине становились здоровыми.

Откуда бы ни исходили его деньги, но он ими уничтожал немало страданий, нищеты, горя...

Город Страсбур, серьёзно им облагодетельствованный, был бы очень несправедлив, если бы вздумал подкладывать дрова в костёр его...

Теперь, при новых открытиях и опытах современной науки, знакомясь с обширной литературой об этом поразительном человеке, можно найти ему настоящее место и уяснить его истинное значение. Пора отрешиться от ложных и пристрастных взглядов. Калиостро вовсе не тот фантастический, сказочный Бальзамо, не существовавший деятель и даже чуть ли не главнейший творец французской революции, каким изображал его в своих ро-

манах великий французский сказочник Дюма-отец. Но ещё менее не тот он мелкий, бессмысленный и глупый шарлатан, каким хотят его представить в нескольких позднейших романах, не имеющих ни одного из блестящих достоинств произведений французского романиста и если чем поражающих, то единственно круглым невежеством их авторов.

Х

Калиостро очень хорошо знал страсть человеческую ко всякого рода зрелищам, таинственным обрядам и вообще ко всему, что действует непосредственно на внешние чувства. Мало этого — он и сам был исполнен этой страсти. Начиная с сознательного обмана, приготовляя его обстановку, он мало-помалу сам увлекался этой обстановкой, входил в свою роль, терял нить действительности и превращался в истинного жреца. Он мистифицировал людей не только ради достижения своих целей, но и потому, что находил огромное наслаждение в таких мистификациях.

Ему, например, вовсе не было никакой нужды уверять всех и каждого в своём бессмертии и в том, что он был личным свидетелем исторических событий, происходивших за тысячу, за две тысячи лет до его пребывания в Страсбуре, а между тем он делал это постоянно и вкладывал в свои нелепые рассказы такую силу, что ему верили. Да, как ни странно представить себе это, ему верили очень серьёзные, по-видимому, люди того времени. Та очевидная, оскорбительная ложь, которая должна была сразу отвратить от него и заставить сомневаться даже и в действительных его познаниях, только привлекала к нему.

Сколько раз в откровенные минуты, потребность в которых ощущается всяким человеком, говорил он своей Лоренце, единственному существу, с которым мог быть откровенен:

— Люди, за очень малыми исключениями, до того глупы, легковерны и ничтожны, что нет никакого греха пользоваться их глупостью, легковерностью и ничтожностью, извлекая из них всю пользу и для себя, и для

других. Есть болезнь, страдание, нищета, горе — всему этому надо помогать, не думая о глупости и ничтожности тех, кто страдает. Пусть здоровые, счастливые и сытые дадут мне средства для такой помощи. И вдобавок я возьму от них наслаждение любоваться зрелищем их тупоумия... Я очень люблю такие зрелища...

И он нередко позволял себе подобные забавы. Проходит он, например, окружённый почтенными кавалерами и дамами, мимо картины, на которой изображён Александр Македонский. Вдруг он останавливается, грустно смотрит на эту картину и вздыхает.

Всё так и впиваются в него глазами.

— Бедный Александр! — говорит он, будто уходя в далёкие воспоминания. — Один только я помню прекрасные черты твоего лица, один я мог бы изобразить их на полотне!

— Так вы его знали, граф? Неужели?! — спрашивают кругом с наивной, искренней серьёзностью.

— Как же не знать... Одно время я был очень даже с ним близок, и если бы не безвременная его кончина... но мне тяжело, господа,

предаваться этим печальным воспоминаниям...

И все поражены, все так и теснятся вокруг него — и ему верят. Ведь в самом деле лестно, а главное — «ново» быть знакомым с другом Александра Македонского!

Он даже и камердинера себе добыл подходящего. Этот камердинер, человек очень важного вида, исполненный самой подзадоривающей любопытство таинственности, скоро тоже стал популярен в Страсбуре. Как-то один из важнейших сановников города, находясь после обильного обеда в отеле графа Калиостро, увидел этого камердинера и, когда тот проходил мимо, схватил его за ухо.

— Постой-ка, разбойник, — воскликнул весёлый гость, — попался ты мне, знай, что я не выпущу твоего уха, пока ты наконец не скажешь мне, по истинной правде, сколько лет твоему господину!

— Позвольте, сударь, — наконец очень серьёзно произнёс он, — точно доложить вам, сколько лет графу, я не могу, я сам этого не знаю. Он мне всегда казался таким же молодым, как и теперь. Всё, что я могу вам ска-

зять, — это что я нахожусь у него на службе со времени разложения Римской республики.. Да, мы условились относительно моего жалования как раз в тот самый день, когда Цезарь погиб, умерщвлённый в сенате...

Так ничего другого и нельзя было добиться от этого удивительного камердинера.

После подобных интересных воспоминаний божественного Калиостро очень естественно, что находилось немало людей, обращавшихся к нему с просьбою дать им рецепт если и не бессмертия, то хоть продления жизни на несколько столетий. Если такие лица вместе с тем заинтересовывались и египетским масонством и вносили на дело его процветания значительную сумму — они получали рецепт. В числе изданий того времени существует брошюра, носящая такое заглавие: «Секрет возрождения или физического усовершенствования. Открытие великого Калиостро».

Вот как начинается эта брошюра: «Кто хочет достигнуть такого усовершенствования своего физического организма, тот должен каждые пятьдесят лет удаляться, сопровожда-

емый одним только близким человеком, в деревню, во время майского полнолуния. Среди полной деревенской тишины необходимо запереться в уединённой спальне и в продолжение сорока дней держать самую строгую диету: есть очень мало, всего несколько ложек супу и в небольшом количестве нежных и прохлаждающих овощей и салату. Пить можно только или дистиллированную, или дождевую майскую воду. Еда должна начинаться жидким, то есть водою, и кончатся крепким, то есть бисквитом или коркой хлеба. На семнадцатый день следует пустить себе кровь в незначительном количестве и затем принять по шести „белых капель“ утром и вечером... На сороковой день принимают первое зерно „первобытного вещества“...»

Достаточно и этого курьёзного образчика, чтобы видеть, каким вздором угощал Калиостро своих поклонников. Если эта брошюрка, как легко, конечно, догадаться, только насмешка над его «рецептами», всё же в ней очень верно сказывается суть дела. Рецепт даётся, но тайна не в том, как надо поступать и что надо есть и пить, а в каких-то «белых кап-

лях» и зёрнах «первобытного вещества». Но секрет этих «белых капель» и «первобытного вещества» мог быть открыт только посвящённым во все тайны египетского масонства...

Таким образом, любознательный человек, жаждавший вечной молодости, сам того не замечая, всё более и более втягивался в болото заманчивой неизвестности и за каждое новое, ничего не открывающее ему открытие щедро расплачивался. Когда богатых и тароватых жертвователей собралось достаточно, ложа Изиды была открыта и состоялось первое её заседание в том самом «египетском» зале отеля Калиостро, где он давал свой первый сеанс голубков». Масоны обратились к великому Копту и спросили его, правда ли, что он сын знаменитого графа Сен-Жермена, слава чудес которого ещё недавно гремела по всей Европе и который вдруг бесследно исчез.

Калиостро отвечал:

— Нет, это неправда. Я не сын его и не могу быть его сыном, ибо, во всяком случае, я не моложе его. Но я глубоко его почитаю, и ещё очень недавно я и жена моя получили от него высшее посвящение... узнали от него некото-

рые новые тайны.

— Так граф Сен-Жермен жив? Где же он? — взволнованно спрашивали слушатели.

— Он живёт в Гольштейне, на лоне природы, — отвечал Калиостро, — но доступ в его чудный замок весьма затруднителен. Впрочем, хотя мы с ним и никогда не встречались, всё же очень хорошо знали друг друга по репутации, и он с большой радостью принял меня и мою жену. Он назначил нам свидание в два часа ночи. Я и графиня надели белые туники и явились в замок. Подъёмный мост опустился при нашем приближении, и какой-то человек гигантского роста проводил нас в едва освещённый зал. Вдруг громадные двери открылись перед нами, и мы увидели озарённый тысячами свечей сияющий храм. На возвышении, под золотым балдахином, восседал граф Сен-Жермен с таинственным знаком на груди, свет которого был ярче солнечного. Полупрозрачная, дивной красоты женская фигура порхала вокруг балдахина, в руках у неё был сосуд с надписью: «Эликсир жизни». Немного поодаль, перед громадных размеров зеркалом, мы увидели другую, то яс-

неющую, то почти совсем пропадающую фигуру. Таинственный, неведомо кому принадлежавший голос проговорил:

— Кто вы? Откуда вы? Чего вы желаете?

Тогда мы с женой преклонили колена, и я отвечал:

— Я пришёл поклониться сыну природы, отцу истины, служить ему и получить от него посвящение в его великие тайны!

Таинственный голос сказал:

— Чего желает подруга твоих долгих дней?

Тогда моя жена отвечала:

— Слушаться и служить.

Внезапно наступил мрак, вокруг нас происходило что-то страшное, и ужасный голос близко над нами возгласил:

— Горе тому, кто не в силах выдержать испытаний!..

Страсбургские масоны слушали этот рассказ все с возрастающим благоговением. Калиостро увлекался больше и больше. Он не договаривал, замолкал на самых интересных местах, дразнил своих слушателей. Когда заседание было окончено, новые египетские масоны разошлись по домам как в тумане, и,

конечно, никто из них не был бы в состоянии сказать, в чём же, собственно, заключалось это первое, так жданное ими заседание ложи Изида и какие тайны им открыты. Но они не отдавали себе ни в чём отчёта, они были уже зачарованы.

На следующий же день по всему Страсбуру ходил рассказ о таинственном посвящении и ещё более таинственных испытаниях в замке графа Сен-Жермена. А через два дня к Лоренце явилась депутация самых молодых и красивых страсбургских дам с просьбой открыть дамскую ложу Изида, в первом заседании которой непременно должны быть «посвящения» и «испытания». Прелестные дамы города Страсбура почему-то особенно жаждали «испытаний».

XI

Прелестная Лоренца, несмотря на все уверения мужа, что солнце над ними ярко светит и что наступили долгие безоблачные дни, всё же никак не могла почесть себя счастливой. Да и вообще вся её жизнь, где бы и с кем бы она ни находилась, в какие бы обстоятель-

ства ни ставило её переменчивое счастье её повелителя, была совсем неестественной и, в сущности, печальной жизнью.

Это происходило от её личных, присущих ей свойств, оттого что, несмотря на видимые признаки здоровья, она страдала с самого детства сложной удивительной нервной болезнью. Эта-то болезнь и сделала её как бы нарочно созданной для роли помощницы Калиостро — только благодаря этой болезни он и мог развить в ней те исключительные способности, которые проявляются лишь в том случае, если нарушено физическое равновесие человеческого организма...

Жизнь Лоренцы состояла из постоянной смены самых разнообразных ощущений. Действительность, среди которой она находилась, часто исчезала для неё и заменялась то уловляемым ею, а то и совсем бессознательным бредом, видениями.

Бессознательного, именно того, чем пользовался Калиостро, было очень много, и потому в жизни Лоренцы, в её днях и ночах, существовали удивительные пробелы: минуты и часы, которых она не знала, не помнила, во

время которых она как бы совсем «отсутствовала».

Такая странная жизнь, постоянная смена болезненных, нервных ощущений, естественно, влекли и её к новизне, ко всему, что могло поглотить её внимание. В первые дни пребывания в Страсбуре её занимала новая обстановка и та, принадлежавшая теперь её мужу и ей, почти царственная роскошь, какой до сих пор у них всё же никогда и нигде не было. Но вот она присмотрелась ко всему этому и опять начала томиться и скучать.

Таким образом, депутация страсбургских дам была очень кстати, да к тому же и Калиостро, узнав об этой депутации, возбудил в жене интерес к новой предлагавшейся ей роли.

Вернувшись после обхода своей лечебницы, он распорядился, чтобы никого к нему не пускали, чтобы двери отеля стояли несколько часов на запоре, и, взяв под руку Лоренцу, обходил с нею удивительные, таинственные залы, живо объясняя ей, для чего и каким образом устроено то и другое.

Он был в самом лучшем настроении духа. Оживление Лоренцы, интерес, который изоб-

ражался на её прелестном, таком дорогом для него лице, — всё это наполняло его положительным счастьем. Он дал ей серьёзный урок, как ей следует вести себя в роли верховной жрицы Изиды, что делать, что говорить, и вместе с нею приступил к различным приготовлениям.

Когда всё было готово, Лоренца написала одной из приезжавших к ней дам, что по зрелом обсуждении готова исполнить желание благородных жительниц Страсбура и что просит приехать к ней немедленно двух или трёх представительниц вновь образуемого кружка для окончательных переговоров. Когда дамы приехали, она торжественно объявила им, что согласна устроить в Страсбуре дамскую ложу Изиды и давать всем желающим уроки истинной магии, но с тем, чтобы на собраниях этой ложи никогда не присутствовал ни один мужчина. Число новых жриц Изиды должно быть не менее тридцати шести. Тогда стали составлять список.

В Страсбуре очень легко набралось тридцать шесть молодых женщин, удовлетворявших требованиям, заявленным Лоренцей.

Требования эти состояли в следующем: каждая молодая дама, желающая начать изучение магии и вступить в ложу, должна сделать взнос не менее ста луидоров. Затем ей ставилось в непрременную обязанность в течение двух недель вести строго уединённую, так сказать, монастырскую жизнь. Вот и всё. По окончании указанного срока графиня Калиостро назначала день открытия ложи. Все дамы с радостью согласились на эти условия.

С нетерпением ожидавшийся день пришёл. Было одиннадцать часов вечера, когда в гостиной Лоренцы собрались все до одной интересные неофитки.

Лоренца в этот вечер была мало похожа на всегдашнюю мечтательную, прелестную и робкую женщину, какой она всем казалась. Она встретила своих гостей с величием, достойным древней жрицы. Обойдя приезжих и убедясь, что все в сборе, она попросила дам в соседнюю комнату, где они должны были снять с себя свои наряды и облечься с помощью ловких, почему-то замаскированных прислужниц в приготовленные для них одежды.

Все были до такой степени заинтересованы и находились в таком нервном возбуждении, что даже переодевание, которое, конечно, при других обстоятельствах потребовало бы немало времени, совершилось очень быстро. Не более как через четверть часа Лоренца уже снова была окружена дамами, превратившимися в каких-то древнегреческих красавиц. Все они были теперь в белых туниках с цветными поясами и оказались разделёнными по цвету этих поясов на шесть групп, в каждой по шести дам. Принадлежавшие к первой группе имели чёрные пояса, ко второй — голубые, к третьей — красные, к четвертой — фиолетовые, к пятой — розовые и, наконец, принадлежавшие к шестой группе были опоясаны лентами неопределённого, модного тогда цвета, который назывался «impossible».

Их головы обвивал длинный прозрачный вуаль, на ногах были лёгкие сандалии с золотыми завязками.

Из этих четырёх предметов — вуаля, белой туники, пояса и сандалий — состояла вся их одежда. Сама Лоренца оказалась в такой же

белой тунике, с таким же вуалем на голове, только пояс у неё был золотой, с ярко-пурпуровыми крапинками, казавшимися каплями крови. Золото этого пояса означало власть, пурпуровый цвет крапинок — истинное познание.

Из гостиной Лоренца повела дам в самый лучший, только что оконченный отделкой зал отеля. Зал этот, с высоким куполом, подходил на храм. По стенам стояло тридцать шесть кресел, обтянутых чёрным атласом. Зал освещался сверху, с купола; благоухания наполняли его, и лёгкий дымок невидимых курильниц, разносившийся всюду, способствовал фантастичности впечатления.

Напротив той двери, в которую вошли неопитки, помещался высокий, сверкающий золотом трон и по обеим сторонам его стояли две какие-то странные тёмные живые человеческие фигуры.

Лоренца, пройдя через зал, величественной походкой поднялась по ступеням трона и остановилась на возвышении, озаряемом лившимся сверху светом.

Она была прекрасна в своей лёгкой белой

одежде, обрисовывавшей её стройные формы. Да и вообще все эти тридцать шесть молодых женщин в их новой роли и новом виде оказывались гораздо интереснее, чем в самых модных и богатых нарядах. Их мужья и поклонники остались бы довольными таким превращением, но ни мужей, ни поклонников не было, чтобы взглянуть на них; это было первое заседание дамской ложи Изиды, вход в которую, как уже известно, строго запрещался каждому мужчине. Что же касается двух тёмных закутанных фигур, стоявших по сторонам трона, то невозможно было решить, кто это — женщины или мужчины.

Когда все дамы разместились на своих креслах, свет, озарявший зал, начал понемногу бледнеть, наконец, совсем почти померк: весь зал оказался теперь в таинственной полутьме, в лёгком дыму фимиама, в полной торжественной тишине.

Тогда Лоренца сделала знак, и две таинственные фигуры сбросили с себя закутывавшую их кисею. Они оказались красивыми молодыми женщинами в древнеегипетских костюмах.

Лоренца обратилась к дамам и сказала:

— Встаньте с ваших кресел, поднимите правую руку и обопритесь ею о колонну, которая рядом с каждой из вас. Отстегните застёжки туники на левом бедре...

Все дамы немедленно исполнили это приказание. Тогда две юные египтянки вышли на середину зала и на мгновение остановились. Слабое мерцание, озарявшее с купола то место, где они стояли, дало возможность всем дамам разглядеть, что в руках у этих красивых египтянок находятся большие сверкающие мечи. Затем египтянки стали подходить по очереди к каждой даме и шёлковыми шнурками всех их привязывали друг к другу за правую руку и за левую ногу. Таким образом, вокруг всего зала образовалась непрерывная цепь.

Когда это было исполнено, среди вновь наступившей полной тишины Лоренца возвысила голос. Никто никогда не слышал от неё ничего подобного. Она прекрасно выучила свой урок и декламировала с большим воодушевлением. Её звонкий, милый голос, как серебряный колокольчик, раздавался по залу и

уносился в глубину купола. Она говорила:

— Сёстры мои, вот вы все связаны, и это служит символом вашего положения в обществе. Как женщины, вы находитесь в зависимости от ваших мужей. Какого бы знаменитого рода вы ни были, какие бы громкие имена ни носили, какими бы богатствами ни владели — вы в цепях. Все мы с детства посвящены жестоким богам. Ах, если бы, сбросив это постыдное иго, мы сумели бы соединиться и вместе отстаивать наши права! Тогда мы бы скоро увидели наших теперешних повелителей у наших ног, умоляющих нас о снисхождении, добывающихся малейшего знака нашего внимания!

Но воинственно было только начало речи Изидиной жрицы. Скоро тон её изменился.

— Однако, — говорила она, — оставим мужчин, их ужасные опустошительные войны, их скучные и непонятные для нас законы, займёмся тем, чтобы владычествовать над общественным мнением, очищать нравы, развивать умы, помогать людям в бедах и несчастьях. Такая деятельность наша, всегда нам доступная, несравненно важнее и святее всей

мужской горделивой деятельностью!

Таково было вступление к открытию лоджи.

Когда Лоренца замолчала, все тридцать шесть дам стали восторженно ей аплодировать. Прекрасные египтянки распутали шёлковые узлы, освободили неофиток, и Лоренца объявила:

— Получите свободу и будьте свободны также и в обществе. Свобода — это первая потребность каждого создания; пусть же все силы вашего духа будут направлены к тому, чтобы её достигнуть. Но можете ли вы на себя положиться? Уверены ли вы в своих силах? Какое ручательство дадите вы мне в том, что не окажетесь слабыми? Вы должны немедленно подвергнуться испытаниям силы вашего духа!

У молодых дам так и забились сердца при этих словах. Они всё ещё продолжали с особенным нетерпением ожидать именно обещанных испытаний.

— Разделитесь на шесть групп по цвету ваших поясов, — сказала Лоренца, — и пусть каждая группа пройдёт в одну из дверей, на-

ходящихся перед вами. Знайте, что там, за этой дверью, ожидают вас ужасные испытания. Идите, мои сёстры, двери открыты, и бледная, скромная луна освещает земную природу!..

XII

Каждая из молодых дам, пройдя в указанные египтянками двери, очутилась в незнакомой и такой же таинственной, как и весь этот отель, обстановке. Обширные помещения, где увидели себя неофитки, так же, как и зал, не имели окон. Свет проникал откуда-то сверху, и свет этот действительно походил на лунный. Он придавал всем предметам, находившимся вокруг, поэтически неопределённый колорит и менял их очертания. Что это было? Не то комната, не то сад — по крайней мере, со всех сторон над возбуждёнными и любопытными молодыми женщинами свешивались древесные ветки, отовсюду выглядывали на них загадочные изображения каких-то белых мраморных лиц, ещё более загадочных при голубоватом освещении; покрытые свежим дёрном скамьи были расставле-

ны там и здесь, и лёгкие сандалии дам утопали в мягком, пушистом ковре.

Надо было только удивляться, каким образом такая фантастическая обстановка могла так скоро создаться в страсбургском отеле. Но было и ещё нечто, чему можно было гораздо более удивиться, что указывало на необыкновенную ловкость великого Копта: в две недели, назначенные дамам Лоренцей для приготовления к первому заседанию ложи Изиды, Калиостро успел ознакомиться со всеми обстоятельствами жизни молодых неопиток, проникнуть во все их семейные и иные тайны и подготовить им именно такие испытания, которые как нельзя лучше подходили к их характеру, свойствам, наклонностям и обстоятельствам их жизни.

Если бы Калиостро сразу мог расширить свой отель, чтобы вместить в него для каждой из тридцати шести дам отдельное помещение, результаты были бы, конечно, ещё поразительнее. Но это оказалось невозможным. Отсюда явилась необходимость разделить дам на группы, обозначив это разделение цветом их поясов. В этом разделении на груп-

пы прежде всего и выказалось искусство Калиостро.

Каждая группа состояла из женщин, которых можно было подвергнуть более или менее общим испытаниям. Молодые дамы оказались сразу в атмосфере своих страстей, вкусов и грешков...

Сначала они были одни в этих таинственных помещениях и все с возраставшим нетерпением ждали, что такое с ними случится.

Но вот вблизи от них, из-за зелёных ветвей, раздался шорох, и перед ними показались какие-то фигуры. Фигуры эти при своём приближении мало-помалу теряли свои фантастические очертания и даже иногда оказывались им знакомы. Некоторые из дам узнавали рядом с собою черты того человека, который был им дороже всего или которым они, по меньшей мере, были сильно заинтересованы.

Почти каждая из них должна была услышать самые страстные признания в любви, самые нежные клятвы, каких, может быть, до этой таинственной ночи они и не слышали... Но они знали, что их задача — оставаться хо-

лодными, как лёд, и все они очень храбро выдерживали это испытание. Внутреннее чувство подсказывало им, что строгость, которую они должны выказать, — не вечный обет. Таким образом, самые нежные и слабые из молодых страбургских дам оказались непреклонными...

Испытания крепости сердца были окончены; оставались ещё другие — и вот из-за тех же зелёных ветвей стали показываться дамам всевозможные призраки, чудовищного вида фигуры. Дамы, проникнутые желанием оказаться достойными посвящения и достигнуть познания таинств высшей магии, победоносно боролись с невольным страхом, только некоторые из них закрывали глаза и старались не глядеть на окружавшие их ужасы.

«Что же будет ещё?» — спрашивали себя неофитки, когда все страшные призраки исчезли и снова всё вокруг стало тихо.

Прошло несколько минут: никто не появлялся, ничто не показывалось. Тогда молодые дамы поняли, что испытания окончены, что они вышли из них победительницами. Сознание своего торжества, своей силы наполнило

их, и они устремились назад, к тем дверям, из которых пришли сюда. Они снова в зале, снова в облаках курений. Перед ними величественно прекрасная жрица Изида.

Лоренца поздравила их с окончанием испытаний и пригласила каждую поместиться на чёрном атласном кресле и отдохнуть.

Когда все разместились, вдруг наверху, в самой вышине купола, послышался странный, неопределённый звук, будто что-то треснуло, открылось. Дамы подняли кверху глаза и с изумлением увидели, как с купола спускается на огромном золотом шаре человек.

Яркий свет сосредоточился на этом явлении. Шар опустился до полу, и сидевший на нём человек оказался сам великий Копт, сам божественный Калиостро. Он был, подобно новым адепткам, в самом лёгком древнегреческом одеянии...

— Это гений истины! — воскликнула жрица Изида. — Я желаю, чтобы вы от него узнали все тайны, которые издавна стараются скрыть от женщин. Бессмертный Калиостро вмещает в себе всю мудрость веков, он знает всё, что было, что есть и что будет...

Молодые дамы знали пока одно, а именно, что великий Калиостро очень красив в своём древнегреческом наряде. Он принял грациозную позу на золотом шаре и обратился к прелестному собранию.

— Дочери земли! — воскликнул он. — Магия, истинная магия, о которой ходят такие разноречивые слухи, на которую давно уже так клеветают, в сущности, есть не что иное, как секрет делать добро человечеству. Магия — это посвящение в таинства природы и власть пользоваться этими таинствами по своему усмотрению. Вы не можете более сомневаться в магических силах. Силы эти переходят предел возможного, и это было вам доказано в только что пройденных вами испытаниях. Каждая из вас видела того, кто близок и дорог её сердцу, говорила с ним, а между тем ведь вы говорили только с призраками, только с тенями, созданными магией, а не с живыми людьми! Вы видели только образ человека, а не самого человека. Когда вы отсюда выйдете и встретитесь с теми, кто, как вам казалось, был так от вас близок несколько минут тому назад, спросите их, и вы убедитесь

тес, что эти дорогие вам люди не имеют ни малейшего понятия о том, где вы находились сегодня и кого видели. Таким образом, не сомневайтесь более в могуществе магии и по возможности чаще являйтесь в этот храм, где самые удивительные тайны будут вам открыты. Первое посвящение, пройденное вами, очень хорошее предзнаменование для вас. Вы доказали, что достойны быть посвящёнными в высочайшие тайны, узнать великую истину, но я вам буду сообщать её не сразу, а понемногу, по мере того как вы будете в состоянии воспринимать её отдельные части. На сегодня узнайте только одно, что высочайшая цель египетского масонства, догму и ритуал которого я перенёс сюда из самой глубины Востока, — это счастье человечества, беспредельное счастье! Всякий посвящённый египетский масон, мужчина или женщина, непременно пользуется таким беспредельным счастьем. Оно состоит равно в душевной ясности, в удовольствиях разума и наслаждениях тела. Такова эта высокая цель. Для достижения её знание открывает нам тайны. Знание проникает всю природу, и такое зна-

ние — магия. Пока не спрашивайте меня ни о чём больше, живите счастливо, любите мир и гармонию, обновляйте дух ваш нежными волнениями... Любите добро и делайте его сколько можете, всё остальное ничтожно!

Окончив эту речь, божественный Калиостро снова поднялся на своём золотом шаре и исчез в глубине купола. Теперь яркий свет озарил зал. Внезапно пол посередине ушёл вниз, и перед изумлёнными взорами дам поднялся, как по волшебству, большой длинный стол, роскошно сервированный и уставленный самыми тонкими кушаньями и винами. Серебро так и блестело; хрусталь так и переливался цветами радуги; букеты душистых цветов, поставленные в прекрасных вазах, наполняли зал новыми ароматами. Две проворные египтянки, отбросив свои страшные мечи и приветливо улыбаясь, поставили к этому волшебному столу кресла и приглашали дам садиться.

Лоренца тоже любезно улыбалась. Она заняла своё место во главе стола, и таким образом начался самый изысканный и весёлый ужин. Непосвящённые отбросили свою

неловкость, свои страхи. Несколько глотков чудесного вина оживили их, вселили в сердца их радость; искренний смех раздался под таинственными сводами храма. Вдобавок ко всему неведомо откуда вдруг раздались звуки музыки, а когда ужин был окончен, волшебный пол снова опустился, и пол зала оказался на своём месте, две египтянки превратились в искусных танцовщиц. Они протанцевали перед страсбургскими дамами все древнеегипетские и иные восточные танцы, в которых, может быть, и мало было древнего, египетского и восточного, но которые дамам всё же очень понравились.

Эти таинственные египтянки, очевидно, обладали большими способностями: они прекрасно умели говорить по-французски и объясняли молодым адепткам всю свою родословную. Оказалось, что каждой из них, несмотря на видимую их юность, по несколько тысяч лет и что они уже существовали и так же точно танцевали во времена первых фараонов.

Когда наконец все удовольствия были окончены, Лоренца улыбнулась и весело ска-

зала:

— Я должна извиниться перед вами, мои дорогие гости, быть может, вы недовольны, и, конечно, имеете на то право, вы, наверное, ожидали гораздо большего, гораздо более серьёзного. И вот ваше первое посвящение окончилось хорошим ужином, музыкой и танцами! Я обещала вам первый урок магии; если вы недовольны этим уроком, покиньте ложу Изиды; если довольны — я готова всегда, по первому вашему желанию, продолжать подобные уроки!

Прекрасная Лоренца все милее и милее улыбалась. Её хорошенькие глаза так и ласкали всех этих адептов, и горячая маленькая рука, украшенная дорогими кольцами и браслетами, крепко сжимала их руки. Вся фигура Изидиной жрицы дышала очарованием и симпатичностью.

Не нашлось ни одной из тридцати шести адептов, которая бы выразила ей своё недовольство. Все оказались в восторге и от посвящения, и от урока магии — одним словом, от всего этого вечера. Горячими рукопожатиями и поцелуями благодарили страсбургские

дамы графиню Калиостро, прося её только об одном, чтобы заседания великой ложи Изиды происходили как можно чаще.

Она обещала им это.

Было уже три часа ночи. Дамы поспешили снять с себя свои туники и переодеться в те платья, в которых сюда приехали...

Адептски египетского масонства вернулись домой совсем очарованными. Дамской ложе Изиды предстояло в Страсбуре прочное процветание.

XIII

После подобного рода проделок и великолепно организованных зрелищ Калиостро оставался в полном спокойствии своей совестью. Он искренне находил, что не делал этим никому вреда, а напротив — доставлял глупым людям удовольствие, а себе, кроме удовольствия, и пользу.

Но он не мог избавиться от одного ощущения, находившего на него почти всегда после таких удовольствий, даже если они оканчивались не только морочением людей, но и доводили его самого до вдохновения, до самооб-

мана — он утомлялся, ему становилось душно в этой низменной, мёртвой атмосфере. Все лучшие стороны его духовного организма болезненно трепетали и требовали для себя простору, требовали деятельности в иной, высшей сфере.

И он спешил в эту иную, высшую сферу. Он запирался в самых далёких, никому не доступных комнатах своего отеля, соединённых маленькой дверцей с его спальней и будуаром Лоренцы. Здесь, чувствуя близость любимой женщины и в то же время в полной тишине, в полном уединении, он оказывался окружённым горами книг, бумаг и всевозможными предметами, необходимыми для производства различных химических опытов и работ.

Он сбрасывал с себя свой роскошный костюм, сверкавший золотом и драгоценными камнями, снимал все свои перстни, цепочки, кружева. Снимал наконец с головы свой искусно завитой парик, надевал простую рабочую блузу и превращался в совсем нового человека, в такого человека, каким никто никогда не знал и не видал его, кроме Лоренцы.

Это был уже не граф Калиостро, не граф Феникс, не великий Копт, не современник Александра Македонского, а Джузеппе Бальзамо. И опять-таки это был не тот юный Джузеппе Бальзамо, которого двадцать лет тому назад знали в Сицилии и в Италии. Это был человек настолько могучий плотью и духом, что вся беспорядочность, все мытарства и низкие деяния его жизни как-то сглаживались, придавливались горячей и плодотворной работой лучших сторон его разума и духа.

В своей рабочей блузе, с гладко обстриженной головой, с задумчивым, сосредоточенным выражением умного и красивого лица, этот новый Джузеппе Бальзамо являлся замечательным, вдохновенным учёным, талантливым учеником оккультистов всех направлений, страстным искателем тайн природы, исследователем и знатоком древних наук — алхимии, каббалистики, астрологии.

Его познания во всех этих предметах были гораздо глубже, чем это могло казаться сразу, судя по тем незамысловатым приёмам и по тем вовсе не глубоким речам, которыми он обыкновенно морочил людей. Но дело в том,

что он слишком высоко ценил истинное знание, для того чтобы профанировать его в сношениях с глупцами. Он находил, что для этих глупцов достаточно всякого вздору и мишуры, и почти никогда не показывал настоящего золота своих знаний. Это золото берег он для самого себя и для тех редких случаев, когда его аудитория состояла из настоящих знатоков.

Калиостро принимался за работу страстно, увлекался ею, ловил, где только мог, зерна новых знаний. Ему удавалось иногда добывать эти зерна, но в конце концов он видел, что их всё же слишком мало, что не сложить ему из этих зёрен целую гору, взобравшись на которую можно окинуть орлиным оком все явления мироздания.

Ещё в не очень давнее время ему страстно хотелось взобраться на такую гору. И он пошёл к таким людям, которые могли помочь ему в этом великом деле. Он пошёл к розенкрейцерам и убедился, что там, на вершине розенкрейцерской лестницы посвящений, должно быть, действительно хранятся величайшие тайны. Но подняться по этой лестни-

це — значило навеки отказаться от всех радостей жизни, от всего, без чего он не мог существовать.

И вот он оказался ренегатом и навлёк на себя справедливый гнев розенкрейцеров. Он знал, что один неловкий шаг его, одно вырвавшееся из его уст слово — и он не избегнет их страшного мщения. Но он вовсе не желал их выдавать, ему этого было не надо. Он просто добровольно отказался от возможности дальнейших посвящений. А те тайны природы, которые были ему открыты, он узнал иным путём. Он узнал эти тайны в своих не фантастических, а действительных путешествиях по Востоку. Он изучал их, будучи внимательным учеником знаменитого, уже умершего каббалиста, которого он называл Альтотасом.

Наконец, он и теперь, не только в теории, но и на практике, изучил многие тайны природы с помощью Лоренцы. Она, сама того не зная, давала ему полные смысла и значения уроки, она открывала ему неведомые способности души человеческой, помогала ему иной раз быть действительно бесконечно выше

всего окружающего, видеть, не трогаясь с места, всё, что творится на земном шаре, видеть и знать не только настоящее, но и будущее.

Иногда до глубокой ночи засиживался Калиостро в своей лаборатории, и ни малейшего движения, ни малейшего шороха не слышалось вокруг него. Иногда случалось так, что среди самой горячей работы он вдруг останавливался, покидал книгу или какую-нибудь реторту — и начинал чутко прислушиваться.

Он слышал шаги, шаги приближались. Маленькая дверца неслышно отпиралась, и перед ним появлялась Лоренца. Он весь превращался во внимание и при первом же взгляде на жену уже знал, кто перед ним: Лоренца или Серафина. Лоренца — это была любимая им жена, которая проснулась и, убедясь, что уже поздний час ночи, а муж ещё работает, встала и пришла к нему просить его прекратить работу и лечь спать. Серафина была та же Лоренца, но уже превращённая в совсем иное существо. Она тоже встала и пришла сюда, но она вовсе не здесь, а где-нибудь далеко, и он может послать её во все пределы земно-

го шара, и она мгновенно очутится, где ему угодно, и скажет ему всё, что видит, всё, что делается там, куда он послал её.

С этой Серафиной для него не существует пространства и времени, он видит тех и других людей, которые так или иначе его интересуют, знает все их поступки, все их намерения, даже помыслы. С помощью этой дивной Серафины для него нет тайн — и он является действительно могущественнейшим человеком.

Одна беда лишь в том, что не всегда Лоренца способна становиться Серафиной и что он не имеет средств всегда, когда того хочет, приводить её в состояние этого полного ясновидения. Он всегда может усыпить её и в состоянии такого усыпления заставить тем или иным способом служить своим целям. Но подобное усыпление совсем не то. Оно ничто в сравнении с её ясновидением.

Иногда задаётся такое время, что Лоренца в течение недель двух-трёх каждую ночь превращается в Серафину; иногда проходят месяцы — и Серафина ни разу не является. Эти-то месяцы отсутствия Серафины всегда и быва-

ли трудным временем для Калиостро. В эти-то месяцы обыкновенно и случались в нём всякие невзгоды.

В последнее время, во всё время пребывания в Петербурге, Серафима не существовала. Появляйся она, вероятно, не было бы фиаско, испытанного им в северной столице. Зная всё, он сумел бы восторжествовать над всеми кознями своих недоброжелателей, над нерасположением императрицы Екатерины и даже, наконец, над силою великого Розенкрейцера. Будь Серафима в Петербурге, он показал бы тамошним адептам египетского масонства такие чудеса, что все они безвозвратно сложили бы у ног его и свою жизнь, и свою душу, и все свои миллионы.

Но Серафима не являлась. Она явилась один только раз — по пути из России в Страсбург, и это её появление имело огромные последствия. Несколько богатейших масонских лож, благодаря Серафиме, то есть благодаря невероятным познаниям и могуществу графа Калиостро, доказанным им публично, в заседаниях лож, превратили все эти ложи в его собственность.

Здесь, в Страсбуре, Серафина тоже уже несколько раз появлялась, хотя эти явления её были и очень кратковременны, иногда продолжались всего две-три минуты, так что Калиостро не успевал узнавать от неё всего, что ему было надо...

Через несколько дней после первого заседания женской ложи Изида, когда Калиостро, по обычаю, работал ночью в своей лаборатории, дверь отворилась и перед ним появилась Серафина. Он осторожно подошёл к ней и спросил её:

— Где ты, Серафина?

— Я по дороге в Петербург, — отвечал нежный голосок Лоренцы.

— Хорошо, спеши скорей туда.

— Я уже там... Вот Нева... Вот улицы Петербурга... Куда мне теперь?

— В дом князя Захарьева-Овинова, — сказал Калиостро. — Где он, что он делает?

— Его нет в доме, — отвечала Лоренца. — Его нет в Петербурге, он уехал... он спешит по Германии, он в Нюренберге...

— Зачем?

— Постой... Вижу!.. Он спешит на заседа-

ние... к старым, учёным, сильным людям... Это такое важное заседание, и на нём должны решиться большие вещи...

— Будет ли это заседание иметь какое-нибудь отношение ко мне? Будет ли Захарьев-Овинов говорить обо мне? — не без волнения спросил Калиостро.

— Да, будет.

— Что же мне грозит?

Серафина на мгновение замолчала.

— Вижу! — вдруг радостно воскликнула она. — Тебе нечего бояться... Он совсем другой стал... Он тебе не враг... Жалеет тебя, даже любит... Он всех любит и даже всех жалеет... О, какая в нём борьба идёт... То свет в душе, то мрак...

— Тебе надо ехать! — внезапно прибавила Серафина.

— Куда?

— В Нюрнберг.

— Это в Нюрнберге будет заседание?

— Да, и там будет... только он спешит в другое место... в другое заседание... к старикам.

— Где же это?

Но Серафина уже исчезла. Калиостро едва успел подхватить падавшую Лоренцу и снёс её в спальню. Она спала теперь естественным, спокойным сном.

На следующее утро, прочитывая свою корреспонденцию, Калиостро увидел письмо, печать которого ему была знакома. Он быстро разорвал конверт и прочёл латинские строки, где значилось:

«Годичное собрание в N. О месте будет сообщено своевременно. Приезжай, если помнишь клятву, данную учителю. Albus».

Калиостро уже ничего не страшился. Он был спокоен. Через день в Страсбуре узнали, что благодетель человечества куда-то уехал, но вернётся в самом непродолжительном времени.

XIV

Один из диких уголков южной Германии. Кругом лес и горы. Мимо скал, пропадая в расщелинах, исчезая в глубине леса, поднимаясь по кручам и лепясь у оврагов, тянется мало кому ведомая дорога. До ближайшего города далеко — скорой езды не менее двена-

дцати часов. Два-три бедных селения с какой-нибудь сотней жителей-горцев, ничего и никого не знающих, кроме своих односельчан, кроме своего леса и горы, только и нарушают полное безлюдье этой местности.

Редкий путешественник, какой-нибудь студент, слишком засидевшийся и заучившийся и во время летних вакансий задумавший сделать путешествие пешком в глубь дикой горной страны, зайдя сюда, останавливается и спрашивает себя: «Куда же дальше?» Вековые ели и поросшие мхом скалы остаются безмолвными на этот вопрос, да и бедный горец, встретясь студенту, немного ему скажет.

Он скажет ему: «Да куда ж тут! Тут идти некуда — тут горы...»

— А дорога эта куда ведёт?

— Дорога-то? Идёт она к Небельштейну.

— Что это такое — Небельштейн?

— А вот та гора, это и есть Небельштейн.

Там был замок баронов фон Небельштейнов, а теперь от него почти ничего и не осталось.

— И никто не живёт там?

— А кто его знает! Старик там какой-то, по-

жалуй, даже и два старика, только их почти никто никогда не видит, да и неведомо, кто такие те старики... Думать о них совсем не след — ещё неравно беду на себя какую накличешь... Колдуны там живут — вот что! Чертовщина всякая творится в старом замке...

И горец так сумеет напугать вовсе не робкого студента, что тот уложит в сумку свою храбрость, свою жажду приключений и любовь к неизвестному — и повернёт с едва обозначенной, заросшей травой дороги в места менее дикие, более интересные, более заманчивые для молодого воображения.

Проходят годы. Всё так же тихо, пустынно и уединённо вокруг Небельштейна. Умерли старики колдуны или нет? Как живут они там, отрешённые от всего мира? Или, может, их нет совсем и существуют они только в воображении горцев?

Нет, по-прежнему развалины старого замка обитаемы. Если бы студент, смущённый горцем, всё же решился бы взобраться на вершину Небельштейна, то он увидел бы, что и сама дорога, чем ближе к вершине, становит-

ся все лучше и лучше, он увидел бы на одном из лесных поворотов, перед собою, чрезвычайно оригинальную и красивую картину старого замка, со всех сторон обросшего елями и густым кустарником, высеченного в скале, и то там, то здесь выглядывающего то древней бойницей, то округлостью колонны, то готическими, узорными, будто кружевными, окнами. В часы тихой глухой ночи он заметил бы то там, то здесь струйку неверного, мерцающего света, исходящую из почти совсем закрытых зеленью окон...

Впрочем, только это и мог бы он увидеть, так как если бы захотел проникнуть в самый замок, то это никак не могло ему удастся. Сколько бы ни стучался он в глухо запертые старые железные двери — никто не откликнулся бы на стук его.

Для того чтобы узнать, что такое происходит в замке и кто его обитатели, надо было выломать эти двери, а такая работа была бы не под силу и нескольким крепким людям, да никто ни о чём подобном и не думал...

Но, видно, и у старых колдунов старого замка бывают иной раз гости. Вот тихим, но

холодным вечером какой-то всадник приближается по заросшей дороге к замку Небельштейну. Бодрый конь, видимо, притомился — немало часов везёт он всадника, всё вперёд и вперёд, по лесам и горам, поднимаясь выше и выше. И всадник, должно быть, хорошо знаком с местностью: не смущают его никакие препятствия, не останавливается он, а только объезжает извилистыми тропинками встречные селения, чтобы с кем-нибудь не встретиться.

Последнее человеческое жильё осталось позади. Скоро полная темнота окутает горы, а всадник и не думает об этом. Темнота застигла его в лесу, но он уверенной рукой направляет своего коня и, наконец, поднимается к самому замку. Он подносит ко рту свисток, и пронзительный, какой-то странный, необычный свист оглашает пустынную окрестность.

Раз, два и три — три раза звонкие, вызывающие звуки прорезали застывший ночной воздух, проникли всюду, и вот среди нависших еловых ветвей, дикого кустарника и густых, засохших уже, по времени года, вьющихся растений мелькнул свет. Послышался

лязг и скрип отворявшейся тяжёлой железной двери. На пороге этой двери появился с фонарём в руке сторбившийся старик с длинной седой бородою. Он приподнял руку к глазам, заглядывая во мрак.

— Добро пожаловать, господин! — воскликнул он старческим, но ещё бодрым голосом. — Добро пожаловать! Час уже поздний, немного осталось часовой стрелке пройти до полуночи, до полуночи великого нынешнего дня!

— Здравствуйте, друг мой Бергман! — ответил всадник, спрыгивая с коня. — Напрасно боялись вы, что я не приеду.

— Не боялся я... — как-то нерешительно проговорил старик, — а только... только час уже поздний! Дайте-ка лошадь, я проведу её на конюшню, а сами берите фонарь и идите прямо, знаете куда, они уже в сборе. С утра уже в сборе... и все ждут вас.

Всадник передал старику коня, принял из рук его фонарь и вошёл в дверь. Когда свет от фонаря озарил лицо его, в этом таинственном посетителе старого замка легко было узнать Захарьева-Овинова.

Он поднялся по знакомой ему узкой каменной лестнице и невольно остановился. Целый рой воспоминаний нахлынул на него в этих старых вековых стенах, где провёл он самое знаменательное время своей жизни. Сердце его как-то защемило, едва слышный вздох вылетел из груди его. Но вдруг он выпрямился, поднял голову и твёрдой поступью пошёл вперёд по длинному сырому коридору, где гулко раздавались его шаги.

Вот небольшая дверь в глубине коридора. Он повернул ручку, отворил дверь и вошёл. И снова рой старых воспоминаний как будто бы налетел на него, охватил его со всех сторон и стал добираться до его сердца. Но это было одно мгновение.

Он сбросил свой плащ, свою шляпу и спешным шагом направился в глубину обширной, слабо озарённой комнаты. Четверо людей поднялись ему навстречу, но он уже был у старого высокого кресла, в котором сидел величественного вида старец. Он склонился с сыновним благоговением к руке этого старца, крепко её целуя.

— Привет тебе, сын мой! — раздался над

ним знакомый голос, и этот голос тёплой волною пробежал по всему его существу.

Он поднял голову, их взоры встретились, и несколько мгновений они остались оба неподвижными в крепком объятии друг у друга.

Наконец Захарьев-Овинов также крепко обнялся и с четырьмя присутствовавшими лицами.

— Отец! — затем сказал он. — Братья мои! Извините меня, если я заставил себя ждать. Я сделал, что мог... да и, наконец, сегодняшней день ещё в нашем распоряжении.

— Нет, — произнёс старец, — тебе не в чём извиняться. Мы тебя ждали, твёрдо зная, что если ты жив, то явишься ныне раньше полуночи... и ничто нам не указывало на то, что тебя нет в живых. Садись на своё место.

И он указал ему своей тонкой, иссохшей рукой на кожаное кресло рядом с собою.

Захарьев-Овинов сел, и ещё раз его быстрый, блестящий взгляд остановился на этих дружественных лицах, озаряемых светом большой лампы, поставленной на стол.

Да, все в сборе. Вот маленький француз Роже Левек, всё с теми же ясными голубыми

глазами, все с той же глубокой морщиной, пересекающей лоб. Он, как и всегда, в своей тёмной и скромной одежде, в которой, наверно, недавно ещё можно было его видеть в Париже, на левом берегу Сены, в его запылённой лавочке букиниста. Рядом с ним важный, величественный барон Отто фон Мелленбург. По другую сторону стола профессор Иоганн Абельзон, крошечный, юркий, проворный и привычно то и дело вертящийся на своём кресле и сверкающий могучими, так и проникающими вглубь души глазами. Вот и старый граф Хоростовский, почти неестественно тощий, с тонкими ввалившимися губами, с беспокойным и умным выражением старческих слезящихся глаз.

Все в сборе, все сразу кажутся такими же, какими были они в последнее годовое заседание, в этой же самой комнате, а между тем Захарьев-Овинов видел в них большую перемену. Перемена была и в прекрасном старце. Он как будто осунулся и, не изменявшийся долгие годы, будто сразу постарел.

На всех лицах была заметна как бы тень печали.

Захарьев-Овинов откинул голову на спинку кресла. Вся его поза указывала на некоторое утомление. Он испытующим, невесёлым взглядом обводил присутствовавших.

Старый Ганс фон Небельштейн вынул из кармана маленький золотой ящичек, открыл его и протянул Захарьеву-Овинову. Тот молча взял из ящичка кусок какого-то тёмного вещества и положил его себе в рот. Между тем старец говорил:

— Прими, мой сын, это угощение. По счастью, для подкрепления человеческих сил после долгого пути, для уничтожения чувства усталости, голода и жажды нам не надо накрывать на стол, подавать всякие кушанья, приготовленные из мяса убитых животных, и вина, действие которых так или иначе, в большей или меньшей степени, а всё же всегда нездорово и нежелательно отзывается на человеческом организме. Мы можем ограничиться маленьким кусочком этого чудесного тёмного вещества, заключающего в себе чистейшую эссенцию лучших целебных и могу-

чих произведений природы. Если тебе недостаточно одного кусочка — возьми ещё. В моей лаборатории только что изготовлен свежий запас этой чудной пищи, поддерживающей мои старые силы.

Но Захарьев-Овинов отрицательно покачал головою. Он уже чувствовал во всём теле свежесть и бодрость, как будто не ехал весь день и весь вечер верхом, почти не останавливаясь, как будто не провёл более суток безо всякого питья и пищи. О, если б вместе с этою бодростью и свежестью тела маленький, ароматный кусочек, таявший теперь на языке его, мог наполнить и сердце его такую же бодростью, вернуть ясность и спокойствие душе его!.. Но душа его оставалась беспокойной, и тоска сжимала сердце.

— Отец, — медленно сказал он, — этой пищи даже слишком достаточно для моего тела, но дух мой смущён, и такое же точно смущение замечаю я и в тебе, и в братьях. Недавно, в дороге, занялся я комбинациями чисел и знаков, вспомнил твои первые уроки, данные мне здесь, в этой комнате, за этим столом. В результате моей работы оказалось нечто, не

совсем для меня понятное, ибо, как всем нам известно, каждая работа с числами и знаками приводит к ясному выводу только тогда, когда мы можем подписать его с помощью нашего разума. Мой же разум в последнее время иногда останавливается и говорить не хочет. Но я знаю, и вы, конечно, это знаете, что нынешний день не походит на прежние подобные дни, что он имеет особенное, исключительное значение в нашей общей жизни, в деле, которому мы служим, быть может, и в целой судьбе человеческого знания. Вот это все мне сказал мой разум, это все я ещё яснее понимаю теперь, глядя на вас...

Ганс фон Небельштейн опустил свою прекрасную старческую голову и в то же время глаза его грустно и пытливо глядели на Захарьева-Овинова.

— Великий брат! — воскликнул Абельзон. — Ты продолжаешь наш разговор, прерванный твоим появлением. Мы именно остановились на том, что ты сейчас высказал. Мы все знаем и чувствуем то, что ты знаешь и чувствуешь, и мы спрашивали нашего отца, что это значит? Ты вошёл — он не успел нам

ответить. Теперь, отец, когда к вопросу нашему присоединился и носитель знака Креста и Розы, прерви своё молчание, открой нам то, предчувствие чего нас всех так тревожит!

— Сегодняшний день или, вернее, эта ночь всё вам откроет, — ответил старец, — я же, пока ещё не совершилось то, что должно совершиться, не могу сказать вам ничего больше. Вам известно, что я не всеведущ, что если я и могу читать ясно в грядущей судьбе, то столь же ясно и твёрдо знаю, как тому учил и всех вас и в чём сами вы убедились, что судьба не уничтожает свободы воли в человеке.

Все вы знаете, что в великой книге природы все написано широкими общими чертами. В этой книге указаны пути, по которым струится мировая жизнь, но воля человека не изменяя основных, предвечных законов, может направлять и сглаживать различные течения жизни, может производить более или менее значительные видоизменения в судьбе. И уже в особенности способна на это воля людей, которые, подобно нам, сумели разгадать загадки великого Сфинкса, которые не раз видели, какую беспредельной творческой силой

обладает воля, если она действует в гармонии с божественными законами...

Таким образом, я знаю судьбу сегодняшнего дня только условно. Не станем же упреждать событий, которых мы сами должны быть главнейшими двигателями. Не будем терять времени на отвлечённую беседу...

Но раз мы все проникнуты сознанием, что нынешнее собрание наше особенно знаменательно, что нам предстоят самые великие решения, — сосредоточим же всё внимание наше на прошлом братства, взглянемся в его настоящее, и только тогда мы познаем и решим будущее, ибо, как известно вам, будущее есть непреложный, безошибочный результат прошедшего и настоящего...

XVI

— **М**ы здесь вдали от всего, что так или иначе может мешать нам, — продолжал он после некоторого молчания, — слова наши никогда не коснутся слуха непосвящённых. Мы здесь в полном единении истинного братства, родства не по плоти, а по духу. Вы называете меня своим отцом, а я вас называю

своими сынами. Заглянем же вместе в далёкую глубь времён... Вы знаете, какие разноречивые рассказы и слухи ходят о нашем братстве и как мало правды во всех этих слухах и рассказах. Нам же ведома истина. Ни я, когда ещё вращался в миру, ни вы не способствовали распространению того мнения, будто общество розенкрейцеров существовало в доисторические времена Гермеса Тота, что оно процветало при царе Хираме и при Соломоне. Никто из нас не говорил посвящаемым братьям, что оно основано Розенкрейцером, родившимся в 1378 году и умершим ста шести лет в 1484 году...

Мы знаем, что название нашего братства происходит не от имени Розенкрейцера, а от креста, центр которого состоит из кругов, расположенных подобно лепесткам розы, и что наша крестовая роза есть величайший символ, взглянув на который мы наглядно видим все тайны природы, заключённые в этом символе...

Мы знаем, что своей настоящей, до сего дня существующей организацией братство наше обязано мудрому Валентину Андрэе из

Вюртемберга, который в первый раз председательствовал в заседании учителей-розенкрейцеров в 1600 году. Заседание это происходило здесь, в этом старом замке Небельштейне, в этой комнате, где мы теперь находимся. С тех пор, вот уже сто семьдесят лет, в этой комнате ежегодно происходят подобные заседания. Вот уже семьдесят лет, как я принял высшее посвящение и духовную власть главы розенкрейцеров из рук моего дяди Георга фон Небельштейна и собственноручно опустил в никому не ведомую могилу прах этого великого учителя... Тогда мне было тридцать лет, теперь мне — сто десять...

Он остановился, и видно было по лицу его, что перед ним воскресли, ожили давние воспоминания.

— Мы знаем всё это, — сказал Захарьев-Овинов, — но ведь во всех, даже и прерватных толках о нашем братстве заключается много истины. Во всяком случае, хотя братство и создано сравнительно в недавнее время, мы прямые наследники древнейших мудрецов и чувствуем свою связь с ними, мы учились в одной общей школе и с Соломоном,

и с Пифагором, и со всеми смелыми мужами, разгадывавшими загадки Сфинкса, срывающими покровы с Изиды и понимавшими таинственный смысл символа Креста и Розы...

— Конечно, — сказал старец, — истина едина, и всякий, кто сумел открыть хоть частицу её, был, есть и будет наш брат. В этом смысле розенкрейцеры всегда существовали, существуют и будут существовать, пока не исчезнет человечество. И всегда, в силу высшего закона, подобные розенкрейцеры легко будут приходить, когда того пожелают, в общение друг с другом и помимо всякого организованного братства...

Но я теперь говорю именно об организованном обществе, во главе которого нахожусь и которое имеет определённые задачи и цели. Это величайшее из человеческих учреждений, находясь во времени и пространстве, может быть подвержено случайностям. Наша обязанность — охранять его от всяких случайностей, беречь его тайну, строго и неусыпно следить за тем, чтобы каждый из посвящённых, от самого слабого ученика и до учителя, исполнял свои обязательства. Наша обязан-

ность — отыскивать людей, способных стать истинными розенкрейцерами, помогать им, развивать их, следить за ними. Наконец, наша обязанность — карать изменников, ибо человек, владеющий великими тайнами природы, открытыми ему нами, и злоупотребляющий своими познаниями, должен погибнуть, для того чтобы из-за одного преступника не погибли тысячи невинных. Вы знаете, что деятельность главы нашего братства, не требуя от него передвижений, требует, однако, много времени, много сил, большую затрату сил!..

Пока я был в состоянии — я исполнял все мои обязанности, до сего дня я знаю всё, что относится к братству, за всем слежу; я не упустил ничего, и деятельность каждого брата, какова бы ни была степень его посвящения и где бы он ни жил, мне известна. Я направляю и укрепляю достойных или посредством инструкций, даваемых мною одному из вас, учителей, или иными, известными мне способами. Но мне сто десять лет и, хотя я ещё могу жить и работать, у меня уже не прежние силы, я уже становлюсь слишком слабым для

исполнения обязанностей главы братства. В этом для вас нет ничего нового. Вы знаете, что мне пора передать мою власть в более крепкие руки. Сегодня мы собрались здесь, прежде всего, для этой передачи. Я открыл заседание, но закрыть его должен новый глава розенкрейцеров...

Старец замолчал и пытливый, строгим взглядом впился в глаза Захарьева-Овинова, на которого пристально глядели и учителя. Но никто из них ничего не прочёл на внезапно будто застывшем, будто окаменевшем лице великого розенкрейцера.

Старец заговорил снова:

— Мой преемник известен, и преемство в среде нашей происходит не в силу желания или нежелания нашего, а по праву истинного знания, сил и внутренних качеств...

— Вот человек! — дрогнувшим голосом воскликнул он, указывая на Захарьева-Овинова. — Вот человек, давно, с детства своего предназначенный для великой власти! Мы следили за ним, привлекли его к себе, и с нашей помощью он быстро поднялся по лестнице посвящений. Все испытания пройдены им,

и ещё недавно он одержал огромную, последнюю победу над материальной природой...

Снова остановился старец, и взгляд его так и впивался в Захарьева-Овинова, силясь проникнуть в глубину души его и прочесть в ней всё, до самого дна. Но великий розенкрейцер запер свою душу, и старец тщетно стучался в эти до сих пор всегда открытые для него двери.

— Да! — почти с негодованием произнёс он. — Час настал! Мои силы ослабели... его силы возросли... Я готов передать ему власть мою и провести остаток дней моих в ничем уже не возмущаемой тишине... Сын мой, где знак твоего великого посвящения?

Захарьев-Овинов поднялся со своего кресла, быстро расстегнул на груди свой камзол, и чудный знак Креста и Розы сверкнул своим таинственным, непонятным светом.

— Светоносец! — едва слышно прошептал старец, в то время как четверо учителей встали со своих мест и почтительно, но также и с каким-то как бы ужасом поклонились великому розенкрейцеру. — Светоносец! Готов ли ты принять ныне власть из рук моих? Ты зна-

ешь, как страшна эта власть для тех, против кого она должна направляться, какими могучими средствами она владеет, и ты знаешь также, что ещё более страшна она для того, кто облечён ею, ибо эта высшая, могущественная власть налагает и высшие, самые тяжкие обязанности... Ещё недавно мне нечего было говорить тебе об этом и спрашивать тебя, согласен ли ты занять моё место... Теперь же, — прибавил он грустным и в то же время негодующим тоном, — приходится спрашивать...

— Отчего? — произнёс Захарьев-Овинов тем холодным, металлическим голосом, от которого странно и холодно становилось на душе у слушателей.

— Отчего?.. Праздный вопрос!.. Хорошо бы я был отец, хороши были бы они учителя, если б нам не было ведомо, что ты способен отказаться... Что ж! У всякого человека свободная воля... а у тебя её много, больше чем у других... Мы ждём твоего ответа.

На несколько мгновений под древними низкими сводами воцарилась глубокая тишина. Побледневшее лицо старца выражало

скорбь. Четверо учителей, тоже бледные, за-
таив дыхание, ждали.

Захарьев-Овинов сделал шаг и склонился
перед старцем.

— Отец!.. Передай мне бремя твоей вели-
кой власти! — твёрдым голосом сказал он.

XVII

Гансу фон Небельштейну и учителям пока-
залось, что они не так слышат.

Он... он не отказывается?.. Он так прямо и
твёрдо принимает власть?.. Как будто он всё
тот же, каким был год тому назад... Что же это
значит? Ведь все они были почти уверены в
его отказе, готовились к нему. Им предстояло
потребовать от него полного отчёта, полной
исповеди и затем общими усилиям поста-
раться успокоить его сомнения, его непонят-
ное душевное возмущение и снова вернуть
его на тот путь, по которому он так победо-
носно шёл всю жизнь, и где ему предстояло,
подобно солнцу, светить всему миру, жажду-
щему истинного познания.

Но они знали всю силу его духа, всю его
твёрдость, и борьба с ним страшила их, и они

тревожно помышляли о том, что будет, если они потерпят поражение... Их знания оказались неполными... они неясно прочли в душе его... Он согласен!..

С невольным криком радости все они кинулись к великому розенкрейцеру. Трепещущий старец поднялся со своего кресла и обнял Захарьева-Овинова.

— Ведь я говорил, — торжественно произнёс он, — что воля человека видоизменяет судьбу! Не думаю я, что мы совершенно избавились от грозной опасности, но всё же самое страшное нас миновало: мы не услышали его отказа... его воля явилась победительницей над всеми враждебно и мрачно складывавшимися электромагнитными влияниями. Итак, сын мой, я иду на покой и уступаю тебе своё место... Но... ведь то, что произойдёт сейчас... оно бесповоротно. Акт передачи власти в нашем братстве — величайший акт, как велика и сама власть. Я отказываюсь от власти своей не по своему желанию, а потому что не могу, не в силах сохранить эту власть. Кроме тебя, никому я не вправе передать её, ибо никто её не вынесет, и если б я вздумал назвать

своим преемником не тебя, а кого-либо другого, то это были бы пустые слова, и только.

— Мы все очень хорошо и давно это знаем, — сказал Захарьев-Овинов. — Разве я мог выразить своё согласие так легкомысленно? Я принимаю власть главы розенкрейцеров в силу своего права, в силу того, что пришёл час свершиться этому.

И старик, и учителя вздохнули полной грудью: до этих слов они всё ещё почти не смели верить.

Ганс фон Небельштейн ступил шаг по направлению к одной из стен комнаты — и вдруг часть этой стены мгновенно как бы осела, и среди огромных старых камней образовалось довольно значительное отверстие. В нём помещалось несколько десятков старинных фолиантов и ряд свёртков пергамента.

— Вот, — сказал старец, подходя к отверстию и вынимая оттуда один свёрток пергамента, — здесь хранятся у меня самые редчайшие книги. Некоторые из них чудесным образом, ибо слепого случая не бывает в природе, уцелели от пожара Александрийской библиотеки, другие достигли моего старого замка по-

сле многих столетий скитаний по всему миру, из глубины древней Азии. Третьи, наконец, суть творения ведомых и неведомых мыслителей Средних веков. Затем в этих свёртках собраны все документы, относящиеся к нашему братству с первого дня его основания. Здесь хранятся списки всех братьев, их *curriculum vitae*, здесь, наконец, три акта передачи верховной власти, скреплённые подписями свидетелей. Уже почти год тому назад я приготовил четвёртый акт, по которому передаю свою власть носителю знака Креста и Розы...

Он развернул свёрток, бывший у него в руках, и громко, торжественно прочёл его. В этом акте, написанном по-латыни, значилось, что «глава всемирного братства розенкрейцеров, барон Ганс фон Небельштейн, ученик и преемник своего дяди, барона Георга фон Небельштейна, достигнув стадесятилетнего возраста, после восьмидесятилетнего управления братством чувствует приближение старческой слабости. Не в силах будучи с прежней энергией и добросовестностью управлять всемирным братством, он отказы-

вается навсегда и бесповоротно от своей верховной власти и всецело при свидетелях, великих учителях-розенкрейцерах: Роже Левеке, бароне фон Мелленбурге, графе Хоростовском и Иоганне Абельзоне — передаёт её князю Юрию Захарьеву-Овинову. Носитель знака Креста и Розы принимает верховную власть в братстве по праву своего знания, своей силы, пройдя все посвящения от низшего до высшего, оставив за собою все испытания и достигнув той свободы духа, которая требуется для законного верховенства над братьями. И Ганс фон Небельштейн, отходящий на покой глава розенкрейцеров, и великие учителя-свидетели клянутся своим именем розенкрейцеров, клянутся страшной клятвой отныне повиноваться во всём, касающемся братства, новому главе его». Когда это чтение было окончено, старец поднял глаза на слушателей и дрогнувшим голосом спросил их согласия. Четыре учителя наклонили головы и сказали: «Согласны».

— В таком случае произнесите за мною установленную клятву, — возвышая голос, воскликнул старец.

И пять голосов, сливаясь под низкими древними сводами, произнесли: «Клянёмся пред вечной истиной, которой служим, клянёмся гармонией божественных законов, клянёмся великим символом Креста и Розы бесспорно повиноваться в каждом деле, имеющем какое-нибудь отношение до нашего священного братства, повиноваться с полным детским подчинением великому носителю знака Креста и Розы, законному, вновь утверждённому и прославленному главе и отцу нашему, князю Юрию Захарьеву-Овинову!»

Старец и четыре учителя стали на колени, затем поднялись и снова, почти до земли, поклонились Захарьеву-Овинову. А он во всё это время стоял неподвижно, как каменное изваяние, и на бледном, будто мраморном лице его ничего не выражалось, только глаза горели неестественным блеском. Когда розенкрейцеры встали, поклонясь ему, и он обнял каждого из них, начиная со старца, все подошли к столу и подписали акт.

Тогда Захарьев-Овинов взял этот акт, ещё раз пробежал его глазами, свернул перга-

мент, перевязал его лентой и положил в отверстие в стене, на то место, откуда вынул его старец. Миг — и тяжёлые камни, повинувшись невидимому механизму, снова поднялись, стена сравнялась, и никто не сказал бы, что в ней заключается потайной шкаф, хранящий, быть может, самые драгоценные манускрипты во всём мире.

Все разместились по своим местам.

— Тяжёлое бремя спало с плеч моих, — сказал Ганс фон Небельштейн, — давно ждал я этого часа, давно к нему готовился. Теперь, — обратился он к Захарьеву-Овинову, — потребуй от меня отчёта во всех моих действиях за последний год, с того дня, как мы были здесь собраны в заседании.

— Мне не надо никакого отчёта, — отвечал Захарьев-Овинов, — я знаю все дела братства, все действия его членов, и особого труда знать это не составляет, так как последний год был очень тихим годом. У нас прибавилось несколько братьев, получивших первые посвящения. Все розенкрейцеры низших степеней теперь собраны в Нюрнберге.

— Да, и завтра же мы туда отправляем-

ся, — сказали учителя, — каждый к своей секции.

— О розенкрейцерах никто не говорит, — между тем продолжал Захарьев-Овинов, — о них забыли, а кто их вспоминает, тот или вовсе не верит, что они когда-либо были на свете, или думает, что братство, осмеянное уже более полутора столетия тому назад, в первое же время своего возникновения, давно не существует. Какие надежды подают новые, в последнее время посвящённые члены? Об этом пусть скажут их руководители... Один из розенкрейцеров, находившийся под твоим руководством, брат Albus (Захарьев-Овинов обратился к Абельзону), попался на пути моём: это Джузеппе Бальзаме, называвший себя в России графом Фениксом, известный в Европе под именем графа Калиостро. Он только один за последнее время нарушает тишину, господствующую в братстве. Это человек больших способностей и немалых знаний, человек, могущий причинить большое зло, хотя в нём не один мрак, и даже не знаю я, чего в нём больше — мрака или света. Это несчастное, погибшее существо. Он много зла собирался сде-

лать на моей родине, но я не допустил этого...

— Это изменник! — перебил Абельзон. — Он в Нюрнберге, я с ним увижусь. Он должен подлежать каре. Тебе придётся начать своё владычество смертным приговором. Тяжкая обязанность! Но ведь я, руководитель этого изменника, буду её исполнителем — и рука моя не дрогнет!

— Я не начну своего владычества смертным приговором, — спокойно сказал Захарьев-Овинов.

— Как? Но ведь он изменник! — воскликнули разом все, даже старец.

— Нет, — всё так же спокойно ответил новый глава розенкрейцеров, — имя нашего братства ни разу и нигде не было произнесено им, да и не будет произнесено. Он несчастный человек, не нам быть его палачами, он сам себе палач. Он сам, достойный лучшей участи, ежедневно подписывает свой смертный приговор — и в конце концов погибнет. Спасти его нельзя, я это знаю. Но мы ещё поговорим о нём с тобою, Albus, и ты... или мы его ещё увидим в Нюрнберге. Теперь же не в нём дело...

Глаза его блеснули и загорелись новым огнём; неподвижное лицо внезапно будто ожгло, и глубокое страдание, которое сразу с изумлением и невольным страхом заметили розенкрейцеры, изобразилось на нём.

— Отец, — сказал он, обращаясь к старцу, — помнишь ли ты мои бывшие мечтания, помнишь ли священный трепет, наполнявший меня, когда ты говорил о неизбежности, о близости той минуты, которую я теперь переживаю? Ты помнишь, что я жаждал этой минуты не ради власти, а ради того высшего совершенства, достижение которого сделает меня её достойным. Я говорил тебе, что тогда я упьюсь наконец и насыщусь, я, всю жизнь терзаемый голодом и жаждой! И ты отвечал мне: «Да, ты упьёшься, ты насытишься!..» Отец, я занял твоё место... Отец, ты никогда не лгал, ты не можешь лгать... Я по-прежнему голоден, по-прежнему жажду — напои и накорми меня!..

У всех так и упало сердце. Все сразу почувствовали, что грозившая беда, та беда, которую и отец и учителя почли уже минувшей, снова надвигается, что она даже страшнее,

чем им казалось. Полное молчание было ответом новому главе розенкрейцеров.

— Или я говорю неясно! — воскликнул он, и ещё более невыносимое страдание изобразилось на лице его. — Слышишь, отец, я голоден, я жажду, я задыхаюсь! Это ли венец работы всей жизни, великих познаний, доведших меня до власти, почитаемой нами величайшей властью в мире? Глава розенкрейцеров, мудрец из мудрецов земных!.. В чём же мудрость моя, в чём же и твоя мудрость, если ты не мог и не можешь напоить меня и насытить и если я сам не могу этого?..

— О какой пище, о каком питье говоришь ты, сын мой? — едва ворочая языком и с ужасом глядя на Захарьева-Овинова, прошептал старец.

— Я говорю о счастье, — внезапно овладевая собой и холодея, произнёс Захарьев-Овинов. — Я полагал, что, достигнув этой вершины, на которой нахожусь теперь, я достигну предела знаний. Между тем теперь я знаю, что передо мною всё та же беспредельность. Я полагал, что венец наших усилий, нашей работы — безмятежность души и сча-

стве, а между тем если до сих пор я не считал себя последним из несчастливцев, то единственно потому, что не понимал этого. Отец, я несчастлив, и вместе со мною несчастливы и вы все!..

Нельзя себе представить того впечатления, какое эти слова произвели на розенкрейцеров. Будто гром ударил над ними, будто вековые стены старого замка обрушились и придавили их. Все эти мудрецы и сам столетний старец, вмещавший в себе всю мудрость тысячелетий жизни человечества, в первый раз остановились на мысли о счастье и несчастье. Все они почувствовали в словах Захарьева-Овинова громадное, роковое значение и поняли, поняли всем существом своим, что прожили всю жизнь, не зная, что такое счастье, никогда не испытав его, никогда даже о нём не подумав. Весь ужас, наполнявший душу Захарьева-Овинова и вырывавшийся из этой измученной, так недавно ещё холодной, но теперь горевшей неугасимым огнём души, передался им. И все они сидели неподвижно, как зачарованные, глядя в метавшие искры глаза великого розенкрейцера

и ожидая нового, страшного удара.

XVIII

— Сын мой, — выговорил наконец Ганс фон Небельштейн, — в словах твоих заключается такая бесконечность отчаяния и такое тяжкое обвинение всем нам, и прежде всех мне, что я даже не могу себе представить, как подобные слова прозвучали под этими сводами... От кого мы их слышали?! Ведь мы не авгуры, морочившие народ... Наши знания — не обман, не шарлатанство... А если мы обладаем действительными познаниями, скрытыми от других людей, если мы наследники и носители всей мудрости человечества, то ведь в этой мудрости, в этом знании и заключается всё высшее счастье, какое способен вмещать в себя и испытывать человек, находящийся в теле...

— Отец, мы не раз говорили обо всём этом, и теперь нечего повторять старое и известное, — перебил Захарьев-Овинов. — Отвечайте мне все прямо, ибо вопрос мой — не пустой вопрос и на него не может быть условного ответа: счастливы ли вы?

— Да, мы счастливы! — ответили розенкрейцеры, стараясь вложить в этот ответ как можно больше убедительности и спокойствия. Их «старание», конечно, не ускользнуло от пристального взгляда Захарьева-Овинова, и едва заметная печальная усмешка скользнула по губам его.

— Разберём ваше счастье, — сказал он.

Все сидели теперь как-то уныло, будто осуждённые, и тревога выражалась во всех взглядах, обращённых на великого розенкрейцера.

— Брат мой, Роже Левек! — воскликнул он, приближаясь к скромному французу и кладя ему руку на плечо. — Итак, ты счастлив?! Упорным многолетним трудом, проводя бессонные ночи за древними книгами и манускриптами и впиваясь пытливым умом в тайный смысл символов, ты достиг больших знаний. Ты понял единство природы, и, сделав из этого единства вывод о возможности производить чистое золото из низших металлов, ты с помощью нашего великого учителя (он указал на старца) приступил к «деланию». Ты начал с алхимической работы над самим собою,

а потому безошибочно добыл то чудное, первобытное вещество, того символического «красного льва», крупинка которого легко может превратить в чистое золото огромный кусок железа. Перед тобой открыты тайны видения в астральном свете, чтения и направления чужих мыслей. В твоих руках истинная власть, и ты... ты по-прежнему сидишь в своей пыльной лавочке букиниста и ешь свой салат в таверне и подвергаешься презрительному обращению каждого нахала...

Роже Левек вскочил со своего кресла...

— Кто говорит это?! Ты... Ты! — вне себя вскричал он. — Да ведь это нечто непостижимое! Так говорить может непосвящённый слепец! И мне странно отвечать тебе, что если я сижу в своей лавочке, если я не делаю золота, умея его делать, то это именно ведь потому только, что мои знания истинны... Я умею делать золото — и потому оно для меня не дороже всякого булыжника, валяющегося на улице... Я легко могу окружить себя всеми благами мира — и потому они мне не нужны. Я добровольно остаюсь в своей лавочке — и это даёт мне право на звание великого учителя,

которое для меня дороже всего...

— И ты счастлив сознанием своего великого учительства? — тихо, покачав головою, произнёс Захарьев-Овинов. — Не говори этого, не говори о своём счастье, когда я знаю, что теперь, сейчас вот, ты отдал бы все свои знания, все свои силы, всю свою власть, чтобы, как двадцать пять лет тому назад, прижать к своей груди твою Матильду и твоего маленького Жана, которых смерть отняла у тебя во время морового поветрия, в тот страшный день, когда ты и сам был на краю могилы...

Роже Левек пошатнулся, схватился за голову руками и бессильно упал в кресло. Вся тоска и все сердечные муки этих двадцати пяти лет, тоска и муки, в которых он никогда не признавался не только перед кем-либо, но и перед собою, вдруг нахлынули на него, вызванные этими неожиданными словами. И под напором непобедимой, прорвавшей свои окоувы силы глухое рыдание вырвалось из груди его.

— Вот как ты счастлив, великий учитель! — грустно сказал Захарьев-Овинов и,

отойдя от него, приблизился к Абельзону.

— Брат Albus, — начал он, спокойно и прямо глядя в могучие, страшные глаза маленького человека, — и ты тоже счастлив? Ты взял себе имя Albus для того, чтобы под этим белым покровом скрыть мрак, который часто, часто бывает в душе твоей... Но ведь не только природу, а и меня не обманешь!.. Ты не производил внутренней алхимической работы, и я прямо скажу тебе, что она была бы неудачна, — да и ты сам это знаешь. Но у тебя достаточный запас «красного льва», и, если бы ты захотел, этот запас произвёл бы столько золота, что ты мог бы построить из него целый замок. Только тебе этого не надо...

О, ты безупречный розенкрейцер! Ты развил свою волю до высочайших пределов, и она может производить то, что тёмные люди называют чудесами. Ты по праву занял в братстве место великого учителя. Ты никогда не пользовался своими знаниями и своею властью для того, чтобы делать то, что мы называем злом, — и в этом-то и сказалась твоя железная воля. Ты крепкими узами опутал себя, но не победил в себе, а только насиль-

ственно сковал страшного, лютого зверя...

Этот зверь жив и рвётся из неволи, томит и грызёт тебя. По жизни своей, по своим действиям ты стоишь на высоте, которой не достигают страсти. А между тем эти страсти бушуют в душе твоей. Я изумляюсь тебе и уважаю тебя, ибо такая сила воли достойна уважения! Но я тебя знаю. Не равнодушие в тебе ко всем благам мира, не возвышение над человеческими слабостями, не спокойный взгляд на человечество сверху вниз...

О, если бы ты развязал свою душу, снял с неё насильственно надетые на неё цепи, — ты бы ринулся в самую глубину страстей, упился бы кровью, наслаждался бы чужими страданиями! Ты ненавидишь человечество, в тебе кипит кровь твоих предков-евреев. Ты вмещаешь в себе всю ненависть своего племени к другим народам. О, ты жесток, брат Aldus, и бываешь рад, когда братство поручает тебе карать изменника. Ты вот и теперь стремился к роли палача и требовал, чтобы я подписал смертный приговор, и говорил мне, что рука твоя не дрогнет...

Да, ты можешь испытать злобные, страш-

ные наслаждения, которых лишаешь себя силой своей воли, силой своего разума, — а счастья всё же ты не знаешь и не знал никогда, ибо счастье не есть наслаждение злобы и мести. Опровергни меня, если можешь!..

Но Абельзон молчал, лицо его страшно побледнело, и удивительные глаза, сила которых заставляла каждого смиряться и замолкать, бессильно опустились перед спокойным, холодным взглядом великого розенкрейцера.

— Барон фон Мелленбург, — обратился Захарьев-Овинов к важному, величественному немцу, — скажи мне, одержал ли ты победу над своим честолюбием, не приходят ли к тебе до сих пор минуты, когда ты готов отказаться от великого учительства и бежать из братства, захватив с собою все знания, какие помогли бы тебе удовлетворить твоей страсти? Не мечтаешь ли ты о блеске и власти и не находишь ли ту власть, которой обладаешь, незавидной, ибо она ведома только в небольшом кружке розенкрейцеров высших посвящений?.. Ты тоже, как и брат Albus, в постоянной борьбе с самим собою. Это ли сча-

стве? Что же, или я клевету на тебя?.. Скажи, что я клевету, — и я буду просить у тебя прощения...

— Мы признали тебя своим главою, великий светносец, — медленно произнёс барон фон Мелленбург, — читая в душе нашей, ты ещё раз доказываешь то, что мы уже знаем, то есть твою власть и силу... И если ты начал с признания своего голода и своей жажды, то для нас нет унижения быть слабыми и несчастными, несмотря на все наши знания...

— Зачем же ты так уверенно ответил на мой вопрос, зачем объявил, что ты счастлив?.. Почему же ты подумал, что можешь скрыть от меня истину?

Барон фон Мелленбург взглянул на старца, ища в нём поддержки. Но старец сидел неподвижно, сдвинув брови, с почти потухшим взглядом, устремлённым в одну точку. Он ни одним словом, ни одним движением не поддержал великого учителя. Ведь и он, величайший из мудрецов, так же точно обвинялся во лжи, в легкомысленной лжи — и ему нечего было ответить на это обвинение. Он только чувствовал своё унижение, своё бессилие, му-

чительно чувствовал напор бури, которая разразилась и с которой нельзя бороться.

— А ты, граф Хоростовский, — обратился великий розенкрейцер к другому сухому старику, сидевшему тоже опустив голову, — у тебя и помимо «красного льва» собраны несметные богатства, и лежат они как ненужный хлам, непригодный ни для тебя, ни для других. За все долгие годы твоей жизни ты не видал вокруг себя ни одной улыбки, ты никому не сделал сознательного зла, но и добра тоже не сделал... И тебе холодно, и тебе скучно, и вот теперь ты сидишь с опущенной головою, потому что в первый раз в жизни я этими своими словами пробудил в тебе сознание, что тебе холодно и скучно!..

Старый граф только ещё ниже опустил голову. Перед ним мелькала вся его жизнь, прошедшая в поисках за неведомым и в нахождении того, что не давало никакого тепла, никакого счастья.

— Отец! — воскликнул тогда Захарьев-Овинов, подходя к старцу Небельштейну. — Твои знания и твои силы громадны! Эти знания, эти силы так велики, что если ты не нашёл

полного всесовершенного счастья, значит, оно зависит не от сил и не от знаний. А что ты не нашёл его, этого счастья, доказывает мне слабость твоего старого тела, из-за которой ты передал мне сегодня власть свою. Ты утомлён жизнью, ищешь покоя, не хочешь воспользоваться теми средствами, которые в состоянии снова вернуть к бодрости твоё дряхлеющее тело. Пусть непосвящённые, слепые скептики считают сказкой возможность продления человеческой жизни, но ведь мы с тобою знаем, что это не сказка, и ведомо мне, что ещё намного десятилетий ты мог бы поддерживать в себе телесную силу. Однако ты этого не хочешь, ты устал от земной жизни, тебе отрадно, мало-помалу ослабевая, уйти в иные сферы. От счастья не бегут, отец, — значит, твоё счастье не здесь...

— Ты в этом прав, сын мой, — мрачно ответил старец, — но я жду конца твоей речи и уж тогда тебе отвечу...

XIX

— Конец приближается! — воскликнул Захарьев-Овинов, всё более и более оду-

шевясь. — Мы должны быть, прежде всего, правдивы и мудры. Мы живём в знаменательное время. Пройдёт немного лет, и мы будем присутствовать при страшных, кровавых событиях, которые окажутся кризисом в болезни человечества. Человечество оправится после этого страшного кризиса, и начнётся для него новая эра... Ещё столетие, другое, третье — и вид земли изменится до неузнаваемости. Знания человеческие станут возрастать с необычайной быстротою. Тайны природы, известные теперь лишь нам, немногим избранным, и хранимые нами под великою печатью молчания, мало-помалу сделаются общим достоянием. Бороться против этого нельзя и бесполезно. Пройдёт каких-нибудь полтора-дваста лет — и то, что считается теперь безумной сказкой, станет для всех привычной действительностью. Одним словом, человечество пойдёт по тому пути, по которому прошли мы все, розенкрейцеры, в течение нашей жизни. Как то, что мы знаем теперь, казалось нам когда-то чудесным и невозможным, теперь же представляется обычным, а потому и не производит на нас

никакого впечатления, — так точно будет и с человечеством... Как мы начали с материи и перешли к духу, познав, что мир материальный есть только отражение духовного, — так и человечество начнёт с открытий в области материи, обоготворит её и затем... затем убедится, что те же самые явления происходят гораздо проще и лучше с помощью духа...

Мы в значительной степени уничтожили препятствия, предоставляемые нам пространством и временем, — и человечество легко достигнет этого. Мы знаем тайну производства золота — и человечество откроет её. Для нас золото не имеет никакой цены — точно так же потеряет оно цену для всех, и надо будет найти что-нибудь новое, что имело бы цену... Мы умеем овладевать мыслями, чувствами и поступками людей и в то же время знаем средства избегать подобного рабства, средства верной защиты от посторонних влияний. Мы видим без глаз, слышим без ушей и общаемся друг с другом, не теряя времени и пренебрегая пространством. Мы соединяем в маленьком кусочке вещества все необходимое для питания нашего организма на более

или менее долгое время. Мы на десятки лет останавливаем разрушение нашего тела. Всё это станет доступно каждому человеку... Как мы, овладев тайнами природы, живём и распоряжаемся в области, соответствующей нашим познаниям, точно так же и человечество будет распоряжаться в этой области. Если бы мы дожили до того времени, не увеличив наших познаний, то из людей высших, могущественных превратились бы в людей самых обыкновенных...

Мы идём впереди, вот и всё! Мы идём впереди, но человечество быстро нас нагоняет. Во все времена будут люди, которые пойдут впереди, и человечество всегда будет нагонять их. Но как теперь мы, поднявшись на высоту знаний, живя и действуя в более широкой и светлой области, чем другие, не получили от этого счастья, так и человечество, в какой бы высокой области познаний ни оказалось, этим самым не достигнет ещё счастья...

А между тем ведь понятие о счастье существует, оно не звук пустой. Существо человеческое способно к счастью и, достигая его,

возвышает и развивает свою душу более чем знанием, более чем силой и могуществом. Счастье есть венец жизни. Мы теперь должны наконец убедиться не рассуждениями, а нашим внутренним чувством, что познания не дают его, значит, даёт его нечто иное, чего у нас нет, что мы просмотрели в нашей мудрости. А между тем, так как счастье есть высшее благо, то какие же мы учителя, если не владеем им и не можем дать его ученикам нашим?.. Мы несём с собою свет, но тепла не несём, какие же мы учителя и в чём значение нашего братства?..

— Тепло и свет!.. — шептали губы старца. — Да, ты прав... свет и тепло — это величайшее сочетание... это истинная, единая жизнь; но, если мы не владеем этой тайной... если мы пребываем в заблуждении, поведай нам всё, ты наш глава!..

— Если бы я открыл эту недоступную, неведомую нам тайну, я не задыхался бы, я не страдал бы от голода и жажды! — с тоскою в голосе сказал Захарьев-Овинов. — Но я знаю человека, которому тепло, который счастлив. Да, я его знаю, он сильнее меня, гораздо силь-

нее. Вы признаете меня своим главою, вы полагаете, что отныне я владею высшей властью, а я вам говорю, что я бессилен перед этим человеком. Склониться перед ним, вручить ему власть над братством!.. Но он с улыбкой отвернётся от этой власти... она ему не нужна... У него нет никаких знаний, а между тем в руках его величайшее могущество, и он владеет благом счастья. Вы знаете, что у меня есть сила исцелять человеческие страдания, болезни. И вот я пытал свою силу — и её не оказалось, а этот человек пришёл и в миг один исцелил разрушавшееся, страшно страдавшее тело...

— Ты встретил человека, обладающего высшим могуществом, — и я не знаю этого человека! — с сомнением покачав головою, перебил старец. — Тут что-то не так... тут какая-то странная ошибка...

— Ты не знаешь его, отец, потому что его путь — не наш путь. Я ничего не преувеличиваю. Человек этот во многом слабее меня, но во многом он гораздо сильнее. Я заговорил о нём, так как он доказал мне, что многие явления, которых мы достигаем только с помо-

щью высших знаний, иногда даются человеку помимо всяких знаний, и явления эти самого высшего порядка.

— Тут нет ничего невозможного: это проявление бессознательной, но могучей воли.

— Нет, не воли, — вскричал великий розенкрейцер, — не воли, ибо воля — свет, а это — проявление тепла, того тепла, которого у нас нет! Человек, о котором я говорю, живёт в области высшей, чем наша.

— Где же эта область? Ты сам указал, что мы сумели отличить источник света от его отражения и перешли из области материи в область духа...

— Да, но то, что мы называем духом, ещё не дух, а лишь тончайшая, высшая материя, грубые осадки которой производят мир форм. В своей гордости, распознав тончайший эфир и узнав его свойства, мы объявили его высшим Разумом и решили, что он есть суть природы, её первооснова, источник жизни и творчества. Мы сделали себя творцами, вместили в себя единый высший Разум. Нам на вершине розенкрейцерской лестницы доступно всё, мы все можем творить, а чего не

можем, того и нет. Но вот мы творим одним светом, без тепла, и потому дрожим от холода... Значит, тепло не существует? Нет, оно существует, и мы, со всеми нашими знаниями эфира, астрального света, со всем нашим холодным, не дающим счастья творчеством, только жалкие безумцы! Мне не понадобилось далеко ходить за доказательствами того, что мы все несчастны, я взял первое, что мне попало под руку, — и вы все сознались в своём несчастье, в полном неведении высшего блага, высшей истины!..

Все поднялись со своих мест. Старец кинулся было к Захарьеву-Овинову, стараясь помешать ему высказать до конца его мысль, ту мысль, которая становилась теперь всем понятной. Но великий розенкрейцер поднял руку, и все будто застыли на месте.

— Братство розенкрейцеров объявило себя вместилищем высшей истины, знания и власти, — спокойно и твёрдо сказал он. — Оно заблуждалось, но, пока это заблуждение было искренне, братство не было за него ответственно. Теперь же заблуждение ясно: мы далеки от истины, знания и власти. Я, законный

глава розенкрейцеров, признаю преступным обманывать людей обещанием того, чего у нас самих нет; я, зная свои силы, признаю себя слабым. Я не владею высшей истиной и лишён высшего блага — счастья. Вы все признаете себя ещё более слабыми, ибо моё жалкое богатство несколько обширнее вашего. Но если мы слабы и несчастны, у нас всё же есть человеческое достоинство и то благородство, которое не позволяет нам быть авгурами. Мужественно перенесём наше поражение, снимем с себя не принадлежащие нам знаки достоинства, которые, хотя мы до сего дня и не сознавались себе в этом, только тешили нашу гордость и наше тщеславие, превратимся в скромных искателей истины, а не учителей её. Наше великое братство было заблуждением. Такое братство может быть только там, где воздвигнут храм истинного счастья, озарённый светом и теплом. Будем искать этот храм, и, только найдя его и получив в нём высшее посвящение, мы решим вопросы духовной иерархии, власти и славы. Только полная душевная гармония и её следствие — невозмутимое довольство и счастье — обле-

кут нас истинной властью и действительными знаками этой власти. Поэтому я, глава розенкрейцеров, которому вы обязаны повиновением и послушаться которого не можете, если бы и хотели, объявляю братство Креста и Розы в настоящее время несуществующим!

Все оставались неподвижными. Чудным светом вспыхнул таинственный знак на груди великого розенкрейцера. Но вот он снял с себя этот знак, и в то же мгновение он погас в руке его: теперь это была золотая, тонкой ювелирной работы драгоценность, и только.

— Вот наш великий символ! — сказал Захарьев-Овинов, показывая свой погасший Крест и Розу отцу и братьям. — Я не умаляю его значения, в нём средоточие света, разума; но в нём нет тепла, и, вы видите, он может погаснуть. Вы называли меня светоносцем, мне стоило обнажить грудь свою, и при блеске моего света всякий розенкрейцер падал ниц, зная, что тот, кто смеет носить на груди своей этот свет, облечён силой и властью. Да, этот знак прекраснее и важнее всех знаков отличия, носимых монархами и государственными людьми мира! Когда я сумел най-

ти и замкнуть чудный луч мирового света в этом драгоценном символе, моя гордость торжествовала... но теперь я знаю, что моя тайна не есть великая тайна, а только одно из тех открытий, к которым быстро придёт человечество. Минует сотня лет — и лучи этого света будут освещать своим голубым чудным сиянием улицы городов, жилища людей, будут возвышать красоту женских украшений... Таинственный свет, который носить на себе теперь могу лишь я, один будет сиять на голове и на груди танцовщицы на театральных подмостках, его станут продавать в игрушечных лавках как красивую забаву. Сначала для его сосредоточия потребуются разные приспособления, потом всё это упростится, и, наконец, люди поймут, что можно его добывать так, как я его добываю, без всяких видимых приспособлений...

— Итак, — заключил он, — пока мы не научились согласовать свет с теплом и не нашли счастья, мы не принадлежим к высшему, всемирному обществу розенкрейцеров. Если когда-нибудь мы соберёмся в день наших годовичных заседаний под этими древними сво-

дами, то это будет значить, что мы все открыли великую тайну тепла, что мы нашли счастье... Тогда и только тогда возродится наше братство... О, если б этот великий день настал для нас!.. Пока же, братья, мы свободны от всех требований нашего устава; пусть каждый из нас идёт в жизнь и делает из своих действительных знаний и сил то употребление, какое ему укажут разум и совесть... Организация нашего братства такова, что временное или вечное прекращение его деятельности может произойти без всяких потрясений... Я сказал всё. Отец, я жду твоего слова.

Старец поднял на него взгляд, в котором теперь ничего не было, кроме спокойствия.

— Сын мой, — сказал он, — гроза пронеслась над нами и оказалась животворной... В словах твоих и действиях видна та истина и мудрость, которая высоко вознесла тебя... Ты прав, и мы должны благодарить тебя за трудный и великий урок, который не унижит нас, а поможет нам возвыситься. Да, мы все должны приступить к испытанию... и мы разойдёмся сегодня с надеждой, что настанет день, который снова соединит нас. Быть может, я

не увижу этого дня... но он настанет! Вот и моё пророчество: под эти древние своды ещё придут блаженные силы человечества и в братском общении обменяются здесь такими сокровищами, которые вместят в себе все блага материи и духа...

Розенкрейцеры крепко обнялись и каждый со своими мыслями и чувствами разошлись по мрачным и сырým помещениям замка, где старый Бергман приготовил им постели.

XX

Прошло недели две, и все совершилось так, как было предназначено новым главою братства розенкрейцеров. Это великое, таинственное братство на неопределённое время прекратило свою деятельность.

На древней пустынной улице Нюрнберга, в том ветхом доме, который принадлежал уже несколько столетий фамилии Небельштейнов и где Захарьев-Овинов в первый раз увидел отца розенкрейцеров, ежедневно, лишь наступала вечерняя темнота, происходили собрания братьев. Сначала поочерёдно

каждый из четырёх великих учителей собирал розенкрейцеров высоких посвящений, лично знавших своего великого учителя под его розенкрейцерским именем, знавших о существовании носителя знака Креста и Розы и главы всего розенкрейцерства, но никогда их не выдавших.

Великие учителя передали посвящённым, что вследствие очень важных соображений отныне, впредь до нового распоряжения главы розенкрейцеров, периодические собрания братства прекращаются. Никто не будет теперь получать никаких инструкций, не будет отдавать отчёта в своей деятельности. Каждый становится совершенно свободным в своих поступках и может распоряжаться как угодно своими знаниями. Конечно, связь между розенкрейцерами не прерывается, и всякий по-прежнему, если будет в том нуждаться и того желать, таинственными путями получит всю нужную помощь и все указания. Но только этим и ограничится влияние высших сфер розенкрейцерства...

Розенкрейцеры были изумлены, опечалены и даже потрясены таким сообщением ве-

ликих учителей. Каждый, естественно, пожелал узнать истинные причины такого решения. Но учителя никому не хотели открыть тайны того, что произошло в стенах замка Небельштейна. Новый глава розенкрейцеров допустил это молчание, и великие учителя ограничились таким ответом: «Настало время испытания истинной силы каждого из братьев; когда испытания будут окончены, тогда выяснятся действительные результаты деятельности каждого».

Затем великие учителя потребовали от посвящённых розенкрейцеров, чтобы каждый из них, в свою очередь, собрал порученных им неофитов и передал им решение. Это было исполнено — и внезапно, само собою, всемирное братство видоизменилось, распалось, потеряло свою крепкую, определённую форму, основанную на строгой иерархии и на ритуале.

При этом, надо сказать, в каждом из собраний братьев низших посвящений произошло нечто странное. Каждый из розенкрейцеров-неофитов, услышав объяснение своего руководителя, впадал в какое-то особенное со-

стояние и, выйдя из заседания, забывал очень многое из того, что относилось до известной ему организации братства. Всё, что совершилось, то есть неожиданное таинственное прекращение деятельности братства, представлялось ему естественным и мало-помалу переставало интересовать его...

Когда Абельзон, известный руководимым под именем Albusa, собрал в старом доме Небельштейна всю секцию, в числе приглашённых не было Калиостро. Ему было указано другое время. И, являсь в назначенный час, он, к изумлению своему, не увидел никого, кроме Albusa. При первом же взгляде на удивительные глаза маленького человека Калиостро понял, что если бы Albus мог на месте растерзать его, он сделал бы это без всякого промедления — такая жестокость, злоба и ненависть светились в этих страшных глазах. Но Калиостро был более чем когда-либо уверен в своей силе — ясновидение Серафины-Лоренцы не могло обмануть. Он знал на верное, что ему не предстоит никакой опасности.

«Благодетель человечества» почтительно

поклонился своему учителю и спокойно ждал его слова.

— Джузеппе Бальзамо! — резким голосом воскликнул Абельзон, нервно дёргаясь в кресле, на котором сидел. — Ты не должен изумляться, что вместо розенкрейцерского собрания, на которое ты явился в Нюрнберг, ты видишь меня одного. Твоя дерзость не имеет пределов, и только поэтому ты мог воображать, что будешь когда-либо присутствовать на собрании братьев...

Калиостро усмехнулся, и Абельзон едва сдержал себя, увидя эту усмешку.

— Я, твой бывший руководитель, — как-то прошипел он, — призвал тебя для того, чтобы объявить тебе о твоём исключении из нашего великого братства.

— Разве можно исключить из братства посвящённого розенкрейцера, достигшего моей степени? — спокойно и даже несколько вызывающим тоном спросил Калиостро.

— Ты нарушил все клятвенные обещания, данные мне тобою... Ты изменник!..

— Если б я был изменником, — перебил его все с возраставшим спокойствием Калио-

стро, — ты должен был бы меня уничтожить... Но ты меня уничтожить не можешь, а потому я прошу тебя, великий учитель, выражаться осторожнее... Никто никогда не слышал от меня о братстве.

Абельзон должен был призвать на помощь всю силу своей воли, чтобы не кинуться на этого дерзновенного и не задушить его.

— Если бы ты хоть раз в жизни произнёс кому-нибудь имя нашего братства, поверь, никакие соображения не остановили бы меня, и теперь наступила бы последняя минута твоей жизни!

— Моей или твоей — это ещё неизвестно чьей! — таким же шёпотом ответил ему Калиостро, пристально глядя ему прямо в страшные глаза и спокойно вынося взгляд их.

— Ты видишь, великий учитель, — прибавил он, — что ты сплеховал, что ты меня мало знаешь. Ещё неизвестно, кто из нас сильнее, и во всяком случае время твоего руководства мною и моего естественного тебе подчинения окончено. Если бы я захотел, слышишь ли — если бы я захотел оставаться в братстве, я бы потребовал теперь в силу сво-

его права признания меня великим учителем. Но я сам не хочу оставаться в братстве по многим причинам. Я и явился сюда для того, чтобы объявить эти причины моего свободного, твёрдо решённого мною выхода из братства...

— Какие же это причины? Что ты можешь сказать в своё оправдание? — сдавливая в себе все свои ощущения, спросил Абельзон.

— Тебе я не могу сообщить этого.

— Что такое? Кому же, как не мне?

— Тому, кто сильнее меня, а не слабее.

При этих словах Абельзон даже вздрогнул и так стиснул свои сухие, крючковатые пальцы, что они захрустели. А Калиостро между тем говорил:

— Я объясню все носителю знака Креста и Розы. С тобою мне говорить больше нечего, а он здесь... ты видишь — я не страдаю неведением.

Дверь отворилась, и вошёл Захарьев-Овинов.

— Да, я здесь, — сказал он, — но... от неведения до истинного ведения ещё очень далеко... Твоё всеведение, Бальзамо, случайно!

Оно принадлежит не тебе, а той душе, которую ты держишь в неволе. Ты меня понимаешь... Брат Albus, ты свободен... ваши объяснения не приведут ни к чему. Оставь нас.

— Благодарю тебя за это освобождение! — воскликнул Абельзон.

Его глаза метнули злобные лучи свои не только на Калиостро, но и на Захарьева-Овинова. Он порывисто вскочил с кресла и быстро вышел из комнаты. Калиостро проводил его насмешливым и торжествующим взглядом.

— Напрасно ты тешишь свои злые чувства! — сказал Захарьев-Овинов. — Если бы ты и Albus знали, сколько силы потеряли вы оба за эти краткие минуты взаимной злобы, то, быть может, вы отнеслись бы друг к другу с иным, более человеческим чувством. Да и торжествовать тебе нечего: если Albus не сильнее тебя, то ведь я тебя сильнее, и ты знаешь это: следовательно, если б я поручил ему наказать тебя как изменника, то ты бы и погиб. Но ты знаешь, что я не желаю твоей гибели. Значит, вся твоя храбрость происходит только от сознания твоей безопасности...

— Так ты считаешь меня трусом, светоносец! — бледнея, прошептал Калиостро.

— Нет, — отвечал Захарьев-Овинов, — я не считаю тебя трусом, но ты слишком любишь жизнь, слишком дорожишь ею, а потому не стал бы пренебрегать серьёзной опасностью. Но не будем терять времени. Все причины твоего удаления из братства розенкрейцеров мне хорошо известны. Знай, что отныне ты не розенкрейцер. Я освобождаю тебя от всех твоих обязательств. Братство не возьмёт на себя тяжесть твоей кары, ты можешь быть на этот счёт спокоен: ты сам, своими поступками, готовишь себе страшную кару. Одно, что ты должен обещать мне, это и впредь никогда, ни при каких обстоятельствах не произносить имени розенкрейцеров, одним словом, поступать так, как будто ты никогда и не знал о существовании братства! Мало этого, ты не должен никогда пользоваться чужим ясновидением для того, чтобы узнавать что-либо, касающееся братства. Если ты сейчас дашь мне это обещание, я тебе поверю.

Калиостро склонился перед Захарьевым-Овиновым и голосом, в котором оказа-

лась большая искренность, воскликнул:

— Великий светоносец, обещаю тебе исполнить всё, что ты от меня требуешь. Никакая пытка не заставит меня произнести имени братства, и я ничего не буду узнавать о нём!

— Я тебе верю, несчастный брат, — сказал Захарьев-Овинов.

— Не называй меня несчастным, — внезапно вздрагивая, прошептал Калиостро. — О, я вижу твою мысль!.. Пытка... Да, к чему скрываться мне перед тобою, я уже не раз видел, закрывая глаза, картины того, что меня ожидает... Они запечатлены в астральном свете, а потому неминуемы... Я видел тюрьму... безжалостных, пристрастных судей... видел пытку... много ужасного... Но всё же не называй меня несчастным... уж даже потому, что ты сам несчастлив, хоть, может быть, тебе и не предстоит телесной пытки... Ты помнишь нашу беседу в Петербурге... всё, что я говорил тогда, могу повторить и теперь... Ты доказал мне, что ты сильнее меня, я должен был поневоле подчиниться твоему приказу... я чувствую, что это ты подействовал на обстоя-

тельства. Но, доказав мне своё могущество, ты не доказал мне, что счастлив.

— Не ты научишь меня счастьем, не ты укажешь мне к нему дорогу! — мрачно выговорил Захарьев-Овинов.

— Да, конечно, мы совсем разные люди, но всё же и у меня ты можешь кое-чему научиться, несмотря на свою великую мудрость. Говорил и говорю тебе, что я знал и знаю минуты истинного счастья, и эти минуты так светлы, так прекрасны, что заставляют меня совсем забывать все беды и ужасы, грозящие мне в будущем.

— Быть может, ты прав, — сказал, глядя ему в глаза и читая в душе его, Захарьев-Овинов, — но слушай эти последние слова мои, последние, так как вряд ли мы ещё раз встретимся в этой жизни: воля человека видоизменяет судьбу и заставляет бледнеть и испаряться образы, витающие в астральном свете... Все те страшные картины, которые ты видишь с закрытыми глазами, навсегда исчезнут и не повторятся в материальной действительности, если ты изменишь жизнь свою, если уйдёшь от всяких обманов и удо-

вольствуешь скромной долей. Думается мне, что и минут счастья у тебя тогда будет больше, и правильно разовьёшь ты свои духовные силы, и избежешь заслуженной теперь тобою кары... Всё ещё от тебя зависит. Удержи свою руку, не подписывай своего приговора... подумай о словах моих...

Калиостро опустил голову. Взгляд его померк.

— Великий светоносец, — сказал он, — я, конечно, не раз буду думать о словах твоих... только... я ведь уж не розенкрейцер, не могу быть им... Есть вещи, которые сильнее моей воли... А ты... ты сам... к какой судьбе идёшь ты?

— Я иду, — внезапно оживляясь, воскликнул Захарьев-Овинов, — я иду искать истинного счастья... Я уже вижу во мраке к нему дорогу... Я уже чувствую, что найду его!..

— Желаю тебе этого.

Они молча обнялись и вместе вышли из старого дома. Свет полной луны озарял пустынную улицу. Они ещё раз взглянули друг на друга, и невольная взаимная симпатия блеснула в их взглядах. Их руки встретились

в крепком пожатии. Калиостро пошёл налево, а Захарьев-Овинов — направо.

Часть третья

I

В доме старого князя Захарьева-Овинова, в первой комнате помещения, где продолжал жить отец Николай, да уж и не один, а с женою, перед столом, накрытым чистой белой скатертью, сидели две женщины. На столе стоял чан с горячим сбитнем, кувшин сливок и возвышалась целая гора свежих саек и баранок. Вся эта комната, остававшаяся нетронутой, внушительной и не походившая на жилую до самого приезда Настасьи Селиверстовны, теперь совсем изменила свой вид. Она казалась гораздо менее внушительной и богатой, но зато в ней сделалось как-то теплее, уютнее. В то же время в ней царили теперь порядок, чистота. Видно было, что здесь живёт добрая хозяйка, обладающая настоящим хозяйским глазом.

Эта добрая хозяйка, Настасья Селиверстовна, и была одной из женщин, сидевших за

столом перед чаном с горячим сбитнем. Кончался уже третий месяц пребывания её в Петербурге, и за это время она очень изменилась. Если б её деревенские соседки её увидели, то непременно всплеснули бы руками и завопили: «Матушка ты наша, Настасья Селиверстовна, какая беда тебе приключилась, кто тебя, сердечная, сглазил?..»

Действительно, Настасья Селиверстовна похудела и побледнела, хотя всё ещё оставалась достаточно полной. Излишняя густота краски сбежала с круглых щёк её, и эти щёки стали гораздо нежнее. Прекрасные чёрные глаза сделались как-то глубже, вдумчивее и удивительно выиграли в своём выражении.

Вообще Настасья Селиверстовна, на взгляд всякого истинного ценителя женской красоты, была теперь незаурядно красивой женщиной. А главное, с неё внезапно за это короткое время сошла её деревенская грубость и угловатость.

Она сразу огляделась в столице и сумела принять столичный вид. На ней было очень ловко сшитое тёмное шерстяное платье, густые её волосы были хитро и красиво причё-

саны, — никто не сказал бы, что она всю жизнь прожила в деревне и до сих пор почти и людей-то не видала. Она много стараний положила в такое преобразование своей внешности, и старания её увенчались полным успехом.

Оканчивая перед большим княжеским зеркалом, стоявшим в её спальне, свой туалет, она сама себе говорила: «Ну чем же я хуже их, этих здешних дам-мадамов?» И если бы при этом находился посторонний беспристрастный и вкусом обладающий зритель, он непременно бы воскликнул: «Матушка, Настасья Селиверстовна, не хуже ты, а не в пример лучше многих и многих здешних дам-мадамов».

Другая женщина, сидевшая рядом с хозяйкой, тоже имела приятную наружность, и, вообще, вся её фигура, её голос, манеры сразу внушали к ней доверие. Она уже была не молода, и на её бледном, изнурённом лице долгие годы страданий оставили свой неизгладимый отпечаток.

Женщина эта была Метлина. По-видимому, она пришла сюда не сейчас, а уже доста-

точное время беседовала с Настасьей Селиверстовной. По её блестящим глазам и нервному оживлению, сказывавшемуся во всех её движениях, можно было заключить, что она много и горячо говорила.

Она уже не в первый раз видела жену отца Николая, но видела её мельком, и впервые пришлось ей с нею разговориться и сблизиться. Она пришла теперь к отцу Николаю, но не застала его, и матушка, гораздо более обходительная и ласковая, чем в первое время по своём приезде, пригласила её обождать, сказав, что отец Николай обещался вернуться через час, самое большее — через полтора часа времени. Заметив, что гостья озябла, матушка тотчас же распорядилась относительно сбитня, послала прислуживавшую ей дворцовую девчонку за сайками и баранками и принялась угощать Метлину.

Они разговорились, и Метлина рада была рассказать ласковой матушке все свои обстоятельства. Она теперь чувствовала потребность говорить об этих обстоятельствах со всяким человеком, внушавшим ей к себе доверие.

Настасья Селиверстовна, вся превратясь во внимание, с большим интересом и участием выслушала печальную повесть о многолетних бедствиях семьи Метлиных.

— Сударыня моя! — воскликнула она, всплеснув руками, когда Метлина, дойдя в своём рассказе до времени перемены их судьбы, остановилась, переводя дух, тяжело дыша и чувствуя большое утомление после этого горячего рассказа, во время которого она как бы снова пережила все минувшие беды. — Сударыня моя! Да как это Господь дал вам сил перенести такое? В жизнь свою такой жалости не слыхивала, а горя-то людского немало навидалась... Да и своя жизнь не больно красна, сколько раз на свою беду плакалась. А вот теперь и вижу, что и бед-то со мною никогда никаких не бывало... Какие там беды! Вот у кого беды, вот у кого горе!.. Ну, что же, сударыня, как же это так вдруг все у вас переменялось?

— А так вот, — снова оживляясь и вся так и просияв, заговорила Метлина. — Привела я тогда с собою святого нашего благодетеля, отца Николая, помолился он, с его молитвой

пришло к нам благополучие. Спас он моего мужа не только от любой болезни, не только от телесной гибели, но и от душевной. Со всем спас человека, из мёртвого живым сделал. Как сказал, уходя: «Верьте, молитесь, подождите малое время, все изменится», — так, по его слову, и случилось. Двух дён, матушка, не прошло, как позвали моего мужа во дворец к самой царице.

Сразу-то мы испугались, особенно он, дрожит весь. «Куда это меня вести хотят? — говорит. — На какие новые муки и обиды?! Не пойду я, никуда не пойду, зачем меня царица звать будет, не знает она меня и знать не может. Обман это один, в тюрьму, видно, меня ведут, совсем доконать враги хотят...»

Да благо, я очнулась вовремя и его на правду навела. А отец Николай-то, говорю, ведь сказал он, что подождите, мол, немного — все изменится. Это беда наша уходит, это счастье наше приходит, говорю.

Ну, тут и он понял. Снарядила я его, как могла, а сама ждать осталась. Полдня ждала, молилась. Сначала нет-нет да и сомнение охватит: а ну как это не счастье, а беда новая?

Только отгоняла я эти сомнения, и совсем они ушли, а к тому времени, как мужу вернуться, я уже знала, наверно знала, что никакой беды нет и быть не может, что он придёт и расскажет мне о своём благополучии...

Вернулся он такой радостный, такой светлый, каким я его ни разу в жизни не видала; кинулся ко мне, обнял меня — давно уж мы с ним не обнимались, — обнял да и заплакал. Плачет и целует меня, говорить хочет — и не может. Наконец успокоила я его, он мне рассказал всё. Как привезли его во дворец к камер-фрейлине Каменевой, она с ним и пошла к самой государыне. Государыня приняла его милостиво да так ласково, что он, как вспомнит, так опять в слёзы — и говорить не может...

Успокоился, стал рассказывать. Сначала он оробел было перед царицей, да говорит, не такова она, чтобы несчастному человеку долго робеть перед нею. Справился он с собою, все ей поведал без утайки. Она его слушала со вниманием и приказала красавице камер-фрейлине со слов его все о делах наших записывать относительно всех тяжб и тех лю-

дей, которые нас обижали неправильно...

Всё, как есть всё, выслушала царица и отпустила его, сказав, что на другой же день он узнает её решение. «Терпели вы, — сказала государыня, — многие годы, потерпите ещё один день, только один день!» С тем его и отпустила.

Ну, вот мы и потерпели, и на другой же день приехала к нам, будто гостья небесная, добрый наш ангел, Зинаида Сергеевна, от неё мы и узнали о решении царицы. Муж мой получил в самом дворце должность смотрителя с квартирою готовою и со всяким царским жалованием. В тот же день мы и переехали...

Ничего подобного и во сне нам никогда не снилось! После нищеты нашей и грязи, после голода и холода — в тёплых да светлых хоромах на всём на готовом! Ведь чуть с ума не сошли от счастья. Ведь первые-то дни нет-нет да и посмотрим друг на друга: наяву всё это или во сне с нами? Наконец очнулись и стали благодарить Бога. Теперь отогрелись, сыты, довольны, в благоденствии...

Это вот люди, которые всегда в счастье живут, так они не чувствуют, а вот мы поняли и

телом, и душою, какая благодать в жизни, как хорошо и отрадно бывает на Божьем свете... А главное, не то... ну, что уж мне... а то поймите, матушка, ведь я мужа-то заживо хоронила! Ведь он образ человеческий терял, на глазах моих душу свою навеки губил. А тут ведь его узнать нельзя — другой человек совсем стал, да и какой человек-то!..

Она не выдержала и зарыдала. Настасья Селиверстовна так вся к ней и кинулась.

— Успокойтесь, голубушка вы моя... нет, плачьте, плачьте — это хорошие слёзы, радостные! Поняла я, все поняла, как не понять!.. Истинно, после бед таких, велико ваше счастье, благодать Божья..

И сама она плакала и обнимала, целовала Метлину. Наконец обе они мало-помалу успокоились.

— А государыня-то мудра, великая царица, — заговорила прерывающимся голосом Метлина, — она ведь не остановилась в своих благодеяниях, она все дела наши тяжёлые приказала вновь переисследовать верным людям. Вчера муж пришёл: сияет весь! Правда, говорит, на свет Божий выходит, все

неправильно у нас отнятое, всё, что наше по праву, — все нам возвращено будет...

II

Настасья Селиверстовна не слышала этих последних слов своей гостьи, она вся была теперь поглощена чем-то. Тёмные брови её сдвинулись.

— Да вы мне вот что скажите, голубушка моя, — горячо воскликнула она, — мой-то отец Николай при чём тут? К чему это вы его-то своим благодетелем называете, к чему так говорите, будто он захотел да и сотворил вам всё ваше благополучие?! Что он пришёл-то к вам помолиться да наставление вам пастырское сделал? Так ведь то же самое сделал бы всякий священник... Тут ещё благодеяния нету!

Метлина даже руки опустила и глядела на неё с изумлением.

— Как, матушка!.. Бог с вами, что вы такое говорите! Да кто же, как не отец Николай... Всё он один, он!

Настасья Селиверстовна как-то передёрнула плечами и покачала головою.

— Много бы он сделал, кабы не камер-фрейлина!.. Много бы и камер-фрейлина сделала, кабы не царица!.. Вот что царица — ваша благодетельница, это верно!

— Да разве я умаляю её благодеяния! — все с тем же изумлением проговорила Метлина. — И я, и муж — мы век будем Бога о ней молить. Слово нам скажи она — и мы за неё, за нашу матушку, в огонь и в воду готовы... Но только не смущайте вы себя — меня-то не смутите! Первый истинный благодетель наш — отец Николай, и никто другой. Погибли мы и погибли бы, да Бог сжалился и направил меня к нему, к нему потому, что только он один и мог помочь нам. Ведь я говорила вам, матушка: пришёл он, святой человек, и принёс нам милость Божию. Душу мою обновил и спас душу моего мужа. Сказал: «Верьте, молитесь, пождите немного — и всё будет», и по слову его случилось...

Но брови Настасьи Селиверстовны сдвинулись ещё больше; по недавно ещё нежному и растроганному лицу её мелькнула недобрая усмешка.

— Скажите, пожалуйста! — всплеснула она

руками. — Да что же вы думаете, сударыня, разве мне не приятно было бы узнать, что муж у меня такой угодник Божий? Только от слов-то оно не станется... Ну ладно, сказал он вам: пождите, все придёт. Пошёл он от вас, а здесь, вот в этой самой горнице, его поджидала камер-фрейлина... Вспомнил он о вас, рассказал ей про ваши беды, попросил её поговорить с государыней. Ну что же тут такого? Всякий на его месте сделал бы то же самое, святости в этом нету. А вот хотела бы я знать, кабы он эту самую камер-фрейлину не встретил или кабы камер-фрейлина не взялась с государыней говорить или не сумела бы — ну-ка, ведь вы бы до сих пор благополучия ждали! Или не так?

И она пытливо глядела на Метлину, и она боялась, что слова её покажутся убедительными и что Метлина сознается в своей ошибке, признает, что отец Николай во всём этом деле ни при чём. И хотелось ей страстно, хотя и бессознательно, хотелось, чтобы Метлина её убедила во всём том, в чём сама она, несмотря на всё своё желание, никак не могла убедить себя.

— Нет, — спокойно и решительно сказала Метлина, — мне от вас, уж извините меня, тяжело и слышать-то слова такие... Зачем гневить Бога, зачем людям да случайности отдавать неправильно то, что принадлежит Богу... Добра царица, добра Зинаида Сергеевна, а всё же этой доброты ихней мы и не увидали бы... не они тут, а батюшка...

Но Настасья Селиверстовна живо её перебила.

— Бог — вы говорите! — воскликнула она. — Это так, а муж-то мой при чём?.. К чему его-то вы к Господу Богу равняете?! Это уж и грешно даже, сударыня, коли знать хотите!

Метлина снисходительно улыбнулась и взяла Настасью Селиверстовну за руку.

— Эх, матушка, какая вы, право... неразборчивая да горячая... А вы не торопитесь да подумайте. Вот мы с мужем много обо всём этом думали-передумали — и теперь-то все нам так видно, как на ладони... Да и увидеть-то не мудрено вовсе — надо только приглядеться хорошенько... Все мы создания и чада Божии, и Отец наш не может не видеть нас и не слышать... Только мы-то сами от

Него отвращаемся, смотрим всюду, только не на Него, а и захотим на Него взглянуть и к Нему обратиться, так уж и не можем, ибо сами так ослабили свои очи, что не в силах вынести света Его. Так, что ли, я говорю, матушка?

— Так, так! — живо, с волнением в голосе, воскликнула Настасья Селиверстовна.

— Вот и надобны Ему такие люди, которые могут выносить его лицезрение, понимают волю Его. Таким людям Он и даёт способы творить Его волю и быть посредниками между Ним и ослепшими, в разуме затемнёнными творениями. Такие люди — святые, Божий посланцы, наши заступники и благодетели. Без них, думаю я, весь род бы людской погиб. Таков и батюшка, отец Николай.

— Святой? — тихо спросила Настасья Селиверстовна. И уже в голосе её не было задора, в нём прозвучал трепет.

— Да, святой, — с глубоким убеждением сказала Метлина. — Господи, да вам ли, матушка, не знать этого? Вам на долю выпала такая благодать, такая милость Божия, такое счастье великое! Вы жена, сердечная, Богом

данная подруга жизни святого человека... и вы как бы сомневаетесь! Да что же это такое? Я и ума не приложу... Не мы с мужем отыскали батюшкину святость — ведь и все, как есть, все здесь знают... Ведь он ежечасно благодатью Божией да силою своей святой молитвы врачует недуги, осушает слёзы, помогает всем страждущим, оживляет мёртвых душою и приводит их к Богу!..

Тихие слёзы струились из глаз Настасьи Селиверстовны.

— Вот вы говорите, — шептала она, — мне счастье великое... сердечная, Богом данная подруга жизни я ему... Отчего же, отчего же нет мне счастья?

Метлина глубоко задумалась.

— Вот что! — наконец проговорила она. — Не посетуйте вы на меня, матушка, на моё слово: думается так, что ежели нет вам с ним счастья... стало быть, вы... его не заслужили...

— Да не любит он меня, совсем не любит, не думает обо мне нисколько... чужая ему я — вот моё горе! — воскликнула Настасья Селиверстовна страстно, мучительно, с глубокою искренностью.

До приезда в Петербург она никогда не мучилась этим вопросом, даже никогда не спрашивала себя — любит ли её муж или нет. Какое ей было до этого дело?! Не требовала она от него любви и не нуждалась в ней. А тут вот, приехав сюда, с первых же дней так прямо и задала себе этот вопрос, и решила его в отрицательном смысле, и терзалась этим. Она теперь почти никогда не разговаривала с отцом Николаем, она, видимо, очень на него сердилась; но, странное дело, совсем перестала на него накидываться, не бранилась, не кричала, не мучила его своими злобными выходками и насмешками. Когда он был дома, она всё больше молчала да глядела на него как-то мрачно и загадочно.

— Не любит он меня, вот что! — повторила она с отчаянием.

Метлина даже встала с кресла почти в негодовании.

— Это он-то, батюшка отец Николай, вас не любит? Ах, грех какой!.. Да он каждого, он всех, как есть, всех любит... Так как же ему не любить вас-то...

Она не договорила, потому что в комнату

вошёл отец Николай, и его светлый, сияющий взгляд сказал ей, что она права, что он любит всех, любит истинной, светлой и сияющей, как солнце, дающей свет и тепло любовью.

III

— Так вот это кто у нас в гостях? — радостно улыбаясь, воскликнул отец Николай. — Пождали меня, отогрелись?.. Хорошо это, Настя, что ты добрую госпожу задержала!

Он благословил стремительно подошедшую к нему Метлину и в то же время, как она целовала его руку, другую руку он положил ей на голову.

— Дочка? — спросил он. — Об ней ты пришла, моя госпожа добрая, поговорить?

— Батюшка, что ж вы спрашиваете, — дрогнувшим голосом сказала Метлина, — ведь вы всегда в моих мыслях читаете... вам Господь все открывает, что есть в душе человека.

— Ну, этого, мать, не говори, что я за сердцевед... Вон, сказывают, чужая душа — потёмки!.. Только и в потёмках ощупью пройти можно! — весело говорил он. — Не смущайся,

госпожа, не унывай: уныние — грех большой, ох какой большой грех!..

Он подошёл к столу и пододвинул себе кресло.

— И я прозяб, на дворе-то морозец знатный!.. Настя, ты бы мне сбитеньку горяченького, это хорошо... А вы, госпожа моя, присядьте... Поговорим, мать, поговорим без уныния и с надеждой на милость Божию о твоей дочке...

Его присутствие, его бодрость, его слова уже возымели своё всегдашнее действие. Тень глубокой грусти, начавшая скользить по лицу Метлиной, исчезла. Снова вернулось спокойствие, тишина и мир наполнили душу.

— Мне ли роптать, я ли не взыскана Божией милостью? — сказала Метлина. — Знаю я, что грех мне смущаться и быть нетерпеливой после того, что случилось с нами... Думаю я и так, что за что же нам все... и так уж чрезмерно получили... дано нам много, а это горе оставлено... Только не могу я без тоски глядеть на моё дитя единственное... а как тоска эта загрызёт, вот и иду к тебе, батюшка... чтобы ты тоску из души моей вынул да поддер-

жал меня...

Отец Николай сделал с видимым удовольствием несколько глотков из чашки со сбит-нем, поданной ему Настасьей Селиверстов-ной, но он быстро поставил чашку на стол и замахал рукою.

— Нет, мать, не говори так! — воскликнул он. — Боже тебя сохрани от таких мыслей! К чему счёты подводить и мудрствовать: это, мол, Господь дал, а этого не даст. Благодать и милосердие Божий неисчерпаемы, беспредельны, нет им счета, нет им меры! Это люд-ская мудрость в сем видимом мире все исчис-ляет, измеряет и взвешивает... Творец же вы-ше всего этого... и как только ты свяжешь Его числом, мерою и весом, так тотчас же потеря-ешь истинное о Нём понятие и низведёшь Его с неба на землю... В этом и есть великая ошибка человеческой мудрости, вся слепота её!.. Говорю тебе, Божия благодать неисчерпае-ма, дары Его неисчислимы, только мы не мо-жем ясно видеть путей Божественного Про-мысла, а посему и склонны судить криво... Го-ворю тебе: верь, молись и гони от себя уны-ние. Придёт спасение твоей дочери... Как она?

Что с нею?

— Да всё то же, батюшка!.. Даже ещё хуже, чем было прежде... Думала я, что всё это зло в ней, все эти мысли грешные и ужасные от бед да от нищеты нашей были. Думала, все пройдёт при перемене жизни нашей. Вот теперь она в довольстве и спокойствии, в тепле да холе... Я ли её не ублажаю! Всего у неё вволю, в светлых хоромах живёт, сладко ест, мягко спит, ни работы никакой утомительной, ласку от меня да от отца видит: подумайте, батюшка, ведь она у нас одна, ведь кого же нам и любить да баловать, как не её! Прежде и нас вот она любила, доброй дочерью была в самое тяжкое время... А теперь как будто у неё к нам ненависть... Ну просто видеть нас не может, противны мы ей... всё ей противно... Успокаиваю я её, услаиваю, всё ей показываю милость Божию над нами... Катюша, говорю, ну как гибли мы, пропадали в работе, холоде, голоде, тогда можно дойти до греха, до отчаяния... А теперь-то, да погляди кругом себя... хорошо-то как! А отец-то, взгляни на него, ведь он возродился и духом и телом, ведь его узнать нельзя...

— Что же она? — спросил священник. Теперь в лице его уже не было веселья и оживления, только в глазах сиял всё тот же ясный, бодрящий свет.

— Да что она, батюшка! Слушает, притихнет, да вдруг как закатится! Платье на себе рвёт, мечется, кричит: «Дышать мне нечем, давит меня! Где это хорошо? Ничего нет хорошего и быть не может, на свете все дурное, тёмное...» Да потом такое начнёт говорить... повторять не хочется...

— Нет, ты все мне скажи, без утайки, госпожа моя! — настоятельно попросил священник.

— Коли приказываешь... да нет, я и без всякого приказа скажу... не осудишь... про вас это она, батюшка, в безумии своём... к вам, благодетель наш, у неё особая какая-то злоба... Стану я её уговаривать Богу помолиться, прошу её со мною к вам съездить, так она как ваше имя услышит, так её всю и начинает дёргать. «Это, — говорит, — обманщик! лицемер! видеть его не могу, ненавижу его!..» Закричит, закричит, затопчет... на пол упадёт и бьётся... Батюшка, да ведь это что же? Ведь

она бесом одержима!..

Отец Николай сидел задумавшись. Настасья Селиверстовна, всё время молча слушающая, перекрестилась.

— Бесом!.. Да, конечно, сила зла велика! — после некоторого молчания произнёс наконец священник. — Велика сила вражды и ненависти, только ведь любовь все преодолевает... и Господь наш Иисус Христос оставил нам оружие, в нём же запечатлена Им всепобеждающая сила любви. В оружии сем все наше спасение... Госпожа моя, где же теперь дочь твоя?

— Да вот, батюшка, какое случилось, — трепетно сказала Метлина, — ведь она у нас с неделю как стихла, не было этих её беснований... я и решилась опять просить её к вам поехать со мною. Уговариваю, а она молчит, смотрит так грустно, как будто ничего не видит... а потом и сказала: «Хорошо, — говорит, — матушка, поедем!» — и сказала-то странно так, со вздохом, и будто не своим голосом. Обрадовалась я, одела её, закутала, повезла. Отъехали мы немного, вдруг она кричит извозчику: «Стой!» — да так это у неё

страшно вышло, что извозчик сразу остановился. Выскочила она из пошевней, бежит обратно домой и мне кричит: «Поезжайте вы, матушка, одна, а от меня ему скажите, чтоб он не ждал меня, — я себе не враг!» — так, этими самыми словами, и сказала... Что же мне было делать, поехала я одна...

— А уедешь не одна! — вдруг оживляясь, сказал отец Николай и поднялся с места. — Нечего времени терять, поедем-ка, мать, с тобою в дом твой. Поборемся с врагом и, коли Господь подаст, победим его. Обогрелись мы, Настя нас сбитнем хорошим угостила — так и в путь!

— Как мне и благодарить вас, батюшка, не знаю, — засуетившись и собирая свою тёплую одежду, повторяла Метлина. — Окрылил ты меня — легко так вдруг стало...

— За что же благодарить? — весело говорил отец Николай, надевая шубу. — Я рад, борьба с таким врагом — дело хорошее... Бодрость во мне, сила растёт!.. И впрямь — воином себя чувствую... благослови, Господи! Не кровь человеческую проливать буду... Идём, мать, спешим! Прости, Настя!..

Настасья Селиверстовна молча обнялась с Метлиной и стояла, горделиво выпрямившись. Она побледнела, и глаза её мрачно, загадочно, не мигая, глядели на отца Николая.

Вот и он, и Метлина скрылись за дверью.

Настасье Селиверстовне показалось, что в комнате вдруг стало ужасно тихо, ужасно пустынно.

— Да что ж это? — прошептала она, заломив руки. — Одна, всегда одна... чужая... никому не нужная... а ему — только помеха, тягость!..

И она понимала, что иначе быть не может, и она его не винила. Куда же ей в самом деле? Туда, за ними, в незнакомый дом, где он будет изгонять беса из порченной девушки?.. Что же она там будет делать — только мешать! Кому она нужна?.. Он, которого она прежде так низко ставила, — он всем нужен, он — святой... святой... А она — грешница, недостойная любви его... Ведь вот, барыня эта так прямо и сказала... И барыня права...

Ей вспоминались прожитые годы, вся её семейная жизнь — и всё теперь являлось перед нею совсем в новом свете. Она всё яснее и

яснее начинала видеть то, чего прежде не видела. Она вспоминала отвратительные сцены, бывавшие между нею и мужем. Она всегда считала себя правой. Теперь же ей очевидно стало, что всегда она была виновата, а он прав. Он молчал, он выносил спокойно, невозмутимо нападки, бессмысленные упрёки, брань, побои... Он выносил всё это не из слабости — теперь она начала понимать, что не из слабости...

Будто яркий свет ударил ей в лицо, она закрыла глаза, краска стыда залила её щёки.

Она всё поняла и ужаснулась.

IV

Отец Николай, погруженный в свои мысли или, вернее, в духовное приготовление к той борьбе, которая его ожидала, совсем не заметил дороги. Метлина, видя его молчаливость и задумчивость и инстинктивно замечая его состояние, не развлекала его разговором. Но дорога показалась ей длинной.

Что-то там происходит? Она уж даже раскаивалась, зачем оставила дочь одну. Ведь она могла написать отцу Николаю, попросить

его приехать, и он не отказал бы ей. А теперь мало ли что могло случиться с Катюшей, ведь прошло сколько времени... Но она возвращается с отцом Николаем. Бог милостив!..

Эта мысль её успокаивала, и она принималась про себя горячо молиться за дочь.

Наконец доехали. Вот они у двери. Дверь им отворяла Зина. В этом, собственно говоря, для Метлиной ничего не могло быть странного: Зина нередко посещала их и старалась, хотя до сих пор и безуспешно, сблизиться с Катюшей, развлечь её, помочь ей выйти из странного состояния, в котором она находилась. Но, взглянув на лицо красавицы камер-фрейлины, Метлина невольно вздрогнула.

— Зинаида Сергеевна, голубушка вы моя... что случилось?

— Успокойтесь, пожалуйста, — дрожащим голосом выговорила Зина.

В то же мгновение она заметила отца Николая.

— Ах, какое счастье, — воскликнула она, — батюшка, это сам Бог вас посылает!

Метлина уже бежала к дочери. Отец Нико-

лай поспешно снимал с себя шубу, а Зина отрывисто, почти задыхаясь, ему говорила:

— С час тому прибежала ко мне горничная девушка... говорит: с барышней худо, а ни отца, ни матери нет... Он с утра по своей должности в Царское уехал, а когда она вернётся, не знают, ждут, а её все нет... Я поспешила и застала Катюшу такою... сами увидите, батюшка, что с нею делается... глядеть ужасно... Пойдемте, ради Бога!..

Но звать отца Николая было нечего, он не шёл, а почти бежал, хотя лицо его и оставалось не только спокойным, а даже радостным. Он чувствовал в себе силу, приток необычайной бодрости, того особенного, неизъяснимого состояния, которое находило на него, когда надо было спасти ближнего.

Они в комнате Катюши. Метлина, как была закутанная в шубу, склонилась над кроватью дочери. Та лежит неподвижно, бледная, с закрытыми глазами. Метлина обернулась в ужасе к отцу Николаю, зубы её стучали.

— Батюшка! — простонала она. — Что же это... она умирает?

Отец Николай быстрым шагом подошёл к

кровати и перекрестил Катюшу. В этот же самый миг её всю передёрнуло. Она открыла глаза, со страхом и отвращением взглянула на священника, все черты её исказились до неузнаваемости. Она взвизгнула страшным, не своим голосом, поднялась с кровати, хотела бежать, но вдруг упала на пол.

С нею начались конвульсии. Быстро-быстро тело её стало принимать самые неестественные положения. Она откинула голову назад, оперлась теменем об пол и вся изогнулась, так что пятки её почти касались головы. В таком положении, без помощи рук, она передвинулась до половины комнаты. Затем в мгновение ока, опять-таки без помощи рук, встала на ноги и выпрямилась, потом упала на грудь и так ползла, не шевеля ногами и руками.

Метлина, вся дрожа и обливаясь слезами, кидалась к ней, но её как будто что-то не пускало. Зина, бледная, глядела, не веря глазам своим. Сам отец Николай в первую минуту как бы смутился: он никогда ещё не видал ничего подобного. Губы его шептали молитву, и он время от времени издали осенял Катюшу

крестным знамением.

Она его не видела, не могла видеть, так как зрачки её открытых глаз совсем закатились кверху. Но каждый раз, как он осенял её крестным знамением, она вся вздрагивала и неистовый её вопль оглашал комнату.

Несколько десятков раз, с ужасающей быстротою, Катюша изгибалась вся в дугу, почти в круг, и затем мгновенно выпрямилась. Потом она сделала какой-то невероятный прыжок аршина на два от пола и со всего размаху упала, ударясь головою о стул.

Несчастливая Метлина с раздирающим душу криком кинулась к дочери, думая, что та разбила себе голову. Иначе не могло и быть, так как спинка стула, о которую виском ударилась Катюша, от удара сломалась. Между тем на виске не было никакого знака. Катюша быстрым движением отстранила мать, подбежала к своей кровати и села на неё.

Теперь она как будто успокоилась. Так продолжалось с минуту. Отец Николай все громче и громче читал молитву и подходил к кровати. Вдруг опять визг. Но Катюша неподвижно сидит, будто окаменелая, зрачки её

глаз по-прежнему закатились, совсем их не видно. Лицо ужасное, неузнаваемое, красное, шея раздута...

— Зачем ты здесь? — воскликнула она хриплым голосом. — Зачем ты пришёл меня мучить?.. Уходи, мне тебя не надо!.. Разве с тебя не довольно, что ты обманул отца и мать... меня не обманешь... Смотри!.. — и она показывала ему что-то: — Видишь?!

Отец Николай ничего не видел и не слышал. Он был весь углублён в молитву, он чувствовал определённо и ясно, что перед ним как бы какое-то препятствие, как бы какая-то стена обступила его со всех сторон, и через эту стену он должен проникнуть. Но стена эта страшно холодна — на него так и дышит от неё ледяным холодом, и она только тогда его пропустит, когда он превратит этот холод в тепло... и тепло это он должен извлечь из себя...

Он напрягает всю свою силу, всё своё сердце — и тепло растёт, растёт, усиливается, непрерывной струёй льётся на холодные камни... и камни теплеют... Все существо отца Николая наполняется неизъяснимым усилен-

нием, неизъяснимым чувством жалости и любви. Он давно уже забыл о себе. Он только любит, только верит, только множит в себе благодатное тепло, изливающееся на стоящую перед ним преграду...

А Катюша между тем говорит, говорит.

— Жутко и хорошо под этими сводами!.. — озирается она кругом себя. — Какое богатство, какая роскошь!.. Все сокровища мира здесь собраны... золото... золото, камни самоцветные... Огонь, темно-красный огонь освещает всех. Гляди, обманщик, сколько здесь людей, все здесь, и все «ему» поклоняются! Вот он... «он»!..

Она задыхается, дрожит, но всё же продолжает:

— Да, он страшен... ужасен! Но ведь, кроме него, ничего нет, он владыка надо всем, надо всеми, видишь, все преклонились перед ним!.. Все упали — и он велит им, он велит... убить... ограбить... обмануть... лгать! И за это он даёт куски золота, камешки со стен своего чертога... И все убивают, грабят, лгут за кусок золота, за камешек!.. Зачем же ты обманываешь, зачем говоришь, что есть что-нибудь,

кроме него, зачем ты меня мучаешь?!

Отец Николай пришёл в себя и содрогнулся, расслышав последние слова её. Он быстро подошёл к ней, положил руки ей на плечи. Она мгновенно затихла, и в ней произошла перемена. Лицо её стало спокойным, зрачки, расширенные, тусклые, опустились, глаза продолжали оставаться открытыми, лицо мало-помалу бледнело. Отец Николай взял обеими руками её голову и прижал её к своей груди.

— Да воскреснет Бог, и да расточатся врази Его... — шептали его губы.

Только он чувствовал, как уничтожился леденящий холод, как распалась преграда, стоявшая перед ним. Он чувствовал, как благодатный поток тепла, изливаясь из него, наполняет эту несчастную голову, которая прижата к его груди. Теперь он знал, наверное, знал, что вся сила зла, сила лютой, неведомой и страшной болезни исчезла. Он склонился вперёд и, поддерживая голову Катюши, осторожно положил её на подушку. Он закрыл ей глаза, перекрестил её и отступил на шаг.

— Встань, — сказал он спокойно и твёр-

до, — встань! Господь избавил тебя от зла и болезни!..

Катюша открыла глаза. Но теперь ничего неестественного и ужасного уже не было в её взгляде. Она провела рукою по лбу, как будто отгоняя какую-то тяжёлую грёзу. Потом с изумлением взглянула на отца Николая, на мать, на Зину.

— Боже мой! — воскликнула она. — Что со мною, какой ужасный сон... ничего не помню... только ужасное что-то!..

Она ещё раз взглянула на священника, слабо и радостно вскрикнула и бросилась ему на шею.

— Батюшка, — шептала она, прижимаясь к нему, — благословите меня, перекрестите... как хорошо, как хорошо, как тепло!..

Отец Николай радостно глядел на Катюшу и, обняв её одною рукою, другою ласково гладил её распустившиеся волосы. Метлина и Зина ещё не успели прийти в себя после всех потрясающих впечатлений. Но вот они наконец все поняли и с криком радости кинулись к отцу Николаю и Катюше.

Велик и грозен беспросветный мрак, окутывающий мир. Ничего в нём не видно, и слышатся только из глубины его разнородные звуки — крики борьбы, ужаса, страдания, злобного торжества, вопль насыщающих себя и никогда ненасытимых злобы и мести, бессмысленный смех, вздохи грубого мимолётного наслаждения, мольба о пощаде, мольбы о помощи, безнадежные глухие рыдания, предсмертный хрип умирающей животной жизни. Все эти звуки сливаются в мрачную дисгармонию...

Что там происходит, в этом непросветном мраке? Там царствуют слепые и немые, беспощадные законы материальной природы, там сознательная борьба невозможна, победа мимолетна, и её следствия ничтожны. Там страшный и загадочный Рок собирает свою созревшую жатву...

Велик и грозен безрассветный мрак, окутывающий мир, и весь этот мир, со всеми своими тайными, невидимыми в глубокой тьме явлениями, со всей мрачной дисгармонией своих звуков, — только безобразный, неведо-

мо зачем существующий клубок материи, кишачий созданиями её удушливых испарений...

Но вот среди непонятной тьмы загорается искра дивного, божественно прекрасного света. Эта малая искра сразу озаряет громадное пространство мрака. Она несёт в себе свет и тепло, изливает их из себя неиссякаемыми потоками, и к ней из глубины клубящейся и метущейся бездны устремляется всё, что способно воспринять свет и тепло. Только самые чудовищные исчадия мрака хоронятся в недоступных глубинах его, объятые ужасом безумия...

И всё, что стремится к этой животворной искре, быстро меняет свои грубые, обезображенные формы, созданные мраком. Чем больше света и тепла, чем ближе их источник, тем больше красоты, гармонии, ликований. Не будь этой всеозаряющей, всепобедной искры — не было бы и мрака, ибо нельзя было бы сознать его. Было бы одно бесконечное страдание, одна бессознательная смерть, один неумолимый Рок со своими холодными, неизбежными законами.

Но всё создано не для смерти, а для вечной жизни, не для безобразия, а для красоты, не для страдания, а для блаженства, не для лжи, а для истины, не для ненависти, а для любви. Жизнь, красота, блаженство, истина, любовь — всё это и есть искра света и тепла, всепобедно озаряющая мрак материи. Это — чудный пятиугольник, из которого ничего нельзя взять, не уничтожив его цельности; уничтожить один из пяти углов его — значит, разрушить всё, всё обратить в призрак и ничтожество. Это — святой символ, звезда истинного счастья...

Где светят и греют пять лучей звезды счастья, там всё преображается. Всякое жилище человеческое — от дворца до бедной хижины, со всем своим сором и пылью — сразу превращается в лучезарный храм ликующего духа...

В такой храм превратилось и жилище Метлиных: весь мрак исчез — и все пять нераздельных лучей чудной звезды светили и грели. Проходили минуты, но никто не замечал их, все внешние проявления жизни были теперь безотчётны. Все находились в высшем духовном единении, забыли себя и наслажда-

лись счастьем. Все разместились теперь кругом отца Николая и блаженно глядели на его счастливое лицо, в его ясные глаза, изливавшие потоки ликующего света.

Он первый нарушил долгое молчание. Он вздохнул всей грудью от избытка счастливого чувства и умилённым голосом сказал:

— Боже мой, Боже мой, как нам благодарить Тебя? Как нам прославить Твоё великое милосердие?! Были муки тела и духа, мрак, нищета, ложь и грех, а ныне сияет свет Твой и ликует победу любовь Твоя!..

Все три женщины при словах этих заплакали и в невольном, бессознательном порыве кинулись в объятия друг к другу. Отец Николай радостно глядел на них.

В его сердце поднялся вопрос — и этот вопрос был: за что ему такое счастье? Чем заслужил он его и чем заслужит? Он чувствовал себя таким малым, малым перед величиною Божией благодати. Ему, конечно, и в голову не пришло, что это он сам превратил горе в счастье. Но вот Метлина, обратясь к нему и продолжая, обнимать Катюшу и Зину, воскликнула:

— Батюшка... отец святой... благодетель наш... чудотворец!

Он вздрогнул, смутился, и даже строгость мелькнула в его взгляде.

— Мать, молчи! — как-то растерянно прервал он её. — Бога благодари, а не меня... Разве это я? Разве я хоть что-нибудь могу без Бога?!

Ему стало неловко, почти тяжело, но великое счастье, охватывавшее его, тотчас же и вытеснило все иные ощущения. Метлина замолчала, боясь огорчить его, но в душе её вторялось: «Бог через угодника Своего!» В это время в соседней комнате слышались шаги.

— Это папенька... папенька вернулся! — радостно крикнула Катюша и в миг одна была уже у двери. Метлина поспешила за нею. Отец Николай остался вдвоём с Зиной.

— Ну вот, голубушка моя, — сказал он, любовно на неё глядя, — привёл Господь нам вместе переживать счастливые минуты... Где же твоё горе, твои страхи?.. Разве не светло и не тепло на душе у тебя?

— И светло, и тепло, — отвечала Зина, —

ничего и никого не боюсь я... И спокойна с тех пор, как вы меня успокоили...

Она как бы хотела ещё прибавить что-то, но он понял мысль её.

— И ждёшь, и молишься, и надеешься!.. Так, дочь моя, так! Экий день-то для нас счастливый... да и не исчерпана ещё кошница Божьей благодати... вестью доброй я тебя порадую: друг наш недалеко и вскоре будет с нами...

— Вы получили от него известие? — вся вспыхнув, с забившимся сердцем спросила Зина.

Отец Николай на мгновение как бы изумился — только не её вопросу, а тому, что он так уверенно, так решительно сообщил ей свою весть.

— Нет, — ответил он, — не имею я от него известия, то есть письма или слуха какого, а только есть у меня, видите ли, милая моя боярышня, чувство такое, и никогда оно меня не обманывает. Коли сказал я, что он недолго будет с нами, — значит, оно так и есть...

Он замолчал и как будто прислушивался к чему-то, даже глаза закрыл.

— Да, — ещё решительнее сказал он, — близко он, близко! И увидим мы его обновлённым... Так и знай! Это Бог тебе такую радость посылает!..

Вошёл Метлин в сопровождении жены и дочери. Они уже сказали ему всё, уже горячие поцелуи и ласки Катюши яснее всяких слов доказали ему, что его единственная, нежно любимая им дочка спасена от страшной, непонятной болезни, что теперь уже не будет унылый вид её отравлять счастье их новой, блаженной жизни. Жена шепнула ему также, чтобы он не смущал батюшку выражениями своей благодарности...

Метлина говорила, что её муж стал совсем новым человеком, — и это была истинная правда. В этом бодром, красивом, барственно-го вида человеке невозможно было узнать недавнего, совсем опустившегося телом и духом пьяницу. К нему вернулось все его достоинство прежних лет; в глазах светились и ум, и доброта. Он подошёл к отцу Николаю и, приняв от него благословение, не стал благодарить его. Он молча посмотрел на него, но так посмотрел, что священник ещё раз обнял

его и поцеловал.

— Радуюсь, радуюсь, сударь! — говорил отец Николай. — От супруги про все дела, про все ваши новости знаю... Работаете, трудитесь... доброе дело... Бог вам в помощь!

Но Метлин вдруг как бы в смущении опустил глаза.

— Стою ли я ещё таких Божиих милостей?! — сказал он. — Ах, батюшка, как гадок человек, то есть я-то как гадок!.. Ведь уж чего бы, кажется, ведь уж легко прозреть, а все слепота одолевает!.. Тяжбы мои вот разбираются... Так я, узнав, что все мои вороги да обидчики в ответе теперь и жестокую кару по закону должны понести, так возрадовался, так возрадовался — вот будто сердце пляшет от радости!.. Так все и кипит во мне — посмотрите на них... унижали они меня — их теперь унижить, да десятирицею, да сторицею! На их муки налюбоваться!..

— Что ты говоришь, что ты говоришь? Да ведь это грех смертный! — испуганно вскричал отец Николай.

— Знаю, отче, и каюсь! — продолжал Метлин. — Сутки целые, и день, и ночь, тешил я в

себе сию злобу... Утром стал на молитву, а молиться-то и не могу — покинул меня Господь!.. Тут я и очнулся... ну, помогла мне сила небесная... Поборол я себя, совсем поборол и от всего сердца за врагов помолился и простил им. И так легко стало на душе, как никогда не бывало...

— Слава Тебе, Господи! — перекрестясь, воскликнул священник. — Только вот что, друже мой, ты это на деле покажи — своё прощение... свою молитву... От тебя будет зависеть... подвергнуть их, обидчиков-то твоих, всей каре закона... или простить... Так ты их прости и заступись за них...

— Простил и заступаюсь, — просто и твёрдо сказал Метлин.

— Вот это ладно! — обнимая его и ласково, весело похлопывая по плечу, говорил отец Николай. — И тебя Бог прощать будет... и за тебя заступится... Прощайте, други мои, порадовался я с вами и в радости вас оставляю... Мне же домой теперь пора... ждёт меня кто-то... да... должно быть, кто-то ждёт...

Все вышли провожать его до крыльца, а когда вернулись в комнаты, то каждый по-

чувствовал, что хоть он и покинул их, но оставил им всё то великое счастье, которое принёс им с собою.

VI

Зимний, морозный вечер уже стоял над Петербургом. В заледеневших окнах домов виднелся свет. Фонари тускло мигали по сторонам улиц, почти не освещая, а только указывая их направление. Густо выпавший, прохваченный морозом снег скрипел под ногами пешеходов, визжал под полозьями. Рабочий люд кончал свой дневной труд и приготавлился к ночному отдыху. Праздный люд начинал вечерние удовольствия. Тёмное, безоблачное небо всё так и горело, так и переливалось мириадами ярких звёзд.

Пошевни, в которых отец Николай возвращался домой, быстро мчались. Священник запахнул в свою шубу, и ему было так хорошо в ней, так тепло. Он приподнял голову и, не замечая улиц, не видя домов, не слыша людских криков, любовался чудесными звёздами, уносился в их беспредельную высь.

Ощущение бодрой, здоровой жизни напол-

няло его тело, чувство спокойствия и радости было в душе его, и все его мысли, все его ощущения, весь он превращался в один порыв бесконечной любви к Творцу и ко всему Его творению. Всем существом своим поклонялся Богу и благодарил Его.

Но вот... Что же это такое как бы дрогнуло в его сердце и смутило его безмятежность? Он вдруг вспомнил, что сейчас приедет домой — там его ждёт кто-то, кто нуждается в его помощи; он это чувствовал ещё там, у Метлиных. Он и спешит, он и поможет... но ведь там... там тоже жена, Настя, там она — это единственное испытание его счастливой, богатой жизни!

Когда же наступит конец этому испытанию?! Вот Метлина какое слово сказала: «чудотворец»... Отец Николай даже вздрогнул, вспомнив это слово, манившее его душу в область погибельной гордыни.

Он уже не раз слышал подобные слова в последнее время; ежедневно кто-нибудь из тех, кому он помог по Божьей милости, называл его чудотворцем, святым угодником и благодетелем. И каждый раз его будто ножом реза-

ло от слов этих. Была минута, другая, когда он совсем почти допустил врага побороть себя. Миг ещё — и он бы возгордился, и он бы возомнил о себе.

Это была страшная борьба. Он вышел из неё победителем, он смирился и осознал глубоко, всей душой, всё своё человеческое ничтожество. Но ведь враг силён, он караулит, он ежечасно шепчет:

«Забудь, что я враг, забудь, что я грех, забудь, что я зовусь гордыней,пусти меня в душу, я дам тебе великие, неизреченные наслаждения!..»

«Господи, помилуй, избави от лукаво-го...» — отвечает отец Николай на этот соблазняющий голос, а осеняет себя крестным знаменем и спасает себя им от гибели.

«Святой! Хорош святой! — шепчет теперь он, глядя на чудные звёзды. — Не святой, а великий грешник! На миг один оставит Господь — и так вот и полечу в бездонную пропасть, где нет звёздного сияния, где нет этого дивного небесного хора, немолчно поющего славу Предвечному!.. Угодник! Хорош угодник, когда не могу спасти и поднять эту бед-

ную, томящуюся около меня душу! Да и где мне поднять кого-либо! Бог поднимает моей слабой рукою. И её Он поднимет, не даст ей погибнуть...»

— Настя, бедная ты моя! — вдруг почти громко произнёс он.

Много любви, много нежности, много глубокого горя прозвучало в словах этих. Если бы она могла их слышать, то не сказала бы, что он её не любит. Она была ему чужая, совсем чужая, но часто, часто помышлял он об этом отчуждении, помышлял с тоскою в сердце.

Она думала, что он не замечает её, что она тяготит его. Последнее было, конечно, правда. Да, она являлась великой тягостью его жизни, единственным его горем. Но если это была единственная тягость, единственное горе, как же он мог не замечать её? А уж как он за неё молился?

Он и теперь кончил горячей молитвой, и эта молитва, как и всегда, принесла ему надежду, отогнала его тоску, вернула ему душевное спокойствие и радость.

Пошевни въехали во двор княжеского дома. Отец Николай расплатился с извозчиком,

благословил его и поспешно вошёл к себе. В первой комнате никого нет, тихо. В углу перед образами зажжена лампада, на столе горит красивая лампа, недавно принесённая матушке услужливым дворецким из верхних княжеских покоев.

«Где же тот, кто ждёт меня?» — подумал отец Николай. А ждёт кто-то, чувствует он, что ждёт!.. Дверь во вторую комнату открылась и пропустила Настасью Селиверстовну.

— Настя, — сказал отец Николай, снимая шубу и вешая её на крюк в маленькой прихожей, — есть кто-нибудь у тебя?

— Никого нет, — тихо ответила она.

— И меня никто не ждал, не спрашивал, за мною никто не присылал?

— Нет, никто. Я всё время, с той поры, как ты уехал, одна была. Никто не приходил, не слыхала...

Кто это говорит? Это совсем не её голос, он никогда не слыхал у неё такого голоса. Она стояла у двери, не трогаясь с места. Он пошёл к ней и остановился, с тревогой на неё глядя.

Не она, совсем не она! Он уж и так замечал в ней перемену, а теперь она бледна, как ни-

когда не бывала. Веки её глаз красны, опухли от слёз.

— Настя, что с тобою? Ты больна, что у тебя болит, скажи, родная? — быстро спрашивал он, беря её за руку.

Но она ничего ему не ответила и вдруг упала перед ним на колени, поклонилась ему до земли; потом охватила руками его ноги, прижалась к ним и зарыдала.

— Прости меня, прости!.. — расслышал он сквозь её отчаянные, потрясающие душу рыдания.

VII

Отец Николай давно уже приучил себя не пугаться и не смущаться никакими неожиданностями, встречающимися в человеческой жизни. Во всех обстоятельствах, как печальных для него, так и радостных, как понятных ему, так и непонятных, он всегда являлся спокойным и владел собою.

Но тут, увидя жену, безумно рыдавшую и обнимавшую его колени, расслышав её слова: «Прости меня, прости!» — он растерялся, испугался. Лицо его изменилось до неузнавае-

мости, потому что в нём померк весь тот безмятежный свет, который придавал этому простому по чертам лицу необыкновенную красоту и привлекательность.

— Да что такое, что случилось? — трепетным голосом говорил отец Николай, склоняясь над женою. — Ну перестань... не плачь, зачем, к чему так отчаиваться... Бог милостив... Да успокойся же, Настя, скажи, что такое?..

Но рыдания её не прекращались. Она все крепче охватывала его своими сильными руками, будто боясь, что он вырвется от неё и уйдёт. Она все невыносимее, все мучительнее, из самой глубины души, повторяла:

— Прости меня, прости!..

Он не знал, что и подумать, на чём остановиться. Что она сделала?.. Что-нибудь ужасное, бесповоротное, какой-нибудь грех тяжкий, смертный?..

Но ещё миг, и он уж начал выходить из своего смущения, испуга. К нему возвращалось то душевное спокойствие, при котором нет ничего страшного, так как все покрывает твёрдая надежда на Бога.

И чем он становился спокойнее, тем яснее

делались его мысли, его понимание. Ещё несколько мгновений — и он уже видел, что тут не беда, не грех, а, наоборот, спасение. Он вдруг почувствовал, что именно теперь настал тот час, о котором он так долго молил Бога, что именно теперь, в этот светлый день чудес Божией благодати, уходит и его горе, и его тяжесть готова упасть с плеч его.

Да, он все понял, и поток счастья озарил его; снова радостный свет блеснул в его глазах, снова лицо его засияло духовной красотой.

— Настя, — сказал он счастливым голосом, — встань!

Заслыша этот счастливый голос, она повиновалась. Он обнял её, подвёл к дивану и посадил на него, а сам сел рядом с нею и взял её за руку. Её рыдания стихли, но ещё не сразу подняла она на него глаза. Ей было это трудно.

Наконец она подняла их и встретила с его глазами. Она глядела теперь на это доброе, счастливое, озарённое внутренним светом лицо, будто видела его в первый раз. Она и действительно видела его в первый раз.

Прежде она была равнодушна к этому лицу и никогда в него не вглядывалась; теперь, в это последнее время, погруженная в свою внутреннюю борьбу, она хотя и глядела часто на мужа, но видела его совсем не таким, каким он был в действительности, а таким, каким он представлялся её обманувшемуся воображению.

И она поразилась этой духовной красотой, этим светом.

— Так ты простил меня, простил?! — боясь верить своему счастью, прошептала она.

Она спрятала голову на грудь его и опять зарыдала.

Но уже теперь в её рыданиях не слышалось отчаяния и муки. Он крепко её обнял, прижимая к себе, и на глазах его показались слёзы.

— Господи, благодарю тебя!.. — произнёс он, и в словах этих прозвучала такая глубина благодарности, такая несокрушимость веры, такая истина действительного общения с Богом, что всё это передалось и ей, и она, будто не устами, а душою, повторила слова его.

Она подняла голову, ещё раз на него взгля-

нула, и они заключили друг друга в объятия. В тишине комнаты прозвучал крепкий радостный поцелуй. Это был первый истинно супружеский поцелуй в их совместной жизни. Им они породнились, им они осуществили таинство брака. Препней розни, отчуждённости, тяжести, враждебности, с одной стороны, и грусти, с другой, не было, и не могло уже всё это вернуться. Они сидели рядом, плечо к плечу и держа друг друга за руки. И одинаковый свет сиял теперь в глазах отца Николая и жены его. Этого света никогда прежде не было в её глазах.

— Голубчик ты мой, — шептала Настасья Селиверстовна, — ведь я не сейчас, я давно уже поняла своё окаянство перед тобою, поняла всю свою неправду... Только злоба во мне была велика, да гордость... Ломала я себя, ломала — и сломить не могла!.. А потом тяжело так стало, что ты меня не любишь...

Он улыбнулся доброй, ласковой улыбкой и покачал головою.

— Как же это... откуда взяла ты, что я не люблю тебя?

— Да и любить-то не за что было! — вос-

кликнула она, и минутная тень мелькнула по лицу её. — Не за что меня любить было!.. И потом... ведь я видела, что я тебе чужая, что я тебе помеха. Вот это-то меня и изводило!..

— А не видела ты, — тихо сказал он, — что от тебя только и зависело, чтобы ты стала мне не помехой, а помощницей, другом единственным, Богом данным? Не видела ты, что я многократно призывал тебя к этому? Не понимала ты, что ежечасно Бога молил я об этом нашем единении в крепости, любви и разуме? Никогда не видела и не чувствовала ты этого?

Она отрицательно покачала головой.

— Ну, а теперь-то, Настя, видишь ты это? Чувствуешь ли?

— Да, золотой мой, я теперь совсем как бы другая стала; ведь я была очень, очень несчастна — от этого и злоба во мне явилась, и в мыслях затмение. Вот теперь гляжу я на тебя — и ты мне совсем иным кажешься. Ведь я тебя, Никулушка, прости ты меня, в слепоте своей да в гордыне как низко почитала! Называла я тебя лицемером — и так ведь про тебя и полагала.

Отец Николай задумался. Он как бы глядел вглубь души своей и наконец произнёс:

— Нет, Настя, я грешный человек, но лицемерия во мне никогда не было.

— Да знаю я, знаю! — перебила она его порывисто и страстно, поднося его руку к губам и целуя её. — Знаю я... теперь-то я всё вижу, всю твою святость истинную, всю чистоту души твоей, твоё терпение... Все мне теперь Господь открыл. Потому я и ждала тебя, молясь и плача, боялась одного — как бы Бог не наказал меня за моё окаянство перед тобою, как бы мне не умереть, тебя не увидя, не упав перед тобою, не вымолив себе прощения...

Вдруг она остановилась, и глаза её погасли, лицо побледнело.

— А теперь-то как же? — растерянно спросила она.

— Что такое, Настя?

Но она не слышала слов его, она будто сама себе громко ответила:

— Я уеду.

— Теперь-то?! — с изумлением воскликнул он. — Зачем же тебе уезжать?

— Нет, мой золотой, я тебя недостойна, я

тебе здесь мешаю. Что возмущало меня, сердце мне надрывало, гордыню во мне терзало — теперь ведь мне понятным сделалось. Я тебе здесь мешаю, какая я тебе жена! Ты хотя и считаешь себя грешным человеком, только всё же перед моей греховностью ты святой, да таким тебя и все почитают — какая же я тебе жена! Да тебе вовсе и женатым-то быть не должно, ты живёшь для Бога, для несчастных, для больных... Я тебе мешать не буду. Я... — голос её дрогнул, и на глазах показались слёзы, — я буду там, у себя дома, замаливать грехи... Кабы до моего приезда сюда мы расстались, мне бы это не горе... теперь — это мне горе великое, но я его заслужила... оно мне и будет наказанием...

Она делала над собою последние усилия, чтобы подавить рыдания, которые так и просились из груди её. Отец Николай взял обеими руками её голову и крепко поцеловал её.

— Нет, Настя, — сказал он, — оставь... всё это не так. По милосердию Господнему теперь мы с тобой истинные муж и жена, Бог благословил нас на общую жизнь, и теперь, когда отверзлись очи твоей души, — теперь ты не

можешь быть мне помехой... Или забыла ты, Настя, что мы венчались в храме Божиим, что над нами совершилось святое таинство? Или забыла ты, в чём мы обещались перед Богом?.. Мы только сами могли осквернить брак наш и превратить его из Божиего таинства в мерзость. Если же мы не хотим этого, если мы не унижаем себя, то нам не только не должно, не только нельзя расходиться, но мы и не смеем этого...

Да, Настя, вот тебе казалось, что я не люблю тебя, что я тебя чуждаюсь. Теперь ты сама видишь, что не я был в том виновен. Не любить тебя я не мог — я всех люблю, но чуждаться тебя я был должен, ибо видел, что брак наш, по твоему ослеплению, из таинства превратился именно в ту мерзость, которая претила душе моей, которая есть греховна!.. Мало перед людьми быть мужем и женою, мало обвенчаться в церкви, — надо сохранить в себе таинство. Иначе же это — тяжкий обман Бога и людей!

Подумай: между нами не было никакой общности — ты не понимала меня, а я не понимал тебя. С твоей стороны стояла какая-то

вражда ко мне, с моей — невозможность её уничтожить, невозможность поднять тебя и привести в тот духовный мир, в котором я живу и вне которого не могу жить. Поэтому мы и не были мужем и женою перед Господом, и я — служитель алтаря, священник — я не мог оскверняться одной только животной похотью, которая для меня не иное дело, как величайшая, омерзительная пагуба души...

Но теперь, когда Господь просветил тебя, когда я вижу и чувствую, что ты пришла ко мне с пониманием, что тыходишь в тот Божий мир, где я живу, ты становишься моей подругой, Богом мне данной, моей истинной женою. Теперь между нами должна быть и та супружеская любовь, которая не есть грех, не унижение достоинства человека, а прямой закон Божий, данный человеку во плоти находящемся. Теперь, Настя, я тебе муж — и не стыдно мне ни перед Богом, ни перед собою быть им. Обними же меня, голубка, ныне ведь первый день нашего истинного брака... Прошлые годы забудь — пусть память о них не тревожит ни тебя, ни меня.

Поклонимся Творцу и Жизнедавцу, благо-

словляющему нас на общую жизнь, на общий труд и взаимную поддержку, на печали и радости, на всё, что дано человеку. Возблагодарим Его за великое, ниспосланное нам счастье!..

Они вместе, в одном порыве, упали перед иконами, и души их слились в общей горячей молитве.

VIII

«Наш друг возвращается», — сказал отец Николай Зине. Захарьев-Овинов действительно возвращался, не теряя ни дни, ни минуты. «Он возвращается обновлённым», — и это была правда. Да, полное обновление, полное возрождение началось в нём.

С каждым днём, несмотря на происходившую в нём временами мучительную борьбу, он чувствовал себя все лучше и свободнее. Ему казалось, будто над ним разрушилось великолепное колоссальное здание, которое он воздвигнул в течение всей своей жизни и должен был носить на себе. Он высвободился из-под его обломков и мог уже оглянуться и увидеть, что такое он воздвигнул, что такое

он носил как величайшее сокровище, в чём помогал высочайший смысл и своей, и общей жизни.

И он видел развалины, состоявшие из самых разнородных материалов: из чистого золота — и никуда не годной глины; из благоуханного кипарисного дерева — и распадающихся в прах гнилушек. Цементом, соединявшим весь этот разнородный материал и придававшим ему вид цельности, была гордость.

Её не стало — и все обрушилось, и все приняло свой настоящий вид, вернуло себе своё истинное значение.

Хотя и видел великий розенкрейцер в этих развалинах золото и кипарис, но он видел также, что негодной глины и гнилушек было гораздо больше, чем золота и кипариса. А главное, не было в разрушенном здании того, что одно могло противиться и времени, и человеческому произволу. Что это такое — великий розенкрейцер уже знал, но как и скоро ли найдёт он этот единый, истинный цемент для постройки нового здания своей духовной жизни, ему ещё не сразу стало ясно...

Однако ведь он никогда не был ни шарла-

таном, ни обманывающим себя и других мечтателем. Его знания, поставившие его во главе братства розенкрейцеров, не были подобны жалкой фантазмагии тех некрепких умом и почти всегда невежественных искателей философского камня, алхимиков, каббалистов, магнетизёров, которых столько расплодилось в то время в Европе. Его знания весьма многих тайн природы, как уже известно, были истинными и глубокими, изумительными знаниями. Они были только не то великое «все», каким он почитал их в течение своей жизни до самой смерти графини Зонненфельд.

Эти его знания и оказывались тем чистым золотом, тем душистым кипарисным деревом, которые он видел в спавшей с его плеч и рассыпавшейся на свои составные части тяжести. Он не мог двинуться в дальнейший путь, не забрав с собою всё это золото, весь этот кипарис, не мог, если бы даже ему вдруг показалось, что они не стоят того, чтобы брать их с собою. Человек, сохранивший свои способности и свою память, не может ведь отказать от того, что ему известно. И он знал

то, что знал.

Не почитая эти знания преступными, а только убедясь в их недостаточности и в том, что они не составляют высшего, существенно-го блага жизни, он продолжал пользоваться ими. Он снова допытывал теперь свою судьбу, приподнимая покров будущего, творил ту сложную, таинственную работу, которой научили его долгая, блистательно пройденная школа мудрости, его тонкая, изошрённая способность проникновения в суть вещей и, наконец, мудрые наставления Ганса Небельштейна, бывшего живым источником всех тайн древних познаний.

Результаты таинственной работы, которой отдавал теперь Захарьев-Овинов все свои свободные минуты, были достаточно ясны. Он прочёл в своём будущем такие обещания, такое счастливое сочетание электромагнитных влияний, что имел все основания бестрепетно ждать того, что должно совершиться. Он знал, что найдёт всё, чего ищет, что найдёт всё это там, на своей родине, что ему помогут во всём два близких ему существа — мужчина и женщина.

Он знал — кто они. Это его брат Николай и Зина. Они оба неизбежно входили в судьбу его. И особенно, исключительно, судьба эта была связана с женщиной, то есть с Зиной. Ведь он и прежде вглядывался в свою будущность, он и прежде видел в ней неизбежный, тесно связанный с нею образ женщины. Но, несмотря на всю свою мудрость, он ошибся — принял эту женщину за покойную графиню Елену. Он стремился тогда к вышнему духовному единению с этим жаждавшим света, томившимся и страдавшим существом и погубил его в своём печальном ослеплении.

Но ведь тогда, в своих отношениях к Елене, он был прежним человеком. Теперь в душе его все изменилось. Теперь перед ним стояло ощущение той минуты, когда он сознал весь ужас одиночества. Он понимал уж и чувствовал, что всей душою любит Зину, не так, как любил умершую графиню, совсем не так, гораздо выше, гораздо чище, полнее, но всё же любит как человек, не может отделить представления о чистой, прекрасной душе её от представления о прелестной женщине.

Итак — опять материя, победителем кото-

рой он считал себя! Перед ним стояла мучительная, неразрешимая загадка. Ему предстояла снова борьба, но перед этой новой борьбою все прежние были ничто. Он выходил на бой с самим собою, с мудрецом, достигшим высших пределов человеческого знания, исполненным понятиями и взглядами, созревшими со времён глубокой древности в тайных святилищах, куда собирались высшие представители высшего знания.

Во всех этих святилищах мудрецы древней Индии, Египта, Греции, а затем их верные ученики, скрывавшиеся по монастырям и замкам средневековой Европы и передавшие все свои скопленные тысячелетиями сокровища в развалины Небельштейна, — все они знали и провозглашали великую, непреложную, по их глубокому убеждению, истину. Истина эта была: «Всякий, кто желает достигнуть высших познаний и приобрести несокрушимую власть над природой, должен быть одинок. Никакая земная страсть, никакая привязанность не должны смущать его душу. Он должен всегда находиться в полном обладании всеми своими духовными и телес-

ными силами, не тратить, а постоянно множить запас их. Если же он соединится с другим существом, то выйдет немедленно из состояния гармонии и неизбежным следствием этого явится ослабление как духовного, так и физического его организма. Человек, соединивший свою судьбу с судьбою женщины, любивший эту женщину и сделавший её своей женой, как бы велики ни были его знания, потеряет всю свою власть над природой. Из её властелина он превратится в её раба. И горе такому человеку, ибо он уже вкусил от плодов знания. Он будет вечно томиться муками Тантала и безнадежно оплакивать своё ужасное падение».

Вот что стояло в основе всего, вот что приходилось побороть великому розенкрейцеру. Он все близился к тому, чтоб принять в свой духовный мир живое существо, соединиться с ним и отказаться этим самым от всей своей силы, от всей своей власти. Какое страшное падение!..

Но ведь на высоте могущества так ужасно, так невыносимо холодно, что он задыхается от этого холода! А там, в глубине падения, в

объятиях этой любимой души, — там тепло, отраднo, там, может быть, истинное счастье!..

Или всё это один только манящий, обманчивый призрак, или это и есть именно тот величайший соблазн, над которым надо восторжествовать?.. Он уже восторжествовал над подобным соблазном, и торжество принесло только смерть, только муки, томление возмущённой совести, всевозрастающий ужас невыносимого холода...

О, природа ещё не сдалась, она только казалась побеждённой, она переменяла только оружие. Вот она, эта знаменитая цепь из роз! Вот они, эти погибельные, дивно благоухающие, манящие розы!..

Нет, ведь нечем дышать, надо жить, а вне счастья жизнь невозможна. Одно ясно и верно: всё, в чём он до сих пор видел высшее счастье, не только не может дать никакого счастья, но несёт с собою смертный холод. Всё прошлое, несмотря на замечательные, чудные результаты знаний, — обман. Всё это одна только гордость.

А потому прежде всего надо покончить с этим. Мы видели, как великий розенкрейцер

покончил с прошлым, признав недостаточность знаний, уничтожив братство, высказав в знаменитом собрании всё то, что было у него на душе. Он этим самым одержал первую значительную победу над собою, над своей гордостью. Это был первый шаг, самый трудный. И после этого шага он оказался уже близок к тому, что должно было стать или его окончательной, величайшей победой над природой, или его полным падением.

Он возвращался теперь в Россию, и каждый день, приближавший его к родному дому, к тем людям, которые, как он знал, должны играть решающую роль в его жизни, приближал его и к этой победе или поражению. И в то же время на душе у него становилось всё легче. В течение всей своей жизни холодный, равнодушный ко всему и ко всем, безразлично относившийся к людям и к местам, теперь он испытывал новое, незнакомое ему ощущение. Въехав в Россию, он почувствовал, как сердце его радостно забилось.

Он понял, что он на родине. А ведь до сих пор он не признавал никакой родины и вообще ничего такого, что имело отношение к че-

му-либо земному. Ему легко было бы победить в себе эту радость, как нечто недостойное. Но он не сделал этого.

Когда он приехал в Петербург и подъезжал к отцовскому дому, глаза его светились, на бледных щеках вспыхивал румянец, сердце учащённо билось и замирало. И он радовался, что оно бьётся и замирает. И он не думал о том, что ведь это непроизводительная затрата жизненной силы.

Безумец, что же ты сделал с долгими годами упорного труда, борьбы и всё возрастающих чудесных знаний? Жалкий безумец! Ведь ты легкомысленно влечёшь себя на вечную погибель!» — вдруг расслышал он внутри себя негодующий голос.

Это был голос прежнего, холодного и гордого человека, голос великого розенкрейцера, мудрейшего из людей, светоносного победителя природы. Захарьев-Овинов вздрогнул, но сердце забилося ещё сильнее... Из отворившихся перед ним дверей отцовского дома на него пахнуло как бы теплом, и он властно приказал негодующему голосу: «Молчи!»

«Добро пожаловать, ваше сиятельство!» — с низкими поклонами говорил дворецкий, провожая Захарьева-Овинова в его комнаты.

Чудной и суровый княжич, которого все в доме отчего-то боялись и чуждались, отвечал на это приветствие так весело и ласково, что старый дворецкий совсем растерялся. Он взглянул на князя и почти не узнал его — так велика была происшедшая в нём перемена.

«Что за чудеса, — подумал старик, — тот да не тот!.. И лицо словно другое... Кто это видал, ведь улыбнулся он!.. Кабы таким вот и остался... А то как тогда-то жить нам будет — и подумать страшно!..»

Захарьев-Овинов спешно снимал с себя дорожное платье, не дожидаясь прислуживавшего ему человека. В сразу охватившем его удовольствии, так ему непривычном, он был очень рассеян. Он уловил мысль дворецкого и, не сообразив, что ведь тот ничего не сказал, а только подумал, весело ему ответил:

— Надо, чтоб и тогда, и теперь всем жи-

лось как можно лучше: об этом, старина, я позабочусь.

Старик вытаращил глаза, разинул рот, да так и остался, не в силах будучи произнести ни звука.

«Батюшки мои! Да что же это?.. Наскрозь он, что ли, видит, что на мысли твои тебе отвечает!.. Или это я, старый дурак, из ума выживать стал и мысли свои, сам того не примечая, вслух выговариваю?..»

Он остановился на этом последнем предположении и начал сконфуженно и низко кланяться.

— Не обессудьте, ваше сиятельство, за дурость мою холопскую, — робко говорил он, — сызмальства на службе барской, и вашей княжеской милости, видит Бог, по гроб жизни служить буду верой и правдой... как служу родителю вашему...

Он не мог сладить со своим смущением и заторопился:

— Что ж это они, людишки негодные, где это все запропалились?! Князь приехал, а и нет никого!.. Побегу...

И он действительно, несмотря на свои го-

ды и толстые, уже ослабевшие от шестидесятилетней барской службы ноги, побежал, спасаясь этим бегством.

Захарьев-Овинов улыбнулся ему вслед. Но улыбка его сейчас же исчезла, он подошёл к умывальнику, вытер себе наскоро лицо и руки мокрым полотенцем, вынул из шкафа домашний свой кафтан, поспешно надел его и пошёл наверх, к отцу. Сердце его опять забилось и замерло у отцовской двери. Он увидел старого князя таким же точно, каким оставил его, уезжая. Старик, уже извещённый о приезде сына, но никак не думавший, что он сейчас, в первую же минуту, войдёт к нему, слабо вскрикнул и протянул к нему руки. Они обнялись, и это было долгое, крепкое объятие, какого никогда не бывало у них прежде. Им обоим вдруг стало тепло и отрадно.

— Юрий, друг ты мой, спасибо тебе, что вернулся... не ждал я тебя так скоро, — прошептал старый князь, прижимая к себе сына слабыми руками.

— Ведь я обещал, батюшка, торопиться... Вы говорите — скоро, а вот мне кажется, что я слишком долго был в отсутствии.

— Ну, как... как съездил? Все ли благополучно? — спрашивал старик, когда Захарьев-Овинов придвинул себе стул и сел рядом с отцовским креслом.

— Съездил я хорошо, и все благополучно... а вот — как вы, батюшка?

Старый князь не сразу ответил — он пристально всматривался в сына, будто видел его в первый раз. Всё, о чём он часто говорил с отцом Николаем и что священник всегда обещал ему, исполнилось. Это не прежний Юрий! Это не тот неведомый, таинственный, страшный и холодный человек, который жил в его доме, занимался своими делами, которому он передал своё имя и завещал своё состояние. Это сын!.. У него есть сын!.. Какое у него новое, прекрасное и доброе лицо, как он смотрит!.. О чём он думает?

— Я думаю, батюшка, о том, что будто я в первый раз здесь, с вами, что будто я в первый раз с вами встретился и не видал вас с самых лет детства — такое у меня ощущение! — сказал Захарьев-Овинов.

Ответил ли он на мысль отца, которую разглядел, или это само так сказалося — во вся-

ком случае, старый князь погруженный в свою радость, не заметил этого совпадения своего мысленного вопроса с его словами.

— Да, — продолжал он, — мне кажется, что я в первый раз возле вас, в этой комнате... Батюшка!..

Он не договорил и прильнул губами к холодной руке старика, лежавшей на ручке кресла. И снова ему стало тепло, да и дрогнувшая под его поцелуем старческая рука потеплела. Он начал спрашивать отца обо всём, что происходило во время его отсутствия, не пропускал ни одной мелочи, которою мог интересоваться больной князь, и сам, по-видимому, интересовался всем этим.

В нём совсем уж не было всегдашнего отношения свысока ко всему, чувствовавшегося пренебрежения к тем вопросам, которые не имели связи с никому не ведомыми, таинственными предметами, составлявшими содержание его жизни. С холодной и пустынной своей высоты он спустился на землю, но ничего не потерял от этого — ему только и самому стало теплее, и в то же время теплом веяло от него на старого отца.

Они больше двух часов беседовали вдвоём, и ни тот, ни другой не испытывали и тени прежней неловкости и тяжести, которая неизбежно всегда являлась, когда им долго приходилось оставаться вместе. В эти два часа они больше сблизились и сроднились, чем за всё время их жизни до этого дня. Старый князь открывал сыну свою душу, передавал ему с живостью, свойственной старикам, когда они вспоминают давно пережитое, многие обстоятельства своей жизни. И сын слушал эту исповедь все с возрастающим интересом. Эти события, рассказы из жизни, совсем ему прежде неизвестной, уже не казались ему недостойными внимания, мелочными и даже презренными, как это было прежде. Теперь он признавал и чувствовал, что на свете не он один, что его жизнь — не всё, что рядом с нею существуют и другие жизни, имеющие такое же точно значение и право на внимание, как и его собственная.

— Батюшка, — сказал он, — я хорошо понимаю, что вы испытали много всякого горя, что в последние годы, лишась семьи, вы очень страдали... Но, скажите мне, бывали ли вы ко-

гда-нибудь счастливы? Подумайте хорошенько, бывали ли так счастливы, чтобы ничего не желать более?

Старик понурил голову. Его мысли ушли в прошлое.

— Да, Юрий, — твёрдо ответил он, — нечего Бога гневить... бывал я и счастлив на своём веку... так счастлив, что вот теперь, как только вспомнил я те краткие часы, у меня так и просветлело на душе...

— Что же бывало причиной такого счастья? Страстная любовь, почести, удовлетворение каких-либо прихотей?

Старый князь покачал головою и слабо улыбнулся.

— Нет, друг мой, не то, совсем не то. Я вот давно уж, со времени болезни моей, и днём, и в ночи бессонные все думаю да думаю, всю свою жизнь заново переживаю. Так я в этих думах моих многое такое разобрал, чего прежде-то и не понимал совсем, о чём прежде-то вовсе и не думалось. И вижу я, на себе вижу, что счастье не в том, в чём полагают его люди. Моё счастье, за которое благодарю теперь Создателя, всегда приходило ко

мне тогда, когда другие бывали довольны и когда это их довольство от меня происходило. Говорю — не понимал я тогда этого и не ценил и сам лишил этим себя ох как многого!..

«Разными словами, а и он, и Калиостро говорят одно и то же!» — подумал Захарьев-Овинов.

Между тем он видел, что оживлённый, долгий разговор всё более и более ослаблял отца.

— Вы утомлены, батюшка, — ласково сказал он.

— И радость утомляет, — прошептал старый князь, — заснуть бы теперь... да сон мой плох... не приходит!

— Авось придёт! — И с этими словами Захарьев-Овинов осторожно приподнял отца с кресла, подвёл его к кровати и уложил. Он положил ему руку на голову — и в то же мгновение старик спокойно заснул. Тогда великий розенкрейцер бережно, будто опытная сиделка, поправил подушку, тихонько прикрыл ноги спавшего тёплым одеялом и вышел из комнаты. Воспоминание о том, как он производил на этом самом месте свой ужасный опыт

над умиравшим, невыносимо страдавшим человеком, не пришло ему в голову. Но если бы оно пришло — он показался бы себе отвратительным.

Х

Выйдя из спальни старого князя, он почувствовал настоятельную потребность как можно скорее увидеться с тем человеком, который уже начал играть такую значительную роль в его жизни, то есть с отцом Николаем. Да, он должен был видеть его как можно скорее, войти с ним в соприкосновение и ещё более согреться и успокоиться от этого дружеского, сердечного общения.

Он чувствовал, что горячо и нежно любит теперь этого товарища своего детства, этого брата, о котором ещё не очень давно вовсе и не думал, которого забывал совсем в течение долгих лет своей жизни. Он не называл ещё себе нежной, братской любовью чувство, увлѣкшее его теперь к отцу Николаю, но тем не менее это чувство наполняло его.

На мгновение он остановился, сосредоточиваясь, призывая к себе те свои изошрённые

долгим трудом и опытом способности, которые без помощи внешних действий, необходимых для каждого человека, не обладавшего его знаниями и необычайной высотой развития его духовных сил, давали ему возможность узнавать многое из того, что он хотел узнать. Способности эти лучше всякого посланца показали ему, что отец Николай дома, ждёт его и что теперь именно самый благоприятный час для их встречи.

Закрыв глаза, он ясно, как в зеркале, увидел священника, сидевшего в своей комнате у окна, с молитвенником в руках, и о чём-то очень горячо говорившего какому-то существу, бывшему возле него. Но существа этого великий розенкрейцер не видел, так как о нём не думал. Ему было только понятно, что брат ждёт его, и никто и ничто не помешает их встрече.

Итак, великий розенкрейцер, несмотря на всё своё отречение от прошлого, на всю борьбу, кипевшую в душе его, на все предостережения негодующего внутреннего голоса, твердившего ему, что он падает и слабеет, всё же сохранил в полной неприкосновенности

все свои силы, способности и знания. Значит, падения ещё не было, значит, он ещё ничем не нарушил тех основных законов, на которых утверждено было высокое его положение в сфере премудрости и власти над природой.

И ему не пришло в голову, ибо и величайшая человеческая мудрость способна иногда не догадываться о самых простых и ясных вещах, ему не пришло в голову, что великие учителя его, пожалуй, и ошибаются в самом существенном. Ведь человек, для сохранения всех своих тайных сил и способностей, должен быть одинок и свободен, должен никого не любить и ни в ком не нуждаться! А вот он нуждается в брате. Его сердце вмещает в себе именно ту опасную, погибельную нежность, то стремление к другим существам, именно всё то, что должно его ослабить. И между тем он обладает по-прежнему всем своим сокровищем, добытым работой и усилиями всей жизни, он так же ясно, почти без всякого ощущаемого напряжения воли, видит на расстоянии, или, по выражению адептов тайных наук, «читает в астральном свете».

Он поспешно зашёл к себе, накиннул на

плечи тёплый плащ, надел шляпу и, пройдя «чёрным» ходом, причём встречавшаяся с ним прислуга почтительно, робко и недоумённо ему кланялась, вышел в сени и постучался у двери в помещение отца Николая.

Ему отворила Настасья Селиверстовна.

Он, конечно, знал о её существовании, знал даже, что перед его последним отъездом в Нюрнберг она приехала и находится под одной с ним кровлей. Но тогда он был ещё далеко не в том состоянии, в каком находился теперь, тогда он ещё не сошёл со своей холодной высоты и с бессознательным презрением относился к людям.

Он даже не поинтересовался взглянуть на жену такого близкого ему человека, каким был отец Николай. Тот же никогда прямо не говорил с ним о жене.

Потом, уже во время своего путешествия и в особенности подъезжая к Петербургу, Захарьев-Овинов, думая о брате, остановился мыслью и на жене его. Ему нетрудно было ясно себе представить по двум-трём намёкам, сохранившимся у него в памяти из разговоров с отцом Николаем, всю неудачность этого бра-

ка.

Но вот теперь, при первом же взгляде на Настасью Селиверстовну, он изумился. Она оказывалась совсем не такой, какую он себе её представил. Он прочёл в её красивом и смущённом лице нечто такое, что так сразу и повлекло его к ней. И в то же время ему, может быть, в первый раз в жизни стало за себя совестно, за своё пренебрежение.

Отец Николай, быстро закрыв и положив на стол свой молитвенник, поднялся к нему навстречу, широко раскрывая объятия.

— Здравствуй, гость желанный, здравствуй, дорогой наш путешественник! — радостно воскликнул священник.

— Здравствуй, брат мой милый! — ещё радостнее отвечал ему Захарьев-Овинов, обнимая его.

— Благослови меня, — вдруг прибавил он неожиданно для самого себя.

Чудным светом блеснули глаза отца Николая, когда он поднял руку для крестного знамения, благословляя этого дорогого, близкого его душе человека, который до сих пор ни разу не попросил его благословения.

Тогда Захарьев-Овинов, ещё раз крепко обняв отца Николая, подошёл к Настасье Селиверстовне с такой хорошей улыбкой, что она от неё вся так и просияла.

— Давно бы пора мне с вами познакомиться, — сказал он, крепко сжимая её руку. — Прошу любить да жаловать, ведь мы не чужие.

Настасья Селиверстовна совсем растерялась: и неожиданность та была велика, и страшновато ей стало, да и князь этот, который вот говорит ей, что они не чужие, всегда представлялся ей не только чужим, но даже и совсем сказочным, недоступным. А вот он перед нею, жмёт ей руку и так хорошо улыбается, и говорит так просто и ласково, по-родственному. Чудный он какой-то и совсем, совсем не такой, каким она себе его представляла.

— Ваше сиятельство, — растерянно шептала она, борясь с невольной своей робостью, с деревенской своей простотою и в то же время отдаваясь чувству, которое вдруг повлекло её к этому важному барину. — Ваше сиятельство... ах, да что же это такое? Неужто это

вы?.. Как же это вы... такой?..

Он любовался её смущением, но быстро уничтожил его крепким пожатием своей руки.

— Какой же я такой, матушка? — весело спросил он.

Она уже стала совсем сама собою, смущение и робость её прошли, осталась одна радость, одно влечение к этому человеку.

— Простой, добрый да ласковый, хороший! — говорила она. — А красавец-то вы какой, князенька, молодой какой, чудно, право!..

Захарьев-Овинов звонко засмеялся и даже не заметил своего смеха, не услышал его. А между тем это был первый смех, первый весёлый смех в его жизни, после детства. Рука отца Николая была на его плече.

— Вот и хорошо, князь мой, вот все и ладно, — с таким же весёлым смехом воскликнул священник. — Совсем по нраву пришёлся ты моей Насте. А я-то думал: перепугается она, страшным ты ей покажешься!.. Да и показался бы страшным, — прибавил он, понижая голос и переставая смеяться, — если бы встре-

тился с нею пораньше. Большая в тебе, мой князь, перемена, и перемена эта, по милости Божией, к лучшему. Так ли?

— Так, брат мой, так, — отвечал, тоже переходя от веселья к иным ощущениям, Захарьев-Овинов.

— Много перемен, много милосердия Божиего надо всеми нами, — сказал отец Николай. — Вот ты и у нас, князь, застаёшь праздник, большой праздник! Давно мы с Настей повенчались, а были друг дружке совсем чужими, и было то большим для нас горем. Теперь же вторично соединены мы с нею самим Богом, мир и любовь между нами... и радость великая.

Слова эти объяснили Захарьеву-Овинову всё. Теперь он понял, почему представлял себе жену брата совсем другою — она и была до сих пор «другая».

— А ведь я так и знал, что ты нынче к нам будешь. Сердце сказало! Спроси вот Настю.

— Да, да, — живо перебила Настасья Селиверстовна, — как проснулся, так и говорит мне: думается, говорит, ныне я моего князя увижу, так и сказал. Ох, князенька... да кабы

ВЫ знали...

Она не договорила.

— Знаю, — перебил её Захарьев-Овинов, — знаю, что многое ему доступно.

Отец Николай взглянул на жену, и она поняла взгляд его.

— Пойду-ка я, — сказала она, — навещу тут больную женщину, не замешкаюсь...

Минуты через две Захарьев-Овинов остался один с братом.

XI

Оставшись наедине, отец Николай взглянул на великого розенкрейцера с такой непривычной, редко посещавшей его грустью, что тот почувствовал смущение и даже трепет. Он не мог не понять ясного смысла этого взгляда. Глаза брата говорили ему: «У тебя легко на душе, ты смеялся, а между тем не пришло ещё для тебя время радости и смеха, ты должен плакать!»

— Брат, — сказал Захарьев-Овинов, — с самых дней нашего общего с тобою детства я не знал, что такое радость, что такое горе. Слыша людской смех, видя людские слёзы, я счи-

тал то и другое признаком детской слабости. Но всюду, где жизнь, — там и смех, и слёзы. Пока я не был способен ни смеяться, ни плакать, я не жил. Моё существование было очень мрачно и холодно, хотя я и не понимал этого. Когда понял — я стал задыхаться, я стал просить той жизни, которую потерял. Понемногу она ко мне возвращается; кажется, я уже способен теперь смеяться — значит, могу и плакать...

Я вот пришёл к тебе... у тебя хорошо, светло и весело. Я увидел твою жену. Прежде я никогда не видел людей, с которыми встречался, теперь я их вижу. Ну вот — я понравился твоей жене, а она понравилась мне, хотя мы с нею совсем различные люди и далеко, далеко находимся друг от друга. Далеко и близко. Я не думал, что это может быть, и увидел, что это есть. И я возрадовался этому. У меня на душе стало хорошо и весело, но ведь это — минутное, и вот — я уж не могу удержать такое состояние моей души... Я пришёл к тебе не потому, что мне хорошо, а потому, что мне дурно. Я ищу твоей помощи, и мне надо открыть тебе мою душу.

Отец Николай сел рядом с ним, взял его руку обеими руками и не выпускал её.

— Помнишь наши беседы, — заговорил он, — ведь я уже не раз повторял тебе, что ты несчастный. Теперь, князь мой, ты сам это видишь. Слава Богу! Ты видишь это!.. У тебя великий разум, великая учёность и мудрость; я же простой, мало учёный человек; но говори, говори мне все без утайки. Пусть слова твои будут настоящей исповедью... Бог поможет мне уразуметь, сердцем ощутить то, что недоступно моему пониманию.

Тогда началась исповедь Захарьева-Овинова. Он ничего не скрыл от священника и брата. Он увлёк его за собою в самую глубину своей души, куда не допускал никого. Он чувствовал всё возраставшее удовлетворение по мере того, как вводил брата в эти тайники души своей. Его гордость молчала. Он охотно признавался в своей слабости, в необходимости для себя поддержки, света, разъяснений.

Отец Николай понимал всё. Мало того, ничто в братней исповеди не было для него новым и неожиданным. Он уже давно знал и чувствовал, что брат его был «волхвом» — че-

ловеком, владевшим тайными знаниями, достигнутыми без Божией помощи. Он полагал в этом величайшее несчастье для брата и почитал этого дорогого, любимого брата большим грешником.

Давно, уже давно молил он Бога о том, чтобы Он простил этого грешника, помиловал и просветил. Он уже знал, что пришло время благоприятное. Братняя исповедь показала ему, однако, что хотя уже началось великое обновление души человеческой, хотя уже гордость поколеблена, но сознания греховности ещё нет, нет ещё смирения, нет ещё стремления к Богу и поклонения ему. Душа ещё не очищена искренним, глубоким раскаянием, ещё не омыта спасительными слезами.

Захарьев-Овинов остановился, думая, что сказал всё, и пристально своими горящими, будто мечущими искры глазами глядел в спокойные, тихие глаза брата. Да, он чувствовал большое удовлетворение, высказав ему всё, приняв этого близкого, полного какой-то особенной благодатной силы человека в свой духовный мир, открыв ему все тайники души своей. Но в то же время он чувствовал и

глухую боль, ноющую тоску, которая так и давила теперь его сердце.

— Куда же ты поведёшь меня? — спросил он грустным голосом.

Отец Николай внезапно оживился, встал и быстрым, нервным шагом стал ходить по комнате.

— Тебе один путь, — вдохновенным шёпотом начал он, всё возвышая и возвышая голос, — один только путь — к Богу!

— К Богу!? — почти простонал от внезапно прорвавшейся сердечной муки Захарьев-Овинов.

Это было не то восклицанием, не то вопросом.

— Ты не знаешь этого пути, — подходя к нему и весь сияя каким-то особенным светом, ясно видимым Захарьеву-Овинову, воскликнул священник. — Я не могу указать тебе его, пока ты сам его не узришь, а узреть его ты можешь лишь тогда, когда почувствуешь всю свою греховность, когда почувствуешь, что тебе нельзя ни часу, ни малой минуты оставаться в этой греховности. Да, брат мой, ты великий грешник — пойми же это!.. Пади

ниц, плачь, рыдай, моли себе пощады!.. Будем вместе молить о ней Бога!

— В чём же грех мой? — мрачно спросил великий розенкрейцер, весь содрогаясь и чувствуя в словах священника великую, мучительную правду.

— Твой грех?! Он в том, что ты до самого последнего времени жил, никого не любя, служа злу, так как там, где нет любви, одно только царство зла, а где зло — там преступление, там грех и ужас. Тем, что ты никого не любил, ты уже совершал ежечасно тяжкое преступление и губил свою душу. Но за тобой ещё один великий грех... Неужели забыл ты его? А ведь от твоего этого греха возмутилась вся природа, возмутилась сама смерть... и выслала к тебе твою жертву! Ведь не ты один, ведь и я её видел, эту бедную жертву!.. С того света пришла она к тебе и назвала тебя убийцей!

Будто страшный удар грома разразился над головой Захарьева-Овинова, будто в самую душу его ударила молния. Все существо его потрясло, колени его подкосились — и он упал на пол, закрывая лицо руками. Он все

понял.

— И я думал, что для меня возможно счастье!.. — простонал он.

Но могучий, глубоко убеждённый голос священника уже звучал над ним:

— Для тебя возможно ещё счастье, ибо бесконечно Божие милосердие! Поверь в Него, почувствуй Его — и тогда ты спасён. Ведь Он сотворил и тебя, и всех, и всё! Ведь Он истинный Отец, пойми — Отец! Ты мог постигнуть все чудеса его творения, но Его не мог ты постигнуть разумом — и низринулся в безумие, ибо разве не безумие признавать творение без Творца, следствие без причины?! Плачь, рыдай, молись, забудь твою мудрость! Зови в себя любовь, зови её немолчно, неустанно — и она придёт на зов твой... Она войдёт в твою душу — и тогда ты будешь спасён, ибо кем бы ты ни был — ты ничто, ничто без неё! Ты несчастнейший, преступнейший из смертных, пока нет любви в тебе... Плачь и молись...

Его голос оборвался. Он сам упал на колени рядом с братом и, охватив его крепко рукою, прижавшись головой к его голове, будто

стараясь с ним слиться, войти в него, воскликнул, весь обливаясь слезами:

— Господи, помилуй! Господи, спаси нас!

XII

Когда Захарьев-Овинов простился с отцом Николаем, внушившим ему твёрдую надежду на спасенье и уничтожившим безнадежное отчаяние, которое было охватило его душу, он не пошёл к себе. Он машинально прошёл большой двор, вышел из ворот и направился по улице.

Он не замечал дороги, не видел встречных. Ему попалась возвращавшаяся домой Настасья Селиверстовна. Она уже было кинулась к нему с радостной улыбкой; но взгляд на его лицо ясно сказал ей, что он ни её, да и никого не видит. Она отшатнулась, не посмела его окликнуть — и он прошёл мимо.

Он бродил до самого вечера по улицам, а затем пришёл к себе и запёрся в своих комнатах. Никто так и не видел его весь день. Двери были на запоре, прислуга не посмела стучаться. Приготовленный ему обед остался нетронутым. Наконец дворецкий решил, что, вер-

но, князь обедал где-нибудь у знакомых и, решив это, распорядился, чтобы убирали со стола.

Но князь нигде не обедал. Он ничего не ел весь день и даже не помнил, что существует пища, что человеку необходимо питаться. Ему не в новость были дни, проведённые в полном воздержании от пищи. Наконец, если бы голод напомнил ему о себе, у него был запас таинственного, подкрепляющего силы человека вещества, которым щедро снабдил его Ганс фон Небельштейн...

До потребностей ли тела было теперь великому розенкрейцеру, когда в душе его кипела необычная, решающая всю дальнейшую судьбу его деятельность. Беседа с отцом Николаем, всё, что он пережил и почувствовал во время этой беседы, — внезапное просветление, сознание своей преступности, прорвавшиеся рыдания и слёзы, общая молитва с братом, принёсшая ему совсем новые, неизъяснимые ощущения, — всё это было для него подобно кризису тяжкой болезни, после которого начинается медленное выздоровление...

Да, выздоровление начиналось. Жизнь со

своим светом, со своим теплом приходила мало-помалу. Но слабость была велика, страданий оставалось ещё очень много. Великий розенкрейцер уже не мог теперь, раз признав и увидя глубину своего нравственного падения, снова закрыть глаза и уйти в свой прежний мир. Теперь уже никакие доводы рассудка, ничто из его прежних знаний неспособно было убедить его в том, что смерть несчастной Елены Зонненфельд была не делом его рук, не делом его преступной воли, а естественным происшествием, совершившимся по непреклонным законам, управляющим природой. Он виноват в этой смерти.

Если бы такое убеждение явилось как довод рассудка, тот же самый рассудок мог бы представить, пожалуй, иные доводы. Но раз человек «почувствовал» свою виновность, раз голос сердца и совести сказал ему о ней — тут уже некуда было деваться, тут уже не могло быть ошибки, — совесть не обманывает. Страшно, тоскливо становилось на душе великого розенкрейцера, и в миг один он, всю жизнь считавший себя выше других людей, сделался в своих собственных глазах ничтож-

ным, жалким существом. Всю жизнь чувствуя в себе необычайную мощь и силу, он чувствовал себя теперь слабым, беспомощным, неспособным подняться без высшей помощи.

Его душа давно уже подготовлялась к тому, что совершалось теперь в ней. Но всё же борьба была жестокая: весь прежний мир, со всеми обольщениями гордости, власти и силы, заявлял свои права и не хотел сдаться. Новый мир мог противопоставить ему только одно оружие. Оружие это, однако, было непреоборимым, и оно выросло с каждой минутой в душе великого розенкрейцера. Это оружие было — любовь. Да, происходил таинственный процесс возрождения души человеческой. Цветок любви, истинной, горячей любви, пробился наконец сквозь холодную почву. Он быстро рос, распускался. Дивная красота его выделяла уже из себя сладкое благоухание.

Великий розенкрейцер ещё не пришёл к Богу, уста его ещё не произнесли имени Отца, но распускающийся благоуханный цветок уже вёл его по Божиему пути. Он уже верил в возможность спасения, в возможность уни-

чтожения всего зла, содеянного им. «Отдай всю жизнь любви и добру!» — таковы были последние слова, которыми напутствовал его отец Николай. И эти слова звучали теперь над ним, и, когда они звучали, замирала его тоска, стихали его муки...

Поздно вечером услышал он стук у своей двери. Это был отец Николай. Он принёс ему с собою новую силу, новое утешение.

— Не смущайся, — говорил он ему, — начинай новую жизнь, и тяжкий грех твой станет твоим спасением. Многие, многие спаслись грехом и нареклись сынами Божиими. Я пришёл к тебе, брат мой, чтобы сказать нечто весьма для тебя важное. Ты просил у меня совета, и вот тебе совет мой: если хочешь быстрого и полного исцеления души своей, если хочешь, чтобы жизнь твоя была полна счастьем, любовью и благом, не оставайся один. Много и долго я о тебе думал и вижу, что тебе никак нельзя быть одному. Соедини судьбу свою с другою судьбою, свою душу — с другою душой. В таком благом единении ты найдёшь спасение своё.

Захарьев-Овинов вздрогнул. — Дозволь

мне, — между тем продолжал отец Николай, — дозволю благословить тебя на честный брак с Зинаидой Сергеевной.

— Николай, возможно ли это?! — растерянно прошептал Захарьев-Овинов.

— Возможно и должно. Честная жизнь с доброй женою, которая будет тебе верной помощницей, которая уврачует все твои недуги, вот что тебе надо. А лучшей жены, как эта духовная дочь моя, не найти тебе. Сам Бог её посылает. Душа её чиста, и чистота этой юной души очистит и твою душу.

— А я? — мрачно произнёс Захарьев-Овинов. — А я своим мраком и преступлением, я разве не загрязню её душу?

— Нет, — с глубоким убеждением воскликнул отец Николай, — нет, вы будете только в помощь друг другу. Ты из прекрасного, чистого ребёнка сделаешь угодную Богу жену... как бы сказать тебе... словами вот я не умею выразить, ну, да вот... вы пополните друг друга, вы будете воедино...

— Но разве она?.. — прошептал Захарьев-Овинов.

— Тебе нечего спрашивать, ты так же хоро-

шо, как и я, знаешь, что она ждёт тебя. Не иди против судьбы, её посылает тебе Бог. Гляди на этот брак высоко и чисто, приступи к нему со страхом Божиим и не отказывайся.

Несколько мгновений продолжалось молчание. Наконец Захарьев-Овинов поднял глаза свои на отца Николая и сказал:

— Брат, ведь и твоя вера говорит тебе, что безбрачие выше брака!

— Как для кого, — ответил священник. — Для тебя такой брак — спасение... и брак истинный — великое таинство. Люби её, посылаемую тебе Богом подругу, через неё ты полюбишь весь мир, через неё ты узришь все заблуждения человеческой гордости.

— Да, такова судьба моя, — прошептал великий розенкрейцер, — и вряд ли я пойду против неё...

XIII

Проходят часы, ночь сменяется бледным утром, а великий розенкрейцер не раздевался и не ложился. Сон ни на минуту не сомкнул его глаз, и с тех пор как вышел от него отец Николай, он не тронулся с места.

Он сидит неподвижно перед своим рабочим столом. Свечи давно догорели, но он не заметил этого. С каждой минутой ночные тени все бледнеют. Широкие полосы света, врываясь из-под спущенных занавесей окон, уничтожают мрак тихой комнаты. Всё резче, яснее обозначаются предметы...

Наступил день.

Сквозь едва заметный просвет тяжёлой драпировки прорвалась струйка солнечного света — и всё озарилось ликующим, тёплым светом. День проник и в эту немую, будто застывшую, будто мёртвую обитель.

По-прежнему чувствуется здесь всё пропитавший, странный, душистый и крепкий запах. По-прежнему на полках книжного шкапа стоят старинные книги, в ящиках бюро лежат исчерченные непонятными письменами, знаками и символами рукописи. По-прежнему на столе таинственная шкатулка, заключающая в себе непонятные для непосвящённого предметы, крепчайшие эссенции, кусочки тёмного вещества, способного заменить пищу для человека.

Одним словом, здесь по-прежнему собрано

всё то, что добыто тайной деятельностью, тайными знаниями естествоиспытателей-розенкрейцеров, всё, что неизвестно когда ещё, но когда-нибудь делается общим достоянием человечества, неизбежно идущего вперёд по пути познания природы.

Да, всё здесь как было, и в то же время всё это потеряло смысл для жильца этой тихой комнаты. Здесь в прежнее, недавнее ещё время, в часы тихой ночи и раннего утра он бывал погружен в свои таинственные работы. Он производил иной раз изумительные опыты с теми предметами, с теми веществами, которые заключены в таинственной шкатулке. Теперь же, если бы он даже и вспомнил, что может снова отдаться прежней работе, что может снова производить свои опыты, он махнул бы на всё этой рукой как на детскую забаву. Но он даже и не помнит обо всём этом.

Эта ночь, это утро, последняя ночь, последнее утро его внутренней борьбы. Две силы борются в нём. Одна сила — холод и мрак, другая — тепло и свет. И как день, ворвавшийся в комнату сквозь все препятствия, победил и

уничтожил ночные тени, так же и в нём свет в тепло, одолев все препятствия, гонят мрак и холод...

«Нет жизни без счастья! — всё громче и громче повторяется в его мыслях. — Жизнь без счастья есть смерть. В чём же счастье? В знании?»

Нет. Так казалось до последнего времени, так всегда думалось в течение всей жизни, с тех самых дней, когда впервые пробудился разум и ощутилась мучительная, могучая жажда духа. Так торжественно объявляли мудрецы древности, так учил старец, отец розенкрейцеров. Но теперь уже ясно, что это не так, — ошибся разум, ошиблась древняя мудрость, ошибся великий старец. Счастье — в любви. Так говорит скромный деревенский священник, так говорит светлый образ девушки-ребёнка, то и дело рисующийся в воображении, так говорит вся душа, рвущаяся к теплу.

«Любовь выше знания, — внутренне говорит себе великий розенкрейцер, — сердце выше разума. Кто свёл разум в сердце и поселил его в нём, тот достигает счастья, тот проника-

ется любовью. А знание? Знание приходит, неизбежно приходит, когда разум сведён в сердце. Да, это так, это так! Я чувствую это всем существом моим!»

Совершилось. Всё старое, всё прежнее было навсегда разрушено, и человек не мог уже вернуться к этим развалинам. Он уже не помышлял о том, что такое произошло, победа или падение. Ни о каких победах, ни о каких падениях он не думал. Побезданный разум был именно сведён в сердце; но ещё не мог очнуться, не мог ещё понять себя в этом новом состоянии, слышал только над собою немолчный, могучий голос, которого необходимо было слушаться. Да послушание и не было уже возможно.

Прошли ещё минуты.

— Зина!.. — прозвучал нежным призывом голос великого розенкрейцера. — Зина...

И всё вокруг внезапно осветилось. Он поднялся со своего кресла, на котором просидел всю ночь, подошёл к окну и широким движением распахнул драпировки. Сноп солнечного света ворвался в комнату, и последние тени бесследно исчезли.

Тогда великий розенкрейцер почувствовал в себе не то что утомление, а потребность освежиться, очиститься от всей ночной копоти и пыли. Он пошёл к себе в спальню, умылся свежей водою, опрыскал себя чудной благовонной эссенцией, переоделся тщательно, будто собираясь на праздник. Но всё это он сделал почти бессознательно. Он не думал ни о чём. Праздник и ликование были в душе его, и в нём немолчно повторялся призыв: «Зина! Зина!»

Он закрыл глаза и увидел её в холодном, серебристом тумане зимнего утра... Закутанная в пушистый мех, она прижалась в угол кареты... Он видит, ясно видит разрисованное морозными узорами каретное стекло... Но глядит он не на это стекло, а на прелестное лицо Зины, в её глаза, и ясно читает в них. Он видит и знает, что она думает о нём, что в ответ на его призыв, и она зовёт его, и она повторяет его имя...

«Зина! Ко мне, скорее!..» — всей душой зовёт он и видит, что ей слышен его голос...

Вот она вздрогнула... будто прислушивается...

И ещё неудержимее, ещё призывнее повторил он: «Зина!»

Он открыл глаза, простоял так несколько мгновений, будто боясь, что это только обман воображения, что вот он закроет глаза — и ничего не увидит. Он спешит закрыть их. Нет, всё ясно! Опять перед ним разрисованное морозным узором стекло... Опять глаза милой девушки... С каждой минутой он чувствует, что она всё ближе и ближе к нему...

Что это? Откуда эти звуки? То бьют часы. Он машинально считает удары: десять. Десять часов.

Едва замолк последний звук, и едва успел он произнести: «десять» — дверь отворилась, и перед ним была Зина.

XIV

Когда она выехала из дому, то вовсе не думала, что едет к нему, и даже не знала, что он уже вернулся. Она ехала к отцу Николаю. Но дорогой с нею произошло нечто странное, повторилось то самое ощущение, которое она испытывала на празднике в Смольном, когда в первый раз встретилась с взглядом челове-

ка, сразу овладевшего её душою. Но тогда в её ощущениях было больше муки, чем радости, теперь же радость превозмогала и росла с каждым мгновением.

Без борьбы и волнения она отдавалась тому, что происходило с нею. Она чувствовала его устремлённый на неё взгляд, и в этом-взгляде не было уж ничего страшного, загадочного и злого, в нём была любовь, надежда и печаль, как тень прошлого. Она услышала его призывный, зовущий её по имени голос, — откуда он, где звучит, она не знала; но ни на миг не могла сомневаться в том, что это его голос и что он зовёт её.

Его призыв становился все слышнее. Она вся так и рвалась к нему, и, когда её карета остановилась у дома князя Захарьева-Овинова, она уже не владела собою. Она действовала под могучим наплывом неведомой силы, с которою не хотела и не могла бороться. Она не помнила, каким образом вошла на крыльцо, что говорила встретившим её людям. Та сила, которая влекла её, была могучей силой, и все препятствия разлетались перед нею. Княжеская прислуга могла изумиться этому

внезапному появлению молодой нарядной красавицы, желавшей видеть князя Юрия, но не могла остановить её.

Дверь отворилась, и перед нею он. Она глубоко вздохнула всей грудью, будто освобождаясь от какой-то тягости, провела рукою по лбу, будто отгоняя какой-то туман и чад. От этого движения лёгкий меховой плащ упал с плеч её. Ещё миг — и она была в объятиях того, кто так измучил её душу, кого она так страшилась ещё недавно и кого так любила своим неопытным, но уже мощным и готовым на все испытания сердцем.

Она не уклонилась и не могла уклониться от этого объятия, она передала им себя на всю жизнь, навеки, тому, кто был ей предназначен. А он? Он уж не спрашивал себя, что это: падение или победа? И если бы в этот миг весь ад, вооружённый всеми своими ужасами, грозил ему, если бы все силы земли и неба твердили ему, что он себя губит, — ему даже и в голову не пришло бы обратить на них внимание и смутиться духом.

— Простишь ли... можешь ли ты простить меня? — с мольбою и надеждой шептал он,

глядя ей в глаза сияющими глазами и боясь очнуться, боясь убедиться, что это сон, грёза, а не действительность.

— Что?.. Что простить? — растерянно, едва слышно спрашивала она, понимая только одно, что все совершилось.

— Моё прошлое... холод и жестокость души моей... и... то тяжкое преступление... содеянное в безумии моём... в ослеплении! — слышала она его голос.

Она поняла, наконец, смысл его слов, содрогнулась и невольным движением от него отстранилась. Перед нею пронеслось всё, все испытанные впечатления, все ужасные сцены, которых она была свидетельницей. Образ истерзанной муками ревности, обезумевшей, умиравшей у ног её графини Елены вернулся будто живой, и сердце её заныло. Счастливый свет её глаз померк, и вместе с ним померкло и лицо Захарьева-Овинова.

— Я... разве я... могу прощать?! — прошептала она. — Бог может простить... и она...

В это мгновение им показалось, что перед ними мелькнуло что-то белое, прозрачное, неопределённое, и оба они испытали такое

ощущение, будто рядом с ними, близко, близко, почти касаясь их, есть кто-то. Они явно слышали как бы тихий музыкальный аккорд, и потом... потом слабый, не земной, но всё же знакомый, понятный голос произнёс над ними: «Я все поняла... Я прощаю...»

Снова они одни... Спокойно и радостно на душе их... Они взглянули друг на друга и увидели, что оба знают, кто это был сейчас с ними, кто понял все и простил...

Жизнь вступила в свои права. Солнце светило ярко. Всё таинственное, непонятное исчезло. Захарьев-Овинов взял Зину за руку и сказал ей:

— Пойдём к моему отцу... Пусть он увидит тебя и благословит нас.

И они пошли. Когда Захарьев-Овинов, оставив Зину в соседней комнате, вошёл к отцу и всё сказал ему, старый князь не сразу понял, но, поняв, он так весь и затрепетал от радости.

— О Господи!.. Да как же это?.. Кто ж она такая?.. Юрий, друг мой, не томи... скажи скорее!

Из области своих мечтаний он сразу вернулся к прежней жизни, к прежним понятиям и боялся сыновнего ответа. А вдруг Юрий выбрал такую себе невесту, которую он не будет в состоянии назвать дочерью? То, что сказал ему сын о Зине, хоть и не совсем его удовлетворило, но всё же успокоило.

— Что ж, друг мой, — ответил он, поправляясь в своём кресле и запахивая полы мехового халата, — я тебе перечить не могу и не стану... поспеши... извинись перед своей невестой за то, что я по болезни своей и слабости не могу её как след встретить... и приведи её ко мне.

Сын поспешно вышел из спальни, а старик, подбодрясь, ждал. Ждал, и в то же время губы его шептали имя любимой дочери, которую у него так рано, так безжалостно похитила смерть. Но стоило ему взглянуть на вошедшую Зину — и он забыл всё. Предубеждение против неё, вдруг невольно закравшееся к нему в сердце при воспоминании о покойной дочери, сейчас же и пропало бесследно.

— Батюшки-светы! Да какая ж вы красавица! Отродясь такой не видывал! — в волне-

нии повторял он, когда Зина склонилась перед ним и, взяв его руку, почтительно её поцеловала.

— Голубушка ты моя, видишь я какой... и руки-то поднять не могу, обнять тебя не могу... наклонись, дочка милая, дай я тебя поцелую...

Она почувствовала на своём лбу его крепкий поцелуй и в то же время услышала, что он плачет. Да, он плакал от радости.

— Юрий, Юрий, — заговорил он сквозь слёзы, — вот уж порадовал ты меня... вот уж краю себе нашёл... Слава тебе, Господи! Признаться — такого счастья я и не ждал, и Бога-то о нём просить не смел... Ну, теперь и умру спокойно, без помехи... на душе хорошо стало... Только, дети, исполните вы мою просьбу? Юрий, друг ты мой, обещаешь мне исполнить великую мою просьбу.

— Что прикажете, батюшка?.. Свадьба чтобы наша была скорее? — поняв, прибавил он.

— Да, — воскликнул старик, — не дожидаетесь моей смерти — она придёт теперь скоро, а я хочу покинуть вас уж мужем и женою... Красавица моя, исполнишь мою просьбу?

бу?

— Да, конечно, — совсем просто ответила Зина, — только вот как царица?..

— Царица мне не откажет, — уверенно сказал князь, — я сегодня же, сейчас же напишу ей, а ты, Юрий, свези... она тебя примет.

В это время вошёл отец Николай, и старый князь так весь и просиял, его увидя. Через несколько минут отец Николай благословил жениха и невесту.

XV

Захарьев-Овинов перед царицей. Движением руки она указала ему на стул, на который он и присел, а сама, откинувшись на спинку своего любимого кресла у письменного стола, читает поданное письмо старого князя.

На лице Екатерины заметно некоторое недовольство. Она уже часа за два перед тем имела объяснение с Зиной. Она привязалась к доброй и прекрасной девушке и вот теперь должна расставаться с нею. Ей самой уже не раз приходило в голову, что было бы жестоко из-за эгоистического чувства не устроить как

следует жизнь Зины, не выдать её замуж. Но ведь она ещё очень молода. Год-другой подождать можно. А потом надо ей найти хорошего жениха, с именем, со средствами, с положением. И притом — непременно хорошего человека. Бог знает кому, какому-нибудь легкомысленному петиметру, невозможно отдать этого чудесного ребёнка.

Нет, она, царица, позаботится о ней, как истинная мать, разглядит человека со всех сторон и устроит ей такой брак, который действительно сделает счастье её Зины...

И вдруг Зина с волнением, но в то же время и с такой решимостью, какой даже она в ней не предполагала, объявляет, что нашла себе «жениха и жених этот некто иной, как князь Захарьев-Овинов!..

Если бы Екатерина ясно и обстоятельно помнила всё, относившееся до этого человека, у неё в руках оказалось бы достаточно доводов, чтобы сразу решительно объявить своё несогласие на этот брак. Но дело в том, что под влиянием непонятной силы у неё сохранилось только какое-то смутное, неопределённое воспоминание о чём-то — и больше

ничего. Она знала, что Захарьев-Овинов был близок к покойной графине Зонненфельд, что Зина встретила с ним у гроба этой несчастной молодой женщины. Потом был священник, о котором она уже не раз слышала много хорошего. Этот священник — духовник Зины. Он живёт в доме Захарьева-Овинова. Зина у него бывает — значит, и там она могла встретиться с князем...

Видалась она с ним и здесь, когда царица «призывала» его. Свою беседу с этим странным и учёным человеком она хорошо помнит. Это была интересная беседа. Он достаточно оригинален, но ведь он фантазёр, у него все какие-то отвлечённые, какие-то мистические идеи...

Он казался ей чем-то вроде сурового и холодного аскета. И вдруг этот аскет и мистик самым заурядным образом пленился красивой девочкой, сделал ей предложение и хочет жениться...

Старый князь пишет, умоляя её, ввиду своей болезни и приближающейся, как он уверяет, смерти, дать своё разрешение на этот брак и дозволить, чтобы свадьба была как можно

скорее. Царице всё это досадно. Она привыкла, что все делается так, как она того хочет, как она задумает, а тут вышло совсем иначе, совсем неожиданно — и притом ещё её торопят...

Да ведь он более чем на двадцать лет старше Зины, ведь ему за сорок, а она почти совсем ребёнок — ей нет ещё двадцати лет. Он ей не пара!..

Она положила письмо на стол и взглянула на Захарьева-Овинова. Этот взгляд показал ей, что лучше и не останавливаться на вопросе о возрасте. Он изумительно, невероятно моложав. Он крепок, бодр, красив, у него такое необыкновенное лицо. Зина не могла им не увлечься, заметив, что производит на него впечатление. А он, видно, очень увлечён ею. Он совсем не таков, каким был прежде. Он стал как-то гораздо проще, во взгляде нет ничего странного, загадочного, что так её поразило, когда она его в первый раз увидела. Глаза его смотрят светло и ясно: видно, что он счастлив.

— Итак, князь, — сказала Екатерина, — вы желаете прекратить вашу жизнь учёного ана-

хорета, ваши вечные путешествия и превратиться в доброго семьянина. Всё это весьма похвально, и я не имею ничего возразить вам. Но вы просите руку моей камер-фрейлины...

— Я был бы очень доволен, если бы Зинаида Сергеевна не была камер-фрейлиной вашего величества, — сказал Захарьев-Овинов.

— А почему бы это, сударь? — быстро спросила царица.

— Потому, что тогда мне не пришлось бы лишать ваше величество не только камер-фрейлины, но и лучшей девушки, какая только может существовать в мире.

— Да, это для меня крайне неприятно и даже гораздо более того, — произнесла Екатерина. — Но если дело идёт об её счастье...

— А вы сомневаетесь, ваше величество, что она будет со мной счастлива — не так ли?

— Может быть...

— Конечно... только одно время решит вопрос этот.

— Да, время, — в раздумье сказала царица и затем пожала плечами. — Что ж, я не имею никаких оснований запрещать вашего брака.

Ваш отец просит, чтобы свадьба была как можно скорее. И против этого я ничего не могу возразить, только...

— Только вы очень недовольны нами, ваше величество.

Екатерина сдвинула брови. Она была очень, очень недовольна, но не хотела показывать этого.

— Не то, — сказала она, — я хотела спросить вас... вы совсем её у меня возьмёте?

— Её сердце навсегда принадлежит вам, — спокойно и серьёзно ответил Захарьев-Овинов. — Она любит ваше величество не только как государыню, но и как истинную мать. Это я знаю и уж, конечно, не стану уничтожать в ней такое чувство... Но вы не о том спрашиваете. И я должен сказать вашему величеству, что при дворе моя жена остаться не может.

— Я знаю ваши идеи! — с некоторой резкостью перебила Екатерина. — Вы крайне невысокого мнения обо всём, что меня здесь окружает.

— Ничуть, ваше величество, — всё так же спокойно и серьёзно сказал Захарьев-Овинов, — но человек должен быть там, где он

нужен... Где буду я с женою — это вопрос будущего, на который я не могу ещё ответить. Я хорошо понимаю неудовольствие вашего величества. Если бы я нашёл для вас полезным моё присутствие здесь, то принял бы всякое дело, какое вам угодно было бы мне предоставить, всякую службу. Не сердитесь на меня, государыня, и дозвоьте мне высказать вам мою большую просьбу...

— Что такое? Говорите.

— Если когда-нибудь я найду нужным что-либо сообщить вам, дозвоьте мне, когда бы это ни случилось, лично обращаться прямо к вам.

— Против исполнения такой просьбы я ничего не имею. Я всегда вас выслушаю, и если сообщение ваше будет заключать в себе нечто более или менее важное либо какой разумный совет, то останусь вам за сие премного благодарна.

— Больше мне ничего не надо, — сказал Захарьев-Овинов. — Такое обещание царицы может быть во многих отношениях неоцененным сокровищем для подданного...

Императрица милостиво простилась с

ним. Он уходил вполне удовлетворённым, хотя ясно видел, что она всё же им очень недовольна.

XVI

Направляясь к выходу, в одной из дворцовых зал он встретился с Потёмкиным. Светлейший был один, без всякой свиты. Он медленно подвигался, тяжело ступая по паркету, и нёс, размахивая рукою, небольшой портфель с бумагами, очевидно, для доклада царице. За это время он ещё больше как-то обрюзг. На лице его выражалось не то утомление, не то скука. Он громко зевнул раза три и привычным движением перекрестил себе рот. Подойдя на близкое расстояние к Захарьеву-Овинову, но ещё не узнавая его, он прищурился и вдруг остановился.

— Князь, ты ли это, голубчик?.. — воскликнул он, протягивая ему руку. — Какими судьбами, из каких стран и странствий?.. Не часто мы с тобой встречаемся... Рад я тебя видеть... поцелуемся!

Они трижды поцеловались.

— А и взаправду любопытно мне, за каким

это ты здесь делом?

— За большим, князь, — ответил Захарьев-Овинов. — Я прямо от царицы.

— Что ж так? Или человеку, которому ничего не надо, что-нибудь да понадобилось?

— Понадобилось!..

И Захарьев-Овинов рассказал Потёмкину, по какому делу был у царицы. Тот с изумлением глядел на него и вдруг засмеялся.

— Ушам своим не верю! — все продолжая смеяться, говорил он. — Ты жених!.. Поздравляю... Да и вид у тебя вон какой счастливый... Чудеса!..

Он прервал свой смех и махнул рукою.

— Эх, брат!..

— А что?

— А то, что вот знаешь ли ты... такая есть песенка: «И зачем было город городить, и зачем было капустку садить...» Один только ты мне и казался стоящим внимания. Один только ты и был для меня магом, волхвом, мудрецом... И был ты несчастлив, и узрели мы с тобою тоску нашу безысходную и несчастье наше... Эх-ма! Не велико, видно, было твоё несчастье, коли ты нашёл от него такое ле-

карство!.. А меня ещё спасал от бесовских престелестей... Женится, и от этого счастлив... Вишь ты!..

— Не глумись, князь, — сказал Захарьев-Овинов. — Не глумись над тем, чего не знаешь. Кабы ты нашёл то, что нашёл я, и ты увидел бы себя счастливым.

— Не резон! — покачал головою Потёмкин. — То, что ты сейчас сказал, скажет и всякий мальчишка, влюблённый в свою невесту.

— Да я говорю не о невесте... Я нашёл не одну её... а всё!

— Что же такое? Расскажи, братец, а я послушаю.

Лицо Захарьева-Овинова вдруг стало печально. В его глазах, за мгновение перед тем весёлых и счастливых, мелькнуло прежнее выражение, и загорелись они прежним пламенем. Потёмкин почувствовал эту внезапную перемену. Он увидел, что перед ним опять прежний непонятный человек и что он напрасно поспешил спихнуть его с высокого пьедестала на землю.

— Нет, князь, — странным, металлическим голосом, от которого невольная дрожь про-

бежала по телу Потёмкина, произнёс Захарьев-Овинов. — Ничего я не могу рассказать тебе, ибо не услышишь ты теперь слов моих душою, не поймёшь их тайного смысла. Ничему я не научу тебя, ибо человек только сам может научить себя тому, чему я научился и что теперь знаю. И для тебя придёт день и час, когда всё тебе станет ясно.

— Загадки? Опять загадки! — воскликнул Потёмкин.

— Да, загадки, — всё тем же жутким голосом продолжал великий розенкрейцер, смотря куда-то вдаль и будто вглядываясь во что-то.

— Ну, так когда же придёт этот день и час мой?..

— Он придёт, когда ты будешь... среди поля... близ дороги... под открытым небом расставаться с жизнью... когда вокруг тебя будут ненужные тебе, чужие лица и ни одной родной души, ни одной истинно любимой руки, которую мог бы ты пожать перед разлукой... В тот день и час ты поймёшь все и почувствуешь, в чём истинное счастье.

Лицо Потёмкина стало мрачным. Грудь его

высоко поднималась.

— Предсказатель! — прошептал он. — Печальную смерть ворожишь ты мне!.. Среди поля... под открытым небом... в одиночестве... Когда же это будет? Скоро, что ли?.. Говори всё.

— И да, и нет, — сказал Захарьев-Овинов. — И мало пройдёт времени до того дня, и очень много... Вспомни юность свою, много ведь прошло с тех пор времени и вместе с этим мало. Ведь стоит тебе вспомнить какое-нибудь далёкое событие, — и кажется, что оно было так недавно, и спрашиваешь ты себя: да когда же и куда прошло столько времени?! Вся жизнь наша: и долгий путь, и миг один... Больше я ничего не скажу тебе. Да забудь и эти слова мои, если можешь...

Они расстались.

Эпилог

I

Западная Европа переживала страшное время. Гроза революции разразилась над прекрасной Францией. Будто из глубины ада поднялись зловредные испарения, и люди обезумели от этих испарений.

В тишине учёных кабинетов витали, как светлые, неосязаемые грёзы, отвлечённые, прекрасные идеи братства, равенства и свободы. Стремящийся к правде разум, согретый сердечным вдохновением, пытался, как мог, как умел, воплотить в слове красоту неясного идеала. Горячие слова вылетали из тишины кабинетов и проникали всюду, падали на всякую почву. И почти всюду почва оказывалась неподготовленной. Адские испарения видоизменяли значение слов, низводили идеал на землю и придавали ему фантастические очертания. Непонятое добро превратилось в ядовитое зло, и вместо братства, равенства и свободы наступило мрачное, неслыханное царство ненависти, произвола, торжества грубой

силы. Под знаменем свободы распространилось самое мучительное, жестокое рабство, перед которым бледнели все ужасы невольничества. Кинжал и гильотина работали день и ночь, разливая потоки горячей человеческой крови, от которой сатанели шайки все- сильных разбойников. Умственное и нрав- ственное ничтожество, невежество, зависть и злоба объявили себя цветом земли и безжа- лостно давили всё, что было выше их. Нако- нец, оказалось недостаточным уничтожать всё, что так или иначе заявляло свои неотъ- емлемые права на земле, и вот Бог был объяв- лен несуществующим. Провозглашено было единое божество — Разум. Но это был не Ра- зум, а Безумие, справлявшее свой отврати- тельный шабаш, упивавшееся кровью и зады- хавшееся от преступлений...

В это страшное время в Древнем Риме, в знаменитом замке Святого Ангела, среди гроз- ной тишины и векового смрада мрачных и душных темниц, по-прежнему томились пре- ступники и жертвы римской инквизиции. Кто раз попадал в эту тюрьму, тот уже знал, что никогда из неё не выйдет. В тот миг, ко-

гда за человеком запиралась ржавая железная дверь тёмной и сырой камеры, человек этот исключался из списка живущих.

Покрытый плесенью, пропитанный сыростью и миазмами подвал. Над головою низкий сводчатый потолок, и посредине его небольшое отверстие, ведущее неизвестно куда и из которого по временам мерцает слабый свет, печальный призрак сияющего где-то дня. Тяжёлая железная дверь заперта на крепкие засовы и замки, и никакая человеческая сила не справится с этими засовами и замками. В углу ворох соломы; на соломе лежит кто-то, но кто — разглядеть трудно.

Вот эта фигура поднимается и начинает, как зверь в клетке, метаться от стены до стены тесного подвала. Это мужчина в отрепьях когда-то богатого наряда, бархат которого давно превратился в грязную, заскорузлую тряпку, а золотое шитьё стёрлось и почернело. Голова покрыта густыми, длинными, спутанными и наполовину поседевшими волосами. Такая же полуседая длинная борода закрывает половину лица, чёрные большие глаза горят, высокий лоб покрыт глубокими морщинами.

Кто же это? Это человек, которому несколько лет тому назад оказывали царские почести, перед которым преклонялись, чьи несметные богатства и чья баснословная слава затмевали собою богатства и славу монархов. Это Джузеппе Бальзамо, «божественный» граф Калиостро. Вот что осталось от него и от его прошлого!

Далеки те безоблачные дни, продолжительностью которых он утешал свою Лоренцу в Страсбуре. Они и были продолжительны, но в то же время исчезли, как быстрый, мимолётный сон, как и всё в этом мире. Три года прожил «благодетель человечества» в Страсбуре, по временам исчезая, но скоро возвращаясь и продолжая всё так же щедро раздавать бедным деньги и вылечивать больных. Калиостро достиг своего — Париж, жадный до всякой новизны и наполненный всевозможными рассказами и сказками о чудесах этого необыкновенного человека, всё громче и громче звал его. Но Калиостро медлил и решился на отъезд из Страсбура только тогда, когда уж окончательно убедился, что в «новейшем Вавилоне» его ожидают все, начиная

с самого короля. Для успехов при дворе у него оказался верный друг и союзник в лице знаменитого кардинала Рогана...

Наконец, после долгих, томительных ожиданий Париж узнал, что Калиостро в стенах его — и было забыто всё, все интересы отодвинулись на задний план, парижане думали и говорили только о Калиостро. Весь город «обожал» его, и фанатизм этого обожания рос с каждым днём. Портрет «божественного» сделался величайшей драгоценностью, которую каждый и каждая хотели иметь не только у себя, но и на себе, как талисман. Художники, делавшие миниатюры Калиостро на табакерках, кольцах и веерах, быстро обогащались и едва успевали исполнять заказы. По всем улицам на стенах были расклеены афиши, в которых объявлялось, что король Людовик XVI признает виновным в оскорблении величества всякого, кто осмелится оскорбить Калиостро. Под его бюстами из бронзы и мрамора и под гравированными его портретами помещалось такое четверостишие.

De l'ami des humains reconnaissez

*les traits,
Tous ses jours sont marqués par de
nouveaux bienfaits.
Il prolonge la vie, il secourt
l'indigence,
Le plaisir d'être utile est seul sa
récompense
[Вот черты друга человечества,
Все дни которого запечатлены
новыми благодеяниями.
Он удлиняет жизнь, помогает ни-
щете,
И его единственная награда — со-
знание своей полезности (фр.)].*

Однако что же делал он в Париже? Его по-
мощь нищете не могла быть особенно замет-
ной в таком огромном городе. От лечения
больных он почти отказывался теперь, быть
может, не желая ставить себя в явно враждеб-
ные отношения с факультетом. Он творил
только чудеса. И что это были за чудеса!.. Со-
хранился, например, подробный рассказ об
устроенном им ужине, на котором половина
гостей были современные знаменитости, а
другая половина — тоже знаменитости, но —

уже умершие: герцог Шуазель, Вольтер, д'Аламбер, Дидро, аббат Вуазенон и Монтескье. Затем он учреждал свои таинственные, масонские египетские ложи и собирал со всех сторон обильные приношения. Лоренца оставалась его послушной помощницей. Золото сыпалось на них, и казалось — ему счёта не будет. В свободные часы Калиостро предавался своим каббалистическим, астрологическим и алхимическим занятиям, и существуют многие свидетельства, что он делал удивительные предсказания и открывал самые сокровенные тайны.

Ждать опасности было неоткуда. Поклонниками великого Копта оказывались все, начиная с короля, а враги были ничтожны и совсем бессильны... И вдруг — всё рушилось.

Случилось нечто неувловимое, не поддающееся никакому определению — и удача уступила место неудачам, бедам, несчастью. Началось в Париже знаменитое дело об «ожерелье королевы».

Дело это слишком известно. Суть его можно передать несколькими словами. Мрачная судьба уже наложила свою руку на Францию

и на королевскую семью. Стали твориться такие ошибки, в которых были виновны все и — никто. Маловажные причины производили, по-видимому, совсем несообразные с логикой следствия. Умные люди превращались в слепых безумцев... Королева Мария-Антуанетта как бы по какому-то предчувствию ненавидела кардинала Рогана, одного из первейших и знатнейших сановников Франции. Кардинал Роган во что бы то ни стало стремился получить благосклонность королевы. Придворный бриллианщик Бёмер собрал удивительной красоты бриллианты и, сделав из них чудное ожерелье, предложил королеве купить эту драгоценность. Но цена была слишком велика, и Мария-Антуанетта, несмотря на свою страсть к бриллиантам, решила, что лучше на эти деньги построить новый корабль, который нужнее для государства, чем для неё наряды. Бёмер остался ни с чем, и ему грозило разорение, так как никому не было по средствам такое ожерелье.

Обо всём этом проведала ловкая и смелая авантюристка, графиня Ла-Мотт, и явилась к кардиналу Рогану, уверяя его, что если он вы-

платит Бёмеру все деньги за ожерелье, о котором бредит королева, то она будет ему благодарна и представит все доказательства своей к нему милости. Легкомысленный кардинал поверил обманщице, стал выплачивать Бёмеру огромные суммы, а графиня Ла-Мотт завладела ожерельем. Наконец эта проделка открылась. Началось дело — король допустил до этого — Ла-Мотт и кардинала Рогана судили, королева должна была «оправдываться». Кем-то было произнесено имя Калиостро — и вчерашнего кумира схватили и заперли в Бастилию.

На суде выяснились все обстоятельства. Ла-Мотт понесла должное наказание. Кардинал Роган был оправдан, но лишился королевских милостей за своё легкомыслие, за то, что осмелился поверить таким поступкам королевы, на которые она не была и не могла быть способна. Всё дело велось гласно и оказалось первым страшным ударом, нанесённым величию и престижу Марии-Антуанетты.

Но можно читать и перечитывать все документы, исследования и рассказы, относя-

щиеся к этому делу, и всё же невозможно понять, в чём заключалась роль Калиостро, на каком основании его засадили в Бастилию. Это было фатальное недоразумение, это была судьба. Его освободили, ни в чём не обвинив, и заставили немедленно покинуть Францию. Звезда удачи и счастья начинала меркнуть.

Калиостро и Лоренца оказались в Англии. Отсюда великий Копт послал своё знаменитое «письмо к французскому народу». Это письмо было тогда же переведено на все языки и распространено по всей Европе. В нём, между прочим, заключается такое предсказание: «Бастилия будет разрушена до основания, и место, на котором она стоит, сделается местом для прогулок». Затем он так же верно предсказал и многие другие события.

В Лондоне ему жилось хорошо, но судьба его подстерегала. Он отправился с Лоренцей в Италию и там попал в руки инквизиции. Лоренца испугалась пыток — и её показания окончательно погубили Калиостро. Ей удалось освободиться, и она вернулась в свой родительский дом, где стала скрываться под вымышленным именем. Дальнейшая судьба её

совсем неизвестна.

Великий Копт мужественно вынес все пытки. Он отрицал свою виновность в чём-либо. Он объявил себя католиком, признающим высшее главенство папы в церковной иерархии. Когда его спрашивали о тайных науках, он говорил очень темно, загадочно. Судьи долго слушали со вниманием, но наконец остановили его, сказав ему, что его ответы нелепы и всем им непонятны.

— Каким же образом можете вы знать, что они нелепы, — воскликнул он вне себя, — когда вы их не понимаете?

Судьи очень рассердились, и один из них закричал:

— Назовите сейчас все смертные грехи! Калиостро назвал: скупость, зависть, любострастие, обжорство и лень.

— Вы забыли гордость и гнев, — сказал ему судья.

— Извините, — спокойно ответил он, — я не забыл ни гордости, ни гнева, но не хотел называть их из уважения к вам и боясь вас обидеть.

Говоря это, он имел такой величественный

вид, что казался совсем не осуждённым, а обвинителем.

Его приговорили сначала к смертной казни, но, так как он не выказал при этом ни малейшего смущения, судьи решили, что пожизненное заключение в душной темнице замка Святого Ангела будет ему лучшим наказанием.

Для того чтобы отвратить от него народные симпатии — а он и в Италии пользовался большой популярностью, — стали распускать слух, что он, подобно Нерону, собирался сжечь Рим. Потом рассказывали, что он сошёл с ума и страдает припадками бешенства.

II

Тайный суд над Калиостро тянулся полтора года, и во всё это время несчастного подвергали самым ужасным и разнообразным пыткам, на какие только оказалось возможным воображение католических монахов. Он всё вынес, ни разу не ослабел духом, не выдал себя ни одним словом и только смертельно бледнел каждый раз, когда на допросе ему читали показания Лоренцы, подписанные ею.

В показаниях этих была смесь правды с ложью — обезумевшая от страха Лоренца наговорила на своего недавнего властелина всё, что ей подсказывали инквизиторы.

Суд кончен. Двери душевной темницы, пропустив истерзанного Калиостро, запёрлись за ним навсегда. Два года прожил он в тюрьме — и его тюремщики никогда не слышали его жалоб, не видели признаков его отчаяния. Могучий организм узника вынес все — пытки, тоску, любовь и ненависть к Лоренце, все лишения тела и духа. В это время Калиостро ещё лучше, чем когда-либо, доказал, какие великие силы вложила в него природа, как далеко он мог бы пойти, как высоко мог бы подняться, если бы с юности не избрал себе ложную дорогу.

Но что же делал он в эти бесконечные дни, в эти бесконечные ночи? У него не было ни книг, ни бумаги, ничего для умственной работы, а между тем он только и жил теперь ею. Он производил её без всяких внешних орудий, с помощью одной своей памяти. Шаг за шагом проверял он в уме все свои знания и шёл дальше. Это была необычайно трудная

работа, однако она давала ему возможность убивать время. Он старался читать дальнейшую судьбу свою, мысленно делая различные астрологические вычисления.

На сырых плитах пола своей темницы с помощью соломы он устраивал свой гороскоп — и вот, мало-помалу к нему явилась уверенность в том, что он не умрёт в этой тюрьме, что для него настанет освобождение. Кто-то придёт и спасёт его. Его ещё ожидает великое торжество, новые блестящие успехи. Луч надежды закрался в его душу. Надежда росла, росла — он считал минуты, часы, дни и ждал своего освобождения.

Но прошли два ужасных года, а освобождения все нет. Вокруг него всё тот же мрак, те же сырые каменные стены, тот же молчаливый, подозрительный тюремщик, по два раза в день приносящий ему скудную пищу.

Единственным разнообразием в его жизни были те редкие случаи, когда три-четыре раза в год приходили к нему тюремщики, налагали ему на ноги и на руки оковы, выводили из подвала и вели в капеллу, находившуюся тут же, недалеко, в конце длинного тёмного коридора.

дора. Здесь он присутствовал при божественной службе, здесь он видел нескольких монахов и выбирал себе из них духовника. В числе этих монахов был один, по имени брат Иннокентий, который поразил его некоторым сходством с ним, Калиостро. У этого монаха была такая же точно фигура, как у него, тот же самый рост, в общем, даже лицо было несколько похоже.

В последнее время, совсем незаметно для самого Калиостро, стал в уме его созревать ужасный, отчаянный план. Он видел, что освобождение не приходит извне, никто не является спасти его. А между тем оставаться долее в тюрьме он уже не мог. Силы его слабели. Он чувствовал, как жизнь мало-помалу уходит из его тела, его ноги трясутся, голова то и дело кружится. Ещё несколько месяцев этой невыносимой жизни — и он умрёт...

Но ведь гороскоп, все тайны которого он постиг, не может обмануть его. Его ждёт спасение, и торжество, и успехи. Он ещё изумит мир своими знаниями, своими чудесами. Он ещё много пользы принесёт человечеству и восторжествует над всеми своими врагами.

Ему предстоит только один шаг, тяжёлый, трудный шаг... Но ради всей будущности надо решиться! Он решился...

И вот он, как зверь, мечется по своей тесной тюрьме, отгоняя от себя последние сомнения, последние колебания... Пришло время, когда тюремщик приносит ему пищу. Калиостро лёг на своё соломенное ложе и стал жадно прислушиваться. За железной дверью в коридоре слышны шаги. Дверные засовы скрипят... Перед ним тюремщик. Калиостро стонет.

— Что с тобой? — грубо и равнодушно спрашивает тюремщик, ставя на пол посуду с пищей.

— Я болен... умираю... — слабым голосом произносит Калиостро.

— Давно пора! — замечает тюремщик.

— Но ведь... не могу же я так умереть!.. Без покаяния, без исповеди... позови скорей духовника...

— Какого же духовника тебе надо?

— Брата Иннокентия...

— Ну, это я могу, — решает тюремщик, — кстати, брат Иннокентий будет сегодня вече-

ром, наверно, в капелле... так я и приведу его.

— Ах, только бы дожить мне до вечера!

— Доживёшь, ещё и до завтра доживёшь, — ворчит тюремщик, уходя и запирая за собою дверь.

Как лев вскочил Калиостро, оставшись один. Глаза его метали искры. Он почуял приближение свободы — и одна эта мысль уничтожила всю его слабость. Он едва дождался вечера и, заслыша приближавшиеся шаги, лёг на солому и принялся стонать. Тяжёлая дверь отперлась и запёрлась снова. Перед ним брат Иннокентий с маленькой лампой в руке. Эта лампа озарила мрачные, сырые стены, низкие своды, всю грязь, весь ужас смрадной тюрьмы.

«Вон отсюда! Вон!» — звучало в душе Калиостро, и он забыл всё остальное. Монах присел на его солому, наклонился над ним и сказал:

— Что с тобою? Ты очень страдаешь?

— Да, я ужасно страдаю! — воскликнул Калиостро, и, прежде чем монах успел шевельнуться, он обхватил его горло руками. Его пальцы, будто железные, всё больше и боль-

ше сжимались, не выпуская свою жертву.

Миг — и он почувствовал слабую, предсмертную судорогу монаха. Ещё миг — и монах недвижим, бездыханен. При свете лампы, с лихорадочной быстротой, он раздел ещё тёплый труп, разделся сам, потом одел монаха в свои лохмотья, а сам оказался в одежде брата Иннокентия. Он уложил труп на солому и затем, найдя в кармане монашеского платья небольшой складной нож, быстро, недрогнувшей рукой, изрезал все лицо мертвеца до неузнаваемости.

Сделав всё это, он надел себе на голову капюшон, искусно прикрылся им и взял в руки лампу, стал стучать в дверь. Тюремщик, находившийся недалеко в коридоре, услыша этот стук, отворил ему. Когда дверь отворилась, будто струя воздуха затушила лампу, и Калиостро с тюремщиком оказались почти в полном мраке.

— Запирай двери... он заснул... проживёт ещё день-другой! — шепнул Калиостро голосом брата Иннокентия.

Тюремщик запер двери. Калиостро неспешным шагом пошёл по коридору и во-

шёл в капеллу. Там было два монаха, но они не обратили на него внимания, приняв его за брата Иннокентия. Он вышел из капеллы и через несколько минут без особого труда, без всяких препятствий оказался вне замка Святого Ангела.

Он шёл дальше, и, чем дальше шёл, тем быстрее становились шаги его. Свежий воздух опьянял его, голова кружилась, во всём теле чувствовалась слабость, превозмогал себя и всё шёл, спешил скорее из Рима, на свободу... Теперь надо быть как можно дальше отсюда!..

И вот уже за ним остались последние жилища Вечного города. Он на воле, среди простора. Тут только почувствовал он всю свою усталость, всю боль, с каждой минутой усиливавшуюся в его сердце. Он не мог идти дальше и почти упал на землю.

Невозмутимая тишина стояла кругом. Тёмная ночь глядела на него бесчисленными звёздами. Куда же дальше? Что теперь делать? Но он не мог об этом думать, мысли его путались... Что совершил он? Убийство!.. Но ведь оно было вынуждено обстоятельствами.

Сама судьба, ясно им прочитанная, приказывала ему это неизбежное убийство... А вдруг он ошибся? Вдруг спасение его было близко и пришло бы помимо этого преступления... Вдруг то, что он сделал, было совсем не нужно?..

Но что с ним? Как кружится голова, как трудно дышать! Всё темнеет в глазах, а в ушах откуда-то, отовсюду повторяется одно только слово: «Убийца! Убийца!» Невыносимый, отчаянный страх охватил его, такой страх, какого он не испытывал ни разу в жизни. Ему чудится, будто его преследуют, гонятся за ним какие-то страшные призраки...

Он с трудом поднялся на ноги и, собрав последние силы, побежал. Но не успел он пробежать и сотни шагов, как в груди его будто оборвалось что-то. Он слабо вскрикнул, потом захрипел и упал на землю бездыханный.

Немного времени прошло с тех пор, и французские войска заняли Рим. Французы обступили замок Святого Ангела и ворвались в него с целью освободить Калиостро. Предполагалось с большим торжеством вывести из темницы «благодетеля человечества» и устро-

ить в его честь всякие празднества. Не только у каждого офицера, но и у каждого солдата были в памяти исполнившиеся теперь предсказания знаменитого чародея, обращённые им к французскому народу.

Но Калиостро не нашли. Его тюрьма была пуста, и никто не мог сказать победителям, где тот, кого они ищут.

Он не дождался обещанного ему судьбою спасения, совершил тяжкое преступление — и погиб.

III

Дикая горная местность в окрестностях Небельштейна. Такой же ясный, холодный вечер, какой был в этот самый день десять лет тому назад, когда Захарьев-Овинов спешил к древнему замку на последнее собрание великих учителей розенкрейцеров, где его должны были провозгласить главою братства. Солнце уже зашло, как и тогда, и точно так же быстро сгущаются ночные тени. Горный ветер свищет в лесу, и от его порывов качаются и шуршат друг о друга ветви вековых елей. По заросшей дороге к замку, как и тогда,

спешит всадник... И всадник этот тот же — это Захарьев-Овинов.

Прошло десять лет; незаметными они кажутся в явлениях неподвижной для поверхностного взгляда природы; но великую перемену произвели эти десять лет в человеке, который спешит к развалинам старого замка. Ничего общего нет в его душе с тем настроением, какое в ней было десять лет назад.

Ночь совсем стемнела, когда Захарьев-Овинов остановил своего коня у маленькой, едва выглядывавшей из кустов железной двери замка. Он вынул из кармана свисток, и, как в былые годы, раздался среди скал и развалин призывной пронзительный звук. Потом звук замер... всё было тихо. Захарьев-Овинов свистнул ещё раз и ждал — ответа не было.

Тогда он быстро спрыгнул на землю, крепко привязал коня к большому кусту и застучал в дверь. Полное молчание было ему ответом. Ему стало жутко.

«Неужели? — подумал он, и дрожь пробежала по его членам. — Нет, я бы знал, так или иначе он известил бы меня!.. А может быть... может быть, я уж и не мог получить от него

известий иначе как обычным для всех людей путём? Или он не успел, или не хотел написать мне... Неужели здесь смерть, и я не знал об этом!»

Он схватился за ручку двери и увидел, что она не заперта изнутри. Не зная — радоваться этому или смущаться, он поспешно отпер дверь, запер её за собою и очутился в знакомом тёмном коридоре.

В то же мгновение он почувствовал, что великий старец его жив. Сознание это сразу его успокоило, и он твёрдым шагом пошёл вперёд, оцупал в конце коридора дверь и отворил её.

Он в заветной древней комнате собраний. Как десять лет тому назад, на столе горит лампа, всюду разложены фолианты и у стола, в старом высоком кресле, человеческая фигура. Это он — древний мудрец!

С сильно забившимся сердцем Захарьев-Овинов кинулся к нему. Глядит — он неподвижен. Глаза закрыты... Неужели?! Он наклонился!.. Нет, он жив, жив, он только спит!.. Старей открыл глаза, глаза эти совсем почти потухли, в них едва теплилась искра

жизни.

— Сын мой... — прошептали бледные старческие губы.

— Отец! — воскликнул Захарьев-Овинов, чувствуя и радость, и грусть, и подступавшие к сердцу слёзы.

Он обнял старца, радуясь, что застал его живым, и невольно ужасаясь происшедшей в нём перемене.

— Я знал, что ты придёшь ко мне сегодня. Я звал и ждал тебя и чувствовал твоё приближение... а вот заснул! — между тем говорил глухим голосом Ганс фон Небельштейн. — Слаб я теперь... заснул и не слышал твоего свистка... Впрочем, ведь дверь не заперта... она не запирается с тех пор, как я простился с моим добрым Бергманом и похоронил его, тому назад два года...

— Бедный друг, бедный Бергман! — произнёс Захарьев-Овинов, вспоминая доброе лицо старого верного слуги и друга далёких дней.

— Скажи: счастливый Бергман! — шепнул фон Небельштейн, дрожащей рукою вынимая из кармана маленький ящичек и кладя себе в рот кусочек таинственного вещества, способ-

ного поддерживать человеческие силы.

Через две-три минуты древний старец заметно оживился. В глазах прибавилось жизни. Старые исхудалые руки уже не так тряслись, сторбленная спина выпрямилась. Захарьев-Овинов не отрываясь глядел на него.

— Отец! — невольно воскликнул он. — Отчего в тебе такая перемена? Зачем допустил ты её?

— Перемена произведена временем, — сказал старец, — время делает свою законную работу. И не во мне одном перемена, она и в тебе, сын мой. И я с большим правом могу спросить тебя: ты-то зачем допустил её, зачем ты расстался со своею молодостью? Зачем в эти десять лет пропала нежность твоих щёк, а на лбу появились морщины?

— Я не думал об этом, — ответил Захарьев-Овинов. — Я никогда, как тебе известно, не употреблял никаких средств, для того чтобы сохранить своё тело и поддержать свою молодость до сорокалетнего моего возраста. Ведь молодость во мне поддерживала та жизнь, какую я вёл. Я слишком мало, несмотря на свои большие знания, расходовал свою

жизненную силу, во мне работал один мозг, работал привычно, правильно и постоянно. А сердце моё оставалось без всякой жизни. Ну а тебе известно, отец, что жизнь сердца помогает разрушению материи. Да, наверно, во мне большая перемена, но перемена эта не важна...

— Как не важна? — перебил его старец. — Ты добровольно сокращаешь дни свои?!

Захарьев-Овинов улыбнулся.

— Во всяком случае, не тебе упрекать меня в этом! Сам ты что сделал с собою?

— Я? Я другое дело, я вот уже прожил на свете сто двадцать лет и рад уйти. Да, с тех пор, с самого дня нашего последнего свидания, когда ты причинил мне такое горе, против которого я всё же не мог ничего и за которое не могу винить тебя, я перестал поддерживать жизнь моего тела и предоставил ему разрушаться. Два года тому назад я не помещал Бергману умереть, потому что он желал этого, — и я понимал это желание. Теперь и я умираю. Я ждал тебя только для того, чтобы проститься с тобою и чтобы ты похоронил меня по правилам нашего братства, рядом с мо-

ими предшественниками. Вот зачем ты здесь. Вот зачем звал я тебя.

Захарьев-Овинов опустил голову, и несколько мгновений продолжалось молчание. Но вот он заговорил.

— Отец, — сказал он, — мне тяжело и грустно слышать слова твои; но я понимаю твою усталость, твоё желание смерти.

— Смерти! — усмехнулся Ганс фон Небельштейн. — Какое дикое, отвратительное слово... Смерть! И нечто невыразимо ужасное представляется, по привычке, человеческому воображению. А между тем ведь это покой, это блаженство! О, если бы знал ты, сын мой, как я в эти последние годы стремлюсь к светлой минуте, которую люди называют смертью! Больше столетия неустанно шёл я вперёд, собирая сокровище знаний. Собрал всё, что мог, — и этого мало! И вот, ещё ранее того дня, когда ты нам здесь десять лет тому назад сказал горькую правду, я понял, хотя и тяжело было признаться в этом перед собою, как ничтожно моё сокровище... Понял я и то, что не могу уже ничем его дополнить, что ничего уже не найду нового. А между тем ведь мне

мало того, что у меня есть, мне нужно ещё, нужно так много!.. Ну, так пора, давно пора узнать больше... О, как я боялся, что ты не почувствуешь моего зова, что ты потерял силу меня чувствовать!..

— Отец, — перебил его Захарьев-Овинов, — не знаю, быть может, я и потерял эту силу. Я здесь не потому, что ты звал меня.

Старец поднял на него изумлённый взгляд.

— Я здесь во исполнение того условия, которое было заключено между нами десять лет тому назад, — продолжал Захарьев-Овинов. — Ведь каждый из нас должен был сюда возвратиться в годовщину прежних наших собраний, если почувствует и убедится в том, что достиг того блага, которого нам недоставало, то есть счастья. Отец, ты видел здесь кого-нибудь из нас за это время?

Старик покачал головою.

— Никого, сын мой. Вот уже десять лет, как ничья нога не переступила за порог замка.

— Я почти был уверен в этом, — сказал Захарьев-Овинов. — Но я здесь, и мог бы явиться даже гораздо раньше, если бы не назначил себе этого последнего срока. Отец, перемена,

которую ты видишь во мне, мои морщины, все признаки лет — только свидетели того, что я живу, что я счастлив!

Старец недоверчиво покачал головою.

— Ты заблуждаешься, сын мой, — уверенно произнёс он. — Здесь счастья нет, в этой материальной оболочке мы его не достигнем.

— Абсолютного счастья, да, — ответил великий розенкрейцер, — и за эти десять лет у меня было немало горя, немало чёрных дней я пережил, и всё же я счастлив, и всё же, в сравнении с этими десятью последними годами моей жизни, вся предшествовавшая жизнь моя мне кажется страшной и душной тюрьмой. До тех пор, пока я жил одним только разумом и не понимал, что у меня есть сердце и что истинная жизнь исходит только из него, из его постоянного развития, — я задыхался. С того мига, как проснулось моё сердце и наполнилось любовью, я живу, я страдаю, я радуюсь, я могу смеяться, я могу плакать. Любовь и добро, которое неизбежно являются её следствием, дают мне минуты таких наслаждений, такого тепла, такой благодати, что каждая из них искупает долгие дни

страданий!..

Старец слушал его, сдвинув брови, слушал напряжённо, собирая последние силы своего слабевшего разума, чтобы постигнуть все значение слов его. Слова эти казались ему только словами. А между тем ведь он знал, кто перед ним. Он знал, что этот человек, им же самим доведённый до вершины знаний, человек и теперь ещё полный ими, не может же произносить слова без значения, не может так жестоко ошибаться... Если он считает себя счастливым, если он полон бодрости духа, доволен жизнью — значит, что-нибудь нашёл он?..

— Но то благо, которое далось тебе, — прошептал старец, — ведь оно должно было уничтожить все твои высшие способности, все твои тайные силы! Ты мог сохранить свои знания, но силу свою сохранить не мог, и ты теперь так же ничтожен, как тот слабый и тёмный искатель истины, который в первый раз подходит к храму мудрости и собирается постучаться в его двери!..

— Может быть, — сверкнув глазами, воскликнул Захарьев-Овинов, — может быть, но

я об этом никогда не думаю, да и незачем мне думать, у меня есть всё, что необходимо для возможного на земле счастья, и до сих пор я не нуждался в проверке моих оккультных сил. Я ни разу не напрягал их.

— А между тем я вижу, что в близком будущем... да, скоро, очень скоро, может быть, через несколько дней, тебя ожидает большая опасность, которую предотвратить ты можешь именно только твоими оккультными силами. Их в тебе нет — опасность велика! И я не знаю, вернёшься ли ты туда, откуда теперь приехал...

— Отец, будущее не страшит меня, — спокойно ответил Захарьев-Овинов.

Долго они ещё беседовали. Захарьев-Овинов ясно видел, как старец все слабеет. Он даже хотел испробовать свою прежнюю силу, для того чтобы поддержать в нём жизнь. Но Ганс фон Небельштейн запретил ему это.

— Не вмешивайся в действия природы, — сказал он ему, — и не противься моей воле. Я хочу расстаться с этим, давно уже надоевшим мне и тяжким для меня телом. Час мой пришёл. Солнце ещё не успеет взойти, как я по-

кину брэнную мою оболочку, которая начнёт предаваться обычному разрушению. Сын мой, завтра утром ты меня похоронишь в готовой уже для меня могиле, в известном тебе подземелье этого замка, в склепе, куда я не раз тебя водил в прежние годы, где покоится прах великих розенкрейцеров... Там и для тебя есть место...

— Я лягу там, где придётся, — тихо произнёс Захарьев-Овинов.

— А теперь, — слабеющим голосом сказал старец, — теперь возьми книгу, в которой я вписал великие двадцать два правила, переданные от древности посвящённым... Перечти мне их... Мои глаза уже почти ничего не видят...

IV

Великий розенкрейцер исполнил желание старца и начал читать ему двадцать два правила развития воли, постигнув и исполнив которые, человек делается победителем и владыкой природы. Эти двадцать два правила, преподанные от древности легендарным Гермесом Тотом и затем разъяснённые и до-

полненные величайшими адептами оккультизма, составляли драгоценное сокровище розенкрейцеров. В них действительно заключалась глубокая человеческая мудрость.

Хотел ли умиравший старец в последний час своей земной жизни ещё раз окунуться в ту холодную глубину, откуда он черпал все свои силы. Или, быть может, надеялся он, что погибший, заблудившийся, как ему казалось, разум великого розенкрейцера, увидя себя вновь в знакомой, полной очарований и соблазнов сфере, почувствует свою ошибку и вернётся на тот путь, по которому когда-то шёл он так победоносно?..

Как бы то ни было — он слушал чтение, весь превратясь во внимание и не спуская глаз с Захарьева-Овинова. Но через несколько минут всё возраставшая слабость охватила его, голова стала кружиться, сердце все медленнее и медленнее билось, кровь в жилах начинала останавливаться. Он понял, что умирает.

— Сын мой, — прошептал он едва слышимым голосом, — прощай!..

Захарьев-Овинов сложил книгу, кинулся к

старцу. Тот хотел приподнять руку — и не мог, хотел сказать что-то, но язык уже не слушался. Да и мысли остановились. Когда Захарьев-Овинов приложил ухо у груди старца — сердце уже не билось. Тогда он закрыл глаза почившего, поцеловал его холодный лоб и долго стоял, печально глядя на черты того, кто имел такое значение в его жизни.

Было время, когда он почитал этого старца высочайшим существом в мире, когда каждое его слово было для него истиной и законом. Он и теперь знал, что в этот час на земле не стало человека, обладавшего истинными, высшими познаниями сил и действий природы. Человек этот «имел дар пророчества, и знал все тайны, и имел всякое познание и всю веру, так что мог и горы переставлять...»... Но этот человек «не имел любви», прожил всю свою долгую жизнь, питаясь только своим разумом, вдали от жизни и презирая её, а потому «он был — ничто». Он умер утомлённым, неудовлетворённым, с сознанием, что все его силы и знания не принесли и не могли принести ему счастья. Эти силы и знания убили в нём все чувства, сделали его

до того ко всему безучастным, что он не испытывал даже потребности пользоваться ими. Они лежали в нём как никому не нужный клад. Подобно безумному скряге, он не употреблял их ни для себя, ни для других и теперь унёс их с собою в могилу. Все эти чудные силы и знания только скудно питали его гордость и оказались бесполезными, а потому он, их владелец, был — ничто. В течение столетия он достигал знания, почёл себя на его вершине, и, умирая, не знал, что ждёт его за той дверью, которая теперь перед ним открылась...

Всю ночь просидел Захарьев-Овинов перед трупом старца, погруженный в свои мысли и будто снова переживая всё своё прошлое. Когда настал день, он приступил к исполнению своего долга перед почившим учителем. Он омыл его тело и, принеся из лаборатории все необходимые предметы, посредством семи лёгких уколов и впрыскивания некоторой известной ему эссенции превратил труп в мумию, уже неспособную подвергнуться разложению.

Затем он снёс останки учителя в склеп и

похоронил его там с соблюдением всех правил, похоронил его именно так, как с основания братства каждый новый глава розенкрейцеров хоронил своего предшественника...

Весь день провёл Захарьев-Овинов в этой печальной работе и к вечеру почувствовал большое утомление. Но приём оставленного старцем вещества быстро восстановил его силы. Он сидел теперь в знаменитой розенкрейцеровской лаборатории и был единственным её хозяином, единственным законным наследником развалин Небельштейна и всех заключённых в нём сокровищ. Только он один понимал сущность всех работ старца и был в состоянии продолжать их. Почти все высшие химические открытия, над которыми ещё долго будет бесплодно трудиться человечество, были ему известны. Остальное заключалось в рукописи старца, лежавшей теперь перед ним и написанной условными знаками, значение которых было ему понятно...

Но он знал теперь, что у него есть такое сокровище, при блеске которого бледнеют все эти открытия. Он знал также, что человечество не достигнет счастья, получив все эти

знания, а потому незачем до времени, упреждая ход общего развития, открывать их ему. Он знал, что если бы решился теперь открыть всем и каждому двери этой таинственной лаборатории, то результатом явилось бы относительное благо и положительное зло. И зла было бы столько, что всё благо оказалось бы ничтожным. В этом случае адепты тайных наук были всегда правы, тщательно охраняя свои тайны. В неразумных или недобросовестных руках эти тайны способны породить только самое ужасное зло и самые неслыханные преступления...

Осмотрев всю лабораторию, он надавил в известном ему месте в стене невидимую пружину — и стена раскрылась. В ней оказался ряд поместительных полок, куда великий розенкрейцер и уложил все инструменты и все содержание лаборатории. Часа через два стена снова закрылась, лаборатория была пуста.

Ещё сутки работы — и Захарьев-Овинов мог покинуть развалины Небельштейна с полной уверенностью, что никто, забравшись сюда когда-либо, не найдёт здесь ничего, кроме старых, покрывающихся плесенью и мхом

стен да рассыпающейся прахом древней мебели.

Но кто же мог сюда забраться? Только великие учителя-розенкрейцеры знали сюда дорогу. Из них двое уже умерли: граф Хоростовский и барон фон Мелленбург. Роже Левек покинул Париж, находится в Америке, и уже три года, как о нём нет никаких известий. Один Абельзон смущал Захарьева-Овинова. Он знал, что этот бывший великий учитель после прекращения деятельности братства и его распада дал волю всем своим инстинктам и страстям, что все свои знания, отрешась от розенкрейцерской клятвы, он обратил на зло. Он, палач братства, настаивавший на казни изменников, теперь сам превратился в изменника...

«Абельзон! Абельзон!» — повторялось в мыслях великого розенкрейцера, и вместе с этим именем вспоминалось ему предсмертное предсказание старца. И он понял, что опасность грозит ему со стороны Абельзона.

Он был теперь в комнате заседаний, в той комнате, где умер Ганс фон Небельштейн. Он разбирал оставшиеся манускрипты и книги,

готовился спрятать их в потайное помещение в стене и затем уехать отсюда. Среди полной тишины он вдруг услышал шаги в коридоре. Ему нетрудно было догадаться, кто это. Действительно, через несколько мгновений дверь отворилась, и он увидел перед собою Абельзона. Он невольно вздрогнул — так ужасно показалось ему лицо маленького человека, так страшно горели глаза его.

Они обменялись обычным в братстве приветствием, но при этом великий учитель не выразил главе братства должного иерархического поклонения.

— Я знаю всё, — прямо начал Абельзон, — я ещё не лишён моих сил и знаний, а потому мне своевременно стало известно, что ты направляешься в Небельштейн. Я поспешил за тобой. Подъезжая сюда, я понял, что опоздал, что нашего отца уже нет между живущими.

— Да, всё это так, — сказал Захарьев-Овинов. — Чего же тебе надо, Albus?

— Если ты уже потерял способность читать мои мысли, — с презрительной усмешкой ответил Абельзон, — так я тебе прямо и скажу, чего мне надо. Десять лет тому назад

мы признали тебя главой братства розенкрейцеров. Но ты в этот же день уничтожил своей властью братство. Затем ты перестал быть не только главою розенкрейцеров, но ты уж и не розенкрейцер первых посвящений. Ты пал чересчур низко. Мне известно, что ты, как последний из безумцев, отказался от всего, чем владел, предался самым жалким похотям и пал глубоко. Я встретил тебя братским приветствием, но это только по привычке. Наследником и преемником нашего отца ты быть не можешь, потому что сам отказался от этого. У тебя, конечно, остались твои знания, но нет никаких сил. А без сил что такое знание? Двух из учителей нет на свете, третий скрывается: значит, один я — законный преемник великого старца! Поэтому я прошу тебя удалиться и оставить меня в замке. Я здесь у себя, на своём месте... ты же, по безумию своему, здесь чужой!

— Ты заблуждаешься, — спокойно сказал Захарьев-Овинов. — Ты хочешь взять даром то, что покупается дорогой ценою. Преемник великого старца или я, или никто. Ты же ни в каком случае не можешь быть его преемни-

ком... Я вовсе не желаю входить с тобою в спор, беседа между нами излишня, и я прошу тебя оставить меня и удалиться...

Глаза Абельзона загорелись, и на лице изобразилась адская злоба.

— Жалкий безумец! — воскликнул он. — Когда-то ты, может быть, и имел право так говорить со мною, но теперь это праздные слова с твоей стороны и только. Я хотел пощадить тебя и предоставить твоей печальной участи, но вижу, что необходимо наказать тебя как изменника... Погибни!

Это было одно только мгновение, но в это малое мгновение целый мир проявил свою жизнь и действие в душе Захарьева-Овинова. «Так вот где опасность!» — пронеслось в его мыслях, и, поняв это, он вдруг соединился посредством могучих, неразрывных нитей со всем, что было ему близко теперь, дорого, чем существовал он. Он почувствовал себя не одиноким, к нему на помощь явилась и жена, со всей своей любовью и душевной чистотою, и отец Николай с могучим оружием, на котором дивно светились слова: «Сим победиши», и сотни, тысячи тех людей, которым он сде-

лал сознательное добро, которых спас своей живой, деятельной любовью в эти десять лет, протёкших со времени его возрождения. Всё, что было теперь в нём свету и тепла, светлых мыслей и горячих чувств, относившихся не к себе, а к другим, — всё это сразу поднялось в нём и наполнило его такою силой, какой он никогда ещё не ощущал в себе.

— Погибни! — страшным, нечеловеческим голосом повторил Абельзон. Он не шевельнулся, произнося это слово, не кинулся на Захарьева-Овинова с кинжалом или пистолетом, он только протянул по направлению к нему руки и устремил на него взгляд своих ужасных глаз. Но если бы кто-нибудь мог видеть его в эту минуту, тот, несмотря на какой угодно скептицизм, понял бы, что этот человек или, вернее, это чудовище в образе человека владеет оружием более страшным, чем кинжалы и пистолеты, и носит это оружие в себе самом, во взгляде своих горячих глаз. Эти глаза жгли, обессиливали, уничтожали. В них заключалась та ядовитая, обезволивающая и зачаровывающая сила, которой змея останавливает и парализует свою намеченную жертву.

ву.

Но сила змеи бессознательна, инстинктивна, а здесь свободный разум человека, неустанно работавший над изучением природы, сознательно развил в себе эту силу путём укрепления воли. Абельзон хорошо знал, что он может; в это последнее время он произвёл несколько ужасных опытов.

Слабый трепет своей совести и прежних розенкрейцерских понятий он успокаивал необходимостью проверки знаний и сил. Теперь он был уверен в себе, он знал, что при более или менее упорном напряжении и сосредоточении воли он может завладеть душою всякого человека, превратить его в бессильного раба своего, может, наконец, мгновенно умертвить его, направив на него смертоносную силу своей злой воли.

Он «испытал» это. Он видел, как под действием его взгляда человек падал и в страшных судорогах внезапно умирал. Абельзон сосредоточивал в себе огромное количество электромагнитной силы — и мгновенно передавал её всецело другому живому организму. Никакой живой организм не был в состоянии

выдержать подобного удара, переполнялся электромагнитным током — и погибал.

Неизбежно должен был бы погибнуть и Захарьев-Овинов, если бы он не был защищён тем высоким подъёмом духа, который всегда торжествует над силами материи и ослабляет их... Он нашёл защиту в иных, более могущественных силах, наполнявших его безмятежным спокойствием. Он вовремя отрешил себя от каких-либо внешних влияний и остался «свободным», вошёл в такое состояние, когда организм человека оказывается нерушимой скалою, которую нельзя ни сжечь, ни взорвать, о которую притупляется всякое оружие природы, кроме высшей духовной силы, силы Творца всяческой жизни.

— Несчастный! — воскликнул он, отворачиваясь от Абельзона. — Что ты сделал?! Разве забыл ты, что «такая» сила, не найдя себе исхода, неизбежно возвратится к тебе же... Что ты сделал?!

— Спаси! — в ужасе, задыхаясь и падая на землю, прохрипел Абельзон.

— Ты знаешь, что я не в состоянии спасти тебя.

Но Абельзон уже не слышал. Когда Захарьев-Овинов наклонился к нему, то мог уловить лишь последнее содрогание отлетавшей жизни. Всё было кончено. Исполнился неизбежный закон природы, хорошо известный розенкрейцерам из «правил» Гермеса Тота: «Хотеть зла — значит покоряться смерти. Злая воля есть начало самоубийства. „Свет“ есть электрический огонь, предоставленный природой в распоряжение „воли“; он просвещает и озаряет тех, кто умеет владеть им, и поражает, подобно молнии, тех, кто им злоупотребляет...»

...Исполнив человеческий долг свой — вырыв могилу близ развалин замка и похоронив в ней Абельзона, Захарьев-Овинов запер древним ключом железную дверь, за которою скрылось всё таинственное и холодное прошлое его жизни, и поспешил вернуться в Россию, где его ждала новая жизнь.

Чувство глубокой и светлой радости охватило его, когда в дымке ясного морозного утра разглядел он покрытые серебряным инеем деревья своего старого сада, где провёл он детство. Его встретила жена — бодрая и свет-

лая, встретили дети, встретили самые близкие, дорогие люди — отец Николай со своею счастливой, преображённой Настей. Он очутился в мире любви и счастья — и снова потекла жизнь его, отданная навеки всем, кому он был нужен. А нужен он был многим, и много было в нём сил для всякой помощи ближним...

* * *

Годы проходят, люди умирают, имена их забываются. Но дела людей никогда не проходят, не умирают, а плоды добрых дел вечно, вечно питают человечество. Этими плодами живы народы... Никому не приходит на мысль, вкушая сочный душистый плод, утоляющий голод и жажду, допытываться, кто был садовник, кинувший доброе зерно в добрую почву, берёгший и холивший первые ростки его и следивший за развитием дерева, плоды которого должны были увидеть лишь последующие поколения. Так и с добрым делом человека. Далеко не всегда, конечно, но часто, гораздо чаще, чем это может сразу ка-

заться, истинные благодетели человечества, сеятели того вечного добра, которым живы народы, остаются неизвестными. Да они и не ищут преходящей земной славы, ибо нет в них гордости.

Герои моего рассказа были такими людьми. Прошли годы, они умерли, имена их забылись. Но дела их живой любви вечно живы... На смену этим забытым людям приходили, приходят и будут приходиться новые носители великой тайны счастья. Тайна эта — живая, деятельная любовь, без которой человек, со всеми своими знаниями, силами и талантами, со всей своей властью и могуществом, — ничто...

Мой рассказ кончен, и мне покуда нечего к нему прибавить. Это не сказка. Это, во всяком случае, не более сказка, чем любой роман из современной нам жизни, носящий на себе все признаки повседневной действительности...

Но пусть даже это и сказка! Я рассказал эту сказку не для любителей «лёгкого» чтения, помогающего убивать скуку. Я поднял в ней, как мог и как умел, не праздные вопросы. Я вложил в неё сердце и душу. И, несмотря на

все свои несовершенства, мой труд не погибнет. Он всегда, среди грубого непонимания или злонамеренного искажения моих мыслей, найдёт сердца и души, которые громко откликнутся на призыв мой и поймут меня.

